Антонина Пирожкова

Я пытаюсь восстановить черты

ВОСПОМИНАНИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Антонину Николаевну Пирожкову (1909–2010) еще при жизни называли одной из великих вдов. Сорок лет она сначала ждала возвращения Исаака Бабеля, арестованного органами НКВД в 1939 году, потом первой после смерти диктатора добилась посмертной реабилитации мужа, «пробивала» сочинения, собирала воспоминания о нем и написала свои.

В них она попыталась «восстановить черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения…»

Чудесный дар был дан и самой А. Н. Пирожковой. Она имела прямое отношение к созданию «большого стиля», ее инженерному перу принадлежат шедевры московского метро — станции «Площадь Революции», «Павелецкая», две «Киевские». Эта книга — тоже своего рода «большой стиль». Сибирь, Москва, Кавказ, Европа — и, по сути, весь XX век. Герои мемуаров — вместе с Бабелем, рядом с Бабелем, после Бабеля: С. Эйзенштейн, С. Михоэлс, Н. Эрдман, Ю. Олеша, Е. Пешкова, И. Эренбург, коллеги — известные инженеры-метростроевцы, политические деятели Авель Енукидзе и Бетал Калмыков. И рядом — просто люди независимо от их ранга и звания — совсем по-бабелевски.

- Антонина Пирожкова
  - Об Антонине Николаевне Пирожковой, ее книге и о том, что осталось за пределами книги
  - Часть первая
    - Мои родители
    - Детство в селе Красный Яр
    - Село Боготол: революция начинается
    - Школьные годы в городе Боготол
    - Учеба в Томске
    - На Кузнецкстрое: «Принцесса Турандот из конструкторского отдела»
    - В кружке Александри
    - В Москву!
  - Часть вторая
    - Первые полгода в Москве
    - Встреча с Бабелем
    - Отъезд Бабеля за границу
    - Авель Енукидзе
    - Николай Эрдман и «Веселые ребята»
    - Бетал Калмыков

- У Фурера: первый Новый год с Бабелем
- Метропроект до войны
- С Бабелем в Николоворобинском переулке: Андре Мальро
- С Бабелем на Киевщине и в Одессе
- Горький
- «Самый веселый человек из членов РАБИСа»
- Рыскинд, Михоэлс, Эйзенштейн
- Снова в Одессе
- Эми Сяо
- Работа в Метропроекте в 1937–1939 годах
- Рождение дочери Лиды
- Лион Фейхтвангер и другие
- «Теперь мне жить не дадут»

○ Часть третья
- Война застала нас в дороге
- Наши хозяева Арут и Оля Янукян
- «Хорошо живет Такуш…»
- 1943 год

○ Часть четвертая
- Возвращение в Москву
- Метропроект после войны
- Встречи и потери: Юрий Олеша и Вениамин Рыскинд
- Судьба Бабеля
- Замечательные женщины (Екатерина Павловна Пешкова)
- О детстве Лиды
- Московский институт инженеров транспорта
- Семен Григорьевич Гехт
- Киевские друзья
- Северная Осетия и Крым
- Закарпатье
- Учебник «Тоннели и метрополитены»
- Студенческая жизнь и замужество Лиды
- Малеевка
- У Арута и Оли
- Архив Бабеля
- Илья Григорьевич Эренбург
- Культ Бабеля
- Поездка в Сибирь
- Переезд на новую квартиру

○ Часть пятая
- Венгрия, 1966 год

        - Рождение внука
        - Венгрия, 1968 год
        - Последнее лето у Эренбургов
        - Книга воспоминаний о Бабеле
        - Франция, 1991 год
        - Германия и Италия, 1992 год
        - Германия, 1993 год
        - Отъезд в Америку
    - Фото
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34

- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

Антонина Пирожкова
Я пытаюсь восстановить черты
О Бабеле — и не только о нем

Об Антонине Николаевне Пирожковой, ее книге и о том, что осталось за пределами книги

Моя бабушка, Антонина Николаевна Пирожкова, прожила не одну, а несколько жизней. Она родилась в сибирском селе Красный Яр за год до ухода Толстого из Ясной Поляны и умерла в городе Сарасота, штата Флорида, успев проголосовать за первого в истории Америки чернокожего президента. Детство Антонины Николаевны пришлось на время Первой мировой войны, революции и войны Гражданской, а свой профессиональный путь инженера она начала на одной из строек первой пятилетки — Кузнецкстрое. По всей вероятности, и в двадцать один год талант инженера Пирожковой был так очевиден, что руководство Кузнецкстроя прибегло к крепостническим мерам, чтобы удержать у себя ценного специалиста, — начальнику железнодорожной станции настрого запретили продавать молодому инженеру обратный билет. На Кузнецкстрое она впервые прочла поразившие ее рассказы писателя Исаака Бабеля… Когда сорок лет спустя, в начале семидесятых, Антонина Николаевна писала единственный из существующих в литературе развернутый портрет Бабеля — писателя и человека, — она начала свои воспоминания такими словами:

«Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдалось счастье прожить с ним рядом несколько лет. Эти воспоминания — простая запись фактов, мало известных в литературе о Бабеле: его мыслей, слов, поступков и встреч с людьми разных профессий — всего, чему свидетельницей я была».

В скромных этих строках есть лишь доля истины. Математическая память Антонины Николаевны удерживала малейшие подробности пережитого. Литературная наблюдательность ее (дар, отмеченный еще в школьном аттестате и впоследствии подмеченный Бабелем) была остра, а научный склад ума и в частном обнаруживал закономерности. Всё, что было связано с Бабелем, память Антонины Николаевны удерживала особенно цепко. А вот самое себя, свои оценки и впечатления она словно бы выносила за рамки воспоминаний. Частенько «бабелеведы» уговаривали Антонину Николаевну написать историю ее с Бабелем любви. Она отказывалась

добавлять что-либо к написанному…

Антонина Николаевна умела уходить решительно, захлопнув за собой дверь. Так в 1965 году она ушла из инженерной профессии, предварительно выпустив первый в Советском Союзе (а может быть, и в мире) учебник по метрополитенам. Написав центральный раздел этого учебника (который она, правда, еще два раза дополняла), Антонина Николаевна посчитала свой долг перед инженерным делом выполненным. А впрочем, и на момент выхода в свет учебника она не была в долгу перед инженерной профессией. Ведь в те времена, когда она занималась проектированием московского метро, работая в институте Метропроект, само словосочетание «женщина-инженер» звучало необычно. Тем не менее «инженерному перу» Пирожковой принадлежат такие шедевры московского метро, как станции «Площадь Революции», две «Киевские» — кольцевая и радиальная, «Павелецкая». Аналогов московскому метро нет в мире — оно создавалось в уникальных геодезических условиях. Антонина Николаевна и ее коллеги не могли опираться на опыт предшественников — они изобретали метро заново. Как часто на станции метро «Маяковская» можно увидеть людей, запрокинувших голову, чтобы полюбоваться куполами с мозаикой художника Александра Дейнеки. И только немногие знают, что именно Пирожкова чудом сумела преобразить уже возведенную конструкцию станции «Маяковская», первоначальный проект которой не предусматривал высокого потолка с куполами!

Людям, знавшим Антонину Николаевну, казалось, что после выхода в 1965 году на пенсию она целиком посвятила себя Бабелю — его наследию, памяти о нем. Но вот в середине 1990-х, выпустив самое полное собрание сочинений Бабеля и опубликовав в России и за рубежом дневник писателя 1920 года (своеобразный черновик «Конармии»), она посчитала свой долг перед Бабелем выполненным. Кто посмел бы ее упрекнуть, сделай она и сотую долю того, что сделала ради мужа? Ни после ареста Бабеля летом 1939 года, ни позднее она не вышла замуж, считая такой шаг предательством по отношению к его памяти. (А ведь «заботливый» следователь НКВД уже тогда, в 1939 году, советовал тридцатилетней женщине «устраивать свою жизнь»…) В течение долгих пятнадцати лет, с 1939-го по 1954-й, Антонина Николаевна ежедневно ждала возвращения Бабеля. НКВД все эти годы обманывал семью писателя, заверяя, что расстрелянный ими в январе 1940 года Бабель, дескать, жив, здоров и содержится в лагерях. Через год после смерти Сталина в числе первых добилась Антонина Николаевна реабилитации имени мужа. В годы оттепели и застоя по крупицам собирала она бабелевский архив,

сражалась за издание его сочинений и воспоминаний о нем, за организацию юбилейных вечеров памяти, за возвращение конфискованных при аресте неопубликованных рукописей.

Исследователи творчества Бабеля должны были бы поставить Антонине Николаевне памятник при жизни. Сколько сведений о Бабеле почерпнули они из ее воспоминаний! В книгах своих и статьях многие литературоведы беззастенчиво переписывали страницы из воспоминаний А.Н., почти ничего в них не меняя и не считая даже нужным ссылаться на первоисточник. А написала Антонина Николаевна свои воспоминания вот почему. Собрав в начале семидесятых для сборника воспоминаний о Бабеле мемуары таких маститых коллег мужа, как Илья Эренбург, Константин Паустовский, да и многих других, она поняла: человеческий облика Бабеля в книге отсутствует. Именно этот образ и воссоздала в своих воспоминаниях А.Н. И действительно, не было на земле человека, который так близко знал бы Бабеля, кто прожил бы рядом с ним почти неразрывно семь лет жизни, явился бы свидетелем тех событий, которые испытала А. Н. Вероятно, не было на земле никого, кто понимал и ценил бы Бабеля как человека и писателя так глубоко, как А.Н.

Не проходило и недели, чтобы в нашей московской квартире не появлялся иностранный аспирант или литературовед. Из русских специалистов мало кто осмеливался заниматься «непопулярной» в советское время темой Бабеля. Исключение составляли омский литературовед Сергей Поварцов и московский исследователь Ушер Спектор. А вот поток зарубежных посетителей не оскудевал. Англичане, американцы, французы, немцы, израильтяне то и дело появлялись в нашей квартире на окраине Москвы. Часами сидели они над собранными А.Н. сокровищами — немногочисленными уцелевшими рукописями Бабеля, его дневником 1920 года, папками со статьями о нем в советской и зарубежной печати, прижизненными изданиями, зачастую не переиздававшимися.

Один из таких исследователей, англичанин Дэвид Хогг, в 2012 году откликнулся в «Таймс» на напечатанные в английской прессе некрологи А.Н. «Молодым аспирантом, работающим над курсовой работой по Бабелю, — писал Дэвид Хогг, — мне посчастливилось встречаться с Антониной Николаевной зимой 1970–1971 годов. Я приходил в ее крошечную московскую квартиру в морозные полдни, и она не разрешала мне приниматься за работу, лично не убедившись, что я съел дышащую паром миску сваренной ею каши. Не в этом ли секрет ее 101 года?»

Про кашу литературовед написал в «Таймс» для колорита.

Всех исследователей творчества Бабеля, всех до одного, Антонина Николаевна кормила обедом из трех блюд. И продолжалось это в течение десятилетий. Да, она обожала сидеть и смотреть, как люди едят. Это была ее слабость. В особой степени эта слабость распространялась, конечно же, на любимого внука.

Еженедельные появления в нашей квартире иностранцев вызывали у меня неописуемый ужас — общение с иностранцами и во времена застоя казалось необыкновенно рискованным занятием. (Наряду с ужасом я, конечно же, испытывал и гордость, и чувство собственной исключительности.) Опасения мои, впрочем, не были безосновательны. Из недавно опубликованных воспоминаний американского литературоведа Патриции Блейк я узнал, что еще в 1960-е годы КГБ снабдил квартиру семьи Бабеля «жучками» — общение Антонины Николаевны с иностранцами аккуратно прослушивали и записывали на пленку. Однажды летом 1987 года в дверь нашей квартиры позвонили. На мой вопрос: «Кто?» — последовал ответ: «КГБ». Я открыл дверь, и в комнату вошли двое молодых людей в штатском. Они хотели говорить с бабушкой. Меня поразило, с каким спокойствием и самообладанием встретила Антонина Николаевна эту пару. В книге описан этот эпизод и происшедший при этом разговор. Сотрудники органов пришли в ответ на очередной запрос Антонины Николаевны о судьбе конфискованных при аресте рукописей Бабеля. Воспроизведенный А.Н. в книге диалог с работниками органов безопасности точен, но тут важен не диалог, а интонации, подтекст, «немая игра» в паузах. Антонина Николаевна держалась с гостями строго (как мне тогда казалось, вызывающе). Слова: «Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу?» — были сказаны с иронией, почти презрительно. Весь визит не занял, по-моему, и пяти минут.

Несмотря на заверения КГБ, что рукописей не существует, Антонина Николаевна не прекратила попытки вернуть читателю бабелевское наследие в полном его виде. (А впрочем, может ли быть полным наследие писателя, творчество которого было прервано насильственным путем?) В последний раз А.Н. обратилась с просьбой о проведении поисков рукописей Бабеля уже к российском властям в 1995 году. За год до этого в Москве, в Институте мировой литературы проходила конференция, посвященная столетию со дня рождения писателя. Бабушка не пропускаланиодного заседания, ни одного доклада — конференция готовилась при ее участии. Во время конференции обнаружилась новая информация о возможном местонахождении конфискованного архива. Выяснилось, что по прибытии в НКВД архив был затребован «наверх». Узнали даже фамилию человека,

который запаковывал и отвозил конфискованные папки. (По иронии судьбы человек этот умер буквально за месяц-два до того, как обнаружилась эта информация.) И Антонина Николаевна немедленно возобновила поиски. Но запрос вдовы Бабеля в канцелярию президента остался без ответа.

На следующий год восьмидесятисемилетняя Антонина Николаевна уезжала из России в США, невзирая на советы друзей, что в таком возрасте-де устраивать жизнь на чужбине поздновато… Среди людей, дававших эти разумные советы, был литературовед Александр Жолковский. В разговоре с Антониной Николаевной незадолго до ее отъезда он спросил:

— Чем вы будете там заниматься?

— У меня есть дело. Я буду писать мемуары.

— О Бабеле?

— Нет, с Бабелем у меня все закончено. Я прожила свою интересную жизнь.

А впереди у Антонины Николаевны была еще одна жизнь — американская. Примечательно, что, пожелай она того, жизнь эта могла бы начаться намного раньше — еще в тридцатые годы. Дело в том, что на том же Кузнецкстрое за Антониной Николаевной ухаживал американский специалист-консультант — обеспеченный (в отличие от своих советских коллег) инженер. Он звал русскую красавицу с собой в Америку, показывал фото роскошного особняка с припаркованным у входа авто. Продолжалось это ухаживание и в Москве, уже после знакомства Антонины Николаевны с Бабелем. Ну да читатель знает, кому отдала предпочтение Пирожкова.

Конечно, бабушка переехала в 1996 году в США не по собственной инициативе, а по настоянию автора этих строк. Кризис в России в начале 1990-х годов вынудил меня, режиссера по образованию, искать работу на чужбине. К середине девяностых я почувствовал себя востребованным в американском театре не только как актер и режиссер, но и как педагог. Моя жена, американка, не хотела жить в России. Судьба мамы и бабушки, остававшихся в Москве, вызывала у меня опасения, и я настаивал на их переезде в США. Здоровье Антонины Николаевны к тому времени пошатнулось. Сердечные приступы и вызовы неотложки следовали один за одним. Бабушка ехала в Америку умирать, а потому новую книгу воспоминаний, которую она начала писать немедленно по приезде, не надеялась закончить. Забегая вперед, скажем, что Господь Бог и американские врачи продлили жизнь Антонины Николевны на четырнадцать лет. Доктор Деннис Каллен — лечащий врач А.Н. на протяжении десяти лет — вызывал у нее к тому же и человеческую симпатию,

на которую он отвечал взаимностью. Благодарность этому врачу Антонина Николаевна всегда хранила в своем сердце.

Через шестьдесят лет после первого приглашения переехать в Америку Антонина Николаевна очутилась в предместье Вашингтона, в далеко не роскошном, но уютном коттедже. К ее удивлению, журналисты и исследователи творчества Бабеля не потеряли ее из виду. Она часто давала интервью для телевидения и документальных фильмов. Интервью эти, всегда содержащие просьбу подробно рассказать об аресте Бабеля, происшедшем на ее глазах, она честно «отрабатывала». Эта привычка была выработана в начале 1990-х годов во Франции и Германии. Именно там, в Европе, Антонина Николаевна нарушила свой обет никогда не давать телевизионные и киноинтервью.

После переезда в Америку на родину она больше не возвращалась и за пределы США не выезжала. По Соединенным Штатам же путешествовала в основном в связи с публикациями ее воспоминний о Бабеле. Например, по просьбе издательств она дважды, в 1996 и 2001 годах, ездила в Нью-Йорк на презентации ее книги, вышедшей в Америке на английском и русском языках. В 2004 году Антонина Николаевна, в возрасте девяносто пяти лет ездила с дочерью Лидией Исааковной в Сан-Франциско — на Бабелевскую конференцию, организованную Стэнфордским университетом. Познакомившись там с китайскими поклонниками творчества Бабеля, она написала обращение к китайским читателям, опубликованное в первом издании произведений Бабеля в этой стране.

В нашем решении поселиться под Вашингтоном сыграл роль тот факт, что именно там проживала дочь Бабеля от первого брака, Наталия Исааковна Бабель. С Наташей (Натали) Бабель мы общались и до переезда в США, и после. Несколько раз, в 1960-х — 1980-х годах, она приезжала в Москву, чтобы повидаться с нами. В начале 1960-х Антонина Николаевна отдала Наташе тексты всех известных на то время произведений Бабеля, договорившись, что та будет публиковать их в Америке и Европе. (Участие в таких публикациях Антонины Николаевны и Лидии Исааковны в советское время было проблематично.) Когда в начале 1980-х у Антонины Николаевны случился инфаркт, Наташа, гостившая тогда в Москве, отложила срок своего отъезда и оставалась в Москве, пока здоровье Антонины Николаевны не пошло на поправку. В 1990-х годах — когда Антонина Николаевна с дочерью путешествовала по Европе в связи с изданием Бабелевского дневника 1920 года — Наташа специально приезжала в Париж для того, чтобы с ними повидаться. К Антонине Николаевне она относилась тогда тепло,

и Антонина Николаевна платила ей взаимностью.

Люди, связанные с Бабелем, а особенно его дети, были моей бабушке дороги. С такими людьми Антонина Николаевна в основном и общалась, ими и окружала себя. С любовью относилась она к Мише, Михаилу Иванову — сыну Бабеля и Тамары Кашириной, усыновленному вскоре после рождения писателем Всеволодом Ивановым. Кончину Мишы в 2000 году Антонина Николаевна переживала тяжело. Приехав летом 1993 года на мою свадьбу в США, Антонина Николаевна помогала Наташе разбирать письма отца, которые та готовила к публикации. По переезде в Америку в 1996 году А.Н. продолжала общаться с Наташей, но в том же году вышла книга воспоминаний А.Н. о Бабеле на английском языке…

В последний период своей жизни Наталия Бабель много думала об отце, о том, как и почему расстались ее родители. Отношение ее к Бабелю и к новой его семье у Наталии постепенно менялось. Я уверен, что здесь большую роль сыграли одиночество и болезнь, преследовавшие ее в последние годы жизни. Именно в эти годы Наталия иногда позволяла себе резкие высказывания в адрес Антонины Николаевны[1]. «Обвинений», собственно, она ей никаких предъявить не могла — да и кто осмелился бы ее в чем-либо упрекнуть? Бабель расстался со своей первой женой, матерью Наталии, задолго до встречи с Антониной Николаевной. Отношения между Бабелем и Евгенией Борисовной Гронфайн, матерью Наталии, развивались сложно. После рождения Наташи в Париже в 1929 году стало ясно, что отношения эти прекратиться не могут, но и на восстановление семьи ни та, ни другая сторона так и не пошла. Возвращение Евгении Борисовны с Наташей и престарелой матерью Бабеля в СССР было не возможно. А Бабель не собирался эмигрировать. Собственно, в этот момент Бабель и познакомился с Антониной Николаевной.

Прочитав под конец своей жизни воспоминания бабушки, Наташа, вероятно, решила, что именно А.Н. была повинна в том, что Бабель не остался в Париже. Конечно, в этом была доля правды. Но и помимо Антонины Николаевны, которую Бабель любил и которой гордился, были и другие, сугубо профессиональные причины, побуждавшие его остаться в СССР.

Разладившиеся отношения с Наталией Бабель омрачали жизнь Антонины Николаевны. Смерть же Натальи Исааковны в 2005 году произвела на нее глубокое впечатление.

Удивительно, как умело распоряжается датами судьба. Уже летом 2006 года, через полтора года после смерти Наташи, Антонина Николаевна вместе с семьей навсегда покинула

предместье Вашингтона и переехала во Флориду, в культурный оазис штата — город Сарасоту. Задолго до всех других членов нашей семьи девяностосемилетняя Антонина Николаевна упаковала в чемоданы и коробки одежду, обстановку своей комнаты и архив Бабеля. Она была готова к последнему в своей жизни переезду. В Сарасоте А.Н. наслаждалась флоридским климатом, подолгу просиживая в саду у дома, продолжала ходить на концерты, в театр — в основном, на мои спектакли, радовалась приездам из-под Вашингтона родителей моей жены. Любовь Антонины Николаевны к родственникам, в том числе и к американским, была еще одним отличительным ее качеством. Насколько Бабель был равнодушен к своей родне (кроме, конечно, ближайших членов семьи), настолько бабушка обожала родственников. В России она без конца помогала своим родным, а в Америке прониклась безграничной симпатией к Сильвии и Клэю, родителям моей жены. Она полюбила и их, и всех их детей и родственников. А те платили ей взаимностью.

15 июля 2007 года в Сарасоте Антонина Николаевна поставила последнюю точку в книге воспоминаний о своей жизни. Подобно Бабелю, она писала от руки. Садилась в мягкое кресло в своем кабинете или же в плетеное кресло на веранде, где было посветлее, клала на колени специальную доску с мягким днищем и мелким почерком исписывала ученическую тетрадку в твердой обложке, толщиной в двести страниц. Ко времени окончания работы над воспоминаниями тетрадей таких набралось шесть. Трудолюбие бабушки было необычайно. Ей было сильно за девяносто, а она, подобно Юрию Олеше, с которым была хорошо знакома, жила по девизу «Ни дня без строчки». С такой же усидчивостью исписывала Антонина Николаевна тетради колонками английских слов. Она изучала английский язык. И выучила его таки, хоть английский и ненадолго удержался у нее в памяти.

Данное когда-то слово не возвращаться в воспоминаниях к Бабелю Антонина Николаевна не сдержала. То и дело возникает он на страницах книги. Из памяти Антонины Николаевны выплывают один за другим не записанные еще эпизоды встреч с Бабелем, совместной жизни с ним. Она вспоминает друзей мужа: среди них не только писатели и артисты, но и военачальники, директора крупных заводов, наездники… Большинство этих людей, имена которых известны сегодня только специалистам, разделили трагическую судьбу Бабеля. Постепенно исполняется мечта бабелеведов — история ухаживания Бабеля, история любви вырисовывается на страницах книги… Целомудренная атмосфера этого ухаживания, щедрые нравы бабелевских друзей — все это

напоминает сегодня рыцарские романы. Поклонник Бабеля писатель Гехт определил эту атмосферу словосочетанием, звучавшим в свое время забавно, — «советская старина».

Знакомство Антонины Николаевны с Бабелем могло оказаться кратким: с момента случайной (а может быть, и предначертанной) встречи на обеде у председателя Востокостали Иванченко до отъезда Бабеля в Париж летом 1932 года прошло всего-то четыре месяца. Да, Бабель умел ухаживать за женщинами! Исподволь, незаметно сумел он «обставить» жизнь Антонины Николаевны так, чтобы во время отсутствия его в Москве и обстановка жизни, и окружающие ее люди — всё напоминало ей о нем. А из Парижа шли письма — ежедневно. По Москве ходили слухи, что Бабель не вернется из Парижа. А впрочем, зачем забегать вперед? Ведь Антонина Николаевна включила в книгу о своей жизни всё из написанного ей когда-то о Бабеле, основательно дополнив страницы о муже.

Летом 2010 года одесская журналистка Снежана Павлова попросила нашу семью ответить ей письменно на несколько вопросов, связанных с проектом памятника Бабелю в Одессе работы скульптора Георгия Франгуляна. Просьбу эту мы выполнили — в том числе послав журналистке несколько ответов на вопросы, адресованные А.Н. Журналистка опубликовала ответы А.Н. в киевском издании газеты «Известия». Редакция московских «Известий» перепечатала статью, прибавив к ней сенсационное вступление: вдова Бабеля в возрасте 101 года прилетела в Одессу для того, чтобы увидеть макет памятника мужу, встретиться со скульптором (который, кстати, проживал в Москве) и пообщаться с одесской журналисткой. Эта выдумка была опубликована в московских «Известиях» с подачи редакции. Так появилась в средствах массовой информации подхваченная уже десятками, если не сотнями интернетных изданий легенда о поездке А. Н. Пирожковой летом 2010 года в Одессу. Как я ни просил журналистку Снежану Павлову дать опровержение в печати, она это сделать так и не осмелилась. Понадеялась на киевские «Известия», а им, вероятно, и дела было мало. Мне же, в связи с болезнью бабушки, было тогда не до опровержений. Красивая легенда: вдова за несколько месяцев до смерти летит на родину мужа, чтобы «утвердить» макет памятника мужу. Пусть, подумал я, останется эта история на совести московских «Известий». Их ведь тоже можно понять — достоверность достоверностью, а газету надо продавать!

Антонина Николаевна последние два года своей жизни серьезно болела, и все же уход ее в воскресенье 12 сентября 2010 года был неожиданным. Казалось, она решила уйти именно в этот

день. День 11 сентября ассоциируется в Америке с всеобщей трагедией, и Антонина Николаевна дождалась, когда время перевалило за полночь. Умирать на следующий день, 13-го числа в понедельник, ей, вероятно, казалось безвкусицей. Так я рассуждал тогда, но время скорректировало мои догадки.

Через год после смерти бабушки, в сентябре 2011 года, я оказался в Одессе, где открывали первый на свете памятник Бабелю. Сбор средств на этот памятник, организованный Всемирным клубом одесситов, шел трудно, и срок открытия памятника несколко раз откладывался. Не дожидаясь наличия средств, скульптор Франгулян решился приступить к лепке глиняной формы для отливки памятника. Это было рискованное решение, так как по изготовлении глиняной формы процесс отливки памятника нельзя откладывать. Форма не может долго храниться, памятник нужно отливать в бронзе. Скульптор таким образом брал на себя обязательство изготовить дорогостоящий памятник, не имея полной гарантии возмещения средств. Сопоставив со скульптором сроки, мы выяснили, что Антонина Николаевна умерла в Сарасоте в тот самый час, когда в Москве Франгулян замесил глину. Посвятившая полжизни увековечению памяти Бабеля, она, казалось, успокоилась…

Бабушка обладала многими уникальными качествами. Одно из них было — умение любить. Замечали ли вы, как мало на свете людей, умеющих до конца посвятить себя другому человеку, своей профессии, семье и раствориться в них? Замечали ли вы, что именно при полном растворении личность человека становится более значительной, выпуклой и притягательной? А люди, старающиеся сохранить свою индивидуальность, заботящиеся о самостоятельности, мельчают, теряют силу притяжения.

Конечно, характер Антонины Николаевны с годами менялся. Она была человеком необычайной внутренней силы. До моего рождения, да и в детстве моем характер ее можно было назвать и властным. В принципиальных случаях возражений она не терпела, да и вряд ли кто посмел бы ей перечить.

Одна черта А.Н. меня поражала — она совершенно не умела злиться. Вспоминала слова Екатерины Павловны Пешковой, приведенные в этой книге: «Очень жалею людей, которые могут гневаться». Так вот, А.Н. могла грустить, переживать, даже обижаться, но злости, гнева, ненависти за сорок три года, проведенные с ней под одной крышей, я не приметил. Ни разу я не слышал, чтобы она повысила голос. Были люди, которых она недолюбливала, — они ее огорчали, она в них разочаровывалась (и справедливо), но и на этих людей она не гневалась — могла

выказать равнодушие, раздражение, в крайнем случае презрение; гнев же — никогда. Душа Антонины Николаевны была чиста; эта чистота высшего порядка, вероятно, выкристаллизовалась со временем.

В книге А.Н. поражают эпизоды, где она любуется изяществом внука Берии или горюет по поводу судьбы его сына Сергея, пострадавшего за отца. А речь ведь идет о сыне и внуке человека, причастного к аресту и расстрелу мужа. Какую же нужно иметь душевную широту, чтобы даже в таком случае не ассоциировать сына с отцом!

От многих фотографий А.Н. исходят мощные токи. Что они излучают? Тут и сила воли, и чувство юмора, и лукавство, и самодостаточность человека, хорошо знающего себе цену; доброжелательство и жизнелюбие, и та самая внутренняя чистота, о которой я уже говорил. Я понимаю, конечно, что трудно поверить в существование человека, лишенного каких-либо недостатков. Были они и у А.Н. Она могла показаться излишне прямой в общении с собеседником. (Это в тех случаях, когда собеседник был ей неприятен, то есть говорил глупости, скабрезности, пошлости.) Бабель во время совместной жизни с ней поставил ее на пьедестал, с которого она не спустилась. К похвале была неравнодушна, но ведь она ее заслуживала. Могла быть взыскательна, требовательна, даже излишне строга к близким. Большинство друзей и знакомых Антонины Николаевны принадлежали к кругу людей, которые были ей интересны (то есть каким-то образом были связаны с Бабелем, с памятью о нем). Вот эти люди недостатков А.Н. не замечали; им казалось, что изъянов у нее совсем нет. Они ее боготворили и всячески старались ей подражать. А тянулось к Антонине Николаевне множество людей — очень разных, известных и неизвестных — всяких. Бабель учил ее искусству общения с людьми, и она овладела этим искусством. Наука Бабеля состояла в умении слушать и в полном отсутствии чванства. Ничто не раскрывает так человека, как внимание к нему и скромность в поведении собеседника.

Любовь Антонины Николаевны к людям не имела ничего общего с сентиментальностью и выражалась не в словах, а в делах. По выражению Достоевского, это была «действенная любовь». Помню, на даче каждый вечер бабушка читала мне, десяти-двенадцатилетнему мальчику, «Одиссею» или «Илиаду», «Мертвые души» и «Песню о Гайавате» Лонгфелло. Куда бы я ни пошел, в каком бы лесу или дворе ни играл, она стояла за деревцем — наблюдала, чтобы меня, не дай Бог, никто не обидел. Да и дача-то снималась из-за меня. Из-за меня каждую весну,

несмотря на здоровье, отправлялась А.Н. за город засаживать на будущей даче огород. Сама вела хозяйство — ведь мама, Лидия Исааковна, растила меня без мужа и постоянно была занята на работе, отвечала за группу архитекторов, работающих над очередным проектом. Бабушка водила меня в школу, часами просиживала в холлах музыкальной школы, ожидая, когда закончатся занятия. Ежедневно сидела со мной у фортепиано или за уроками. Плакала от полной неспособности моей к точным дисциплинам. Кропотливо, месяц за месяцем, записывала Антонина Николаевна в большую клеенчатую тетрадь «летопись» моего детства и юности, отмечая проявления чувства юмора, фантазии, находчивости, остроумия, творчества — всех тех качеств, которые она считала бабелевскими. Эти же проявления она поощряла во мне ежедневно. Конечно же, ее любовь ко мне была продолжением безграничной любви к Исааку Эммануиловичу.

Мне, ее внуку, казалось, что нет ничего сильнее той любви, которую она испытывала ко мне, но вот в семье появился правнук, Николай, и лицо Антонины Николаевны засветилось доселе незнакомым светом. Она любила правнука самозабвенно — такой любви я никогда не видел и, вероятно, больше не увижу. Буквально за наделю до смерти А.Н., когда надежды на ее выздоровление уже не оставалось, Коля вошел как-то в ее комнату. Лицо Антонины Николаевны озарила улыбка; оно излучало блаженство. Голос ее сделался сильным; она в последний раз объяснилась правнуку в любви, как будто никакой болезни и не было. После этого случая, приведшего нас в изумление, мы наблюдали уже постепенное угасание.

Когда-нибудь Николай, правнук Антонины Пирожковой и Исаака Бабеля, прочтет эту книгу… Действие ее охватывает почти целиком XX столетие. А.Н. была непосредственным участником многих его исторических событий. Она была знакома и дружила с такими людьми, как Сергей Эйзенштейн, Соломон Михоэлс, Илья Эренбург, Екатерина Павловна Пешкова и Юрий Олеша. (К сожалению, за пределами книги осталось ее общение с Самуилом Маршаком и дружба с писателем-историком Георгием Штормом.) В книге А.Н. описаны встречи с историческими личностями — такими, например, как Михаил Калинин и Авель Енукидзе. Даже в эпизодах книги проскальзывают кажущиеся почти невероятными детали. За две недели до смерти, в январе 1948 года, Сергей Эйзенштейн звонит Антонине Николаевне по телефону — то ли справиться, почему она его накануне не поздравила с пятидесятилетием, то ли попрощаться. В 1991 году Антонина Николаевна подписывает книги в парижском книжном

магазине. Первый в очереди — лауреат Нобелевской премии Жоржи Амаду.

Бабель передал А.Н. свой дар — он передал ей интерес к людям независимо от их ранга и звания. В книге встречаются страницы, посвященные людям на первый взгляд неприметным. Рассказывая об их судьбе, часто трагической, а порой героической, Антонина Николаевна делает этих на первый взгляд ничем не примечательных людей близкими и интересными читателю. Взять, к примеру, «новеллу» о судьбе простой абхазской женщины Такуш. Новелла эта родилась у А.Н. в годы войны, во время пребывания на Кавказе. Так же, как и А.Н., Такуш в молодости потеряла горячо любимого мужа. Испытав горе и нищету, Такуш тем не менее сохранила и веселый нрав, и любовь к жизни. В свое время А.Н. хотела подарить сюжет этой новеллы Паустовскому (считала, что этот рассказ в его стиле), но так этого и не сделала. В конце концов она записала рассказ о Такуш, записала так же естественно, как она его рассказывала.

Разговорным русским языком Антонина Николаевна владела в совершенстве, этот талант привлекал к ней многих людей — и старых интеллигентов, и иностранцев, изучающих русский язык, и молодежь. Недаром сам Бабель говорил Николаю Эрдману об устных рассказах Антонины Николаевны: «Вот если бы написать так, как она рассказывает…» И еще одно свойство А.Н. было подмечено Бабелем — умение рассказать о делах сугубо профессиональных, технических так, чтобы и для непрофессионального читателя рассказ был увлекательным. И это свойство читатель обнаружит на страницах книги.

Время от времени журналисты задавали Антонине Николаевне вопрос: как сама она объясняет тот факт, что не была арестована? Быть может, ей послужила защитой уникальная ее специальность? О том, почему ее, «жену врага народа», не арестовали, Антонина Николаевна размышляла неоднократно. Причин на это, по ее разумению, было несколько. Во-первых, у каждого нового главы НКВД была своя политика по отношению к женам репрессированных. Пришедший незадолго до ареста Бабеля на пост главы НКВД Берия жен почему-то не трогал. Одновременно с Бабелем, почти в один день с ним, были арестованы Всеволод Мейерхольд и Михаил Кольцов. Жен же их не арестовали. (Судьба жены Мейерхольда, актрисы Зинаиды Райх, трагична, но «официально» НКВД ничего против нее не имел.)

Кроме того, Антонина Николаевна была действительно уникальным специалистом. У Сталина были свои «любимчики». Летчиков и метростроевцев он отмечал особо, да и заступники у

них, в отличие от «братьев-писателей», были. За метро отвечал Каганович, который во время войны готов был даже эвакуировать своих специалистов с Кавказа в Иран — лишь бы сохранить им жизнь. И этим, вероятно, объясняется тот факт, что Антонину Николаевну не тронули. Мало того, что не тронули, — оставили на довольно высокой должности в Метропроекте и продолжали продвигать по службе, конечно, в отведенных для беспартийных специалистов пределах.

Еще одно важное обстоятельство. Во время войны А.Н. посчастливилось. День 22 июня 1941 года застал ее с мамой и дочкой по дороге на Кавказ — Антонина Николаевна была командирована туда для строительства железнодорожных тоннелей. Начальство отдало приказ: в Москву не возвращаться, продолжать следовать к месту назначения. В Москву А.Н. с семьей вернулась с Кавказа только в феврале 1944 года, когда столицу уже не бомбили. Квартиру свою они нашли разграбленной, а на работе А.Н. сообщили, что, пока она была на Кавказе, в Метропроект приходили из органов о ней «справляться». Окажись она в это время в Москве, еще неизвестно, как сложилась бы ее судьба…

Большое место в воспоминаниях Антонина Николаевна отводит родной Сибири. В дореволюционное время Сибирь предстает землей сказочного изобилия. Оно постепенно оскудевает в годы Советской власти. Причем речь здесь идет не только о природных дарах Сибири, но и о ее талантах. Прощаясь с однокурсниками по окончании института, Антонина Николаевна с грустью замечает, что наиболее одаренные студенты пристрастились к водке. С горечью описывает она пагубные привычки своего друга — гениального русского Левши, автора Останкинской телебашни Николая Никитина. Несмотря на то что многие из томских сокурсников А.Н. перебрались в Москву, по окончании сибирских глав они выпадают из книги. Тем не менее в устных воспоминаниях и интервью Антонины Николаевны порой возникали старые знакомые-сибиряки. Вспоминала она, как уже в Москве консультировалась у Никитина по поводу подвернувшейся ей «халтуры» — газгольдера на растяжках. Эта область была незнакома А.Н., а Коля Никитин работал в то время со специалистом по этим вопросам — Юрием Кондратюком. Интересно, что о Кондратюке А.Н. впервые услышала не от Никитина, а от Бабеля. Тот с жаром рассказывал жене об этом выдающемся инженере и изобретателе, о том, как Кондратюка не признают, не принимают его проектов, как он выпустил на собственные деньги книжку о межпланетных полетах…

Время от времени московские томичи собирались вместе. Никитин после неудачного первого брака женился вторично. Новая жена не хотела, чтобы он встречался со старыми приятелями. У Антонины Николаевны сохранился снимок: собрались бывшие томичи, все, кроме Никитина. На обороте снимка надпись: «А где Никитин? Макнём его!» Задорный сибирский юмор, но звучит горько.

В первые годы советской власти, как и в царское время, Сибирь — место обитания ссыльных. Иронией судьбы и после революции в ссылке оказываются революционеры. Это сторонники Троцкого, преследуемые Сталиным. Специалисты, окончившие институт в Женеве, бывшие дипломаты, знатоки архитектуры и искусства коротают вместе длинные сибирские вечера. В организованный ими литературно-политический кружок приглашают А.Н. Она симпатизирует этим людям, озабоченным положением рабочих в сталинской России. Ссыльные интеллигенты подготовили Антонину Николаевну к Москве, к общению с Бабелем, Эрдманом, Олешей — писателями, разделявшими идеалы революции, но не ее методы. А.Н. не вступала в партию, но до последних дней жизни считала, что честный интеллигент со времен Герцена и Чернышевского (да и ранее) не может не сочувствовать революционным идеалам. Что же касается ссыльных «троцкистов» — все они возвратились из Сибири в Ленинград и Москву только для того, чтобы сгинуть в сталинской мясорубке.

Выйдя в середине 1960-х годов на пенсию, Антонина Николаевна возвращается в страну своего детства — повидаться с братьями. В разоренной советской властью Сибири царят теснота, нищета и скудость. Любимые братья, интеллигентные люди, спиваются и болеют. Жизнь ни у кого, даже у семейных, не сложилась…

Часто фигурирует в воспоминаниях Антонины Николаевны дом в Большом Николоворобинском переулке. В этом доме Бабель жил сначала с соседом — австрийским инженером, потом с женой и дочерью, здесь принимал именитых гостей — Лиона Фейхтвангера, Андре Мальро и Андре Жида. Летом 2011 года во время съемок американского документального фильма о Бабеле я провел несколько часов в Николоворобинском переулке. Он остался практически нетронутым. Крутой подъем вдоль Яузского бульвара, от Тессинского переулка к улице Воронцово Поле (бывшая улица Обуха), окружен по обеим сторонам теми самыми домами, которые стояли здесь и при Бабеле. Казалось, тут должен был бы располагаться сегодня музей-квартира Исаака Бабеля. Но московские власти в шестидесятые годы снесли тот самый дом, в

котором жил Бабель с семьей, и стоявший рядом с ним точно такой же дом, оставив остальную часть улицы нетронутой. Во время съемок документального фильма я побывал во многих местах, связанных с последними днями Бабеля: был на месте пыточной Сухановской тюрьмы, в бывшем Донском крематории, в дачном поселке Переделкино, откуда забрали Бабеля. Но нигде не ощутил я такой трагической энергии, какую почувствовал рядом с тем местом, где стоял когда-то разрушенный дом в Николоворобинском. Не потому ли мне было так горько, стоя на этом месте, что именно здесь, в этом доме, Бабель обрел свое счастье — впервые за мытарскую, скитальческую его жизнь у него была семья: жена, красивая и умная, двухгодовалая дочка Лида? Не эту ли боль — боль расставания с дорогими, любимыми людьми — ощутил я в тот день?

В воспоминаниях Антонины Николаевны мельком проскальзывает фраза: «Мужественные люди могли вынести и пытки, и были такие примеры, но когда заключенному говорили, что сейчас приведут сюда его жену и маленького ребенка и будут мучить на его глазах, вряд ли кто мог это вынести. И чтобы этого избежать, человек соглашался подписать любые обвинения, а значит, и свой смертный приговор». В этой фразе, быть может, содержится разгадка поведения Бабеля на допросах. Мало того, в ней, возможно, содержится и тайна выживания и относительного благополучия семьи Бабеля. Ведь даже безжалостные люди из НКВД, заключив сделку с арестованным, порой держали свое слово. «Если бы знать…»

Несмотря на свою трагическую судьбу, Антонина Николаевна считала себя счастливым человеком. Она часто говорила и писала о том, что «очень любила свою работу и считала свою инженерную судьбу счастливой». «Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой», — пишет она в этой книге. Подобно персонажу ее воспоминаний Такуш, она не жаловалась на судьбу. И так всю жизнь. Только за пять лет до смерти в разговоре с английским журналистом Томасом де Ваалом она произнесла фразу, которую я никогда от нее не слышал ни до того, ни после. Она сказала: «Каждый вечер, перед тем как уснуть, я представляю себе, как Бабеля вели на расстрел…» А впрочем, и раньше, до того как были сказаны эти слова, на вопросы журналистов «Как же вы это пережили?» она отвечала: «А я этого и не пережила»… Вот так, не подавая вида, она десятилетиями хранила в душе отпечаток этой трагедии…

Когда Антонины Николаевны не стало, крупнейшие газеты США опубликовали обширные некрологи. Подробные статьи появились в английских газетах «Гардиан» и «Телеграф».

Российские журналисты узнали о смерти Пирожковой из «Нью-Йорк Таймс». В русской прессе появились отклики на ее кончину под заголовками: «Последняя великая литературная вдова», «Пирожкова, вернувшая нам Бабеля».

Антонина Николаевна называла себя «нетипичной женой писателя». У нее была своя карьера, свои достижения, свои награды, своя известность. Исааку Эммануиловичу повезло со второй женой. Их объединяли любопытство и жадность к жизни, и особое чувство природы. Размышляя на тему о том, кто является его идеальным читателем, Бабель однажды сказал, что «хорошо рассказ читать только очень умной женщине». Вот таким идеальным читателем и была, казалось бы, Антонина Николаевна. Так почему же Бабель избегал разговаривать с ней на литературные темы? Ведь и с первой своей женой, и с Тамарой Владимировной Кашириной — судя по свидетельствам — Бабель обсуждал свои литературные дела. Одно время мне это было даже обидно, пока я наконец не догадался о причине таких взаимоотношений между супругами — с Антониной Николаевной Бабелю и кроме литературы было о чем поговорить…

В заключение мне хотелось бы обратить внимание читателя на одну особенность этой книги. Повествование в ней ведется с точки зрения того времени, в котором происходит действие. Сознательно или подсознательно, Антонина Николаевна избегает взгляда на прошлое из сегодняшнего дня, с позиций того знания, которым мы наделены сегодня. Голос автора, его видение ситуации созвучны текущему моменту. Здесь нет поправки на опыт истории; здесь есть непосредственность, порою наивная, и свежесть восприятия. Книга А.Н. — один из немногих памятников времени, передающий не только факты, но и психологию современника. В этом мужество, честность и притягательность этой книги.

Андрей Малаев-Бабель Сарасота,
штат Флорида
Февраль 2013

Часть первая
Детство и юность в Сибири

Мои родители

Непростительно мало я знаю о жизни своих родителей и почти ничего не знаю о прадедушках и прабабушках. Знаю только, что моя мать Зинаида Никитична Куневич родилась в 1877 году в местечке Любавичи Смоленской губернии, известном всему миру из-за находившейся там хасидской школы Шнеерсонов. Из поколения в поколение Шнеерсоны отправляли своих сыновей учиться за границу, но они должны были возвращаться в Любавичи, чтобы заниматься с молодыми хасидами в своей школе.

Отец моей матери Никита Селифанович Куневич был богатым крестьянином. У него была своя земля, но еще он арендовал земельные участки обедневших дворян, отдавая им половину собранного урожая. В семье деда было пятеро детей: два сына, Иван и Яков, и три дочери — Зинаида, Харитина и Анна, из которых моя мать была старшей. Если отец считал необходимым дать сыновьям образование, то посылал их учиться в Смоленск в землемерную школу. Дочерям же после окончания начальной школы приходилось выходить на полевые работы вместе с наемными работниками. Все дочери, и особенно моя мама, ненавидели работу на полях, которая начиналась ранней весной, продолжалась всё лето и заканчивалась глубокой осенью. Чтобы не дать лицу и рукам загореть, мама закрывала лицо, оставляя только отверстия для глаз, а на руки надевала перчатки.

Она решила, что зимой научится шить. Вряд ли что-нибудь хорошее можно было купить в таком местечке, как Любавичи. Швейной машинки в доме не было, всё шилось на руках. Благодаря своим способностям, терпению и аккуратности мама за зиму научилась разбираться в выкройках, шить, накладывая очень красивые строчки, и вышивать. У нее появились заказы.

Большую часть заработанного она отдавала отцу и немного денег оставляла себе. Получив от дочери деньги, дед освободил ее от работы в поле — мама своего добилась. Она любила хорошо одеваться и теперь могла себе это позволить, покупала модные шляпки и своим видом отличалась от других крестьянских девушек. И дружила она не с ними, а с дочерями лавочников или городских работников.

Мой дед со стороны отца — Иван Николаевич Пирожков — был начальником мужской гимназии в небольшом городке на границе России с Польшей. У него было четверо детей: старшая дочь Ольга и трое сыновей — Нил, Николай и Иван.

Моему отцу Николаю Ивановичу Пирожкову было тринадцать

лет, когда один за другим умерли его родители. Осиротевших детей разобрали семьи местной городской интеллигенции. Отец попал в семью священника. Сестра отца Ольга вскоре вышла замуж за чиновника и уехала жить в другой город, кажется, в Вязьму. Мой отец жил у священника до окончания той самой мужской гимназии, начальником которой был когда-то его отец. Затем он уехал к сестре.

Желание учиться дальше было главным, но денег на учебу не было, и отец занялся самообразованием. Он много читал, учил наизусть поэмы и стихи Пушкина и Лермонтова и, кроме того, научился рисовать. Мечтал стать адвокатом и поэтому старался освоить адвокатское дело.

Побыв некоторое время у сестры, отец по совету друзей уехал в Любавичи, чтобы там устроиться на работу. Мне неизвестно, кем он работал: занимал ли какую-либо должность в Волостном управлении, или, может быть, преподавал в школе — он был способен и на то, и на другое. Кроме того, продолжал заниматься своим любимым делом — адвокатской практикой.

Отец снял одну из свободных комнат в большом доме Куневичей, где и познакомился с моей будущей матерью. Мама мне рассказывала, что он всегда готов был наколоть дров для печки и так же охотно пойти гулять с мамой и ее подругами по загородной дорожке или же по центру Любавичей. Веселый, разговорчивый и остроумный человек… Все подружки моей мамы были в него влюблены.

Однажды по просьбе крестьян он написал жалобу на несправедливые действия властей и выиграл дело. Мама со смехом рассказывала, как крестьяне принесли ему за это гостинцы и, когда он прогнал их, расположились тут же, на крыльце дома, и стали поедать принесенное.

Жизнь в доме протекала спокойно и размеренно, пока не случилось большое несчастье. Однажды младший брат мамы Яков запряг тройку лошадей и поехал по каким-то своим делам на железнодорожную станцию Рудня. Но через какое-то время лошади вернулись обратно и привезли Якова… только уже мертвого. Следствие по этому делу велось долго, но без какого бы то ни было результата. Это не было грабежом, поскольку все деньги остались при Якове в неприкосновенности. Кому понадобилось убивать молодого человека, как было совершено убийство и почему — так и осталось невыясненным.

Никита Селифанович страшно переживал обрушившееся на него горе — ведь все его надежды были связаны именно с Яковом, которому он намеревался передать хозяйство. А старший сын Иван был человеком легкомысленным — всё куда-то уезжал, да и

женился уже не один раз.

Вскоре после этого несчастья в Любавичи из Сибири вернулся один из родственников или знакомых семьи.

В разговорах за столом он много рассказывал о Сибири, о богатстве этого края, о том, как легко там жить и найти работу. И моя мама сразу же решила, что надо ехать в Сибирь. Она не хотела выходить замуж из-за пристрастия Николая Ивановича к спиртному. Он не был алкоголиком и после выпивки лишь становился веселее и остроумнее, смешил всех своими рассказами и выдумками. Мама же сама никогда не пила и не любила пьющих. Но тут она дала согласие на брак, чего он давно добивался, и, сыграв свадьбу, молодые уехали в Сибирь, вопреки воле маминого отца.

Детство в селе Красный Яр

Приехав в Сибирь, мои родители поселились в богатом селе Красный Яр, где сняли квартиру у одинокой женщины. Я не запомнила ни имени нашей хозяйки, ни как она выглядела, зато хорошо помню очень вкусные калачики, которые она пекла из пшеничной муки. Еще горячими она складывала их в глиняный горшок и добавляла туда много сливочного масла и сметаны. Затем встряхивала горшок, добиваясь, чтобы смесь сметаны и масла хорошо обволокла и пропитала калачики и придала им так запомнившийся мне чудесный вкус.

Когда я родилась — а родилась я 1 июля 1909 года, — к нам в Красный Яр из Любавичей приехала бабушка, посмотреть на свою первую внучку. Она привезла с собой ту часть наследства, которую дед завещал маме.

Получив наследство, мама решила строить дом. В отличие от отца, который ничего не понимал в хозяйственных делах, моя мать была деловой и очень энергичной женщиной. Она сама составила план дома, сама покупала материалы, сама наняла рабочих и следила за ходом строительства.

Однажды мама взяла меня с собой посмотреть на строящийся дом, и я, зазевавшись, споткнулась о кирпич и упала. Рабочий, поднявший меня, сказал: «Ничего, землячок, до свадьбы всё заживет». Он назвал меня «землячок», потому что я была в штанишках. Но тогда меня это очень удивило, и я хорошо запомнила его слова. Думаю, что именно с этого моего падения и со слова «землячок» я и стала себя помнить. В то время мне было три года с лишним, и я помню наш дом, огород, всех окружавших меня людей. Хорошо помню, как крестили моего брата Олега у нас дома. По настоянию матери купель из церкви принесли к нам домой, хорошенько вычистили, затем мама облила ее спиртом и подожгла. Это был ее излюбленный способ дезинфекции. Пришел священник отец Владимир. Мама несколько раз пробовала пальцами воду, достаточно ли она теплая, и все боялась, как бы мальчик не захлебнулся. Как крестили меня и моего брата Игоря, родившегося через два года после меня, я не знаю. Возможно, носили нас в церковь, а может быть, и дома на той квартире, где мы жили до постройки дома. Моя мама вполне могла уговорить отца Владимира окрестить младенцев на дому, так как он дружил с отцом и бывал у нас в гостях, а мама была настойчива в своих желаниях.

Наш дом был весьма примечательным и выделялся на фоне других деревенских домов. Парадный вход вел в большую

переднюю, из которой можно было попасть в столовую и гостиную. Общее пространство этих двух помещений было разделено не дверью, а аркой и днем освещалось через большие окна в продольной и торцевой стенах. Из гостиной одна дверь вела в папин кабинет, а другая в спальню родителей. Такие же двери из столовой вели в детскую и на кухню. Из кухни через сени был выход во двор. А к сеням примыкала большая кладовая.

Электричества не было, и вечерами дом освещался керосиновыми лампами. Однажды отец привез из города спиртовую лампу, которую почему-то называли «лампа-молния». Ее повесили посередине арки, и она горела очень ярко, каким-то необыкновенным голубоватым, лунным светом.

Вечерами деревенская молодежь собиралась под нашими окнами танцевать, и нас просили подольше не закрывать ставни на окнах. В темные сибирские вечера это было единственное светлое место в селе.

Перед домом был палисадник, засаженный цветами и кустами шиповника, а позади располагался большой двор с сараями для скотины и птицы. За двором раскинулся обширный огород. В конце огорода была баня по-белому большая и светлая. Воду для нее носили из реки Кеть, которая протекала за огородом.

Обустроив дом, мама завела большое хозяйство: у нас были коровы, свиньи и много птицы — индейки, куры, гуси и утки. Расчет был такой, чтобы в течение всего года было всё свое и не надо ничего покупать на базаре. Правда, осенью охотники могли принести мешок с битыми рябчиками или другую дичь (диких уток, тетеревов, глухарей, зайцев), и тогда мама покупала всё это у них и заготавливала на зиму. Например, ощипав, выпотрошив и промыв рябчиков, она поджаривала их на большой сковороде, а потом они слоями укладывались в деревянную кадку и ряд за рядом заливались растопленным сливочным маслом. Кадку на зиму выставляли в кладовую. Другая дичь, как и домашняя птица, обрабатывалась и замораживалась, а затем укладывалась в большие бочки, пересыпалась снегом и также выносилась в кладовую. В кладовой же на крюки подвешивались свиные и говяжьи туши, заготовленные осенью. Приготовленные дома свиные окорока и колбасы отдавали коптить.

По сибирской традиции, на зиму из мяса нескольких сортов делались пельмени. Для этого созывались гости — друзья из местной интеллигенции. Сначала у нас на большом столе в кухне все лепили пельмени, а потом шли к врачу или учительнице. Это были очень веселые вечера: лепили пельмени, обмениваясь шутками, смеялись и пели песни. Готовые пельмени тут же на

листах и досках выносились в кладовую и замораживались. И уже замороженными они засыпались в мешочки из-под крупчатки, которую покупали в магазине. После того как пельмени были заготовлены, хозяева варили замороженные пельмени, и все садились ужинать. В Сибири пельмени не едят с маслом или со сметаной. Готовится особая смесь из горчицы, соли, уксуса и перца, и этой острой подливкой поливают пельмени. К ним подавалась холодная водка, настоянная на смородиновых листьях, листьях хрена и других травах. Из рыбных закусок мне больше всего запомнилась жареная стерлядь, сдобренная черным перцем. Рыба была всякая, и ее было вдоволь, но такие закуски, как семга, балык, шпроты, черная и красная икра, килька папа привозил из города. Вообще когда он ездил в город, то всегда привозил много вкусных вещей: фрукты, конфеты шоколадные и «сосучие», как мы, дети, тогда называли леденцы. Мы признавали только «сосучие», а шоколадных не любили и швыряли их в угол.

Мелкое печенье мама делала сама и засыпала его в большие жестяные коробки из-под конфет. Иногда, зайдя на кухню, я заставала маму сидящей на низкой скамеечке. Перед ней стояла жаровня, а в миске было жидкое тесто — она пекла вафли.

Гости часто приходили совсем неожиданно, так как телефонов не было, и не всегда они могли прислать горничную, чтобы предупредить о визите. Но, когда бы они ни приходили, всегда было чем угостить, а к чаю подавали разнообразное печенье, конфеты и варенье.

Папа любил играть в преферанс и собирал знакомых, чтобы расписать пульку. Если мужчины приходили с женами, то они усаживались играть в гостиной за отдельный столик, покрытый зеленым сукном, а их жен мама собирала в столовой и подавала чай или кедровые орехи. Угощение кедровыми орехами — а их заготавливали на зиму большое количество — называлось «сибирский разговор». Насыпалось большое блюдо поджаренных крупных орехов и ставились тарелки для скорлупы. Щелкали орехи и вели беседу. Орехи покупались самые крупные, они были настолько вкусные, что от них нельзя было оторваться до тех пор, пока не начинал болеть язык.

Если мужчины приходили одни, без жен, то за пулькой иногда засиживались до утра. И тогда мама доставала жареных рябчиков, подогревала их и кормила ужином.

Все хозяйственные дела по дому вела домашняя работница, которую мы называли тетей Глашей, она же смотрела за огородом, поила и кормила скотину и птицу, убирала двор и кухню, готовила под руководством мамы обеды и ужины, и ее хватало на множество других дел. Спала она в холодное время

года на русской печке в кухне, а в жаркие дни на полу, который мыла каждый вечер, после чего стелила себе постель. Кроме тети Глаши, у нас работала еще молодая девушка Марфуша, которая убирала комнаты, бегала по поручению отца к знакомым, а ночью спала с нами в детской. Марфушу я очень хорошо запомнила за шитьем платья из синего ситца в белый горошек, которое было украшено множеством сборок по подолу и на груди, и шила она это платье на руках, так как швейной машины у нас еще не было. Я любила смотреть, как она работает, на мелькающую в ее пальцах иголку, и восхищалась ее умением. Позже мама купила ножную швейную машинку «Зингер» и шила одежду нам, детям, себе и прислуге.

Среди наших знакомых в селе Красный Яр была семья крестьянского начальника Дмитрия Ивановича Макшеева. Он был женат на Софье Константиновне, и у них было три дочери — Любовь, Вера и Надежда. Она была еврейкой, но перед свадьбой крестилась и приняла православие. Старшие девочки Любовь и Вера учились в городе в гимназии. С младшей дочерью Надеждой я дружила, начиная с пятилетнего возраста.

Кроме семьи Макшеевых, родители дружили с семьей священника отца Владимира, с врачом Сироткиным, который был нашим домашним доктором, а также со всеми учителями. Мама, кроме того, дружила с семьями Родовских и Стремлиных, державших в селе магазины. Семья Стремлиных запомнилась мне из-за несчастного случая в их доме. Маленький мальчик, играя, снял со стены ружье, направил на сестру и нажал курок. Он попал девочке в самое сердце. Ужасно!

Когда мама пошла к ним в дом, то взяла меня с собой. Мне тогда было лет шесть. Девочка лежала в гробу на столе, а какая-то их знакомая показывала всем на ее груди рану, прикрытую носовым платком. И я увидела красное отверстие в груди девочки и ужаснулась от вида открытой раны.

Брат девочки вертелся тут же, конечно, не понимая, что произошло, не понимая, что такое смерть. Быть может, он даже завидовал своей сестре, ради которой пришло так много людей с цветами. Родители были безутешны. Вся эта картина произвела на меня такое сильное впечатление, что я заболела, а папа сердился на маму, что она взяла меня с собой.

У мамы был «поклонник» — молодой человек Федя без одной руки, вместо которой у него была гладкая черная палочка. Федя торговал водкой в монопольке — так назывались тогда небольшие магазинчики, доход от которых шел в царскую казну. Он был добрейшим человеком, очень любил меня и других детей, и мама, если надо было куда-то уехать на несколько дней, всегда

приглашала Федю остаться с нами. Она доверяла только Феде.

Однажды Федя научил меня петь песню с такими словами:

Ах, какое наслажденье
Быть военного женой.
Муж уедет на ученье,
А ко мне придет другой.

И, когда у нас были гости, Федя поставил меня на стул и попросил спеть эту песню. Все смеялись.

И всё же главными нашими друзьями было семейство Макшеевых. Причем не столько Дмитрий Иванович, которого я запомнила с бородой и в форме крестьянского начальника с эполетами и какими-то шнурами, а Софья Константиновна, миловидная и добрая, и девочки Люба, Верочка и моя подружка Надя. Когда старшие девочки уезжали учиться в город и Надя оставалась одна, Софья Константиновна уговаривала мою маму оставить меня у них ночевать. Мы играли дома или во дворе, где были качели, стояла большая ванна и была куча белого песка. Двор был огорожен высоким забором, и за его пределы нас одних не выпускали. Так же, как и у нас дома, дети могли играть во дворе, а на улицу выходили только со взрослыми. За огородом нашего дома протекала река Кеть, доставлявшая нам много радости летом. Дом же Макшеевых был далеко от реки, поэтому мы иногда забирали Надю к нам и с ней ходили на речку.

После войны 1914 года в нашем селе появились пленные, и одного из них, Карла, папа привел к нам в дом. Он был столяром, умел делать всякую мебель, и ему отвели место в передней, где он и спал. Карл смастерил там верстак и начал делать для нас красивую мебель. В передней запахло стружкой и лаком, и мы с братом Игорем готовы были проводить целые дни, наблюдая за работой Карла.

У Макшеевых в это же время работал повар Адольф, который, приготовив обед, любил выйти во двор, лечь на траву и спать. Мы с Надей, пока он спал, насыпали ему на халат песок, всякий мусор и очень веселились. Зато, когда он просыпался, надо было быстро удирать домой.

Карл сделал для нас много мебели: красивый буфет для столовой, письменный стол в папин кабинет, комод для маминой спальни, стулья и небольшие столики. Потом он от нас уехал — работать ли в другом доме или на родину, я не знаю. Шел уже 1915 год. Папа служил в Волостном управлении в Красном Яре и частным образом занимался адвокатской практикой. В свободное время он часто уходил в лес один, так как мама не переносила ни

запахов леса, ни сильного запаха цветов — у нее начинала болеть голова.

Как-то раз мы сидели за столом и пили чай, окна были открыты, и вдруг в окно что-то влетело и мягко упало на пол. А затем появился папа с корзиной ягод и огромным букетом цветов. А в окно он бросил мешочек, туго набитый хмелем, который в то время использовался вместо дрожжей.

Осенью отец ходил в лес за грибами. А иногда отправлялся на опушку леса или на речку рисовать. Мне казалось, что он рисует замечательно. Все бревенчатые стены нашего дома были увешаны картинами отца, написанными маслом. Способности отца проявлялись во всем: он делал замечательные букеты из цветов, часто придавая им форму конуса: сверху васильки или колокольчики синего цвета, затем ярус белых цветов, ниже — ярус фиолетовых, еще ниже подбирались по цвету цветы шиповника, а в самом низу — белые цветы калины с зелеными листьями. Это были очень красивые букеты. Умел он делать и искусственные цветы из бумаги, и на праздниках Рождества или Пасхи отец украшал ими иконы и подвешивал гирлянды под потолком. Также он умел делать игрушки для елки на Рождество и Новый год. Эти два праздника очень ярко запечатлелись в моей памяти и украшениями дома, и праздничным столом, и визитами гостей, и посещением церкви. И особенно елкой, большой пушистой елкой, которую нам, детям, не показывали, пока ее украшали, и впускали нас только тогда, когда на ней уже были зажжены свечи. Приходило много детей, мы кружились вокруг елки и пели песню «В лесу родилась елочка». Всем детям папа раздавал подарки, и на ветках висело много конфет и пряников, которые нам разрешали снимать и есть.

Приходили и ряженые — компании молодых людей в масках и в шубах, вывернутых наизнанку. Они пели колядки, танцевали и поздравляли нас с праздником. Ряженых угощали сластями, и они шли колядовать в другие дома.

На другой день после елки к нам с утра приходили с визитом знакомые — священник отец Владимир с женой, доктор Сироткин, сослуживцы отца, учителя. На Рождество большой стол был уставлен блюдами с жареными индейкой, уткой, курами, рябчиками, а на Пасху на столе красовался еще и окорок и множество крашеных яиц. Окорок готовили дома. Сырой окорок обмазывался тестом из ржаной муки и ставился в русскую печь на несколько часов. Готовый вынимали из печи, снимали с него корочку из запекшегося теста, украшали бумажными цветами и подавали на стол. Дети любили есть корку из ржаного теста, пропитавшуюся жиром и очень вкусную. Нам она нравилась даже

больше, чем сам окорок.

Когда приходили с визитом гости, по одному ли, по два или по три человека, папа сначала подводил их к отдельному закусочному столику, где были разнообразные закуски: черная и красная икра, семга, балык, шпроты, анчоусы и килька, а также стояли водка и коньяк. Гости стоя выпивали по рюмке-две водки или коньяка, закусывали, а потом уж садились за большой стол. Съедали что кому нравится и довольно быстро уходили, так как им надо было побывать с визитами еще в нескольких домах. Визиты продолжались и на второй, и на третий день, и столы так и стояли накрытыми всё это время.

В 1916 году мы уехали из села Красный Яр в село Барзас и прожили там с ранней весны до осени, а потом вернулись домой.

Я не знаю, с чем это было связано, но думаю, что отцу предложили там временную работу. В Барзасе мы жили в отдельном доме с русской печью и полатями под потолком в самой большой комнате. Две другие комнаты — поменьше — служили спальнями. Часть большой комнаты с русской печью отделялась занавесью, образуя помещение для кухни, а полати оставались в другой, большей ее части. Этот дощатый настил под потолком доставлял детям большое удовольствие. В Красном Яре у нас не было полатей, а здесь можно было забраться сначала на печь, а оттуда перелезть на полати, лежать на животе и смотреть сверху на то, что делается в большой комнате, особенно когда к родителям приходили гости или кто-нибудь к отцу по делу.

Участок земли, примыкавший к нашему дому, был обширным передним двором с березами и кустами шиповника, на нем росли также два огромных кедра, между которыми мы повесили удобный гамак. В гамаке свободно могли разместиться я и два брата — Игорь и Олег. За домом был огород, за ним — поле, засеянное овсом, а дальше — другой обширный кусок поля с речкой, за которым начинался лес, и часть леса тоже принадлежала нашему дому. Сознание того, что и лес, и речка, и поле принадлежат нам и никто не может незваным зайти на нашу территорию, создавало великолепное ощущение.

Что мне запомнилось из нашей жизни в селе Барзас?

Ранней весной, когда мы только приехали и в лесу кое-где еще оставался снег, выросла черемша, которую там называли полбой. Ее собирали, мелко нарезали толстые стебли без листьев, подсаливали и смешивали со сметаной. После этого накладывали на ломти хлеба и ели. Было очень вкусно: у полбы был сладковатый вкус, и от нее шел сильный запах чеснока. Это была первая зелень из леса, насыщенная витаминами, о чем мы тогда и не догадывались. Запомнился также и березовый сок, который

папа приносил нам из леса. Ни черемши, ни березового сока в Красном Яре мы даже не пробовали.

В Барзасе с нами была только Марфуша, и мама сама занималась домашним хозяйством. Никакой скотины и птицы здесь не держали. Всю еду мама готовила сама, Марфуша была в основном с детьми, но и маме помогала. Иногда вечером мама спрашивала папу и нас, что приготовить завтра на обед. И, перебрав несколько вариантов, мы, например, приходили к выводу, что хотели бы жареного глухаря или тетерку. И тогда папа рано утром шел с ружьем на знакомое ему место, где токуют эти птицы, и приносил одну птицу. Мама вымачивала ее в маринаде и жарила. На обед всегда был какой-нибудь суп, а на второе — жареная дичь с моченой брусникой и маринованной свеклой.

Если мама спрашивала: «Дети, что бы вам хотелось на ужин?» — и мы сходились на жаренных в сметане пескарях, то мама отправляла нас на нашу речку с удочками, и мы приносили целый котелок пескарей. Мы с Игорем ловили сами, а за Олега удочку забрасывала Марфуша. И зажаренные в сметане пескари казались нам необычайно вкусными. Когда в другой раз мы выражали желание поесть жареных грибов, тоже со сметаной, то ходили с папой в осиновый лесок, где было много подосиновиков. Собирали только шляпки молодых подосиновиков, а ножки не брали. Папа находил два прутика, очищал их так, чтобы на конце каждого оставался отросток, и мы нанизывали шляпки на эти прутики. Так что за грибами шли без корзин, а домой приносили два прута с нанизанными на них шляпками, которых хватало, чтобы мама нажарила полную большую сковородку. Папа также приносил из леса много белых грибов-боровиков, из них варили суп, их сушили, жарили, солили и мариновали. Надо сказать, что коренные сибиряки не собирают ни белых, ни подосиновиков, а только те грибы, которые можно солить сырыми, — грузди, рыжики, волнушки. Засоленные с чесноком, укропом, смородиновым листом, эти грибы служили основной закуской под водку.

Однажды соседи — крестьянская семья — взяли меня с собой за груздями. Направлялись в определенное место в лесу и ехали на телеге, на которой стоял большой плетеный из прутьев короб, а сборщики груздей сидели с корзинами по краям телеги, свесив ноги. Когда приехали в лес, лошадь распрягли и пустили пастись. Мы все разбрелись поблизости и стали срезать шляпки груздей, которых там было множество. Наполненные корзины высыпали в короб и опять шли собирать. Довольно быстро набрав полный короб и корзины, мы поехали домой. Грибы я собирала не для

нас, поскольку груздей мы там не солили, а просто заодно с местными крестьянами.

А вот за опятами осенью я ходила с мамой и ее приятельницами — местными учителями. Одному человеку в Барзасе заказали сплести для всех нас новые лапти. Надевали их на черные чулки и завязывали красными лентами. Сборщики опят очень красиво выглядели в этом наряде, отчего этот поход так хорошо запечатлелся в моей памяти. Срезали только шляпки опят, причем размером не более медного пятака. А дома мама их мариновала и укладывала в банки. Маслят, которые и мариновали, и жарили, было очень много на нашем овсяном поле и возле речки. Шампиньоны же считались несъедобными, их никто не собирал.

Мне запомнилось еще одно происшествие, которое случилось в Барзасе. Однажды летом во время игры во дворе меня больно ударила одна из девочек, и я заплакала. А затем пошла в дом, взяла на кухне чапель — длинную палку с металлическим сковородником на конце, вернулась во двор и ударила девочку этим чапелем по голове. Она закричала. Выбежала ее мать. Оказалось, что на голове у девочки кровь. Моя мать тоже выбежала, чтобы помочь девочке. А я поставила на место чапель, ушла из дому и где-то спряталась. Вернулась в дом только тогда, когда пришел домой папа, зная, что он меня защитит. Мама рассказала отцу про мой проступок, и особенно их удивило то, что я сходила домой за чапелем, а не дала сдачи сразу. При этом мама сказала: «Вот, мстительная полячка!» Слово «мстительная» меня не удивило — это было понятно, а вот почему она назвала меня полячкой, понять не могла, и папа тоже. Тогда мама рассказала, что она много раз слышала, как ее бабушка — мать отца — молилась дома по-польски, и поэтому она знала, что бабушка была родом из Польши. Значит, и во мне есть польская кровь.

В Барзасе отец начал учить меня читать и писать. Сам он писал очень красиво, и я пыталась этому научиться. Он учил меня внимательно выводить каждую букву и не небрежничать, когда пишу, в результате у меня выработался хороший твердый почерк. Чтение далось мне легко. Отец показывал мне буквы в основном не на бумаге, а на песке или на земле. Идем с папой гулять, где-нибудь остановимся, и он начинает чертить тросточкой или палкой буквы, а я их заучивала.

Этим же летом отец начал брать меня с собой в лес и на рыбалку на реку Барзас. Наша собственная маленькая речка без названия была ее притоком. В лесу папа учил меня распознавать разные деревья и кусты, а также ягоды и другие растения.

Однажды, углубившись в лес, мы увидели бородатых мужиков, которые добывали деготь. Деготь варился в котлах на огне и сливался в деревянные бочки. Не помню, из чего получался деготь, кажется, из березовой коры. По особому запаху в лесу всегда можно было узнать, что где-то добывают деготь. Деготь был нужен крестьянам для смазывания колес, а также для других хозяйственных нужд. Дегтем же мазали ворота тех домов, где жили женщина или девушка плохого поведения.

Я любила ходить с отцом на рыбалку на реку Барзас. Рыбы было полно, ловились язи, окуни, щуки… Налимов отец умел ловить руками: засунет руку под какую-нибудь корягу, схватит лежащего там налима под жабры и вытащит из воды. Налим — ленивая рыба, а налимья уха очень вкусная.

С вечера мы набирали полную банку червей, которые водились под камнями или под упавшими деревьями, и с утра отправлялись рыбачить. Однажды, выбирая удобное место для рыбалки, мы шли по берегу реки и вдруг наткнулись на мужиков, которые гнали самогон. Они остановили нас и стали угощать отца, расхваливая свой самогон, просили их уважить и попробовать первача — так они называли первую струйку готового самогона. Отец выпил, поблагодарил мужиков, и мы пошли дальше. Не успели мы пройти и двухсот шагов, как наткнулись на другой самогонный аппарат, и снова нас остановили с просьбой попробовать самогона и здесь. Отцу пришлось выпить еще полстакана. В обоих случаях наливали полный граненый стакан, но отец половину отливал в емкость, в которую из аппарата текла струйка готового самогона. Мы пошли дальше, отец развеселился и вовсе позабыл о рыбалке. А спустя еще какое-то время мы наткнулись на самогонщиков в третий раз. Все повторилось, и я видела, что отец сильно опьянел. Тогда я сказала, что хочу домой, и мы свернули в сторону от реки. Дома нас встретила мама, мы никакой рыбы не наловили, и отец был пьян. Мама очень рассердилась и начала ругать папу, а он молча лег на постель и положил на голову подушку. Досталось и мне за то, что я допустила, чтобы папа дошел до такого состояния, и не увела его домой после первой встречи с самогонщиками.

В Барзасе отец познакомился с одним знатным татарином. Я думаю, что, скорее всего, отец написал для него какое-нибудь прошение или жалобу, как он делал в селе Красный Яр. Во всяком случае, у отца с татарином были какие-то дела, и они вели серьезные разговоры. Очевидно, этот человек не жил в Барзасе. Он приезжал к нам верхом на лошади откуда-то издалека. Побывав у нас первый раз и узнав, что у папы есть дочка, он в следующий раз привез мне в подарок золотые сережки с тремя

небольшими изумрудами. Он сказал, что девочка обязательно должна носить сережки в ушах и что его дочки носят их начиная с трехлетнего возраста. Но у меня не были проколоты уши, и мама не разрешала их прокалывать. Сережки были уж очень красивые, и мне так хотелось их носить, что я уговорила Марфушу проколоть мне уши. И вот однажды мы с ней ушли на речку, и она иголкой проколола мне дырочки в ушах и вдела в них шелковые ниточки. Эти ниточки надо было время от времени продергивать, чтобы дырочки не заросли. Мама рассердилась на Марфушу из-за боязни, что начнется нагноение. Однако ничего плохого не случилось, и мама успокоилась. А я стала носить сережки не снимая. А татарин, который их подарил, приходил к нам еще несколько раз и всегда приносил какие-нибудь гостинцы.

Особенно я запомнила пластинку из черной смородины, скрученную как рулон бумаги. Пластинки эти готовились довольно просто. Свежую смородину надо было растолочь, разложить на металлическом листе и поставить сушить. Когда она подсыхала тонким слоем, то ее легко можно было снять с листа и скрутить в рулон. Такие рулоны могли долго сохраняться, от них можно было отрывать кусочки и класть в чай вместо лимона. Сухая смородина постепенно растворялась, и получался кисловатый чай с сильным ароматом черной смородины. Мы все очень любили такой чай.

Ближе к осени поспели шишки на двух наших кедрах. Пришел молодой парень, залез на дерево и палкой их посшибал. Тут же во дворе развели костер и на угли от него бросили шишки. От жара плотные смолистые шишки теряли клейкость. А уже из таких шишек легко было доставать орешки. Чтобы получить жареные орешки, их высыпали на железные листы и ставили в русскую печь.

Поздней осенью мы возвращались из Барзаса к себе домой в Красный Яр. Ехали лесом на двух тройках и, когда отъехали довольно далеко от Барзаса, вдруг увидели, что впереди по обе стороны дороги горит лес. Лошадей остановили и стали решать, что делать: возвращаться или же прорываться через горящий лес. Решили, что будем прорываться. И когда ехали по горевшему лесу, картина была страшная: лес трещал, сыпались искры и в любую минуту горящее дерево могло упасть на дорогу. Нас накрыли половиками и брезентовым плащом отца, лошадей подстегивали, и они мчались мимо пожара. Когда выехали из опасной зоны, лошадей остановили, нас раскрыли, и я увидела, как папа и возницы двух повозок опустились на колени посреди дороги и стали молиться, благодаря Бога за спасение.

Мы вернулись в свой дом, остававшийся под присмотром

тети Глаши. Там всё было в порядке, и к тому же тетя Глаша вырастила много цыплят, утят и индюшат. Запомнилось мне и то, как мой брат Игорь, которому было пять лет, прибежал со двора и сказал, что он уложил индюшат спать. Мы с мамой вышли во двор и увидели, что индюшата мертвые лежат рядышком на доске. Игорю хотелось уложить их спать, а приказаний они не слушались. Игорь прутиком бил индюшат по головкам, и они падали замертво. Потом говорили, что у них головки — слабое место и индюшата могут умереть даже от слабого удара. Особенно горевала тетя Глаша, любовно вырастившая индюшат. А папа сказал, что Игорь не виноват: он не думал их убивать, он просто изучает жизнь.

Возобновились родительские отношения со знакомыми и мои — с подружкой Надей Макшеевой.

Наступила зима 1916–1917 годов. Снега выпало много, а когда мели метели, за ночь наш дом, как и все другие дома, засыпало до середины окон. Выйти из дома было невозможно. Кто-нибудь из соседей, кому удавалось выбраться, расчищал вход в свой дом и входы в соседние дома, освобождая заложников стихии. И затем уже несколько человек могли расчистить узкую дорожку к следующим домам. Нам расчищали дорожку к парадному входу, и после этого выходили папа, тетя Глаша и Марфуша, чтобы расчистить вход в дом со двора и сделать дорожки к сараям, воротам, дровам. И потом уже можно было затопить печи, покормить животных и приготовить завтрак.

После завтрака мы с братом Игорем, а иногда и с Олегом, которому было уже четыре года, выходили во двор с нашими маленькими лопатами, но мы больше играли, чем помогали взрослым. Снег был белым-белым и сверкал, искрился на солнце, как драгоценные камни.

Каждую зиму папа делал нам во дворе или в огороде ледяную горку, с которой мы скатывались на санках или просто садясь на лед. К нам приходили и соседские дети, и увести нас домой было не так-то легко: мы готовы были не есть и не пить, только бы не уходить домой.

В эту зиму мы все переболели корью. Наш домашний доктор Сироткин приходил каждый день и давал маме советы по уходу за нами. Корью мы переболели легко. В селе случались болезни и похуже — скарлатина и дифтерит. Доктор забегал к нам и приказывал маме: «Детей на улицу не выпускать! Ни с кем не общаться!» И мама, после того как кто-нибудь посещал наш дом, сразу же дезинфицировала все дверные ручки, смачивая их спиртом, который потом поджигала. К нашим знакомым из ближайшей деревни приехали родственники с больным

мальчиком, которого хотели положить в больницу. Они переночевали только одну ночь, но через какое-то время дети наших знакомых заболели. Мальчика в больнице вылечили, а один из детей хозяев умер. К такому печальному результату привело их гостеприимство.

Переболели мы также ветряной оспой, от которой у каждого из нас осталось по одной отметине, у кого на лбу, у кого на щеке. Были и коклюш, и свинка. Но все эти болезни легко проходили благодаря заботам доктора Сироткина, которого у нас все любили и чей портрет хранится у меня до сих пор.

Осенью 1917 года, когда мне уже исполнилось восемь лет, мама повела меня в школу. Учительница посадила меня за первую парту напротив своего стола. Мама не ушла и села за пустую парту у двери. Был урок чистописания, и мы должны были в тетрадях в косую линейку писать палочки. Мы писали ручками с простым пером, макая его в чернильницу, стоявшую в углублении на парте. И вдруг учительница громко крикнула на кого-то из учеников, сидевших на задней парте. От этого пронзительного крика я выронила ручку, вымазав чернилами страницу тетради, а ручка покатилась под стол учительницы. Она ее подняла и дала мне, но писать я больше не могла, у меня дрожали руки. Я расплакалась, и мама увела меня домой.

В школу меня больше не отдавали — моей матери не понравилась учительница. Читать и писать меня еще в шесть лет научил отец, который теперь продолжил со мной занятия, а арифметике меня учила мама. Сложение, вычитание, умножение и деление я освоила быстро, но вот задачи на все четыре действия никак мне не давались. И зачастую, возвратившись с работы, отец заставал нас обеих в слезах.

Детские годы, прожитые в селе Красный Яр, казались мне очень счастливыми, и я вспоминаю о них как о жизни в сказке.

Но зимой 1917 года мы вдруг собрались и уехали из Красного Яра, оставив наш дом. С чем это было связано, я не знала и только позже из рассказа матери поняла, что мой отец в гостях у одного из своих сослуживцев обозвал царя Николая II «проклятым виноторговцем» и выплеснул вино из рюмки на портрет царя, висевший на стене. Кто-то донес об этом приставу, отца хотели арестовать, но местная интеллигенция взяла его на поруки. Однако запрос по этому делу был все же направлен в город Мариинск. Быть может, именно угроза ареста заставила отца уехать из Красного Яра. А может быть, отец вообще был на подозрении у пристава, потому что, как рассказывала мама, да я и сама припоминаю, к отцу приезжали или приходили какие-то подозрительные люди, которые иногда ночевали у нас или жили

несколько дней. Возможно, это были люди, бежавшие из ссылки. Но это только мои догадки.

Помню наш отъезд на лошадях до станции в городе Мариинск, куда мы приехали в полной темноте. Смутно помню запах поезда, в вагон которого мы сели. И на этом воспоминания кончаются. Не помню, как приехали в город Боготол, как затем на лошади переехали в село Боготол в пяти верстах от города.

Село Боготол: революция начинается

Богатые сибирские села похожи на небольшие российские городки. Площадь, вымощенная булыжником, на ней кирпичные строения — длинные со многими дверями склады сибирских купцов, торговавших зерном, мукой, мясом. Возле складов — большие металлические весы. На площадь выходили и несколько лавок, где продавалось сельскохозяйственное оборудование: плуги, грабли, лопаты, а также лавки, торгующие керосином и всякой мелочью. Где были продуктовые лавки, я не помню; не знаю, где располагался базар в Боготоле, потому что никогда туда не ходила. В селе была большая кирпичная церковь, в которой служил отец Леонтий. Это был высокий худощавый человек. Трое его взрослых сыновей учились в университете в Томске, а сам он занимался сельским хозяйством, как все крестьяне. Его очень любили и уважали. Были в селе больница и несколько школ, а также много двухэтажных домов, как деревянных, так и наполовину каменных, принадлежавших богатым купцам. Остальные дома были одноэтажные деревянные. Улицы не были вымощены камнем, а вдоль домов тянулись тротуары из длинных досок. Хозяева домов следили за чистотой тротуаров и летом к праздникам не только мыли свой тротуар, но некоторые даже скоблили его ножом до белого цвета. Особенно тщательно мылись тротуары к празднику Троицы, когда вдоль них устанавливали срубленные молодые березки. Ими же украшали и церковь, и главные комнаты домов.

Первая наша квартира в Боготоле была в деревянном одноэтажном доме и состояла из четырех комнат и кухни, причем окна трех комнат выходили на улицу, а окна четвертой — столовой и кухни выходили во двор. Из жизни в этой квартире мне особенно запомнились два события. Первое — как мне заказали у сапожника высокие черные ботинки на шнуровке и как я надела их в первый раз на Пасху. Ботинки были очень красивые, и я чувствовала себя счастливой. На улице в это время уже растаял почти весь снег, и на высохшем месте я с другими детьми катала крашеные яйца по наклонной доске. Внизу на земле лежали яйца — по одному от каждого игрока. Если удавалось так скатить яйцо, что оно ударялось об одно из лежащих на земле, то последнее забиралось в качестве выигрыша. Если же яйцо прокатывалось мимо всех яиц, то оно должно было оставаться там, куда докатилось. В эту игру во все пасхальные дни играли не только дети, но и молодые люди.

Вторым событием, произошедшим на нашей первой квартире

в Боготоле, было рождение моего третьего брата — Бориса. Помню, что часть средней комнаты была отгорожена простынями, чтобы проходящие в нашу детскую дети и папа не могли видеть кровать с лежавшей на ней мамой. Какая-то пожилая женщина была с мамой, кто-то проносил в тазу горячую воду… Рождение нового ребенка, как и всех детей, происходило дома, а крещение на этот раз было в церкви. Но и там мама все время пробовала воду в купели, чтобы была теплой, и хватала отца Леонтия за рукава рясы, боясь, как бы ребенок не задохнулся в воде.

В Боготоле у нас уже не было работницы, и все дела по хозяйству вела мама. Никакой скотины тоже не было. Зато я должна была помогать маме по уходу за ребенком. Осенью я начала учиться в школе, поступив сразу во 2-й класс. Это была школа-четырехлетка. Здание школы стояло на крутом берегу реки Чулым — одного из правых притоков Оби. Моей первой учительницей была Евдокия Архиповна — вот и всё, что я запомнила об этой школе.

Самой знатной в Боготоле была семья Озеровых, имевшая несколько собственных домов. Мы приехали, когда она уже утратила былое богатство, а сам Озеров — состоятельный сибирский купец — умер, и его вдова, про которую папа говорил, что она из обедневших дворян, жила в большом двухэтажном доме с двумя дочерьми и прислугой. Третья дочь была замужем и жила где-то отдельно. Старшая из незамужних дочерей была очень красивая, но со странностями: она совсем не выходила за ворота и ни с кем не хотела встречаться. Гуляла только в своем саду за домом, где было много цветов, которые она сама выращивала. В селе о ней ходили разные слухи, и, чтобы увидеть ее, молодые люди залезали на крыши соседних домов.

Младшая дочь Озеровых Женя была высокой худенькой девочкой с лицом, густо покрытым веснушками, и совершенно рыжими волосами. С ней я подружилась, когда мы переехали на другую квартиру в один из домов Озеровых, расположенный чуть наискосок от дома, где жили они сами. Родители сняли только второй этаж, а первый этаж оставался пустым, и его окна всегда были закрыты ставнями. Двор и огород, как почти у всех домов в селе, были обнесены высоким забором из досок, плотно прилегающих друг к другу. Высота забора намного превышала человеческий рост.

В новую квартиру мы переехали осенью 1918 года, когда я пошла в школу. В школе я подружилась с двумя девочками из своего класса. Одна из них, Валя, была дочерью местного врача, тихая и милая хорошо воспитанная девочка. Другая, Нюра, была из зажиточной крестьянской семьи Некрасовых. Женя Озерова

училась в той же школе, но уже в третьем классе, она была на год старше. И если с Женей и Валей мы играли почти всегда во дворе дома Озеровых, то с Нюрой ходили в ближайший лес, где росли березы и осины, было много цветов и можно было собирать землянику и сибирскую клубнику — крупные белые ароматные ягоды с розовыми бочками. В Сибири выращивают и садовую клубнику, но называют ее «Викторией», созвучно одному из популярных ее сортов. В обширном, с участками густого леса, дворе дома, где жили Озеровы, возле дальнего забора стояли «гигантские шаги». Так называли своеобразные карусели — вкопанный в землю высокий деревянный столб с вращающимися металлическими приспособлениями наверху, к которым подвешивались толстые веревки с сиденьями. Мы садились и, отталкиваясь одной ногой вправо или влево, как бы шагая, приводили в движение карусель и крутились вокруг столба. Кататься на «гигантских шагах» было большим удовольствием.

В Боготоле было несколько «гигантских шагов». Одни — на окраине села для общего пользования, и мы иногда катались на них, когда там никого не было. Оказалось, что и на противоположной окраине села были «гигантские шаги», о которых я узнала из-за несчастного случая: столб упал и задавил мальчика Натана — единственного сына сельского портного. Эта смерть потрясла нас, и мы долго не садились на наши любимые «гигантские шаги».

1 июля 1919 года мне исполнилось десять лет, и родители устроили мне праздник. Папа украсил дом цветами. Он умел так расставить цветы, что они смотрелись удивительно красиво: некоторые он помещал в плоские миски или тарелки, а цветы с высокими стеблями ставил в вазы или в банки. Всем моим подружкам и мне папа надел на головы венки, которые сам же и сплел. Был накрыт праздничный стол с разными пирожками, печеньями, конфетами и тортом со свечками. Мы пили чай, пели песни, а потом папа пригласил всех девочек на реку, чтобы покататься на лодке. Мы бросали свои венки в реку по языческому обычаю древних славян.

Покатав нас на лодке, папа причалил к противоположному берегу и высадил погулять перед возвращением домой. Цветов там было множество, и мы снова сплели себе венки из огоньков. Эти цветы от дуновения ветра колышутся на тонких стеблях, и кажется, что по лугу пробегает пламя. Это у нас их называли огоньками, а в других местах Сибири — жарками. Аромат у них слабый, но они пахнут весной и свежестью.

Ах, какие цветы растут в Сибири! Кроме огоньков, цветов огненной окраски, в июле расцветают колокольчики — белые,

синие и фиолетовые. Появляются ирисы, совсем не похожие на те, которые обычно растут в садах, — яркосиние, низко расположенные в игольчатой траве, с сильным чудесным ароматом. Цветок образуют три хрупких лепестка с желтыми тычинками. Незабудки в Сибири очень крупные, в основном голубые, и лишь изредка попадаются бледно-розовые. Они растут на лугах в низинах и покрывают землю сплошным голубым ковром. Подснежниками в Сибири называли белые, а иногда и бледнорозовые и бледно-голубые цветочки на тонких ножках с венчиком из пяти лепестков. Они появлялись на полянах, где еще оставался нерастаявший снег. Но настоящих подснежников, таких, как в Европе, в Сибири нет. В одно время с этими цветами появляются кандыки, похожие на встречающиеся на Кавказе мелкие цикламены, и ветряницы, напоминающие анемоны.

Летом на сухих песчаных местах растут бессмертники различной окраски, крупные и суховатые. Они могут сохраняться, не теряя своей окраски. Уже в разгар лета поляны покрываются гвоздиками и ромашками с очень крупными цветками, а в лесу появляются пионы. В России в садах обычно растут белые, розовые и красные махровые пионы. В Сибири же дикие пионы бывают только темнокрасного цвета с желтой сердцевиной — большая головка цветка покоится на толстом стебле, обрамленном узорчатыми листьями. Есть места, где можно увидеть море желтых лилий, иногда попадаются лилии тигровой расцветки, называемые саранками.

А какой шиповник растет в Сибири! Большие кусты с цветами различной окраски от бледно-розовой до темнобордовой, почти черной. Запах у цветов шиповника очень сильный и похож на запах садовых роз.

На болотах расцветают ярко-красные цветы на высоких стеблях, напоминающие по форме гвоздику, но крупнее. Их почему-то называют «татарское мыло». На болотах же изредка попадаются кукушкины слезки и башмачки — цветы орхидейного типа. И, боже, сколько еще мелких и разнообразных цветов покрывают землю Сибири! Ничего подобного в других краях России не найдешь. Но в сибирских лесах нет ландышей, нет кустов жасмина и сирени. Хотя, возможно, они выращиваются где-нибудь в садах или питомниках.

Летом 1919 года жизнь в Боготоле, казалось мне, шла спокойно обычным своим распорядком. Мама занималась хозяйством, возилась в огороде. Ужинали мы во дворе дома, где была наша квартира. На ужин мама варила молодой картофель, который мы ели с маслом, укропом и малосольными огурчиками. Мне такая еда очень нравилась. Как всегда, мама заготавливала

на зиму припасы: солила огурцы и капусту, мариновала свеклу, солила и мариновала грибы, сушила белые, варила варенье. Грибы приносил из леса отец, ягоды собирал тоже он, часто вместе со мной. Иногда я ходила с ним и за грибами, сама приносила ягоды, когда ходила за земляникой и клубникой вместе с подружками.

Однажды мы с мамой ходили за черемухой. В России черемуху обычно не едят, но в Сибири она совсем другая — крупная и сладкая. Мы ее сушили, отдавали молоть в муку, а также слоями засыпали сахарным песком, и она могла храниться в подполе всю зиму. Молотую черемуху заваривали кипятком из самовара и пили как чай, с сахаром, ее также использовали как начинку для пирожков. Собирали также много черной и красной смородины, которая росла по берегам Чулыма и других речушек. Из смородины делали варенье, соки и наливки, а детям особенно нравились пироги с черной смородиной.

Отправляясь с подружками за ягодами или за цветами, мы проходили мимо поля, засеянного репой, и, когда она поспевала, вырывали по несколько штук и брали с собой. Вымыв репу в ручье, мы ее очищали и ели. Репа была крупная и очень сладкая. Вообще все овощи в Сибири гораздо слаще и крупнее обычного. Должно быть, в вознаграждение за то, что в Сибири нет яблок, груш, вишен, там такие сладкие овощи и масса ягод. Кроме клубники, малины, земляники, смородины, черемухи, калины, брусники, голубики есть еще морошка и княженика. Но последняя была у нас редкостью: папа приносил ее только тогда, когда ходил на дальние болота. Ягоды княженики напоминают по форме малину, но с другим ароматом и вкусом.

В Боготоле была школа керамики, где обучали гончарному делу. Папа поступил туда преподавать математику и рисование. Мне было очень интересно приходить к отцу в школу и смотреть, как делаются горшки, крынки для молока, миски и тарелки, как они покрываются глазурью с различными рисунками.

Когда я уходила из дома, мой маленький брат Борис не хотел меня отпускать, держался за мое платье, а потом прилипал к стеклу парадной двери, обливался слезами и кричал: «Доча, моя доча!» Чтобы мама могла спокойно заниматься хозяйственными делами, мне приходилось много времени проводить с Борисом, играть с ним, кормить, укладывать спать, и он привязался ко мне. Два других моих брата шести и восьми лет жили уже своей жизнью и очень дружили между собой.

Казавшаяся мне такой спокойной жизнь в Боготоле на самом деле была полна происшествий. Праздники в Бого-толе редко кончались благополучно. На следующий день после праздника мы

узнавали, что где-то подрались между собой пьяные мужики и кого-то одного, а то и двух убили. Запомнилось, как выстрелом в окно была убита молодая женщина. Они с мужем приехали в село совсем недавно и сняли комнату или квартиру в небольшом доме недалеко от нас. Всем они казались непонятной, но очень счастливой парой. Никто не знал, кто они и откуда приехали. Муж нигде не работал, и мы часто видели их уходящими на прогулку по берегу Чулыма. И вдруг в один из вечеров раздался выстрел в окно, и женщина была убита. Кто убил и почему — неизвестно. Меня не пустили на похороны, но рассказывали, что муж этой женщины пытался лечь в могилу вместе с ней. А вскоре он куда-то уехал.

Однажды в конце лета 1919 года в нашем доме появился незнакомый человек, пришедший, очевидно, ночью. Он поселился на нижнем этаже в одной из комнат с закрытыми ставнями, никуда не выходил и часами разговаривал с папой. Папа рассказал мне, что это — Клавдий Цибульский[2], революционер, что он был схвачен полицией, но бежал и скрывается. В эту тайну была посвящена только я, мои младшие братья ничего не знали. Оказалось, что отец с друзьями организовали его побег из вагона поезда, в котором везли арестованных. На железнодорожной станции Боготол к вагону подошла женщина и продала арестантам крынку молока, на дне которой был перочинный нож. Ночью заключенные вырезали отверстие в дверях вагона, открыли засов и бежали кто куда. Цибульский добрался до нашей квартиры и скрывался у нас несколько дней. Мне приходилось носить ему еду, но рассмотреть его хорошенько в полутемной комнате я не смогла. Все же я заметила, что это был еще молодой человек, довольно высокий, с приятным лицом и зачесанными назад густыми темными волосами. Про Цибульского отец рассказывал, что он родственник Озеровых и женат то ли на их дочери, то ли на племяннице.

Однажды вечером, когда было еще совсем светло, Клавдий Цибульский вышел из нашего дома в папином френче, папиной соломенной шляпе и с папиной корзиной на руке. Мы смотрели через стеклянную парадную дверь и видели только его спину. Издали он был похож на папу, отправлявшегося за грибами, но гораздо плотнее, и френч не был застегнут на пуговицы. Мы с тревогой смотрели на него и не отходили от двери, пока Цибульский, пройдя через улицу, не свернул в переулок и не скрылся из вида. Знал ли отец Цибульского раньше? Я не знаю и не спрашивала его об этом. Но с тех пор я стала понимать, что он помогает революционерам.

Иногда, когда мы с папой уходили в лес или на дальний

берег Чулыма ловить рыбу, он встречался с какими-то бородатыми мужиками, и о чем-то говорил с ними так, чтобы я не слышала, и что-то им передавал. Я не спрашивала отца об этих встречах, но догадывалась, что это были партизаны, о которых в селе уже шли разговоры. Был ли отец революционером, как Цибульский, я не знаю, но, конечно, он им сочувствовал. Тогда я еще не знала, что в России была революция, что царь отрекся от престола и что идет Гражданская война.

Но к осени 1919 года как-то всё переменилось: в село стали приезжать воинские части и появились беженцы. Мы с Женей Озеровой, бродя по лесному участку во дворе ее дома, наткнулись на мертвого ребенка, которого кто-то бросил через забор. Образ этого маленького посиневшего ребенка долго не давал мне покоя. Бросили его еще живым или уже мертвым, так и осталось неизвестным. Папа объяснил мне, что воинские части, появляющиеся в селе, — это части Белой армии, бегущие от Красной армии на восток.

В это же время мы переехали из дома Озеровых в казенный дом, стоявший на площади почти рядом с керамической школой, где работал отец. Дом был кирпичный одноэтажный с большим двором и сараями, с большим огородом. От посторонних всё владение было отгорожено высоким дощатым забором. Предусмотрительная мама купила корову и кур, перевезла весь урожай со старого огорода.

Новый дом стоял на площади. Одна его сторона выходила в переулок, ведущий на берег Чулыма, а с другой стороны к нему примыкал деревянный двухэтажный дом, который почему-то назывался бывшей женской гимназией. Когда мы переезжали, в этом здании никто не учился, и оно пустовало. На другой стороне нашего переулка стояло здание керамической школы. Начальником этой школы был пожилой украинец по фамилии Ступко. Он жил при школе с женой, сыном Федором примерно четырнадцати лет и дочерью Верой, моей ровесницей.

Мы подружились с этой семьей и часто у них бывали. Прибегала Вера и говорила: «Папы не будет дома, приходите к нам поиграть». Меня удивляло то, что в этой семье только в отсутствие отца дети чувствовали себя свободно, отца боялись — он был чересчур строг с ними и, может быть, не всегда справедлив. Ведь в нашем доме только с отцом и было по-настоящему свободно, весело и интересно. И мы звали друзей к себе именно тогда, когда отец был дома. Он придумывал игры, принимал в них участие, читал нам книжки, учил рисовать.

Я очень дружила с отцом, любила его, и он любил меня, никогда не давал в обиду и называл меня на немецкий лад Meine

Tochterchen — моя доченька. Однажды он сказал мне, что поздно вечером на Чулыме будут ловить осетров, и затем взял меня с собой. Рыбаки сели в лодки с зажженными фонарями и выехали на середину реки. Мы наблюдали за ними с берега. Оказывается, рыба идет на свет, и рыбаки, разглядев среди других рыб осетра, бьют его сверху острогой.

Этой же осенью 1919 года я, придя домой из школы, увидела в нашем дворе белую лошадь. Отец пояснил, что белую лошадь оставил у нас какой-то офицер, чтобы забрать ее после. И отец стал ездить на ней в лес и на рыбалку. А когда брал меня с собой, то сажал на лошадь впереди себя и приучал не бояться ее и держаться за гриву. Постепенно я привыкла к ней, и отец стал оставлять меня на лошади одну и заставлял совершать небольшие прогулки. Лошадь была послушная, и я ее не боялась. Но однажды белая лошадь так же внезапно исчезла, как и появилась. Забрал ли ее возвратившийся хозяин, или отец отдал ее кому-то? У нас всегда были кошки и собаки. В Красном Яре большая собака круглый год жила у нас во дворе, где у нее была конура. А в Боготоле, когда мы переехали в дом на площади, у нас появилась маленькая комнатная собачка с очень звонким лаем.

Была корова и запас сена для нее на зиму. И вот однажды пришли какие-то военные и хотели отобрать у нас сено. Папа не давал, спорил с ними; на крик вышла мама, а за ней и мы, дети. Военный, быть может, офицер, рассердился, поставил отца к стене дома и вытащил наган, собираясь его расстрелять. Тут мама закричала не своим голосом и бросилась на колени перед офицером, закричали и мы в четыре голоса. Офицер чертыхнулся и ушел со двора, а с ним и солдаты, пришедшие унести сено. Так мы все вместе спасли сено, а заодно и наши жизни, так как без коровы не смогли бы выжить зимой 1919/20 годов.

Отступление Белой армии становилось всё интенсивней. На ночлег военные часто останавливались в домах жителей села, и однажды наш дом занял штаб военной части во главе с генералом. Генерал и офицеры расположились в нашей большой комнате. С ними ехала молодая женщина, пробиравшаяся к мужу в Иркутск. Ее мама поместила в детскую. Когда незваные гости умылись и распаковались, мама поставила на стол самовар. Войдя в комнату, мы увидели на столе огромный брусок сливочного масла и буханку белого хлеба, чего уже давно не было в нашем рационе. Генерал отрезал по толстому ломтю хлеба, густо намазал сливочным маслом и дал нам, каждому из детей.

Проснувшись утром на другой день и выглянув в окно, мы увидели, что весь наш двор засыпан бумагой. Выйдя во двор, мы утопали в бумагах по колено. Оказалось, что ночью в село

пришли красные. Папа сказал, что, когда ночью раздался стук в окно и на вопрос «Кто?» прозвучало: «Товарищ, откройте», он понял — пришли большевики. Генерал и офицеры, остановившиеся у нас, были арестованы, их увели. Днем в наш дом вернулся только генерал, но в каком виде! Вместо блистающей генеральской формы на нем был полушубок с полуоторванным рукавом, на голове — старая шапка-ушанка, а на ногах — старые подшитые пимы (так в Сибири называли валенки). Оказалось, что у генерала были именные часы, подаренные солдатами, и поэтому его не расстреляли и отпустили, только отобрали военную форму. А женщину, ехавшую с Белой армией к мужу, родители выдали за свою родственницу. Генерал жил у нас еще дня два, отец дал ему кое-что из одежды, мать починила полушубок, и он уехал. Уехала и женщина, фамилия которой была Дивногорская, и мне казалось, что такую красивую фамилию забыть невозможно.

На другой день после прихода Красной армии в село со своей конницей приехал Клавдий Цибульский и остановился в богатом доме, где стоял то ли рояль, то ли пианино. Среди интеллигенции распространились слухи об этом удивительном большевике, образованном, вежливом и играющем на инструменте «Лунную сонату» Бетховена и другие классические произведения.

Цибульский пришел к нам и сказал отцу, что для него война кончилась — он получил назначение заведовать Ленскими золотыми приисками. Он уговаривал отца ехать с ним на прииски, обещал хорошие условия жизни и высокий оклад. Отец отказался, и, я думаю, из-за меня. Я училась в 4-м классе, последний год в сельской школе, и должна была продолжить учиться в городской школе в Боготоле.

В селе началась смена властей, по ночам раздавались выстрелы, мы слышали, как по нашему переулку бежали какие-то люди. А однажды ночью наша собачка громко залаяла, и папа выглянул в окно, выходящее во двор. Он рассказал, что по двору пробежал человек и с размаху перескочил через довольно высокий забор, тут же появился другой человек и несколько раз выстрелил по этому забору из нагана. Наутро не было разговоров, что кого-то убили, я надеюсь, что бежавшему удалось скрыться.

В селе закрылись последние магазины, с базара исчезли продукты, а те немногие люди, которые привозили продукты из деревень, хотели за них только золотые вещи или одежду. Маме удалось купить кое-что за золотую брошку, кольца и, кстати, за мою золотую сережку с тремя изумрудами (вторую я потеряла еще в Красном Яре). Мама выменяла на эту сережку пуд белой

муки-крупчатки.

В начале зимы 1920 года в селе появились тифозные больные. Напротив нашего дома в бывших торговых складах был устроен госпиталь для солдат, заболевших тифом. Была зима, и трупы, которые вытаскивали на площадь, лежали там неделями. Дом рядом с нашим — бывшая женская гимназия — тоже заполнился тифозными больными. Со двора мы слышали, как по лестнице со второго этажа за ноги стаскивают на улицу умерших, как стукались по ступеням головы трупов.

Много больных тифом было и среди жителей села. У нас сначала заболела мама, а потом и папа. Позвать кого-нибудь на помощь оказалось невозможно — у всех наших знакомых были свои больные. Я не помню, чтобы в это время к нам приходил врач, очевидно, он тоже был болен. Мама болела тяжело, у нее была очень высокая температура. Когда по комнате бегал двухлетний Борис, ей казалось, что бегают сорок мальчиков. Думаю, что у мамы был брюшной тиф. Папа болел не так тяжело, у него был обычный сыпной тиф.

Эта зима была самой тяжелой в моем детстве. Я должна была топить печи, доить и кормить корову, готовить еду из того, что было в доме, и ухаживать за больными.

Брат Игорь помогал мне справляться с хозяйством: он каждый день залезал на сеновал и сбрасывал сено корове, приносил воду из колодца, колол дрова — старался делать всё, что я его просила. Помогал и другой брат, Олег, которому было семь лет. Когда мы с Игорем были заняты дома и во дворе, Олег занимался с маленьким Борисом, не давал ему близко подходить к больным и надоедать им.

В школу мы не ходили — она была закрыта из-за тифа, да мы и не смогли бы оставить больных без присмотра. Когда я в первый раз вечером пошла доить корову, мама объяснила мне, что я должна взять с собой теплую воду и полотенце, вымыть корове вымя и насухо вытереть его и только потом начинать доить. Я, конечно, видела, как доит корову мама, но сама никогда не пробовала. Не сразу мне это удалось — соски вымени выскальзывали из пальцев, и я готова была разреветься. Но все же корову я подоила, и, когда вернулась домой с молоком в ведре, мама осталась довольна. Она сказала, что каждый вечер давала нашу синюю кружку молока одному человеку, которого зовут Виктор Чаплин и который выздоравливает после тифа в доме рядом с нами. Он подходит за молоком к нашему забору.

Убедившись, что подошедший к забору заросший бородой молодой человек и есть Виктор Чаплин, я подала ему молоко. Он выпил, сказал мне спасибо и спросил, почему сегодня я доила

корову вместо мамы и как меня зовут. Потом я каждый вечер стала приносить к забору молоко, и мы разговаривали. Узнав, что мне одиннадцать лет и что мои родители лежат в тифу, он стал давать мне советы по уходу за тифозными больными исходя из того, что узнал от лечащего его врача. Он говорил мне, как надо умывать больных, что больным можно есть, а что категорически нельзя. Например, мама, чуть начав поправляться, просила дать ей соленый огурчик, но я не дала. А папа все время пытался встать с постели, чтобы мне помочь, но я не разрешала.

Однажды мама сказала, что хорошо бы взять на растопку печей несколько березовых поленьев из поленницы, стоявшей напротив наших окон. Это были дрова для тифозного госпиталя. Папа возражал, не хотел меня пускать. Но мне самой хотелось показать родителям свою храбрость, и, выбрав позднее время, когда светила луна, я оделась и потихоньку вышла на улицу. Вокруг никого не было. Я добежала до поленницы и уже взяла несколько поленьев, но огляделась и увидела, что возле поленницы лежит мертвец и открытыми глазами смотрит на меня. Я так испугалась, что дрова выпали у меня из рук, и я помчалась домой.

Зима прошла, каким-то чудом больные мои поправились, и никто из детей не заболел.

Пока папа болел, в селе сменилась власть, и какой-то большой пост занял человек, про которого папа узнал, что во время войны 1914 года его уличили в воровстве денег, выплачиваемых государством семьям солдат. Папа так и говорил, что тот крал солдатские деньги. Вора судили и приговорили к тюремному заключению. Но во время революции заключенные были выпущены, причем вместе с политзаключенными на свободу вышли и уголовники. И папа на каком-то собрании выступил против избрания этого человека на большую должность, считая, что такому человеку нельзя давать в руки власть.

Через несколько дней папу арестовали и увезли в какой-то город: то ли в ближайший — Боготол, то ли в районный центр — Мариинск, то ли в областной центр — Томск. Мама написала письмо Клавдию Цибульскому на Ленские прииски, он сейчас же приехал, и отца освободили.

После этого ареста отец перестал участвовать в общественной жизни села и, мне кажется, сильно разочаровался в революции. Но зато он гораздо больше стал заниматься детьми, и лето 1921 года мне запомнилось прогулками с папой в лес, на рыбалку, прогулками всей семьей.

Как-то мы все вместе пришли погулять на старую мельницу в пруду которой водились лини, рыба крупная и жирная. Мальчики

бегали по поляне, мама сидела у воды, а я неотрывно следила за удочкой папы. Сама я рыбу не ловила — для ловли крупной рыбы требовалось особое умение осторожно подвести ее к берегу и вытащить с помощью сачка, иначе она могла оборвать леску и уйти. Папе удалось поймать несколько линей. Однако они оказались невкусными, сильно пахли тиной, и папа больше не ходил их ловить.

Однажды мы с папой решили пойти на реку на рассвете ловить язей, так как знали, что именно на рассвете они клюют лучше всего. На Чулыме было такое место, где находились плоты из бревен, и мы уже знали, что с них хорошо ловить рыбу, поскольку делали это раньше. Мы должны были встать в пять утра, но вышло так, что я проснулась раньше папы и решила, что первая побегу на плоты. Быстро оделась, взяла удочку, коробочку с червями, а может быть, с тестом, сетку для пойманной рыбы и выбежала из дома. Плотов в этот день было три, два из которых находились у самого берега, а третий примыкал к ним со стороны реки. Я, конечно, перебралась по бревнам на дальний плот и только хотела закинуть удочку, как услышала крик папы. Оглянувшись, я увидела, что папа в своем зеленом брезентовом плаще бежит по берегу, что-то кричит и размахивает руками. И тут заметила, что мой плот отделился от двух других и тихонько уплывает. Я заметалась по бревнам, подбежала к краю, но расстояние между плотами было уже большое, а плавать я не умела. Я испугалась, уселась на бревна и заплакала. Папа бежал еще какое-то время по берегу, потом побежал обратно.

Сколько времени я плыла по течению, я не знаю, и что переживала, я не помню, но солнце уже взошло и поднималось всё выше. На реке было очень красиво, и вода ослепительно сверкала под лучами восходящего солнца. Меня поймали рыбаки деревни Владимирка, отстоявшей от Боготола на расстояние чуть ли не в пятнадцать верст. Рыбаков было трое, и они веслами подталкивали плот к берегу, пока он не уперся в деревянные мостки, с которых женщины обычно полощут белье.

Меня сняли с плота и отвели в деревню. Ни этой деревни, ни людей я почти не запомнила. В памяти осталось только, что меня посадили на телегу и отвезли в Боготол. Оказалось, что отец побежал в Волостное управление, чтобы по телеграфу сообщить об уплывшем со мной плоте в селения, расположенные ниже по течению Чулыма. Он говорил, что больше всего боялся, как бы плот не прибился к берегу где-нибудь по дороге, где я оказалась бы в глухом месте одна. Меня мог напугать волк или медведь, или я могла встретиться с какими-нибудь бродягами. Он не сомневался, что уносящий меня по течению плот рано или поздно

будет пойман. И мне кажется, что рыбаки нашли меня раньше, чем сообщение по телеграфу дошло до их деревни. Помню, как папа смеялся по поводу того, что благодаря мне деревня Владимировка обогатилась целым плотом бревен. Не успеют хозяева плота хватиться его, как мужики раскатают его по бревнам и растащат по дворам.

Почему-то в Боготоле папа не рисовал так, как в Красном Яре. Вместе с мебелью, сделанной пленным немцем, папа привез все свои картины, и они украшали стены нашей квартиры, но новых картин там не было. Маслом он не писал ни разу, иногда только рисовал акварелью небольшие пейзажи для альбома, а также всяких зверей для мальчиков и красивые цветы для меня.

Все лето 1921 года я дружила с соседкой Верой Ступко, которая училась в школе керамики, где продолжал преподавать папа, и с Нюрой Некрасовой. Третья моя подруга, Женя Озерова, еще в 1920 году уехала в город продолжать учебу.

Я любила бывать в деревенском доме Некрасовых. В нем были просторные сени с кладовой, большая жилая комната с русской печью и горница, украшенная разными комнатными цветами в кадках на полу и в горшках на подоконниках. Особенно приятно было бывать у Некрасовых в праздничные дни. Большой стол, скамейки вокруг него и полы были всегда вымыты и выскоблены ножом до белизны, вкусно пахло пирогами с разными начинками, которые стояли, накрытые чистыми полотенцами. А иногда пахло щами с кислой капустой и свининой, и мне очень нравился этот аппетитный запах.

Однажды тем же летом Нюра прибежала ко мне и позвала к ним домой, чтобы я увидела ее старшего брата Николая, который приехал с фронта и привез с собой молодую красивую жену. Николай был высокий широкоплечий блондин с очень красивым лицом. У Некрасовых все были красивые: и мать, и отец, и Нюра, и ее младший брат Вася, но Николай был красивее всех. Его жена меня поразила — она действительно была красавица, темноволосая с толстыми косами, уложенными венчиком. Вся она была какая-то нездешняя, не похожая на тех красивых девушек, которых мне приходилось встречать в детстве. Звали ее Елена, и я подумала тогда, что она и есть Елена Прекрасная из сказки. Нюра, наверно, рассказала ей, что в нашем доме много книг, и Елена попросила меня принести ей что-нибудь почитать. И я стала приносить ей книги, которые любила читать сама. Елена быстро их прочитывала и просила принести еще.

Николай с женой приехал к родителям в отпуск, и он с удовольствием погрузился в крестьянскую жизнь: ездил с отцом в поле смотреть посевы и косить траву, ездил на Чулым купать

лошадей. Встречался Николай со своими товарищами. Елена не переносила комаров и мошкары в поле и на реке и оставалась дома, часто в полном одиночестве.

Прошло уже недели две, как молодая пара жила у родителей, и Николай собирался через неделю уезжать в свою воинскую часть. Я думаю, что он не был простым красноармейцем, а имел какое-то звание. Военный костюм, в котором он приехал, был совершенно новым и из хорошей материи. Какие были у него знаки отличия, я не помню. Неожиданно по селу разнесся слух, что у Некрасовых случилось несчастье — Николай застрелил жену и застрелился сам. На другой день после этого страшного известия мы с папой и мамой пошли к Некрасовым. В горнице на табуретках стояли рядом два гроба, и все же трудно было поверить, что такое возможно. Это было ужасно, и невозможно было удержаться от слез. Мы пришли домой, а я все еще плакала и осталась во дворе сидеть на бревнах.

Неожиданно я услышала стук калитки, подняла голову и увидела входящего к нам молодого человека. Он подошел ко мне, назвал по имени, а потом спросил, помню ли я его. Я не помнила, и он назвался — Виктор Чаплин. Он сел со мной рядом на бревнах и сказал, что пришел попрощаться, так как уезжает в Москву к родителям. А потом вдруг лег на спину и голову положил мне на колени. Я не вспомнила его сразу, потому что, когда я давала ему молоко, он был с бородой и усами, а теперь пришел чисто выбритый и помолодевший. Неожиданно он наклонил мою голову к своему лицу, и поцеловал меня прямо в губы, и потом сказал, чтобы я не сердилась — так он попрощался со мной. Встал и пошел в дом попрощаться с мамой. Он уехал, и больше мы никогда ничего о нем не слышали.

Приближалась осень 1921 года, и папа поехал в город Боготол, чтобы устроить меня в школу. Из школы он привез программу, по которой надо было пройти собеседование для поступления в пятый класс. Так как я зимой пропустила много уроков из-за эпидемии тифа, папа начал готовить меня к собеседованию, и я быстро нагнала пропущенное.

В город мы с папой пошли пешком, так как попутной лошади не было. Я благополучно выдержала испытание и была зачислена в городскую школу, которая называлась «школа II ступени» и была девятилеткой.

Я не писала о том, что мы, дети, разговаривая с родителями, называли их на «вы». Не знаю, чья это была затея, папы или мамы. Знаю только, что в Сибири были знакомые нам семьи, где дети называли родителей на «вы». Никакого принуждения не было — это казалось нам совершенно естественным. Думаю, что эта

привычка сформировалась у меня, когда я только начинала говорить, а младшие братья переняли это обращение у меня и друг у друга, а не под воздействием родителей. Помню, как однажды брат Игорь обиделся на маму за то, что она не пустила его на реку, и сказал ей с угрозой: «Вот, буду называть Вас на «ты»!»

Школьные годы в городе Боготол

Первое время, почти половину сентября 1921 года, в школу и обратно я ходила пешком, и не одна, а с другими учениками. Город Боготол находился на расстоянии то ли пяти километров, то ли пяти верст. А когда начались дожди и дорогу развезло, мама нашла в городе женщину, у которой я могла жить и которая согласилась кормить меня завтраками, обедами и ужинами.

Приходя из школы, я обедала и садилась за уроки. На улицу я не выходила, так как подруг у меня не было и незнакомого города я побаивалась. Закончив с уроками, я принималась читать какую-нибудь книгу из тех, что взяла с собой. Вечерами хозяйка ставила самовар, и мы садились с ней пить чай.

В начале обучения в школе я из-за своей фамилии испытала много неприятных минут — мальчишки меня дразнили, звали то Булочкиной, то Ватрушкиной, то Шанежкиной. (Шанежками в Сибири назывались булочки из полусдобного теста, смазанные сверху подсоленной сметаной, смешанной с мукой.) Они изощрялись как могли. И мне приходилось терпеть, поскольку ответить им остроумно я не умела, а показывать свою обиду не хотела. И что можно было придумать на фамилии Щербаков, Марков или Прокофьев? Мальчишки дразнили меня не со зла, а из озорства и для веселья, и даваемые мне прозвища были даже ласкательными. Городские девочки нашего класса относились ко мне хорошо, старались защитить меня от мальчишек. В классе я была самая младшая, все остальные были старше меня на год и больше.

Наша школа была в большом двухэтажном здании в центре города. На первом этаже — гардеробная, актовый зал для школьных собраний, два учебных класса, учительская и ленинская комната, украшенная портретами Ленина и его бюстом. В углу комнаты стояло красное бархатное знамя с бахромой. На втором этаже были только классы.

В моей сельской школе никто не говорил нам о революции, о Ленине, но кое-что я знала от папы — об отречении царя от престола, о произошедшей в России революции, о Ленине и Троцком. Но все это не задерживалось в моей голове. А в новой школе началось мое политическое образование — здесь был настоящий культ личности Ленина. Ученики должны были учить его биографию, нам рассказывали о его семье, о его детстве, успехах в школе, а также о том, как он дружил с мальчишками из простых крестьянских семей.

Пионерской организации в нашей школе тогда еще не было, а

комсомольская была, и комсомольские вожаки вечно торчали в ленинской комнате, занимаясь какими-то непонятными для нас делами, которые назывались «общественной работой». Мы еще не участвовали в этой работе, так как не были комсомольцами. В комсомол принимали с четырнадцати лет, и это происходило на школьных собраниях, где выступали те, кто считал, что данного ученика надо принять в комсомол, и те, кто был против. Каждый мог сказать о любых недостатках и ошибках ученика, не стесняясь говорить то, что было и чего не было, то есть сводить счеты. Довольно противно было присутствовать на таких школьных собраниях.

Я прожила одна месяца два с половиной, а в декабре в город переехали мои родители с братьями. Мы сняли одноэтажный дом всего из двух комнат и передней. Парадный вход с улицы вел в переднюю, а из нее — в большую комнату, в которой мы все спали. Вход со двора через небольшие сени вел в другую большую комнату с русской печкой, служившей нам и столовой, и кухней.

Мои братья Игорь и Олег быстро освоились с городской жизнью. Они пошли учиться в школу, но не в мою, а в другую, которая была ближе к дому. Борис же, которому было три года, оставался с мамой. Отец устроился работать в кооперативное товарищество, и, хотя работа ему не нравилась, другой пока не было.

Так как мы жили довольно далеко от школы, то, как и другие ученики, я надевала коньки, чтобы быстрее добраться до школы. Они представляли собой обыкновенные деревяшки с металлической полоской посередине и прикреплялись к валенкам веревками. Зимой по заснеженным, а иногда и по обледеневшим доскам тротуара можно было быстро доехать до школы. В гардеробе мы снимали валенки с коньками и надевали домашнюю обувь, которую мама шила из старых суконных тряпок, простегивая их нитками, а подошвы вырезались из старой кожи или войлока. Школьной формы тогда не было, и школьники одевались в обыкновенную одежду. Многие были одеты плохо, бедно, но мама умудрялась одевать меня лучше других, потому что шила и вязала сама и умела придумывать украшения к платьям.

В школе я училась очень хорошо; папа проверял сделанные мною уроки и следил за тем, чтобы задания были выполнены не только грамотно, но и красиво и чисто, без каких бы то ни было помарок в тетрадях. Мне очень понравились новые предметы — алгебра и геометрия, и я всегда начинала делать уроки именно с этих предметов.

Первый год моей школьной жизни в Боготоле я в основном

только училась и ни с кем из учениц не подружилась. Дома я помогала маме: занималась с младшим братом Борисом, гуляла с ним, читала ему сказки и укладывала спать. Никакой другой домашней работы я не делала. Родители считали меня слабенькой девочкой, говорили, что у меня плохой аппетит, что я страдаю малокровием. Сама я не чувствовала себя больной, но меня заставляли есть яблоки, в которые накануне были воткнуты гвозди. Мама кипятила новые гвозди, дезинфицировала их и втыкала в яблоки, которые оставляла в таком виде на ночь. А утром или по приходе из школы я должна была съесть яблоко, пропитанное железом от гвоздей. Я не думаю, что от этого была какая-то польза.

Окончив пятый класс с пятерками по всем предметам, я перешла в шестой. Папа спросил меня, чего бы мне больше всего хотелось, и я сказала, что больше всего хотела бы поехать в село Боготол, где мне всё было знакомо и где у меня были подруги. Папа уговорил маму отпустить меня на месяц в июне, когда поспевает земляника, и взял с меня слово, что я каждый день буду есть много земляники. Он считал эту ягоду самой полезной для здоровья. Он отвез меня к отцу Леонтию, предварительно договорившись с ним. Жена отца Леонтия давно умерла, и хозяйство в доме вела их одинокая родственница Елена Осиповна.

В этом доме я встретилась вновь со своей первой учительницей Евдокией Архиповной; она, оказывается, вышла замуж за Николая — сына отца Леонтия. Двое других его сыновей, Иван и Илья, еще учились в университете в Томске и к отцу в июне не приезжали. Мне было хорошо в этом доме. Отец Леонтий не принуждал меня ходить в церковь, и я могла убегать к своим подружкам и проводить с ними время. Снова были «гигантские шаги» у Озеровых и прогулки в лес и в поле с Нюрой Некрасовой и другими девочками. А земляники в то лето уродилось очень много.

Отец Леонтий сам занимался сельским хозяйством, как простой крестьянин. Пшеницу и рожь он не сеял, а вот овес для лошадей сеял и косил сам сено. В хорошую погоду он брал меня с собой в поле, где был посеян овес, или на другой берег Чулыма, где он косил сено. Покос еще не начинался, но он ездил туда посмотреть на траву, а также чтобы я могла собрать и поесть землянику. Сам он не любил собирать ни ягоды, ни цветы. Он был очень высокий и худой, и я думала, что при таком росте ему трудно нагибаться. Оттуда я возвращалась с корзиной земляники и с большим букетом цветов. Когда мы ездили на поле, где рос овес, то отец Леонтий накашивал много свежей травы и

укладывал ее на телегу. Помню, как я сидела на большом возу с травой, и, когда я приезжала домой, Елена Осиповна подавала мне туда блюдо, и я собирала клубнику, вытаскивая ее из травы. Набрав полное блюдо клубники, я подавала его Елене Осиповне и спускалась с воза с помощью отца Леонтия, который к тому времени уже успевал распрячь и напоить лошадь.

На ужин Елена Осиповна варила картошку и поджаривала на сковороде соленое свиное сало. Положив каждому картошки, она поливала ее растопленным салом со шкварками. Дома у нас мама такой картошки не делала, и мне это блюдо казалось очень вкусным. После картошки мы получали землянику со сливками или молоком. Елена Осиповна была украинкой, поэтому готовила и украинский борщ, и галушки со сметаной, но отварная картошка со свиным салом была ее излюбленным блюдом, и мы никогда от него не отказывались.

Запомнилось мне, как на селе праздновали Троицу — очень любимый мною летний праздник. Улицы села украшали срубленными в лесу молодыми березками, которые вкапывали в землю напротив каждого дома. Церковь была наполнена разнообразными цветами и березовыми букетами, источавшими сильный аромат. На Троицу все шли в церковь с самого утра и оставались там до конца церковной службы. Во всех домах также было много цветов и готовились праздничные блюда и пирожки с начинкой из мяса, грибов, капусты, моркови, картошки и всяких ягод.

Месяц моей жизни в селе пролетел быстро, и папа приехал за мной. Он нашел меня поправившейся, но не потолстевшей, загорелой и был доволен тем, что я больше не страдала отсутствием аппетита. Я попрощалась с селом и со своими подружками и уехала в город, чтобы никогда уже больше не вернуться.

Оказалось, что в городе родители нашли другой дом, ближе к школе и с четырьмя комнатами — большой столовой с примыкающей к ней кухней, большой гостиной и двумя небольшими спальнями, двери которых выходили в гостиную. Внешне дом выглядел красиво: с большими окнами, парадной дверью, выходящей на улицу, и другой дверью, ведущей во двор. Этот дом принадлежал одной вдове, которая жила в этом же дворе во флигеле. Она была полькой и жила с девочкой шести-семи лет, которая мне запомнилась тем, что на вопрос, как ее зовут, гордо отвечала: «Панна Юзефа Антоновна». Во дворе находился еще один дом, в котором жила семья Горностаевых с двумя мальчиками. Эти мальчики стали ближайшими друзьями моих братьев.

Мама снова купила корову, но никаких других животных и птиц у нас не было. И я не помню, чтобы был какой-нибудь огород. Но в маленьком садике под окнами спален росло много цветов, и особенно красивы были астры всех расцветок, а также пионы и георгины.

В шестом классе я снова стала первой ученицей, домашние задания не были для меня трудными, всё давалось мне легко. Может быть, потому что я унаследовала от отца хорошую память или развила ее, заучивая по его желанию много стихов, рассказов и сказок. Я любила сказки Андерсена и однажды выучила наизусть «Розу с могилы Гомера» и «Мотылек», которые мне особенно нравились. Папа так хотел, чтобы я много знала, что однажды попросил Илью Леонтьевича Голубовича, одного из сыновей отца Леонтия, позаниматься со мной латынью. Илья Леонтьевич в 1922 году вернулся в Боготол из Томска, где закончил филологический факультет университета. Он приходил к нам и занимался со мной, пока оставался в Боготоле. Его удивляло, насколько хорошо я всё запоминаю, и занятия шли успешно. Они продолжались несколько месяцев, до отъезда Ильи Леонтьевича зимой 1922 года.

В школе у меня появилась подружка Нина Дейхман. Она была слабенькой девочкой, некрасивой и с телосложением, как у горбатых людей, но горбатой не была. Про ее мать, одинокую и очень красивую женщину, в городе ходили слухи о ее беспутной жизни в молодости. Говорили, что она родила дочь без мужа, и эти разговоры очень ранили Нину. Она много плакала, и я ей сочувствовала. И однажды мы узнали, что ее мать отравилась. Девочку забрала к себе какая-то бабушка — то ли родная, то ли нет.

Как-то я была у Нины в доме на окраине города и с разрешения родителей осталась у нее ночевать. Бабушка куда-то уехала на один день, и Нине было страшно оставаться ночью одной в доме. Помню, что мы спали на кроватях, стоявших под углом друг к другу, и ночью я проснулась оттого, что кто-то пытался открыть окно нашей комнаты. Я испугалась и разбудила Нину. Белые короткие занавески на окнах не позволяли увидеть, кто это был, но кто-то явно толкался в наше окно. Мы встали и подошли к другому окну, но, не открыв его, ничего нельзя было увидеть. Кто-то молча всё толкал наше окно. Мы подумали, что это какой-нибудь пьяница, но, приоткрыв сбоку занавеску, увидели лошадь. Тогда, открыв другое окно, мы ее прогнали. Лошадь была стреножена и могла передвигаться только небольшими шажками. Перед окнами был палисадник, но его изгородь была сломана и в одном месте жерди лежали на земле.

Конечно, мы посмеялись над нашими страхами, хотя испуганы были не на шутку. Что думала лошадь, чего она хотела, толкаясь мордой в окно? А ведь, наверное, чего-нибудь хотела и о чем-нибудь думала.

Зимой 1922 года заболел папа, грубая пища не проходила через пищевод, он должен был есть только мягкое или жидкое и вообще чувствовал себя плохо. Наш знакомый хирург Миронов посоветовал папе поехать в Томск, чтобы показаться местным светилам медицины. Наибольшей известностью в то время пользовались профессора Курлов и Мышь. Уже после Нового года мама, оставив нас, повезла папу в Томск и добилась, чтобы его осмотрел профессор Курлов. Он поставил диагноз — рак пищевода, но лечить папу не взялся. Медицина тогда еще не умела бороться с этой страшной болезнью. И мама привезла папу домой. Она не сказала мне, чем болен отец.

Всю зиму 1923 года папа был на ногах, но очень похудел и ослаб, перестал ходить на работу и часто лежал. Он просил меня растирать ему спину или грудь, говорил, что у мамы руки шершавые, а у меня гладкие, и ему приятно, когда я растираю его.

Весной 1923 года на Пасху, очевидно, в апреле, он вдруг оживился, захотел печенья и помог маме испечь его, украсив каждое печенье ягодой малины, которую сам вытаскивал из варенья. Печенье было очень вкусное, и мы с удовольствием лакомились им, а папа с трудом проглотил одну штуку, предварительно сильно размочив. И с тех пор отец почти не вставал с постели.

Однажды, когда его пришел навестить один знакомый, папа, прощаясь с ним, вдруг сказал: «Прошу Вас, приходите на вынос моего тела». Услышав это, я ужаснулась и, может быть, только тогда поняла, что он умрет.

Как-то вечером я сидела у его постели, и он мне сказал: «Помолитесь за меня, детская молитва лучше дойдет до Бога». Ночью я разбудила Игоря и Олега, мы встали на колени перед иконами в большой комнате и молились, чтобы Бог спас нашего папу, но это не помогло. Я снова сидела возле его постели и гладила ему грудь — мама ушла доить корову. И вдруг я увидела, что струйка крови вытекла у него изо рта и потекла по подбородку. Я побежала за мамой — она доила корову у самого крыльца, а не в стайке, как обычно. Оставив ведро с молоком, она прибежала в комнату, взяла полотенце, вытерла кровь и закрыла папе глаза. Он так страдал от боли всё последнее время, что мама уже не плакала и я тоже. А мальчиков не было дома, они были во дворе. Что происходило дальше, я не помню, и кто приходил к

нам, не знаю. Помню только, что на другой день папа лежал в гробу на столе в переднем углу нашей большой комнаты и приходили люди прощаться с ним. Пришел и священник отпевать. На другой день папу отнесли в церковь и после панихиды понесли на руках на кладбище. В церкви было много народу, были и мои учителя из школы. Вся дорога от дома до церкви и от церкви до кладбища была усыпана пихтовыми ветками. Его могила была вырыта рядом с могилой доктора Петропавловского, умершего год назад. Помню, что кто-то сказал: «Будете лежать рядом, сыграете там пульку в преферанс». Папа дружил с доктором и иногда играл с ним в эту любимую карточную игру.

Когда гроб опустили в могилу и стали засыпать землей, я не выдержала и убежала в лес, села там под дерево и разрыдалась. Сердце разрывалось от горя. Я плакала долго, мне хотелось умереть здесь, не вставая. Начало уже темнеть, когда я пошла домой. Дома все еще сидели за столом, где была поминальная кутья, блины и много всяких блюд. Мама сильно волновалась из-за моего отсутствия, но не должна была и вида показать, что тревожится. Папа умер 24 мая 1923 года, когда мне еще не было и четырнадцати лет, и для меня это была страшная потеря, мне казалось, что я не смогу жить без него.

После смерти отца мама осталась с четырьмя детьми без средств к существованию. Ее устроили работать в городскую библиотеку — выдавать и принимать книги. Работать приходилось не полный день, а лишь какие-то часы по расписанию — то утром, то вечером. Летом, когда мама была в библиотеке, я оставалась дома с братьями, из которых только пятилетний Борис требовал моего постоянного внимания. Игорь и Олег занимались своими делами или играли во дворе. Моей обязанностью было накормить братьев и убрать квартиру. Приготовлением обедов и ужинов занималась мама, так же как и уходом за коровой. Когда мама возвращалась с работы, я могла уйти из дома погулять. Она радовалась, когда за мной заходили подружки — Нина Дейхман и другие девочки из нашего класса, видела, что я очень скучаю без отца.

Девочкам из нашего класса очень нравились картины моего папы, висевшие на стенах в наших комнатах, они находили их замечательными, быть может, потому, что ни у кого из них дома картин не было. У меня нет уверенности, что картины папы были уж так хороши, он был художник-самоучка, но тогда я считала их удивительными.

Очень мало впечатлений оставил у меня город Боготол — я все еще не могла к нему привыкнуть. Все его улицы были обсажены тополями, тополь был главным деревом города. Тополя

были высокие, стройные и часто подстриженные, с особенно крупными листьями. Весной город наполнялся запахом их клейких листьев, летом от тополей не было пуха, а осенью их листья, опадая на землю, образовывали огромные кучи, на которых дети любили поваляться, обсыпая листьями друг друга. В городе был большой парк, состоявший из двух частей: одна представляла собой свободную от деревьев площадь, окруженную высокими тополями, со стоящими на ней эстрадой и рядами скамеек. Вокруг площади были тенистые аллеи, где всегда было прохладно. Другая часть парка — без больших деревьев, с дорожками, обсаженными бояркой, черемухой, рябинами, шиповником и с клумбами цветов. Днем и вечером здесь приятно было сидеть на скамьях вокруг клумб и вдыхать запах черемухи, шиповника и цветов. Особенно хорошо пахли резеда, метеола и белые цветы табака. По вечерам на эстраде часто играл оркестр.

Летом 1923 года мы чаще всего проводили свободное время в этом парке. Окрестности вокруг города не привлекали нашего внимания, да и опасно было ходить туда без взрослых. Когда начались занятия в школе, я и два моих брата уходили из дома, а Борис, которому было пять лет, оставался один в те часы, когда мама была на работе. И однажды он пододвинул стул к буфету, залез на него, открыл дверцу и вытащил стручки красного перца, которые его заинтересовали. Перец попал в глаза, и мальчик несколько часов кричал. Кто-то из соседей, проходя мимо нашего дома, услышал его крик и сбегал за мамой в библиотеку. Какое-то время мама брала Бориса с собой на работу, но он очень мешал ей, и маме пришлось оставить работу.

Тогда, чтобы прокормить детей и платить за квартиру, мама стала сдавать одну из наших комнат девочкам, приезжавшим из сел учиться в город. Это были дочери священников или дьяконов. В другую спальную комнату мама перевела Игоря и Олега и спала там со всеми тремя мальчиками. Я спала в большой комнате одна, и скоро ко мне переехала жить еще одна девочка из нашего класса, Вера Савостьянова, тоже дочь сельского священника. С ней мы очень подружились, вместе ходили в школу и дома готовили уроки. За квартиру девочки могли заплатить немного, но зато из деревень им привозили продукты, в основном мясо и овощи, и мама готовила еду для всех, и для чужих, и для своих. Таким образом, мы были сыты, но денег, чтобы платить хозяйке за квартиру, все же не хватало.

Я училась в седьмом классе, была первой ученицей, как и в пятом и шестом классах, и у меня обнаружились выдающиеся, как тогда говорили, способности по математике. И, чтобы помочь нашей семье, преподаватель математики в нашей школе Михаил

Николаевич Штамов предложил мне заниматься с отстающими учениками за плату. Я согласилась, и у меня появились ученики. Михаил Николаевич Штамов был также и директором нашей школы. Его родной брат руководил в Томске крупным институтом по медицине, который все знали как Штамовский институт. Занимаясь с отстающими учениками, я как-то сразу догадалась, что ученик перестает понимать математику, если он из-за болезни или просто из-за того, что плохо слушал объяснения учителя, что-то не усвоил. Математика — логическая наука, и я стала искать то звено в цепи, которое было разорвано. Найдя это звено, я объясняла пропущенное, и ученик начинал понимать и всё последующее. Мои ученики начали хорошо учиться по математике. Чем больше у меня было успехов в преподавании математики, тем больше у меня было учеников. Я занималась с ними и в августе, и только в июне и июле я была свободна от занятий. Осенью 1923 года объявили, что в школе вводится обязательная форма для учеников. Для меня и вернувшейся к нам Верочки Савостьяновой, проводившей лето у родителей в селе, мама купила материал — темно-синий кашемир на платья, черный сатин и белую ткань для фартуков — и сама сшила нам школьную форму. В зимние каникулы мама отвела нас с Верой в парикмахерскую, где нас постригли «под мальчиков». До тех пор у нас было по две косы до пояса, которые привлекали внимание мальчишек.

В этом же учебном году, когда я была в восьмом классе, я подала заявление в комсомол; почти все ученики нашего класса стали уже комсомольцами, кроме детей священников или церковных служащих. В комсомол их не принимали. Похода против религии еще не было, разграбление и разрушение церквей было еще впереди, но служители церкви были объявлены «лишенцами», то есть лишенными ряда гражданских прав; они, а также их дети не допускались к выборам. Пропаганда против религии, руководствующаяся ленинским высказыванием «Религия — опиум для народа», велась повсюду очень активно. Я не помню, под чьим влиянием мною было принято решение вступать в комсомол. Возможно, это был кто-то из преподавателей, может быть, Курбатов, преподававший обществоведение. Я была первой ученицей в школе, из бедной семьи простого служащего, да еще без отца. Так что я была прямым кандидатом в комсомол. Сама же оставалась равнодушной к комсомолу, и мне было жалко отдаляться от главной подружки, Веры Савостьяновой. Заявление я подала и должна была ждать комсомольского собрания. Однажды, как всегда вечером, я занималась с учениками математикой в нашем классе на верхнем этаже. Закончив занятия,

я спустилась вниз и услышала какой-то шум и смех в ленинской комнате. Я подошла и открыла дверь. Несколько учеников старшего класса — вожаки комсомола — сидели за столом и пили водку из граненых стаканов. На столе на газете была разложена нарезанная кусками селедка и ломти хлеба. И это в ленинской комнате! Эти ученики внушали нам, младшим, что Ленин — это святыня, и ленинская комната была для нас местом, куда надо входить с благоговением. Я была так потрясена, что некоторое время стояла молча, а потом ушла, захлопнув дверь. Комсомольские вожаки тоже были поражены моим появлением, они так и не сказали мне ни слова. Я была возмущена и через день взяла свое заявление обратно. И больше заявления о вступлении в комсомол не подавала ни в этом, ни в следующем году.

Ленин умер в январе 1924 года. В школе собрали всех учеников. Комсомольские вожаки, рыдая, объявили о смерти вождя, и все ученики дружно заревели. И это был такой всеобщий плач, что остаться равнодушной было невозможно. Плакала и я, но больше о своем отце — всегда так бывает, что на чужих похоронах вспоминаются похороны близкого тебе человека. Ленин был для меня чужим человеком, я не могла проникнуться к нему даже симпатией. А моя мама не могла простить ему потери дома и денег в банке и называла его только вором.

Еще в седьмом классе мы начали учить немецкий язык. Преподавала его пожилая женщина маленького роста с кудряшками на голове, которую звали Эмма Карловна. Ученики, особенно мальчики, невзлюбили ее так же, как и немецкий язык. Они всячески старались ей досадить: то мелом натрут стул, то положат на него кнопки, то запустят в нее бумажного голубя. Мне было жалко учительницу, и я старалась прилежно учить язык, и постепенно он мне стал нравиться, особенно когда мы начали учить наизусть стихотворения. Этот язык был одним из тех, что мой папа учил в гимназии. Я вспоминала, как папа любил называть меня Meine Tochterchen, когда я была маленькой. Благодаря хорошей памяти язык давался мне легко, и к окончанию школы я уже читала на немецком рассказы, напечатанные готическим шрифтом. Других книг тогда еще не было. Бегло говорить по-немецки я не могла, да и не с кем было, разговорная практика отсутствовала.

Географию нам преподавал сын городского врача Петропавловского, рядом с могилой которого был похоронен мой отец. Борис Михайлович Петропавловский, закончивший нашу же школу, был очень красивым молодым человеком лет девятнадцати-двадцати, и все наши девочки были влюблены в

него, в том числе и я. Я никому не говорила об этом, а старшие ученицы, наоборот, о своей влюбленности друг другу рассказывали. У Бориса Михайловича была привычка: когда на его уроке в классе поднимался шум, начинались разговоры, он переставал объяснять урок, решительным шагом проходил по проходу между партами к задней стене класса. Став к ней спиной, он скрещивал руки на груди и молчал до тех пор, пока в классе не прекращался шум. Ученики замолкали и сидели тихо, и только тогда преподаватель возвращался к географической карте и продолжал вести урок.

Двери нашего класса, состоящие из двух половинок, выходили не в коридор, а в соседний класс. В этом классе для младших учеников вела урок Агния Павловна Штамова — жена начальника школы. Однажды во время урока географии в этом классе раздался взрыв смеха, и Борис Михайлович, уцепившись руками за фрамугу над дверью, приподнялся посмотреть в нее, что там происходит. Стараясь удержать равновесие, он непроизвольно толкнул ногами обе половинки двери. Они раскрылись, и Борис Михайлович в висячем положении предстал перед взором Агнии Павловны. Поняв, что дверь раскрылась, он спрыгнул, извинился и закрыл дверь. Тут уж мы все, и он вместе с нами, посмеялись вдоволь.

Преподавателем литературы был Петр Петрович Пектужев, болезненного вида худощавый высокий человек. Он был совсем одиноким. Литературу знал и любил самозабвенно и так увлекался, когда вел урок, что часто не хотел его заканчивать, хотя звонок уже прозвенел — он просто его не слышал. Говорил он очень интересно, и мы все его любили.

Рассматривая книги отца, я как-то нашла в одной из них рисунок, изображавший Христа с терновым венком на голове. Это была небольшого размера иллюстрация, но у Христа было такое красивое и одухотворенное лицо, что оно меня поразило. Я взяла лист плотной бумаги и срисовала Христа, но большего размера, раза в четыре больше. Я так старалась, что у меня получился хороший рисунок, который я хотела показать нашему учителю рисования, но потом решила подарить его учителю литературы, Петру Петровичу. Я знала, что он был религиозным человеком и в праздничные дни никогда не пропускал службу в церкви. Я завернула рисунок в газету и в первый раз пошла к Петру Петровичу домой. Дверь мне открыла прислуга, и я прошла в его кабинет, где он сидел за письменным столом и что-то писал. Смущаясь, я развернула рисунок и отдала, сказав, что сделала его для него. Он оживился, встал, посмотрел на рисунок и тут же повесил его на стену над письменным столом, приколов

кнопками. На стене рисунок показался мне еще лучше. Петр Петрович поблагодарил и сказал, что рисунок ему очень нравится. Потом он угостил меня чаем, и мы разговаривали. Он советовал мне поступать в университет на филологический факультет, и я подумала: «Ну вот, Михаил Николаевич Штамов, мой самый любимый учитель, говорит, что с моими способностями по математике мне следует пойти только на математический факультет, а Петр Петрович говорит о филологическом». Сама я тогда еще ни о чем таком не думала, хотя училась уже в восьмом классе.

Я училась в те годы, когда в школе проводились разные эксперименты: то вдруг объявлялось, что грамматика — буржуазный предрассудок и учить ее в советской школе не надо. Мой папа тогда очень возмущался и говорил: «Как не понимают те, кто отдает такие распоряжения, что ученики, закончив школу, не будут грамотно писать». Это распоряжение у нас как-то не привилось, по-моему, учителя его просто не стали выполнять. В седьмом классе, также по распоряжению свыше, у нас было объявлено обучение по Дальтон-плану. Класс разбивался на группы по шесть-восемь человек, и они должны были готовить уроки и отвечать преподавателю коллективно. Очевидно, так хотели приучить нас к коллективизму. Естественно, что из группы готовили уроки только двое-трое хороших учеников, а остальные ничего не делали и не отвечали на уроках. Однако всем ставились отметки, судя по тому, как отвечали хорошие ученики. Но и это распоряжение не привилось и постепенно забылось.

По распоряжению органов образования ученики должны были в школе получить практические навыки, и потому в нашем классе ввели медицинскую практику. Нас посылали в больницу, где мы должны были помогать медсестрам ухаживать за больными и присутствовать на операциях. Хирургом в больнице был наш хороший знакомый Сергей Павлович Миронов, и я присутствовала на двух его операциях. Первый раз это было, когда он оперировал молодую женщину из деревни, у которой был рак нижней губы. Я хорошо ее запомнила, потому что когда она сняла кофточку и легла на операционный стол, мы увидели, что ее черная юбка вручную пришита к белому лифчику толстыми суровыми нитками. Во время операции Миронов должен был удалить затвердевшую часть нижней губы. Сначала женщине с помощью нескольких уколов был сделан местный наркоз. Миронов взял ножницы и сделал первый косой разрез на губе, кровь брызнула и попала мне на подбородок, так как я стояла близко и держала голову женщины руками, чтобы обеспечить неподвижность. Миронов бросил ножницы и стал вытирать мне

подбородок, а заодно нос и щеки (кажется, сулемой) и только потом сделал второй разрез. Получившийся треугольный вырез он зашил иголкой с шелковой ниткой.

Вторая операция, которую я видела, была на ноге молодого человека, куда во время охоты попал заряд дроби. Нужно было извлечь дробинки из ноги, и особенно трудно их было доставать из голеностопного сустава. Во время операции, которая проходила под общим наркозом, молодой человек все время разговаривал. Оказалось, он был баптист и проповедовал баптистское учение.

Не прошло и двух месяцев, как медицинский уклон нам заменили на педагогический. Класс разбили на группы, и мы должны были группами, сменяя друг друга, ехать в глухую деревню Разгуляевку где никогда не было никакой школы. Нужно было создать там школьный класс для детей и избу-читальню для взрослых, желающих ликвидировать свою неграмотность. Мы взяли с собой книги, тетради, карандаши, ручки, чернила, мел, школьную доску и много плакатов разного содержания, пропагандирующих марксизм-ленинизм и советскую власть.

Деревня Разгуляевка была расположена на плоской возвышенности и представляла собой длинный ряд деревянных домов, стоящих лицом к склону, заросшему березовым лесом. Была зима 1925 года, мороз — 30–35 градусов по Цельсию, и днем снег искрился на солнце, как миллионы драгоценных камней. Мы поразились красоте леса, покрытого инеем и утопающего в глубоком снегу.

На одном конце деревни нам выделили один дом для школьного класса и другой для избы-читальни, а на противоположном конце у бездетных хозяев предоставили большую комнату для ночлега и для подготовки к занятиям.

Михаил Николаевич Штамов, поехавший с нашей первой группой, сказал мне: «В деревне мы будем есть вместе с хозяевами, и ты, смотри, не требуй себе отдельной тарелки. Они едят из общей миски, и мы тоже должны есть с ними». Но когда я понесла первую ложку из миски ко рту, то тут же пролила ее на стол. Хозяйка, увидев это, засмеялась и поставила мне отдельную тарелку. А Штамов решил, что это была моя хитрость, но, честное слово, нет.

Спали мы на полу все в одной комнате: две девочки — я и Нина Дейхман в одном углу, а Михаил Николаевич и Рома Марков в другом. Для меня спать на полу тоже было непривычно, но тут же пришлось покориться. Мы все очень уставали за день и спали хорошо. Электричества в деревне не было, свечей тоже, и люди пользовались простыми керосиновыми лампами. В

некоторых бедных домах не было и керосина, и там жгли лучины. В деревне к нам относились очень дружелюбно, приглашали зайти в гости и угощали пирожками и шанежками.

За две недели нашего пребывания в Разгуляевке мы организовали обучение детей чтению и счету, а также занятия со взрослыми. Продолжить эту работу должна была другая группа из трех учеников с очередным преподавателем во главе. Через две недели вторую группу должна была сменить третья и так далее. А весной 1926 года поездки наших школьников в деревню Разгуляевку прекратились, и туда прислали постоянного учителя. А нам, возвратившимся в конце 1925 года в свою школу, пришлось догонять остальных учеников, так как много уроков по всем предметам было пропущено.

Мама была озабочена тем, что наступал последний год моего обучения — девятый класс и предстояла поездка в Томск, где я должна была сдавать экзамены в вуз. Мы уже не могли оплачивать нашу квартиру, так как нужно было накопить денег на железнодорожный билет и жизнь в Томске. Поэтому еще в начале лета 1925 года мама решительно рассталась с нашей большой квартирой у польки, и мы переехали в бедный домик из двух комнат с русской печкой в одной из них. Дом был почти на самой окраине Боготола, невзрачный на вид, но зато совершенно бесплатный. Снаружи он был оштукатурен и побелен известкой, окна были без ставен, не было парадного входа с улицы. Сплошного забора вокруг дома тоже не было, только загородка из жердей, прибитых к столбам. Во дворе был хлев для животных и птицы. Мы перевезли всю мебель и украсили стены папиными картинами. Я так стеснялась жалкого вида нашего нового жилища, что с провожающими меня из школы мальчишками прощалась, не доходя до него, остановившись у более приличного на вид дома. Девочек из нашего класса я не стеснялась, и они приходили к нам домой или заходили за мной погулять в праздничные дни.

Я тяжело переживала бедность нашего существования, но мама не унывала и снова завела небольшое хозяйство. Корова у нас уже была, и она купила поросенка на откорм и петуха с курами. Она также разбила огород и взяла участок земли далеко от города под картошку. Поскольку я училась да еще зарабатывала уроками, мама почти не просила ей помогать. Зато братьев она заставляла работать и в огороде, и во дворе. В то время я, наверное, плохо осознавала, как тяжело жилось моей маме, какую большую физическую и моральную нагрузку несла она на своих плечах одна, без какой бы то ни было помощи. Только теперь я это хорошо понимаю и думаю, что мало тогда

сочувствовала ей, считала все это в порядке вещей.

После окончания седьмого класса многие ученики перестали учиться, некоторые уехали, и в нашем классе осталось всего семнадцать человек, девочек больше, чем мальчиков. Со всеми в классе у меня были хорошие отношения — я не зазнавалась от того, что была первой ученицей и что меня всем ставили в пример. Всегда помогала другим по алгебре, геометрии и физике.

Как-то после моего возвращения из Разгуляевки Лёля Лыткина, полное имя которой было Леонилла, попросила меня позаниматься с ней алгеброй. Я согласилась, и она пригласила меня к себе домой. Я не была с ней дружна раньше, так как она была старше меня на полтора года — мне не было и шестнадцати, а ей было уже семнадцать и у нее был свой круг друзей-однолеток.

Ее отец был начальником железнодорожной станции Боготол и в городе был знаменит тем, что имел хороших лошадей, и, когда устраивались скачки или бега, он принимал в них участие и часто получал призы. Петр Петрович Лыткин был бы даже красивым человеком, если бы не чересчур длинный нос. Единственная дочь его Лёля унаследовала от отца такой же длинный нос, а также белокурые вьющиеся волосы и небольшие ярко-голубые глаза. Мать Лёли была темноволосой полной женщиной с большими карими глазами. Лыткины жили в казенном доме возле железной дороги, и у Лёли была своя отдельная комната, где мы занимались алгеброй. Как-то во время этих занятий Лёля уговорила меня пойти на вокзал встречать московский поезд. Никогда раньше я не была на вокзале — со своими подругами Ниной Дейхман и Верой Савостьяновой мы чаще всего ходили гулять в городской парк или по улицам города. На вокзале мы с Лёлей прошлись по платформе и встретили московский поезд; нам было очень интересно смотреть на выходящих из поезда пассажиров. Они прогуливались по платформе и покупали у торговок, вышедших к поезду, молоко, простоквашу кур и другие продукты. Мы разглядывали их с любопытством, они казались нам особенными людьми: и одеты были не так, как здешние, и разговаривали по-иному.

Прогулки по платформе стали для нас излюбленным занятием, и я не только зимой, но и весной, и летом часто прибегала к Лёле, чтобы вместе с ней пойти встречать московский поезд, проходивший через Боготол один раз в день. Встречный поезд в Москву проходил через нашу станцию ночью. Так постепенно, начиная с 8-го класса, Лёля Лыткина стала главной моей подругой. Однажды на праздник масленицы Лёля пригласила меня к себе покататься на лошадях. Обычно во время

масленицы многие катались на лошадях, а также на санках по улицам с крутым спуском. Лошадей Лыткин любил норовистых. Он запряг тройку, посадил нас с Лёлей в повозку, сам сел на сиденье спереди и отпустил поводья, давая лошадям свободу. Он любил быструю, даже лихую езду. Мы с Лёлей замирали от страха, а он, проехав город, вылетал в поле или лес и мчался как вихрь, разбрасывая кругом комья снега.

Однажды я пришла к Лёле домой и увидела, что она с отцом во дворе и Лыткин уговаривает ее сесть на лошадь и покататься по двору. Он хотел научить ее не бояться лошадей. Лёля никак не соглашалась сесть, и я, чтобы показать ей, что это не страшно, попросила Лыткина посадить на лошадь меня. Он подвел лошадь к крыльцу, и с крыльца я легко забралась верхом. Седла не было, только попона. Лыткин шел рядом с мордой лошади и провел ее кругом по двору. Увидев, что я не боюсь и сижу хорошо, он отошел в сторону. Последний раз я ездила верхом в 1920 году, когда у нас в селе Боготол была белая лошадь. А теперь шел 1925 год и мне было шестнадцать лет, но навыки остались, и страха не было. Я проехала еще один круг по двору, и вдруг лошадь рванулась в сторону и вынесла меня за ворота. Никто не обратил внимания, что ворота были открыты. Лошадь помчалась по железнодорожному пути прямо по шпалам. Какое-то время я держалась, а потом сама свалилась с нее, боясь, что лошадь унесет меня далеко и может столкнуться с поездом. Хорошо помню, что, свалившись, я ударилась головой о шпалы, и хорошо, что не о рельсы. На какое-то время я, должно быть, потеряла сознание. Лыткин бежал за лошадью, что-то кричал, а когда подбежал ко мне, то, забыв про лошадь, поднял меня, отнес на руках домой и положил на Лёлину постель. Ноги и руки были целы, а на затылке — шишка. Кажется, мама Лёли прикладывала к шишке медный пятак и холодное полотенце. Скоро я пришла в нормальное состояние, мы пообедали, а вечером с Лёлей пошли на вокзал встречать московский поезд; на этот раз проезжала какая-то группа актеров, направлявшихся, наверное, на гастроли. Они были очень нарядно одеты, особенно актрисы, и вели себя весело и свободно, и мы смотрели на них как на людей из какого-то другого мира. Возвратившись домой, я ничего не рассказала маме о своем приключении, но после истории с лошадью Лыткина со мной что-то произошло, я стала бояться лошадей и, когда видела всадников, душа моя замирала — я могла даже остановиться как вкопанная. Со временем это чувство прошло, но много лет мне не представлялось случая садиться на лошадь.

Летом 1925 года мы всей семьей ходили на наш участок окучивать картошку. Думаю, что до него было не менее пяти

верст, и мы шли пешком. На поле были люди из тех, кто получил землю под картошку. Они не были нашими знакомыми, но тем не менее мы вместе разожгли костер и вскипятили чайник, а потом сели обедать. Ели то, что взяли с собой из дома, и много разговаривали и смеялись. Всем было весело. Тяпки для окучивания, большой чайник, ведра и даже часть продуктов были привезены на телеге. Видимо, у кого-то была лошадь. Помню, как мы возвращались домой опять же пешком и по дороге напали на земляничную поляну. Ягод было так много, что можно было лежать на траве и есть землянику горстями. Когда мы ею просто объелись, то начали собирать в корзину, чтобы сварить варенье на зиму. Очень скоро набрали половину корзины, но вдруг где-то прогремел гром, и мама заторопилась домой. Так было жалко уходить, но пришлось. Много раз в жизни мне приходилось видеть земляничные поляны в разных местах России, но такого изобилия крупных, сладких и ароматных ягод нигде больше не встречала. Такова была Сибирь — край не тронутого еще изобилия.

Осенью мы еще раз отправились на наше поле, чтобы собрать урожай. Все, кто сажал там картошку, ехали вместе на нескольких телегах. За несколько часов выкопали весь урожай, а в перерыве на обед разожгли несколько костров и пекли картошку на углях. Ели с солью и хлебом; картошка, печенная на костре, да еще на свежем холодноватом воздухе, казалась необыкновенно вкусной. Уже под вечер, после просушки на солнце картофель собрали в мешки. Сколько у нас получилось мешков, не помню, но, во всяком случае, картошки оказалось достаточно на всю зиму и весну для нас и животных — коровы и поросенка. Однажды этой же осенью у нас потерялась корова, и мама была в отчаянии — ведь корову мог задрать волк, что не раз бывало в нашем городе. Оставив нас с Борисом дома, мама с Игорем и Олегом ушли искать ее в поле и, только когда совсем стемнело, пригнали корову домой.

Так прошло лето 1925 года и начались занятия в девятом классе. К счастью, в последнем классе нас никаким практическим навыкам не обучали, и можно было спокойно учиться. Я по-прежнему была отличницей и по-прежнему не отказывалась от подготовки по математике отстающих учеников, которых мне посылал Михаил Николаевич Штамов. Он разрешил мне заниматься с учениками в своем классе на втором этаже. Закончив занятия, я спускалась в актовый зал и уже из него выходила на улицу. Иногда в актовом зале я встречала единственную дочь Михаила Николаевича Софью, которая была года на два моложе меня. Она училась музыке у

преподавательницы и разучивала упражнения на стоявшем в актовом зале рояле. Я оставалась послушать ее игру. Я могла целый час слушать простые гаммы, и это ничуть мне не надоедало. Мне так хотелось научиться играть, что я чуть не плакала, но денег, чтобы платить учительнице музыки, у нас не было.

Зимой 1925 года в городе открылся Народный дом, в котором было организовано несколько кружков: по литературе, по рисованию, по вышивке и шитью, по труду. В этом последнем занимались изготовлением моделей планеров, самолетов, кораблей и приобретали навыки плотницкой и столярной работы. Именно в этот кружок записались мои братья Игорь и Олег. Мы же с Ниной Дейхман, Лёлей Лыткиной, Мишей Раюшкиным и другими выбрали литературный кружок, где обсуждались прочитанные книги и происходило знакомство с вышедшими уже при советской власти книгами и стихами. Руководитель кружка учил нас декламации.

Там же, в Народном доме, проводились праздничные концерты и вечера для молодежи. На одном из таких вечеров были танцы, викторина и игра в почту. В ходе этой игры всем участникам раздают номера, которые прикалываются на грудь или на рукав. Даже не зная ни имени, ни фамилии, можно написать записку одному из участников, проставить на ней его номер и бросить в «почтовый ящик». Когда все записки собраны и желающих отправить записку больше нет, участник, выбранный «почтальоном», вынимает записки из ящика и выкрикивает номера тех, кому они предназначены. Они подходят и забирают свою почту.

К своему удивлению, я получила три или четыре записки. По номерам я приметила тех молодых людей, которые в записках приглашали меня танцевать. Я отказывалась, потому что не умела танцевать. И только в одной из записок говорилось, что меня хочет проводить домой Дима, и я согласилась. Этого молодого человека я раньше не видела, он был симпатичный и даже красивый, и я с ним познакомилась. Оказалось, что он приехал в гости к своим родственникам, а учится в Мариинске.

Не ожидая окончания вечера, мы оделись и вышли на улицу. Мороз был сильный, под 30 градусов, и у моего кавалера тут же начался насморк. Из носа просто текло, и он ничего не мог с этим поделать. Носового платка у него, по всей видимости, не было, он шуршал какой-то бумагой и вытирал нос просто руками. Я стеснялась предложить ему свой платок и решила, что мне надо делать вид, будто я ничего не замечаю. Я болтала о разных вещах и старалась не смотреть в его сторону. Он молчал, а насморк не

прекращался. Высморкаться прямо на снег, как это делают простые люди, он стеснялся и, проводив меня до дома, сразу же убежал. Больше я его никогда не видела. Рассказывая об этой истории подружкам, которые также делились со мной впечатлениями о знакомствах, я называла его «сопливым кавалером». Он был первым кавалером в моей жизни, если не считать учеников моей школы, которые иногда провожали меня домой.

Всю зиму и весну в девятом классе я много занималась, особенно алгеброй. Михаил Николаевич давал мне решать задачи, которые считались трудными для школы. Думаю, что у него был задачник, из которого берутся задачи для экзаменов в университет на математическое отделение. И я их решала. Я сама удивлялась, насколько легко мне давалась математика. Однажды на уроке алгебры я сказала Штамову, что буду решать задачу в уме, и он ответил: «Попробуй». Довольно сложную задачу записали мелом на доске, и все молча начали ее решать. Сложность заключалась в том, что все данные в условии этой задачи записывались в виде сложных алгебраических выражений с двумя неизвестными — X и Y. Я сидела на первой парте, а Штамов, чтобы видеть записанное на доске, пересел со своего стула на мою парту. Таким образом, даже бегло записать хоть что-нибудь я не могла и честно решала всё в уме, удерживая все промежуточные результаты в памяти. Пока задачу записывали на доске, я уже успела преобразовать два или три алгебраических выражения и закончила решать задачу минут за 15–20 до звонка. Ответ я помню и сейчас — это число 16, я написала его на бумажке и отдала Штамову. Он не глядя положил ее под свою клеенчатую тетрадь. Урок продолжался, и ближе к концу еще несколько учеников решили задачу, остальные не справились. Штамов достал мою бумажку и, увидев результат, улыбнулся — решение было правильным. С тех пор, если Штамов должен был уехать по делам школы в Мариинск или Томск, он уже не просил других преподавателей занять его часы. Он поручал мне занятия со своим классом по той программе, которую составлял для меня. Сначала я побаивалась этих занятий — думала, что меня не будут слушаться, но всё проходило хорошо, и дисциплину никто не нарушал. Будущую вторую Софью Ковалевскую, наверное, уважали.

Мои занятия с отстающими учениками продолжались, как и прежде. Я отдавала заработанные деньги маме, и она часть из них откладывала для меня на поездку в Томск. Таким образом была собрана нужная сумма.

Наверное, в самом конце мая или начале июня мы всем

классом ходили на экскурсию в питомник, где было показательное ботаническое хозяйство. Руководил этим пешим походом наш учитель географии Борис Михайлович Петропавловский. Идти надо было километров десять, но погода была замечательная, местность вокруг потрясающей красоты, все были здоровые и веселые, и дорога не показалась нам утомительной. Когда мы дошли до места, то увидели большой сад цветущих яблонь. Изумлению большинства из нас не было предела, мы были потрясены красотой цветущего сада и исходящим от него ароматом. Наверное, Борис Михайлович знал, что это за питомник, ведь недаром именно он привел нас сюда. О питомнике могла знать еще и Нина Дейхман, так как оказалось, что им заведовал друг ее матери. Я впервые в жизни видела цветущий яблоневый сад. Раньше, в детстве, встречала на картинках в книжках яблоню в цвету или с висящими яблоками и думала, что такие деревья бывают только в раю.

Нам показали дом, в котором располагалось какое-то учебное заведение, и сказали, что мы можем здесь провести ночь. В комнатах были только столы и стулья, и устраиваться нам пришлось без постелей. Там же была комната, где можно было выпить чаю и съесть принесенные с собой бутерброды. После чая ученики разбились на пары и пошли гулять по аллеям сада. Борис Михайлович выбрал самую красивую в классе ученицу — Галю Ускову. Это была высокая стройная девушка с безукоризненно правильными чертами лица, с большими чуть выпуклыми глазами, но, боже мой, какая дура! Училась плохо — то ли ленилась, то ли была туповата, — но это не мешало ей быть неизменно веселой и хохотать по любому поводу.

Моя подружка Лёля Лыткина меня оставила и ушла гулять с постоянным своим поклонником Мишей Раюшкиным. Он был небольшого роста, ниже Лёли, но большой выдумщик, увлекался гипнозом, сочинял стихи и вообще был незаурядным юношей. Я гуляла в саду с Ниной, но, когда стало темнеть, она ушла к своим знакомым ночевать. Какое-то время я еще оставалась в саду и дышала ароматным воздухом, но комары прогнали меня в дом. Из дома их можно было выкурить дымом от веток какого-то растения, сжигаемого на металлической жаровне. Вернувшись в дом, я и занялась этим: разожгла ветки на жаровне, внесла их в комнату, открыла окна и хорошенько надымила, размахивая жаровней. Потом закрыла окна и дверь и попробовала устроиться спать. Села за стол, положила руки на стол и, склонив на них голову, постаралась заснуть. Однако почти сразу же стали возвращаться из сада другие ученики и поднялся шум. Мальчики устраивались в другой комнате, такой же, как наша, а девочки —

или со мной, или в третьей комнате. Я так и не заснула ни на минуту.

Утром яблоневый сад снова поразил меня своей красотой и ароматом. День был солнечный и теплый. Как могли в Сибири вырастить такой сад? Как могли яблони не замерзнуть от сильных морозов?

Я зашла за Ниной к ее знакомым и позвала ее через окно, не заходя в дом. Там в это время завтракали, и хозяева пригласили меня зайти к ним, угостили чаем с ватрушками.

Заведующий питомником повел нас в оранжерею, где яблони выращивались из семян и превращались в небольшие деревца. На наш вопрос, как яблони переносят морозы, заведующий ответил, что иногда не переносят и погибают, и тогда их заменяют новыми деревцами. А вообще, в сильные морозы, которые обычны для Сибири, деревья защищают с помощью дымовой завесы, разжигая вокруг сада костры из особенно сильно дымящегося валежника. Кроме того, как я поняла, подрастающие деревца постепенно приучают к морозам. Яблоки на этих деревьях созреть не успевают и опадают совсем еще зелеными. Этот цветущий яблоневый сад в Сибири я запомнила на всю жизнь.

С конца мая в школе начались выпускные экзамены. Как они проходили, я совсем не помню. Трудности у меня были только со сдачей экзамена по химии, которую я никогда не любила, но все же благополучно сдала. Нам выдали аттестаты об окончании школы. Мой аттестат оказался необычным: в нем было написано, что у меня выдающиеся способности по физико-математическим дисциплинам и литературе. Вот это последнее было неожиданным и поразило меня.

Наверное, на этом настоял учитель литературы Петр Петрович Пектушев, но, конечно, не потому, что я подарила ему рисунок Христа в терновом венце, а за хорошие ответы и за последний мой доклад в защиту Маяковского. Было время, когда Маяковского очень хвалили, но как раз на тот момент его творчество подвергалось критике и негативно оценивалось писательской общественностью. Петр Петрович решил устроить по этому поводу диспут и назначил мне оппонента — Мишу Раюшкина. Я написала свой доклад, работая в городской библиотеке, где находила статьи в журналах и газетах в защиту Маяковского как поэта революции. Доклад мой занял сорок минут, потом мне возражал Раюшкин, а я ему отвечала. Наш с ним диспут длился больше часа. Другие ученики тоже приняли в нем участие, просто высказывались, на чьей они стороне. В результате диспута правой оказалась я. Такое решение вынес наш класс и сам Петр Петрович. Он был очень доволен, хвалил и

меня, и Раюшкина, и я думаю, что именно этот диспут сыграл роль в решении внести в наши аттестаты записи о выдающихся литературных способностях.

После выдачи аттестатов в школе был выпускной вечер. Его официальная часть проходила в Народном доме, где собрались ученики, родители и представители городских властей. На сцене разместили стол президиума, в который пригласили меня и Раюшкина как получивших лучшие аттестаты.

С докладами выступали директор школы, кто-то из преподавателей, кто-то из родителей и от городских властей. Затем ученики читали стихи Маяковского, Пушкина, Есенина. Я читала стихотворение в прозе Максима Горького «Буревестник».

К выпускному вечеру мама сшила мне очень красивое платье из сохранившегося у нее от прежних времен куска белого шелка с мелкими розовыми цветочками. На голове у меня был венок из розовых цветов шиповника. Другие ученицы тоже выглядели очень нарядными в своих белых, голубых и розовых платьях. Принарядились и наши мальчики.

Когда закончилась официальная часть вечера, все направились в школу, где в актовом зале был сервирован стол, в основном бутербродами, пирожками, печеньем и тортами. Все это сделали своими руками наши мамы. Актовый зал был наполнен цветами — незабудками, ирисами, колокольчиками и цветами шиповника, а стены украшены березовыми ветками.

После того как все перекусили и выпили чаю, стол сдвинули, стулья убрали, и начались танцы под граммофон. Я все еще не умела танцевать, только смотрела на танцующих, и тогда решила, что обязательно научусь танцевать. А из наших мальчиков мне никто особенно не нравился. В общей атмосфере праздника я чувствовала себя счастливой, и только было немножко грустно, когда вспоминала отца. «Как был бы он счастлив и радовался моему аттестату», — думала я. Мама же, когда при ней расхваливали меня, сдержанно говорила: «А что ей еще делать? Одета, обута, накормлена — она и должна хорошо учиться». Думаю, что сдержанность эта была нарочитой — втайне она радовалась и гордилась мною.

Итак, я рассталась со школой. Михаил Николаевич Штамов не сомневался, что я пойду учиться в Томский университет на математическое отделение. Разговора с Петром Петровичем у меня больше не было. А сама я только после выпускного вечера стала думать о вузе.

В нашем классе учились две сестры, Дуся и Аня Перекальские. Дуся была старше, но в восьмом классе она осталась на второй год, и поэтому восьмой и девятый классы

сестры заканчивали вместе. Они не были моими подругами, но отношения у нас были хорошие, особенно с Аней. В Боготоле они снимали комнату, а их родители жили на полустанке железной дороги, возможно, в 50–60 километрах от Боготола. Их отец был начальником этого небольшого полустанка, где поезда редко останавливались, но сведения об их прохождении сообщались по телеграфу.

В начале июля к нам неожиданно пришла Аня Перекальская и пригласила меня пожить у них на полустанке. Оказалось, что ее сестра категорически отказалась ехать к родителям, так как у нее объявился жених-милиционер и они собирались пожениться. Ане было скучно жить у родителей без сестры, и она, получив от них согласие, приехала за мной. Мама сначала была против, но потом согласилась, чтобы я пожила на свежем воздухе не больше недели. Перекальские жили в обширном казенном доме возле железнодорожной линии. Кроме начальника, на полустанке служил телеграфист, довольно смазливый молодой человек, который жил в том же доме.

Кругом был лес, а в лесу цвело такое множество лесолюбок, что их аромат наполнял все окрестности и даже в доме стоял их запах. (В других местах России эти цветы известны как ночные фиалки, хотя и по строению цветков, и по запаху они совсем не похожи на настоящие фиалки.)

Молодой телеграфист решил не терять времени и уже на третий день после моего приезда объяснился мне в любви.

Я рассказала об этом Ане, и она со смехом сообщила мне, что он и ей объяснился в любви, причем теми же словами, что и мне, и почти в одно и то же время. Мы здорово повеселились, а потом еще не раз поддразнивали телеграфиста.

Сам Перекальский был очень симпатичный пожилой человек, добрый и веселый. Он старался развлечь нас, затевая разные поездки по окрестностям, возил нас на лошади то на пасеку, то на озеро, то в ближайшую деревню. В округе все знали Перекальского и встречали нас очень дружелюбно. Мы с Аней и без него часто ходили в ближайший лес, находили поляны с земляникой и клубникой и лакомились ягодами. Мать Ани я почти не помню. Она была полной и больной женщиной, всегда оставалась дома. Была еще прислуга, пожилая женщина. Ее я видела только тогда, когда она подавала нам еду. Я гостила у Перекальских почти десять дней — это было мое прощание с удивительной природой Сибири.

Вернувшись домой, я без колебаний подала заявление в Томский технологический институт на инженерно-строительный факультет. Для поступления в институт нужна была справка о

здоровье. И тут, по-моему, мама договорилась с доктором Мироновым, который сказал мне, что даст справку только в том случае, если я буду принимать укрепляющее лекарство и не буду выходить из дома после захода солнца. И почти два месяца я должна была съедать утром и вечером по столовой ложке смеси, состоящей из нутряного свиного сала, меда, какао, а также лимона, если его удавалось достать. По вечерам подруги заходили ко мне и звали гулять, но я могла только поговорить с ними из окна.

Что это было? Скрытые переживания мамы по поводу того, как мне удастся приспособиться к жизни в большом городе? Опасения за мое здоровье после большой нагрузки? Я не чувствовала себя больной. Но почему я так покорно слушалась маму и ни разу не убежала вечером из дома? Наверное, и мной владел страх перед неизвестностью.

Почему я подала заявление в технологический институт, а не в университет на математическое отделение?

В тот год был объявлен первый пятилетний план по индустриализации страны, которая была преимущественно сельскохозяйственной. Все газеты были заполнены статьями о необходимости строительства фабрик и заводов, о том, что страна испытывает острую потребность в инженерах, и особенно в строителях. Мне казалось, что быть инженером-строителем очень интересно, а также очень нужно и модно. И я поддалась влиянию этой моды. К тому же я, видимо, побаивалась кабинетной работы с формулами, и живое дело казалось для меня более привлекательным. Из-за этого выбора я чувствовала себя предательницей по отношению к преподавателю математики Михаилу Николаевичу Штамову и, уезжая в Томск, даже не зашла попрощаться с ним. Мне было стыдно. Я на поезде уехала в Томск, как только получила приглашение на экзамены, которые должны были начаться 15 августа. Мама пообещала переехать с мальчиками ко мне, как только ей удастся ликвидировать наше жалкое хозяйство и распродать мебель.

Учеба в Томске

В Томске я остановилась у Макшеевых — наших старых знакомых по Красному Яру. Милая Софья Константиновна жила тогда со своими дочерями Верочкой и моей подружкой Надей в собственном небольшом доме. Верочка была уже замужем за бывшим офицером Белой армии, у них была маленькая дочка Галочка. Старшая дочь Софьи Константиновны Любочка училась в Москве на биологическом факультете университета и собиралась выйти замуж за Анатолия Валединского[3]. Дмитрия Ивановича Макшеева, бывшего крестьянского начальника в Красном Яре, с ними не было — он ютился где-то отдельно, был неприкаян, плохо одет и выглядел совсем опустившимся человеком. Иногда он приходил к Софье Константиновне, и она кормила его на кухне. Рассказывали, что после нашего отъезда из села на одном из крестьянских собраний крестьяне сорвали с Дмитрия Ивановича эполеты, побили его, и семья вынуждена была срочно уехать.

Чтобы как-то выжить в трудное время, Софья Константиновна вместе со своей сестрой Полиной открыла маленькую булочную, где всё делали сами: замешивали тесто, выпекали буханки и продавали их. Магазина у них не было, а просто окошко с прилавком. Разбогатеть от такой торговли было невозможно, вырученных денег хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. И тем не менее советские власти лишили Софью Константиновну права голоса, как и всех частных торговцев, и она считалась «лишенкой». Из-за этого Надю, мою подружку, не приняли в вуз, и она должна была учиться на курсах чертежниц-копировальщиц. Такая несправедливость вызывала у меня глубокое возмущение.

Только с 1926 года вузы стали принимать студентов по конкурсу по результатам экзаменов. До этого в вузы по указанию коммунистических партийных органов без экзаменов направлялись молодые люди из семей рабочих и крестьян, закончивших рабочий факультет (рабфак). Конечно, некоторое количество детей из семей интеллигенции — преподавателей вузов, учителей, врачей, служащих — всё же попадало в вузы, но они составляли лишь небольшой процент учащихся. Считалось, что в стране ускоренными темпами должна быть воспитана и обучена советская интеллигенция, преданная делу коммунистической партии.

Экзамены начались с письменной математики, затем нас экзаменовали по устной математике и физике, потом мы писали сочинение и сдавали устный экзамен по литературе. Последним

был экзамен по обществоведению, надо было отвечать на вопросы об устройстве советского государства и по истории партии большевиков. Экзамены по математике и физике оказались для меня легкими, а сочинение по литературе я писала на хорошо знакомую мне тему о творчестве Маяковского. И только по обществоведению я вытащила билет, вопросы которого я знала плохо. К моему удивлению и счастью, экзаменатором оказался тот самый человек, который руководил литературным кружком в Народном доме Боготола и который хорошо меня знал. Он поставил мне четверку, хотя отвечала я не более, чем на тройку с минусом.

После первого экзамена по дороге домой ко мне присоединились два молодых человека, которые, как оказалось, снимали комнату на той же улице, где жила я. Мне было смешно смотреть на этих двух друзей, один из которых был небольшого роста, полненький, с пухлым румяным личиком, а второй высокий и худощавый. Ну прямо-таки Пат и Паташон! Первый назвался Мишей Милем, а второй — Борисом Мироносицким. Оба приехали из села, где жили их родители, а школу они заканчивали в Мариинске. Мы сразу же подружились, вместе ходили на экзамены, вместе возвращались, а в свободное время ходили по Томску, рассматривая город, который был буквально наводнен студентами, они попадались повсюду.

Томск расположен на крутом берегу реки Томь, одного из главных притоков Оби. Основная улица шла параллельно реке и в конце круто спускалась вниз к пристани. В верхней части улицы располагался университет с учебными корпусами, библиотекой и большим ботаническим садом с оранжереей. Учебные корпуса нашего технологического института находились рядом с университетом в самом конце улицы по обе ее стороны и граничили с большим лесным массивом, называвшимся Лагерным садом. Улица была застроена двух- и трехэтажными домами, в которых размещались учреждения, связанные в основном с пароходством. Посередине улицы была площадь с большой красивой церковью, которая в последующие годы была снесена. Площадь окружали как каменные (кирпичные) дома, так и деревянные, украшенные резьбой. Томск вообще отличался своими деревянными постройками, среди которых, помимо обычных жилых домов, можно было встретить настоящие терема, принадлежавшие до революции богатым купцам. Стараясь превзойти друг друга, владельцы этих домов украшали их затейливой резьбой по дереву и ажурными металлическими решетками. Нам было интересно бродить по улицам и находить такие дома. Кроме причудливых геометрических орнаментов,

часто встречались растительные мотивы в виде цветочных гирлянд или изображения птиц, животных и даже людей, заимствованные из истории или мифологии.

В самом конце августа я и два моих друга пошли в институт, где должны были вывесить списки принятых, и в списках нашли свои фамилии. Помню, что из института мы пошли в Лагерный сад, сели на траву на крутом берегу реки и долго молчали, глядя на воду и на противоположный берег, пологий и зеленый. Каждый думал о своем — перед нами открывалась новая незнакомая жизнь…

На первую лекцию по высшей математике я пришла в синем с редкими белыми горошинами сатиновом платьице, сшитом мне мамой. Мои волосы, остриженные «под мальчика», успели отрасти, и я завязывала их на затылке синей лентой — получался пучок с бантом.

Аудитория была большая, светлая, с наклонно расположенными скамьями. Преподавал математику профессор Шумилов, про которого рассказывали, что во времена военного коммунизма он, чтобы не умереть с голоду, нанялся извозчиком и подавал лошадь к ресторану, развозя богачей. Опаздывая на свою лекцию после ночной работы, он вбегал в аудиторию в одежде извозчика — в черной овчинной сборчатой шубе, подпоясанной красным кушаком. Взбежав на кафедру, сбрасывал с себя шубу и шапку на пол и сразу же начинал читать лекцию. Я застала профессора Шумилова в обычном костюме и в рубашке с галстуком.

На первой лекции одна из студенток, высокая, черноволосая, с красивым лицом, села со мной рядом и спросила, как меня зовут. На листе бумаги я написала ей: «Антонина Пирожкова». Она взяла ручку и зачеркнула первые четыре буквы моего имени. Так я на долгие годы стала Ниной. Она написала мне, что ее зовут Мария Тыжнова, но все называют ее Мака.

На инженерно-строительный факультет были приняты четыре девушки: я, Тыжнова, Большакова и Деревянных. Мы сразу объединились в пары, и эти пары сохранялись на протяжении всех лет нашего обучения в институте.

Томский технологический институт (ТТИ) имел четыре факультета: механический, инженерно-строительный, горный и химический. Каждый факультет располагался в отдельном корпусе, а инженерно-строительный — в главном корпусе, где находилась и дирекция института. Директором или начальником института был профессор Николай Владимирович Гутовский, преподававший одну из дисциплин на механическом факультете. Деканом инженерностроительного факультета был профессор

Георгий Васильевич Ульянинский, читавший лекции по одной из самых сложных и важных дисциплин — по мостам и фабричнозаводским конструкциям.

Инженерно-строительный факультет готовил городских инженеров по старой дореволюционной программе, она продолжала действовать во время моего обучения в институте. В рамках этой программы преподавались многие дисциплины, не имеющие прямого отношения к строительству в городе: строительство железных и шоссейных дорог, тоннелей, основы гидравлики и другие. Факультативно читался даже курс кораблестроения. В общем, программа была рассчитана на подготовку высокообразованных инженеров, обладающих разносторонними знаниями.

Весь сентябрь и октябрь я жила у Макшеевых, но уже в ноябре в Томск приехала мама с братьями и сняла одну большую комнату в частном доме. Из нашей мебели она привезла две кровати, комод, стол и стулья, а всё остальное, в том числе папины картины, кроме двух, она распродала. Продала она и весь домашний скот и птицу. Из этих денег мы платили за комнату и покупали еду. Так бедно мы еще никогда не жили. На кроватях спали я и мама, мальчики же — просто на полу.

Мама устроила мальчиков в школу, расположенную поблизости от дома, и стала хлопотать о государственном, почти бесплатном жилье. В конце концов ее хлопоты увенчались успехом, и мы переехали уже в свою комнату, которая была побольше и располагалась на первом этаже деревянного дома в коммунальной квартире. Утром я уходила в институт на лекции и занятия по черчению.

В большую перемену мы с Макой спускались в студенческий буфет, покупали продолговатую французскую булочку сто граммов колбасы или сыра и сладкий чай. А вечером дома меня ждал обед из трех блюд: супа, жаркого или котлет и киселя или компота.

В воскресные дни Мака часто приглашала меня к себе домой, и я познакомилась с семьей Тыжновых. Ее отец Всеволод Иванович Тыжнов — потомок татарских ханов — был главным металлургом военного завода в Мотовилихе, недалеко от Перми. Он жил там один, так как дети должны были учиться в Томске, и семья приезжала к нему только на лето. Мать Маки Елизавета Владимировна — урожденная Лермонтова, отец ее был двоюродным братом Михаила Юрьевича Лермонтова. Она преподавала иностранные языки в Томском университете. Детей было четверо: две девочки и два мальчика. Старшая сестра Ольга училась на химическом факультете нашего института, старший

брат Андрей — на горном факультете, а младший брат Владимир пока еще ходил в школу. В этой семье все дети имели домашние имена: Ольгу называли Птицей, Андрея — Ду, Марию — Макой, а Владимира — Вовкой-поваром. И в нашей семье тоже пользовались домашними именами: Игорь был Ирзой, Борис — Берзой, а меня братья называли Энточкой, и только Олег не имел прозвища.

Отец Маки был красивым темноволосым человеком с удивительно большими черными, бархатными глазами. Таких глаз я ни у кого больше не видела. Мать тоже была красивой, но совсем другого аристократического русского типа — крупная блондинка с хорошей фигурой, величественная и спокойная. Родители Маки были приветливыми добрыми людьми и относились ко мне как к члену своей семьи. Дочь Ольга была, пожалуй, самой красивой: слегка смуглое лицо, как у итальянки, собирающей виноград, с картины Брюллова, с красивыми чуть-чуть косящими глазами и с безукоризненной фигурой. Андрей был похож на мать — белокурый с правильными чертами лица и большими серыми глазами. Лицо Маки не было типично русским, хотя и на своего отца она не походила. Она была красивая, выше среднего роста, но немного неуклюжая. Кроме того, она была сдержанная и стеснительная сверх меры. А на Вовку-повара я тогда внимания не обращала, хотя он тоже был красивым мальчиком.

По воскресеньям и праздничным дням в доме Тыжновых к обеду пеклись пироги величиной с четверть большого стола каждый. Пирогов было два — один с мясом или с капустой, а другой сладкий, чаще всего с брусникой, а иногда со смородиновым вареньем. К пирогам подавались бульон и чай.

Мама тоже пекла к праздникам, но только мелкие пирожки с начинкой из соленой капусты и грибов, с морковью, мятой картошкой. А на сладкое — пирожки с молотой черемухой или с брусникой, а иногда ватрушки или шанежки. Стоящие на столе накрытые чистым полотенцем пирожки создавали праздничное настроение.

Я давно поняла, что жизнь человека изменчива, и полоса хорошей спокойной жизни сменяется полосой неудач и огорчений. Так же складывалась и студенческая жизнь в нашем институте. Не прошло и полгода, как вдруг разнесся слух, что из института выгоняют нескольких студентов. В их число попали и оба моих друга — Миль и Мироносицкий, а также студент постарше — Черников. И это только те, о которых мне стало известно, но, наверное, были исключены и другие. И это происходило на всех факультетах. За что же исключили Миля и

других студентов? Оказывается, отец Миля у себя в селе имел маленькую лавочку, где продавал керосин и скобяные изделия. Отец Мироносицкого был дьяконом в сельской церкви. А у Черникова сестра вышла замуж за бывшего офицера Белой армии.

С Милем и Мироносицким я дружила, а Черникова запомнила потому, что однажды получила от него записку, что он хотел бы со мной серьезно дружить, но меня всегда окружают мальчики с рейсшинами, и он не может ко мне подойти.

Я не знаю, что стало впоследствии с такими способными людьми, как Мироносицкий и Черников, но всем известно, кем стал Михаил Львович Миль, прославивший нашу страну в области вертолетостроения.

Исключением студентов занимался партийный комитет, состоявший из членов партии, рабфаковцев. Рабфаковцы резко отличались от нас, новичков, были гораздо старше и все время заседали в своем комитете. Он занимал большую комнату на втором этаже налево от главной лестницы, и, поднимаясь по ней, можно было услышать громкий и грубый разговор и почувствовать противный запах дешевого табака. Комитет заправлял делами института, касавшимися всего, что было связано с жизнью и обучением студентов. Именно студенческий партийный комитет мог исключать студентов по классовым признакам, мог дать стипендию студенту, а мог и отказать. Мы с Макой боялись рабфаковцев и старались пройти мимо комитета незамеченными. А после исключения моих друзей неприязнь к этому комитету еще больше усилилась.

По всем признакам я должна была получать стипендию: хорошо училась, была из бедной семьи, отец умер. Но для получения стипендии надо было подать заявление в комитет. Я предпочла зарабатывать деньги сама, только бы не встречаться с ними. Но однажды встретиться все же пришлось. Кто-то из рабфаковцев увидел, что я ношу на пальце колечко, и пригласил меня зайти в ненавистную комнату. Колечко было очень простенькое, с синим стеклышком. Комитетчики дружно отчитали меня за то, что я ношу на пальце кольцо, что это — буржуазный предрассудок, и приказали его снять. С тех пор все студенческие годы и даже много лет спустя я не носила никаких украшений. А потом, когда это стало возможным, я, заходя в ювелирный магазин, готова была всё купить и всё на себя надеть. Но уже выработавшаяся многолетняя привычка мешала мне это сделать.

Из предметов, преподававшихся на первом курсе, мне почему-то понравилась геодезия. Лекции по ней читал пожилой, но очень симпатичный профессор Прибытков, отличавшийся от других

преподавателей удивительной элегантностью и прекрасной речью.

Когда снег стаял и земля высохла, мы должны были пройти геодезическую практику в поле. Нас разбили на группы, человек по десять, и я оказалась в группе без Маки и к тому же единственной девушкой. С нами в поле поехал не Прибытков, а его помощник, более молодой человек, познакомивший нас практически со съемкой местности, теодолитом, нивелиром, с рейками, рулетками и картами. Мы должны были составить карту местности, вычерчивать горизонтали, определять высоты по отношению к уровню моря и устанавливать репера. У нас было, наверное, три или четыре дня таких практических занятий, и каждый раз преподаватель отвозил меня на своем велосипеде домой, посадив на раму впереди себя.

Вторым заданием по геодезии была маршрутная съемка. Нас разбили на еще более мелкие группы по четыре-пять человек, и снова мы с Макой оказались в разных группах. Мы должны были отправиться в разные стороны, углубившись на пять-шесть километров, и заснять на карту, используя условные обозначения, поле, лес, речку, болото — всё, что попадалось нам по пути.

Я оказалась в группе с тремя студентами — Левой Степановым, сыном декана горного факультета, его другом Юрием Болдыревым и Борисом Ульянинским, сыном декана нашего инженерно-строительного факультета. Переплыв на другой берег Томи, мы пошли вглубь по тропинке, ведущей в лесничество. Надо было зарисовывать всё, что встретится на пути, и измерять расстояния шагами, предварительно определив размер шага. Всё, что нам попадалось, изображала на карте я, а мои спутники помогали мне измерять расстояния, но скоро им это надоело, и они стали дурачиться, бороться друг с другом, валяться на траве, а всю работу делала я. Иногда я останавливалась и уговаривала их вести себя посерьезней. Но терпения у них хватало ненадолго. Поэтому довольно много времени у нас занял путь до лесничества, где жил лесник со своей семьей. У него был добротный деревянный дом с двором, огородом и сараями. Лесник был знаком с отцом Юры Болдырева и встретил нас очень приветливо. Нас накормили, мы долго разговаривали с ним и его женой, отдыхали, и нам показали двух живших у них медвежат, которых лесник подобрал в лесу.

Оставались мы там довольно долго и в обратный путь отправились, когда уже темнело. Подойдя к Томи, мы стали звать лодочника, но его работа уже закончилась, и он ушел домой. Долго мы кричали, звали лодочника, но напрасно. И уже очень грустные сидели на берегу, было холодно, и мы замерзли. Я не

знаю, почему мы тогда не разожгли костер. Быть может, ни у кого не было спичек. Под утро, когда стало светать, лодочник появился, услышал наши охрипшие голоса и приехал за нами. Моя мама была в ужасе из-за моего отсутствия, да, наверное, и другие родители переволновались. А всё из-за баловства и легкомыслия моих спутников!

На другой день я встретилась с Макой, и мы рассказали друг другу о наших походах и приключениях. Из ее рассказа я узнала, что ее сокурсники вели себя так же, как и мои, и она одна составляла карту. Когда на ее пути встретилось болото, то никого не оказалось рядом, и она попыталась перейти его в одиночку. Но как только сделала первый шаг, ее нога начала проваливаться в трясину, и она отступила, решив, что пройти здесь невозможно. И Мака стала наносить болото на карту как непроходимое. Но, когда она уже закончила эту часть карты, то подняла глаза и увидела, что ей навстречу по болоту шагает ее однокурсник. «Идет, шагает прямо ко мне», — сказала Мака, и мы расхохотались. Пришлось всё стирать и заново изображать болото, но уже как проходимое. В результате мы пришли к мнению, что наши ребята оказались менее зрелыми, чем мы, хотя возраст у нас был одинаковый.

Наступило время экзаменов. Готовиться к ним мы с Макой в хорошую погоду предпочитали в Лагерном саду или в университетском ботаническом саду. Заниматься дома мне было совершенно невозможно из-за тесноты. Трое братьев должны были готовиться к экзаменам в школе. В нашей коммунальной квартире было три комнаты. В одной из них жили мы вчетвером, в другой — семья: муж, жена и маленький мальчик, в третьей жила одинокая женщина, работавшая поваром на большом пароходе. В навигацию она уплывала с рейсом и комната оставалась пустой. Моя мать договорилась с ней, и она разрешила мне у нее заниматься и ночевать в ее отсутствие. Благодаря этим условиям я хорошо подготовилась к экзаменам, сдала всё на отлично и перешла на второй курс. Причем я узнала, что для перехода со второго на третий курс требовалось набрать не сто очков, а только семьдесят пять, после чего зачисление происходило автоматически. И кроме того, посещение лекций не будет обязательным, и можно сдавать экзамены, подготовившись самостоятельно. Это навело меня на мысль закончить институт раньше обычных пяти лет.

Чтобы прожить, я должна была работать — денег у мамы едва хватило, чтобы дотянуть до лета. И именно мама, благодаря своему общительному характеру и умению заводить знакомства, нашла мне работу. Я поступила на работу в статистическое бюро,

где должна была составлять различные таблицы, разносить отдельные сведения по графам и суммировать данные. Об этой работе, как и об этом лете, у меня почти не сохранилось воспоминаний. Помню только, что я мало гуляла, чаще всего была одна или с братьми. Игорю было тогда уже шестнадцать лет, Олегу — четырнадцать, а Борису — девять. Старшие братья научились играть на музыкальных инструментах: Олег — на балалайке, Игорь — на мандолине. Меня же они научили играть на гитаре. Это были простые аккомпанементы, которые я легко освоила. Также в их компании я научилась танцевать вальс и другие модные тогда танцы. Борис по отношению ко мне вел себя как рыцарь. Он сопровождал меня, если мне надо было куда-то пойти, чистил мои туфли ваксой, хотя я его не просила об этом, и однажды кинулся на мою защиту, когда один молодой человек пустил мне в лицо дым от папиросы. Борис бросился на него как звереныш и стал колотить. Я с трудом увела его домой.

Так прошло лето 1927 года, и наступил для меня второй учебный год. Я решила выполнить свое намерение и за год перейти со второго на четвертый курс. Я выбрала самые важные предметы третьего курса — сопротивление материалов, статика сооружений, курс железобетона и некоторые другие и стала посещать лекции по этим предметам, совмещая это с важными лекциями второго курса.

Статику сооружений преподавал профессор Трапезников, читавший лекции не только на инженерно-строительном факультете, но и на механическом. Он был популярным человеком в институте, неизменно курил трубку с ароматно пахнущим табаком, и студенты его обожали.

Курс железобетона преподавал профессор Николай Иванович Молотилов, полный пожилой человек с большим некрасивым носом и всегда красным лицом. Однажды во время лекции он спросил студентов, знает ли кто-нибудь немецкий язык. Я одна подняла руку, и он попросил меня подойти к нему после лекции. Я уже слышала о том, что Молотилов нанимает студентов для работы у себя на дому и платит им за каждый час работы. Было время нэпа, и профессор брал подряды на проектирование железобетонных конструкций для строительных организаций. Для выполнения работы он нанимал студентов старших курсов, обладающих знаниями по железобетону и статике сооружений. Молотилов сказал мне, что ему нужна помощь в составлении таблиц для учебника по железобетону, который он тогда писал. А так как при этом ему надо было пользоваться немецким учебником профессора Залигера, то нужен был человек, знающий немецкий язык. Этому предложению я обрадовалась, поскольку

нам очень нужны были деньги. Хотя мама и старалась экономить и даже стала шить на заказ, но денег не хватало, чтобы прокормить семью и одеть троих братьев.

В условленное время я пришла к Молотилову домой, он посадил меня не в большой комнате, где у него работали студенты, а в своем кабинете и объяснил, что надо делать. Помимо учебника Залигера на немецком языке существовал его перевод на русский, изданный недавно в Москве. Молотилов хотел написать свой учебник, пользуясь книгой Залигера, но так, чтобы текст, взятый из немецкого учебника, звучал иначе, чем в уже изданном русском переводе. На первых порах я, хотя и обладала большим запасом слов и знала грамматику немецкого языка, мало что понимала у Залигера. Николай Иванович принес мне толстый немецко-русский словарь, и после того как я узнала значения нескольких десятков терминов, дело пошло на лад.

Составлением таблиц и работой с немецким текстом я занималась пять или шесть месяцев. Молотилов платил мне полтора рубля за час, и, работая по четыре часа в день, я за месяц зарабатывала от 100 до 120 рублей, что для нашей семьи было большой поддержкой.

Однажды Николай Иванович привел меня как свою новую сотрудницу в большую комнату, чтобы познакомить с другими работающими у него студентами. И двое из них в тот же вечер пошли провожать меня домой. Оба были старше меня и учились уже на четвертом курсе, тогда как я, стремясь получить сто семьдесят пять очков, должна была только весной достичь уже имеющегося у них уровня знаний. Одним из моих новых знакомых был Николай Васильевич Никитин[4], другим — Аркадий Филиппович Полянский. Они называли меня Ниной, а я их на первых порах — Никитин и Полянский. Никитин учился на отделении архитектуры, а Полянский — на отделении мостов и фабрично-заводских конструкций. Познакомившись друг с другом, мы встречались только у Молотилова, и они неизменно провожали меня.

Когда все таблицы к учебнику Молотилова были составлены и мы с ним разобрались с немецким текстом, мои знакомые уговорили Николая Ивановича взять меня к ним в помощь. Это случилось уже тогда, когда я сдала экзамены по сопротивлению материалов, статике сооружений и хорошо знала железобетон, так как успела прочитать всю книгу Залигера и прослушать лекции Молотилова.

В большой комнате я начала рассчитывать на прочность рамные конструкции заводских цехов. Я решила посоветоваться с Никитиным и Полянским и предложила составить таблицу

коэффициентов нагрузки. Никитин пришел в восторг и сейчас же принялся искать форму такой таблицы, Полянский же просто выразил свое согласие. Совместными усилиями была выработана форма таблицы коэффициентов для определения нагрузки. Впоследствии эта таблица нашла свое распространение во многих сибирских проектных организациях. В это же время Никитин придумал способ расчета конструкций на ветровую нагрузку, мы с Полянским проверили этот метод на многих примерах, и он утвердился по крайней мере в нашей инженерной практике.

Нами было сделано много предложений и по расчету рамных конструкций на обычную нагрузку, и я решила, что надо всё это переписать и оформить в виде статьи. Мыслей о том, чтобы эту статью издать, ни у кого из нас не возникало, но просто я любила, чтобы всё было упорядочено и оформлено. Никитин был к этому равнодушен, а Полянский и подавно, поэтому переписанная мною работа в единственном экземпляре хранилась у меня.

Иногда после работы у Молотилова после девяти или десяти часов вечера мы заходили поужинать в ресторан, особенно в те дни, когда мы получали деньги, то есть два раза в месяц. Обычно мы заказывали отбивные и чай с пирожными, а Никитин непременно покупал бутылку красного вина. Я не пила совсем, Полянский пил мало, и я видела, что Никитин подливал себе рюмку за рюмкой до тех пор, пока бутылка не оказывалась пустой. Он не казался пьяным, а просто веселым, но я не могла одобрить его пристрастия к вину.

Разговаривая об этом с Полянским, я узнала, что Никитин приехал в Томск почти совсем без денег. В поисках заработка он нанялся грузчиком в пароходство. В рабочий перерыв грузчики перекусывали и, по своему обьшаю, пили водку, заставляя и студента выпить с ними. Эти угощения повторялись изо дня в день, и постепенно Никитин пристрастился к спиртному. Вот откуда у него была эта тяга к вину.

Как-то незаметно к нашей тройке присоединились еще два студента — Саша Никольский, учившийся на гидротехническом отделении нашего института, и Самуил Ружанский. Последний был много старше нас, уже работал на стройках прорабом и, решив получить высшее инженерное образование, поступил в наш институт. У него была жена и дочь пяти-шести лет. Встречались мы только в институте, так как эти двое не работали у Молотилова. Услышав, что я называю Никитина и Полянского по фамилиям, Ружанский возмутился и настоял, чтобы я называла их по именам — Коля и Аркаша, однако переходить на «ты» я отказалась.

Таким образом, вокруг меня вращались четверо, и мы

составляли дружную компанию. Наши отношения сохранялись не только на протяжении всех студенческих лет, но и многие последующие годы.

Я была так занята в этом учебном году из-за своей идеи набрать сто семьдесят пять очков и перейти на четвертый курс, что не могла часто встречаться с Макой. Мака тоже была очень занята, так как, помимо того что старалась хорошо учиться, она еще занималась в музыкальной школе, где обучалась игре на рояле.

Работая у Молотилова в большой комнате, я стала получать по 2 рубля в час, как и остальные студенты, и стала чувствовать себя спокойнее и увереннее. Но, Боже, как я была занята! У меня не было времени сходить в кино или театр, заняться физкультурой, прочитать хорошую книгу. И мне казалось, что у меня вообще не было молодости.

После окончания первого курса мы с Макой решили, что будем учиться на архитектурном отделении, то есть с уклоном на гражданское строительство. И уже на втором курсе мы начали ходить на занятия по рисунку и по теням и перспективе. Мы сделали по одному проекту жилого деревянного дома, где я использовала планировку нашего дома в Красном Яре. Другие проекты — жилой дом городского типа из кирпича и затем здание городского назначения — надо было делать позже.

Подошло время, когда студенты третьего курса должны были выбрать отделение, на котором они хотят учиться дальше, — это означало окончательный выбор специальности. С этой целью проходило общее собрание студентов, которое проводил декан нашего факультета профессор Георгий Васильевич Ульянинский. Хотя я и числилась на втором курсе, но пришла на это собрание, потому что уже сдала экзамены по многим предметам третьего курса и собиралась до конца учебного года сдать почти все. Рассказывая нам о разных специальностях, Ульянинский вдруг произнес фразу: «За восемь лет моего деканства у меня на отделении мостов и фабрично-заводских конструкций не было ни одной студентки. Женщины обычно не в ладу с математикой». Услышав это, я просто вскипела от негодования. Можно ли было сказать такое мне, любившей математику со школьной скамьи и знавшей ее так, что я, если бы захотела, могла поступить на математическое отделение университета? На другой же день я пришла в деканат и записалась на отделение мостов и фабрично-заводских конструкций. Я хотела доказать профессору Ульянинскому, что женщины бывают в ладу с математикой. Выйдя из деканата, я пришла в ужас. Что я наделала? Как я скажу Маке, что ухожу на другое отделение? И еще некоторое время я

ходила с Макой на занятия по рисунку и теням и перспективам, так жалко мне было бросать начатое. Мака осталась одна на архитектурном отделении.

Давая мне первое задание по мостам, Ульянинский сказал, что задание не учебное, а практическое, и деревянный мост через речку Басандайку впадающую в Томь, будет построен, если проект будет сделан грамотно. Инженеров в Сибири не хватало, и нашему институту стали заказывать проекты для осуществления их в натуре. Студенты проектировали под руководством профессуры. Я рассчитала мост на прочность и сделала его чертеж со всеми размерами и спецификацией материалов. Мой проект был вывешен на стену в чертежном зале, где висели хорошо сделанные и красиво вычерченные проекты. Для меня это было гораздо важнее того, будет ли мой мост построен. Позднее профессор Ульянинский сказал, что мой мост был построен, но ни я, ни он его не видели.

К весне мне удалось набрать сто семьдесят пять очков, и я перешла на четвертый с хвостом в двадцать пять очков. После третьего курса студенты должны были летом ехать на строительную практику. Заявки на студентов-практикантов пришли в институт из разных мест Сибири, и одно место оказалось на Урале, как раз в Мотовилихе, на военном заводе, где главным металлургом работал отец Маки и где строилось здание металлографической лаборатории. Я сказала об этом Маке, которая, закончив второй курс, могла бы отдыхать. Но она захотела работать вместе со мной и попросила отца устроить ее на работу. Я взяла путевку, а Мака, поговорив с матерью, предложила мне жить у них, а не в общежитии, которое обещал предоставить завод. Как раз в это лето старшая сестра Маки Ольга в качестве химика уехала на практику на фарфоровый завод, а старший брат Андрей как геолог тоже уехал куда-то с геологической партией.

Мама Маки Елизавета Владимировна очень обрадовалась, что я буду жить и работать вместе с Макой. Ее беспокоило, что дочь не заводит друзей из студентов и растет дикаркой. Она даже просила меня как-нибудь повлиять на Маку в этом отношении.

Казенный дом Тыжновых был большим деревянным зданием с открытой террасой, стоявшим в липовом саду. Липы были как раз в цвету, издавали незнакомый мне приятный и сильный аромат, и вокруг них жужжали пчелы.

Мы с Макой оформились на заводе: я сдала путевку, Мака — распоряжение в отдел кадров, и мы были зачислены в штат с оплатой 80 рублей в месяц как студенты-практиканты. Нас познакомили с прорабом строящейся металлографической

лаборатории, и мы получили комплект чертежей этой лаборатории. Прораб отнесся к нам сначала снисходительно, но потом его отношение стало вполне дружелюбным, потому что мы охотно выполняли его задания, просьбы проверить разбивку колонн, состав и укладку бетона, установку арматуры…

Металлографическая лаборатория была первым зданием на заводе, где применялся железобетон. В железобетоне понимала толк поначалу только я, так как Мака закончила только второй курс. Но она быстро научилась все понимать, и только из-за своей невероятной стеснительности часто не могла говорить с рабочими, и, если видела какую-нибудь небрежность, искала меня. Здание металлографической лаборатории строилось трехэтажным, из кирпича, с железобетонными перекрытиями и крышей по металлическим фермам. Всё делалось вручную, никаких машин для замешивания бетона не было, и надо было следить за пропорциями цемента, песка и гравия в бетонной смеси, чтобы получить нужную марку бетона.

Когда в обеденный перерыв рабочие и прораб уходили в столовую обедать, мы с Макой оставались в лаборатории, садились на подоконник и съедали взятые из дома бутерброды, запивая их кипяченой водой из бака. Мы любили сидеть на подоконнике и, поев, разговаривали обо всем: об институте, о Томске, о будущем.

В хорошую погоду после работы, пообедав, мы отправлялись на прогулку с Елизаветой Владимировной. Она очень любила гулять, и мы с ней совершали длинные прогулки по полям и лесным опушкам. Ни грибов, ни ягод мы никогда не собирали, и я так и не узнала, есть ли они на Урале.

Любимым развлечением Всеволода Ивановича вечерами и в праздничные дни была стрельба по летящим тарелочкам. Вместе с друзьями по этой забаве он выезжал в поле за поселок, с помощью специальной машинки запускал легкие тарелочки, и они по очереди стреляли по летящим тарелочкам из духового ружья. Всеволод Иванович, за которого мы с Макой болели, стрелял лучше всех.

В доме Тыжновых, где все любили читать, была большая библиотека, и я прочитала много интересных книг. Однажды я вышла в сад и села в гамак с книгой. Маки в саду не было, а Вовка с товарищами затеяли стрельбу из духового ружья по мишени, укрепленной на стволе липы. Я не обращала на них внимания, поскольку стреляли они в другую сторону, и спокойно читала. И вдруг меня что-то сильно ударило в нос сбоку. Я схватилась за нос и увидела на руке кровь. Оказалось, что пулька ударилась о мишень или ствол липы и рикошетом попала мне по

носу. Я зажала нос платком и побежала в дом. Все испугались, а Елизавета Владимировна решила, что надо ехать к врачу в Пермь, так как возможно, что пулька застряла в носу. Мне было очень больно, но кровь через некоторое время остановилась. Пришлось подчиниться, и мы с Макой поехали на автобусе в Пермь. Знакомая Маки женщина-врач осмотрела мой нос и сказала, что пульки нет, дезинфицировала ранку, и мы уехали домой. А наутро я проснулась знаменитой. По дороге на завод ко мне подходили какие-то женщины и спрашивали, как случилось, что в меня стреляли, ахали и охали из-за того, что пулька могла бы попасть в глаз. На заводе меня обступили рабочие вместе с прорабом, рассматривали мой нос и сочувствовали. Даже молодые люди из технического персонала завода, которые раньше на меня только поглядывали и не решались подойти, теперь подходили и знакомились. Вот что значит жить в маленьком поселке, где все знают, что у кого случилось. А вскоре у меня всё зажило.

Наше с Макой одиночество закончилось, и местные молодые парни и девушки, работающие на заводе или отдыхающие летом у своих родителей, стали приходить к нам и приглашать нас на прогулку или в кино в Пермь. В поселке кинозала не было, но до Перми было всего пять километров, и автобус ходил по расписанию.

Город Пермь не произвел на меня большого впечатления, хоть он и расположен на берегу судоходной Камы. Вдоль реки шла длинная, широкая набережная, где по вечерам гуляли горожане. Мне нравилось бывать там и смотреть на прибывавшие и отходящие пароходы.

Однажды мы группой из двух молодых людей и трех девушек поехали в Пермь на какой-то фильм, пользовавшийся большим успехом. Билеты на ближайший сеанс были все распроданы, и мы решили пойти на следующий, более поздний сеанс. Посмотрев картину, мы отправились на железнодорожный вокзал, так как автобус до Мотовилихи ходил до девяти часов вечера, а было уже почти десять. Оказалось, что ближайший поезд пойдет только в двенадцать часов ночи, через два часа. Я стала уговаривать всех пойти пешком по рельсовому пути, но поддержки не нашла, и даже Мака со мной не соглашалась. Должно быть, я рассердилась, незаметно отстала и, дойдя до конца платформы, спустилась по лесенке на железнодорожный путь. На этом пути, который был крайним, стояло много скатов — колесных пар. Эти скаты преграждали мне путь, и я стала раздумывать, не пойти ли мне сбоку от них по гравийному полотну. И вдруг услышала, что за мной кто-то идет. Я испугалась, вскочила на первый скат и,

перепрыгивая с одного ската на другой, помчалась вперед. А когда скаты кончились и я, спрыгнув на путь, побежала по шпалам, то поняла, что за мной никто не гонится. Все же была во мне какая-то отчаянность, если я решилась пойти в Мотовилиху ночью одна.

Когда дошла до поселка, расположенного на более высоком уровне, чем путь, и подошла к деревянной лестнице, ведущей наверх, увидела, что внизу поперек ее лежит какой-то пьяный и что-то бормочет. Я остановилась в нерешительности, но другого пути не было, и я перешагнула через это тело и быстро поднялась наверх.

Дома удивились моему приходу без Маки, но я сказала, что все остальные приедут поездом после двенадцати, а я пришла пешком. Что подумали обо мне родители Маки, я не знаю. Я вымылась, ушла в свою комнату и легла в постель. Когда Мака вернулась, я сделала вид, что крепко сплю. Наутро разговоров по этому поводу не было. Сейчас, вспоминая о своем поведении, я прихожу в ужас: мчавшись по скатам, я могла упасть и удариться головой о стальную ось, могла сломать ногу или позвоночник, меня мог догнать неизвестный преследователь, и даже пьяный на лестнице мог схватить меня за ногу. Я, конечно, рисковала, а зачем?!

Было и еще одно приключение у нас с Макой. Однажды на заводе в конце рабочего дня мы, как обычно, сели на подоконник и о чем-то разговаривали. Рабочие в ожидании гудка, извещающего об окончании работы, собирали инструменты и спускались вниз. Был август, основные строительные работы были почти закончены, на этажах делали полы, но деревянных оконных рам еще не было. Мы с Макой так заговорились, что не слышали, как прозвучал гудок и все разошлись. Когда мы спохватились, оказалось, что все рабочие и служащие прошли через проходную, и она закрылась. Мы остались одни внутри военного завода, где были большие строгости со входом и выходом. Мы побоялись стучать в двери проходной, где, наверное, был сторож или дежурный. Что мы могли ему сказать? И кто бы мог понять, почему мы здесь остались? Не зная, что делать, мы решили пробираться к забору из колючей проволоки, которым был огорожен завод со стороны реки. Дойдя до забора, мы стали искать место, где можно было бы выйти наружу. Но проволока нигде не была нарушена, и мы потеряли всякую надежду. В отчаянии мы ходили вдоль забора, пока наконец не заметили небольшого углубления, где можно было пролезть под колючей проволокой на животе. Пока пролезала я, Мака приподнимала надо мной проволоку и отцепляла ее от моей одежды.

Выбравшись наружу, я тоже приподнимала проволоку над Макой. Накануне прошел дождь, земля была влажной, и перепачкались мы ужасно. Подошли к реке, немного отмылись и решили подождать темноты, чтобы не обращать на себя внимания встречных. А когда пришли домой, где нас с тревогой ждали родители Маки, и рассказали, что с нами случилось, Всеволод Иванович пришел в ужас. Он объяснил нам, что если бы нас заметил кто-нибудь из охраны, то мог бы стрелять без предупреждения — такой был дан приказ. Так что нам просто очень повезло. И с нас взяли слово, что мы будем хранить об этом мертвое молчание.

Во второй половине августа в Мотовилихе и Перми начались дожди, а к концу месяца дожди уже шли не прекращаясь. Мы с Макой писали отчет о нашей строительной практике, делали к отчету иллюстрации и в самом конце августа вместе с Елизаветой Владимировной и Вовкой поехали в Томск, оставив Всеволода Ивановича одного, правда, на попечении домашней работницы. В Томске нас встретила великолепная осень, с сияющим солнцем, с деревьями в яркой расцветке, с прохладной, но совершенно сухой погодой. Это — наша Сибирь!

Страшная новость ожидала нас в институте — во время строительной практики где-то в Сибири два наших студента Юрий Болдырев и Борис Ульянинский заболели брюшным тифом и умерли. Трудно было в это поверить — такой чудовищной казалась эта смерть. Юрий Болдырев, с которым я на первом курсе проходила маршрутную съемку, был здоровым, веселым и красивым юношей, а Борис Ульянинский, единственный сын профессора Георгия Васильевича Ульянинского — умница и очень способный. Мы с Макой ходили как потерянные, ничего не могли делать. Да и не только мы — весь наш факультет переживал это. Мои друзья Никитин и Полянский, Ружанский и Никольский старались меня успокоить и отвлечь, но это мало помогало. После смерти моего отца смерть этих студентов была вторым страшным горем. Но делать нечего, надо было приниматься за работу, и я пошла в деканат, чтобы оформить свое зачисление на четвертый курс, так как набрала за третий семьдесят пять очков. Оставались еще хвосты по второстепенным предметам, и я собиралась сдать экзамены по ним этой же осенью.

Теперь у меня началась размеренная студенческая жизнь с посещением всех лекций и сдачей экзаменов наравне с другими студентами. Началась и работа по вечерам у Молотилова. Нельзя сказать, что у меня было много свободного времени, но теперь я не отказывалась от приглашений на стадион, в кино или в гости.

По физкультуре надо было сдать несколько упражнений на

значок «Готов к труду и обороне» (ГТО). В ходе этой сдачи у меня обнаружились способности по стрельбе и бегу. Стреляя в тире по мишеням, я почти не имела промахов, а в соревнованиях по бегу на короткие дистанции я часто оказывалась на финише первой.

Дома всё было в порядке, братья учились. Олег летом торговал газетами и без буханки хлеба, купленного на заработанные деньги, домой не возвращался. Он был самым хозяйственным в нашей семье. Мама рассказала мне и о происшествии с младшим братом Борисом. Однажды, когда он играл с мальчишками в нашем дворе, мама услышала сильный взрыв. Она выбежала во двор и увидела бегущего навстречу ей мальчишку с совершенно черным лицом. Она крикнула ему: «Где Боря?» Он ответил ей: «Мамочка, это я. Не бойся, я живой». Оказалось, что мальчишки собрали где-то порох, насыпали в патрон и бросили в костер. Раздался взрыв, и ребятам опалило лица и одежду. У Бориса был ожог лица, врач прописал какую-то мазь, но мама решительно отвергла эту мазь и стала лечить его сама. Излюбленным средством моей мамы были свежие сливки. Она осторожно вымыла Борису лицо, уложила его в постель и стала смазывать ему лицо свежими сливками. Она наливала в разные блюдечки молоко, и как только на молоке образовывалась пленка сливок, мама густо смазывала ими лицо Бориса. Она делала это, не отходя от него ни днем ни ночью, в течение нескольких дней. И в результате добилась своего: сошли все коросты, и на лице образовалась новая кожа. Приехав из Мотовилихи, я увидела лицо Бориса совершенно чистым и свежим.

Старший брат Игорь окончил школу и собирался поступать в университет на отделение археологии, но вышло новое постановление Отдела народного образования (ОНО), по которому в вузы к экзаменам допускались только абитуриенты с годовым рабочим стажем. И Игорь уехал на строительство Кузнецкого металлургического завода зарабатывать себе трудовой стаж.

На четвертом курсе мне надо было сделать несколько курсовых работ: проекты железобетонного путепровода, металлического моста и заводских конструкций. И снова у меня возникла проблема с помещением, где бы я могла заниматься. Встретившись у Молотилова с моими друзьями, я пожаловалась на мои трудности, и Коля Никитин подсказал мне выход. Он сказал, что у его хозяйки рядом с его комнатой есть другая, и я могла бы ее снять. Поскольку иного выхода не было, я согласилась и, посоветовавшись с мамой, сняла эту комнату, кажется, за 25 рублей в месяц. В комнате были кровать, стол, два

стула и этажерка для книг. Два окна моей комнаты выходили во двор, как и в комнате Коли Никитина, только вход к нему был из коридора, а ко мне — из комнаты хозяйки.

Хозяйка была одинокая женщина с сыном лет десяти. Он обучался игре на пианино, но играл в основном в те часы, когда мы были на лекциях. Наши комнаты были на втором этаже небольшого двухэтажного дома № 25 по Черепичной улице. Окна комнат были видны с улицы, и я договорилась с Макой и друзьями, что буду вывешивать зеленую ленту на окне, когда я дома. Зеленая лента могла быть на окне только в теплое время, зимой окна покрывались сплошной коркой льда.

В этой комнатке мне очень хорошо работалось, и уже к новому 1929 году я сдала все хвосты за третий курс и принялась делать курсовые работы. Каждый день брат Борис приносил мне обед, приготовленный мамой. И никто не мешал мне заниматься. Мака приходила редко, потому что и сама была занята. Друзья обычно приходили не ко мне, а к Коле Никитину и тогда приглашали меня для общих разговоров и чаепития. Все они любили подшучивать над Колей, что он не может преодолеть десятисантиметровой перегородки, разделявшей наши с ним комнаты. Это была, конечно, шутка, отношения наши были сугубо дружескими.

Интересно, что я почти совсем не помню, как сдавала экзамены и как защищала свои проекты, но хорошо запомнила много не относящихся к учебе событий. Помню, например, как однажды в стенной газете института появилась заметка под заголовком «Симпатии на занятиях», где преподавателя Дмитрия Елизаровича Романова обвиняли в том, что на занятиях по статике сооружений он отдает предпочтение мне. Я не ощущала этого, кроме того, что он задавал мне более трудные задачи, чем другим. Но это было потому, что я быстрее всех решала задачи по программе и не любила сидеть без дела. Появление этой заметки возмутило меня и моих друзей. Ружанский взялся выступить в мою защиту и пошел в редакцию стенной газеты объясняться. А мы остались его ждать у Коли Никитина. Ружанский возвратился и говорит: «Ну, я им прямо сказал: кому какое дело, кто с кем целуется!» Тут уж я и все остальные возмутились неуклюжим поведением самого Ружанского. Но что было с ним поделать? Повозмущались, повозмущались, да и забыли об этом.

В этом же 1929 году у нас произошло важное событие — женился Аркаша Полянский. Иногда институт устраивал для студентов праздничные вечера совместно с университетом, и на одном из таких праздников Полянский познакомился со студенткой медицинского факультета университета Ольгой,

Лёлей. Она была крупной девушкой с не совсем правильными чертами лица, но симпатичная и какая-то очень домашняя. Нас всех пригласили на свадьбу. Основным блюдом на свадьбе, как и у всех сибиряков, были пельмени, которых подруги Ольги слепили и заморозили огромное количество. Ими угощали всех студентов, пришедших на свадьбу. А пришло их очень много, потому что Аркаша был человеком общительным, чего нельзя сказать про Колю Никитина.

С женитьбой Аркаши у нас мало что изменилось. Мы по-прежнему работали у Молотилова и так же, как и раньше, иногда втроем ходили в ресторан съесть отбивную. Жена Полянского стала приглашать нас с Колей к ним домой. Обеды у них были очень вкусные, и мы оставили наши походы в ресторан, предпочитая зайти после работы к Лёле.

Как-то студенты решили поставить спектакль и выбрали пьесу, которая называлась «Без черемухи». В то время в печати стали появляться статьи о свободной любви, а пьеса «Без черемухи» высмеивала такой взгляд на любовь. В пьесе мне поручили роль легкомысленной женщины. По ходу пьесы я должна была несколько раз произносить фразу: «Я женщина, много раз любившая». Несоответствие моего облика с этой фразой каждый раз вызывало смех в зале. Это и нужно было режиссеру. Ставилась пьеса на университетской сцене. После спектакля были танцы, и не было отбоя от желающих со мной танцевать. Но друзья постоянно были на страже и, если видели, что кто-то настойчиво ко мне пристает, тут же вмешивались и уводили меня на правах «собственников». Меня это очень забавляло.

Так протекала моя студенческая жизнь, и к весне 1929 года я сдала все экзамены за четвертый курс и выполнила все курсовые проекты. Впереди была летняя практика. Из разных мест Сибири и Урала, где строились мосты или заводские цеха, пришли заявки на студентов-практикантов, и была одна заявка из Москвы от Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Профессор Ульянинский предложил мне поехать в Москву, и я согласилась. Моя мама решила в это лето поехать на свою родину в Любавичи, где жили ее мать и две сестры. Олега и Бориса она взяла с собой. А несколько дней спустя после отъезда мамы я уехала в Москву, оставив за собой комнату на Черепичной, 25.

В Москве я остановилась у Валединских, в семье которых жила Любочка Макшеева, старшая дочь Софьи Константиновны Макшеевой — нашей многолетней и самой близкой подруги. Старших Валединских не было в Москве, они уехали на лето в

Сочи, так как профессор Валединский заведовал курортами Сочи и Мацесты. Дома в Москве оставались его сыновья — Анатолий, муж Любочки Макшеевой, и Владимир, а также дочь Валентина. Меня очень радушно приняли и разместили в большой комнате старших Валединских.

На другой день после приезда я уже была в институте. Он помещался в Гороховом переулке, и от дома туда я ходила пешком. Начальником института был Николай Станиславович Стрелецкий, крупнейший в то время ученый по мостам. В институте меня приняли очень хорошо. Я познакомилась с сотрудниками, с которыми должна была работать, и со Стрелецким. Несколько дней я изучала приборы для испытания мостов, о которых раньше не имела представления, а также проекты мостов, которые должны были испытывать на прочность.

Намечались две поездки: первая — по Капорской ветке в сторону Финляндии, вторая — на остров Хортица вблизи Ростова-на-Дону. В распоряжении института был особый вагон, про который говорили, что он из состава царского поезда. Кроме купе для сотрудников института, в нем был салон с большим столом для работы и питания и много шкафов как для посуды, так и для приборов для испытания мостов. В вагоне было помещение для кухни, ей занимался повар, сопровождавший нас во время поездок. Для поездки на Капорскую ветку профессор Стрелецкий выбрал трех инженеров и меня. Одного из инженеров он назначил руководителем группы и, отправляя нас, попросил его зайти в Ленинграде к профессору Григорию Петровичу Передерию, второму знаменитому мостовику, и уговорить его возглавить Московский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Сам Стрелецкий, типичный ученый, тяготился своей должностью и хотел от нее освободиться. Когда мы приехали в Ленинград, вся группа решила, что к Передерию начальник группы возьмет с собой меня. Григорий Петрович пригласил нас зайти к нему домой, принял нас приветливо и повел в свой кабинет. Однако как мы ни уговаривали его принять на себя должность начальника НИИ, наши усилия не увенчались успехом. Он решительно отказался, и мы ушли от него удрученные. Чтобы как-то поднять настроение, мы зашли поужинать в ресторан «Астория». Мой спутник, очень красивый мужчина, да еще в вышитой крестиком косоворотке, выглядел этаким русским богатырем, и одна дама, явно иностранка, не сводила с него глаз.

Ночевали мы в своем вагоне. На другой день к нему присоединили паровоз, и мы поехали на Капорскую ветку. Она проходила через сосновый лес, полный брусники и белых грибов.

На каждом мосту этой ветки мы останавливались и производили измерения напряжений. Ставилась задача доказать, что бетон со временем становится прочнее, поэтому, чтобы проследить тенденцию, такие измерения проводились институтом каждый год. Нагрузкой на мост служил наш паровоз.

В свободное время мы отдыхали в лесу, собирали грибы и бруснику. Наш повар варил грибные супы, жарил картошку с грибами, варил и мочил бруснику. Когда работа была закончена, мы уехали в Ленинград, где наш вагон прицепили к рейсовому поезду на Москву, и мы возвратились в институт. Какое-то время мы работали в Москве, а я также составляла отчет о практике.

По выходным дням мы обычно выезжали целой компанией за город в какое-нибудь историческое место, или на речку, или на озеро. Мои хозяева, молодые Валединские, были большие любители путешествовать и хотели показать мне интересные места. Поэтому мы побывали в Архангельском, Кускове, в местах, связанных с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Уезжали с утра и возвращались под вечер, утомленные, но полные новых впечатлений.

Во вторую поездку наша группа отправилась на остров Хортица, где был сооружен металлический мост с большим пролетом. Как и в первую поездку, мы поехали в нашем вагоне и жили в нем всё время, пока производились измерения напряжений. Приборы для таких измерений надо было ставить на верхнем и нижнем поясах ферм и на диагональных стержнях его решетки. Они оказались очень чувствительными и часто не давали показаний, если были поставлены неправильно. Я довольно быстро освоилась с ними, и мои приборы всегда работали. Способность правильно устанавливать приборы зависела от чувствительности пальцев, чего, по всей видимости, не хватало одному из наших инженеров, у которого приборы очень часто не давали показаний. И в таком случае наш руководитель просил меня их переставлять, и мне удавалось заставить их давать показания. Этим умением я прославилась в нашей группе. Однажды, когда мы еще не закончили работы на мосту, к нам приехал известный в инженерных кругах профессор по статике сооружений Исаак Моисеевич Рабинович. Это был невероятно обаятельный интеллигентный человек, в которого я влюбилась. Моя группа заметила мою симпатию к нему и стала надо мной подшучивать. И как-то раз, когда я вернулась в вагон, кто-то мне сказал: «На берегу была найдена шляпа, букетик цветов и записка, адресованная Вам, а Исаака Моисеевича нигде нет». Записку они сочинили, а вот где взяли такую же шляпу, какую носил Исаак Моисеевич, — не представляю. Сначала я

удивилась, а потом поняла, что это розыгрыш. Оказалось, что его по каким-то делам вызвали в Москву, и он, не попрощавшись с нами, уехал.

Через какое-то время к нам приехал мой профессор Георгий Васильевич Ульянинский — он должен был инспектировать своих студентов-практикантов. От моей группы Ульянинский получил обо мне самый хороший отзыв. Ему сказали, что у меня есть склонность к научно-исследовательской работе и они хотели бы, чтобы после окончания обучения я стала сотрудницей института. Профессор насмешил всех, выразив восхищение тем, как хорошо я взбираюсь по лесам на самую высоту. На это мои коллеги заметили: «В двадцать лет, наверное, и Вы легко взбирались на высоту». Ульянинский пробыл у нас дня три и уехал, а мы, закончив работу, вернулись в Москву. У своих коллег я почему-то получила прозвище «безбожница с норовом».

В самом конце августа, когда в Москве уже начались дожди, я попрощалась с моей группой, с профессором Стрелецким и другими сотрудниками института и собралась уезжать в Томск. Прощание с молодыми Валединскими и Любочкой было очень трогательным, даже с поцелуями. И погода стояла замечательная, никаких дождей.

Мама, Олег и Борис уже возвратились из Любавичей. Все были довольны поездкой, и рассказам не было конца. Про бабушку мама рассказывала, что она, привыкшая к работе с детских лет, и сейчас выращивает капустную и другую рассаду на продажу. Она очень слаба, и дочери сердятся на нее из-за того, что она не бережет себя, но она их не слушает. Быть может, впервые я узнала подробности о своих двоюродных сестрах и брате, но я была к ним совершенно равнодушна, никаких родственных чувств к ним не испытывала.

Родственников со стороны отца я тоже никогда не видела, он не говорил мне о них. А что он сам мог о них знать, если долгое время в детстве жил отдельно?

В Томске я снова встретилась с Макой и моими друзьями и узнала, что у Аркаши Полянского и Ольги родилась девочка, которой дали оригинальное имя Изольда. Мы все были приглашены на празднование этого события и, следовательно, на пельмени.

Началась моя студенческая жизнь на пятом курсе. Лекций было уже мало, но были еще курсовые проектные работы и, главное, дипломный проект сложного металлического моста. И всё было бы хорошо, но мне надо было зарабатывать деньги для себя и для семьи. Я продолжала жить на Черепичной, 25, надо было платить за комнату. Мы не работали у Молотилова, который

строил себе новый дом. Его книга по железобетону вышла летом и состояла из двух толстых томов. Он подарил экземпляр этой книги мне с надписью «…В благодарность за помощь в составлении этой книги». Мои друзья Никитин и Полянский были заняты своими дипломными работами. Единственной возможностью для меня оставалось поступить работать в Тельбессбюро, организованное для составления проектов Кузнецкого металлургического завода. Я подала туда заявление и была принята на должность младшего инженера с окладом 182 рубля в месяц. Но на какую жизнь я снова себя обрекала! У Молотилова мы работали по вечерам и можно было опоздать или пропустить рабочий день. Здесь я должна была работать полный рабочий день, нельзя было ни опоздать на работу, ни пропустить даже несколько часов.

Начальником конструкторского отдела в Тельбессбюро был архитектор Андрей Дмитриевич Крячков, которого я знала — он руководил на нашем факультете отделением архитектуры и у него училась Мака. Он был известным человеком в Томске и вообще в Сибири, так как построил много зданий. Его дом был необыкновенно интересной архитектуры, и на него ходили любоваться. Крячков был также автором проекта здания заводоуправления для Кузнецкого металлургического завода. Это здание имело в плане форму «пифагоровых штанов».

Рабочие чертежи для этого здания мне поручили делать в Тельбессбюро.

Возвратившись к себе после работы, я обедала. Обед по-прежнему приносил мне от мамы брат Борис. От него я и узнавала, как дома обстоят дела, — сама я забегала домой только в воскресенье, и то лишь на короткое время. В институте я появлялась только для консультаций с профессором Ульянинским или для сдачи очередного экзамена.

В числе дисциплин, лекции по которым читались на пятом курсе, был двадцатичетырехчасовой курс «Железнодорожные тоннели». Очевидно, этот предмет считался не таким важным для мостовиков, и лекции по нему читали по вечерам, что позволило мне прослушать этот курс. Лекции читал Михаил Львович Евдокимов-Рокотовский. Он был немного знаком мне, потому что был руководителем научно-исследовательского кружка и в большом помещении нижнего этажа института производил опыты по деревобетону. Я как-то раз зашла посмотреть, что там делают. Профессор Евдокимов-Рокотовский, кругленький, без бороды, но с усами, был подвижный, живой, увлекающийся человек, и деревобетон был его очередной идеей. Вместо стержней из металла он ставил деревянные бруски и испытывал такие балки

до разрушения, чтобы определить их прочность и сравнить с прочностью железобетонных. Никакого практического применения такие балки не имели, как и многие другие идеи профессора. Курс «Железнодорожные тоннели» он читал хорошо, но в то время тоннелестроение было на очень примитивном уровне, отчего казалось очень сложным и трудоемким.

На пятом же курсе нам предложили прослушать курс «Кораблестроение» факультативно, без сдачи экзаменов, и тоже в вечернее время. Слушать эти лекции было интересно, но в памяти у меня ничего от них не осталось.

Однажды профессор Ульянинский спросил меня о нашей работе у Молотилова и сказал, что нам надо бы сделать о ней сообщение для студентов. Мы-то думали, что в институте о нашей работе никто не знает, но оказалось, что это дошло до Ульянинского. Я рассказала о его предложении своим друзьям и считала, что сообщение должен делать Никитин, предложивший совершенно новый метод расчета рамных конструкций на ветровую нагрузку. И Никитин, и Полянский отказались выступать и уговорили это сделать меня. Никогда мне еще не приходилось выступать с докладом перед аудиторией, и я побаивалась, что у меня может не получиться. Однако деваться было некуда, и мне пришлось согласиться. Из преподавателей присутствовали профессор Ульянинский и доцент Д. Е. Романов. Последний писал протокол, что было одним из обязательных требований. Я собралась с духом и начала говорить, и вскоре забыла о своем страхе, слова приходили сами собой. Я писала уравнения на доске, и они получались во всю ее длину. Заканчивая писать уравнение, я каждый раз оглядывалась на профессора Ульянинского. Он кивал мне головой, и тогда я была уверена, что ошибок нет, хотя писала уравнения по памяти. После моего сообщения выступили с хорошими отзывами Ульянинский, Романов, а также кто-то из студентов. Я делала доклад от имени троих авторов, но ни Никитин, ни Полянский не пришли, что вызвало недоумение у всех присутствующих. Они ждали меня дома, и мне пришлось им всё рассказывать.

Мой успех не прошел для меня даром. Однажды, когда мы с Макой возвращались с очередной лекции по кораблестроению и проходили мимо стенной газеты, увидели толпу студентов возле нее. Мы остановились. В рисунке, который был помещен в газете, я узнала себя, идущую с портфелем, и крадущегося сзади Молотилова, потихоньку вытаскивающего из моего портфеля пачку бумаги. Автор рисунка хотел сказать, что Молотилов присвоил себе нашу работу. Карикатура была крупная и очень хорошо нарисована, я красивая, Молотилов — ужасно уродливый.

Это было так несправедливо, что я задохнулась от гнева и возмущения. Кроме того, в газете авторство приписывалось мне одной, — так сочинителям заметки было удобнее.

Придя домой, я зашла к Коле Никитину, рассказала о карикатуре и спросила, что он советует делать. Коля отнесся скептически к моему намерению говорить с редакторами стенной газеты. Не было случая, чтобы эта газета когда-нибудь извинилась за что-либо. Тем не менее на другой день сразу же после работы я пошла в институт в редакцию газеты и застала в сборе всю редколлегию. Выслушав меня, они только посмеялись и ядовито спросили меня, почему это я защищаю отъявленного нэпмана. А в ответ на замечание, что написанное несправедливо, заявили, что к справедливости должен быть классовый подход. (В 1929 году в Москве уже полным ходом шел разгром нэпа.) Вернувшись домой, я зашла к Коле Никитину и рассказала о моем разговоре с редакцией газеты. Он не удивился: «Я так и знал и говорил Вам, что говорить с ними бесполезно. Всё сделано по заданию партийного комитета института, а может быть, и городского. Это травля профессора Молотилова как чуждого им элемента, каким они его считают». И Коля рассказал мне, что группа интеллигентных студентов механического факультета недавно организовала кружок для обсуждения литературных произведений и исторических тем. Успели собраться всего два или три раза до того, как их разгромил студенческий партийный комитет, обвинив в антисоветских разговорах и еще черт знает в чем. И теперь двум студентам угрожает отчисление из института. И я никогда не забуду, как Коля сказал мне: «Окончу институт и наплюю на его двери!» Я подумала, что самое чудесное в жизни студенческое время нам испортил этот комитет, забравший в свои руки всю власть. Ни мнение преподавателей, ни даже дирекции ничего не значило, всем заправляли эти грубые и примитивные партийные люди. В такой обстановке мы учились в то время. Между тем я заметила, что отношение Полянского ко мне изменилось, как если бы он поверил стенной газете и заподозрил, что я присвоила себе авторство нашей работы. Я пошла к Романову и попросила дать мне протокол доклада, объяснив, зачем он мне понадобился. Протокол был заверен подписями Романова и Ульянинского, и на нем стояла печать деканата. Я показала его Никитину и Полянскому и убедилась в том, что была права, — Аркаша Полянский признался мне в своих сомнениях и извинился. А протокол этот так и остался у меня.

К Николаю Ивановичу Молотилову я пришла в ближайшее воскресенье, и, должно быть, вид у меня был такой удрученный, что он сразу же начал меня утешать. Сказал, что ни в чем меня не

винит, так как хорошо меня знает. Я все же рассказала ему о визите в редакцию стенной газеты, о разговоре с членами редколлегии, о разговоре с Никитиным и о размолвке с Полянским. Это была моя последняя встреча с Молотиловым.

В конструкторском отделе Тельбессбюро я была единственной женщиной-инженером, там не было также и женщин-техников и даже чертежниц. Бюро организовалось не так давно и в ближайшем будущем должно было переехать на Кузнецкстрой. Многие воздерживались от поступления на работу в эту организацию, поскольку никого не прельщала перспектива переезда из Томска в необитаемые глухие места. У меня не было непосредственного начальника — старшего инженера, а был только начальник конструкторского бюро Крячков, который в мою работу не вникал, так как был архитектором, а не конструктором. Он мог только поторапливать меня. Но я и так делала расчеты и чертежи железобетонных перекрытий быстро, поскольку накопила значительный опыт, работая у Молотилова. Я была так занята, что никого из сотрудников в нашей большой комнате не замечала. В перерыв к нам заходила пожилая женщина в белом фартуке и приносила большую корзину с горячими жареными пирожками. Пирожки были с мясом или со свежей капустой. Я покупала два пирожка, наливала себе кружку чая и съедала этот завтрак, не поднимая глаз на окружающих. И однажды утром в ящике своего стола я нашла записку, где автор упрекал меня в том, что я не обращаю никакого внимания на его взгляды. Тогда я посмотрела вокруг и увидела двух человек с устремленными на меня глазами. Вот это была задача — определить, кто же из них писал записку! Тот, кто сидел слева, показался мне более симпатичным. Он был старше меня лет на десять, и его большие серые глаза смотрели серьезно. Другой был молодой, с черными нагловатыми глазами и нерусскими чертами лица. Через какое-то время мне удалось узнать, что сидящего слева зовут Александр Рафаилович Попов, а того, кто справа, — Владимир Тейтель. Но ни для того, ни для другого у меня не было времени. Днем я была занята на работе, а вечером делала свой дипломный проект. Записки продолжали появляться в ящике моего стола. Я демонстративно, не читая, рвала их на глазах обоих и бросала в мусорную корзину.

Когда я закончила чертежи перекрытий здания заводоуправления, на Кузнецкстрое уже шло строительство и работы велись на уровне фундаментов и всего того, что должно было располагаться в подвальном этаже. Из Кузнецкстроя пришел запрос о моем приезде туда, поскольку у строителей возникло много вопросов ко мне как к автору. Крячков сказал мне, что надо

поехать хотя бы дня на три, но что он не хочет, чтобы я ехала туда одна, и пообещал узнать у начальника Тельбессбюро, кто поедет на Кузнецкстрой в ближайшие дни. На следующий день он сообщил мне, что завтра туда отправляется главный металлург завода Иван Павлович Бардин и что для меня купят железнодорожный билет, чтобы я могла поехать вместе с ним.

В вагоне мы сели рядом и разговорились. Ему было интересно знать, почему я выбрала себе такую мужскую профессию, где училась, кто мои родители… Как была бедна и разорена тогда наша страна! Вагон освещался маленькой тусклой лампочкой, никаких матрацев и подушек не было, никакого постельного белья, чая не предлагали. Мне приходилось ездить в хороших поездах в Пермь и Москву, и в них были и матрацы, и подушки, было и белье, хотя старое, застиранное, а иногда и рваное. Здесь же — ничего. Я хотела лечь на верхнюю полку, но Бардин, как настоящий джентльмен, сам полез наверх. Положив под голову портфель, я заснула, а утром мы были уже в Кемерове и оттуда, пересев на другую ветку, доехали до Кузнецкстроя. Бардин сразу же ушел по своим делам, а я попала под град вопросов. Их задавали прорабы, строящие здание заводоуправления и, возможно, впервые в жизни столкнувшиеся с изящными железобетонными конструкциями. Мой опыт в этом отношении тоже был невелик. Все мои проекты железобетонных конструкций, которые я делала у Молотилова, он забирал и отдавал заказчикам, и никто не просил меня осуществить авторский надзор за их сооружением. И только на практике в Мотовилихе я видела, как возводятся перекрытия из железобетона. Но здание небольшой металлографической лаборатории нельзя было сравнить с огромным и сложным зданием заводоуправления. Я отвечала на все вопросы, я не должна была чего-нибудь не знать. Много вопросов было связано с тем, что на стройку поступала арматура не того диаметра, какой был нужен по проекту, или завозили цемент не той марки. Я старалась не менять размеров плит, балок и колонн и обходиться только увеличением или уменьшением числа арматурных стержней.

В такой работе прошло два дня моего пребывания на Кузнецкстрое, и Бардин сказал мне, что завтра вечером мы уезжаем. В конце второго дня я в изнеможении вернулась домой, чтобы лечь спать, но пришел новый прораб и сказал, что им нужно построить резервуар для хранения топлива (бензина, керосина, солярки), а проекта у них нет. Я была в панике, поскольку понятия не имела о резервуарах, ведь о них нам преподаватели не говорили и я о них ничего не читала. Но я и

вида не подала, что не знаю, как сделать такой проект. Я не спала всю ночь, стараясь понять, как работает резервуар, наполненный жидкостью. Мне только сообщили объем жидкости в одном резервуаре, размеры я должна была вычислить сама. Так или иначе, я обдумала проект резервуара и утром начертила его, подсчитала количество стержней арматуры и составила спецификацию расходных материалов. Пришел прораб, и мы обсудили с ним, каким должно быть деревянное перекрытие резервуара и каким должен быть изолирующий слой на внутренней поверхности резервуара. В этом вопросе он, слава богу, не нуждался в моих советах. Я подписала свой проект, и мы дружески расстались с ним. Покончив с делами, мы с Бардиным уехали в Томск.

Я получила от начальника новое задание — разработать железобетонные конструкции литейного цеха. Эта работа не требовала такой сумасшедшей срочности, как для здания заводоуправления, окончания строительства которого все ждали с нетерпением. До этого все службы Кузнецкстроя ютились во временных деревянных постройках, а для жилья использовались деревянные бараки и вагоны. Жилые дома для инженерно-технического персонала только начинали строить. Они были двухэтажные, кирпичные, с деревянными перекрытиями.

Однажды, когда я уходила с работы, ко мне подошел молодой человек в очках и с улыбкой спросил, можно ли меня проводить. Я не была с ним знакома, но видела его несколько раз в обществе Александра Рафаиловича Попова. По-видимому, он был его другом, но работал в другом отделе Тельбессбюро, кажется, в плановом. Я согласилась, но, когда он хотел взять меня под руку, я резко отшатнулась, а он рассмеялся. Да, я была такая! Ни в коем случае не хотела казаться слабой и нуждающейся в поддержке. И никогда ни с кем не ходила под руку, только рядом. Настоящая дикарка! Назвался мой спутник Володей Кудрявцевым и спросил, как можно меня называть — имя и отчество он знал. Пришлось сказать, что мои друзья называют меня Ниной. И тут он вдруг заявил, что со мной очень хочет познакомиться его друг Шура Попов. Значит, он и есть тот, кто писал мне записки? На другой же день у выхода меня ждали двое — Володя Кудрявцев и А. Р. Попов. Так состоялось это знакомство, и с тех пор АРэ, как я его назвала, категорически отказавшись называть Шурой, стал ежедневно провожать меня домой. От любых других его предложений — сходить в кино, театр, погулять по улицам — я отказывалась, так как делала дипломный проект и торопилась закончить его к весне.

Провожая меня, АРэ рассказал о себе: откуда он приехал в

Томск, что окончил техникум с архитектурным уклоном и высшего образования не имеет, но мечтает его получить. В Тельбессбюро он разрабатывал проекты тех жилых двухэтажных домов, которые строились на Кузнецкстрое и автором которых был Андрей Дмитриевич Крячков.

Как-то раз Крячков позвал меня к своему столу и предложил сесть рядом с ним. Он спросил, не возьмусь ли я сделать для него чертежи железобетонных перекрытий. Через три дня он должен был уезжать в Новосибирск, где по его проекту строилось здание то ли Госплана, то ли Госбанка, и он обязан привезти строителям чертежи. Срок был невероятно маленький, но я взялась, и он попросил меня зайти вечером к нему домой за необходимыми материалами. Первый раз я была внутри знаменитого дома Крячкова. Он с женой, двумя сыновьями и дочерью жил на нижнем этаже, а верхний сдавал, и там жил профессор нашего факультета Николай Семенович Макеров с женой, а детей у них не было. Он вел у нас курс «Шоссейные дороги». В кабинете Крячкова на стенах висело много картин, фотографий, перспектив и фасадов, по всей видимости, тех зданий, автором которых он был.

Отложив в сторону свой дипломный проект, я принялась за работу. Расчеты конструкций на прочность частично удавалось сделать на работе, так как никто никогда не проверял, чем я занимаюсь за своим рабочим столом. По вечерам работала дома, иногда до глубокой ночи, причем, сделав чертежи одного перекрытия и сняв копию тушью, я остальные перекрытия делала прямо на кальке тушью, меняя размеры, число и диаметр арматурных стержней в зависимости от расчета. Когда я через три дня принесла Крячкову готовые кальки всех перекрытий, он дал мне сто рублей и сказал: «Даю Вам не за работу, а за подвиг». Мой месячный оклад в Тельбессбюро был равен в то время 182 рублям.

Отдохнув после нескольких почти бессонных ночей, я вернулась к моему дипломному проекту и в мае 1930 года защитила его у профессора Ульянинского на отлично. Как раз в это время наш институт должен был разделиться на несколько институтов более узкой специализации. Например, наше отделение мостов и фабрично-заводских конструкций должно было выделиться в Сибирский институт инженеров транспорта и переехать в Новосибирск. Отделение архитектуры, где училась Мака Тыжнова, выделялось в Архитектурный институт и оставалось в Томске. И этой весной такая реорганизация начала осуществляться. Те студенты, которые оканчивали наш институт весной 1930 года, успели получить дипломы Томского

технологического института. Я же как-то не придала этому значения и оставила на осень два экзамена и курсовую работу по шоссейным дорогам. Все это я могла сдать и весной, но захотелось расслабиться после большого напряжения на протяжении всей учебы в институте.

В начале лета Коля Никитин окончил институт и получил назначение в строительную проектную организацию в Новосибирск, где жили его родители и сестра. Аркадий Полянский принял предложение военной организации и уехал с семьей на Восток, кажется, в Иркутск. Разъехались по местам своего назначения Ружанский и Никольский. Мака перешла на пятый курс и летом уехала куда-то на практику. В следующем году она должна будет учиться в новом Архитектурном институте. И я осталась в Томске без старых друзей.

Еще весной в доме, где жили моя мама и братья, на втором этаже освободилась маленькая угловая комната, и мама выхлопотала ее для меня. Закончив дипломный проект, я отказалась от комнаты на Черепичной и переехала в эту комнату, за которую не надо было так много платить.

Моему желанию быть свободной летом в большой степени способствовало знакомство с АРэ. Он принялся за мной ухаживать, и я получала приглашения то в кино, то в театр, то на концерт, когда в Томск на гастроли приезжали известные чтецы Закушняк или Сурен Кочарян или же какая-либо знаменитая балерина из Большого театра. АРэ ничего из таких событий не пропускал и всегда приглашал меня. Он очень любил фотографировать, и мы отправлялись в Лагерный сад, где снимали реку Томь в наиболее красивых местах. Он научил меня пользоваться фотоаппаратом, но проявлял снимки всегда сам, а меня этому не учил. По воскресеньям мы совершали большие прогулки в лес вместе с Володей Кудрявцевым и его сестрой Агочкой. По городу тоже часто гуляли с ними. Так весело и беззаботно проходило лето. Приходя с работы, я обедала у мамы вместе с братьями, а потом поднималась в свою комнату. Я была впервые в жизни свободна, по крайней мере до осени. Я говорила себе, что могла бы учиться в институте, числясь на 5-м курсе, еще целый год, и считала, что имею право отдыхать (читать, гулять) после работы, так как зарабатывала деньги на жизнь всей семьи.

Я стала обращать внимание на свою одежду, и мне захотелось новых платьев. Мы с мамой пошли в магазин и купили два отреза темно-синей и светло-серой ткани, и мама сшила мне два шерстяных платья. Купили также туфли-лодочки черного цвета на среднем каблуке, а к ним светлые фетровые боты — их носили, надевая прямо на туфли. Галоши носили осенью, а боты — зимой.

Нашли также осеннее пальто, тоже любимого мною темно-синего цвета, и к нему — голубую фетровую шляпу. Я знала, что, когда на мне голубая блузка или шарфик, мои серые глаза становятся голубыми, а от голубой шляпки и подавно.

По тем временам я всегда была хорошо одета, так как мама из своих бывших выходных платьев выкраивала мне то костюм, то юбку, шила кофточки. На первом курсе я еще ходила в своих школьных платьях и, надев костюм, который сшила мама к окончанию первого курса, сразу как бы повзрослела. Одежда у меня всегда была скромной, ничего яркого или цветастого я не носила, особенно не любила красный цвет.

Нравился ли мне АРэ? Да, он мне нравился как никто другой. Он не был красивым, как, например, наш студент Игорь Брейденбах, но у него были большие серые глаза, очень выразительные, и облик серьезного человека. Я никогда не видела его раздраженным или сердитым, он всегда был спокоен, не повышал голоса, но и смеялся редко, только улыбался. И всё это мне в нем нравилось. Была ли я в него влюблена? Я не могла сказать об этом с уверенностью. Если и была, то совсем немножко. Мне нравилось, что он не делает мне предложения на будущее, так как сохранялась чистота дружеских отношений, и я чувствовала себя спокойной. Он никогда не приглашал меня к себе домой, и я не приглашала его к себе, быть может, стесняясь моей убогой обстановки. Очень редко заходил он со мной к моей маме и обедал у нас.

Из разговоров с Агочкой я давно узнала, что АРэ старше меня на девять лет, что он женат или был женат и у него есть сын, но в Томске он живет один, снимая комнату. Я никогда ни о чем его не спрашивала.

В самом конце августа Тельбессбюро в Томске закрылось. Его сотрудники, в том числе АРэ и Володя Кудрявцев с Агочкой, должны были переехать на Кузнецкстрой, где к этому времени была закончена постройка здания заводоуправления. Андрей Дмитриевич Крячков и некоторые другие сотрудники, которые, очевидно, были тесно связаны с городом и у которых были другие перспективы в отношении работы, остались в Томске. Прощаясь со мной, АРэ подарил мне один цветок ландыша, конечно же, украденный им в ботаническом саду университета. Я была восхищена красотой и ароматом этого незнакомого мне до тех пор цветка и, придя к себе, поставила его в граненый стакан с водой. Этот единственный стебелек с белыми миниатюрными колокольчиками и двумя зелеными листьями казался сказочно красивым. С тех пор я не люблю букетов из ландышей и считаю, что красота его раскрывается в полной мере, только когда

любуешься одним-единственным цветком.

Проводив АРэ и Кудрявцевых на Кузнецкстрой, я принялась готовиться к экзаменам по двум оставшимся несданными предметам и сделала курсовую работу по шоссейным дорогам. В конце сентября я пришла на прием к профессору Николаю Семеновичу Макерову, показала ему курсовую работу, сказала, что я уже защитила дипломный проект и что шоссейные дороги — последний предмет, который мне надо сдать, чтобы окончить институт. Он подписал мой проект и предложил мне вытащить билет для экзамена. Я взяла билет и не успела сказать несколько фраз, как Макеров взял со стола мою зачетную книжку и, проставив отметку «отлично», вдруг схватил мою руку и начал говорить, что он давно в меня влюблен, что он не сводил с меня глаз, когда читал нам лекции. Конечно, я это замечала и, может быть, поэтому всё откладывала работу над проектом по шоссейным дорогам и сдачу экзамена. Услышав его слова, я освободила свою руку, встала и, положив зачетку в сумочку, быстро пошла к выходу. Он — за мной. Всю дорогу он держал меня под руку, и так крепко, что вырываться было просто неудобно перед прохожими. По дороге Макеров говорил мне нежные слова, а когда мы проходили мимо какого-то дома с пустой скамьей возле ворот, он посадил меня на скамейку рядом с собой. Он стал объясняться мне в любви такими словами, каких я никогда ни от кого не слышала и встречала только в романах, быть может, у Мопассана. Я не хочу повторять здесь его откровенных речей — в тот момент они меня просто испугали. Когда он попытался меня поцеловать, я вскочила и убежала.

Я была потрясена поведением Макерова и, когда пришла домой, рассказала маме о том, что произошло. Мама меня спокойно выслушала и сказала: «Да он просто посмеяться над тобой захотел. Что он в тебе нашел? Ты же некрасивая такая!» Она как будто вылила на меня ушат холодной воды, и это помогло мне справиться с потрясением и успокоиться. Так было и раньше: стоило мне рассказать маме о комплиментах, которые мне приходилось слышать от студентов, как мама тут же умеряла мой пыл, говоря: «Да ты посмотрись в зеркало!» И в этот раз я посмотрелась в зеркало и согласилась с мамой. Ну ничего красивого во мне не было: нос курносый и широковатый (а у красавиц носики узкие, красивой формы), лоб слишком высокий, глаза, правда, большие, но с редкими ресницами на нижних веках. (У меня в детстве от малокровия часто бывали ячмени, и ресницы на нижних веках кое-где выпали.) Да и цвет лица не был бело-розовым, как у красавиц, а какой-то бледный. Так я и жила в уверенности, что некрасивая, и когда самый красивый студент

Игорь Брейденбах приглашал меня в кино или погулять, я всегда отказывалась, боясь, что все будут говорить: «Такой красивый молодой человек идет с такой некрасивой девушкой!»

На другой день после злополучного экзамена у профессора Макерова я пришла в деканат, чтобы передать мой проект шоссейной дороги и показать зачетную книжку со всеми отметками. Но проект мой остался на столе у Макерова, и я боялась туда зайти. Я приоткрыла дверь, в комнате никого не было и проект мой лежал на столе. Теперь мне оставалось только взять диплом об окончании института и направление на работу. В деканате меня попросили прийти за документами на следующий день и сказали, что вместо диплома мне будет выдана справка, а диплом я смогу получить уже в Новосибирске, куда поеду работать. Еще весной после защиты дипломного проекта профессор Ульянинский сказал мне, что научно-исследовательский институт в Москве, где я проходила практику, прислал на меня запрос, ссылаясь на то, что у меня есть склонность к научно-исследовательской работе. Но дирекция института или еще кто-то, рассматривая этот запрос, решили, что в Сибири такие инженеры нужнее, и меня направили работать в научно-исследовательский институт в Новосибирске. Взяв справку и направление, я простилась с институтом. Теперь мне полагался месячный отпуск, прежде чем я начну работать.

Побыв неделю дома с мамой и братьями, я заскучала и вдруг решила съездить на недельку на Кузнецкстрой и повидать моих друзей из бывшего Тельбессбюро, главным образом АРэ, а также брата, который там работал. Маме особенно понравилось, что я увижу Игоря и расскажу ей о нем всё подробно: как выглядит, как питается, как живет. И я уехала на Кузнецкстрой.

На Кузнецкстрое: «Принцесса Турандот из конструкторского отдела»

Я никому не сообщила о своем приезде и, когда сошла с поезда, отправилась искать конструкторский отдел Кузнецкстроя, где должны были работать мои знакомые из Тельбессбюро. Придя в здание заводоуправления, я разделась и, оставив в гардеробной чемодан, пошла в конструкторский отдел, который располагался, как я узнала от гардеробщицы, на втором этаже. Увидев меня, несколько человек, которые раньше работали в Тельбессбюро, подошли ко мне, чтобы поздороваться. Когда мы работали в Томске, они стеснялись подходить ко мне, а здесь вели себя как знакомые, и я отвечала им тем же. Главный вопрос, который их волновал, — приехала ли я для того, чтобы здесь работать. Я ответила, что приехала в отпуск на несколько дней, чтобы повидать брата и знакомых. Из соседней комнаты вышел АРэ, очень удивился и явно обрадовался, полагая, что я приехала сюда работать. Мне было неудобно, что из-за моего появления поднялся такой шум. Я сказала, что зайду еще к концу рабочего дня, и отправилась осматривать площадку строительства.

Всё изменилось до неузнаваемости — так много было построено за последний год. Здание заводоуправления выглядело солидно, за ним тянулся целый ряд недавно построенных двухэтажных домов для инженерно-технического персонала. Эти дома располагались у подножия довольно высокого холма, на вершине которого была отгорожена часть леса и устроен парк с аллеями, эстрадой и скамьями.

На заводе шли работы по сооружению цехов, закладывались фундаменты под доменные печи и фундаменты зданий соцгорода. Каждый новый город, строящийся в нашей стране, назывался социалистическим городом. И на всех стендах площадки я увидела красочные объявления о том, что на Кузнецкстрой из Москвы приезжает Вахтанговский театр. В конце рабочего дня я пришла в конструкторский отдел. Я взяла чемодан и дождалась АРэ и Володю Кудрявцева, который сразу же заявил, что обедать мы будем у него и что Агочка нас ждет. Встреча с Агочкой была радостной, мы расцеловались. Во время обеда я узнала, что мой брат живет в рабочем общежитии в комнате, где вместе с ним проживает еще несколько человек, а АРэ живет в доме у подножия холма вместе с другим инженером. Володя Кудрявцев предложил мне занять комнату его помощника Малова, который вчера вместе с женой уехал в отпуск в Москву и оставил ему ключ. Тут

же было решено, что мы покупаем билеты на представления вахтанговцев — для меня это было приятной неожиданностью. Поздно вечером Володя и АРэ проводили меня в комнату Малова. Постельное белье у меня было с собой благодаря заботам мамы, а чай, сахар, хлеб и что-то еще из еды дала мне Агочка.

Слух о моем приезде быстро распространился по заводоуправлению и, конечно, дошел до начальства. Начальником Кузнецкстроя был Франкфурт, а главным инженером — Казарновский. И уже на третий день моего пребывания на стройке меня просил зайти Казарновский, о чем мне сообщил АРэ. Когда я пришла, он стал уговаривать меня остаться работать на Кузнецкстрое, хвалил меня как инженера, сказал, что им очень нужен именно такой человек, знающий заводские конструкции и уже много сделавший для Кузнецкстроя. Я отказывалась, ведь у меня было направление на работу в НИИ Новосибирска и я не могла остаться. Во время нашего разговора зашел Франкфурт, познакомился со мной и тоже начал меня уговаривать: «Зачем Вам НИИ? Это же исследовательская работа, которая пригодится, быть может, в будущем, а не сейчас. А у нас работа живая, Вы будете видеть ее результат». Но я категорически отказалась и ушла.

Пока мои друзья работали, я отдыхала: читала, заходила к Агочке и слушала ее игру на пианино. Навестила брата Игоря, которого пришлось разбудить, так как застала его спящим после ночной смены. Узнала, как он живет, как питается, с кем дружит — всё это надо было потом рассказать нашей маме.

Октябрь был солнечный, сухой, настоящего снега еще не было, и я уходила в парк или в лес и гуляла там. Обедала часто вместе с АРэ и другими знакомыми в заводской столовой в отдельной комнате для инженеров и служащих. Еда была не очень-то вкусная. Но какое это имело значение, если вечерами мы все вместе шли на спектакли Вахтанговского театра — на «Принцессу Турандот» с Мансуровой и Завадским в главных ролях, на «Виринею» и «Разлом»? «Принцессу Турандот» я смотрела дважды, была потрясена игрой актеров и самим спектаклем. Дней через семь я решила уехать домой и пришла к начальнику железнодорожной ветки, чтобы взять билет до Кемерова. Но он мне сказал, что Франкфурт распорядился билета мне не продавать. (Железнодорожная ветка на Кузнецкстрой была в подчинении Франкфурта.) Я задохнулась от возмущения. Я думала, что могу попросить кого-нибудь другого купить мне билет, но оказалось, что это невозможно: билеты были именные, их выдавали по паспорту. Конечно, такое правило продажи железнодорожных билетов было принято не специально для меня.

Некоторые мобилизованные на это строительство специалисты, попав в тяжелые бытовые условия, бежали обратно. И Франкфурт стремился их задержать. Но какое отношение это имело ко мне? Ведь я приехала просто в отпуск, а не по мобилизации на работу. Говорить с Франкфуртом было бесполезно, и я могла только возмущаться. Мои друзья мне сочувствовали, все говорили об этом как о насилии над человеком. Много беззакония творилось в те времена в нашей стране, где люди были бесправны.

Я пребывала в отчаянии, когда меня нашли журналисты — несколько человек из разных городов — и посоветовали мне попросить у начальства высокий оклад и отдельную комнату. Они полагали, что мне, только что окончившей институт, высокого оклада не дадут и отдельной комнаты тоже. Комнат катастрофически не хватало, в одну комнату селили по два, а то и по три человека. И начальству придется меня отпустить. По собственной инициативе я никогда не стала бы этого делать. Но уехать хотелось, и я пришла к Франкфурту и сказала ему всё, что мне советовали сказать журналисты. К моему великому удивлению, Франкфурт, выслушав меня, улыбнулся и сказал, что он согласен. Он даст мне оклад в 365 рублей — ставка старшего инженера — и отдельную комнату в только что отстроенном доме. И я проиграла. Вместо того чтобы настаивать на отъезде, я, по совету журналистов, выставила свои требования, а Франкфурт на них согласился. У меня уже не было другого выбора, и пришлось остаться.

Через два дня в стенной газете появилась заметка под названием «Принцесса Турандот из конструкторского отдела», подписанная начальником отдела кадров Красной. Это была красивая брюнетка средних лет, получившая фамилию Красная, быть может, за участие в Гражданской войне, — в то время было модно менять свою фамилию на другую с революционным смыслом. Она возмутилась, что девчонка в двадцать один год, только что получившая диплом, позволяет себе выставлять такие непомерные требования. Я ее понимала и сама этого стеснялась, но отступать было поздно. Из-за этой заметки в стенной газете многие стали называть меня принцессой Турандот, хотя во мне ничего от Турандот не было и никаких загадок я никому не задавала. Я так прославилась тем, что меня насильно оставили на Кузнецкстрое, что все, кто приезжал туда, непременно хотели со мной познакомиться. Однажды, вскоре после появления заметки, из Москвы приехал журналист от газеты «Известия» Владимир Яковлевич Рузов и тоже захотел со мной встретиться. Он выслушал мою историю и написал статью под заголовком «Дело о…».

Начальником конструкторского отдела, куда я пришла работать, был архитектор Лев Николаевич Александри[5]. Снова моим начальником стал архитектор: в Томске был Крячков, здесь — Александри. И снова я работала без непосредственного начальника из конструкторов, и снова, как в Томске, никто мною не руководил и я по специальности никому не подчинялась. Но зато здесь в моем распоряжении были чертежники и копировщики, и я, рассчитав конструкцию на прочность, могла начертить только эскизы и отдать их чертежникам для оформления в рабочие чертежи, а потом, после моей проверки, передать копировщикам, чтобы они сняли копии на кальку. Кальки я снова проверяла и, подписанные чертежниками и мною, несла на подпись к Александри. Александри подписывал чертежи, не особенно вникая, поскольку полностью мне доверял. В большой комнате конструкторского отдела, где работало несколько человек, мне выделили большой стол посередине комнаты, и я могла видеть всех сотрудников, сидящих передо мной. В правом углу работала группа американских инженеров, приглашенных на строительство завода. Я думаю, что они занимались технологической частью металлургического завода. Александри сидел в смежной комнате, в которую он собрал всех, кто занимался проектированием зданий для будущего города. Дверь в его комнату была всегда открыта, и я могла его видеть, но не видела никого из сидящих в его комнате, в том числе и АРэ.

Задания на проектирование я получала от Александри, и сначала это были конструкции прокатного цеха, а потом — путепровод, по которому горячий шлак должен был отвозиться в отвал. Вагонетки с горячим шлаком опрокидывались на бок, и их содержимое высыпалось в большой овраг. Двигались вагонетки по двум узкоколейным путям туда и обратно и могли перемещаться с одного пути на другой у доменных печей и у отвала. Под путепроводом должны были проходить несколько заводских путей, расположенных косо к путепроводу, что усложняло проектирование его колонн. Получив от Александри это задание, я осталась один на один со всеми сложностями и принялась за работу. После этой большой работы я делала много других, среди них, в частности, были конструкции для подземной теплофикации завода и фундаменты под оборудование в цехах. Для зданий будущего соцгорода я не делала никаких работ — этим занимались другие инженеры.

Новый год я встречала у Кудрявцевых в обществе АРэ и их друзей, и было очень весело. Коллективно лепили пельмени, готовили закуски и салаты. Всё это было не очень-то богато — с продуктами было трудно. Продуктовых магазинов, мне кажется,

вообще не было, кроме булочных. Мясо, овощи, молоко можно было купить по воскресеньям у местных крестьян, привозивших продукты на импровизированный базар, местом для которого служила поляна.

Однажды, уже после Нового года, меня вызвал к себе главный инженер Казарновский и попросил провести занятия по бетону и железобетону для прорабов, которые до тех пор умели строить только из кирпича и дерева, иногда с применением металла. Их надо было познакомить с новым материалом — бетоном, который широко использовался на Кузнецкстрое. Я составила программу занятий и расписание, которое было вывешено на доске.

Собрались бородатые мужчины среднего возраста и смотрели на меня во все глаза — должно быть, удивлялись, увидев в качестве преподавателя совсем молодую девушку. Я смутилась, но затем взяла себя в руки и начала им рассказывать про состав бетона, как его приготовить, и прочее. Слушали внимательно, записывали всё, что я говорила или рисовала мелом на доске. Когда прошло несколько занятий, я стала получать записки с комплиментами и объяснениями в любви. Записки, иногда очень безграмотные и смешные, я находила на столе или в ящике стола. Я не отвечала на них, а вечерами, когда мы собирались у Кудрявцевых, зачитывала вслух, и все очень смеялись.

После окончания занятий с прорабами я устроила им экзамен, и все отвечали хорошо, видно было, что старались освоить материал, не желая осрамиться перед молодой девушкой. За эти занятия мне была вынесена благодарность, и приказ об этом был напечатан в стенной газете.

Зима 1931 года выдалась в Сибири очень суровая, в отдельные дни морозы доходили до 60 градусов, холода в 40–45 градусов были обычным явлением и держались неделями, пока температура не поднималась до 30–35 градусов. В такие особенно морозные дни нас всех предупреждали, чтобы мы, выйдя на улицу, дышали только через шерстяной шарф или платок. Еще осенью, когда стало ясно, что мне придется остаться на Кузнецкстрое, мама прислала мне все зимние вещи, в том числе связанные ею шерстяные чулки и платок, через который я могла дышать в морозы.

В первый же день утром, когда был мороз в 60 градусов, за мной зашел АРэ и, увидев, что на ногах у меня простые чулки, спросил, нет ли у меня чего-нибудь потеплее, чтобы надеть на ноги. Я ответила, что мама прислала мне белые шерстяные чулки, но надевать их я не хочу — ноги выглядят уродливо, кажутся слишком толстыми. АРэ заставил меня надеть их и сказал, что очень даже красиво, что ножки выглядят, как белые медвежатки,

просто прелесть. И я не стала снимать их и потом носила во все морозные дни, снимая, когда приходила в здание заводоуправления.

Однажды, где-то в феврале, в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной шахты пришел запрос на консультанта-специалиста по основаниям и фундаментам. Александри послал меня, предупредив, что там работают сосланные после Шахтинского процесса[6] инженеры. Ехать надо было километров тридцать в санях. Меня встретили солидные бородатые люди в полушубках и форменных фуражках. Дело оказалось пустяковым — им надо было построить одноэтажное здание новой конторы, но грунты были лёссовые, размокающие от воды. Все домны и цеха Кузнецкого металлургического завода возводились именно на лёссовом основании, поэтому можно понять, как рассмешило меня требование маститых инженеров выслать им консультанта по такому пустяковому поводу. А консультанту не было и двадцати двух лет.

После того как я письменно и с чертежами изложила им мои соображения по поводу закладки здания, главным образом связанные с отводом воды, меня пригласили обедать, очевидно, к начальнику угольной шахты. Квартира была со старинной мебелью, с картинами на бревенчатых стенах и ковром на полу, даже с роялем. Общее впечатление дополняли великолепно сервированный стол и дамы — жены инженеров — в старомодных платьях с бриллиантовыми серьгами в ушах и солидные мужчины в форме горных инженеров. Всё это казалось невероятным для такой глуши. После обеда мне заплатили сто рублей, и я уехала домой. Эта поездка казалась мне чем-то нереальным: и то, что я там увидела, и вызов консультанта по пустяковому вопросу, и моя консультация, и размер оплаты за нее. Сто рублей была невероятно большая сумма, и я вовсе не предполагала, что мне что-то заплатят, — это было мое рабочее время. Зато вечером у Кудрявцевых все слушали меня с большим интересом.

В кружке Александри

Через какое-то время после моего приезда на Кузнецкстрой я познакомилась с московским инженером Александром Сергеевичем Резником, приехавшим на работу по мобилизации. Он работал в той же большой комнате, что и я. Резник был удивительно спокойным интеллигентным человеком, и с ним было интересно разговаривать — ведь он был значительно старше меня и очень много знал. Резник рассказал мне, что у него в Москве есть брат, который занимается литературой, а семьи нет, он живет один. Часто он присоединялся к нам с АРэ во время обеда в столовой и по дороге домой, и я просила его заходить ко мне, когда у него будет время. Однажды он привел ко мне своего знакомого Романа Александровича Эммануэля. Оказалось, что он тоже был москвич, из тех «троцкистов», которых Сталин посылал в Сибирь на «перековку». Во время революции и даже еще раньше Эммануэль был связным Троцкого и водил его на нелегальные квартиры, где встречались коммунисты. При Сталине все бывшие приверженцы Троцкого были исключены из партии и высланы из Москвы. Среди них был и Карл Радек, которого я видела в Томске. Он снимал комнату в стоявшем по соседству с нашим доме профессора медицины Курлова, к которому в 1922 году мама возила больного отца. Профессор Курлов уже умер, и его вдова сдавала комнаты своего большого дома, и одна из них досталась Радеку. Мне довелось видеть его, когда он шел на работу или возвращался с работы домой. Зимой он был одет в светлую меховую куртку, на нем была такая же шапка, шею и подбородок он закрывал теплым шарфом, укутываясь до самого носа.

На Кузнецкстрое Роман Александрович Эммануэль работал в плановом отделе, а в свободное время писал книгу «Религия и Французская революция». В Москве у него были родители, братья и жена Тася с сыном. Он знакомил меня с политической жизнью нашей страны, которая до тех пор была мне совершенно неизвестна. Каждый раз он сообщал что-то для меня новое и, как я поняла, оставался человеком, преданным Троцкому. Эммануэль дружил с Александри и рассказал мне, что Александри — такой же политический ссыльный, что он получил архитектурное образование в Швейцарии и приехал в Россию как коммунист и поклонник Троцкого. Какое-то время он жил во Франции и хорошо знал французский язык.

В то время как я знакомилась с отдельными интересными для меня людьми на Кузнецкстрое, один из американских инженеров, которого называли мистер Халловей, явно мне симпатизировал и

иногда, проходя мимо моего стола, молча клал мне на стол то ластик, то маленькую логарифмическую линейку, то изящную простую, то карандаш «Кохинор». С этим американцем дружил Александр Сергеевич Резник, знавший английский язык.

Мои новые знакомые Резник и Эммануэль рассказали мне, что вечерами они часто встречаются у Александри, и как-то раз передали мне его приглашение зайти вечером к нему домой. Проводить меня взялся Эммануэль. Посередине большой комнаты на втором этаже дома для инженеров стояла круглая железная печка, топившаяся дровами, и дым от нее выводился по трубе через отверстие в окне. Меня это удивило, потому что у этих домов было центральное отопление от заводской котельной. Видимо, хозяин захотел иметь еще и железную печку. Когда мы с Эммануэлем пришли, печка топилась, а Лев Николаевич брызгал на нее хвойным экстрактом из флакона, и по комнате разливался необыкновенно приятный аромат хвои. На печке стоял чайник. И я подумала: до чего же уютным человеком оказался Александри, если сумел доставить себе и гостям в зимние вечера такое удовольствие — тепло, запах хвои и чай. Вслед за нами пришел Резник. Мы и московский журналист Рузов сели за стол, а Лев Николаевич налил нам чай, поставил сахар, тарелку с сушками и пряниками. И начались разговоры о новых книгах, о стихах, о политике. Я читала много, но всё больше классическую литературу. Могла с удовольствием перечитывать Пушкина, особенно любила Лермонтова и Тургенева. Почти ничего не знала о книгах, появившихся в последнее время, а из поэтов была знакома только со стихами Маяковского и Есенина, и то еще со школьных времен. Александри пытался меня разговорить, хотел, чтобы я рассказала о своих родителях, о школе, о студенческой жизни… И с тех пор я стала часто бывать на вечерах у Александри.

Мне было неловко перед АРэ и Кудрявцевыми за то, что я стала реже у них бывать. Но мне было так интересно у Александри, что я каждый раз соблазнялась его приглашением. Всегда, когда откуда-нибудь на Кузнецкстрой приезжал журналист из какой-нибудь газеты, его приглашали в гости, чтобы послушать новости из сибирских городов. Но особенно интересно было, когда из Москвы приезжал Владимир Яковлевич Рузов — тот корреспондент «Известий», который написал обо мне статью. Он был в курсе всех последних событий в Москве и так как, наверное, был постоянным корреспондентом газеты «Известия» на стройках Сибири, то за 1931 год приезжал на Кузнецкстрой несколько раз. Он мог много интересного рассказать из московских новостей, но еще и очень хорошо пел

песни на стихи Есенина. Нам нравилось, как он пел, пусть даже и без аккомпанемента.

Стыдно вспоминать, какой я была в тот год в кружке Александри. Газет я не читала вообще, поскольку в студенческие годы у меня не было для этого времени. Я многого не знала, была просто провинциальной девушкой с высшим техническим образованием и независимым характером. И больше ничего собой не представляла. Почему же Александри приглашал меня в свой кружок? Думаю, что, во-первых, у мужчин была потребность хоть в каком-то женском обществе, а во-вторых, они ценили меня как очень внимательного слушателя. А других женщин их круга на Кузнецкстрое и не было.

Как это обычно бывает на стройках в глухих, необжитых местах, где нет ни театра, ни кино, работающая там интеллигенция разбивается на кружки по общности интересов. Одни собираются, чтобы играть в карты, шахматы, лото и другие игры. Другие любят танцевать под музыку и петь. Третьи — веселиться и рассказывать анекдоты. У Александри велись разговоры о литературе и политике, читались стихи и обсуждались новые книги, и я думаю, что это был самый высокий уровень общения.

Познакомившись с этим кружком поближе, я стала смелее и могла показать мое знание стихов и прозы. Обладая хорошей памятью, я со школьных лет помнила стихи Пушкина и Лермонтова, отдельные куски из «Евгения Онегина», а также знала наизусть две сказки Андерсена, которые очень любила: «Роза с могилы Гомера» и «Мотылек». А после того как в Томске мне дважды довелось прослушать сказки Шахерезады в исполнении Сурена Кочаряна, я почти дословно могла рассказать одну особенно мне понравившуюся сказку.

Однажды в кружке зашел разговор о рабочих на Кузнецкстрое, об их жизни. Я ничего об этом не знала, вращаясь в своем замкнутом кругу. Но Рузов и Эммануэль меня просветили, рассказав, как тяжело живут рабочие здесь, как много здесь раскулаченных семей, которым особенно трудно. Они живут в землянках, которые выкапывают на склонах высоких холмов, где из кирпича или дерева сооружают только переднюю стену с дверью и окном. И в этих полутемных землянках ютятся целые семьи с детьми. Питаются в заводских столовых, где еда напоминает арестантскую баланду. Слушать об этом было очень тяжело, особенно потому, что как раз в это время появились знаменитые «шесть условий товарища Сталина», где предписывалось создавать хорошие условия для инженерно-технического персонала. Нас после работы стали кормить

значительно лучше, чем прежде. В отдельной комнате заводской столовой открылся буфет с разными закусками, салатами, нам приносили вкусные отбивные, шницели и другие мясные блюда после очень хорошего первого блюда — борща, мясного супа или щей. Обед всегда был из трех блюд, и еще в комнату привезли бочку пива, отчего мужчины были в полном восторге. Обычно я ничего не покупала в буфете, кроме конфет к чаю, но однажды появилось какое-то темное мясо, нарезанное тонкими ломтиками, и мне сказали, что это мясо черных лебедей. Меня это до того поразило, что я купила себе немного, чтобы попробовать, но ничего особенного в нем не нашла. А может быть, это была шутка буфетчика. Но ведь можно перед кем-нибудь похвастаться: «Я ела мясо черного лебедя». Шикарно!

На фоне нашего относительного благополучия особенно тяжело было слушать рассказы Рузова и Эммануэля о жизни рабочих не только здесь, но и на других стройках Сибири. Я и сама стала замечать, как плохо они одеты и как плохо выглядят. Иногда я проходила мимо землянок и встречала женщин и детей из раскулаченных крестьянских семей.

С наступлением весны вся земля перед землянками была вскопана под огороды, которые хоть как-то облегчали их существование. Летом и ранней осенью рабочие могли ходить в лес за ягодами и грибами и ловить рыбу в реке Томь и ее притоках.

Разговоры в кружке Александри касались внутренней и международной политики, и я постепенно стала разбираться в этих вопросах.

Однажды Эммануэль поехал в командировку в Томск и привез оттуда небольшую книжку Исаака Бабеля «Король». Это были одесские рассказы издания журнала «Огонек» на плохой сероватой бумаге и в мягкой обложке без переплета. Мы читали и перечитывали рассказы вслух, восхищались этими новеллами и их красочным языком. Отдельные фразы Бабеля вошли в наш обиход.

Я попросила Эммануэля привезти мне серые брезентовые туфли на низком каблуке, хотя и дешевые, но очень удобные для прогулок. Он привез, но, когда я попробовала их надеть, оказалось, что обе на левую ногу, и пришлось их выбросить. Смеху было много.

Весной наш кружок перестал собираться, потому что начались отпуска, и первым уехал в Москву Александри, а за ним и Эммануэль. Рузова тоже не было. Погода стояла замечательная, и мы стали гулять в парке и за его пределами. Иногда наша группа состояла из меня, Александра Сергеевича Резника,

мистера Халловея и АРэ. Он всегда был с фотоаппаратом, и поэтому сохранилось несколько снимков с американским инженером мистером Халловеем. Он немного знал русский язык, но в основном мы общались с помощью Резника, переводившего всё, что говорил мистер Халловей. Ему было около пятидесяти лет, его жена погибла в автомобильной катастрофе, и у него было несколько сыновей.

На Кузнецкстрое к тому времени открылся магазин, и мы узнали, что завезли велосипеды. Мы с АРэ сейчас же отправились туда и купили себе велосипеды. Дамских велосипедов не оказалось, и я приобрела мужской. Никогда прежде я не пробовала ездить на велосипеде, и пришлось сразу же осваивать мужской. Моим учителем был АРэ, и у него хватило терпения, чтобы научить меня не бояться велосипеда и ездить хорошо и довольно быстро. На велосипедах мы уезжали далеко: то за лилиями, то за пионами. Эти цветы, которые в других местах России в основном выращиваются в садах, в Сибири в изобилии цвели просто в лесу и на полянах. Иногда мы отправлялись за особенно редкой тигровой лилией, которую в Сибири называют саранкой. Я не говорю уже об уйме цветов, обычных для Сибири, которые цвели вблизи наших домов, сменяя друг друга. Лето в Сибири короткое, но очень жаркое в июле, а в июне было иногда просто холодно, особенно по вечерам. Уже с середины августа снова становится прохладно и даже холодно.

Очень примитивная и предельно скромная обстановка моей комнаты в июне, июле и августе украшалась букетами цветов, которые я ставила в банках, бутылках, глубоких тарелках, чашках, стаканах — в чем придется. Могла остаться совсем без посуды для чая, заняв под цветы всё, что у меня было. Цветы доставляли мне огромное удовольствие.

Я настолько любила июль и жаркое солнце в Сибири, что просто плавала в блаженстве. Эта любовь к солнцу сохранилась у меня до сих пор, хотя теперь я его уже побаиваюсь из-за радиации, о которой так много говорят. В то время мы и не знали такого слова.

Когда в разгар лета уже можно было купаться, мы компанией уезжали на велосипедах на Томь, протекавшую на расстоянии примерно трех километров от Кузнецкстроя. По пути к Томи и обратно надо было проезжать через глубокий и очень широкий овраг. Дорога была в виде большой насыпи с довольно крутыми склонами и узкой полосой, выложенной булыжником, для движения всего одного ряда машин. Эта дорога служила для перевозки песка и гравия от берега Томи до строительной площадки. Можно было вполне сносно проехать посередине

дороги, но когда нас догонял или катил навстречу дребезжащий грузовик, надо было съехать на самый ее край, и меня каждый раз охватывал такой страх, что я буквально холодела. В такие моменты малейшее неосторожное движение могло привести к падению, и тогда уж, наверное, пришлось бы катиться по крутому земляному склону до самого дна оврага наперегонки с велосипедом. И, как ни приятно было купаться в Томи, в ее теплой и мягкой воде, мой страх перед этим куском дороги иногда удерживал меня от поездки.

Летом 1931 года из Кузнецкстроя уехали супруги Кудрявцевы. Володе предложили выгодное место под Свердловском в городе Салда, где тоже были металлургические или сталелитейные заводы.

С наступлением осени на Кузнецкстрое начали готовиться к пуску первой домны. Строили сразу две трубы для обеих доменных печей. Каждую трубу возводила своя бригада каменщиков, и эти бригады соревновались между собой. Не только мы, инженеры, но и рабочие всех участков, все домохозяйки из окон своих комнат наблюдали за этим соревнованием. Всех охватило волнение, люди между собою спорили, заключали пари, кто закончит раньше. Никто не оставался равнодушным, воодушевление было всеобщим. Бригады каменщиков были одинаково сильные, поэтому кирпичная кладка поднималась чуть выше то на одной, то на другой трубе. Трубы были очень высокие, и потому отовсюду было видно, кто кого опережает в данный момент.

В Москву!

В связи с предстоящим пуском первой домны на Кузнецкстрой приехал начальник Востокостали Яков Павлович Иванченко. Если кто-то приезжал на Кузнецк-строй, особенно из корреспондентов газет, то непременно у него появлялось желание со мной познакомиться. Во-первых, я была единственной женщиной-инженером, а во-вторых, меня насильно оставили здесь работать. И несмотря на то что прошел уже год, как я работала на Кузнецкстрое, интерес ко мне, как это ни удивительно, не пропадал. И, конечно, рассказали про меня Иванченко. Возможно, это сделал кто-то из дотошных журналистов, приехавших вместе с ним. Очевидно, Иванченко захотел со мной познакомиться, и как-то раз начальник строительства Франкфурт пригласил меня к себе в кабинет и представил Иванченко. Я не стала ему жаловаться на Франкфурта. Он сам расспросил меня о моей работе и вдруг спросил, не хочу ли я работать в Москве. Я сказала, что хотела бы поехать в Москву, чтобы напечатать статью о расчете железобетонных каркасов, которую я написала еще в студенческие годы, работая у Молотилова вместе с Никитиным и Полянским. И вдруг Иванченко говорит: «Надо наказать Франкфурта за то, что он так поступил с Вами, и поэтому я предлагаю Вам поехать в Москву для работы в Гипромезе (Государственном институте по проектированию металлургических заводов)». Он предложил мне зайти к нему через день за письмами и сказал: «А Вы знаете, что Франкфурт называет Вас тургеневской девушкой, а я буду называть Турандот, если Вы не возражаете». Надо же, уже успели рассказать ему и о той критической заметке в стенной газете! Оказывается, мужчины так же любят сплетничать, как и женщины.

Яков Павлович передал мне два письма: одно — к начальнику Гипромеза Колесникову, а другое — к своей сестре Анне Павловне. Он сказал мне: «Пока Гипромез не даст Вам комнату, Вы можете жить у Анны Павловны в моей комнате. Я не так уж скоро приеду в Москву». Управление Востокостали и постоянная квартира Якова Павловича находились в Свердловске.

Я не могла уехать сразу же после разговора с Иванченко. Новых заданий у Александри я не брала, но всё, что начала проектировать, должна была закончить, и пришлось задержаться до декабря. Я уехала в Томск, не дождавшись праздника по поводу пуска первой домны. Я так соскучилась по маме и братьям, что готова была лететь домой самолетом, но они летали

очень редко и только по особым случаям.

С АРэ мы договорились, что он приедет в Томск после торжеств, так как я все же убедила его в необходимости получить высшее образование и для этого поступить в Томский архитектурный институт. Прощаясь с Резником и Эммануэлем, я взяла их московские телефоны и адреса, чтобы встретиться, когда они вернутся домой. С Александри прощание было очень нежным — я так обязана была ему за постоянно дружеское ко мне отношение, за кружок, которым он руководил и в котором я многому научилась.

В Томске меня встречали братья, а когда я вошла в свою комнату, то чуть не упала в обморок. В нашей комнате стояло пианино, и мама таинственно улыбалась. Я решила, что мама экономила деньги, которые я посылала, оставляя себе совсем мало, но оказалось по-другому, о чем я и не могла предположить. Мама мне рассказала, что еще в селе Боготол, когда у нас остановился штаб дивизии Белой армии, офицеры внесли в дом пишущую машинку «Ундервуд», должно быть, предполагая на ней работать. На время они поставили ее под стол, так как собирались ужинать. Но в эту же ночь пришли красные и всех арестовали. Вернувшийся генерал не мог взять машинку с собой и оставил ее моему отцу. Мама спрятала ее в кладовую, завернув в одеяло. Позже машинку перевезли в город Боготол. Как говорила мама, они с папой боялись кому-нибудь сказать о машинке, чтобы не вызвать подозрений и чтобы власти машинку не забрали. В 1926 году мама перевезла ее в Томск, и она, запакованная, лежала у нас под кроватью. Я ничего об этом не знала, а мама не знала, для чего она могла нам пригодиться или как и кому ее можно было продать. Но она понимала, что это — ценная вещь. Пока я была на Кузнецкстрое, маме удалось найти надежного покупателя на «Ундервуд», и она выручила за нее хорошие деньги. И сразу же купила у кого-то пианино немецкой фирмы в хорошем состоянии. Мама помнила, как я все детство мечтала научиться играть на пианино и не имела такой возможности, а также и то, что мои братья, особенно Олег, были очень способны к музыке и играли на других музыкальных инструментах. Я тут же купила ноты и учебник для начинающих. Я выучила две вещи: пьесу «Тихая жалоба» и «Вальс цветов». Из-за игры на пианино мне не хотелось уезжать из дома, и я затянула с отъездом почти до самого Нового года. Но в конце концов надо было уезжать.

Мне хотелось повидаться с Макой, Никитиным, Брейденбахом и другими моими знакомыми по институту, и поэтому я взяла билет до Новосибирска. Я переписывалась с Макой и знала, что она после окончания института получила направление на работу

в проектную организацию Новосибирска, как и многие другие, в том числе Игорь Брейденбах — самый красивый студент нашего института. Коля Никитин работал в Новосибирске уже больше года. Мака писала мне, что он женился на той самой девушке Кире, с которой познакомился на Кавказе во время отпуска и о которой я узнала из его письма. Мы уговорились с Макой, что я проездом в Москву остановлюсь у нее в Новосибирске на два-три дня. Но уже в Томске я получила от Маки телеграмму, что она должна уехать в Мотовилиху, так как заболел ее отец, и Мака взяла отпуск на десять дней. В телеграмме она сообщила, что я могу остановиться в ее комнате и что ключ она оставила у соседки.

Я приехала в Новосибирск поздно вечером и сразу же легла спать, а утром я проснулась в удивительно счастливом настроении и не могла понять, в чем дело. Комнату заливал зимний солнечный свет, пробивавшийся сквозь замерзшие окна, и ощущение счастья меня переполняло так, как это бывало только в детстве. Мне хотелось вскочить, петь, танцевать, и я не понимала, отчего так радостно на душе. Я была счастлива оттого, что одна и свободна, что не связала себя никакими обещаниями с АРэ, и могу делать все что захочу, и ни от кого не завишу. Что же это такое? Как мне не стыдно! АРэ был мне настоящим другом, а я не захотела даже написать ему. Значит, была во мне какая-то жестокость или эгоизм, от которых мне не захотелось освободиться.

Я побывала в Сибирском институте инженеров транспорта и взяла свой диплом, хотя окончила я вовсе не этот новый институт, а Томский технологический. Затем зашла в проектную строительную организацию, где работали мои бывшие сокурсники, в том числе Мака, повидала знакомых и Игоря Брейденбаха, к которому была приглашена на вечер в гости. Колю Никитина я не видела — он работал в другой организации, но зато вечером от Игоря услышала о его жизни. Жена Коли Кира оказалась женщиной разгульной: она любила собирать у себя гостей, и, если в Новосибирск приезжали актеры или целая труппа, она зазывала всех к себе и устраивала роскошный по тем временам пир. Коля должен был все это оплачивать и работал как сумасшедший. Он зарабатывал много денег, но Кира все их тратила. Ничем, кроме развлечений и новых знакомств, Кира не интересовалась, и уж тем более работой своего мужа. Мне было грустно это слышать, и, может быть, из-за Киры ни Коля не искал встречи со мной, ни я с ним. Но и жизнь Игоря Брейденбаха тоже состояла из работы днем и застолий по вечерам по любому поводу. Жена Игоря Верочка была слабохарактерной женщиной и

препятствовать частым выпивкам мужа не могла. Отец Игоря был главным инженером Новосибирска, а мать давно умерла от запоя, и Игорь, очевидно, унаследовал от матери пристрастие к выпивкам. В Томске, когда мы были студентами, я не видела его пьяным, а здесь слишком часто пили, и похоже, что для Игоря это было главным удовольствием. Я была на одном таком вечере у Брейденбахов, устроенном якобы в честь моего приезда, но уже назавтра меня приглашали на такой же прием, но уже по другому поводу. Здесь же среди гостей крутилась маленькая девочка, дочь Брейденбахов Надежда, пока не засыпала где придется. Все это мне очень не понравилось, и я решила уехать из Новосибирска на следующий день. Без Маки мне незачем было там оставаться. Я взяла билет до Свердловска и дала телеграмму Кудрявцевым — я хотела Новый год встретить с Агочкой и Володей. Было уже 30 декабря. Встречали Новый год не дома, а у начальника Володи, но никаких подробностей той встречи я не запомнила. У Кудрявцевых я получила удовольствие от игры Агочки на пианино: она играла для меня много, и я влюбилась в музыку Скрябина и Брамса, которой не знала раньше. И уже третьего января я уехала в Москву.

Часть вторая
Москва — до войны

Первые полгода в Москве

Оставив вещи в камере хранения, я поехала искать Анну Павловну Иванченко. Ее квартира была в самом центре Москвы, на Петровке, 26, в доме Донугля[7]. Я передала Анне Павловне письмо брата и сейчас же была отправлена на вокзал за вещами. Анна Павловна оказалась таким же добрым человеком, как и ее брат, и была такая же полная, как он. Она жила в этой квартире с дочерью Галей, девочкой лет восьми. Я рассказала Анне Павловне всё, что знала о Якове Павловиче, и, поужинав, легла спать. На следующий же день я была в Гипромезе у Колесникова и получила направление на работу в конструкторский отдел. Меня определили в группу, руководителем которой был инженер Барский. Там я должна была делать рабочие чертежи прокатного цеха под названием «Стан-500» для Магнитогорского металлургического завода. Барскому никаких вопросов я не задавала, поскольку работа была привычной и затруднений не возникало. Он сам подходил ко мне и придирчиво проверял мои расчеты и чертежи, но ошибок не было. Чертила я карандашом красиво и чисто, и скоро меня стали ставить в пример другим инженерам. Возможно, поэтому окружающие относились ко мне не так уж дружелюбно, но и я, стесняясь, не общалась с ними и, отработав свое время, быстро уходила домой. У Анны Павловны мне было хорошо, уютно, как дома, была своя комната, где я могла читать и писать письма. Приятно было общаться с Анной Павловной и играть с Галей. Про нее Анна Павловна рассказала, что, когда они приехали в Москву и она первый раз выпустила Галю во двор, где было много детей, они тотчас же ее окружили и стали кричать «Жидовка, жидовка!» на все лады. Галя не стала им возражать, хотя еврейкой не была, она стояла молча, а потом ушла домой. Может быть, девочка в шесть лет и не знала, что означает это слово, но Анна Павловна сказала: «Вот какой антисемитизм в Москве даже среди детей. На Украине я этого не знала. Нет, не смогу я жить в Москве: всё мне здесь не нравится, уеду обратно на Украину, в Сумы. Там у меня была хорошая работа, меня все знали и уважали, и только по просьбе брата я согласилась сюда приехать».

Еще в январе я решила сходить к моим старым знакомым — Валединским в Машков переулок, где я жила летом 1929 года во время своей студенческой практики. Увы, Валединских по знакомому адресу не оказалось, они переехали на другую квартиру, а новые жильцы не могли сказать куда. Конечно, я могла бы пойти в домоуправление или написать Софье

Константиновне в Томск, но, постоянно думая о Валединских, я ничего не предпринимала, чтобы их разыскать. Дело было еще в том, что уже в начале февраля Гипромез дал мне комнату в доме-общежитии на Соколе, и я начала в ней устраиваться. Комната была на втором этаже, угловая, самая удаленная от входа с улицы, в конце довольно длинного коридора со множеством дверей. В моей комнате было тепло от центрального отопления, была даже мебель: узкая железная кровать с матрацем, подушкой и одеялом, простой стол, прикроватная тумбочка, две или три табуретки, а также вешалка. Туалет и кухня располагались в начале коридора, душа не было, но холодная вода была. Кухней я никогда не пользовалась, обедала в столовой, а для того, чтобы утром и вечером выпить чая, купила электрическую плитку, чайник и немного посуды. Мне хотелось занавесить окна в моей комнате — два в продольной стене и одно в торцевой, — чтобы меня не было видно с улицы. Но приобрести материал было невозможно.

С концом новой экономической политики страна наша снова лишилась изобилия продуктов и товаров. Но ответственные работники-коммунисты не должны были страдать, поэтому для них открылись особые магазины, где можно было купить кое-что из товаров по талонам-бонам. Яков Павлович Иванченко имел книжку с бонами в такой привилегированный магазин, и Анна Павловна ими пользовалась. Она взяла меня с собой и, так как для себя ничего покупать не собиралась, отдала мне боны на март и апрель. На свои деньги я купила там белую ткань на короткие занавески, крепдешин на два платья и пару туфель, какие были в продаже.

Платья мне сшила портниха, они были очень красивые, как мне тогда казалось. Одно было комбинированное: черный крепдешин внизу и крепдешин цвета слоновой кости в верхней части, а другое — желтое с редкими черными горошинами и с черной отделкой. Таких платьев у меня никогда не было, и я чувствовала себя в них очень хорошо. Мне захотелось пойти в театр, особенно в Большой, где я еще не была. Билет можно было купить с рук, и я готова была переплатить вдвое, чтобы попасть в оперу или на балет. Я побывала и в Малом театре, и в Художественном, посмотрела много спектаклей по Островскому, Гоголю и других. В театры я ходила всегда одна, поскольку знакомых в Москве у меня не было, а Анна Павловна не могла ходить со мной из-за Гали: девочку не с кем было оставить. И вот однажды в Малом театре я встретила Любу и Анатолия Валединских. Встреча была очень радостная, я узнала, что Валединские получили большую квартиру в Лялином переулке. В

ближайшее воскресенье я пришла к ним, рассказала всё о себе, узнала о том, что происходит в Томске, как живут Софья Константиновна, Верочка и Надя. С этих пор у меня появились знакомые в Москве, и я стала ходить в театры и на выставки не одна, а с Валей или с Володей Валединскими, а иногда с Любочкой и Анатолием.

Примерно в это же время в Москву с Кузнецкстроя возвратились мои друзья — Александр Сергеевич Резник и Роман Александрович Эммануэль, а позже, уже осенью, приехал и Лев Николаевич Александри. Жить мне стало гораздо интереснее. Я любила зайти после работы к Резнику на Малую Дмитровку, где в одном из переулков у него была комната в большом старинном капитальном доме. У Резника можно было посидеть вечером, рассказать о своих делах, послушать его новости и потом уже ехать к себе на Сокол спать. Трамвай № 6, ходивший от Страстной площади до Сокола, проезжал как раз по Малой Дмитровке мимо дома, где жил Резник. Эммануэль пригласил меня домой к своим родителям и познакомил с ними и двумя братьями, занимавшими в Москве какие-то ответственные посты. Братья были верны генеральной линии партии, провозглашенной Сталиным, и от нее никогда не отклонялись, в отличие от своего брата. И Резник, и Эммануэль, знакомя меня со своими друзьями, показывали им меня как некую редкость, за что я на них сердилась.

Однажды Эммануэль привел меня к Александри. Оказалось, что Лев Николаевич был женат на певице по фамилии Коровина, несколько мужеподобной, но веселой крупной полной даме. В каком театре она пела, я не знаю — мне не приходилось ее слушать. Она вступила в какой-то политический спор с Эммануэлем, а Лев Николаевич и я сидели за столом и тихо разговаривали. Я расспрашивала его о том, как на Кузнецкстрое прошел пуск первой домны. Вдруг Александри взял мою руку, посмотрел на ногти и сказал: «Вам следует делать маникюр и не надо стричь ногти так коротко». И, посмотрев на меня, добавил: «И косметики немного тоже не помешает, Ваше лицо очень выиграет от косметики». До тех пор я никогда не пользовалась никакой косметикой — умоюсь хорошенько с мылом, причешусь, и готово. После этого разговора я сделала маникюр и серьезно пострадала, так как маникюрша дважды порезала мне пальцы, сказав в свое оправдание, что у меня слишком близко расположены сосуды. Пальцы болели несколько дней, и на работе я не знала, куда спрятать руки. Воспользоваться косметикой я так и не решилась. Но меня очень тронуло то, как по-отцовски ко мне отнесся Александри, как позаботился, чтобы я лучше выглядела и

была опрятнее. Однако больше в Москве с Александри я почему-то не встречалась. Кажется, он получил новую работу и должен был уехать в другой город.

8 Марта в Гипромезе был устроен праздничный вечер с концертом и танцами, а также с буфетом, где были бутерброды, чай и даже вино. Меня на этом вечере опекал мой начальник Барский: сидел со мной рядом, сводил в буфет и танцевал со мной. Но когда он куда-то отлучился, я сбежала с вечера, оделась и вышла на улицу. Свирепствовала пурга, снег валил хлопьями, ветер швырял снежинки в лицо и валил с ног. По Гоголевскому бульвару я с трудом дошла до Страстной площади и подошла к остановке трамвая № 6, на котором обычно ехала домой до Сокола. Рельсы были засыпаны снегом, который никто убирать не собирался, и мне стало ясно, что трамваи ходить не будут до утра, а может быть, и дольше. Приходившие на остановку люди, постояв немного, расходились, чтобы добраться до дома пешком. Что было делать? Время было позднее, уже за полночь. К Анне Павловне идти не хотелось, чтобы ее не будить. Подумав, я решила идти к Резнику на Малую Дмитровку.

Преодолевая сугробы, почти в час ночи я добралась до дома, где жил Резник, позвонила раз-другой и стала ждать. Через какое-то время он мне открыл и очень удивился моему приходу. У него сидел друг, которого я знала, по фамилии то ли Городецкий, то ли Городницкий. Резник снял с меня засыпанное снегом пальто, шапку, отряхнул их в коридоре и тут же поставил греться чайник. И сразу же принялся растирать мне руки, а потом снял с меня обувь и растер ноги. Он напоил меня чаем, я согрелась и наконец смогла рассказать о бушевавшей на улице непогоде и засыпанных снегом трамваях. Его друг собрался и ушел к себе — он жил во дворе этого же дома. Резник постелил мне на диване, и я легла спать. Сам он спал за занавеской, отделявшей его кровать от остальной части комнаты. По теперешним временам такая ситуация вызвала бы много толков, но в то время еще очень высоко ценились дружеские отношения и другу доверяли в полной мере. Мы жили тогда в более чистой нравственной атмосфере, чем теперь. Утром мы с Александром Сергеевичем попили чаю и отправились на работу, каждый в свое учреждение. В конце рабочего дня трамваи уже ходили, и я смогла уехать к себе на Сокол.

Анна Павловна часто звонила мне на работу и просила приехать после работы к ней и остаться ночевать на Петровке, 26, поэтому в свою комнату я наведывалась редко. Анна Павловна и Галя встречали меня с радостью. Им было веселее со мной, так как знакомых у Анны Павловны в Москве почти не было, кроме

Аркадия Фридмана, жившего в том же доме на одном с ней этаже. Из одной квартиры этого этажа в другую можно было попасть по дорожке на крыше, так что не было необходимости спускаться вниз и подниматься вверх в другом подъезде. Вот он иногда и заходил к Анне Павловне, так как был одиноким и такого же доброго нрава. В мае Анна Павловна сняла дачу в деревне, попросив меня жить у нее в московской квартире, чтобы не оставлять ее без присмотра. Я приезжала на дачу по воскресеньям, мы ходили в Абрамцево, в музей Аксакова, на речку Воря и просто гуляли по окрестностям. Лес был сказочной красоты. Наверное, это был тот лес, в котором художник Васнецов писал картину «Война грибов». Запах в лесу был чудесный, этим воздухом хотелось дышать и дышать.

В конце июня в Москву должен был приехать Яков Павлович Иванченко. Подготовка к его приезду началась с того, что весь балкон квартиры был заполнен ящиками с апельсинами, мандаринами и лимонами. Оказалось, что Яков Павлович болен диабетом и эти фрукты были основным его питанием. Я уехала в свою комнату на Соколе, но не прошло и трех дней, как позвонила Анна Павловна и сказала, что Аркадий Фридман уезжает в отпуск. Она договорилась, что на время отпуска я буду жить в его комнате, чтобы быть поближе к ним.

Яков Павлович приехал на Петровку, 26, и там началась большая суета. С ним приехал его личный секретарь Новокшонов, который с самого утра приходил в дом, чтобы организовать встречи Якова Павловича с разными людьми. Людей приходило много; я не всегда присутствовала при этом, а Анна Павловна жаловалась, что сбилась с ног. В доме было шумно и по-своему весело. Новокшонов имел какое-то отношение к литературе, кажется, сам что-то писал. У него было много знакомых в писательской среде. Я думаю, что именно он подал Иванченко идею пригласить на очередной обед писателя Бабеля. Еще до этого обеда Яков Павлович как-то пригласил меня в Театр сатиры. Я смутилась, но Анна Павловна сказала: «Не беспокойся, он еще человек десять наприглашал, так как заказывал много билетов».

Простой человек из украинских сталеваров, Иванченко не видел в жизни ничего хорошего, и вдруг при советской власти, как коммунист, пошел в гору: стал начальником цеха, затем завода, потом занимал целый ряд ответственных партийных постов, наконец он — председатель Востокостали[8]. Масса возможностей и всё вокруг «наше», — и он, добрый по натуре человек, повел себя как хозяин. Например, мог к празднику устроить роскошный банкет для всех сотрудников, мог по какому-нибудь поводу купить женам всех сотрудников по отрезу на

платье или по паре дорогих туфель, мог взять с собой в театр десяток, а то и больше своих знакомых. Широта натуры требовала размаха. Видимо, для этого в крупных советских учреждениях существовали какие-то фонды, но можно было обойтись и без них. Таким был Яков Павлович Иванченко, и не он один.

Настал день того самого обеда у Иванченко, на котором должен был появиться Бабель.

Встреча с Бабелем

Он пришел с опозданием, когда все уже сидели за столом, и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку во Францию к семье. Был он в белых холщовых брюках и белой рубашке-косоворотке со стоячим воротником и застежкой сбоку, подпоясанной узким ремешком. Я этому ничуть не удивилась, поскольку июль был очень жаркий и все сидящие за столом были в белом.

Яков Павлович представил меня Бабелю:

— Это инженер-строитель по прозванию Принцесса Турандот.

Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием «Принцесса Турандот из конструкторского отдела».

Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда всё упрашивал выпить с ним водки.

— Если женщина — инженер, да еще строитель, — пытался он меня уверить, — она должна уметь пить водку.

Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя.

Бабель производил впечатление очень скромного человека, рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты, а поехать было необходимо, так как семья его жила там почти без средств к существованию, из Москвы же было очень трудно ей помогать.

— Еду знакомиться с трехлетней француженкой, — сказал он. — Хотел бы привезти ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку.

Речь шла о его дочери Наташе, которую он еще не видел.

С Бабелем разговаривал в основном Новокшонов, мы с Анной Павловной в беседе почти не участвовали. Сидел с нами Бабель недолго и ушел, сославшись на какую-то встречу вечером, очень важную для него в связи с поездкой за границу.

Через несколько дней, когда Яков Павлович уехал в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и Анну Павловну к нему обедать, пообещав, что будут вареники с вишнями. Название переулка, где жил Бабель, поразило меня: Большой Николоворобинский — откуда такое странное название?

Бабель объяснил:

— Оно происходит от названия церкви Николы-на-Воробьях — она почти напротив дома. Очевидно, церковь была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили,

жарили и продавали[9].

Я удивилась, но подумала, что это возможно: была же в Москве церковь Троицы, что на Капельках, построенная, по преданию, на деньги от сливания капель вина, оставшегося в рюмках; ее построил какой-то купец, содержавший трактир[10]. Позже я узнала, что название церкви и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова «воробы» — это род веретена для ткацкого дела в старину.

Жил Бабель в двухэтажном доме, построенном во времена нэпа на деревянном каркасе с фибролитовым заполнением. Капитальной стеной дом делился на две половины, в одной из которых жил Бабель.

Квартира Бабеля была необычна, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагались передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором — спальные комнаты.

Бабель объяснил нам, что он живет вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, и рассказал историю своего знакомства с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы «Элин», торговавшей с СССР электрическим оборудованием. Представительство с несколькими сотрудниками и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы, Штайнер, который будет давать советским инженерам консультации. Оставшись один, Штайнер, из боязни, что квартиру, состоящую из шести комнат, у него отберут, стал искать себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфуллиной и просил ее найти ему соседа из ее круга. Сейфуллина порекомендовала Бабеля, который в это время ютился у кого-то из друзей. (Много лет спустя я узнала, что у Сейфуллиной было два кандидата на квартиру Штайнера: Бабель и Маяковский.)

— Так я поселился здесь, в Николоворобинском, — закончил Бабель. — Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. В кабинете обычно работает Штайнер, к которому приходит секретарша Елена Ивановна, а я люблю работать в одной из верхних комнат. У нас со Штайнером заключено джентльменское соглашение: все расходы на питание и на обслуживание дома — пополам и никаких женщин в доме. Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену.

На другой же день после обеда Бабель позвонил и сказал, что для знакомства с Москвой надо гулять пешком по ее улицам и

переулкам. Мы встретились у Политехнического музея, и Бабель повел меня по Маросейке в сторону Садового кольца. По дороге он показывал разные исторические места и места, связанные со знаменитыми писателями, старые церквушки в переулках, немецкую кирху, которую посещал его сосед Штайнер, а также переулок, где находилась главная синагога Москвы. Смешно вспомнить, какой я тогда была дикаркой. Вы думаете, что меня можно было взять под руку? Ничего подобного! При малейшем прикосновении к моей руке я ее прятала за спину с самым серьезным видом. Представляю, как Бабель в душе смеялся надо мной, но вида не показывал и только извинялся.

Редко проходил день, чтобы Бабель не звонил и не приглашал меня встретиться. Иногда я была чем-то занята, и все же мы встречались так часто, что я совсем забросила своих друзей и знакомых, каждый раз соблазняясь предложениями Бабеля. Он познакомил меня со своими ближайшими друзьями еще со времен Гражданской войны — Яковом Осиповичем Охотниковым и Ефимом Александровичем Дрейцером. Охотников жил в одном из переулков Арбата с женой, украинкой Александрой Александровной Соломко — Шурочкой. Она была, как сказал мне Бабель, третьей женой; в первый раз Охотников был женат на Муре, второй раз — на Марусе Солнцевой и теперь — на Шурочке Соломко. Бабель знал всех жен Охотникова и больше всех ценил Муру. От Маруси Солнцевой у Охотникова был сын Яша лет шести-семи, который часто жил у отца, так как мать очень скоро вышла замуж за другого. Шурочка должна была растить мальчика, ухаживать за ним вместе с домработницей, которую, как и мать Яши, звали Маруся. Про Охотникова Бабель говорил мне: «Он трубадур революции», а иногда: «Это не человек, а поля и степи Бессарабии». Он рассказывал, что отец Охотникова воровал в Бессарабии лошадей, что в самом Охотникове было что-то цыганское, бесшабашное и что он в революцию сражался вместе с Котовским. В 30-е годы Охотников был заместителем начальника Гипромеза Колесникова, а следовательно, и моим начальником, о чем я впервые узнала от Бабеля. Но в Гипромезе я с ним никогда не встречалась, поскольку конструкторский отдел был в другом здании. Из многочисленных рассказов Бабеля про Охотникова я запомнила два.

Однажды в голодный 1931 или 1932 год Охотников привез в Николоворобинский мешок картошки, на собственной спине внес его на кухню и сбросил перед Марией Николаевной, работавшей у Бабеля и Штайнера приходящей кухаркой. Штайнер был потрясен: «Он же начальник солидного учреждения!» Охотников мог заявиться к Бабелю с целой компанией и сказать: «Привел

целую кучу жидов». Как рассказывал Бабель, у Охотникова с Дрейцером была такая дружба, что если кто-то из них заболевал, например, гриппом, то другой приходил к заболевшему, укладывался рядом и смешил, рассказывая анекдоты. Так умели дружить в те времена!

Бабель пригласил меня к Ефиму Александровичу Дрейцеру[11], жившему на Трубной улице в большой квартире вместе с младшим братом Самуилом и сестрой Розой. Его старший брат Роман Александрович жил отдельно со своей женой и маленькой дочкой Ритой. У Ефима Александровича мы застали гостей — его друзей Гаевского и Вержбловского, с которыми я тоже познакомилась. Про Дрейцера Бабель говорил: «Это один из умнейших людей нашего времени. Он революционер до мозга костей. В польских тюрьмах его много били, и несколько раз он бежал оттуда». Как мне помнится, он работал тогда в штабе Красной армии.

Бабель водил меня также на концерты джаза Утесова и Скоморовского, на ипподром и в конюшни, где любил бывать сам. Как-то раз мы с Бабелем встретились с Утесовым в кафе гостиницы «Метрополь». Леонид Осипович говорил в основном о бородавке на своем носу. Ему предложили главную роль в фильме «Веселые ребята», и он должен был срезать бородавку. Он говорил, что бородавка приносит ему счастье, что срезать он ее не хочет и очень боится боли. Но срезать все же пришлось, и, как значительно позже рассказывал мне Бабель, Утесов все свои неприятности объяснял отсутствием бородавки: «Была бородавка — было счастье, нет ее — и нет счастья».

До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала в Николоворобинском. Однажды он мне сказал:

— Приходите завтра обедать, я познакомлю вас с остроумнейшим человеком.

На следующий день, придя к Бабелю, я застала у него гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же возобновилась, и я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана, которую не хотят разрешать. Бабель вкратце рассказал мне сюжет, а затем добавил:

— Пьеса с невеселым названием «Самоубийца» буквально набита остротами на темы современной жизни, ей пророчат судьбу «Горя от ума».

За обедом Бабель всё заставлял меня рассказывать о моей работе на Кузнецкстрое в 1931 году. Я рассказала историю о том, как маститые инженеры, сосланные в Сибирь после Шахтинского процесса, пригласили меня консультантом на угольную шахту. Бабель, выслушав мой рассказ, сказал:

— Видите ли, Николай Робертович, эти инженеры, конечно, отлично сами всё знали, но нарочно не хотели брать на себя никакой ответственности. Раз им не доверяют, пусть отвечают большевики. Поэтому они и разыграли эту комедию… Ну, расскажите еще что-нибудь…

И я рассказала, как на Кузнецкстрое зимой 1931 года две бригады каменщиков соревновались в кладке труб доменных печей. После моего рассказа Бабель заметил:

— Вот если бы написать так, как она рассказывает, а то пишут о соревновании — скука одна…

Сам Бабель за обедом вспомнил какую-то смешную историю об изменявших друг другу супругах, на что Николай Робертович отозвался кратко: «Гримасы большого города». Тогда же я впервые услышала известную эпиграмму Эрдмана по поводу ликвидации РАППа[12]:

По воле грозного сатрапа
Не стало РАППа.
Не радуйтесь, что умер РАПП,
Коль жив сатрап.

Как-то раз Бабель попросил разрешения зайти ко мне домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким (а он, как я потом узнала, любил крепчайший), но Бабель выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит:

— Можно мне посмотреть, что находится в вашей сумочке?

Я с крайним удивлением разрешила.

— Благодарю вас. Я, знаете ли, страшно интересуюсь содержимым дамских сумочек.

Он осторожно высыпал на стол всё, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно, а письмо, которое я как раз в тот день получила от одного моего сокурсника по институту, оставил. Посмотрел на меня серьезно и сказал:

— А это письмо вы не разрешите ли мне прочесть, если, конечно, оно вам не дорого по какой-нибудь особой причине?

— Читайте, — сказала я.

Он внимательно прочел и спросил:

— Не могу ли я с вами уговориться?.. Я буду платить вам по одному рублю за каждое письмо, если вы будете давать мне их прочитывать.

И все это с совершенно серьезным видом. Тут уж я рассмеялась и сказала, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол.

Он рассказал мне, что большую часть времени живет не в

Москве, где трудно уединиться для работы, а в деревне Молоденово, поблизости от дома Горького в Горках. И пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день. Он зашел за мной рано утром и повез на Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал заранее. Дорога сначала шла через дачный поселок, потом полями, потом через дубовую рощу. Бабель был в очень хорошем настроении и рассказал мне почему-то историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы и по дороге зарубил лошадь на счет «три», так как на счет «раз» и «два» она его не послушалась. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил «раз», сразу бросалась исполнять его приказание, помня, что последует после слова «три».

В Молодёнове Бабель жил в крайнем доме, стоящем на крутом берегу оврага, по дну которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву-реку. Сенями дом разделялся на две половины: одну, состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу, занимал хозяин Иван Карпович Крупнов с семьей, в другой — из одной большой комнаты с окнами на огород — жил Бабель. Обстановка в этой комнате была очень скромной: простой стол, две-три табуретки и две узкие кровати по углам.

Семья Ивана Карповича состояла из пяти человек: его жены Лукерьи, ее больной матери и трех дочерей. Мать была очень старая, она лежала на лавке в кухне и всё ждала смерти. Старшая дочь была замужем и жила отдельно, а две другие, Катя и Полина, жили с родителями. Катя училась на каких-то курсах в Москве и иногда по неделе и больше занимала одну из комнат Бабеля. Полина еще училась в школе, и так хорошо, что Бабель говорил: «Будет ученая!»

Бабелю хотелось показать мне все молоденовские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас же отправились пешком на конный завод. Там нам показали жеребят; один из них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому.

Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и всё ему с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жеребых кобылиц — они паслись отдельно на лугу, на берегу Москвы-реки.

Разговор с зоотехником шел у Бабеля очень специальный; в нем слышались выражения, смысл которых мне стал ясен лишь значительно позже, например: «на высоком ходу», «хорошего

экстерьера», «обошел на полголовы». Обо мне Бабель, как мне казалось, забыл. Наконец, приблизившись, он стал рассказывать мне о кобылицах. Одна, по его словам, была совершенная истеричка; другая — проститутка; третья давала первоклассных лошадей даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу; четвертая, как правило, ухудшала ее.

И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы прошли мимо ворот белого дома с колоннами, в котором жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули к реке, а искупавшись, отправились в Молоденово через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня к старику пасечнику, очень высокому, с большой бородой, убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах.

На станцию возвращались также на лошади. По дороге Бабель спросил меня:

— Вот вы, молодая и образованная девица, провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни одного литературного вопроса. Почему? — Он не дал мне ответить и сказал: — Вы совершенно правильно сделали.

Позже я убедилась, что Бабель терпеть не мог литературных разговоров и всячески избегал их.

В Молодёнове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном Карповичем, с которым мог часами разговаривать, с очень дряхлым старичком Акимом, постоянно сидевшим на завалинке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем; у него был целый круг знакомых — бывалых старых людей.

Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со мной, в правлении колхоза. Не для заработка, конечно, а с единственной целью досконально узнать колхозную жизнь. Крестьяне называли Бабеля Мануйлычем.

Отъезд Бабеля за границу

В последние дни перед отъездом Бабеля за границу в моей жизни произошли важные события. Заместитель начальника Гипромеза Яков Осипович Охотников был назначен начальником Государственного института по проектированию авиационных заводов (Гипроавиа). В те годы начальниками и управлений, и заводов, и институтов, то есть на все ответственные посты назначали в основном бывших военных, отличившихся в ходе Гражданской войны или войны с интервентами, доказавших свою преданность партии и правительству. Как правило, они на первых порах ничего не понимали в делах и, осуществляя общее руководство, опирались на главных инженеров, которые все же по возможности набирались из бывших специалистов. Охотников набирал сотрудников из состава Гипромеза и предложил мне перейти на работу к нему. Он пообещал, что в Гипроавиа будет создан конструкторский отдел, где будут проектироваться авиационные заводы, ангары и всё, что связано с авиацией. Я решила посоветоваться с Бабелем. Он выслушал меня и посоветовал перейти к Охотникову и переехать жить в Большой Николоворобинский переулок. «А как же джентльменское соглашение со Штайнером, чтобы в доме не было никаких женщин?» — спросила я. Бабель ответил, что постарается убедить Штайнера в необходимости такого шага. Он сказал: «В отсутствие хозяев (Штайнер в это время все еще был за границей) местные власти могут квартиру забрать, а вы сумеете найти людей, которые помогут ее отстоять». И я согласилась переехать.

Гипроавиа помещался в только что отстроенном здании на Интернациональной улице, ведущей к Таганской площади, совсем близко от Николоворобинского переулка, тогда как от Сокола, где была моя комната, до института было довольно далеко. Но я все еще колебалась.

Охотников сказал Бабелю, что пошлет меня в Германию учиться проектировать ворота к ангарам. В нашей стране тогда уже строили большие ангары, но проекты ворот создавали немцы. Это предложение казалось мне очень соблазнительным. А Бабель уверял меня, что ему необходимо, чтобы я жила в его квартире, и что тогда он будет чувствовать себя гораздо спокойнее за ее сохранность. Под нажимом этих двух людей я согласилась перейти в Гипроавиа и переехать в квартиру Штайнера и Бабеля.

Когда я в первый раз пришла в Гипроавиа, в здании еще велись отделочные работы и не все комнаты были готовы. Двор был разрыт, и меня страшно поразила целая куча человеческих

костей и черепов у порога здания. Оказалось, что когда рыли котлован для подвального этажа, то вскрыли могилы какого-то древнего кладбища, от которого на поверхности уже не было и следа. Было что-то зловещее в том, что здание Гипроавиа построено на костях, и, пока их не убрали, мне все время мерещились покойники.

Мне предстояло выполнять чисто кураторскую работу: другие организации проектировали заводы, а я должна была следить за соблюдением сроков, принимать готовые проекты и проводить всякие согласования. По окончании рабочего дня я пешком шла в Николоворобинский, и, когда по переулку поднималась к дому, Бабель ждал меня, сидя у окна, и улыбался.

Оставалось всего несколько дней до его отъезда. Он отдал мне угловую комнату, а сам спал в другой, узкой комнатке. Однажды ночью я проснулась и увидела, что Бабель сидит в ногах моей постели. Я удивилась, а он говорит: «Вы спите так бесшумно, что с Вами можно прожить всю жизнь». Он ушел, и я снова заснула. Утром он сказал мне: «Пока Штайнера нет, вы остаетесь здесь за хозяйку. Эля по-прежнему будет убирать квартиру, а Мария Николаевна — через день готовить вам обед и ужин. Вы будете давать деньги только на еду и оплачивать счета за электроэнергию и газ. Жалованье они будут получать от Штайнера, с которым я договорился. Я буду вам писать и прошу вас отвечать мне и сообщать все новости о том, что происходит дома. Поручаю вам принимать моих друзей, если они захотят сюда прийти».

Скульптор Илья Львович Слоним — сын тех Слонимов, у которых Бабель в 1916 году снимал комнату в Петербурге и с семьей которых сохранял дружеские отношения в Москве, — лепил его бюст из глины. Скульптура стояла в комнате Бабеля. Уезжая, он поручил мне ее поливать, чтобы глина не засохла. Позже этот бюст перенесли в мастерскую Слонима, работа так и не была закончена, а потом пропала, видимо, во время войны.

Перед отъездом за границу Бабель устроил прощальный прием. Внизу, в большой комнате, был сервирован длинный стол, принесенный из кухни.

Гостями были артисты Театра имени Вахтангова Василий Куза и Анатолий Горюнов, сын Горького Максим с женой Надеждой Алексеевной, Николай Робертович Эрдман, наездник ипподрома Николай Романович Семичев с женой Анастасией Николаевной, Валентина Михайловна Макотинская с мужем, голландцем Жераром, редактор журнала «Новый мир» Вячеслав Павлович Полонский с женой Кирой Александровной и кто-то из издателей, кажется, Цыпин; были и другие приглашенные. Но ни

Охотникова, ни Дрейцера не было, хотя Бабель представлял их мне как лучших своих друзей. Когда я пришла, все уже сидели за столом. Бабель встретил меня и посадил на свое место, в кресло в торце стола, а сам то подходил к кому-нибудь из гостей, то подсаживался на подлокотник моего кресла. И один раз, когда он так сел ко мне и положил руку на свое колено, я прикоснулась щекой к его руке и увидела, что лицо Эрдмана вдруг помрачнело. Я удивилась, но мне не пришло в голову отнести это на свой счет. Оказалось, что я ошибалась… По словам Бабеля, Эрдман считался самым остроумным человеком в Москве, но душой прощального вечера был вовсе не Эрдман, а артист Горюнов. Его совершенно голый череп, выразительная мимика, смешные рассказы, главным образом о театре и об актерах, веселили всех. Были и танцы, больше всех танцевали Валя Макотинская с Жераром — у них это очень хорошо получалось.

Утром в день отъезда, когда я прощалась с Бабелем, он вдруг спросил меня: «Будете ли вы меня ждать?» Я, смеясь, ответила: «Один месяц» — и ушла на работу. Бабель уехал. Я не провожала его на вокзал. Думаю, что провожающих и без меня было много.

Месяцев шесть я прожила в квартире в Большом Николоворобинском с Элей — милой девушкой из Республики немцев Поволжья, работавшей у Штайнера горничной. Бабель, оставив меня хозяйкой квартиры и обязав сохранять привычный для него со Штайнером образ жизни, совсем не подумал о том, что мне это будет не по карману. За два месяца я, кроме зарплаты, истратила и свои небольшие сбережения. Поняв, что не смогу посылать в Томск деньги, я в конце концов вынуждена была отказаться от услуг поварихи Марии Николаевны. Штайнер возвратился из Вены через шесть месяцев после отъезда Бабеля, и на первых порах отношения между нами носили лишь формальный характер. Я уходила на работу рано, возвращалась поздно и отправлялась к своим друзьям, чаще всего к Валединским, квартира которых находилась близко, в Лялином переулке. Ходила также в театры и часто в ближайший кинотеатр, не пропуская появления новых фильмов. Когда Штайнер вечером уходил куда-нибудь из дома, я общалась с Элей. Я обычно окликала ее: «Эля, ты где?» На что она снизу отвечала: «Я здесь, на плит». И это означало, что она на кухне. Я спускалась вниз, мы разговаривали, и она учила меня петь немецкие песни.

Однажды весной я заболела и не пошла на работу. Штайнер, узнав от Эли, что я больна, засуетился, очень забеспокоился, вызвал врача, бегал снизу наверх с разными лекарствами и посылал ко мне Элю то с чаем, то с едой. Я написала об этом Бабелю, и он мне ответил: «Для Штайнера Ваша болезнь —

настоящая находка: можно проявить заботу, организовать уход. Есть занятие, и серьезное. И при отсутствии занятости его это даже развлекает». Болеть при Штайнере было одно удовольствие! После моей болезни Штайнер стал относиться ко мне как-то дружелюбнее. Иногда вечерами он приглашал меня в свой кабинет и просил решить какую-нибудь математическую задачу, говоря, думаю, нарочно, что она у него не выходит. Мне это ничего не стоило, я любила решать задачи и разгадывать всякие головоломки и всегда находила решение. Штайнер предлагал мне решить другую задачу, третью, надеясь, что какую-нибудь из них я не решу, но такого удовольствия от меня было не дождаться. После математических занятий он уговаривал меня поужинать с ним, потому что одному ему было скучно. А когда настало лето, Бруно Алоизович иногда в выходные дни предлагал мне покататься на машине. У него был восьмицилиндровый «форд», был также и шофер, венгр Хорват, но Штайнер любил водить машину сам. По карте он выбирал маршрут, и мы отправлялись в интересные места Подмосковья.

Конечно, я написала обо всем, что касается Штайнера, Бабелю. В своем письме я поинтересовалась, почему Штайнер живет в Москве. Бабель ответил, что Штайнера очень устраивает житье в России. Ему приходится помогать семье погибшего брата, а, проживая в Вене, он не смог бы этого делать, потому что квартира, которая в СССР обходится ему в 8 долларов (400 рублей) в месяц, в Вене стоила бы 100 долларов. Я не уверена, что Бабель ответил на этот вопрос в письме. Может быть, рассказывал мне об этом. Но точно помню, что в этом письме Бабель передал слова, которые Штайнер говорил обо мне: «Она не только интересная женщина, но и хороший математик».

Так как Бабель надолго задержался во Франции, по Москве распространился слух, что он вообще не вернется. Я написала ему об этом, и он ответил: «Что могут Вам, знающей всё, сказать люди, не знающие ничего?» Писал он из Франции часто, почти ежедневно, так что за одиннадцать месяцев его отсутствия накопилось много писем. Все они были изъяты в 1939 году при его аресте и мне не возвращены. Бабель писал обо всем: что видел, с кем встречался, куда ездил по Франции и Италии, когда был там в гостях у Горького на Капри. Я отвечала ему на вопросы, писала о московских новостях, и наше общение не прекращалось.

Однажды весной 1933 года я поехала в Молодёново вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером и написала Бабелю об этой поездке.

«Нож ревности повернулся в моем сердце, — ответил мне Бабель, — когда я узнал, что Вы были в Молодёнове. В моей тоске

по родине чаще всего у меня перед глазами это мое жилье». Он писал также, что ему заказали киносценарий об Азефе и что он согласился, чтобы заработать денег и оставить семье. Он упоминал об этом в письмах несколько раз, но когда много лет спустя я пыталась узнать у сестры Бабеля и у его дочери Наташи, живущих за границей, был ли написан этот сценарий и какова его судьба, они ничего не смогли сказать. Только в начале 1960-х годов, когда в Москву из Парижа приехала Ольга Елисеевна Колбасина, вдова эсера В. М. Чернова, выяснилось, что Бабель начинал этот сценарий вместе с Ольгой Елисеевной, потому что Азеф когда-то часто бывал у Черновых и она его хорошо знала. Она рассказала мне, что были написаны, кажется, две сцены, Бабель их ей диктовал. Она обещала найти эти сцены в своих бумагах, но вскоре умерла. Все ее бумаги остались в Париже, у ее дочери, Натальи Викторовны Резниковой, которую я тоже просила их поискать. Насколько мне помнится, работа над этим сценарием прекратилась потому, что кто-то другой предложил кинематографической фирме в Париже готовый сценарий на эту тему. Но, может быть, я ошибаюсь.

Я уже писала, что, уезжая, Бабель просил меня принимать его друзей. Друзьями были Охотников, Дрейцер и, конечно, Эрдман. И вот через несколько дней после отъезда Бабеля Николай Робертович позвонил мне и пришел. Мы выпили чаю внизу в столовой, а потом пошли наверх посмотреть из разных окон на Москву при закате. Квартира имела окна на три стороны — настоящая «светелка», как хотелось ее назвать, а дом был расположен почти на вершине одного из холмов. Поэтому вид на Москву был великолепный. Видны были даже башни Кремля. У одного из окон Эрдман вдруг меня обнял, но я резко отстранилась. Он сразу же попрощался и ушел. Больше он не звонил. Когда в одном из писем из Парижа Бабель спросил меня, бывает ли Эрдман, я написала ему всё. В ответном письме он признался: «Об Эрдмане я всё знал, я видел тень, прошедшую по его лицу в тот последний мой вечер в Москве… Но я никак не предполагал, что Вы мне об этом напишете. Спасибо».

В Гипроавиа все оставалось по-прежнему. Обещанный мне Охотниковым конструкторский отдел создать не удавалось. Мне же было совсем не интересно работать куратором, и я порывалась уйти. Охотников меня удерживал и просил подождать.

В это время поступил заказ от Государственного управления авиационной промышленности (ГУАПа) найти площадку для строительства Центрального аэродинамического института (ЦАГИ). Требования, предъявляемые к такой площадке, определялись в первую очередь тем, что ЦАГИ должен иметь

гидродром площадью в четыре квадратных километра с выходом в море, аэродром, здание института со всеми необходимыми помещениями и соцгородок для рабочих и служащих. И все это должно находиться недалеко от Москвы. Найти такое место должна была изыскательская группа Гипроавиа. Задание было срочное, а начальник группы Баранов, как назло, заболел, и причем очень серьезно. У него был обнаружен туберкулез, и врачи надолго отправили его в Крым. Заместителя у Баранова не было, остальные члены изыскательской группы были рядовыми исполнителями. Гипроавиа еще находился в процессе становления, и многие должности оставались вакантными. И Охотников, не долго думая, решил назначить меня временно исполняющей обязанности начальника изыскательской группы и поручить мне организацию поиска площадки для ЦАГИ. Я отказывалась, он меня уговаривал и наконец устроил встречу с представителями ЦАГИ — начальником института Харламовым и профессором Некрасовым. Увидев меня в качестве начальника группы, заказчики крайне удивились. Они стали говорить, что мне будет трудно: уже осень, холодно, и я могу простудиться, к тому же надо много разъезжать и ходить. Тут уж было задето мое самолюбие, и я заявила, что никогда не болею и никогда не устаю. Заказчикам ничего не оставалось, как согласиться и назначить своего представителя, которым стал инженер Демидов. В моем распоряжении была машина для поездок, а при особой надобности мог быть предоставлен и самолет.

Я очень хорошо понимала, какой рискованный шаг сделал Охотников из-за своего легкомысленного характера. Это была настоящая авантюра! Но отступать было нельзя, и я должна была показать всё, на что способна. Мы объехали все места, где можно было рассчитывать на создание гидродрома, рассмотрели несколько вариантов, и наш окончательный выбор был сделан в пользу площадки вблизи города Раменское по Казанской железной дороге. Там, осуществив перенос Софринской плотины, можно было получить необходимое пространство для гидродрома. И рядом было достаточно места для аэродрома и соцгородка. Было пробурено множество скважин для исследования грунта. Образцы грунта с предполагаемой площадки для аэродрома были отправлены на заключение профессору-почвоведу Вильямсу. Он дал положительное заключение, отметив, что благодаря особому травяному покрову поле аэродрома не будет покрываться пылью в сухую погоду, а во время дождей не будут образовываться колеи от колес самолетов. Были обработаны географические карты местности. Предполагалось, что при переносе плотины будут затоплены

небольшая деревня и ферма для разведения кроликов. На карту были нанесены зона затопления и границы аэродрома, а также были распланированы постройки института и соцгородка. Вся эта графическая работа проходила у меня дома в кабинете Штайнера на нижнем этаже. В Гипроавиа в это время года было почему-то очень холодно, все сидели в пальто, и работать было невозможно. Охотников разрешил мне работать дома. У нас было дровяное отопление, печи топились ежедневно, и было тепло.

Представитель ЦАГИ Демидов мне помогал, осуществляя связь с заказчиком, проверяя карты и добывая некоторые необходимые материалы к докладу. Доклад я написала полностью, хотя могла бы ограничиться тезисами. Боясь что-то перепутать или изложить не так, я написала обо всем подробно. Мой доклад должен был состояться на заседании у Макаровского, заместителя начальника ГУАПа. Макаровский был старым специалистом, который был обвинен во время процесса над Промпартией, но потом освобожден. Он был высоким, худощавым, уже почти седым суровым человеком. На заседании за длинным столом, покрытым зеленым сукном, помимо меня и Охотникова, а также Харламова, Некрасова и Демидова от ЦАГИ сидели еще военные с ромбами. Эти последние, как оказалось, были нашими противниками, так как настаивали на размещении ЦАГИ на Переяславском озере.

«Где же ваш докладчик?» — спросил Макаровский Охотникова, и когда тот представил меня, молодую девушку в черном платьице с белым воротничком, считая, вероятно, что я произведу на Макаровского впечатление, то услышал от него: «Не имел чести знать». Пока я делала доклад, Макаровский сидел молча, но, когда военные стали мне задавать вопросы, он почти не давал мне говорить, отвечая на многие вопросы сам. Про ликвидацию кроличьей фермы он ответил так: «Я кроликов вообще люблю, хотя они однажды и изгрызли мой новый костюм. Вопрос о кроличьей ферме несложный. Наши самолеты пролетят нечаянно над ней, и все кролики подохнут от неизвестной причины». Со стороны Макаровского это было довольно смелое заявление, поскольку как раз незадолго до этого сам Сталин дал распоряжение повсеместно разводить кроликов, чтобы решить проблему с производством мяса в стране.

Доклад я сделала хорошо, говорила, не заглядывая в написанное. Да его и трудно было сделать плохо, потому что в основу лег серьезно подготовленный обширный материал. Очень красочно были оформлены карты местности, на одной из которых была показана зона затопления с выделением гидродрома, а на другой были намечены аэродром и планировка всех объектов

института и соцгородка. Было зачитано заключение академика Вильямса и другие документы. В результате была принята резолюция о строительстве ЦАГИ в соответствии с нашим предложением, чему очень обрадовались его представители. А Харламов мне сказал: «Ну, в этом соцгородке когда-нибудь вам будет установлен памятник при жизни».

На другой день утром Охотников, остававшийся с Макаровским после нашего ухода, рассказал о его реакции на мое выступление: «Поди, не такая уж умная, а доклад-то какой сделала!» Охотников был очень доволен и издал приказ о вынесении мне благодарности, в котором говорилось, что на фоне невыполнения институтом других заданий это задание было выполнено в срок при отличном качестве. И снова встал вопрос о том, чем я должна заниматься в Гипроавиа. Охотников снова обещал послать меня в Германию и просил подождать. Он согласился дать мне отпуск на десять дней, во время которого я намеревалась поехать в Любавичи, где родилась моя мама и где жили две ее сестры. Мне хотелось познакомиться со своими двоюродными сестрами и побывать на могиле бабушки. Я послала телеграмму о своем приезде тете Анюте, и на станции Рудня меня ждала лошадь, запряженная в сани, и теплая шуба. В большом родительском доме жила сестра мамы Анна, которая была моложе ее на восемнадцать лет, ее муж Илларион Иванович и три их дочери — Татьяна, Людмила и Лидия. Старшей дочери, Тани, в Любавичах не оказалось, поскольку она училась в Смоленске на врача. Лима и Лида учились в школе — они были миловидными девочками, говорящими по-русски с большой примесью белорусских слов.

Мне наскучило жить в одиночестве, и, попав в семью, я была счастлива: все были мне рады, милы со мной, и я чувствовала себя уютно, как в родном доме. С тетей Анютой мы ходили ко второй сестре моей мамы, Харитине, которая была моложе мамы всего на один или два года. Она жила в небольшом доме вместе с четырьмя дочерьми и сыном. В Любавичах оставались тогда только две ее младшие дочери от разных мужей, Люся и Тася. Старшая дочь Рая гостила в Томске у моей мамы, а Лидия с мужем забрали с собой брата Михаила и уехали работать куда-то на Север. Так что я не смогла увидеть всех моих восьмерых двоюродных сестер и брата и познакомилась только с четырьмя сестричками.

Анюта сводила меня на кладбище, где была могила бабушки — простой земляной холмик, обложенный дерном, с большим деревянным крестом. На другой стороне дороги, ведущей из Рудни в Любавичи, было еврейское кладбище, и я захотела туда

пойти. Там покоилось несколько поколений Шнеерсонов, руководивших хасидской школой. На камнях могил Шнеерсонов я увидела много разорванных в клочки исписанных листков, и тетя Анюта мне рассказала, что если евреи хотят обратиться с просьбами к Богу, то пишут ему письма и рвут их на могилах Шнеерсонов. Они верят, что таким образом их жалобы и просьбы обязательно дойдут до Бога. Каждый вечер к нам в дом посмотреть на дочку Зинаиды приходили разные люди, которые знали мою маму или слышали о ней. И каждый вечер приходила тетя Харитина с двумя девочками. Погостив десять дней и насладившись семейным уютом, я уехала в Москву.

Когда я после десятидневного отсутствия вернулась в Гипроавиа, я прежде всего зашла к секретарю Охотникова Марии Алексеевне, с которой дружила. Хотелось узнать новости и то, как прошло празднование годовщины Октябрьской революции 7 ноября. И она мне рассказала, что Яков Осипович, делая доклад сотрудникам, восхвалял заслуги Троцкого, что вызвало недовольство секретаря партийной организации. Мне стало тревожно, и я вспомнила и другой случай. Я была в кабинете Охотникова по делам, когда комендант Гипроавиа, турок с короткой фамилией вроде Менжу принес в кабинет большой портрет, чтобы его повесить на стену. Увидев, что это портрет Сталина, Охотников сказал: «Лучше бы Пушкина принес». А теперь еще и похвала Троцкому! Яков Осипович совершенно не мог понять ситуацию, сложившуюся в стране при Сталине. В тревоге за него были Мария Алексеевна, я и Вера Яковлевна Кравец — его заместитель по электрической части. Она была много старше меня, окончила технический колледж где-то за границей. Была умной и деловой женщиной, но немного рассеянной: несколько раз приходила на работу в юбке или кофточке, надетой наизнанку.

Спокойно прошел декабрь. Я ждала обещанной Охотниковым командировки в Германию и занималась обычной кураторской деятельностью. В декабре Яков Осипович раза два приходил на Николоворобинский вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером и несколько раз Дрейцер приглашал меня в свой дом на Трубную. Я подружилась с его сестрой Розой Александровной, и вскоре она стала моей главной подругой. Удивительно толково она вела этот дом, в котором часто бывало много гостей, друзей Ефима Александровича. В большой кухне царствовала домашняя работница Женя, но все распоряжения отдавала Роза Александровна. В семье Дрейцеров было пятеро детей — Лидия, Ефим и Роман, а также двое младших — Роза и Самуил, которые отличались от остальных тем, что были маленького роста.

Однажды Охотников заявил, что просит разрешить ему поселить в пустой квартире Бабеля одного иностранца, который собирается уезжать к себе домой, но перед отъездом хотел бы познакомиться с Москвой. Помня поручение Бабеля, я согласилась уступить ему большую комнату и перешла в узкую небольшую. Оказалось, что Охотников освобождает меня на три-четыре дня от работы для того, чтобы я сопровождала иностранца на выставки, в театр и в ресторан. Когда на следующий день Яков Осипович привез иностранца, то, к моему большому удивлению, им оказался хорошо мне знакомый мистер Халловей, работавший на Кузнецкстрое в одной комнате со мной. Удивление мистера Халловея было ничуть не меньшим, чем мое. Я не знаю, почему заботиться о мистере Халловее пришлось Охотникову. Могу лишь предположить, что Орджоникидзе обратился с этой просьбой к начальнику Гипромеза Колесникову, а тот, по старой дружбе, передал это поручение Охотникову. А может быть, Орджоникидзе сам попросил об этом Охотникова.

Я ни слова не говорила по-английски, но, к счастью, мистер Халловей, поработав на Кузнецкстрое, стал немного говорить по-русски. Я водила его в Третьяковскую галерею, в Музей изобразительных искусств, Большой театр на балет «Лебединое озеро» и еще куда-то. Обедали мы в ресторане «Савой», который считался тогда самым лучшим. Наконец мистер Халловей уехал в США, а я нашла в своем шкафу коробку подсоленных орешков и 10 долларов. И первое, что я купила на эти деньги в Торгсине, была бутылка сливок и белая французская булочка-сайка. Голодновато было в Москве в то время.

Новый 1933 год я встречала у Валединских в Лялином переулке вместе с Любочкой Макшеевой, ее мужем Анатолием, младшим сыном Валединских Володей, дочерью Валей и ее мужем, пришли также и их друзья. Старших Валединских не было дома — они на зиму уехали в Сочи. Валя недавно вышла замуж и была счастлива. Она и меня уговаривала выйти замуж, убеждая, что быть замужем очень хорошо, даже прекрасно.

В январе арестовали Охотникова. Больше я его не видела и ничего о нем не слышала, кроме того, что в тюрьме он объявил голодовку.

Жена его, Александра Александровна Соломко, тоже была арестована, но позже, наверное, году в 1934-м – 1935-м, и отбыла в лагере около двадцати лет. Когда она после смерти Сталина возвратилась в Москву, я прописала ее у себя, чтобы она могла получить комнату.

После ареста Охотникова целый ряд сотрудников, которых он привел из Гипромеза, уволили якобы по собственному желанию. С

Яковом Осиповичем случилось то, чего мы с Марией Алексеевной и Верой Яковлевной боялись, но я почему-то совсем не ожидала, что тоже буду уволена. Надо было срочно устраиваться на работу, так как в это время в стране была объявлена паспортизация, а чтобы получить паспорт, необходимо было работать. Случилось так, что я неожиданно встретила на улице учившегося со мной в Томске Петухова, теперь уже архитектора. Узнав, что я без работы, он через кого-то из своих друзей устроил меня в Главное военно-мобилизационное управление (ГВМУ), помещавшееся на площади Ногина. Это было первое подвернувшееся место. Вероятно, я могла бы вернуться в Гипромез, но мне было стыдно туда идти, так как, уйдя с Охотниковым, я чувствовала себя предательницей. В ГВМУ я тоже должна была работать куратором, но не авиационных объектов, а военных заводов, главным образом танковых.

Как это ни удивительно, я совсем не помню, в чем заключались мои обязанности в ГВМУ. Помню только, что ко мне приходили военные и я должна была отвечать на их вопросы. Ни на одном заводе в Москве я не была и ни в одной из военных проектных организаций тоже. Запомнились лишь две командировки. Первой была поездка в Харьков на танковый завод, где выпускались малогабаритные танки Т-34. На Украине в 1933 году был свирепый голод. Проезжая на трамвае от гостиницы до завода, я в окно видела изголодавшихся и умирающих людей, больше всего было женщин с детьми. Они сидели, прислонившись спинами к заборам парков и к стенам домов, и уже ничего не просили. Только на остановках были люди, которые подходили и просили хлеба. Зрелище было страшное, пахло хлоркой, в трамваях на каждой конечной остановке проводилась дезинфекция. В городе было холодно, дул пронизывающий ветер, в гостинице не работало отопление, и ночью даже под несколькими одеялами невозможно было согреться. На заводе было тепло, питание в столовой довольно сносное по тем временам, и я приходила в гостиницу только спать. От этой командировки у меня осталось очень тягостное впечатление, и я долго не могла отделаться от преследовавших меня образов распухших от голода умирающих людей и трупов. В Москве, я думаю, мало кто знал о голоде на Украине, если ходили слухи, что Максим Горький посылал на Украину игрушки для детей, а не продукты…

Весной и летом 1933 года моя жизнь была тесно связана с семейством Дрейцеров. И Ефим Александрович, и его сестра Роза, и младший брат Самуил относились ко мне по-дружески, часто приглашали к себе. Их дом стал мне приятен и близок, я могла

даже переночевать там в комнате Розочки, когда поздно засиживалась у них в гостях или когда мы вместе ходили в театр. Роза помогала мне советами, если я хотела купить себе что-нибудь из одежды. Самуил очень хорошо танцевал и научил меня фокстроту и танго — самым модным танцам в то время.

Мы с Розой Александровной Дрейцер решили в мой отпуск, в сентябре, поехать на Кавказ к Черному морю. Ефим Александрович достал нам путевки в Сочи в Дом отдыха работников просвещения и бесплатные билеты от Москвы до Сочи и обратно. Роза Александровна уехала в намеченный день, а мне пришлось задержаться почти на неделю. Дело в том, что как раз накануне вышло постановление правительства, которым предписывалось молодым специалистам не работать в управлениях, а ехать на заводы и стройки. Поэтому я не могла уже просто уйти в отпуск, но вынуждена была уволиться с работы. Пообещав в отделе кадров, что после отпуска я приду за новым назначением, я оформила увольнение, завершила оставшиеся за мной дела, получила зарплату и отпускные деньги. Теперь я чувствовала себя свободной. Конечно, я совсем не думала возвращаться в ГВМУ, а мечтала работать в Метропроекте, где проектировали конструкции для Московского метрополитена. Эта организация была создана в июле 1933 года.

Накануне моего отъезда на Кавказ из Парижа возвратился Бабель. Он приехал один, без семьи. Я не встречала его на вокзале, и мы увиделись после того, как я вернулась домой с работы. Первая встреча была какой-то настороженной с обеих сторон, но вечером того же дня Бабель пригласил меня на спектакль «Интервенция» в Вахтанговский театр. Поехали туда на извозчике — излюбленном способе передвижения Бабеля. В театре сидели в одной ложе с Дмитрием Аркадьевичем Шмидтом, приехавшим с Кавказа. Еще раньше я слышала о Шмидте от Бабеля, но только сейчас представилась возможность познакомиться с ним. Пьеса, написанная Львом Славиным, была поставлена отлично. Играли Горюнов, Куза, Рапопорт, Мансурова, Синельникова, Орочко, Журавлев. Спектакль всем очень понравился. В антрактах Шмидт смешил нас рассказом о том, как наши военные, вернувшись из заграничной поездки, кажется, в Германию, докладывали Сталину о быте военных за рубежом: «Охвицирье у них ходит в белых воротничках и манжетах и, хучь какая б ни была погода, кажный день умываются». В таком же духе Шмидт изображал весь отчет военных Сталину. Военные — это Книга[13] и Ока Городовиков.

Из театра мы с Бабелем, Шмидтом и несколькими актерами почему-то пошли в гости к Франкфурту, которого я хорошо знала

по Кузнецкстрою. Он недавно женился на молодой и очень хорошенькой женщине, и у него родился сын. Мальчик был похож на отца — такой же рыжий и с большим носом. Меня Франкфурт узнал, удивился, а потом вдруг начал рассказывать о том, как все на Кузнецкстрое были в меня влюблены, и он в том числе. Мне было неприятно слушать такое вранье. К счастью, это быстро прекратилось, и застолье приняло более веселый характер, поскольку собралось много остроумных рассказчиков. Франкфурт — великолепный организатор и умный руководитель строительства — погиб, как и многие, в годы культа личности Сталина.

Узнав, что я собираюсь провести отпуск в доме отдыха в Сочи, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне побережье, Минеральную группу[14] и Кабардино-Балкарию. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.

Авель Енукидзе

Я не разрешила Бабелю провожать меня на вокзал, потому что по поручению Дрейцера меня должен был провожать какой-то молодой поляк, с которым я не была знакома. Он заехал за мной на машине, отвез на вокзал и посадил в поезд. Я в первый раз ехала на Кавказ к Черному морю, которого еще никогда не видела. В двухместном купе мягкого вагона моим спутником оказался пожилой человек с красивой седой головой. Это был исследователь Дальнего Востока и Уссурийского края по фамилии Котовский. Он очень интересно рассказывал о своей работе, и я была рада, что у меня такой сосед. Потом мы пошли с ним в ресторан обедать и заняли свободный столик. Вскоре к нам подсели двое: молодая белокурая женщина и молодой человек в полувоенной форме. Они не обедали, а только пили пиво, закусывая воблой. Я поразилась тому, что женщина пьет так же много пива, как и мужчина, да к тому же еще и курит. Пообедав, мы с Котовским ушли в свой вагон, а под вечер к нам пришел наш новый знакомый по ресторану и уговорил меня пойти с ним играть в карты — у них не хватало четвертого партнера. Во время остановки поезда мы по платформе пошли в последний вагон. Боясь отстать от поезда, я побежала вперед, и, когда уже схватилась за поручни и поднялась на нижнюю ступеньку вагона, меня догнал мой провожатый и окликнул: «Антонина Николаевна, познакомьтесь с моим хозяином». Уже войдя в вагон, я оглянулась и увидела полного пожилого человека, который прогуливался вдоль вагона. Он подошел и, улыбаясь, протянул мне руку. На нем была коверкотовая блуза серо-зеленого цвета, подпоясанная узким ремешком. На ногах — ярко-желтые явно заграничные башмаки на толстой подошве. Я подала ему руку и, не очень-то обратив на него внимание, прошла в вагон. Это был не обычный вагон, а вагон-салон. В таком вагоне я ездила по Капорской ветке и на остров Хортица во время студенческой практики в 1929 году. В дальнем конце вагона была большая комната и большой стол, за который мы сели играть в карты. Предстояло играть в кинг, и поскольку я никогда раньше о такой игре не слышала и вообще в карты не играла, мне объяснили, как надо играть. Моим партнером был тот самый полный рыжевато-седоватый человек, с которым я только что познакомилась, но фамилии которого я все еще не знала. Знала только, что его зовут Авель Сафронович. Помню также и имя его секретарши — Елена Сатировна. А вот имя познакомившего нас с ним молодого человека забыла. Вышло так, что мы с Авелем Сафроновичем

девять раз подряд обыграли своих противников. Мой партнер очень веселился и был явно доволен результатом игры. Во время беседы за столом «хозяин» заговорил о том, какие хорошие дороги в Германии, где он недавно побывал, и какие плохие у нас. Он рассказал, как ехал однажды на дачу и его машина завязла в грязи. Но выручили какие-то студенты, которые его узнали и сказали: «Товарищ Енукидзе, мы Вам поможем». И тут я наконец поняла, что «хозяин» — это не кто иной, как Енукидзе. Конечно, эта фамилия была мне известна, но я никогда его не видела ни в лицо, ни на портретах. Прощаясь, мы договорились, что на следующий день я приду в вагон к новым знакомым — смотреть на море, которое я увижу впервые в жизни.

Утром я долго спала, и за мной зашли со словами: «Авель Сафронович без вас не желает завтракать. Приходите, а то скоро будет море». На завтрак был омлет и кофе с булочкой. Потом все подошли к окнам — скоро должно было показаться море. Вдруг Авель Сафронович ушел в свое купе, принес теплый шарф и обмотал его вокруг моей шеи, чтобы я не простудилась — окна были открыты и дул ветер.

Я опаздывала в дом отдыха на семь или восемь дней и боялась, что меня с таким опозданием не примут. Смеясь, Авель Сафронович обещал мне помочь. До места меня довезли на роскошной темно-синей машине, и мы попрощались. В доме отдыха меня приняли, и всё сложилось благополучно. Я встретилась с Розой Александровной — Розочкой, с которой мы должны были жить в одной комнате.

Через несколько дней, уже после обеда, за мной заехала Елена Сатировна и повезла меня к Енукидзе. Он жил тогда где-то за Мацестой, высоко в горах. Авель Сафронович встретил меня словами: «Как только я приехал, меня вызвал Сталин на Черную речку. Я сидел там несколько дней как на иголках. Вас, быть может, не приняли в санаторий, а мы обещали помочь и не едем. Что Вы обо мне подумаете?» Он повел меня показывать сад. Инжир уже сошел к тому времени, но Енукидзе находил на деревьях отдельные плоды, делил пополам и половину отдавал мне. Мне сырой инжир совершенно не нравился, и я молилась: «Хоть бы не нашел, хоть бы не нашел». Я ела его с трудом, но Авель Сафронович так его любил и так хвалил, что не есть было невозможно. Впоследствии, во время войны, прожив на Кавказе три года, я привыкла к инжиру и он стал одним из любимых мною фруктов.

Во время прогулки по саду Авель Сафронович расспрашивал меня о Сибири, о моей работе и, когда узнал, что я хотела бы поступить на работу в Метропроект, сказал, что это легко

устроить, так как он, Каганович и Калинин входят в тройку, курирующую Метрострой от правительства. Енукидзе спросил, играю ли я на бильярде, и, узнав, что я даже не знаю, что это такое, повел в бильярдную и стал обучать этой игре. Он показал мне много приемов, как загонять шары в лузы, и я кое-что усвоила. Рука у меня была крепкая, глаз верный, помогало хорошее знание геометрии, да еще учитель был замечательный, так что научилась я быстро. Он мог, разбив пирамиду, положить в лузу один за другим почти все шары.

Вечером во время ужина Авель Сафронович угощал меня очень сладкими персиками невероятной величины. Меня уговорили остаться ночевать, с тем чтобы утром поехать в Сочи в необыкновенный сад-питомник. С Еленой Сатировной мы устроились спать на закрытой террасе. У меня не было ночной рубашки, и Енукидзе прислал мне свою. Я в ней буквально утонула, и мы с Еленой Сатировной хохотали до слез над тем, как я в ней выглядела.

После завтрака мы поехали в Сочи в показательный сад. Там я впервые увидела, как растут персики — совсем близко от ствола. А под персиковыми деревьями росла земляника, хотя был уже сентябрь или даже начало октября. Садом занимался хороший садовод-немец. Мы ели землянику и очень сладкие ломти крупных арбузов. Авель Сафронович распорядился, чтобы меня отвезли в дом отдыха и дали с собой корзину, наполненную разными фруктами. Мы с Розочкой обычно покупали фрукты на базаре и старались покупать самые хорошие, но фрукты из показательного сада превосходили любые другие.

Через несколько дней Енукидзе должен был уезжать в Москву, и я пришла на вокзал проводить его и Елену Сатировну. Авель Сафронович взял с меня слово, что по приезде в Москву я ему позвоню.

Когда я написала Бабелю, что в поезде познакомилась с Енукидзе и что он обещал помочь мне поступить в Метропроект, Бабель испугался. Он ответил, что по Москве ходят слухи, что Енукидзе увлекается молодыми балеринами из Большого театра, и его рекомендация даст повод к нежелательным разговорам обо мне, поэтому лучше это знакомство не продолжать. Я была не согласна с Бабелем, поскольку основывалась на поведении Енукидзе по отношению ко мне, но тем не менее, вернувшись в Москву, не стала звонить в Кремль.

Чтобы закончить всё о моем знакомстве с Енукидзе, я должна забежать вперед. Когда Бабель пригласил меня в Горловку для встречи Нового 1934 года и я решилась ехать, я попыталась достать билет на поезд, но это оказалось совершенно

невозможным делом. Мог бы помочь Ефим Александрович Дрейцер, но его не было в Москве. И мне пришлось обратиться к секретарю Енукидзе Елене Сатировне. Я немедленно была приглашена в Кремль и в ожидании билета, за которым кто-то был послан, присутствовала на заседании IV сессии ВЦИК на докладе министра иностранных дел М. М. Литвинова о международном положении. После доклада мы с Еленой Сатировной ходили обедать в Грановитую палату, где были накрыты столы для делегатов. Енукидзе я в тот раз не видела — он был очень занят. Это было мое первое посещение Кремля. Получив билет до Горловки, я ушла домой и в тот же вечер уехала в Донбасс.

Как-то зимой 1934 года Енукидзе пригласил меня на его дачу. Вместе со мной туда была приглашена певица Большого театра Вера Александровна Давыдова. За нами заехала Елена Сатировна. Был солнечный морозный день. Мы встретили Енукидзе на прогулке, и он сказал, что завтракать мы все идем к Михаилу Ивановичу Калинину, живущему по соседству. Это был большой дом с колоннадой у въезда, от которого тянулась прямая липовая аллея длиною более двух километров. Мы нашли Калинина на этой аллее — Енукидзе, наверное, знал, что тот по предписанию врача прогуливается здесь по утрам. Вместе с Михаилом Ивановичем мы пришли в дом, где на нижнем этаже, сообщаясь с передней, была большая зала с длинным столом, за которым уже сидели члены семьи Калинина — его жена, сын и невестка. Завтрак был ничем не примечательным, но к кофе подали целое блюдо еще теплых сдобных румяных булочек, которые были очень вкусными. Я ничего не запомнила из разговоров за столом, видимо, потому, что в них не было чего-то такого, что могло меня поразить.

Возвратившись на дачу Енукидзе, мы все долго смеялись над Авелем Сафроновичем по поводу того, какое количество носков было им надето. Сидя в передней, он снимал одну пару, затем вторую, потом третью, четвертую, а мы умирали со смеху. Мне кажется, носков было пар семь или восемь. Если дача Калинина была старым помещичьим домом и показалась мне мрачноватой и неуютной, то дача Енукидзе была новой постройки, с большими окнами, очень светлая и уютная. Авель Сафронович вытащил откуда-то и принес нам с Верой Александровной целую кипу прекрасно изданных заграничных журналов. Среди них был каталог с цветными изображениями всех бабочек мира, и от него нельзя было оторваться.

В обед на второе была рыба жерех, которую я ела впервые. Было очень весело. Авель Сафронович смешил нас, вспоминая о

том, как один актер повторял всё, что говорил суфлер: «Три раза ха-ха-ха…» или «Я Вас люблю — в сторону «мегера»». Я предупредила Енукидзе, что должна не очень поздно возвратиться в Москву, так как в этот вечер была приглашена на день рождения. Он уважительно отнесся к моему желанию уехать пораньше, и мы отправились еще в сумерках. По дороге Авель Сафронович попросил Веру Александровну что-нибудь спеть нам, и она тихим голосом великолепно спела колыбельную Моцарта «Спи, моя радость, усни».

Когда въехали в Москву, нас остановил патрульный с голубой повязкой на рукаве, чтобы проверить, кто едет. Мы тронулись дальше, а Енукидзе вдруг сказал: «Что случилось? Может, в Кремль ехать опасно? Может, там переворот?» Мы посмеялись, меня довезли до дома моего знакомого, пригласившего меня на день рождения, и мы попрощались.

День рождения отмечал Михаил Львович Винавер, с которым я познакомилась несколько месяцев назад, когда он привез из Парижа посылку от Бабеля и я должна была зайти за ней. Винавер в то время работал вместе с Екатериной Павловной Пешковой в Политическом Красном Кресте, где был ее заместителем. Он считался блестящим юристом и в свое время участвовал в процессе Бейлиса. Жил Винавер в небольшой комнате коммунальной квартиры в одном из переулков Маросейки. Во время нашего первого знакомства он рассказал о своих встречах с Бабелем в Париже и о том, как много тот говорил обо мне, называя меня «замечательной женщиной-инженером в синем платье». А так как выходное платье у меня было одно, то в нем я и пришла к Винаверу. Он заставил меня выпить с ним какао, которое он приготовил сам, и угощал всякими вкусными вещами, привезенными из-за границы. Ему почему-то понравился мой голос, и он захотел записать его на магнитофон. Я прочла наизусть сказку Андерсена «Роза с могилы Гомера». Тогда, прощаясь, он взял с меня слово прийти к нему на день рождения. Вечером на дне рождения у Винавера были две сотрудницы Красного Креста, одна из которых должна была вскоре уехать в командировку куда-то за границу и не собиралась возвращаться в Советский Союз. Это была какая-то нервная, злая, всем недовольная дама, откровенно говорила об ужасной жизни в СССР. Она мне не понравилась. Михаил Львович деликатно пытался сгладить впечатление, которое производила эта его сотрудница. Больше я Винавера не встречала, а позже от Екатерины Павловны Пешковой узнала, что он был арестован.

С Авелем Сафроновичем Енукидзе я встречалась еще дважды. Дело в том, что я никогда не принимала его приглашений, когда

Бабель был дома. Потому что мне жалко было расставаться с ним. Но один раз летом, уже почти в августе, Бабель куда-то уехал, и я согласилась поехать на воскресенье на дачу Енукидзе. Вместе со мной Авель Сафронович пригласил целый автобус сотрудниц чертежного бюро проектной организации Кремля. Авелю Сафроновичу хотелось доставить им удовольствие побыть в лесу, пособирать грибы и вкусно пообедать. Он мне говорил, что все они живут плохо, по воскресеньям работают дома и никогда не отдыхают. И я снова восхитилась его добротой и вниманием к людям.

Однажды, когда у нас гостила моя мама, Бабель достал путевку в писательский дом отдыха в Голицыне и хотел, чтобы вместо него туда поехала она. Бабель никогда не отдыхал в писательских и других домах отдыха или санаториях. Терпеть их не мог. Для того, чтобы путевку Бабеля можно было передать моей маме, на письме в Союз писателей с просьбой об этом должна была стоять подпись Енукидзе. И Бабель, давно успокоившийся в отношении Енукидзе, поскольку узнал по моим рассказам, что это за человек, доверил мне получить его подпись. Благодаря всё той же Елене Сатировне я получила пропуск в Кремль и пришла к Енукидзе. Подписывая мне письмо, Авель Сафронович сказал: «Обратите внимание на то, что я всегда ставлю точку после «А», а если точки не будет, то письмо поддельное». Мне показалось странным такое предупреждение, но я не стала над этим задумываться. Мама поехала в Голицыно и хорошо там отдохнула. Ей там очень понравился молодой Сергей Михалков, который всех смешил во время завтраков и обедов.

Какое-то время спустя, наверное, уже в 1936 году, в газете «Правда» появилась статья, в которой Енукидзе объявлялся врагом народа, подготавливавшим в Кремле переворот. Я тут же написала ему сочувственное письмо с заверением в том, что не верю ни одному слову из этой статьи. Я отправила письмо по домашнему адресу на улицу Грановского. Мне так хотелось хоть чем-нибудь ему помочь, хотя бы выразить сочувствие. Интересно, куда попало это письмо и почему меня не разыскали? Быть может, я и не писала обратного адреса, а просто подписалась «Нина», как меня называл Енукидзе. Но отыскать меня было совсем не сложно. Правда, как-то раз из районного отделения НКВД пришла повестка, где просили к ним зайти Н. Пирожкову. Бабель меня не пустил, взял эту повестку и пошел туда сам. Там ему сказали, что это какая-то ошибка, и он вернулся. Возможно, этот вызов был связан именно с моим письмом к опальному Енукидзе, и, возможно, Бабель не сказал мне всей правды о том, какие вопросы ему задавали в районном отделе НКВД.

Николай Эрдман и «Веселые ребята»

…В сентябре 1933 года я встретила Бабеля на сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, обсудили маршрут. Сначала решили поехать на машине в Гагры — там велись съемки картины «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана и Масса. В этой картине снимался Леонид Утесов. Из Гагр было намечено проехать в Сухуми, а оттуда добираться до Кабардино-Балкарии. Я сказала Бабелю, что у меня есть билет для проезда в мягком вагоне от Сочи до Москвы, и он пропадает.

— Очень хорошо, — ответил он, — мы его обменяем на два билета до Армавира.

На другой день мы пришли в ресторан обедать и сели за столик, занятый двумя пожилыми дамами, одна из них в этот момент жаловалась соседке, что никак не может достать билет до Москвы. И тут Бабель вдруг говорит:

— А у нас есть такой билет, но мы не можем им воспользоваться. Возьмите его…

Я, ни слова не говоря, вынимаю из сумочки билет и отдаю незнакомой даме.

— Сколько я вам должна? — спрашивает она.

— Нет, нет, он бесплатный, пожалуйста, возьмите. Он нам совершенно не нужен! — возражает Бабель.

Чувствую, что он страшно смущен, меня он еще недостаточно хорошо знает и не уверен, как я к этому отнесусь. Ведь мы только вчера решили обменять этот билет на два до Армавира! Он сам не свой и всё на меня поглядывает, а я болтаю о другом и виду не подаю, что это имеет для меня какое-нибудь значение.

Доброта Бабеля граничила с катастрофой. В этом я убедилась позже, и случай с билетом был только первым таким примером. В подобных случаях он не мог совладать с собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки и говорил: «Если я хочу иметь какие-то вещи, то только для того, чтобы их дарить». Но он мог так же поступить и с моими вещами. Из Франции он привез мне фотоаппарат. Через несколько месяцев один знакомый кинооператор, уезжавший в командировку на Север, с сожалением сказал Бабелю, что у него нет фотоаппарата. Бабель тут же отдал ему мой — фотоаппарат ко мне уже не вернулся. Даря мои вещи, он каждый раз чувствовал себя виноватым и смущенным, но я знала, что он с собой справиться не может, и никогда не показывала виду, что мне чего-либо жалко. А было, конечно, жалко.

В теплый солнечный день в открытом легковом автомобиле мы поехали в Гагры. Было раннее утро. Навстречу нам попалась черная машина с маленьким зарешеченным окном. Мы обратили на нее внимание, и только. А приехав в Гагры, застали расстроенной всю съемочную группу и узнали, что арестовали Эрдмана. Еще в Сочи Бабель говорил мне, что для него будут особенно приятны две встречи в Гаграх — с Эрдманом и Утесовым. Известие об аресте Эрдмана просто ошеломило его.

В гостинице «Гагрипш» не было свободных номеров. Но маленькая комнатка Эрдмана под лестницей только что освободилась, и ее дали мне. На столике возле кровати еще лежали раскрытая книга и коробка папирос… Бабель поселился в комнате Утесова.

Все были подавлены. Актрисе Машеньке Стрелковой хотелось плакать, но было невозможно, мешали длинные наклеенные ресницы. Мрачным ходил и Александр Николаевич Тихонов (Серебров)[15].

Только много лет спустя Эрдман рассказал мне, что везли его в обыкновенном автобусе и что он видел нас в открытой легковой машине. Мы же на встречный автобус не обратили внимания.

Эрдман рассказывал, что, когда его арестовали, он был в роскошных белых брюках и в белой шелковой рубашке и долго ходил по пустой камере. Потом, решившись, улегся прямо на грязный пол. По дороге в Сочи, когда автобус остановился, ему разрешили купить виноград, и это было единственное его питание до самого вечера. Зато в поезде он был вознагражден. Сопровождавшие его в Москву сотрудники НКВД угощали его черной икрой, семгой, ветчиной и даже коньяком.

Как мы узнали позже, Эрдмана приговорили к трем годам лишения свободы и отправили куда-то в Сибирь. После этого он жил в городе Калинине (Твери), снимал комнату у какой-то старушки. Считалось, что посадили его за басню, финал которой был таким:

> Мораль сей басни всем понятна:
> Не всем грузинам жить приятно.

Целиком басни я не читала, а когда, много лет спустя, в своих воспоминаниях о Бабеле упомянула эти строки, Эрдман отрекся, заявив, что это не его стихи. Пришлось их выбросить из воспоминаний. Судьба Эрдмана сложилась относительно благополучно по сравнению с судьбой Бабеля и многих других. Московские сплетники рассказывали, что к Эрдману в Калинин приезжали его жена Дина Друцкая и его тогдашняя возлюбленная

Ангелина Степанова, актриса Художественного театра. Говорили, что эти две женщины встретились на пристани города Калинина: Дина уезжала, а Ангелина приехала.

Знакомый мне еще по Кузнецкстрою журналист Владимир Яковлевич Рузов должен был зачем-то поехать в Калинин, и мы с Бабелем собрали посылку для Эрдмана. В ответ получили записку: «Если меня любите, пришлите коньяк». Как раз коньяка и ничего спиртного мы не посылали, а только вкусную еду и папиросы. Потом пронесся слух, что Эрдман в Москве в НКВД, что ему не дают паспорт, не разрешают выходить в город и заставляют писать пьески для внутреннего энкавэдэшного театра или драмкружка. Так длилось несколько лет, пока его, по-моему, уже после войны, не освободили. Я никогда не расспрашивала Эрдмана об этом времени и основываюсь только на слухах, ходивших по Москве.

Встретилась с Эрдманом я только после окончания войны, году, наверное, в 1946-м или 47-м, и мы были неизменно дружны до самой его смерти в 1970 году. Арест, ссылка и пребывание в НКВД сломали его, он стал писать то, что дозволено, — главным образом для театра и кино. Большинство этих работ я при жизни Эрдмана не видела — он говорил, что не разрешает мне смотреть пьесы и фильмы, так как они были поставлены плохо.

Однажды Николай Робертович подарил мне машинописный экземпляр своей старой пьесы «Мандат». Он долго лежал у меня без движения, пока в 1988 году мой внук Андрей не попросил его у меня. Оказалось, что вариант пьесы, который к тому времени был опубликован в журнале и сборнике пьес Эрдмана, был по сравнению с подаренным мне экземпляром неполным. Там не хватало многих острых мест. Очевидно, опубликован был вариант пьесы, по которому ставил спектакль Мейерхольд, и в нем были сделаны некоторые купюры.

Когда я спрашивала Эрдмана, над чем он работает, пишет ли настоящую пьесу, он отвечал, что пишет. Но после смерти в его архиве ничего не оказалось. Он обманывал меня, стесняясь признаться, что все его время уходит на переделки чужих вещей под пьесы и сценарии, на заработки денег для жены, требовавшей дачу.

И ему удалось, потратив огромные деньги, построить дачу в Красной Пахре. Говорят, что она стоила ему около 150 тысяч. Прожил он на этой даче очень недолго, быть может, два-три года.

В Гаграх съемки «Веселых ребят» продолжались, мы с Бабелем пропадали на них, наблюдая, как снимают то Утесова, то Орлову, то как без конца бултыхается в воду очень милая актриса Тяпкина. Утесов хвалился всё возрастающим числом своих

поклонниц, и это меня так раздражало, что я наконец не выдержала и сказала ему:

— Не понимаю, что они в вас находят, ведь вы — некрасивый и вообще ничего особенного.

Утесов прямо взвился, и к Бабелю:

— Она находит, что я некрасивый, объясните ей, пожалуйста, что я красивый, и вообще — какой я!

И я выслушала от Бабеля внушение:

— Нельзя быть такой прямолинейной. Он артистичен до мозга костей. Вы же видели, каков он, когда выступает, у него артистична даже спина.

Не согласившись с Бабелем, я ушла и бродила одна целый день. Жоэкварское ущелье поразило меня дикой своей красотой, и на другой день я уговорила Бабеля пойти со мной в горы.

Потихоньку, ничего ему не говоря, я увлекла его в ущелье. Там было одно место, где приходилось идти по узкой тропинке рядом с пропастью, огибая выступ скалы. Прижимаясь спиной к скале и передвигая ноги боком, я вдруг так испугалась за Бабеля, что крепко схватила его за руку, и мы, не глядя вниз, вместе прошли опасное место. Отдышались уже на ведущей к морю дороге, Бабель сказал: «Сусанин, куда ты меня завел?» Мы спустились с гор, когда уже стемнело, и были ужасно голодны. В первом же попавшемся нам духане заказали харчо и ели его с белым свежим, пушистым хлебом. Казалось, что вкуснее этого ничего не может быть.

Бабель очень любил гулять, но должен был из-за мучившей его астмы сначала медленно-медленно «разойтись», а уж потом, когда дыхание налаживалось, мог ходить довольно долго. Я ничего этого тогда не знала и увлекла его в длительную прогулку по горам, не дав ему раздышаться. Он чувствовал себя ужасно, задыхался, но от меня это скрывал.

Вечерами в Гаграх мы ходили к персу Курбану — пить чай под платанами. Чай был очень крепкий, горячий, с кизиловым вареньем. Утесов в тот наш приезд был неистощим на рассказы. Тут я впервые узнала, что он не только музыкант, но и талантливый рассказчик и что он когда-то выступал с чтением рассказов Бабеля «Как это делалось в Одессе» и «Соль». Однажды он подарил Бабелю свою фотографию с шуточной надписью: «Единственному человеку, понимающему за жизнь…»

В Гаграх Бабель захотел встретиться с председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакобой. Я проводила Бабеля до дачи ЦИК, где Лакоба отдыхал, и осталась ждать на скамейке возле входа. Свидание с Лакобой продолжалось около часа, затем оба вышли, поговорили немного и попрощались. Меня удивили черный

костюм на Лакобе в солнечный день и шнурок из уха от слухового аппарата. На обратном пути Бабель сказал, что Нестор Лакоба — «самый примечательный человек в Абхазии».

Из письма родственника Нестора — Станислава Лакобы, полученного мною в 1984 году, я узнала, что «Нестора отравил 26 декабря 1936 г. Берия, когда Лакоба находился в Тбилиси. Отравил с помощью своей жены во время ужина, подлив в бокал с вином яд. Подробно об этом говорил в 1956 г. на процессе в Тбилиси генпрокурор Руденко. 31 декабря Нестора с почестями похоронили в Сухуми у входа в Ботанический сад. Но через некоторое время объявили «врагом народа», выкопали тело и уничтожили». Всех его близких расстреляли.

Бетал Калмыков

Из Гагр на машине мы переехали в Сухуми, где прожили несколько дней. Кинорежиссер Абрам Роом снимал там на берегу моря картину с участием Ольги Жизневой. По утрам мы ходили на базар, а днем — в обезьяний питомник или на пляж. В городе повсюду жарились шашлыки: и на базаре, и прямо на главной улице в нишах домов, где были устроены для этого специальные приспособления. Город был наполнен запахом жареной баранины. Вечерами встречались на набережной и пили в чайной крепкий чай с бубликами. Из Сухуми пароходом мы добрались до Туапсе, а оттуда поездом поехали в Кабардино-Балкарию. Чтобы попасть в Нальчик, мы должны были сделать пересадку на станции Прохладная. Поезд пришел туда поздно вечером, когда в станице все уже спали, а отправлялся он в Нальчик утром. Мы оставили вещи на вокзале и налегке пошли по улицам, выбрали удобную скамью под деревом и просидели на ней всю ночь.

Ночь была теплая, светлая от луны, тополя серебрились, пахло пылью и коровами. Когда взошло солнце, мы отправились на базар. «Лицо города или села — его базар, — говорил мне Бабель. — По базару, по тому, чем и как на нем торгуют, я всегда могу понять, что это за город, что за люди, каков их характер. Очень люблю базары, и, куда бы я ни приехал, я всегда прежде всего отправляюсь на базар».

На базаре было уже полно народу, много лошадей, торговали зерном, скотом. Вся продающаяся птица — живая. Мы купили горячие лепешки, пшенку (вареные кукурузные початки) и пошли на вокзал.

— Нет былого изобилия, сказывается голод на Украине и разорение села, — говорил Бабель.

Через несколько часов мы были в Нальчике, остановились в гостинице и заказали чаю. Я легла спать, а Бабель отправился к Беталу Калмыкову, первому секретарю обкома партии Кабардино-Балкарии.

Бабель разбудил меня. Войдя в мой номер, он сказал со смехом:

— Знаете, сколько Вы проспали? Теперь утро следующего дня. Бетал приглашает нас переехать к нему в загородный его дом, где он сейчас живет, в Долинское.

Но я заупрямилась:

— С Беталом я не знакома, принять приглашение не могу, приглашает он Вас, а не меня, и переезжать к нему я не хочу. Не хочу — и всё!

Со мной ничего нельзя было поделать. Не помогли ни уверения в том, что у меня там будет своя комната, ни то, что у Бетала всегда живет много всякого народу — друзья, корреспонденты московских газет с женами. Я стояла на своем. Пришлось Бабелю снова пойти в обком, и там было решено, что он будет жить у Бетала, а я куплю путевку в дом отдыха как раз напротив дома Бетала. На это я согласилась, и мы переехали в Долинское. По дороге туда Бабель рассказал мне о своей встрече с Беталом Калмыковым в тот первый день в Нальчике, который я полностью проспала.

— Я встретил его на площади, он стоял перед новым зданием Госплана. Я подошел к нему и сказал: «Красивое здание, Бетал». Он ответил: «Здание — красивое, люди — плохие. Зайдемте!» Мы вошли, и я с удивлением услышал, как он сказал какой-то женщине, что хочет пройти в уборную и чтобы там никого не было. Пригласил и меня туда. В уборной было нисколько не хуже, чем в уборной любого московского учреждения, но Бетал остался недоволен. Он прошел оттуда к заведующему и, когда тот встал, встречая нас, сказал ему без всякого предисловия: «Вы дикий и некультурный человек! У вас в уборной грязно».

В Долинском Бабель познакомил меня с Беталом и его семьей.

Бетал Калмыков был высокого роста, довольно плотный и широкоплечий, с круглым скуластым лицом и раскосыми карими глазами. Одевался он в серый костюм из простой ткани, которая называлась тогда «чертовой кожей», — брюки-галифе и рубашка с глухим воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах — сапоги из тонкого шевро, а на голове — кубанка из коричневого каракуля с кожаным верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки, и только однажды я увидела его без шапки: он был лыс. Очевидно, своей лысины он стеснялся.

Жена Бетала, Антонина Александровна, была русская, крупная и красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей: сын Володя примерно двенадцати лет и дочь Светлана (Лана) трех или четырех лет. Мальчик был очень красив и имел русские черты лица, а девочка — похожа на Бетала: скуластое личико и черные, слегка раскосые лукавые глаза. Лана была любимицей отца.

— Некрасивая будет у меня дочка, никто не умыкнет, — говорил Бетал, держа на коленях Лану.

— Она сама кого захочет умыкнет, — смеялся в ответ Бабель.

В Долинском Бабель по утрам работал или — чаще — уезжал куда-нибудь с Беталом. После обеда приходил ко мне, мы гуляли,

и он рассказывал о Бетале или передавал услышанное от него за завтраком или обедом. Я запомнила кое-что так, как пересказывал это мне Бабель.

«За мной гнались белые, — таков был один из рассказов Бетала, — я убегал в горы по знакомым тропинкам. Погоня длилась трое суток, меня уже было настигали, но я уходил. За мной охотились. Меня решили загнать, как загоняют зверя. Гнались по моим следам, я не мог остановиться. Сил оставалось всё меньше, я ничего не ел, не спал. Наконец на третьи сутки погоня прекратилась. Я так устал, что упал, а когда поднялся, то увидел перед собой большого тура. Он был совсем близко, смотрел на меня, весь дрожал, а из глаз его текли слезы. Тур плакал. Он тяжело дышал и так же, как и я, не мог бы сделать больше ни шагу. Белые гнались за мной, а я, сам того не зная, гнался за туром. И вот мы оба изнемогли и теперь стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Я первый раз в жизни видел, как плачет тур».

В Кабардино-Балкарии довольно большая площадь леса отведена под заповедник. Водятся там медведи, кабаны, лоси и много всякой птицы. Охота занимает значительное место в жизни здешних людей, и Бетал был страстным охотником. Его рассказы за столом чаще всего касались этой темы. Иногда приезжали поохотиться члены правительства из Москвы. И вот однажды на охоту приехала большая группа гостей во главе с Ворошиловым. И Бабель рассказал мне то, что слышал о Бетале от одного из его товарищей.

— Ружья были заряжены дробью. Во время охоты кто-то из неумелых гостей нечаянно всадил Беталу в живот весь заряд дроби. Но он и виду не подал, продолжал охотиться до конца. После охоты жарили птицу и ужинали, а когда все легли спать, Бетал обнажил живот и при свете костра сам и с помощью товарищей вытащил перочинным ножом более двадцати засевших глубоко дробинок. Две дробинки остались, их вытащить не удалось. Никто так ничего и не заметил. На другое утро охотились на кабанов, и только после этого, проводив гостей домой, Бетал обратился к врачу. Каковы законы гостеприимства! — заметил Бабель.

В другой раз пуля одного из гостей-охотников попала Беталу в кость ноги. На следующий день ему надо было ехать в Москву на какое-то совещание. Он с трудом натянул на больную ногу сапог и, прихрамывая, дошел до вагона. В поезде нога начала распухать, сапог пришлось разрезать и снять. В Ростове его ссадили с поезда, чтобы немедленно везти в больницу. Бетал ни за что не хотел лечь на носилки, сам дошел до машины, а потом и

до операционного стола. Ему хотели привязать к столу руки и ноги, но он воспротивился, от наркоза также категорически отказался: «У нас на Кавказе не любят насилия над человеком, не прикасайтесь ко мне, я не вскрикну, я хочу сам видеть операцию!»

«В первый раз в жизни, — рассказывал Бетал, — я видел человеческую кость. Какая красивая! Белая, как перламутровая, с голубыми и розовыми прожилками. Я видел, как врач вытащил пулю и как зашил кожу. Закончив операцию, он мне сказал: «Ну, товарищ Калмыков, всё в порядке, но охотиться на медведей Вы больше не будете». Я ответил: «Буду, доктор, и шкуру первого убитого мною медведя пришлю Вам». Я пролежал больше месяца, потом стал ходить, но нога не сгибалась в колене, ходить было неудобно. Думал я, думал, как быть, и решил опускать ее в горячую воду и потихоньку сгибать. Каждый день я проделывал эти упражнения. Сначала было очень больно, а теперь — пожалуйста! — И он покачал ногой, легко сгибающейся в колене. — Шкуру первого убитого мной медведя я послал доктору в Ростов».

Кабардино-Балкария в 1933 году была областью казавшегося немыслимым изобилия. Поражали базары, сытые лошади, тучные стада коров и овец.

Из Нальчика Бабель писал своей матери: «Я всё ношусь по области (Кабардино-Балкарской), жемчужине среди советских областей, и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно».

Когда начался сбор кукурузы, Бетал не оставил в обкоме и в учреждениях Нальчика ни одного человека. И сам он, и его жена Антонина Александровна отправились на поля. Работали целыми днями, Бетал был впереди всех, он выполнил норму по сбору кукурузы большую, чем самый опытный колхозник.

— Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии, — говорил мне Бабель. — Он первый охотник, нет ему равного. Он самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он лучший в стране наездник… Бетал всегда окружен товарищами — бывшими партизанами, вместе с которыми в давние времена он дрался с белыми. В этом я убедился сам. Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку; дорожки его были засыпаны облетевшей листвой. Вдруг неизвестно кому Бетал сказал: «Надо бы подмести дорожки». И кто-то рядом из темноты ответил: «Будет сделано!..» Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей, бывших партизан, — повторил Бабель, — а когда Сталин распорядился, чтобы у Бетала была официальная охрана и чтобы

его сопровождали телохранители, он с трудом переносил это и страшно над охранниками издевался. Недавно мы ездили с Беталом на строящуюся электростанцию. Вышли из машины и пошли по тропинке. Тотчас из другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами. Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из телохранителей: «А ну-ка, убей змею!» Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал: «Как же вы будете защищать меня, когда вы змею убить боитесь?» — и пошел дальше.

Строящаяся электростанция была гордостью Бетала, он много говорил о ней и почти ежедневно сам бывал на стройке.

Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы ликвидировать те пятнадцать процентов единоличных хозяйств, что там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне речь, произнесенную Беталом перед инструкторами:

«Побрякушки, погремушки[16] сбросьте, это вам не война. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошах[17], ешьте с ними одну и ту же пищу и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что всё хорошо, но… выйдет один старик и расскажет мне правду. Если вы всё хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день 7 Ноября! Если же вы всё провалите… унистожу, унистожу всех до одного!» (Хорошо говоря по-русски, Бетал некоторые слова немного искажал.)

— Угроза была нешуточной, инструкторы побледнели, — закончил Бабель свой рассказ…

Мне надоело мое безделье, и однажды, гуляя, я увидела женщин, убиравших в поле морковь. Я присоединилась к ним и проработала до обеда. Настроение у меня сразу поднялось, обедала я с аппетитом в первый раз за все время моего пребывания в Нальчике. Когда Бабель после обеда пришел ко мне, я ничего ему не сказала. Но Бетал уже все знал.

— Этот человек знает, что делается в его владениях в каждую минуту времени. Он не может иначе, — сказал Бабель.

И вскоре это подтвердилось еще раз. В конце октября Бетал предложил нам поехать в такое — единственное — место, откуда виден весь Кавказский хребет и одновременно две его вершины — Эльбрус и Казбек. Выехали верхом на лошадях в ясное, солнечное утро. И только на пути туда нас дважды нагоняли верховые,

которых посылал Бетал, чтобы узнать, всё ли у нас хорошо.

Мы решили провести на горе Нартух ночь, увидеть Кавказский хребет на рассвете и на другой день к вечеру возвратиться в Нальчик. Никогда раньше не видела я альпийских лугов: высоко над уровнем моря на чуть холмистой местности расстилался зеленый ковер с цветами и стояли стога свежего сена. Было очень жарко. Невозможно было себе представить, что в Москве в это время деревья стоят голые и льет холодный дождь. Ночью все сидели у костра, в большом котле варились початки кукурузы. То и дело вокруг раздавался звон и грохот — это сторожа кукурузного поля отгоняли медведей, покушавшихся на урожай.

Наконец из предрассветной мглы начали выступать горы; сумрачные, темно-синие и фиолетовые, они вдруг окрашивались в отдельных местах в розовый цвет, словно кто-то их зажигал. И вот всё вспыхнуло в разнообразных переливах красок — взошло солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. Слева — Казбек, справа — Эльбрус, между ними — цепь горных вершин.

Бабель ушел с охотниками на вышку, где можно было видеть, как кабаны идут к водопою, а потом наблюдать и охоту на них.

В письме к матери Бабель писал:

«Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров среди альпийских пастбищ и на виду у всего Кавказского хребта, от Новороссийска до Баку, — жарили целых».

Я не видела Бетала в тот день, но, наверное, он приезжал под утро, чтобы поохотиться, и затем уехал в Нальчик. Мы же оставались на горе Нартух до середины дня и возвратились в Долинское уже вечером. Позже мы ездили вместе с Беталом в Баксанское ущелье, к самому подножию Эльбруса. Солнце было горячее, и подтаивающий снег ледников стекал многочисленными ручьями в речку Баксан. Бабель, смеясь, рассказал мне:

— Беталу надоело читать, как альпинисты совершают подвиги восхождения на вершину Эльбруса и как об этом пишут в газетах, и он решил покончить с легендой о невероятных трудностях этого подъема раз и навсегда. Собрал пятьсот рядовых колхозников и без всякого особого снаряжения поднялся с ними на самую вершину Эльбруса. Теперь, когда его об этом спрашивают, он только посмеивается.

В Баксанском ущелье мы прожили несколько дней в зеленом домике Бетала недалеко от балкарского селения. Гуляя, мы находили множество бьющих из-под земли нарзанных источников, узнавая их по железистой окраске почвы вокруг.

«Несколько дней, — писал в это время Бабель своей матери, — провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык».

Бабель и здесь разъезжал вместе с Беталом по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями: «Какой народ! Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе! И как они верят Беталу! Все его помыслы — о благе народа».

Из Баксанского ущелья мы хотели было поехать верхом на лошадях на перевал Адыл-Су чтобы взглянуть оттуда на море. Однако накануне ночью в горах разыгрался буран. Пришлось возвратиться в Нальчик.

Настало 7 Ноября. С утра недалеко от города состоялись скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне.

Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Беталу какая-то бедно одетая женщина, в шали, с ребенком на руках, и сказала ему несколько слов по-кабардински. Бетал быстро обернулся к председателю облисполкома и по-русски спросил:

— Она колхозница?

— Они лодыри, — ответил тот.

Бетал что-то сказал женщине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал, до того очень веселый, стал мрачен. Бабель спросил своего соседа:

— Что сказала женщина?

Тот перевел:

— Бетал, мы колхозники и мы голодаем. Нам выдали на трудодни десять килограммов семечек. Мой муж болен, у нас нечего есть.

— А что сказал Бетал? — спросил Бабель.

— Он сказал, что завтра к ним приедет.

После окончания скачек и раздачи призов мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложил мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину сели Бетал с Бабелем, и они тронулись первыми, мы — за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера:

— А мы не могли бы их обогнать?

— У нас это не полагается, — ответил он строго.

Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну.

— Я к этому привыкла, — улыбаясь, сказала она.

Вечером нас пригласили на праздничный концерт. Когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, как чулки, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно припадать на колено, Бетал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне:

— Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку!

На другой день утром Бетал выполнил обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал:

— По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а затем за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины и с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставило их побледнеть. По дороге к дому женщины Бетал сказал: «Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла всех вас, прежде чем ко мне подняться». И немного погодя: «Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок — и вы проедете мимо, а я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?!»

Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же: «Эти люди — лодыри, они не хотят работать».

Мы подъехали к маленькой покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж женщины, укрытый лохмотьями, и агонизировал. (Именно это слово — «агонизировал» — употребил Бабель.) В комнате было прибрано, но почти пусто. На столе — мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал всё осмотрел, сказал несколько слов больному колхознику — спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райкома, сказал: «Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома. Чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда и им было выплачено всё, что полагается на трудодни». Затем, выйдя во двор, добавил: «Чтобы был скошен весь бурьян и там, — показал он на дальний угол двора, — была построена уборная». Затем сел в машину, и мы уехали, — закончил рассказ Бабель.

Назначенный Беталом день совещания был потом изменен, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением ждали этого дня… Было слишком много желающих поехать на это совещание, и мне было неудобно

просить Бабеля взять меня с собой. Поэтому я с нетерпением ждала его возвращения.

— Перед нами стоял красивый новый дом, — рассказал мне, возвратясь, Бабель, — он был закончен, только внутри печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес: «Неужели сердца ваши затопило жиром?!» Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за рукав ближайшего ко мне человека и спросил: «Что он говорит?» Оглянувшись, тот ответил: «Ругает один человек». Голос Бетала звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа: «Что он говорит?» «Ругает все люди», — ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И наконец, когда Бетал стал что-то выкрикивать и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает, словами «Да здравствует Сталин!», еще раз толкнул соседа и спросил: «Что говорит он?» Тот повернулся ко мне и сказал: «Он говорит, что надо строить уборные». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь.

Рассказы Бабеля о Бетале продолжались. Запомнился и такой:

— Бетал созвал девушек Кабардино-Балкарии и сказал им: «Лошадь или корову купить можно, а девушку — нельзя. Не позволяйте своим родителям брать за вас выкуп, продавать вас. Выходите замуж по любви». Тогда вышла одна девушка и сказала: «Мы не согласны. Как это так, чтобы нас можно было взять даром? Мы должны приносить доход своим родителям. Нет, мы не согласны». Бетал рассердился, созвал юношей и сказал им: «Поезжайте на Украину и выбирайте себе невест там, украинские девушки гораздо лучше наших, они полногрудые и хорошие хозяйки». И послал юношей в ближайшие станицы, чтобы они оттуда привезли жен. Тогда делегация девушек пришла к Беталу и объявила: «Мы согласны».

О съезде стариков, который созывал Бетал, Бабель написал из Нальчика своей матери: «Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «Инспектор по качеству», и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка, и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный

новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину».

Бетал Калмыков был одним из тех людей, которые владели воображением Бабеля. Иногда он в раздумье произносил:

— Хочу понять: Бетал — что он такое?

В другой раз, прохаживаясь по комнате, говорил:

— Отношения с Москвой у него очень сложные. Когда к нему из Москвы приезжают уполномоченные из ЦК, они обычно останавливаются в специальном вагоне и приглашают туда Бетала. Он входит и садится у дверей на самый краешек стула. Всё это нарочито. Его спрашивают: «Правда ли, товарищ Калмыков, что у вас нашли золото в песке реки Нальчик?» Он отвечает: «Помолчим пока об этом». Он прибедняется и даже унижается перед ними, а ведь он — гордый человек, и мне кажется, что не очень их уважает. Москва платит ему тем же. Ему дают очень мало денег, очень мало товаров. А он втайне от Москвы покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил его однажды — на какие деньги? Оказалось, заставил население собирать плоды дичков (груш и яблонь), которых в лесах очень много, и построил вареньеварочные заводы. Делают там джем и варенье, продают и на эти деньги строят дороги. Кстати, нас приглашают посетить один такой завод…

И мы поехали.

Повез нас туда вместе с другими гостями сам Бетал, показал все оборудование. Любимым его выражением для похвалы было «добропорядочный работник», а для порицания — «дикий, некультурный человек». На вареньеварочном заводе он никого не ругал, наоборот, раза два про кого-то сказал: «Добропорядочный работник». Всем гостям Бетал предлагал варенье и джем в банках. Многие взяли, а мы с Бабелем отказались. Позже мне Бабель сказал:

— Бетал о вас говорит очень уважительно; наверно, потому, что вы отказались взять варенье, — засмеялся и добавил: — А может быть, потому, что вы здесь ведете такой обособленный образ жизни. Он даже собирается пригласить вас к себе на работу инженером, на строительство электростанции. Ну как, вы бы согласились?

— Нет, — ответила я. — Я собираюсь работать по проектированию метро…

Уже зимой, а может быть, весной 1934 года, находясь в Москве, Бабель узнал, что на спортивных соревнованиях в

Пятигорске, куда съехались спортсмены всех северокавказских областей, кабардино-балкарцы завоевали все первые места. С этой новостью он вошел ко мне в комнату.

— Среди народностей Северного Кавказа, — сказал он, — ни кабардинцы, ни балкарцы не выделяются особенной физической силой, тем не менее все первые места взяты ими. Что мог сказать, отправляя спортсменов на соревнования, Бетал? Дорого бы я заплатил за то, чтобы узнать это.

В феврале 1935 года Бабель написал своей матери: «В Москве — съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Сев. Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо!»

Когда позже, кажется, в 1936 году, Бетал снова приехал в Москву, Бабель мне сказал:

— Пойдите к Беталу в гостиницу и уговорите его показаться здесь врачу. Мне известно, что он болен, у него, по всей вероятности, язва желудка, а к врачу пойти не хочет. Быть может, Вас он послушается. Кстати, захватите для Ланы апельсины.

И вот я с пакетом апельсинов отправилась к Беталу. Он сидел в гостиничном номере на диванчике у стола всё в той же каракулевой шапке и ел со сковородки яичницу. Встретил меня с улыбкой. После обмена общими фразами я, нарочно пользуясь его излюбленным выражением, сказала:

— Бетал, Вы дикий и некультурный человек, почему Вы не хотите посоветоваться с врачами о вашей болезни?

Он рассмеялся и сказал:

— Да они всё выдумали, я совершенно здоров.

На том мои уговоры и закончились.

А какое-то время спустя, наверно, уже в 1937 году, Бабель сообщил мне об аресте Бетала: «Его вызвали в Москву, в ЦК, и, когда он вошел в одну из комнат, на него набросилось четыре или пять человек. При его физической силе не рисковали арестовать его обычным способом; его связали, обезоружили. И это Бетала, который мог перенести любую боль, но только не насилие над собой! После его ареста в Нальчике был созван партийный актив Кабардино-Балкарии. Поезд, которым приехали представители ЦК, был заполнен военными — охраной НКВД. От вокзала до здания обкома, где собрался актив, был образован проход между двумя рядами вооруженных людей. На партактиве было объявлено о том, что Бетал Калмыков — враг народа и что он арестован, а после окончания заседания весь партактив по проходу, образованному вооруженными людьми, был выведен к

поезду, посажен в вагоны и увезен в московские тюрьмы…»

Бетал погиб. И остался ненаписанным цикл рассказов Бабеля о Кабардино-Балкарии…

Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз, в станицу Пришибскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать Минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля Терский конный завод.

— Терский конный завод существует уже несколько лет, — рассказывал по дороге туда Бабель, — основан он специально для того, чтобы получить потомство от Цилиндра — замечательного арабского жеребца. Но вся беда в том, что от него рождаются только кобылицы. И каких бы маток к нему ни подводили, получить жеребчика пока не удается…

На заводе нам показали Цилиндра. В жизни я не видела лошади красивее. Совершенно белый, с изогнутой, как у лебедя, шеей, с серебристыми гривой и хвостом. Бабель уже успел показать мне очень породистых лошадей и на конном заводе вблизи Молодёнова, и на московском ипподроме, но там была рысистая порода; арабского скакуна я видела впервые. Я даже не думала, что такие красивые кони могут существовать на самом деле.

— Ну что? — улыбаясь, спросил Бабель. — Стоило устраивать ради него завод?

Мы провели на конном заводе почти целый день. Осматривали жеребят, перед нами проводили потомство араба — двухлеток и трехлеток. Ни одна из его дочерей не унаследовала даже масти отца.

В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места.

Он бывал здесь и в прошлые годы, навещая своих «бойцовских ребят», как он называл товарищей, с которыми встречался в 1920 году в Конармии, поэтому рассказывал о лермонтовских местах как настоящий экскурсовод.

— Для путешествий страна наша пока совсем не приспособлена, — говорил он. — Гостиницы ужасные, кровати плохие, с серыми убогими одеялами, ничем не покрытые столы.

Одну ночь мы ночевали в Пятигорске и еще одну — в Кисловодске. Я так много слышала о чудесном действии нарзанных ванн, что решила попробовать и приняла одну. Когда я после этого зашла в номер Бабеля, где он сидел за большим столом со своими приятелями, собравшимися у него «бойцовскими ребятами», и сказала, что ничего особенного не испытала от нарзанной ванны, они все дружно рассмеялись:

— Да, конечно, на двадцатичетырехлетних нарзан совсем не

действует!

Из Кисловодска Бабель проводил меня в Минеральные Воды и посадил в двухместное купе мягкого вагона. Увидев, что со мной едет военный с ромбами в петлицах, Бабель сказал: «Ну, я спокоен за Вас. Поедете под защитой нашей доблестной Красной армии». Как он ошибся! Как только поезд тронулся, мой сосед вытащил бутылку водки, потребовал у проводника два стакана и решил, что я должна составить ему компанию. Я отказалась. Он всё меня уговаривал и пил один стакан за другим. И чем больше он пил, тем развязнее становился. Мне пришлось выйти из купе и попросить проводника устроить меня где-нибудь спать. Проводник открыл четырехместное купе и постелил мне на верхней полке. Мои новые соседи в этом купе уже спали. Утром я узнала, что мой бывший сосед буянил всю ночь, кричал «Где она?» — и даже разбил что-то в вагоне-ресторане. Я рассказала моим новым соседям, тоже мужчинам, о ночном происшествии, и они не позволяли мне выходить из купе, пока кто-нибудь из них не проверит, где военный.

Так ошибся Бабель, давая характеристику «доблестной» Красной армии.

После моего отъезда в Москву Бабель, как и обещал, переехал из Нальчика в станицу Пришибская, и оттуда стали приходить его письма. Хорошо запомнились строки одного из них:

«Живу в мазаной хате с земляным полом. Тружусь. Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул: «Федор, сруководи-ка лампу!»»

У Фурера: первый Новый год с Бабелем

В Москве я снова попала в окружение своих друзей и знакомых, но все они показались мне неинтересными, их разговоры не занимали меня. Я поняла, что очень скучаю без Бабеля. А незадолго до Нового года я получила письмо из Кабардино-Балкарии, в котором Бабель писал: «Я человек суеверный и непременно хочу встретить Новый год с Вами. Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку, буду встречать».

31 декабря 1934 года Бабель встретил меня в Горловке в дубленом овчинном полушубке, меховой шапке и валенках и повез к Вениамину Яковлевичу Фуреру, секретарю Горловского горкома, у которого остановился.

Вечером Бабель вдруг мне сказал: «Когда Вы сошли с поезда, у Вас было лицо Анны Карениной». Очевидно, он понял, что во мне по отношению к нему произошла перемена. Мы объяснились, и я согласилась жить в будущем вместе.

Мы встречали Новый год втроем: Фурер, Бабель и я. Жена Фурера, балерина Харьковского театра Галина Лерхе, приехать не смогла.

Квартира Фурера в Горловке, большая и почти пустая, была обставлена только необходимой и очень простой мебелью. Хозяйство вела веснушчатая, очень бойкая девчонка, веселая и острая на язык. Она говорила Фуреру правду в глаза и даже им командовала; он покорно ей подчинялся, и это его забавляло.

— Преданный человек и, как ни странно, помогает в моей работе — не дает стать чиновником, — говорил Фурер.

Он был очень красив. Высокий, хорошо сложенный, с веселыми светлыми глазами и белокурой головой. «Великолепное создание природы», — говорил про него Бабель.

Фурер был знаменитым человеком, о нем много писали. Прославился он тем, что создал прекрасные по тем временам условия жизни для шахтеров и даже дорогу от их общежития до шахты обсадил розами. Бабель говорил:

— Тяжелый и грязный труд шахтеров Фурер сделал почетным, уважаемым. Шахтеры — первые в клубе, их хвалят на собраниях, им дают премии и награды; они самые выгодные женихи, и лучшие девушки охотно выходят за них замуж.

За столом под Новый год Фурер смешно рассказывал, как его одолевают корреспонденты, какую пишут чепуху и как один из них, побывавший у его родителей, написал: «У стариков Фуреров родился кудрявый мальчик». Бабель весело смеялся, а потом

часто эту фразу повторял.

В Горловке Бабель захотел спуститься в шахту — посмотреть на работу забойщиков. К нам присоединился приехавший в Горловку писатель Зозуля. В душевой мы переоделись в шахтерские комбинезоны, на грудь каждому из нас повесили лампочку и в клети «с ветерком» спустили на горизонт 630. С нами были инженер и начальник смены. Разрабатывался наклонный, под углом 70 градусов, пласт угля толщиной около двух метров, расположенный между горизонтами 630 и 720.

В очень небольшое отверстие первым спустился инженер, потом я, затем начальник смены, Бабель и последним Зозуля. Спускаться пришлось в полутьме, при свете наших довольно тусклых лампочек; воздух был насыщен угольной пылью, она сразу же забила нос, рот, глаза. Бревна, распирающие породу там, где пласт угля был уже выработан, располагались на расстоянии примерно полутора метров одно от другого, поэтому спуск был чрезвычайно сложным для меня, приходилось все время пребывать в каком-то распятом состоянии, стараясь вытянуться как можно больше. При этом было совершенно нечем дышать и почти ничего не видно. Руки и ноги вскоре онемели, сердце заколотилось, и я была в таком отчаянии, что готова была опустить руки и упасть. Но идущий впереди все-таки помогал мне — просто брал мою ногу и с силой ставил ее на бревно. Поневоле руки мои отрывались от верхних бревен. Вдруг я коснулась спиной породы и почувствовала облегчение. Опираясь, спускаться было уже много легче, но никто раньше об этом мне не сказал. Волнуясь за Бабеля (рост его ненамного превышал мой, к тому же он страдал астмой), я просила идущего за мной начальника смены помочь ему и сказать, чтобы он опирался спиной.

Справа от нас рубили уголь — он сыпался вниз; везде, где были рабочие, ругань стояла невообразимая. Это было традицией, без этого не умели добывать уголь. В одном месте мы передвинулись ближе к забою. Уголь искрился и сверкал при свете лампочек. Это был настоящий антрацит.

Бабель с забойщиками не разговаривал: очевидно, говорить ему было трудно. Я взглянула на него. Лицо его было совершенно черное, как и у всех, белели только белки глаз и зубы. Он тяжело дышал. Мы начали спускаться дальше; показалось, что стало легче, может быть, стал более пологим пласт. Последние несколько метров съехали просто на спине в кучу угля и чуть-чуть не угодили в вагонетку. Спустившись по приставной лесенке, мы оказались в довольно большой штольне, потолок и стены ее были побелены и воздух чист. Как ни предупреждал начальник смены откатчиков: «Тише — женщина!» — мат не прекращался. А какой-

то веселый паренек, увидев, что появились гости, с восторгом закричал:

— Идите в насосную, вот где ругаются, красота!

Бабель сказал:

— Там, в насосной, более образованные люди, поэтому и ругань изысканней!

Смысл ругательств здесь полностью утрачивался, оставалась только внешняя форма, не лишенная изобретательности, даже поэтичности: в насосной виртуозно ругались стихами, кто под Пушкина, а кто под Есенина — можно было различить размер и стиль.

Поднялись на поверхность и пошли отмываться в душевую, где вода была какая-то особенная — конденсат отработанного пара, поэтому уголь смывался очень хорошо. У всех остались только ободки вокруг глаз, они отмылись лишь через несколько дней. Сели в машину и поехали осматривать коксохимический завод. Большие цеха с какими-то агрегатами, покрытыми инеем, работали автоматически; рабочих нигде не было, только наблюдающий инженер. Температура в этих агрегатах, наполненных аммиаком, очень низкая. В результате их работы получалось удобрение для полей. Я ходила с трудом: так ныло у меня всё тело, особенно трудно давались спуски и подъемы — хождение по этажам.

Лицо Бабеля было спокойно и вид такой, как будто он и не проходил только что через угольный ад. Он всем интересовался и задавал инженеру вопросы.

Фурер отсутствовал два дня — ездил к жене в Харьков. Возвратившись, он с воодушевлением рассказывал о своих планах преобразования Горловки: здесь будет больница, там — городской парк, а там — театр. Он мечтал о сокращении рабочего дня шахтера до четырех часов в день.

20 января 1934 года Бабель писал из Горловки своей матери: «Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции».

Планов своих в Горловке Фуреру осуществить не пришлось. Каганович потребовал его в Москву для работы в Московском комитете партии. В том же 1934 году мы вместе с ним и Галиной Лерхе были на авиационном параде в Тушине. Проезжая по какой-то боковой улочке, чтобы избежать потока машин, направлявшихся в Тушино, мы увидели склад с надписью: «Брача песка строго воспрещается». Эта надпись дала повод Бабелю

вспомнить целый ряд таких же курьезных объявлений. Вот одно из них: «Рубить сосны на елки строго воспрещается», он заметил его в Крыму.

Парад смотрели с крыши административного здания, где собрались знатные гости, и стояли рядом с А. Н. Туполевым, который тогда был в зените славы, впоследствии чуть не угасшей совсем. Впереди, ближе к парапету, стояли Сталин и другие члены правительства.

Некоторое время спустя мы еще раз встретились с Фурером на творческом вечере Галины Лерхе. Вечер был устроен в каком-то клубе, кажется, на улице Разина; зал был небольшой, но набит битком. Танцы Галины Лерхе, характерные и выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они «в стиле Айседоры Дункан», с которой он был знаком.

В последний раз я видела Фурера осенью 1936 года. Бабель незадолго перед этим уехал в Одессу, а я в его отсутствие решила, что ему не следует больше жить в одной квартире с иностранцами. Поэтому я позвонила Фуреру и сказала, что мне нужно с ним поговорить, не откладывая; он пригласил меня прийти вечером. Дверь мне открыла всё та же бойкая девчонка из Горловки. Я застала хозяина в кабинете за письменным столом. Целью моего визита было объяснить ему, что Бабелю в связи с общей сложившейся тогда ситуацией (шли судебные процессы над «врагами народа») нельзя жить вместе с иностранцами, ему нужна отдельная квартира. Бабель, наверное, высмеял бы мои соображения, если бы был дома. Однако Фурер во всем со мной согласился и обещал о квартире подумать. Я обратила внимание, что ящики его письменного стола выдвинуты и что он, слушая меня, извлекал оттуда письма и какие-то бумаги и рвал их на мелкие клочки. На столе был уже целый ворох изорванной бумаги. Меня не очень удивила эта операция, я решила, что он просто наводит порядок в своем письменном столе.

Но вскоре я получила от Бабеля письмо из Одессы, в котором он писал: «Сегодня узнал о смерти Ф. Как ужасно!» Почему-то я долго ломала себе голову: кто из наших знакомых имеет имя или фамилию на букву Ф? — и никого не нашла. Я и не подумала о Фурере: никак не могла заподозрить в неблагополучии человека, стоящего у власти и так близко к благополучному Кагановичу, а искала это имя совсем в других кругах наших знакомых.

Когда же весть о смерти Фурера дошла и до меня, я поняла, что разговаривала с ним накануне его самоубийства. Это было в субботу, а в воскресенье он уехал на дачу и там застрелился. От Бабеля я позже узнала, что Сталин был очень раздосадован этим

и произнес: «Мальчишка! Застрелился и ничего не сказал». Человек слишком молодой, чтобы принадлежать в прошлом к какой-либо оппозиции, ничем не запятнанный, бывший на отличном счету, — понять причину угрожавшего ему ареста было просто немыслимо. А я тогда все же искала причину, наивно полагая, что без нее человека арестовать нельзя.

О судьбе Галины Лерхе мне рассказала жена Николая Робертовича Эрдмана Валентина Ивановна Кирпичникова, балерина.

Когда Каганович пригласил Фурера на работу в Москву, он устроил перевод балерины Лерхе из Харькова в московский Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. После смерти Фурера ее арестовали и сослали в лагерь в Сибирь.

Прошло много лет, и уже после смерти Сталина группа артистов театра выехала с гастролями в сибирские города. Возвращаясь с гастролей, на маленькой станции кто-то из артистов в одной немолодой и уже некрасивой буфетчице узнал Галину Лерхе. Повидаться и поговорить с ней собралась вся группа, а художник театра снял с поезда свой чемодан и сказал: «Я нашел здесь то, о чем мечтал все эти годы», — и остался на этой маленькой станции. Оказалось, что он был влюблен в Галину Лерхе с момента ее появления в театре, но никто об этом не знал. Через какое-то время Лерхе вышла замуж за этого художника, и они уехали в Харьков. Несмотря на то что у них родилась дочь, брак оказался непрочным, и они развелись. Галина Лерхе осталась в Харькове, преподавала хореографию начинающим балеринам, а ее дочь выросла, получила образование журналиста и уехала работать в Томск. О последнем мне рассказала Ирина Ильинична Эренбург. Оказалось, что Лерхе каждый год в свой отпуск едет к дочери в Томск и останавливается в Москве у приятельницы Ирины Ильиничны.

Я попросила Ирину Ильиничну передать приятельнице мой номер телефона, чтобы Галина могла мне позвонить, когда снова будет в Москве.

И она позвонила… Мне так хотелось поговорить с ней о Фурере, о ней самой, увидеться с ней и вспомнить прошлое. Но неожиданно она сказала: «Я так много страдала из-за этого человека, что не хочу вспоминать ни о нем, ни о годах в лагере и не хочу из-за этого встретиться с вами», — и положила трубку.

Бывает и так, но редко. Чаще всего все мы, травмированные на всю жизнь расстрелом мужей, как это ни тяжело, хотим встречаться друг с другом и говорить о тех, кто невинно пострадал в те зловещие годы.

Но в январе 1934 года, когда я уезжала из Горловки, веселый

и полный надежд Фурер вместе с Бабелем провожал меня на вокзал…

В Николоворобинском нас встретил Штайнер, вероятно, уже подозревавший, что джентльменское соглашение с Бабелем — «никаких женщин в доме» — грозит нарушиться. Мы же решили, что надо подготовить его к этому постепенно, и поэтому через несколько дней сняли для меня комнату на 3-й Тверской-Ямской в трехкомнатной квартире одного инженера. Кроме супругов, в этой квартире жила домработница Устя, веселая, уже немолодая женщина. Она любила порассказать о жизни своих хозяев, и тогда Бабеля нельзя было от нее увести. Особенно веселил его обычный ответ Усти на мой вопрос по телефону: «Как дома дела?» — «Встренем — поговорим».

Вот одна из историй, рассказанных Бабелю Устей: «Жду, жду хозяина, всё нет и нет. Ну, легла спать, уснула, уж сон какой-то вижу, слышу — звонок, звонит так, что весь дом, наверное, слышит. Знаю: он. Открываю, вваливается кто-то. Не то хозяин, не то мельник какой. Как есть белый, с головы до ног чем-то обсыпанный, и кричит во всё горло: «Устя, квасу!» Ну, тут вижу: хозяин. Сдираю с него шапку, шубу, ругаю на чем свет стоит. Поснимала с него все, в постелю уложила, а сама до утра отмывала и отчищала шубу, шапку, ботинки, брюки, всё как есть. Утром хозяин рассказывает: вышел из гостей поздно, трамваи уж не ходют, да и вскочил в какой-то грузовик, а в нем что-то было вроде цемента или порошка какого. Вот и вывалялся!»

А потом мы с Бабелем совершили предательство: когда я насовсем переселялась в Николоворобинский, забрали Устю с собой.

Метропроект до войны

Приехав из Горловки в Москву в январе 1934 года, я застала дома письмо от Маки Тыжновой из Ленинграда, куда она переехала из Новосибирска и работала там по проектированию бумажных заводов. Мака написала мне, что в конце января в Ленинграде будет проходить конференция по железобетону, где будет выступать профессор Лолейт, крупнейший тогда специалист, с очень интересным докладом. Мака предлагала мне приехать на конференцию и остановиться у нее. Меня очень соблазняла и сама конференция, и встреча с Макой.

Бабель должен был возвратиться в Донбасс снова, чтобы закончить сбор материалов о жизни шахтеров. Еще до своего отъезда он заказал мне железнодорожный билет в Ленинград и через две недели обратно, забронировал для меня номер в гостинице «Европейская» и оставил денег на жизнь. Бабель считал, что мне будет интересно пожить в Ленинграде, осмотреть его музеи, выставки и побывать в театрах.

В первый раз я была в Ленинграде весной 1933 года в командировке, но всего на три дня и побывала только в Петергофе и Ораниенбауме, самого города почти не видела. Конференция по железобетону длилась несколько дней по утрам и вечерам, и мы с Макой не пропускали ни одного ее заседания. Кроме замечательного доклада профессора Лолейта, было много и других, сделанных инженерами, приехавшими из разных городов Советского Союза. В перерывах между заседаниями мы с Макой ходили к ней обедать.

Она жила в старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, в доме, принадлежавшем семье Лермонтовых, где родилась мать Маки Елизавета Владимировна Лермонтова и бабушка Маки, которая была еще жива. Помимо Маки и ее бабушки, в отдельных квартирах дома, отобранного большевиками, жили тетя Маки Александра Владимировна с мужем и маленьким сыном и холостой ее дядя Владимир Владимирович Лермонтов.

Обедали мы в большой комнате с лепными амурами на потолке, с зеркальными простенками с позолоченным обрамлением. Я познакомилась со всеми членами этой семьи и влюбилась в трехлетнего хорошенького мальчика Мишу, сына Александры Владимировны, которого поставили на письменный стол, чтобы показать мне.

Когда конференция закончилась, я могла еще остаться в Ленинграде на неделю, и все свободное время мы не расставались

с Макой — ходили в Эрмитаж, Русский музей, на выставки и в театры. Гулять по городу было тогда почти невозможно из-за страшных холодов с пронизывающим ветром и сыростью, и я в Сибири никогда так не замерзала, как тогда в Ленинграде.

Возвратившись в Москву, я поняла, насколько этот город теплее и уютнее для жизни, чем Ленинград.

Мое желание работать в Метропроекте не угасло, и я пошла в Гипроавиа к Вере Яковлевне Кравец. Я все еще дружила с секретаршей Охотникова Марией Алексеевной; именно она как-то сказала, что муж Веры Яковлевны, Самуил Миронович Кравец, работает в Метропроекте начальником архитектурного отдела. Я попросила Веру Яковлевну познакомить меня с ним, и она пригласила меня к себе на обед в день 8 Марта.

Дня через два после этого Самуил Миронович познакомил меня с начальником конструкторского отдела Метропроекта Михаилом Абрамовичем Рудником, и я сообщила ему о желании работать в его отделе. Рудник сразу же начал меня отговаривать: работа очень сложная, работаем по вечерам, для женщины будет трудно и т. д. Очевидно, я, молодая и хорошо одетая женщина, не внушала Руднику никакого доверия.

Я сказала, что трудностей не боюсь, и настаивала на своем. Тогда заместитель Рудника Илютович спросил меня, умею ли я рассчитать своды. И я ответила, улыбнувшись, что умею рассчитать любую конструкцию. Это мое гордое заявление, вероятно, решило дело, и я была принята в конструкторский отдел. Метропроект образовался в июле 1933 года из проектного бюро при Управлении Метростроя, существовавшего с 1931 года. И если проектное бюро располагалось на улице Куйбышева, там, где и Управление Метростроя, то для Метропроекта было выделено отдельное помещение на улице Горького — бывший Пассаж, вернее, его правая угловая часть; в левой находился и находится до сих пор Театр имени Ермоловой.

Метропроект к тому времени, когда я туда поступила, был уже сложившейся проектной организацией, состоящей примерно из девяти отделов.

Конструкторский отдел занимал несколько полутемных — из-за толстых стен здания и небольших окон — комнат, выходящих на улицу Станкевича. Более светлые комнаты с большими окнами-витринами, смотрящими на улицу Горького, были отданы под кабинеты начальства и архитектурному отделу.

У М. А. Рудника было два заместителя: Илютович и Шейнфайн; Илютович занимался линиями метро мелкого заложения, Шейнфайн — глубокого.

В 1934 году в конструкторском отделе было шесть групп,

руководителями которых были Н. М. Комаров, А. Ф. Денищенко и Е. М. Гринзайд — по глубокому заложению и Н. А. Кабанов, Л. В. Воронецкий и Н. И. Ушаков — по мелкому заложению. Я попала в группу Александра Федоровича Денищенко, занимавшуюся тогда проектированием станции «Площадь Дзержинского».

Я застала тот момент в проектировании конструкций, когда только создавалась станционная чугунная обделка и рамные тюбинги к ним. Денищенко сам лепил их из пластилина, чтобы яснее представить их себе и объяснить тем, кто будет их вычерчивать.

Первым моим заданием было составление рабочих чертежей подземного вестибюля станции «Площадь Дзержинского». Я должна была рассчитать на прочность все конструкции этого вестибюля и сделать рабочие чертежи, по которым осуществляется строительство. И я сразу же принялась за дело. Я так соскучилась по проектной работе, что готова была свернуть горы!

Вскоре после моего поступления в Метропроект состоялось общее собрание сотрудников конструкторского отдела. Начальник отдела сказал, что работы очень много, чтобы с ней справиться, надо каждому выполнить четыреста процентов от нормы. Сотрудники, привыкшие к подобным заявлениям, отнеслись к этому спокойно. Но не я — я приняла это всерьез и, так как работать мне было интересно и совсем не трудно, выполнила эти четыреста процентов плана.

Работа была сдельная, и я привела руководителя группы Денищенко в полное замешательство, заработав много денег. Начальство не знало, как можно заплатить такую сумму за месяц только что поступившему молодому инженеру. Какой они нашли выход, мне неизвестно, заплатили много, но, наверное, не в четыре раза, а, может быть, в два или в два с половиной раза больше по сравнению с другими инженерами. Появилась и статья в стенной газете под заголовком «Равняйтесь по Пирожковой!» Так в первый же месяц работы я стала знаменитостью Метропроекта.

К подземному вестибюлю примыкал тоннель для эскалаторов с чугунной обделкой. Примыкание требовалось запроектировать в железобетоне; я решила для наглядности показать это примыкание, которое мы называли «оголовок», в аксонометрической проекции.

Пока чертила аксонометрию, все подходили к моему чертежу, смотрели, удивляясь, как сложно она выглядит: на половине оголовка было показано расположение арматурных стержней. Как

хорошо, что в студенческое время мне нравилась начертательная геометрия, и я смогла — не без труда — все же справиться с этой задачей.

Денищенко был очень доволен. Мой чертеж в карандаше после того, как была снята калька и отсинены копии, долго висел на стене в конструкторском отделе. (Писать о своей работе в конструкторском отделе Метропроекта мне не совсем удобно, потому что это очень похоже на хвастовство.)

Я продолжала выполнять разные задания по вестибюлям станций метрополитена; эту привычную работу я делала очень быстро и каждый раз перевыполняла план. И это продолжалось до тех пор, пока в Метропроекте не разразился крупный скандал. Технический проект первой очереди Московского метрополитена отказалась утверждать комиссия из-за того, что расчет чугунных обделок тоннелей по способу американского инженера Хьюита комиссия нашла несостоятельным, примитивным. А как надо рассчитывать, никто не знал.

Чугунной обделкой я не занималась, но тем не менее меня вызвал начальник конструкторского отдела Рудник и в присутствии Денищенко просил заняться этим расчетом. Но почему именно меня? Думаю, он вспомнил мое гордое заявление при поступлении в Метропроект: «Я умею рассчитать любую конструкцию».

Я не знала, с чего начать. Ясно было только, что обделка тоннелей не может деформироваться свободно, так как она со всех сторон зажата породой и сверху на нее давит столб породы. И я пошла в библиотеки, бегло познакомилась с конструкциями метрополитенов мира. У нас в стране опыта никакого; в Англии рассчитывают обделки по методу Хьюита, который забраковала наша комиссия. В Америке скорей построят модель тоннеля и разрушат его под нагрузкой, чем будут что-то рассчитывать. В Германии — прямолинейные конструкции мелкого заложения; во Франции — своды из местного известняка, перекрывающие иногда большие пролеты, но работающие только на сжатие.

В Ленинской библиотеке я обнаружила небольшую брошюру, где был приведен метод расчета кольца в упругой среде. Автором этой теоретической работы был инженер Шаншиев. Я внимательно ее проштудировала и поняла, что следует учитывать действие отпора породы на нижнюю половину обделки. Величина этого отпора зависит от нагрузки на верхнюю ее половину.

Мой расчет был принят и одобрен комиссией, утверждавшей технический проект, и это были мои следующие победа и успех.

С этих пор в течение многих лет я рассчитывала все обделки тоннелей круглого сечения. Снова появилась хвалебная статья в

стенной газете, а в 1935 году в связи с окончанием строительства первой очереди Московского метрополитена я была награждена правительственной наградой — медалью «За трудовое отличие». Номер моей медали — 183. Это было первое награждение метростроевцев, и из инженеров конструкторского отдела я была единственной награжденной.

Медаль в Кремле мне вручал М. И. Калинин и, по-моему, узнал меня — я приходила к нему на дачу завтракать вместе с А. С. Енукидзе.

В это время уже вовсю шло строительство второй очереди Московского метро — через площадь Свердлова до Сокольников. Возник вопрос о пересадке со станции «Охотный ряд» на станцию «Площадь Свердлова». Я не занималась этими станциями, но меня заинтересовал вопрос о пересадках.

Эскалаторы тогда, как правило, устраивались с одного торца станции, другой торец был свободен, поэтому проектировщики предложили сделать пересадку из торца одной станции в торец другой. Я видела недостатки такого решения: во-первых, пересадочный коридор получался очень длинным, во-вторых, устройство пересадки в торце станции лишало возможности применять в будущем вторые эскалаторы.

Оставалось одно, наилучшее решение пересадки — из центра одной станции в центр другой. Но надо было решить примыкание пересадочного коридора к центрам станций «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова». Станции находились на разной глубине, поэтому надо было решить два пересадочных узла: на станции «Охотный ряд» в виде спуска вниз из центра среднего зала и прохода под боковым залом под действующим путем. К станции «Площадь Свердлова» надо было примкнуть сверху на уровень мостика над путем в боковом тоннеле. Сам пересадочный коридор получился вдвое короче, чем при пересадке из торца в торец.

Я, занимаясь совсем другими проектами, сделала оба пересадочных узла и показала начальнику конструкторского отдела. Он нашел решение очень смелым и решил показать его нашему постоянному консультанту профессору Всеволоду Михайловичу Келдышу. Всеволод Михайлович был человек старый, засыпавший на совещаниях, но умный, знающий и смелый, в отличие от нашего начальства.

Посмотрев внимательно мои чертежи, он проект одобрил и сказал, что это наилучшее решение пересадочных узлов для всех будущих пересадок. И действительно, как оказалось, пересадки в дальнейшем решались так, как я это предложила в 1936 году.

Наш сметный отдел подсчитал экономичность этого решения,

и получалось, что мне полагается премия в сумме более 25 тысяч рублей. Но никаких денег я не получила: порядок в Метропроекте заведен был такой, что нет отдельных авторов — автором всех предложений считается Метропроект в целом.

Но зато когда началось архитектурное оформление станций метрополитена, то архитекторы были признаны авторами станций, несмотря на то что никакой ответственности за станцию не несли, а только обкладывали готовые конструкции мрамором.

Когда станция «Маяковская» была уже построена, ее оформлением занялся архитектор Алексей Николаевич Душкин. Он ужасно огорчился, увидев, что средний зал этой станции имеет огромное пространство сверху, перекрытое сводом и никак не использовавшееся из-за прямолинейных распорок, поставленных между опорами среднего свода. Душкин обратился к авторам проекта станции с просьбой убрать хотя бы часть распорок в пролетах между колоннами. Ему хотелось в перекрытии среднего зала станции создать купола, где можно было бы спрятать лампы освещения и украсить станцию мозаичными панно из смальты.

Авторы проекта станции «Маяковская», инженер Гринзайд и два американских инженера, помогавших ему, категорически отказались. Тогда начальник архитектурного отдела Кравец посоветовал Душкину поговорить со мной и познакомил нас. Я полностью согласилась с Душкиным и пообещала что-нибудь предпринять.

Я решила создать равнопрочную конструкцию взамен выброшенных распорок. В каждом пролете я оставила по три распорки против колонн, а средние четыре выбросила. Равнопрочной конструкцией должна была стать железобетонная плита с овальным отверстием посредине для устройства в нем купола. Железобетон должен был взять на себя давление, приходящееся на выброшенные распорки, и, работая совместно с оставленными распорками, усилить их. Начальство такой проект отвергло, несмотря на одобрение Келдыша: он был специалист по железобетону, а тут речь шла о совместной работе железобетона и металла.

Тогда был приглашен самый крупный специалист по мостам и металлическим конструкциям профессор Николай Станиславович Стрелецкий. Мои противники пригласили его в надежде, что уж он-то никогда не согласится с проектом, где железобетон работает совместно с металлом. Профессор Стрелецкий внимательно познакомился сначала с чертежом станции «Маяковская», потом так же внимательно осмотрел мой проект, задал несколько вопросов о том, как я рассчитала свою

конструкцию, и сказал, что конструкция вполне грамотная. Никто из начальства мой чертеж так и не подписал, и Душкин передал копию с него на строительство только с моей подписью. Это был мой первый конфликт с начальством. Впоследствии такие конфликты возникали не раз.

К тому времени на станции «Маяковская» распорки были уже установлены почти на всей ее длине. Душкин познакомил меня с начальником строительства Гоциридзе, и тот пригласил меня прийти на станцию, когда будут выбивать первые распорки. Мы с Гоциридзе стояли поблизости, на таких же распорках; выбиваемые распорки вылетали с шумом, и было ясно, что распорки напряжены, но нигде никаких деформаций не появилось.

В следующий раз я пришла на «Маяковскую», когда станция была полностью закончена. Мы прошлись с архитектором Душкиным по пустому среднему залу, и он рассказал мне, что за разрешением на нержавеющую сталь для отделки металлических конструкций ему пришлось обращаться к Сталину.

В тридцатые годы по Москве ходили слухи, что любимчиками Сталина являются авиаконструкторы и летчики, а также метростроевцы. Им он уделял особое внимание, материалов и денег не жалел. Это не помешало Сталину в 1937 году, а может и раньше, репрессировать виднейших авиаконструкторов: Туполева, Королева и других, а также нескольких наиболее интеллигентных метростроителей. В конструкторском отделе Метропроекта был арестован Е. М. Гринзайд, единственный из наших инженеров, владевший английским языком.

С Бабелем в Николоворобинском переулке: Андре Мальро

Через несколько месяцев нашей раздельной жизни с Бабелем Штайнер сам предложил, чтобы я переехала в Николоворобинский, и уступил мне одну из своих двух верхних комнат, считая ее более удобной для меня, чем вторая комната Бабеля. Ее Бабель вскоре отдал соседу из другой половины дома. Дверь из нее была заложена кирпичом, и наверху осталось три комнаты.

Рабочая комната Бабеля служила ему и спальней; она была угловой, с большими окнами. Обстановка состояла из кровати, замененной впоследствии тахтой, платяного шкафа, рабочего стола, возле которого стоял диванчик с полужестким сиденьем, двух стульев, маленького столика с выдвижным ящиком и книжных полок. Полки Бабель заказал высотой до подоконника и во всю длину стены, на них устанавливались нужные ему и любимые книги, а поверху он обычно раскладывал бумажные листки с планами рассказов, разными записями и набросками. Эти листки шириной 10 и длиной 15–16 сантиметров он нарезал сам. Работал он или сидя на диване, часто поджав под себя ноги, или прохаживаясь по комнате. Он ходил из угла в угол, держа в руках суровую нитку или тонкую веревочку, которую все время то наматывал на пальцы, то разматывал. Время от времени он подходил к столу или к полке и что-нибудь записывал на одном из листков. Потом хождение и обдумывание возобновлялись. Иногда он выходил за пределы своей комнаты — зайдет ко мне, постоит немного, не переставая наматывать веревочку, помолчит и опять уйдет к себе. Однажды в руках у Бабеля появились откуда-то добытые им настоящие четки, и он перебирал их, работая, но дня через три они исчезли, и он снова стал наматывать на пальцы веревочку или суровую нить. Сидеть с поджатыми под себя ногами он мог часами; мне казалось, что эта привычка зависит от телосложения.

У Бабеля никогда не было пишущей машинки, и он не умел на ней печатать. Писал он перьевой ручкой и чернилами, а позднее ручкой, которая называлась «вечное перо». Вечной она, конечно, не была, ее надо было заполнять чернилами каждый раз, когда она переставала писать. Свои рукописи Бабель отдавал печатать машинистке, и какое-то время это делала Татьяна Осиповна Стах, пока она жила под Москвой и работала в Москве.

Рукописи хранились в нижнем выдвижном ящике платяного

шкафа. И только дневники и записные книжки находились в металлическом, довольно тяжелом ящичке с замком.

Относительно своих рукописей Бабель запугал меня с самого начала, как только я поселилась в его доме. Он сказал мне, что я не должна читать что-либо, написанное им начерно, и что он сам мне прочтет, когда будет готово[18]. И я никогда не нарушала запрета. Сейчас я жалею об этом. Но проницательность Бабеля была такова, что мне казалось — он видит всё насквозь. Он сам признавался мне, как Горький, смеясь, сказал как-то:

— Вы — настоящий соглядатай. Вас в дом пускать страшно.

И я, даже когда Бабеля не было дома, побаивалась его проницательных глаз.

Ко времени нашей совместной жизни с Бабелем я уже поступила на работу в Метропроект. Он относился к моей работе очень уважительно и притом с любопытством. Строительство метрополитена в Москве шло очень быстро, проектировщиков торопили, и случалось, что я брала расчеты конструкций домой. У меня в комнате Бабель обычно молча перелистывал папку с расчетами, а то утаскивал ее к себе в комнату и, если у него сидел кто-нибудь из кинорежиссеров, показывал ему и хвастался: «Она у нас математик, — услышала я однажды. — Вы только посмотрите, как все сложно, это вам не сценарии писать…» Составление чертежей, что мне тоже иногда приходилось делать дома, казалось Бабелю чем-то непостижимым.

Но непостижимым было тогда для меня всё, что умел и знал он.

До знакомства с Бабелем я читала много, но без разбору — всё, что попадется под руку. Заметив это, он сказал:

— Это никуда не годится, у Вас не хватит времени прочитать стоящие книги. Есть примерно сто книг, которые каждый образованный человек должен прочесть обязательно. Я как-нибудь составлю вам список этих книг.

И через несколько дней он принес этот список. В него вошли древние (греческие и римские) авторы — Гомер, Геродот, Лукреций, Светоний, а также всё лучшее из более поздней западноевропейской литературы, начиная с Эразма Роттердамского, Свифта, Рабле, Сервантеса и Костера вплоть до таких писателей XIX века, как Стендаль, Мериме, Флобер. В этот список не входили произведения русских классиков и современников, так как с ними я была хорошо знакома, и Бабель это знал. Однажды Бабель принес мне два толстых тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых».

— Я купил это для Вас в букинистическом магазине, — сказал он. — И хотя в список я эту книгу не включил, прочитать

ее необходимо. Вы прочтете с удовольствием.

И действительно, написана она была так живо и занимательно, что читалась как детективный роман.

У Бабеля было постоянное желание мне что-то показать, с кем-то познакомить. Он говорил: «Это Вам будет интересно, занятно, полезно».

Зная, что я читаю книги на немецком языке, Бабель заставил меня изучить классическую немецкую литературу, для чего нанял преподавательницу. С ней я прочла многие из произведений Лессинга, Шиллера, Гёте, Гейне и выучила десятки стихотворений наизусть.

В прозе Гейне встречалось много французских слов, и Бабель решил, что мне надо изучить и французский язык. Договорился с преподавательницей из Института иностранных языков, и занятия начались. Эти уроки мне очень нравились, но, к сожалению, продолжались недолго и прекратились весной 1939 года.

При этом Бабель не хотел, чтобы я лишалась каких-либо удовольствий, свойственных молодости. Искал мне компаньонов для катания на коньках, нашел группы лыжников, с которыми я уезжала в воскресенье на дачу под Москвой. Иногда спрашивал тех, кто к нему приходил, танцуют ли они, и просил: «Потанцуйте с Антониной Николаевной, она очень любит танцевать».

Сам заводил патефон и с удовольствием смотрел, как мы танцуем. Патефон Бабель привез мне из Франции, но при этом сказал: «Из-за Вас терпел такой позор, как самый последний обыватель, из-за границы тащил патефон».

Летом 1934 года и в последующие годы мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтобы он играл. У него к лошадям был чисто спортивный интерес. Он бывал на тренировках и в конюшнях гораздо чаще, чем на самих бегах. Скачками он интересовался меньше. Но люди, встречавшиеся на бегах, азартно играющие, и их разговоры очень его интересовали. На ипподроме он жадно ко всему прислушивался, внимательно присматривался и часто тащил меня из ложи куда-то наверх, где толпились игроки наиболее азартные, скидывавшиеся по нескольку человек, чтобы купить один, но, как им казалось, беспроигрышный билет.

Впоследствии по одной домашней примете я научилась безошибочно узнавать, что Бабель уехал к лошадям: в эти дни из сахарницы исчезал весь сахар.

Кроме лошадей, Бабель с детства любил голубей. Он был знаком со многими московскими голубятниками и с большим удовольствием с ними общался. Часто, когда я была на работе, он ходил к ним один, но раза три брал меня с собой.

Мы поднимались на чердаки домов или залезали по крутой лестнице в специально построенные голубятни. Хозяева голубей встречали Бабеля радушно, тут же выпускали птиц в небо. И мы смотрели, как красиво кружатся они над домом, то белые, то вишневые, то обычной сизой окраски, но всегда какие-то особенные. Хозяева путем скрещивания старались вывести свою особую породу с хорошими летными качествами. Во время этих встреч было много разговоров о кормлении голубей, об уходе за ними и наблюдении за их повадками. Рассказывали много историй о голубях, особенно о почтовых. Бабель с любопытством слушал голубятников и, когда мы уходили, выглядел вполне довольным этим общением.

Мне кажется, что к собакам Бабель был равнодушен. При мне у него не было собаки. Но когда собака Штайнера, доберман-пинчер по кличке Дези, родила щенка от какого-то дворового пса, Бабель любил возиться с этим щенком, называя его Чуркин — по имени известного в свое время разбойника. Щенок, которым Штайнер совсем не интересовался, однажды куда-то исчез — наверное, Бабель подарил его кому-нибудь. А Дези отправили к Штайнеру в Вену, когда ему в 1937 году запретили возвращаться в СССР.

Театр Бабель посещал не очень часто, с большой осторожностью, но зато на «Мертвые души» в Художественный ходил каждый сезон. Хохотал он во время представления «Мертвых душ» так, что мне неудобно было сидеть с ним рядом.

Когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария» в Художественном театре, то рассказал мне, что актрисам очень не терпелось узнать, что же это за главная героиня и кому будет поручена ее роль. Оказалось, что главная героиня отсутствует. Бабель считал, что пьеса ему не удалась, впрочем, он ко всем своим произведениям относился критически.

Ни оперу, ни оперетту Бабель не любил. Пение же, особенно камерное, слушал с удовольствием и однажды пришел откуда-то, восхищенный исполнением Кето Джапаридзе.

— Эта женщина, — рассказывал он, — была женой какого-то крупного работника в Грузии и пела только дома, для гостей. Но мужа арестовали, и она осталась без всяких средств к существованию. Тогда кто-то из друзей посоветовал ей петь на сцене. Она выступила сначала в клубе и успех имела невероятный. После этого сделалась настоящей певицей. Поет она с чувством необыкновенным.

Когда Кето Джапаридзе давала концерт в Москве, он повел меня ее послушать. Бабель никогда не пропускал хорошие музыкальные концерты, очень любил игру замечательной

пианистки Марии Юдиной.

Однажды я возвратилась из театра и застала у Бабеля гостей — журналистов, среди которых знаком мне был только Регинин[19]. Я увидела Бабеля, бледного от усталости, прижатого к стене журналистами, о чем-то его выспрашивавшими. Набралась храбрости, подошла к ним и сказала:

— Разве вы не знаете, что Бабель не любит литературных разговоров?!

Они отошли, а Регинин сказал:

— Ну, поговорим в другой раз.

Они ушли, и Бабель сказал мне:

— Мойте ноги, выпью ванну воды…

Нелюбовь Бабеля к литературным интервью граничила с нетерпимостью. От дочери М. Я. Макотинского, Валентины Михайловны, мне известен, например, такой эпизод: когда Вера Инбер попыталась однажды (в 1927 или 1928 году) расспросить Бабеля и узнать, каковы его ближайшие литературные планы, он ответил:

— Собираюсь купить козу…

А в театре, откуда я возвратилась в тот вечер, показывали пьесу «Волки и овцы»; в перерыве между действиями присутствовавший на спектакле Авель Сафронович Енукидзе объявил зрителям только что полученную им новость: в СССР, прямо с Лейпцигского процесса, прилетел Георгий Димитров.

Киноэкран привлекал Бабеля всегда. Фильм «Чапаев» мы с ним ходили смотреть на Таганку. Он вышел из кинотеатра потрясенный и сказал:

— Замечательный фильм! Впрочем, я — замечательный зритель; мне постановщики должны были бы платить деньги как зрителю. Позже я могу разобраться, хорошо или плохо сыграно и как фильм поставлен, но пока смотрю — волнуюсь и ничего не замечаю. Такому зрителю нет цены.

Летом 1934 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Мальро. Это был довольно высокий и очень изящный человек, слегка сутулившийся, с тонким лицом, на котором выделялись большие, всегда серьезные глаза. Нервный тик то и дело проходил по его лицу. У него были темно-русые гладко зачесанные назад волосы, одна прядь часто падала на лоб, и он отбрасывал ее движением руки или головы.

Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс. Со мной был фотоаппарат, и мне захотелось снять Уэллса. Подвигаясь поближе к нему и

смотря в аппарат, я нечаянно наступила на ногу японскому послу и смутилась. Бабель, заметив это и стремясь сгладить мою неловкость, с улыбкой спросил его:

— Скажите, правда ли, что у вас в Японии размножаются почкованием?

Тот весело засмеялся, что-то шутливо ответил, и всё было замято. Мне же Бабель тихо сказал:

— Из-за Вас у нас могли быть неприятности с японским правительством. Надо быть осторожнее, когда находишься среди послов.

Снимать я больше не пыталась. Трибуна для иностранных гостей находилась близко от Мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль. После парада мы направились в ресторан «Националь» обедать. За обедом Мальро всё обращался ко мне с вопросами о том, какое место занимает любовь в жизни советских женщин, как они переживают измену, как относятся к девственности? Я отвечала как могла. Бабель переводил мои ответы и, наверно, придавал им более остроумную форму. Во всяком случае, Мальро с самым серьезным видом кивал головой.

В тот же приезд Мальро сказал, что «писатель — это не профессия». Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, живут в особых домах, имеют дачи, дома творчества, санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то раз сказал:

— Раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником[20]. Напротив обитала толстуха прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что?

Летом 1935 года в Париже состоялся Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира. От Советского Союза туда была послана делегация писателей, к ней присоединился находившийся тогда во Франции Илья Эренбург. Когда эта делегация прибыла в Париж, французские писатели заволновались: где Бабель? где Пастернак? В Москву была направлена просьба, чтобы эти двое вошли в состав делегации. Сталин распорядился отправить в Париж Бабеля и Пастернака. Оформление паспортов, которое длилось обычно месяцами, было совершено за два часа. В ожидании паспорта мы с Бабелем сидели в скверике перед зданием МИДа на Кузнецком мосту.

Возвратившись из Парижа, Бабель рассказывал, что всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами: «Я болен, я не хотел ехать, я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах… Не хочу ехать, я болен, я не могу!» В Германии каким-то корреспондентам он сказал, что «Россию может спасти

только Бог».

— Я замучился с ним, — говорил Бабель, — а когда приехали в Париж, собрались втроем — я, Эренбург и Пастернак — в кафе, чтобы сочинить Борису Леонидовичу хоть какую-нибудь речь, потому что он был вял и беспрестанно твердил: «Я болен, я не хотел ехать». Мы с Эренбургом что-то для него написали и уговорили его выступить. В зале было полно народу, на верхних ярусах толпилась молодежь. Официальная, подготовленная в Москве речь Всеволода Иванова была в основном о том, как хорошо живут писатели в Советском Союзе, как много они зарабатывают, какие имеют квартиры, дачи и так далее. Это произвело на французов очень плохое впечатление. Именно об этом нельзя было говорить. Мне было так жалко беднягу Иванова… А когда вышел Пастернак, растерянно и по-детски оглядел всех и неожиданно сказал: «Поэзия… Ее ищут повсюду… а находят в траве…» — раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял: всё в порядке, он может больше ничего не говорить.

Свою речь Бабель не пересказывал, но впоследствии от И. Г. Эренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на чистейшем французском языке, употребив много остроумных выражений; ему бешено аплодировали и кричали, особенно молодежь.

27 июня Бабель писал матери и сестре из Парижа:

«Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее, импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать как волк в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumiere и, м.б., опубликовать их»[21].

Однажды я попросила Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи Бабеля на конгрессе. Он говорил об этом с Мальро, одним из организаторов конгресса, но оказалось, что все материалы погибли во время оккупации Парижа немцами.

В апреле 1936 года Бабель ездил к Алексею Максимовичу Горькому в Тессели вместе с Андре Мальро и Михаилом Кольцовым. Возвратившись, он рассказал, что Мальро обратился к Горькому с предложением о создании «Энциклопедии XX столетия», которая имела бы такое же значение для духовного развития человечества, как «Энциклопедия» XVIII столетия, основателем и главным редактором которой был Дени Дидро. Такая энциклопедия должна была, по плану Мальро, стать основным литературным, историческим и философским оружием в борьбе за гуманизм против фашизма. Предполагалось, что в

составлении этого грандиозного труда примут участие ученые и писатели почти всех стран мира и что энциклопедия будет издана одновременно на четырех языках — русском, французском, английском и испанском. А. М. Горький, по словам Бабеля, одобрил идею создания такой энциклопедии и в качестве редактора от Советского Союза предложил Н. И. Бухарина. На это Мальро ответил, что не знает другой личности с кругозором подобной широты.

Однако полное взаимопонимание между Горьким и Мальро обнаружилось только в том, что энциклопедию надо создавать. По всем остальным вопросам, касавшимся свободы искусства и личности, а также оценки произведений таких писателей, как Достоевский и Джойс, Горький и Мальро оказались почти на противоположных позициях.

Переводчиками Мальро в этих беседах были Михаил Кольцов и Бабель. Бабель жаловался мне, что миссия была трудной — приходилось быть и переводчиком, и дипломатом в одно и то же время.

— Горькому нелегко дались эти беседы, — говорил Бабель, — а Мальро, уезжая из Тессели, был мрачен: ответы Горького не удовлетворили его…

Во второй свой приезд в СССР Андре Мальро несколько раз бывал у нас дома. Бабель любил подшутить над ним и называл его по-русски то Андрюшкой, то Андрюхой, а то подвинет к нему какое-нибудь блюдо, уговаривая: «Лопай, Андрюшка!» Тот же, не понимая по-русски, только улыбался и продолжал говорить. Как человек нервный и очень темпераментный, он говорил всегда быстро и взволнованно. Его интересовало всё: и отношение у нас к поэту Пастернаку, и критика музыки Шостаковича, и обсуждение на писательских собраниях вопросов о формализме и реализме.

Однажды я задала Мальро банальный вопрос: как ему понравилась Москва? В Москве недавно открыли первую линию метро и всем иностранцам непременно ее показывали. Мальро ответил на мой вопрос кратко: «Unpeu trop de metro» («Многовато метро»).

Позднее Бабель рассказывал мне, что во время испанских событий Мальро был командиром воздушной эскадрильи в Интернациональной бригаде; кроме того, он летал в Нью-Йорк, где, выступая с пламенными речами перед американцами, собрал миллион долларов в пользу борющейся Испании.

Кажется, в тот же раз, в 1936 году, Андре Мальро привез в Москву своего младшего брата Ролана. Бабель очень смешно рассказывал, как, приехав в Советский Союз, Ролан сказал брату:

«Если ты думаешь, что я могу прожить без женщины двое суток, ты ошибаешься». Он познакомился с какой-то русской девушкой, пригласил ее в ресторан и попытался обнять уже в такси, но тут же получил по физиономии. Девушка приказала шоферу остановиться и убежала. Ошарашенный Ролан пришел к Бабелю со словами: «Не понимаю, как в вашей стране может повыситься рождаемость, как пишут у вас в газетах». Бабель перевел мне слова Ролана, и мы оба ликовали, что наша девушка дала отпор французу. Ролан часто приходил к нам, и Бабель приводил его ко мне в комнату и говорил: «Передаю вам этого идиота, он до смерти мне надоел. Займите его чем-нибудь, ради бога». При этом Бабель мило улыбался Ролану. Мне приходилось сдерживать смех. В то время я начала самостоятельно изучать французский язык. Почему-то учебник было трудно достать, и, когда мне попался учебник для военной академии (A l'Acaddmie Militaire), я его купила. Пытаясь разговаривать с Роланом, я обнаружила, что не знаю, как по-французски цветы и духи, зато знаю такие слова, как пушки и пулеметы и много других военных терминов. Бабель очень смеялся, когда Ролан рассказал ему об этом. Иногда Бабель отправлял нас с Роланом в театр. Мучительные попытки разговаривать по-французски закончились тем, что мы неожиданно выяснили, что можно с грехом пополам объясняться по-немецки. Оказалось, что Ролан окончил в Германии какое-то учебное заведение по кинематографии и хотел работать по этой специальности у нас в СССР. Впоследствии его устроили на «Мосфильм», где снималась картина под названием «Зори Парижа». У нас он стал бывать реже, поскольку жил тогда то ли в гостинице, то ли на частной квартире. Русским языком он овладел довольно быстро. Однажды зимой пришел к нам в теплых рукавицах, и, когда гостившая у нас мама спросила: «Вам тепло?», Ролан вдруг ответил: «Мне не холодно и не жарко». Это было большое достижение. Дальнейшая судьба Ролана мне точно не известна, но кто-то из приехавших из Парижа будто бы рассказывал, что Ролан был расстрелян как немецкий шпион. Я думаю, это случилось уже после войны 1941–1945 годов.

После каждого возвращения Эренбурга из Парижа я спрашивала его об Андре Мальро. От него узнала, что Мальро боролся с фашизмом, вступив в армию де Голля, и что, когда американские войска в 1945 году заняли Париж, Мальро нашли под Парижем с пулеметом в руках. Наши газеты в последующие годы замалчивали всё, что касалось Мальро. Раза два появлялись заметки иронического содержания. А в это время Мальро, будучи министром культуры в правительстве де Голля, написал большое исследование об искусстве, и его во Франции называли

«современным Стендалем».

Я поступила на работу в Метропроект в марте 1934 года, и поэтому мне не полагался отпуск ни летом, ни осенью, а только зимой, в декабре. Бабель достал мне путевку в дом отдыха работников искусств (РАБИС) под Москвой. Он проводил меня на поезде до железнодорожной станции, от которой я в запряженных лошадью санях вместе с другими отдыхающими доехала до дома отдыха. Меня поселили в одной комнате с молодой и милой женщиной Ольгой Анатольевной Бакушинской, которая оказалась дочерью профессора А. В. Бакушинского, историка искусства. Мы познакомились с нашими соседями по столу и образовали компанию, чтобы вместе проводить время.

31 декабря ничего не обещавший мне Бабель неожиданно приехал, нагруженный шампанским, конфетами и апельсинами. Новый год мы встречали в нашей комнате, пригласив к себе новых знакомых. Ожидая наступления Нового года, мы затеяли веселую игру, в которую играли и раньше. Кто-нибудь сочинял рассказ, оставляя места для прилагательных, а потом все остальные по очереди называли прилагательные, и автор рассказа постепенно заполнял ими пустые места перед существительными. Затем получившийся текст зачитывался вслух, и неожиданные сочетания прилагательных с существительными, а иногда и сами прилагательные часто оказывались очень смешными. Бабель с удовольствием принял участие в этой игре, и его прилагательные были самыми смешными. Встретив Новый год, все пошли гулять, после чего Бабель ушел в комнату, предоставленную ему для ночлега. Кажется, это был кабинет врача. Утром после завтрака Бабель уехал в Москву. Так мы встретили 1935 год.

Летом Бабель отправился в поездку по Киевщине для сбора материалов в журнал «СССР на стройке». Готовился специальный тематический номер по свекле. У меня как раз намечался отпуск.

С Бабелем на Киевщине и в Одессе

Мы приехали в Киев, остановились в гостинице «Континенталь». Бабель встретился там с П. П. Постышевым, который выделил ему для поездки две машины и сопровождающих. Бабель говорил, что Постышев на Украине пользуется большой популярностью, что он — добрый человек, любит детей и делает для них много хорошего.

Мы направились в колхозы, где выращивали свеклу. С нами из Москвы ехал фотограф Г. Петрусов, главное действующее лицо, так как журнал «СССР на стройке» обычно состоял из фотоснимков с пояснительным текстом; Бабель должен был участвовать в общей композиции номера и написать к фотоснимкам «слова».

Останавливались мы в колхозах. Бабель с Петрусовым и представителями ЦК Украины заходили в правления и вели там обстоятельные беседы о том, что, где и как снимать.

Однажды нас привезли на ночлег в колхоз, который был настолько богат, что имел в сосновом лесу собственный санаторий. Лес был сажен рядами на белом песке, в котором утопали ноги. Бабель рассказал мне, что этот колхоз имел очень мало пахотной земли, и его председатель придумал выращивать только семена овощей и злаков; теперь колхоз поставляет семена всей области, а взамен получает хлеб и всё, что ему нужно. Мы переночевали в санатории — он был пуст, потому что летом служил для отдыха детей, а зимой там отдыхали взрослые, но дети уже пошли в школу, а взрослые еще не управились с уборкой.

Утром мы пошли завтракать в колхозную столовую. Белые хаты утопали в зелени садов, огороженных плетнями. Возле каждого дома — широкая скамья. Встретили женщину в украинском наряде, очень чистом. Она бежала домой с поля покормить ребенка. Бабель с нею немного поговорил, пока нам было по пути, и она рассказала, что работать в колхозе много легче и веселее, чем раньше, когда хозяйство было свое.

Столовая была в центре колхозного двора, сплошь забитого гусями, утками и курами. На завтрак дали по тарелке жирного супа с гусятиной и картошкой, затем жареного гуся, тоже с картошкой, и потом арбуз. На обед и ужин было то же самое, так что на следующий день мы смотреть не могли даже на живых гусей.

На следующий день утром, прихватив с собой чай и ложечку для заварки, которую он всегда возил с собой, Бабель отправился

на кухню, и после переговоров с поварихой мы наконец получили крепкий чай и набросились на него с жадностью.

Мы оставались в этом колхозе три дня. Бабель изучал хозяйство, на этот раз не имеющее отношения к свекле. Присутствовали мы также на празднике открытия школы-десятилетки, который проходил в большом зале на втором этаже. Был накрыт длинный стол, приглашены все учителя, приехали гости из Киева. Из произносившихся речей выяснилось, что в школе преподают большей частью свои, выучившиеся в Киеве или Москве и возвратившиеся в село юноши и девушки. Их заставляли показаться, они вставали и смущались.

На другое утро, покинув этот колхоз, мы проезжали полями, где шла уборка свеклы; она была навалена всюду целыми горами. Уборка и обрезка ее производились вручную. Женщины острыми ножами ловко отсекали ботву и корешки.

Обратный путь в Киев пролегал роскошным лесом. Остановились в одном бывшем помещичьем имении на берегу прелестной реки Рось, текущей по крупным валунам. Поместье было превращено в санаторий для железнодорожников; нам показали дом, парк и сиреневую горку — большой холм, сплошь усаженный кустами сирени, с тропинками и скамьями между кустов…

В Киеве Бабель встречался со старыми своими друзьями — Шмидтом, Туровским и Якиром. Шмидт был командиром танковой дивизии, и его лагерь находился под Киевом вблизи Днепра. В сентябре этого года там проводились военные маневры, и Якир пригласил на них Бабеля. Маневры продолжались несколько дней. Бабель возвращался усталый и говорил, что было «внушительно и интересно». Особенное впечатление произвели на него маневры танков и воздушный десант с огромным числом участвующих в нем парашютистов. И еще запомнился рассказ Бабеля, как на маневрах провинился чем-то командир полка М. О. Зюк. Якир вызвал его и отчитал, а тот обиделся.

— Товарищ начарм, — сказал он, — поищите себе другого комполка за триста рублей в месяц, — откозырял и ушел.

Якир и всеобщий любимец веселый Зюк были большими друзьями.

После маневров мы были приглашены к командиру танковой дивизии Дмитрию Аркадьевичу Шмидту в его лагерь на Днепре. Утром за нами в гостиницу «Континенталь» заехала военная машина, похожая на пикап. Дом, где жил Шмидт и его комсостав, был расположен в лесу. Там мы познакомились с его молодой женой Шурочкой, красивой шатенкой. Она в то время была беременна. Нас угощали пахнущей дымом костра пшенной

солдатской кашей. Ели из солдатских котелков, из солдатских кружек пили чай.

Днем поехали на рыбалку. До Днепра доехали на машине, хотя это было совсем близко от лагеря, потом плыли на лодке к какому-то омуту. Настоящей рыбалки не было, а просто взорвали несколько динамитных шашек, и мы с лодки увидели всплывающую кверху брюшком рыбу. Одна рыбина была очень большая. Это был сом. Потом собрали ту рыбу, что покрупнее, а мелочь оставили. Я с детства любила ловить рыбу на удочку и была возмущена таким варварским ее истреблением. Бабель тоже нахмурился. Вечером наш сом ожил и укусил повариху за палец. На ужин была подана большая сковорода жареной рыбы и блюдо с роскошными черными сливами, спелыми, даже с продольной трещинкой. Сливы ели в основном я и Шурочка. После ужина мы с Бабелем уехали в Киев, а на другой день поездом отправились в Москву.

В Киеве, проходя со мной по бульвару Шевченко, Бабель показал дом, где была квартира Макотинских, служившая ему пристанищем в 1929–1930 годах.

О Михаиле Яковлевиче Макотинском он рассказывал, что при белых в Одессе были расклеены объявления: за голову большевика Макотинского будет выплачено 50 тысяч золотых рублей. Чтобы не попасть в тюрьму, тот симулировал сумасшествие, и врачебная экспертиза Одесской психиатрической больницы не могла разгадать обмана.

— Он удивительный человек, — говорил Бабель, — не человек, а поэма. Находясь в рядах партии, увлекся программой «Рабочей оппозиции», за что впоследствии пострадал.

— Когда его сняли с работы, — говорил Бабель, — он нанялся дворником на ту улицу, где было его учреждение. Его бывшие сотрудники шли на работу, а он, их бывший начальник, в дворницком переднике подметал тротуар.

В ноябре 1932 года, когда Бабель был за границей, Макотинского арестовали, и больше они не встретились. Его жена, Эстер Григорьевна, после того как в 1938 году арестовали и дочь, стала жить с нами. Приглашая ее, Бабель сказал:

— Мне будет спокойнее, если она будет жить у нас.

Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию искать жилье. Сняли две комнаты, расположенные на разных уровнях, с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника; по самому краю обрыва к морю его ограничивал деревянный забор, узкая деревянная лесенка с множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка,

муж которой был рыбаком, а обедать, после того как слегка спадала жара, мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красная», а иногда в «Лондонскую». Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блюда, как баклажанная икра со льда, баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры.

После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией или заходили за Юрием Карловичем Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда забирались в отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где он бывал, — там жили его знакомые или родственники.

В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красная» на Пушкинской улице разместилось много московских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнате рядом с главным входом жил Олеша.

После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате или по обширному участку вдоль моря. Как-то я спросила, о чем он все время думает?

— Хочу сказать обо всем этом, — обвел он рукой вокруг, — минимальным количеством слов, да ничего не выходит; иногда же сочиняю в уме целые истории…

В комнате на столе лежали разложенные Бабелем бумажки, и он время от времени что-то на них записывал. Но, даже проходя мимо стола, я на них не смотрела — так строг был бабелевский запрет.

Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я и не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будил он меня завтракать, когда они уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жаренные на постном масле бычки.

Бабель водил меня на Одесскую кинофабрику посмотреть его фильм «Беня Крик», снятый режиссером В. Вильнером. Картину эту он считал неудавшейся.

Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Славин взяли рядом по участку земли где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод; дом так и не был построен. Место было голое, на крутом берегу моря. Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в тех местах какой-то особенный; кругом — море и степь.

Горький

Бабель часто бывал у А. М. Горького и тогда, когда жил в Молоденове, и когда приходилось ездить к нему из Москвы. Но он каждый раз незаметно исчезал, если в доме собиралось большое общество и приезжали «высокие» гости. Один раз из-за этого он вернулся в Москву очень рано, я была дома и открыла на звонок дверь. Передо мной стоял Бабель с двумя горшками цветущих цинерарий в руках:

— Мяса не привез, цветы привез, — объявил он.

Возвращаясь от Горького, из Горок, Бабель иногда передавал мне слышанные от Алексея Максимовича воспоминания о прошлом, рассказанные за обеденным или чайным столом.

Старый быт дореволюционного Нижнего и Нижегородского Поволжья владел памятью Горького, и она была неистощима. То вспоминал он об одном купце, который предложил красивой губернаторше раздеться перед ним донага за сто тысяч. «И ведь разделась, каналья!» — восклицал Горький. То рассказывал, что в Нижнем была акушерка по фамилии Нехочет. «Так на вывеске и было написано: «Нехочет». Ну, что ты с ней поделаешь — не хочет, и всё тут!» — смеялся Горький. Вспоминал также об одном селе, где жители изготовляли только казацкие нагайки; там же, в этом селении, услышал он «крамольную» песню и приводил ее слова с особыми ударениями, более обычного налегая на «о»:

Как на улице новой
Стоит столик дубовой,
Стоит столик дубовой,
Сидит писарь молодой.
Пишет писарь полсела
В государевы дела.
Государевы дела —
Они правы завсегда…

Всё это рассказывалось в узком кругу лиц, близких или же просто приятных Горькому, когда он неизменно бывал веселее.

В другой раз, приехав из Горок, Бабель с возмущением рассказал:

— Когда ужинали, вдруг вошел Ягода, сел за стол, осмотрел его и произнес: «Зачем вы эту русскую дрянь пьете? Принести сюда французские вина!» Я взглянул на Горького, тот только забарабанил по столу пальцами и ничего не сказал.

Весной 1934 года совершенно неожиданно заболел и умер сын Горького Максим. По этому поводу Бабель, незадолго перед тем похоронивший своего друга Эдуарда Багрицкого, 18 мая писал своей матери и сестре:

«Главные прогулки по-прежнему на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это, выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик еле двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много вечеров за бутылкой Кьянти…»

Иногда Бабель, выполняя по поручению Горького какую-нибудь работу, по нескольку дней жил в доме Алексея Максимовича в Горках. В такие дни они особенно тесно общались, и разговоры касались главным образом литературы. Мне запомнилось одно признание Горького, пересказанное Бабелем:

— Сегодня старик вдруг разговорился со мной и сказал: «Написал, старый дурак, одну по-настоящему стоящую вещь — «Рассказ о безответной любви», а никто и не заметил».

Об этом периоде Бабель 18 июня писал своим близким:

«Живу на прежнем месте — у А.М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь. По поручению А.М. занимался всё время редакционной работой и забросил сценарий». В письме речь идет о сценарии по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», который Бабель тогда начал писать.

Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:

— Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил: «Всё отрицать, какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить «нет», только «нет», всё отрицать — тогда мы бессильны».

Позже, когда уже при Ежове шли массовые аресты, вспоминая эти слова Ягоды, Бабель говорил:

— При Ягоде по сравнению с теперешним, наверное, было еще гуманное время.

Зиму и весну 1936 года Горький провел в Крыму на своей даче в Тессели. Возвратившись оттуда в середине мая, он, как известно, заболел гриппом, который быстро перешел в

воспаление легких. Положение стало угрожающим.

Еще 17 июня Бабель писал своей матери:

«Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы всё время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает Andre Gide[22]. Поеду его встречать!»

Как и многие друзья Горького, Бабель в эти дни испытывал мучительную тревогу и часто звонил на Малую Никитскую, надеясь узнать что-либо утешительное. Надежды — увы! — не оправдались, и 18 июня наступил конец.

На другой день Бабель написал об этом матери:

«…Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память — это значит жить и работать. И то, и другое делать хорошо. Тело А.М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба…»

Бабель не понимал, почему Горький допускает вмешательство ГПУ в происходящее в его доме, и очень не одобрял того, что делалось в этом доме в те годы. Когда умер Максим да еще разбился самолет, названный именем Горького, Ягода организовал для него, якобы чтобы развлечь, поездку по реке на яхте. Липа, медицинская сестра, ухаживавшая за Горьким во время болезней и вообще присматривавшая за ним, рассказывала Бабелю, что, стоя с ней рядом у борта, Горький спросил про свою невестку Надежду Алексеевну: «Ну что, пускает она его к себе или нет?» Каюты Ягоды и Надежды Алексеевны были рядом. И Бабель говорил: «Несчастный старик! Гибель сына он переживает тяжело». Про Надежду Алексеевну Бабель говорил, что она очень слабохарактерная женщина, а про Максима — что он небесталанный человек, но обстановка вокруг отца губит его. Нелегко было переносить это и Екатерине Павловне. Она любила Бабеля и откровенно говорила ему: «Ну почему Алексей допускает все это? Зачем ему все это надо? Началось все с Марии Федоровны. Этот Крючков (секретарь Горького) — ставленник Марии Федоровны».

Когда Бабель гостил у Горького на Капри, он прислал мне много фотографий с видами Италии, различных интересных памятников Рима, Флоренции и Венеции. А в одно из писем вложил две фотографии Алексея Максимовича, стоявшего возле костра в саду своего дома на Капри. На обеих фотографиях сбоку виднелся П. П. Крючков. Когда умер Горький, Екатерина Павловна начала собирать материалы для архива. Бабель мне сказал: «У Вас есть фотографии Горького, снятые мною на Капри.

Вы должны отдать их Екатерине Павловне». Я ответила: «Да, но на них есть изображение Крючкова, и видеть Е.П. его будет неприятно». В то время в Москве шли разговоры и даже были статьи в газетах, где высказывались подозрения относительно участия Крючкова в смерти Максима, которого он подговорил выкупаться в апреле в Москве-реке, и что он причастен также к смерти самого Горького. Но на это Бабель сказал: «Там другое к этому отношение», — и забрал для Екатерины Павловны эти фотографии. И я поняла, что в доме Пешковых не верят в насильственный характер смертей Максима и Алексея Максимовича.

После смерти Горького мы с Бабелем часто бывали в Горках на его даче. Екатерина Павловна или Надежда Алексеевна приглашали нас, а также Соломона Михайловича Михоэлса с женой на праздничные дни в мае или в ноябре. Для гостей в доме было целое крыло с гостевыми комнатами, где можно было провести одну или две ночи. В один из таких приездов Бабель повел меня на второй этаж показать комнату Алексея Максимовича, где он работал, болел и умер. В большой светлой комнате стоял простой, очень большой стол, на котором был идеальный порядок и лежали хорошо заточенные карандаши всех цветов и ручки. Пишущей машинки на столе, кажется, не было. Кровать узкая, покрытая пледом, и над кроватью — картина, на которой изображена молодая девушка с бледным и печальным лицом, умирающая от чахотки. Выражение лица девушки было такое грустное и безнадежное, что у меня содрогнулось сердце. И этот образ навсегда запечатлелся в моей памяти.

«Самый веселый человек из членов РАБИСа»

Сосед Бабеля по московской квартире Бруно Алоизович Штайнер, холостяк, отличавшийся необыкновенной аккуратностью, был предметом многих насмешек и выдумок Бабеля. Одна из них была придумана в ответ на мой вопрос, почему Штайнер не женат.

— В юности, — рассказывал мне Бабель, — он очень любил одну девушку. Родители держали ее в такой строгости, что никогда не оставляли наедине с молодым Штайнером. Но однажды, когда прошел уже год или два, как они были знакомы, случилось так, что молодые люди все же остались наедине. И, понимаете, когда Штайнер ее раздел, то оказалось, что у нее одна грудь нормальная, а другая — недоразвитая. При своем немецком педантизме Штайнер не мог вынести такой асимметрии и убежал. Больше с этой девушкой он никогда не встречался. А так как он ее любил, то и не мог ни на ком жениться.

Педантизм Штайнера, его умение вести хозяйство и всё в доме исправлять и чинить служили темой для веселых рассказов Бабеля. Меня он тоже не щадил. Узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от тринадцати до семнадцати лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всех уверял, что женился на поповской дочке, что поп приезжает к нему в гости и они пьют из самовара чай. Все это Бабель обращал в уморительные сценки, а меня называл «поповной». Паустовский долгое время был убежден, что это правда. Однако мой отец умер в 1923 году, то есть задолго до того, как я познакомилась с Бабелем, и не имел никакого отношения к церкви. Но Бабеля это не останавливало. Ему нравилась сама ситуация — еврей и поп. А когда он меня с кем-нибудь знакомил, то любил представлять так: «Познакомьтесь, это девушка, на которой я хотел бы жениться, но она не хочет», — хотя я давно уже была его женой.

Я уже писала, что болеть при Штайнере в нашем доме было удовольствием. А при Бабеле болеть было очень весело. Он то и дело появлялся в моей комнате и, не глядя на меня, произносил что-нибудь вроде: «Муж любит жену здоровую, сестру богатую», — и выходил из комнаты, подняв нос кверху. Это было ужасно смешно, можно было вылечиться одним только смехом. В другой раз Бабель заходил с самым серьезным видом и говорил: «Только что звонил один из ваших поклонников. Я сказал ему,

что вы больны, что у вас воспаление мочевого пузыря», — и, уже еле сдерживая смех, выходил из комнаты. Когда я заболевала гриппом, мне давали бюллетень на три дня, с тем чтобы через три дня продлить его на столько дней, сколько понадобится для выздоровления. Но я каждый раз, полежав первые три дня, бежала на работу, а вечером появлялась у врача и просила закрыть бюллетень, так как уже вышла на работу. Я просто не могла оставаться дома, поскольку работы было много и она была такая интересная, что я торопилась ее продолжить. Но вскоре я заболевала снова и, получив бюллетень на три дня, снова выходила без разрешения врача на работу. В последний раз я заболела так серьезно, с такой высокой температурой, что Бабель испугался. Приехал врач из Кремлевской больницы, обследовал меня и определил сильнейшую вирусную интоксикацию организма из-за того, что я несколько раз прекращала лечение гриппа, не дождавшись полного выздоровления. Помимо ежедневных вливаний в вену, ежедневного анализа крови, врач прописал мне по одному стакану апельсинового и полстакана лимонного сока в день. Весь наш дом пропах апельсинами и лимонами, которые покупались в Торгсине на валюту, поскольку больше их негде было взять. Бабелю пришлось покупать доллары, чтобы условие, поставленное врачом, было выполнено. Я даже не помню, сколько времени продолжалось это лечение. С большим трудом удалось справиться с высокой температурой, я стала поправляться, но ощущала невероятную слабость. Когда мое состояние улучшилось, лечащий врач сказал Бабелю, что при такой сильной гриппозной интоксикации выздоравливает лишь один человек из тысячи. Позже этот врач написал докторскую диссертацию или книгу, и мой случай вошел в нее как удивительный пример исцеления. Когда во время моего выздоровления к Бабелю приходили Утесов или Шейнин, Бабель на руках перетаскивал меня из моей комнаты в столовую и укладывал на тахту. Он хотел, чтобы я присутствовала при его веселом разговоре с Утесовым и посмеялась или послушала интересные, в основном на криминальную тему, рассказы следователя Шейнина.

Когда приходил Утесов, нашу домработницу Шуру невозможно было отослать из комнаты. Если Бабель просил ее принести то или другое, то она мигом слетает вниз на кухню, принесет и снова стоит в дверях, прижавшись к косяку. Она все смотрит на Утесова и улыбается, а Бабель говорит: «Леонид Осипович, когда вы приходите, у нашей Шуры появляется столбняк, и отодрать ее от дверного косяка просто невозможно».

Бабель писал предисловие к книге Утесова «Записки актера»,

но после ареста Бабеля его сняли. Впервые предисловие было опубликовано в книге Утесова «Спасибо, сердце» в 1976 году.

Бабель часто говорил про себя, что он — «самый веселый человек из членов РАБИСа». Веселью он придавал большое значение. Поздравляя кого-нибудь с Новым годом, он мог написать: «Желаю вам веселья, как можно больше веселья, важнее ничего нет на свете…» Как-то Бабель написал матери и сестре в Бельгию, поздравляя их с Новым годом, следующее: «С новим годомъ поздравляем, много кое чего щасте желаемъ. Денеждная атнашение как Вы себе так мы вам желаемъ, пусть на людвей болячки, а на нас хорошая настроения нападает. Божья помочь здоровля, матеряльная паложения палучаем, танцеваем, выпиваем, ладоши плескаем. Янкелевич местечка Згурицы».

Бабель любил жизнь, считал, что человек рождается для веселья и наслаждения жизнью, любил смешные ситуации, сам их придумывал и при этом очень веселился. Иногда своими розыгрышами ставил людей в неловкое положение.

Как-то раз за столом, где сидела его родная тетя, зубной врач, очень серьезная и воспитанная дама, один из гостей рассказал, что во время революции, скрываясь от преследований, он был вынужден ночевать даже в публичных домах. Бабель вдруг говорит: «Знаю, моя тетя содержала такой дом в Одессе». Что было с тетей! Она онемела, всё лицо покрылось красными пятнами.

… У меня в гостях школьная подруга из Сибири. Вдруг входит Бабель и садится на стул. Поговорил с нами, посмешил нас, а потом встал и начал пятиться задом к двери. Мы с изумлением на него смотрим, а он говорит: «Извините, но я не могу повернуться к вам спиной, у меня сзади большая дыра на брюках». Так и выпятился из комнаты.

В 1938 году в Киеве Бабель был приглашен на обед к своему школьному товарищу Мирону Наумовичу Беркову. После обеда, как рассказывала мне вдова Мирона Наумовича Клавдия Яковлевна, мужчины пошли в спальню отдохнуть. Потом пили чай, и уже вечером хозяева решили проводить Бабеля до гостиницы, где он жил. Шли, разговаривали, у гостиницы остановились и стали прощаться. «И вдруг, — рассказывает Клавдия Яковлевна, — я вижу, что через руку Бабеля перекинута какая-то одежка, а на ней что-то блестит. Присматриваюсь — и узнаю знакомые пуговицы: «Бабель, это же мое платье!» А Бабель говорит: «У меня, знаете ли, есть тут одна знакомая дама, она все время требует от меня подарков, а так как денег у меня нет, я решил подарить ей это платье»».

Платье висело в спальне, и как-то Бабель сумел его оттуда

вытащить в переднюю и захватить с собой так, что хозяева не заметили.

Клавдия Яковлевна отобрала у Бабеля свое платье, и они долго смеялись над его проделкой.

Такие проделки Бабель позволял себе часто, и чем неправдоподобнее выглядела его выдумка, тем было смешней. Свою мать мог представить кому-нибудь: «А это моя младшая сестра», а о сестре сказать: «А это наш недоносок». Писателя Гехта представил Есенину как своего сына. Бабель любил разыгрывать людей, сам играл при этом разные роли: то хромого, то скупого, то больного. Если играет роль больного, то начинает стонать на разные лады. Я вбегаю в его комнату, обеспокоенная, а он, постонав при мне еще некоторое время, вдруг рассмеется и скажет: «Я разыгрывал перед Вами «еврейские стоны»».

Играя роль скупого, он не брал в трамвае билета и выпрыгивал на ходу при появлении контролера. Мне приходилось выпрыгивать за ним. Мог попросить едущую с ним даму купить ему билет, так как якобы у него совершенно нет денег.

Бабель любил говорить о себе: «Я человек суеверный». Я от многих людей слышала, что он сейчас же возвращался домой, если черная кошка перебегала ему дорогу, и не уходил из дома, если кто-то из домашних спрашивал, куда он идет. Свидетельницей таких возвращений я не была. На перилах лестницы в нашей квартире висела подкова. «Зачем это?» — спросила я. «Это приносит счастье», — ответил Бабель, улыбнувшись. По его лукавой усмешке я понимала, что это была только игра в суеверие, которая его забавляла.

Как-то в выходной день, наверное, в 1937 году Бабель сказал мне: «Сегодня дома не обедаю. Обедаю в ресторане с Любовью Михайловной Эренбург. Эренбурги часто кормили меня в Париже». Я спросила Бабеля, сколько у него денег. Он вытащил бумажник и, заглянув в него, ответил: «Сто рублей». Я сказала, что этого мало для того, чтобы угостить такую даму, и дала ему еще сто рублей. Продолжение этого эпизода мне позже рассказала сама Любовь Михайловна. Она жила тогда в гостинице, и Бабель ни за что не хотел туда за ней заходить. Он назначил ей свидание на улице за углом и повел в ресторан гостиницы «Москва» на площади Революции. Когда они сели за столик, Бабель взял карточку меню и спросил: «Икры хотите?» Она ответила: «Нет». «Семги хотите?» — «Нет». — «Пирожных хотите?» — «Нет». Бабель предлагал ей самые дорогие блюда и вина, а она отказывалась. Заказали мало, что-то из не очень дорогих блюд. А после обеда Бабель ей сказал: «Сразу видно, что Вы — хороший товарищ. Другая бы потребовала от меня и икры, и семги, и крабов, и

тортов, и мороженого, а вас накормить стоило совсем недорого». Действительно ли Бабель боялся заходить в гостиницу, где в 1937 году, конечно же, велось наблюдение за каждым приходящим туда? Или он разыгрывал перед Любовью Михайловной роль трусливого Бабеля? Думаю, что второе.

О Бабеле часто распространялись легенды, например, одна из них — о работе в петроградском ЧК, другая — о телефонном звонке Сталина Бабелю домой. Были и другие. Мне не раз приходилось слышать, что Бабель будто бы встречался у Горького со Сталиным или же что он с Горьким ездил к Сталину в Кремль. Мне Бабель никогда об этом не говорил. А вот придумать беседу со Сталиным и весело рассказать о ней какому-нибудь доверчивому человеку — это он мог. Так, видимо, родились легенды о том, как Сталин, беседуя с Бабелем, предложил написать о себе роман, а Бабель будто бы сказал: «Подумаю, Иосиф Виссарионович»; или о том, как Горький в присутствии Сталина якобы попросил Бабеля, только что вернувшегося из Франции, рассказать о ней, как Бабель остроумно и весело рассказывал, а Сталин с безразличным выражением лица слушал и потом что-то произнес невпопад…

Никакого звонка от Сталина или встречи с ним у Бабеля, конечно же, не было, но при таких разговорах он ничего не опровергал, наоборот, мог и сам еще что-то добавить.

Наверное, когда-нибудь найдутся документы, подтверждающие его поступление в Иностранный отдел ЧК в Петрограде, где он проработал несколько месяцев в 1918 году. Но дело-то в том, что Иностранный отдел в легендах не упоминался, а только просто ЧК. Велись разговоры о том, что Бабель спускался в подвалы, присутствовал при расстрелах. Самое интересное, что Бабель никогда этого не опровергал, опровергать не пытался, а просто с таинственной улыбкой молчал. Он любил мистификации и сам их придумывал. Это его развлекало.

Некоторые исследователи Бабеля считают, что в 1930-е годы он писал роман о ЧК, и я могу поверить даже в то, что он сам подтверждал такие слухи, но я от него ничего подобного не слышала. Правда, Бабель не любил рассказывать о своих литературных делах и планах, но все же, если бы такой роман писался, за пять с половиной лет нашей совместной жизни он мог бы как-нибудь проговориться. Вероятно, Бабель работал над этой темой, но только в 1920-е годы.

Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, пока Бабель еще спал. Встав, пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя… В доме был культ чая. «Первач» — первый стакан заваренного чая — Бабель

редко кому уступал. Обо мне не шла речь: я была к чаю равнодушна и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами: «Обратите внимание: отдаю вам первач». Завтракал Бабель часов в двенадцать дня, а обедал — часов в пять-шесть вечера. К завтраку и обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться, но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно: в Метропроекте засиживались, как правило, часов до восьми-девяти.

С работы я часто звонила домой, чтобы узнать, всё ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала:

— Ну, как дома дела?

На что Бабель мог ответить:

— Дома все хорошо, только ребенок ел один раз.

— Как так?!

— Один раз… с утра до вечера…

Или о нашей домашней работнице Шуре:

— Дома ничего особенного, Шура на кухне со своей подругой играет в футбол… Грудями перебрасываются.

Иногда Бабель сам звонил мне на работу и подошедшему к телефону говорил, что «звонят из Кремля».

— Антонина Николаевна, Вам звонят из Кремля, — передавали мне почти шепотом. Настораживалась вся комната. А Бабель весело спрашивал:

— Что, перепугались?

Бабель не имел обыкновения говорить мне «Останьтесь дома» или «Не уходите». Обычно он выражался иначе:

— Вы куда-нибудь собирались пойти вечером?

— Да.

— Жаль, — сказал он однажды. — Видите ли, я заметил, что Вы нравитесь только хорошим людям, и я по Вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал Вас с ним познакомить.

Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел и проверить, хороший ли он человек, Бабелю не удалось.

Иногда он говорил:

— Жалко, что Вы уходите, а я думал, что мы с Вами устроим развернутый чай…

«Развернутым» у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения я никогда не могла устоять. Бабель сам заваривал

чай, и мы садились за стол.

— Настоящего чаепития теперь не получается, — говорил Бабель. — Раньше пили чай из самовара и без полотенца за стол не садились. Полотенце — чтобы пот вытирать. К концу первого самовара вытирали пот со лба, а когда на столе появлялся второй самовар, то снимали рубаху. Сначала вытирали пот на шее и на груди, а когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек напился чаю. Так и говорили: «Пить чай до бисера на животе».

Пил Бабель чай и с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм.

Часто бывал он в народных судах, где слушал разные дела, изучая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в Женскую юридическую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Е. М. Сперанская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился в угол и часами слушал жалобы женщин на своих соседей и мужей.

Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля по материалам судебной хроники, который он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, без всякого юридического образования, неискушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту Советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор.

Однажды с какими-то знакомыми Бабеля, журналистами из Стокгольма, приехал в СССР молодой швед Скуглер Тидстрем. Его нельзя было назвать даже блондином, до того он был беловолос: высокий, с розовым лицом и изжелта-белыми, как седина, волосами. Журналисты сказали Бабелю, что Скуглер приехал как турист, но, придерживаясь коммунистических взглядов, хотел бы остаться в Советском Союзе. Бабель почему-то оставил его жить у нас и бросил на мое попечение.

Молодой человек целыми днями сидел в комнате, читал и что-то записывал в толстые, в черной клеенке тетради. Однажды я спросила его, что он пишет. Оказалось, что он по-русски конспектирует труды Ленина. Русский язык он учил еще в Стокгольме, а говорить по-русски научился уже в СССР.

Бабель рассказал мне, что Скуглер происходит из богатой семьи; его старший брат — крупный фабрикант[23]. Но Скуглер увлекся марксизмом и отказался от унаследованного богатства; он ненавидит своего брата-эксплуататора, приехал к нам изучать труды Ленина и хочет жить и работать в СССР.

— Прямо не знаю, что с ним делать, — сказал Бабель.

Он несколько раз продлевал шведу визу, упрашивая об этом кого-то из своих влиятельных друзей.

Скуглер очень легко краснел по всякому поводу. Заметив это, Бабель мог подшутить над ним. За обедом при всех вдруг сказать: «Вот Скуглер не успел приехать, а уже влюбился в Антонину Николаевну». И без того розовое лицо Скуглера заливалось краской, которая просвечивала даже между его белых волос.

А Бабель был доволен и мог еще добавить: «Ничего удивительного, не Вы один, все в нее влюбляются». Да уж, утешил человека! Мне было жалко Скуглера, и я сердилась на Бабеля за такие шутки, тем более что правды в этих словах не было никакой.

Вскоре Скуглер, познакомившись с какой-то невзрачной девушкой, с щербинками на лице и черной челкой, влюбился в нее. Мы с Бабелем видели как-то их вместе на ипподроме. Затем эта девушка изменила Скуглеру, и он сошел с ума. Помешательство было буйным, его забрали в психиатрическую лечебницу. Бабель нанял женщину, которая готовила Скуглеру еду и носила в больницу. Сам Бабель тоже часто навещал его. Как-то раз приходит он из больницы и говорит:

— Врачи считают, что Скуглер неизлечим. Придется вызывать брата.

Брат приехал вместе с санитаром. Санитар был одет так, что мы сначала приняли его за брата-фабриканта. Скуглера надо было забрать из лечебницы, привезти на вокзал и посадить в международный вагон. Опасен был путь пешком от машины до вагона. Бабель предложил мне пройти со Скуглером этот путь. Санитар должен был ждать его в купе, а брат находился в другом купе этого же вагона и до времени ему не показывался. Я волновалась ужасно: не шутка — вести под руку буйного сумасшедшего.

Скуглер вышел из машины, я взяла его под руку, он был весел, рад встрече, спрашивал меня о моей работе. Так, болтая, мы потихоньку дошли до вагона и вошли в купе. Я и Бабель попрощались с ним, просили писать; всё сошло благополучно. А позже Бабель узнал и рассказал мне:

— Когда поезд тронулся и брат вошел к Скуглеру в купе, тот на него набросился, буйствовал так, что разбил окно, пришлось его связать и так довезти до Стокгольма. Там его поместили в психиатрическую лечебницу.

А примерно через месяц Бабель стал получать от Скуглера письма, в которых он писал о своей жизни в лечебнице, о распорядке дня, о том, какие кинокартины он смотрел.

Подписывался он всегда так: «Ваш голубчик Скуглер». Дело в том, что, когда он жил у нас, Бабель за обедом часто говорил: «Голубчик Скуглер, передайте соль» или еще что-нибудь в этом же роде.

Через несколько месяцев Скуглер совершенно вылечился и его отпустили домой. Он тут же записался в Интернациональную бригаду и уехал воевать в Испанию. Спустя, может быть, месяц после этого Бабель вошел ко мне в комнату с письмом и газетной вырезкой.

— Скуглер, — сказал он, — погиб в Испании как герой. Франкисты окружили дом, где было человек сто республиканцев, и Скуглер гранатами расчистил им путь к бегству, а сам погиб. Так написано в этой испанской газете…

Рыскинд, Михоэлс, Эйзенштейн

Вениамин Наумович Рыскинд[24], веселый рассказчик и любимец Бабеля, впервые явился к нему летом 1935 года и принес свой рассказ «Полк», написанный на еврейском языке. Впоследствии Бабель перевел этот рассказ на русский, и артист Осип Абдулов читал его со сцены и по радио.

После первого визита Рыскинда Бабель сказал мне:

— Прошу обратить внимание на этого молодого человека еврейской наружности. Пишет он очень талантливо, из него будет толк.

Рыскинд то приезжал в Москву, то исчезал куда-то, но, вернувшись в столицу, всегда появлялся в нашем доме, и Бабель охотно встречался с ним.

Рыскинд написал детскую пьесу о мальчике-скрипаче, живущем в Польше вблизи от нашей границы. Благодаря дружбе с польским пограничником мальчик слушал советские песни, а затем играл их польским ребятам. Об этом узнал польский пристав, и мальчик погиб. Сначала пьеса называлась «Берчик», потом была переименована в «Случай на границе». Театры в Харькове и Одессе подготовили постановку этой пьесы, но показать ее помешала вспыхнувшая война.

Рыскинд писал и рассказы, и песни, хорошо пел и сам иногда сочинял музыку. Сюжеты его рассказов и песен всегда были очень трогательными, человечными, с налетом печали, которая никак не устраивала редакторов наших журналов, где безраздельно господствовали бодрость и энтузиазм. Рыскиндом было задумано много киносценариев, но дописать их ему никак не удавалось.

Однажды Рыскинд нашел случай поздравить меня оригинальным способом. Я получила правительственную награду как раз в тот год, когда награждали писателей. Ордена получили, кажется, все известные писатели, кроме Бабеля, Олеши и Пастернака. В день, когда я из газеты узнала о своем награждении, вдруг открылась дверь в мою комнату и появилась сначала рука с кругом колбасы, а потом Рыскинд.

— Орденоносной жене неорденоносного мужа, — произнес он и вручил мне колбасу. Мы тут же втроем организовали чай с колбасой необыкновенного вкуса — такую, помнилось мне, я ела только в раннем детстве. Оказалось, что брат Рыскинда, колбасник, приготовил ее собственноручно.

Проделки Рыскинда были разнообразны. Он мог прислать мне коробку конфет с запиской на серой оберточной бумаге: «От рыжиго низвесного». Бабель, приняв эту коробку от посыльного,

сказал: «Хотел бы я дожить до того времени, когда Вы постареете и будете сами делать подарки молодым людям, чтобы заслужить их благосклонность».

Рыскинд участвовал в постановке кинокартины «Земля обетованная», снимавшейся в Киеве. То ли он был автором сценария в соавторстве с кем-то, то ли писал диалоги. Вдруг вся работа прекратилась: картину запретили. Бабель с большим огорчением рассказал мне об этом, а через несколько дней мы получили посылку из Киева, в ней были очень жирные гусь и поросенок. К посылке была приложена записка: «Всё, что осталось от «Земли обетованной»».

В один из приездов Рыскинда зимой Бабель, смеясь, рассказал мне, что Рыскинд зашел в еврейский театр: актеры репетировали в шубах и жаловались на холод; тогда он позвонил в райжилотдел и от имени заведующего метеорологическим бюро чиновным голосом сказал: «На Москву надвигается циклон и будет значительное понижение температуры. Необходимо как следует топить в учреждениях, и особенно в театрах». На следующий день печи в театре пылали…

Приезжая в Москву, Рыскинд останавливался в гостинице и очень смешно рассказывал, как его номером пользуются друзья. Жизнь Рыскинда была беспорядочной, и Бабелю очень хотелось приучить его к организованности и ежедневному труду.

— Подозреваю, Вениамин Наумович, — сказал как-то Бабель, — что вы ведете в Москве беспутный образ жизни, тогда как должны работать. Я поручился за вас в редакции, что ваш рассказ будет сдан к сроку. Поэтому сегодня я ночую у вас в номере и проверю, спите ли вы по ночам.

— Исаак Эммануилович, — рассказал мне потом Рыскинд, — действительно пришел, и мы ровно в двенадцать часов легли спать. Надо сказать, что я страшно беспокоился, как бы кто-нибудь из моих беспутных друзей-гуляк не вздумал притащиться ко мне среди ночи или позвонить по телефону. Беспокоился и не спал. И вдруг во втором часу ночи, — звонок. Бабель проснулся и произнес: «Начинается…» А я, готовый убить приятеля, который позорит меня перед Бабелем, подбежал к телефону, снял трубку и услышал, как незнакомый мне женский голос спрашивает… Бабеля. Я, торжествуя, позвал: «Исаак Эммануилович, Вас!» Он был смущен, надел очки и взял трубку. Слышу, говорит: «Где он, не знаю, но что в данный момент он не слушает Девятую симфонию Бетховена, за это я могу поручиться». Затем, положив трубку, сказал: «Жена разыскивает своего мужа, кинорежиссера, с которым я днем работал. Должно быть, Антонина Николаевна дала ей ваш телефон…»

Этот бездомный, нищий, с вечной игрой воображения человек был интересен и близок Бабелю.

Однажды Рыскинд рассказал мне эпизод, свидетельствующий, как он сам ценил такую же игру воображения у других. Когда ему наконец дали в Киеве комнату в новом доме, он решил устроить новоселье, хотя мебели у него не было никакой. Он купил несколько бутылок водки, колбасы и буханку хлеба, разложил все это на полу посредине комнаты на газете и пригласил друзей.

— Гости приходили, — рассказывал Рыскинд, — складывали шубы и шапки в угол и усаживались на пол вокруг газеты. Гостей было много, и сторож дома решил, что новоселье справляет не какой-то бедняк, недавно въехавший сюда с одним чемоданчиком, а получивший квартиру в этом же подъезде секретарь горкома. И вдруг входит актер Бучма. И происходит чудо. Он снимает роскошную шубу и «вешает» ее на вешалку (шуба, конечно, падает на пол), сверху пристраивает шапку, подходит к стене, вынимает расческу, причесывается, как бы смотрясь в зеркало, поправляет костюм и галстук — полное впечатление, что у стены большое трюмо. Потом поворачивается, делает вид, что открывает дверь, и проходит из передней в гостиную. Начинает осматривать картины, развешанные на стенах (стены голые), приближается, делает шаг назад, подходит к окну, отдергивает шторы, смотрит на улицу, затем задергивает их — они тяжелые, на кольцах. Подходит к столику, берет книгу, листает, затем идет к камину, греет руки, снимает с каминной полочки статуэтку и держит бережно, как очень дорогую вещь. Так Бучма, великий актер, создал у всех присутствующих иллюзию богато обставленной квартиры…

Бабель очень любил Соломона Михайловича Михоэлса и дружил с ним. О смерти его первой жены говорил:

— Не может забыть ее, открывает шкаф, целует ее платья.

Но прошло несколько лет, Михоэлс встретился с Анастасией Павловной Потоцкой и женился на ней. Мы с Бабелем бывали у них дома на Тверском бульваре у Никитских ворот. Приходили вечером, Михоэлс зажигал свечи; у него были старинные подсвечники, и он любил сидеть при свечах. Комната была с альковом, заставленная тяжелой старинной мебелью. Мне она казалась мрачной. Иногда Михоэлс приходил к нам и пел еврейские народные песни. Встречались мы и в ресторанчике почти напротив его дома — иногда он приглашал нас туда на блины. Бывали мы с ним и Анастасией Павловной и в доме Горького в Горках, уже после смерти Алексея Максимовича. Веселые рассказы Михоэлса перемежались с остроумными новеллами Бабеля. У Михоэлса был дар перевоплощения, он мог

изобразить любого человека, и, хотя внешне был некрасив, его необыкновенная одаренность позволяла этого не замечать. Бабель научил меня любить еврейский театр, директором и главным актером которого был Михоэлс.

— Играют с темпераментом у нас только в двух театрах — в еврейском и цыганском, — говорил Бабель.

Он любил игру Михоэлса в «Путешествии Вениамина III», а пьесу «Тевье-молочник» мы с ним смотрели несколько раз, и я очень хорошо помню Михоэлса в обоих этих спектаклях; не могу также забыть, какой он был замечательный король Лир.

Бабель часто заходил за мной к концу рабочего дня, и обычно не один, а с кем-нибудь, просматривал нашу метропроектовскую стенную газету, а потом смешно комментировал текст. Однажды Бабель зашел за мной вместе с Соломоном Михайловичем, а в стенной газете как раз была помещена статья под заголовком: «Равняйтесь по Пирожковой». Мы втроем отправились куда-то обедать. Я и не знала, что Бабель и Михоэлс успели прочесть в газете статью. Всю дорогу они веселились, повторяя на все лады фразу: «Равняйтесь по Пирожковой». Перебивая друг друга, с разными интонациями, они то и дело вставляли в свои речи эти слова.

Почему-то я совершенно не помню, как мы встречали новый, 1936 год. По-моему, Бабель был в это время в Москве, никуда не уезжал. Если бы он ушел куда-нибудь без меня, то я тоже пошла бы к кому-нибудь из друзей и запомнила бы это… 1937 год мы встречали вдвоем, так как я ждала ребенка, который родился 18 января.

Летом 1936 года я не брала отпуск, чтобы использовать его осенью перед декретным отпуском. Поэтому мы с Бабелем договорились, что он уедет один в Одессу, а потом переедет в Ялту для работы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном над картиной «Бежин луг», и я туда к нему приеду. Из Одессы я получила телеграмму: «Как здоровье и как фигура?» Проводить меня на вокзал Бабель поручил своему другу Исааку Леопольдовичу Лившицу.

Я выехала из Москвы в начале октября, в дождливый, холодный, совсем уже осенний день. Бабель встретил меня в Севастополе, и мы добирались до Ялты в открытой легковой машине по дороге с бесчисленным количеством поворотов. Бабель не предупредил, когда появится перед нами море: он хотел увидеть, какое впечатление произведет на меня панорама, открывающаяся неожиданно из Байдарских ворот. От восторга у меня перехватило дыхание. А Бабель, очень довольный моим изумлением, сказал:

— Я нарочно не предупредил Вас и шофера просил не говорить, чтобы впечатление было как можно сильнее. Смотрите, вон там, внизу, Форос и Тессели, где была дача Горького, а вот здесь когда-то находился знаменитый на всю Россию и даже за ее пределами фарфоровый завод…

Сверкающее море, солнце, зелень и белая извивающаяся лента дороги — всё это казалось невероятным после дождливой и холодной осени в Москве.

Как только я приехала в Ялту, мне сразу же сообщили, что Бабель не отходит от одной пожилой дамы. Сидит с ней по вечерам в кафе, подходит на бульваре и садится рядом на скамейку, ведет с ней нескончаемые разговоры. Я, смеясь, спросила Бабеля, с какой из дам он тут проводит время. И он мне рассказал: «Это — мать одной актрисы, ее зять тоже участвует в создании картины «Бежин луг». Она очень интересно разговаривает. Протягивает, например, прямо к моему лицу сумочку и говорит: «Папа, папа, хочу кушать — обедаю». Этим она хочет сказать, что у нее свои деньги, которые дал ей муж, что она не живет на деньги зятя и дочери. Зятя своего она не уважает за то, что он мало зарабатывает, но говорит об этом так: «Машка в сберкашку сбегает, деньги ему в карман сунет, а он — гости дорогие, кушайте, пейте! Как это называется? Альфонс?»» Однажды этот зять, уехавший по делам в Москву, прислал нам, уж не помню, по какому случаю, поздравительную телеграмму и подписался «Альфонс Доде». Видимо, отлично знал, как называет его теща.

Бабель так смешил меня рассказами об этой женщине, что я охотно отпускала его с ней посидеть и поговорить. Он возвращался и цитировал: «Машка сшила себе платье — рукава «а ля нарцисс»». Или еще: «Эдуард Тиссе — римский профиль, броненосец Потемкин, а наш — подмастерье у Эйзенштейна. Разденется, ляжет в постель — посмотреть не на что. Гадость!» И, конечно, Бабель не отходил от этой женщины, пока наконец до ее детей не дошли слухи о том, что она говорит. И они срочно отправили ее домой.

Работа Бабеля с Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» началась еще зимой 1935–1936 годов. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля, и, когда однажды после ухода Эйзенштейна я хотела войти в комнату, Бабель меня не пустил.

— Одну минуточку, — сказал он, — я должен уничтожить следы творческого вдохновения Сергея Михайловича…

Несколько минут спустя я увидела горящую в печке бумагу а на столе — газеты с оборванными краями…

— Что это значит? — спросила я.

— Видите ли, когда Сергей Михайлович работает, он все время рисует фантастические и не совсем приличные рисунки. Уничтожать их жалко — так это талантливо, но непристойное их содержание — увы! — не для Ваших глаз. Вот и сжигаю…

Потом я уже знала, что сразу после ухода Эйзенштейна входить в комнату Бабеля нельзя…

В первый же день по приезде, когда мы пошли в ресторан обедать, Бабель мне сказал:

— Пожалуйста, не заказывайте дорогих блюд. Мы обедаем вместе с Сергеем Михайловичем, а он, знаете ли, скуповат.

То была очередная выдумка Бабеля. У входа в ресторан мы встретились с Эйзенштейном и вместе вошли в зал. Тотчас какие-то туристы-французы вскочили с мест и стали скандировать: Vive Eisenstain! Vive Babel! Оба были смущены.

Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссе и его жены Марианны Аркадьевны. У нас за завтраком Сергей Михайлович говорил: «А какие бублики я вчера ел у Марианны Аркадьевны!» И я с утра бежала купить к завтраку горячих бубликов. В следующий раз он объявлял: «Роскошные помидоры были вчера на завтрак у Тиссе!» И я вставала чуть свет, чтобы принести с базара самых лучших помидоров. Так продолжалось до тех пор, пока мы не разговорились с Марианной Аркадьевной и не выяснили, что Сергей Михайлович точно так же ведет себя за завтраком у них. Раскрыв эти проделки Эйзенштейна, мы с Марианной Аркадьевной больше не старались превзойти друг друга.

После завтрака Бабель и Эйзенштейн работали над сценарием. Бабель писал к этой картине диалоги, но участвовал и в создании сцен. Обычно я, чтобы не мешать, отправлялась гулять или выходила на балкон и читала. Часто они спорили и даже ссорились. Когда Эйзенштейн ушел после одной из таких довольно бурных сцен, я спросила Бабеля, о чем они спорили.

— Сергей Михайлович то и дело выходит за рамки действительности. Приходится водворять его на место, — сказал Бабель. Он объяснил, что была придумана сцена: старуха, мать кулака, сидит в избе, в руках у нее большой подсолнух, она вынимает из него семечки, а вместо них вставляет спички серными головками вверх; кулаки поручили эту работу старухе — подсолнух должен быть подкинут к бочкам с горючим на МТС, а затем один из кулаков бросит на подсолнух зажженную спичку или папиросу — серные головки воспламенятся, вспыхнет горючее, а затем и вся МТС.

— И вот старуха сидит в избе, — продолжает Бабель, — вынимает из подсолнуха семечки, втыкает вместо них головки спичек, а сама посматривает на иконы. Она понимает, что дело, которое она делает, совсем не божеское, и побаивается кары Всевышнего. Эйзенштейн, увлеченный фантазией, говорит: «Вдруг потолок избы раскрывается, разверзаются небеса и бог Саваоф появляется в облаках… Старуха падает». Эйзенштейну так хотелось снять эту сцену, — сказал Бабель. — У него и раненый Степок бродит по пшеничному полю с нимбом вокруг головы. Сергей Михайлович сам мне не раз говорил, что больше всего его пленяет то, чего нет на самом деле, — «чегонетность». Так сильна его склонность к сказочному, нереальному. Но нереальность у нас нереальна, — закончил он.

Днем в хорошую погоду производились съемки «Бежина луга». Была выбрана площадка, построено здание для сельскохозяйственных машин, возле него поставлены черные смоленые бочки с горючим. Кругом была разбросана солома, валялось какое-то железо. Здание МТС имело надстройку-голубятню. У Эйзенштейна было режиссерское место и рупор. Мы с Бабелем иногда сидели вдали и наблюдали. Помню, что участвовало в съемках много статистов, набранных из местных жителей.

Вечерами мы ходили в кинозал на просмотр снятых днем эпизодов. Кадры были необыкновенно хороши. На фоне черного клубящегося дыма горящей МТС — взлетающие белые голуби, белые лошади, белая рубаха Аржанова, играющего роль начполита МТС. Эйзенштейну хотелось в этом фильме подчеркнуть черно-белую гамму как цветовое противопоставление светлого, счастливого и темного, мрачного. Он искал белых голубей, белых козочек, белых лошадей.

— Когда мы смотрели с вами пожар на МТС, — сказал мне Бабель, — во время съемок нельзя было даже предположить, что получатся такие великолепные кадры, — вот что значит мастерство!..

Еще до поездки в Ялту, весной 1935 года Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Ланьфаня. В антракте Сергей Михайлович решил пойти за кулисы.

— Возьмите с собой Антонину Николаевну, ей это будет интересно, — сказал Бабель.

И мы пошли.

Актеры находились в отдельных маленьких комнатках — актерских уборных, босые, в длинных одеяниях — и в театральных, и в простых, темных. Двери всех комнаток были открыты, актеры прохаживались или сидели. Сергей Михайлович,

а за ним и я со всеми здоровались, а они низко кланялись. С самим Мэй Ланьфанем Сергей Михайлович заговорил, как я поняла, по-китайски и говорил довольно долго. Мэй Ланьфань улыбался и кланялся.

Я была потрясена. До сих пор я знала только, что Эйзенштейн владеет почти всеми европейскими языками. Возвратившись, я сказала Бабелю:

— Сергей Михайлович говорил с Мэй Ланьфанем по-китайски, и очень хорошо.

— Он так же хорошо говорит по-японски, — ответил Бабель, рассмеявшись.

Оказалось, что Эйзенштейн говорил с Мэй Ланьфанем по-английски, но с такими китайскими интонациями, что неискушенному человеку было трудно это понять. Бабель же отлично знал, как блестяще Сергей Михайлович мог, говоря на одном языке, производить впечатление, что говорит на другом.

Однажды мы с Бабелем пришли к Эйзенштейну на Потылиху[25], где он жил.

Нас встретила домашняя работница, и когда мы, пройдя коридор и столовую, постучали к нему в кабинет, Сергей Михайлович спросил: «Бабель, вы один или с Антониной Николаевной?» Узнав, что Бабель привел меня, он произнес: «Одну минуточку» — и через некоторое время нас впустил. Комната была просторная, с большим письменным столом; стены увешаны картинами и фотоснимками. И вдруг я увидела, что некоторые из них перевернуты обратной стороной. Так вот что делал Сергей Михайлович, прежде чем нас впустить! Любопытство меня одолевало, и, улучив момент, когда Эйзенштейн и Бабель увлеклись беседой, я быстро перевернула одну из картин лицевой стороной. На ней был изображен голый мужчина, очень толстый и волосатый, сидящий на стуле спиной к зрителю. Зрелище было неприятное, и я повернула изображение снова к стене.

В этот наш визит Сергей Михайлович показал нам сувениры, привезенные им из Мексики, в том числе настоящих блох, одетых в свадебные наряды. На невесте — белое платье, фата и флёрдоранж, на женихе — черный костюм и белая манишка с бабочкой. Блохи хранились в коробочке чуть поменьше спичечной, рассмотреть их можно было только при помощи увеличительного стекла.

— Это, конечно, не то, что подковать блоху, но все же! Приоритет остается за нами, — пошутил Бабель.

В тот вечер Сергей Михайлович рассказывал много интересного о Мексике и о Чаплине, с которым был хорошо

знаком. Запомнилось, как Чаплин на съемках не щадил себя: если в картине он должен был упасть или броситься в воду, то десятки раз проделывал это, отрабатывая каждое движение.

— Так же беспощаден он, — говорил Эйзенштейн, — и к другим актерам.

Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого Бабель в письмах ко мне именовал «Эйзен», он очень уважал, считал его гениальным человеком во всех отношениях и называл себя его «смертельным поклонником». Эйзенштейн платил Бабелю тем же: он высоко расценивал его литературное мастерство и дар рассказчика, очень хвалил пьесу «Закат», считал, что ее можно сравнить по социальному значению с романом Золя «Деньги», так как в ней на частном материале семьи даны капиталистические отношения, и очень ругал театр (Второй МХАТ), который, по мнению Эйзенштейна, плохо поставил пьесу и не донес до зрителя каждое слово, как того требовал необычайно скупой текст.

…Однажды в Ялте, прогуливаясь, мы с Бабелем увидели, как жена везет мужа-калеку в коляске. Ноги его были укрыты пледом, лицо бледно. Бабель сказал:

— Посмотрите, как это трогательно. Вы были бы на это способны?

И я подумала тогда: «Неужели он задумывается о такой участи для себя?»

Снова в Одессе

Из Ялты в ноябре мы выехали в Одессу на теплоходе. На море был очень сильный, чуть ли не двенадцатибалльный шторм. Всю дорогу Бабель чувствовал себя ужасно, лежал в каюте совершенно зеленый, сосал лимон. На меня же шторм не действовал, я пошла ужинать в ресторан и оказалась там в единственном числе. Когда я рассказала Бабелю, что в ресторане, кроме меня, никого не было, он заметил:

— Уникум, чисто сибирская выносливость!

В Одессе мы поселились в пустой двухкомнатной квартире недалеко от Гоголевской улицы и Приморского бульвара. Завтрак готовили сами, а обедать ходили в какой-то дом, где можно было столоваться частным образом[26]. По утрам я уходила из дома и кружила по одесским улицам, а Бабель работал. После обеда и по вечерам он гулял вместе со мной. На Гоголевской улице была булочная, где мы брали хлеб, и рядом — бубличная, где всегда можно было купить горячие, осыпанные маком бублики; Бабель очень любил их и обычно ел тут же, в магазине или на улице. Однажды мы зашли в бубличную. Одновременно с нами вошел покупатель, мужчина средних лет, огляделся с недоумением по сторонам и спросил продавщицу:

— Гражданка, а хлеб здесь думает быть?

Бабель шепнул мне:

— Это Одесса.

В другой раз мы прошли мимо молодых ребят как раз в тот момент, когда один из них, сняв пиджак, говорил другому:

— Жора, подержи макинтош, я должен показать ему мой характер.

Тут же завязалась драка.

Бабель до того приучил меня прислушиваться к одесской речи, что я и сама начала сообщать ему интересные фразы, а он их записывал. Например, идут по двору нашего дома школьники, и один говорит:

— Ох, мать устроит мне той компот!

Бабель каждый раз очень веселился.

Бывали дни, когда мы отправлялись в далекие путешествия и заходили к рыбакам и старожилам, знакомым Бабеля с давних пор. Один старик — виноградарь и философ — развел чуть ли не двести сортов виноградных лоз и был известен далеко за пределами своего города; другой был внучатым племянником самого Дерибаса, основателя Одессы. Александр Михайлович Дерибас много лет заведовал Одесской публичной библиотекой и

был женат на красавице Анне Цакни, первой жене Ивана Александровича Бунина.

Беседы с рыбаками велись самые профессиональные: о ловле бычков, кефали, барабульки, о копчении рыбы, о штормах, о приключениях на море.

В Одессе Бабель вспоминал свое детство.

— Моя бабушка, — рассказывал он, — была абсолютно уверена в том, что я прославлю наш род, и поэтому отличала меня от моей сестры. Если, бывало, сестра скажет: «Почему ему можно, а мне нельзя?» — бабушка по-украински ей отвечала: «Ровня коня да свиня», то есть сравнила коня со свиньей.

Как-то раз Бабель начал неудержимо смеяться, а затем сквозь смех объяснил, что вспомнил, как однажды стащил из дому котлеты и угостил мальчишек во дворе; бабушка, увидев это, выбежала во двор и погналась за мальчишками; ей удалось поймать одного из них, и она начала пальцами выковыривать котлету у него изо рта.

Рассказ этот мог быть и чистейшей выдумкой. К тому времени я уже отлично знала, что ради острой или смешной ситуации, которая придет Бабелю в голову, он не пощадит ни родственников, ни друзей, ни меня.

Очень часто в Одессе он вспоминал свою мать.

— У моей матери, — говорил он, — был дар комической актрисы. Когда она, бывало, изобразит кого-либо из наших соседей или знакомых, покажет, как они говорят или ходят, — сходство получалось у нее поразительное. Она это делала не только хорошо, но талантливо. Да! В другое время и при других обстоятельствах она могла бы стать актрисой…

К своим двум теткам (сестрам матери), жившим в Одессе, Бабель ходил редко и всегда один; мало общался он и со своей единственной двоюродной сестрой Адой. Более близкие отношения у него были только с московской тетей Катей, тоже родной сестрой матери. Эта тетя Катя, бывало, приходила к людям, которым Бабель имел неосторожность подарить что-нибудь из мебели, и говорила:

— Вы извините, мой племянник — сумасшедший, этот шкаф — наша фамильная вещь, поэтому, пожалуйста, верните ее мне.

Так ей удалось собрать кое-что из раздаренной им семейной обстановки.

Однажды в Одессе Бабеля пригласили выступить где-то с чтением рассказов. Пришел он оттуда и высыпал на стол из карманов кучу записок, из которых одна была особенно в одесском стиле и поэтому запомнилась: «Товарищ Бабель, люди пачками таскают «Тихий Дон», а у нас один только «Беня Крик»?!»

Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы.

— Нет, — ответил он.

Оказалось, что даже такие рассказы, как «Пробуждение» и «В подвале», которые кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет. На мой вопрос, почему же он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил:

— Так рассказы получаются короче: не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, как он одет, какая у него история…

О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Сторицыным[27]. Рассказ Сторицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож «на вздыбленную розовую свинью»; ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился глазами с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: «Привет, сестричка!»

Однажды, году, наверное, в 1937-м, к нам из Одессы приехала Анна Николаевна Цакни. Бабель знал Анну Николаевну и ее второго мужа с давних пор и рассказал мне, что она — гречанка; от первого мужа, Ивана Алексеевича Бунина, у нее был сын, который в семь лет умер от дифтерита, после чего супруги расстались.

Меня поразили классическая красота ее лица и высокий рост; она совсем недавно похоронила мужа и была одета в строгое черное платье и высокие черные ботинки на шнуровке.

Анна Николаевна привезла Бабелю в подарок написанную ее мужем книгу «Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания». Книга вышла в Одессе в 1913 году тиражом всего в 1075 экземпляров.

Из этой книги я узнала, что адмирал Иосиф Дерибас с подчиненным ему отрядом в 1789 году штурмом захватил турецкую крепость Хаджибей, а в 1795 году переименовал ее в Одессу. Оказывается, на месте крепости Хаджибей когда-то существовала греческая колония Одессус, о чем знал грек митрополит Гавриил; возможно, что от слова «Одессус» и произошло название города Одесса.

Книга «Старая Одесса» у меня сохранилась, несмотря на обыск после ареста Бабеля и полное разорение квартиры во время

войны.

Эми Сяо

На улице Обуха, недалеко от нас, находился дом политэмигрантов, и к нам часто приходили гости разных национальностей. Все они были коммунистами, преследовавшимися в собственных странах. Собирались обычно на нижнем этаже, на кухне. Возвращаясь с работы, я заставала там целое общество, говорящее на разных языках. Бабель или Штайнер варили кофе, из холодильника доставалась какая-нибудь еда, и шла нескончаемая беседа. В один из таких вечеров на кухне появился китайский поэт Эми Сяо, небольшого роста, стройный, с приятными чертами лица.

Будучи коммунистом, он бежал из чанкайшистского Китая и жил временно в Советском Союзе. Он стал к нам приходить. Читал свои стихи по-китайски, так как Бабелю хотелось услышать их звучание, читал их и в переводе на русский язык. Эми Сяо очень хорошо говорил по-русски. Он с нетерпением ждал возможности возвратиться на родину, но Коммунистическая партия Китая берегла его как своего поэта и не разрешала до времени приезжать. Этот человек вдохновенно мечтал о коммунистическом будущем Китая. Однажды за обедом Бабель спросил его:

— Скажите, Сяо, каков идеал женщины для китайского мужчины?

Эми Сяо ответил:

— Женщина должна быть так изящна и так слаба, что должна падать от дуновения ветра.

Я запомнила это очень хорошо.

Летом 1937 года Эми Сяо уехал отдыхать на Черноморское побережье. Возвратившись осенью, он пришел к нам с полной девушкой по имени Ева и представил ее как свою жену. У нее было прелестное лицо с глазами синего цвета и стриженная под мальчика головка на довольно грузном теле. Когда они ушли, Бабель сказал:

— Идеалы — одно, жизнь — другое.

Вскоре после этого Эми Сяо пригласил нас на обед по-китайски, который приготовил сам. Мы впервые были в доме политэмигрантов, где Эми Сяо занимал одну из комнат. Теперь с ним жила и Ева. Немецкая еврейка, она бежала из Германии в Стокгольм к своему брату, известному в Швеции музыканту. В Советский Союз она приехала уже из Швеции как туристка; познакомилась на Кавказе с Эми Сяо и вышла за него замуж.

Обед по-китайски состоял из супа с трепангами и редиской,

рыбы и жареной курицы с рисом. И рыба, и курица были мелко нарезаны и заправлены какими-то китайскими специями. Нам были предложены для еды палочки, но ни у нас с Бабелем, ни даже у Евы ничего не получалось, и мы перешли на вилки. Только Эми управлялся с палочками великолепно. На десерт Ева приготовила сладкую сметану с вином и ванилью, в которую перед самой едой всыпались понемногу кукурузные хлопья. Это блюдо было европейским.

К зиме 1937 года Эми Сяо получил квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке. Мы с Бабелем были приглашены на новоселье. Ужин был также из китайских блюд, на этот раз приготовленных Эми, но нас поразил только чай. Подали маленькие чашечки и внесли наглухо закрытый большой чайник, а когда открыли пробку, затыкавшую носик чайника, и стали разливать чай, по комнате распространился непередаваемый аромат. Нельзя было понять, на что похож этот удивительный и сильный запах. Чай пили без сахара, как это принято в Китае.

Зимой 1938-го или в начале 1939 года Эми Сяо с семьей (у него уже был сын) уехал в Китай, сначала в коммунистическую его часть, а затем в Пекин. Там у них родилось еще два сына. Ева стала отличным фотокорреспондентом какой-то пекинской газеты и раза два приезжала ненадолго в Советский Союз.

Работа в Метропроекте в 1937–1939 годах

Неожиданно для меня в начале 1937 года я была переведена из группы Денищенко в группу Л. В. Воронецкого, проектировавшего тогда станцию «Киевская» мелкого заложения. Архитектором этой станции был Д. Н. Чечулин. Группе Воронецкого надо было помочь справиться с большим объемом работ. Конструкцией самой станции «Киевская» я не занималась, но было еще много срочной работы по вестибюлям и другим пристанционным объектам.

Если мой прежний начальник Денищенко был человеком спокойным, тактичным и серьезным, то Воронецкий совсем наоборот — неуравновешенным, вспыльчивым, любил посмеяться, но мог и накричать на сотрудников по пустякам. Тем не менее был он человеком не злым, а скорее даже добрым.

Начальником строительно-монтажного управления (СМУ), строящего станцию «Киевская», был Н. А. Стримбан. Он иногда приходил к Воронецкому для решения каких-либо вопросов. Однажды я имела неосторожность сказать, что у Стримбана красивые глаза. Воронецкий при следующей же встрече с ним прямо при всех сотрудниках заявил: «Антонина Николаевна говорит, что у Вас красивые глаза». Разве я могла подумать, что Воронецкий это ему скажет, но для него, легкомысленного человека, всё было нипочем!

Меня назначили руководителем группы, присвоив звание старшего инженера. При распределении работ по третьей очереди мне досталась станция «Павелецкая-радиальная» с перегонами к ней и всеми вспомогательными сооружениями, обслуживающими станцию.

Еще работая над проектом станции «Маяковская», я поняла, что проект можно значительно улучшить и много лишнего металла убрать. Большой расход металла и трудоемкость работ ставили под сомнение будущее применение станций такого типа. И тем не менее я предложила для станции «Павелецкая-радиальная» аналогичную конструкцию, внеся в нее изменения. Я увеличила расстояние между колоннами, ширину и высоту среднего зала и значительно сократила расход металла, заменив прямолинейные распорки в среднем зале на железобетонный свод и выбросив все поперечные связи между колоннами вверху и внизу.

Но у меня не было надежды, что мое предложение пройдет. Тогда я решила, что имя архитектора может помочь в решении вопроса, и обратилась к самому влиятельному тогда архитектору,

Виктору Александровичу Веснину. Увидев чертеж предлагаемой мною станции, он захотел со мной работать и ее оформлять. Зная об отрицательном отношении начальства Метростроя к моему предложению, Веснин добился приема у первого секретаря Московского комитета партии.

Вспоминаю, как мы с Виктором Александровичем сидели в приемной в ожидании окончания совещания секретарей московских районных комитетов партии. Вдруг раскрылись двери кабинета и оттуда выкатились люди-шарики в одинаковых светло-серых костюмах. Они до такой степени были похожи друг на друга не только костюмами, но и округлостью своих фигур и лиц, что, увидев их, мы с Виктором Александровичем переглянулись, я чуть не расхохоталась, а Виктор Александрович улыбнулся.

Наш прием у партийного секретаря прошел успешно: ему понравились мой чертеж станции и наши доводы в его защиту, и он тут же согласился издать приказ о сооружении такой станции у Павелецкого вокзала.

Воспользовавшись тем, с каким уважением и доброжелательностью секретарь отнесся к академику Веснину, я попросила его разрешить нам построить над вестибюлем этой станции здание для Метропроекта. Я сослалась на то, что помещение пассажа на улице Горького совершенно не годится для проектной работы. Веснин поддержал меня, и разрешение было получено. Тут же машинистке было продиктовано распоряжение, подписано, и мы его получили. Затем мы с Виктором Александровичем зашли к нам в Метропроект, и он впервые встретился с нашим руководством.

Моя инициатива о постройке здания для Метропроекта над вестибюлем станции «Павелецкая» вызвала большое недовольство начальства. Им очень не хотелось уезжать из центра Москвы, с улицы Горького, а комнаты они занимали светлые, в отличие от проектировщиков, которым особенно был нужен дневной свет.

Итак, остаток 1938-го и весь 1939 год я со своей группой занималась проектированием станции «Павелецкая-радиальная». Обделки боковых и среднего тоннелей типовой пилонной станции собирались из тюбинговых колец диаметром 9,5 метров. Для станции «Павелецкая», ее боковых тоннелей и среднего свода, кроме стандартных тюбингов, потребовалось запроектировать два особых: один — для боковых тоннелей, боковой верхний, и другой для среднего тоннеля — центральный опорный. Изготовление этих двух нестандартных тюбингов потребовало моей поездки весной 1939 года на чугунолитейный завод в Днепропетровск.

В Днепропетровске я остановилась в хорошей гостинице на главной улице города. Город поразил меня своим расположением возле Днепра, широкой и многоводной реки с красивыми берегами. На высоком берегу располагался городской парк, откуда можно было смотреть на водные соревнования лодок и яхт, а также слушать классическую музыку, исполняемую оркестром.

На чугунолитейный завод надо было довольно долго ехать от гостиницы на трамвае.

С мастерами цеха мы обсудили, каким способом будут изготовляться наши нестандартные тюбинги, а также какой степени точности должна быть их обработка, и я дня через три уехала в Москву.

Рождение дочери Лиды

Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами всё побелело от первого снега, в изумлении спросила:

— Папа, что это?! Именины?!

Бабель, узнав об этом, пришел в восторг. Он очень любил детей, а жизнь его сложилась так, что ни одного из своих троих детей ему не пришлось вырастить.

Бабель женился в 1919 году на Евгении Борисовне Гронфайн. Ее отец был в Киеве богатым человеком, имел там заводы, производящие сельскохозяйственные машины.

Отец Бабеля покупал эти машины, а затем продавал их в своем магазине в Одессе. Знакомство молодых людей состоялось, по всей вероятности, в те годы, когда Бабель стал студентом Коммерческого института в Киеве, а Евгения Борисовна, закончив гимназию, училась в частной художественной школе.

Окончив институт, Бабель уже в 1916 году уехал в Петроград, где познакомился с Горьким; печатался в его журнале «Летопись», в 1918 году работал в газете «Новая жизнь» и переводчиком в ЧК и только после этого возвратился в Одессу и женился.

В мае 1920 года Бабель уехал в Конармию как корреспондент газеты «Красный кавалерист», имея документы от ЮгРОСТА на имя Кирилла Васильевича Лютова. В 1922 году он уезжает на Кавказ в качестве специального корреспондента газеты «Заря Востока», но теперь уже с женой и сестрой. Когда в 1923 году заболел его отец, Бабель был в Петрограде и, возвратившись в начале 1924 года в Одессу, уже не застал его в живых[28].

После смерти отца Бабель с семьей — женой, матерью и сестрой — переехал в Москву, где остановился поначалу у своего друга Исаака Леопольдовича Лившица, но вскоре поселился под Москвой в небольшом городке Сергиев Посад.

В декабре 1924 года сестра Бабеля Мария (Мери) уехала в Брюссель к своему жениху, Григорию Романовичу Шапошникову. А уже в августе 1926 года к ней отправилась мать Бабеля. В этом же году его жена Евгения Борисовна, уехала в Париж. Поводом для отъезда жены считалось ее желание продолжить там обучаться живописи, но известно, что еще до ее отъезда, в декабре 1925 года, Бабель переехал из Сергиева Посада в Москву к Тамаре Владимировне Кашириной. 13 июля 1926 года у Бабеля и Тамары Владимировны родился мальчик, кстати, того же числа и месяца, когда родился и сам Бабель. Мальчику дали имя Эммануил, в честь деда. В 1927 году, похоронив в Киеве отца

Евгении Борисовны и ликвидировав там обстановку квартиры, Бабель должен был отвезти ее старую и больную мать в Париж, к дочери. Семейная жизнь с Тамарой Владимировной не сложилась, и, уезжая в Париж, он надеялся наладить свои отношения с Евгенией Борисовной. Бабель пробыл в Париже до конца 1928 года, и за это время Тамара Владимировна вышла замуж за писателя Всеволода Иванова, который усыновил мальчика, дав ему свою фамилию и переменив имя Эммануил на Михаил. Так Бабель потерял своего первого ребенка, с которым ему не разрешалось даже видеться.

В Париже отношения Бабеля с Евгенией Борисовной наладились, но переехать в Москву она, очевидно, не захотела, и Бабель возвратился домой один, без семьи. В июле 1929 года у Евгении Борисовны родилась дочь Наташа, с которой Бабель смог встретиться только в 1932 году, когда снова приехал в Париж.

Про Тамару Владимировну и их мальчика Бабель, познакомившись со мной, никогда не говорил, но, пока он был в Париже, его ближайшие друзья мне всё рассказали. Уважая его желание, я никогда не заводила с ним разговоров на эту тему.

Но зато о Наташе я знала всё; Бабель показывал мне ее фотографии, рассказывал, что о ней пишет Евгения Борисовна, просил меня покупать ей игрушки и книжки. Наташа была очаровательным ребенком и так мне нравилась, что я захотела иметь такую же веселую и лукавую девочку.

В январе 1937 года наша девочка родилась. Мне хотелось дать ей имя Мария, но Бабель сказал, что у евреев не полагается давать детям имена живых родственников — сестру Бабеля звали Марией. В роддом Бабель принес мне книгу Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», в ней я встретила имя Лидия и решила, что девочку назовем этим именем. Бабель согласился.

Вечером того дня, когда Бабель отвез меня в родильный дом, к нему пришел Сергей Михайлович Эйзенштейн с Перой Моисеевной Аташевой. Бабель не отпускал их домой до тех пор, пока не узнал, что родилась девочка. Это случилось 18 января в 2 часа 40 минут ночи.

Помню день, когда Бабель приехал в роддом за мной и дочерью. Уже одетая в свое обычное платье, я вдруг увидела, как открылась входная дверь вестибюля и вошел Бабель с таким количеством коробок шоколадных конфет в руках, что должен был эту стопку поддерживать подбородком. И тут же стал раздавать эти коробки врачам и сестрам, которые попадались ему на пути. Кому надо и кому не надо. В этом весь Бабель!

Домой поздравить нас с рождением дочери первым пришел

Эйзенштейн. Пришел и поставил на стол какой-то предмет, упакованный в бумагу и перевязанный красной лентой с бантом. Когда бумагу развернули, в ней оказался детский белый горшочек, а внутри — букетик фиалок. И где он в январе достал фиалки? Кстати, купить в магазине такой необходимый предмет, как ночной горшочек, в нашей стране тогда было невозможно.

Летом 1937 года, когда нашей дочери Лиде было пять месяцев, Бабель снял дачу на станции Белопесоцкая под Каширой.

Белопесоцкая расположена на берегу Оки. Купаться и греться на берегу реки на чистейшем белом песке было одним из самых больших удовольствий Бабеля. Вдвоем с ним мы часто ходили гулять в лес, но, едва только мы в него углублялись хоть немного, он начинал беспокоиться и говорил:

— Всё! Мы заблудились, и теперь нам отсюда не выбраться.

Привыкший к степным местам, он явно побаивался леса и, как мне казалось, не очень хорошо себя в нем чувствовал. С большим удивлением и даже почтительностью относился он к тому, что, куда бы мы ни зашли, я всегда находила обратную дорогу и была в лесу как дома.

— Вы колдунья? — спрашивал он. — Вам птицы подсказывают дорогу?

А дело было в том, что я выросла в сибирской тайге…

Однажды Бабель рассказал мне, как два молодых человека с ранней юности были дружны, неразлучны и очень любили друг друга. Вдруг один из них женился на женщине, ничем не примечательной и даже не очень красивой, как казалось другу. Но когда тот начинал говорить о ней плохо, друг от него отдалялся, и в конце концов дружба их прекратилась. Огорченный неженатый друг пошел к раввину и рассказал ему обо всем. Раввин ответил: «Друг мой, не пытайся развязать днем узел, завязанный ночью».

А в другой раз Бабель рассказал, что как-то зашел домой к Перецу Маркишу[29]. Дома был только отец Переца, и Бабель решил подождать. Чтобы польстить старику, он сказал: «Ваш сын пишет очень хорошие стихи». Седовласый старик помолчал, а потом ответил: «Соломон писал меньше и лучше». «Всё понимает старик», — заключил Бабель.

Перелистывая как-то на даче только что вышедшую и очень толстую книгу одного из известных наших писателей, Бабель сказал:

— Так я мог бы написать тысячу страниц. — А потом, подумав, добавил: — Нет, не мог бы, умер бы со скуки. Единственно, о чем я мог бы писать сколько угодно, — это о болтовне глупой женщины…

Бабель очень любил детей, особенно грудных. Лида спала в комнате с няней или моей мамой, когда она к нам приезжала. И вот ночью крадется в халате Бабель к кроватке девочки, наклоняется и прислушивается. Мама спрашивает: «Что Вы?» — «Боюсь, что Вы крепко заснете, а она задохнется».

Когда мы жили в Белопесоцкой на даче, Бабель однажды привез для Лиды целую кучу белья и красное платьице с белым матерчатым цветком. Приехав, он не застал нас дома. Догадавшись, что мы гуляем в сосновом лесу неподалеку, он схватил платьице и пришел к нам на поляну, чтобы надеть его на Лиду. Это было ее первое платье, до сих пор она носила летом распашонки. В платьице пятимесячная Лида сразу стала похожа на годовалую девочку. Бабель ликовал.

Как-то раз Бабель привез в Белопесоцкую погостить Таню, дочь известного наездника Н. Р. Семичева.

Девочка была так меланхолична и неподвижна, что никак нельзя было ее растормошить — она не хотела гулять, не заводила подружек, сидела больше дома и читала да ходила вечером со мной на почту, откуда я звонила в Москву, когда Бабель был там. Однажды я ее спросила, кем она хочет быть, когда вырастет. Она ответила: «Актрисой». Я чуть не расхохоталась и рассказала об этом Бабелю. «От девочки в двенадцать лет дом должен ходить ходуном, она должна вносить в дом веселье, пляски, песни, тут — вялость, замкнутость, неподвижность», — сказал Бабель.

А потом оказалось, что Таня Семичева стала актрисой, и неплохой. И так бывает в жизни.

Однажды в Белопесоцкой Бабель поймал Лиду буквально на лету. Мы смотрели, как она бойко ползает по кровати, и вдруг каким-то броском она выскочила за ее пределы и грохнулась бы об пол, если бы не Бабель. Мы тогда очень перепугались.

Лида начала ходить в десять месяцев и к году уже отлично бегала. Она еще не говорила, но преуморительно гримасничала и, видимо, понимая, что окружающих это смешит, становилась всё более изобретательной.

— Нам теперь хорошо, — сказал как-то по этому поводу Бабель. — Придут гости — занимать их не надо. Мы выпустим Лиду, она будет гостей забавлять…

А иногда, смеясь, говорил:

— Подрастет, одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при отце осталась…

1938 год мы встречали дома одни. Лиде был почти год, и она спала в соседней комнате. В 12 часов она вдруг проснулась. Бабель принес ее к нам в комнату и посадил в детское креслице, а

потом налил ей в рюмку шампанского, не больше чем с наперсток. Лида выпила с удовольствием и вдруг развеселилась, стала хохотать, размахивать руками, всё швырять на пол. Мы смеялись вместе с ней до тех пор, пока она вдруг не заснула тут же в кресле, и Бабель отнес ее в постель.

На дачу в Переделкине, где Бабель в 1938 году взял в аренду дом у Литфонда, мы с Лидой и моей мамой, приехавшей из Томска, переселились в начале лета. Позже мой брат Игорь с женой привезли к нам свою дочь Аллу, которая была примерно на год старше Лиды. И моей маме пришлось ухаживать за двумя девочками. Молодая украинская пара с девочкой пяти лет согласилась у нас жить, выполняя обязанности сторожей и прислуги. В этом году Бабель впервые не поехал со мной в отпуск и остался на даче с Лидой. Он пояснил, что не хочет оставлять девочку. А мне посоветовал: «Пригласите одну из самых добродетельных ваших подруг и поезжайте с нею. Я вам советую выбрать такой маршрут: поезжайте в Одессу, остановитесь там дня на три, а оттуда — пароходом вдоль крымского и кавказского побережий. Во время путешествия по морю вы можете сделать две сухопутные поездки. Сойдете с парохода в Симферополе, оставив за собой каюту, осмотрите панораму и город и автомобилем доедете до Ялты, а лучше даже до Ливадии, где прогуляетесь по парку и по царской тропе до Ротонды. Пешком или на автобусе прибудете в Ялту, где можно пообедать и погулять до отхода парохода. Затем снова сядете на ваш пароход и поплывете дальше. В Сочи вы снова сойдете с парохода и автобусом или автомобилем проедетесь до Гагр. Потом снова поплывете до Батуми. И где вам больше всего понравится, там вы и остановитесь. Я позабочусь, чтобы вам была забронирована каюта на пароходе от Одессы до Батуми».

Я поехала со своей сослуживицей Софьей Ильиничной Корецкой по маршруту, подсказанному мне Бабелем. Мы приехали в Одессу, остановились у Льва Марковича Порецкого в комнате его сестры Розы Марковны (очень дальние родственники Бабеля). Когда я пришла в Черноморское пароходство за билетами до Батуми, там уже была телеграмма о предоставлении нам каюты. Я не знаю, от кого была телеграмма и за кого принял меня начальник Черноморского пароходства Павлуновский, но он был так любезен, что не только дал нам каюту люкс на двоих, но и предложил свою машину на те три дня, которые мы оставались в Одессе. Машина была темно-синего цвета, длинная, с открытым верхом, и, по-моему, другой такой роскошной машины в Одессе не было. На ней мы съездили в Аркадию. Но потом я отказалась от нее, поскольку мне было неудобно ловить на себе любопытные

взгляды одесситов. Мы гуляли по Одессе пешком, заходили в кафе, по вечерам сидели на Приморском бульваре, где обычно прогуливается публика. В порт мы поехали на извозчике, как это бы непременно сделал Бабель. По дороге к пристани мы встретились с демонстрацией по поводу Международного дня молодежи и были осмеяны веселыми демонстрантами, которые вволю поиздевались над двумя девицами в больших соломенных шляпах, восседавшими на извозчике.

Каюта на пароходе была удобная, но выспаться нам не удавалось, так как под нашими окнами сидели палубные пассажиры и вели нескончаемые и довольно громкие разговоры. Утром мне принесли радиограмму «Желаю хорошего отдыха. Павлуновский». Ответственный за пассажиров помощник капитана, который принес мне радиограмму, спросил, как мы спали. Мы пожаловались, что не могли уснуть из-за разговоров под нашими окнами, и в следующую ночь он прогонял пассажиров из-под наших окон. Капитан захотел с нами познакомиться и пригласил нас к себе на мостик. И мы в основном там и проводили дневное время нашего путешествия. Я спросила Бабеля в письме: «Какую телеграмму Вы послали Павлуновскому, что он оказывает нам такое внимание?» В ответ Бабель написал: «Телеграмму подписал Евдокимов, и Вас, очевидно, принимают за его возлюбленную. Ха-ха-ха».

Как и советовал мне Бабель, мы сошли на берег в Симферополе, осмотрели город и панораму и автобусом доехали до Ливадии, прогулялись по царской тропе до Ротонды и пешком дошли до Ялты. Там в ресторане мы встретили секретаря Эренбурга Валентину Ароновну Мильман, с которой меня когда-то познакомил Бабель. С ней мы погуляли по набережной до отхода нашего парохода. В Сочи тоже сошли на берег и на автобусе доехали до Гагр по дороге, которая была уже мне знакома и по которой мы с Бабелем ехали в 1933 году. В Гаграх отдыхала сестра Сонечки Корецкой со своим мужем. Мы встретились с ней и даже пообедали все вместе. И снова поплыли на пароходе.

Первоначально мы планировали провести отпуск в Батуми. Оставив на всякий случай каюту за собой, мы пробыли в Батуми целый день. По узкоколейной дороге в открытом вагончике доехали до Зеленого мыса, но море повсюду было в нефтяных пятнах, воздух чересчур влажный, и мы решили возвратиться в Гагры. Мы сняли комнату в том же доме, что и сестра Сонечки, и прожили там, отдыхая и загорая, до конца отпуска.

Я с четырнадцати лет привыкла все заботы брать на себя и, живя с Бабелем, наслаждалась полной беззаботностью. Мне не

надо было думать, куда поехать в отпуск, как достать путевку, билет на поезд, заказать такси. Всё это он делал сам и только говорил мне: «Мы поедем или пойдем туда-то». Так как я уходила на работу, а он оставался дома, то и все распоряжения по хозяйству отдавал он сам. У нас в доме всегда была домашняя работница, и, если она уходила, Бабель тотчас же нанимал другую. К этому он привык с детства. Дома у меня была беззаботная жизнь, и, боже, как это было замечательно и непривычно для меня! На работе были моменты, когда лежащая на мне ответственность приводила меня в такое отчаяние, что я мечтала пожить при феодализме — снимать мужу сапоги, когда он придет с охоты, и ни о чем не думать, ни за что не отвечать. Но надо было брать себя в руки и казаться самостоятельной и смелой. Но как только я приходила домой, все заботы с меня сваливались, и мне предлагалось выбрать, как провести вечер, куда пойти, с кем встретиться.

Я возвратилась домой в начале октября. Бабель рассказал мне, что Лида в мое отсутствие часто со мной разговаривала и устраивала разные сцены. Например, заявляет: «Хочу, чтобы мне носки надела мамочка». Протягивает в пустоту носки со словами: «Мамочка, надень мне носочки». Потом бросает их на пол и говорит: «Не берет моя мамочка». «Мне становилось страшно, — говорил Бабель. — Боюсь за эту девочку. Уж очень она живет сердцем». Боже, как он оказался прав!

Бабель очень боялся, что наша девочка унаследует от него слабую носоглотку, поэтому старался ее закалить. На даче в Переделкине, да и в Москве, не пропускал ни одного летнего дождя, чтобы не раздеть Лиду донага и не отправить ее под дождь. Лида, конечно, была в полном восторге, прыгала под дождем по лужам, брызгалась, подбегала даже под струю к водосточной трубе, при этом визжала, кричала и хохотала. И как я ни упрашивала забрать девочку домой, Бабель не соглашался. Лишь тогда, когда у девочки синели губки, я хватала ее и закутывала в теплое. Наверное, Бабелю удалось-таки закалить Лиду, потому что она и в детстве, и потом болела очень редко. Сам же Бабель простужался часто, и насморк у него был просто катастрофический. И продолжалось это до тех пор, пока он не сделал прокол гайморовой полости у профессора Шапиро, знаменитого в Москве ларинголога.

Рассердился на меня Бабель только однажды, когда я на полчаса опоздала с кормлением ребенка, задержавшись на работе. У начальника Метростроя было важное совещание, и я не могла уйти вовремя. А когда оно закончилось, я, понимая, что опаздываю, приняла предложение архитектора Чечулина довезти

меня домой. Отпирая дверь, я уже слышала кричащую Лиду. Поднявшись по лестнице, увидела Бабеля с девочкой на руках, шагавшего из угла в угол по комнате. Он встретил меня словами: «Ну зачем Вам понадобился этот ребенок? Чтобы мучить его?» А когда Лида была накормлена и тут же уснула, накричавшись, Бабель успокоился и сказал: «Хотите, проползу на коленях от дома до Метропроекта, только бросьте работать». Но говорил несерьезно: он очень гордился моей работой, уважительно и с интересом к ней относился.

Лион Фейхтвангер и другие

Лион Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. Это был светло-рыжий человек небольшого роста, очень аккуратный, в костюме, который казался чуть маловатым для него.

Разговор шел на немецком языке, которым Бабель владел свободно. Я же, знавшая неплохо немецкий язык, читавшая немецкие книги и даже изучавшая, по настоянию Бабеля, немецкую литературу с преподавательницей, понимала Фейхтвангера очень плохо, никак не могла связать отдельные знакомые слова. Мне было очень досадно, так как Бабель, когда писал кому-нибудь письмо по-немецки, спрашивал у меня, как пишется то или другое слово. А вот в разговорном языке у меня не было никакой практики, и я не могла ловить речь на слух. Бабель сказал Фейхтвангеру: «Антонина Николаевна изучает немецкий язык в Вашу честь», на что Фейхтвангер ответил, что он пришлет мне из Германии в подарок свои книги. И прислал несколько томов в темно-синих переплетах, изданных, если не ошибаюсь, в Гамбурге. Но из этих книг я успела прочитать только «Успех»: Бабель отдал их жене художника Лисицкого, Софье Христиановне, — не мог удержаться, так как она была немка. А ее вскоре выслали из Москвы в 24 часа…

После ухода Фейхтвангера я спросила Бабеля: что особенно интересного сообщил наш гость?

— Он говорил о своих впечатлениях от Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды.

Но распространяться Бабель не стал.

Писатели, приезжавшие в те годы в Советский Союз, всегда приходили к Бабелю. Однажды у нас обедал Андре Жид, угощали его форелью под белым соусом и домашним русским квасом; про этого человека Бабель мне сказал: «Умен, черт! Горький по сравнению с ним кажется сельским священником».

Бывали также Леон Муссинак[30] и Оскар Граф[31], пришедший в национальном баварском костюме — коротких штанах, французский общественный деятель Эдуар Эррио[32], который подарил нам большую круглую коробку кофе в зернах. Когда мы приготовили этот кофе, удивительно ароматный и вкусный, Бабель сказал: «Считается, что люди в России ничего не понимают в кофе; поэтому государство закупает только дешевый четвертый сорт бразильского. Теперь вы знаете, что такое кофе первого сорта».

В начале 1936 года Штайнер уезжал по делам в Вену и на

время своего отсутствия предложил своим знакомым венграм, супругам Шинко, остро нуждавшимся в жилье, поселиться в его квартире. Он согласовал это с Бабелем, и было решено, что они займут кабинет на нижнем этаже.

Когда мы поближе познакомились, Бабель рассказал мне их историю. Эрвин Шинко — политэмигрант со времени разгрома Венгерской коммуны, участником которой он был. Эмигрантом он жил во Франции, Австрии, Германии, там написал роман под названием «Оптимисты» и пытался его издать. С этой же целью он приехал в СССР, имея рекомендательное письмо Ромена Роллана, и в течение полугода был гостем Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Этот срок благодаря Горькому был продлен еще на полгода. А потом Эрвин Шинко попал в тяжелое положение, так как роман «Оптимисты» никто не соглашался издать. Его жена Ирма Яковлевна, врач-рентгенолог, устроилась работать в один из московских институтов.

Бабель откуда-то знал историю их женитьбы и рассказал ее мне. В годы Первой мировой войны Эрвин и Ирма были в Венгрии революционерами-подпольщиками, задумавшими издавать журнал в духе Циммервальдского социал-демократического объединения. Этому должны были послужить деньги из приданого Ирмы, дочери богатых родителей. Но отец Ирмы не хотел отдавать дочь замуж за бедного студента, каким был Эрвин. Тогда один из членов организации, Дьюла Хевеши, инженер, решился сыграть роль жениха. В то время он был уже известным в Венгрии изобретателем, руководителем научно-исследовательской лаборатории крупного электролампового завода. Мнимый жених был представлен отцу невесты, и тот вполне одобрил кандидатуру такого положительного человека.

Вскоре сыграли свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие; на ближайшей от Будапешта маленькой станции «фальшивый жених» сошел с поезда, а Эрвин Шинко занял его место в купе.

Бабель очень уважал Ирму Яковлевну, а про Эрвина говорил:

— Разыгрывает из себя непонятого гения и не хочет устроиться на работу, живет за счет жены.

Роман Эрвина «Оптимисты» Бабель находил скучным, но все же старался пристроить его в какое-нибудь издательство или инсценировать для кино, но из этого ничего не вышло.

В самом начале 1937 года супруги Шинко уехали во Францию, а затем переехали в Югославию, где Эрвин стал преподавать в университете в городе Нови-Сад.

В том же 1937 году Штайнеру, уехавшему временно по делам в Австрию, не разрешили возвратиться в Советский Союз. Таким

образом мы остались одни в квартире. Оставили за собой три комнаты на втором этаже, в двух же комнатах внизу появились новые жильцы.

Рассказу Бабеля о романтической истории Эрвина и Ирмы Шинко я сначала верила, а потом начала сомневаться и решила, что это очередной придуманный им сюжет. Каково же было мое удивление, когда в 1966 году, будучи в Будапеште, я познакомилась с «фальшивым женихом» Ирмы Яковлевны, Дьюлой Хевеши. Он повторил мне рассказ о женитьбе Эрвина Шинко. Из этого примера можно сделать вывод, что рассказы Бабеля не всегда были чистейшей выдумкой.

В 1968 году от одного югославского преподавателя университета я узнала, что Эрвин Шинко умер в Загребе от кровоизлияния в мозг. Ирма Яковлевна выполнила завещание своего мужа: богатую библиотеку Шинко подарила философскому факультету Новисадского университета, где он читал лекции и был заведующим кафедрой; его рукописи передала Академии наук в Загребе, членом которой он был. Из всех сбережений, какие у них были, она создала Фонд Эрвина Шинко для поощрения студентов-отличников кафедры венгерского языка и литературы. После этого она отравилась.

Зимой 1938 года Бабель уехал в Киев, чтобы работать над сценарием фильма «Как закалялась сталь» по одноименной книге Н. Островского. Один сценарий был уже кем-то написан, но Бабель говорил, что он слишком плох, чтобы чем-то из него можно было воспользоваться. Жена Александра Петровича Довженко Юлия Ипполитовна Солнцева, которая должна была стать режиссером этого фильма, пригласила Бабеля работать и жить в Киеве в их квартире. Александра Петровича дома не было: он снимал фильм где-то на Украине. Бабель начал работать над этим сценарием еще в Москве. Работал мучительно, работа ему не давалась, и он жаловался мне на роман Н. Островского, по которому трудно сделать хороший сценарий. Тем не менее зимой 1938 года сценарий был закончен, и Бабель считал себя его автором. Он даже успел напечатать в газете два небольших отрывка из него. После ареста Бабеля авторство сценария оспаривалось в судебном порядке между Солнцевой и автором первоначальной забракованной версии сценария. Суд постановил считать автором Солнцеву, которая присвоила себе работу Бабеля, даже ни разу не упомянутого в ходе разбирательства. Позже мне говорили, что этот сценарий был сдан Солнцевой в архив (быть может, в ЦГАЛИ) вместе с другими ее бумагами, с тем чтобы его не могли никому показать без ее разрешения.

Из-за работы над сценарием «Как закалялась сталь» Бабелю

пришлось задержаться в Киеве до половины января. Он позвонил мне и просил приехать к нему, чтобы встретить Новый год вместе. Но не так-то легко мне было это сделать! Я пошла к заместителю начальника конструкторского отдела Роберту Августовичу Шейнфайну с просьбой отпустить меня на три дня. Как всегда, в отделе было много работы, и начальник мне отказал. Огорченная, я вернулась в свою комнату и пожаловалась руководителю нашей группы Льву Викторовичу Воронецкому. И тут Воронецкий мне говорит: «Хотите, я вам это устрою? У меня с Шейнфайном такие отношения, что что бы я ни сказал, он всегда будет против». Он пошел к начальнику и возмущенно сказал ему: «Подумайте только, Антонина Николаевна захотела поехать в Киев к мужу встречать Новый год! Тут работы невпроворот, не справляемся, а ей, видите ли, захотелось прогуляться в Киев! Я категорически против!» Шейнфайн немедленно отозвался: «А почему бы ей не поехать?!» Воронецкий кипятился: «Не могу я ее отпустить!» Чем больше Воронецкий кричал, что он против, тем увереннее Шейнфайн говорил, что отпускает меня. Вернувшись в комнату, Лев Викторович сказал: «Дело сделано. Вы можете ехать».

Новый год мы встречали в Киеве с Юлией Ипполитовной и пришедшим в гости Рыскиндом. А где был Вениамин Наумович Рыскинд, там всегда звучал смех. Он был проказник и рассказывал, как ему чем-то досадил один из его знакомых, и тогда Рыскинд взял и опечатал его комнату, когда хозяина не было дома. Опечатывал он сургучом, а оттиск на нем сделал обыкновенным медным пятаком. Представьте себе состояние человека, который возвращается домой и вдруг еще издали видит, что его комната опечатана! Бедняга не знал, как быть. Он бегал по своим друзьям, ночевал у них, пока не пришел к Рыскинду. Тот согласился пойти к нему домой, а когда они подошли к двери, то просто сорвал печать, показав несчастному, что на ней лишь отпечаток медного пятака. Хозяин комнаты никогда не узнал, кто над ним так жестоко подшутил. Я была крайне возмущена таким поступком Рыскинда, а Бабель меня успокаивал, говоря, что тот мог всё это выдумать. Рыскинд рассказал нам еще много других забавных историй. Бабель был молчаливее, чем обычно, сам ничего не рассказывал, но смеялся над его рассказами. Так мы встретили 1939 год — последний Новый год с Бабелем.

Бабель, который так не хотел жить ни в писательском доме в Лаврушинском, ни в Переделкине, только из-за ребенка решился взять там дачу. Матери и сестре 16 апреля 1938 года он об этом писал:

«Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на

собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в так наз. писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется, — решил переехать. Поселок этот в 20 км от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)… Вот вам и наша весна. Солнце — редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему».

Дача была еще недостроенной, когда мы туда переехали. Мне было поручено присмотреть за достройкой и теми небольшими изменениями проекта, которые Бабелю захотелось сделать. По его заказу была поставлена возле дома голубятня. На даче он выбрал себе для работы самую маленькую комнату.

Мебели у нас не было никакой. Но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна Пешкова и сообщила, что ликвидируется комитет Политического Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала: «За этим столом я проработала двадцать пять лет». Были выбраны также диван с резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и еще кое-что. Довольные, мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли в Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), где она жила. С этого времени началось мое личное знакомство с Екатериной Павловной.

Стол Екатерины Павловны и диван Бабель оставил в своей комнате в Николоворобинском. В дачной же его комнате почти вся мебель была новой — из некрашеного дерева, заказанная им на месте столяру. Там стояли топчан с матрацем — довольно жесткая постель, как любил Бабель; у окна — большой, простой, во всю ширину комнаты стол для работы; низкие книжные полки и купленное в Красном Кресте кресло с кожаным сиденьем. На полу — небольшой текинский ковер[33].

«Теперь мне жить не дадут»

С 1936 года в Москве проходили процессы над так называемыми «врагами народа», каждую ночь арестовывали друзей и знакомых. А знаком был Бабель, и близко, со многими — среди них были и крупные политики, и военные, и журналисты, и писатели.

После смерти Горького Бабель как-то сказал: «Теперь мне жить не дадут», а уже позже часто повторял: «Я не боюсь ареста, только дали бы возможность работать». Были случаи — и в царских тюрьмах, и в советских до 1936 года, — когда заключенным удавалось там писать. И Бабель об этом думал; сомневался, но надеялся. Никаких лишений, связанных с арестом, он не боялся.

Двери нашего дома не закрывались в то страшное время. К Бабелю приходили жены товарищей и жены незнакомых ему арестованных, их матери и отцы. Просили его похлопотать за своих близких и плакали. Бабель одевался и, согнувшись, шел куда-то, где еще оставались его бывшие соратники по фронту, уцелевшие на каких-то ответственных постах. Он шел к ним просить за кого-то или о ком-то узнавать. Возвращался мрачнее тучи, но пытался найти слова утешения для просящих. Страдал он ужасно, а я зримо представляла себе сердце Бабеля. Мне казалось оно большим, израненным, кровоточащим. И хотелось взять его в ладони и поцеловать. Со мной Бабель старался не говорить обо всем этом, не хотел, очевидно, меня огорчать.

А я спрашивала:

— Почему на процессах все они каются и позорят себя?[34] Ведь ничего подобного раньше никогда не было. Если это — политические противники, то почему они не воспользуются трибуной, чтобы заявить о своих взглядах и принципах, сказать об этом на весь мир?

— Я этого сам не понимаю, — отвечал он. — Это все умные, смелые люди, неужели причиной их поведения является партийное воспитание, желание спасти партию в целом?..

В те годы никому из нас не приходила в голову мысль о возможности пыток в советских тюрьмах. В царских тюрьмах — да, это было возможно, но чтобы в советских?! Под таким гипнозом были даже те из нас, кто не доверял ничему и со многим не соглашался. Думаю, что Бабель узнал о применении пыток во время допросов только на собственном опыте.

Когда арестовали Якова Лившица, занимавшего тогда высокую должность в Наркомате путей сообщения, Бабель не

выдержал и с горечью сказал:

— И меня хотят уверить, что Лившиц жаждал реставрации капитализма в нашей стране! Не было в царской России более бедственного положения, чем положение еврея-чернорабочего. Именно таким был Яков Лившиц, и во время революции его надо было удерживать силой, чтобы он не рубил буржуев направо и налево, без всякого суда. Такова была его ненависть к ним. А сейчас меня хотят уверить, что он хотел реставрации капитализма. Чудовищно!

В январе 1939 года был снят со своего поста Ежов. В доме этого человека Бабель иногда бывал, будучи давно знаком с его женой, Евгенией Соломоновной. Выйдя замуж за Ежова и став сановницей, она захотела иметь свой литературный салон. Поэтому Бабеля приглашали к Ежовым в те дни, когда там собирались гости. Сам Ежов редко присутствовал на этих приемах, чаще приходил к самому концу. Туда же приглашали и Михоэлса, и Утесова, и других людей из мира искусства: они были остроумны, умели повеселить, с ними было интересно провести вечер.

«На Бабеля» можно было позвать кого угодно, никто бы не отказался. А у него был свой, чисто профессиональный интерес к Ежову. Думаю, он пытался понять явления, происходящие на самом верху…

Я никогда не сопровождала Бабеля к Ежовым. Но однажды Евгения Соломоновна поинтересовалась у Бабеля, как я к ней отношусь. А Бабель с ходу ответил: «Антонина Николаевна — трудящаяся женщина, а вы — накрашенная сановница…» Бабель, конечно, это выдумал — он меня и не спрашивал никогда о моем отношении к Ежовой. Но после этого случая Евгения Соломоновна заставила Ежова дать ей должность в журнале «СССР на стройке».

Зимой 1938 года Ежова отравилась. Причиной ее самоубийства Бабель считал арест близкого ей человека, постоянно бывавшего у них в доме; но это было каплей, переполнившей чашу…

— Сталину эта смерть непонятна, — сказал мне Бабель. — Обладая железными нервами, он не может понять, что у людей они могут сдать…

В последние годы желание писать владело Бабелем неотступно.

— Встаю каждое утро, — говорил он, — с желанием работать и работать и, когда мне что-нибудь мешает, злюсь.

А мешало многое. Прежде всего — графоманы. По своей доброте Бабель не мог говорить людям неприятные для них

истины и тянул с ответом, заикался, а в конце концов в утешение говорил: «В вас есть искра божья» или «Талант проглядывает, хотя вещь и сырая» или что-нибудь в этом же роде. Обнадеженный таким образом графоман переделывал свое произведение и приходил опять. Ему все говорили, что пишет он плохо, что нужно это занятие бросить, а вот Бабель подавал надежду…

Телефонные звонки не прекращались. Работать дома становилось невозможно. И тогда Бабель, замученный, начинал скрываться. По телефону он говорил только женским голосом, и делал это бесподобно. Мне тоже приходилось слышать этот голос, когда я звонила домой. А когда начала говорить наша дочь Лида, он заставлял ее брать трубку и отвечать: «Папы нет дома». Но так как фантазия Лиды не могла удовлетвориться одной этой фразой, она прибавляла что-нибудь от себя вроде: «Он ушел гулять в новых калошах».

Но случалось и так, что, скрываясь от графоманов, Бабель убегал из дому. Захватив чемоданчик с необходимыми рукописями, он снимал на месяц освобождавшуюся где-нибудь комнату или номер в гостинице. Иногда (очень редко) поводом для бегства из дому был приезд моих родственников. Тогда он всем с удовольствием говорил:

— Белокурые цыгане заполонили мой дом, и я сбежал.

Мешала ему работать и материальная необеспеченность. Но только в последние два года нашей совместной жизни я начала это понимать. Вначале он тщательно скрывал от меня недостаток денег, и даже моей матери, когда она у нас гостила, говорил:

— Мы должны встречать ее с улыбкой. Ни о каких домашних затруднениях не надо говорить ей. Она много работает и устает.

У Бабеля с детства было привычное чувство, что мужчина в семье должен быть добытчиком. В его семье мать никогда не работала, тогда это было не принято, не работали и первая жена Бабеля Евгения Борисовна, и сестра Мери. Оставаясь дома, Бабель сам вел хозяйственные дела, отдавал распоряжения домашней работнице, сам расплачивался за квартиру, газ и электричество, предпочитая это делать через сберкассу. Не представляя себе жизни без домработницы, он сам занимался наймом и платил ей жалованье. И даже меня часто спрашивал, не нужны ли мне деньги. Я говорила «нет». И он жаловался: «У меня какая-то ненормальная жена! Другие жены у своих мужей просят денег, клянчат, заискивают. Будь у меня такая жена, я мог бы сказать: «Нате! Ешьте, ешьте меня живьем!»». И он, засучив рукав, подносит локоть к моему лицу. У меня денег он никогда не брал и не просил. Но когда я возвращалась домой, получив зарплату, он встречал меня с лукавым видом, приговаривая: «Миленькая,

дорогая, зарплатку получила», выхватывал мою сумку, прижимал к груди, скакал на одной ноге к себе в комнату и закрывался там на ключ. Потом, конечно, сумку возвращал. Когда я спрашивала, не нужны ли ему деньги, он тоже всегда говорил «нет». Уезжая в Киев, Одессу или еще куда-нибудь, он всегда хотел оставить мне денег на хозяйство, но тут уж я могла сказать, что деньги у меня есть. Я всю жизнь сама распоряжалась своими деньгами, помогала матери и братьям, которые жили и учились в Томске. Могла купить себе все что хотела и принести в дом сладости и фрукты. И только однажды, когда объявили, что можно продать облигации займа за 10 % их стоимости, Бабель потащил меня в сберкассу и сдал свои и мои облигации. Он был очень доволен, а я была удивлена, но ничего ему не сказала.

Деньги Бабелю нужны были не только для содержания нашего московского дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у него чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они были, чем постоянно пользовались его друзья и просто знакомые. Долгов же ему никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать заказы для кино. Работа Бабеля в кино всегда была, как он говорил, «для денег, а не для души». Иногда он писал к кинокартине с уже готовым сценарием диалоги, но чаще всего переделывал сценарий или писал с кем-нибудь из режиссеров новый. В 1934 году Бабель писал киносценарий по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», фильм должен был сниматься на Киевской кинофабрике. В 1935 году вместе с режиссером Юлием Райзманом он переделывал сценарий фильма «Летчики» и писал к нему реплики и диалоги. Диалоги, написанные Бабелем, заметно отличали этот фильм от других. Выше уже говорилось, что в 1936 году Бабель переделывал сценарий и писал реплики к фильму «Бежин луг» с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном; упоминала я и о том, что этот фильм начал сниматься, но потом был запрещен и на экран так и не вышел. В процессе работы над ним Эйзенштейн ездил по церквям в поисках реквизита, заразился оспой и долго болел, находясь в полной изоляции. Работал Бабель и с режиссером Борисом Васильевичем Барнетом, но не помню, над какой картиной[35]. В 1938 году, я уже писала об этом, работал над сценарием к фильму «Как закалялась сталь», в 1939-м в очень короткий срок им был написан киносценарий «Старая площадь, 4». Некоторое участие в работе принимал сценарист Владимир Михайлович Крепс, но все же Бабель считал этот сценарий своим. И в эти же 1938–1939 годы Бабель работал над сценарием к фильму «Мои университеты» по Горькому, режиссером которого

был Марк Донской. Работал много, однако после ареста Бабеля Марк Донской стал считаться единственным автором сценария.

Бабель заново переводил рассказы Шолом-Алейхема, считая, что они очень плохо переведены на русский язык[36]. Переводил он из Шолом-Алейхема и то, что никем не переводилось ранее, и однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный, голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился, и ему дали ложку. Но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому: «Твой еврей объедает моего, так он съест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал: «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого…

Работа Бабеля с рассказами Шолом-Алейхема была, как он выражался, «для души». «Для души» писались и новые рассказы, и повесть «Коля Топуз».

— Я пишу повесть, — говорил он, — где главным героем будет бывший одесский налетчик типа Бени Крика, его зовут Коля Топуз. Повесть пока что тоже так называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе в период коллективизации, а затем в Донбассе на угольной шахте. Но так как у него психология налетчика, он все время выскакивает за пределы нормальной жизни. Создается много веселых ситуаций…

В апреле 1939 года Бабель уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от И. А. Груздева[37]: «У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте. Груздев».

У меня возникло сомнение — не розыгрыш ли это? Я помнила, как Бабель в 1935 году, когда мы были в Одессе и мой отпуск кончился, захотел оставить меня еще на неделю и раздобыл мне бюллетень. В кафе гостиницы «Красная» в кругу друзей долго обсуждался вопрос, какую болезнь придумать. Перечислялись всякие болезни, пока наконец кто-то не предложил — воспаление среднего уха, что вызвало веселый смех всей компании и было принято. Этот бюллетень я показала начальству в оправдание своего опоздания, но в бухгалтерию его не сдала.

В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый Бабель вместе с моей подругой Марией Всеволодовной Тыжновой (Макой) — в Москве я поручила ему передать Маке письмо, и это поручение превратилось в их прочное знакомство.

Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил к ним в дом.

В старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением и гипсовой маской Петра Первого на стене, жили, помимо Маки, ее бабушка, тетка с семьей и холостяк дядя Владимир Владимирович Лермонтов.

Из разговоров с Владимиром Владимировичем Бабель узнал, что в доме хранится архив дяди поэта, и, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал приходить часто, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказывал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза и в своем дневнике записал: «Первая жена — от бога, вторая — от людей, третья — от дьявола». После смерти очень любимой им первой жены он остановил часы, которые с тех пор не заводились ни при его жизни, ни после его смерти. Очень интересно было читать расходные книги Лермонтовых, где было записано, сколько заготовлено на зиму возов дров, сена, мяса, свечей и что почем. Среди прочих расходов Бабель нашел запись: «1 рубль жидам на свадьбу». Эта запись очень его развеселила, и он потом часто ее вспоминал. Этот архив хранится теперь в Пушкинском Доме.

В Ленинграде Бабель закончил работу над киносценарием «Старая площадь, 4».

Мы пробыли в городе на Неве несколько дней. Были в гостях у И. А. Груздева, жена которого оказалась, как и я, сибирячкой и угощала нас домашними пельменями; много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд после завтрака до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж обстоятельнее, чем с Бабелем в том году. В эти дни (20 апреля) Бабель писал своей матери:

«Уф! Гора свалилась с плеч… Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за «честную» жизнь… В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце… Пойду погулять после трудов праведных…»

И 22 апреля: «Второй день гуляю — к тому же весна… Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю».

Перед отъездом в Переделкино в начале мая 1939 года

Бабель сказал мне, что будет жить теперь там постоянно и только в исключительных случаях приезжать в Москву:

— Мне надо к осени закончить книгу новых рассказов. Она так и будет называться — «Новые рассказы». Вот тогда мы разбогатеем.

Условились, что в конце мая, когда установится теплая погода, все переедем на дачу.

Работа над сценарием «Мои университеты» подходила к концу, съемки уже начались.

— Не надо было делать и этого, да не могу, чувствую себя обязанным перед Горьким, — говорил Бабель.

В какой-то мере он принимал участие во всех картинах по произведениям Горького — кинофильмах «Детство», «В людях» и, наконец, «Мои университеты». Он говорил:

— Другие мысли меня сейчас занимают, но Екатерина Павловна меня просила проследить за ними, чтобы не было безвкусицы и отсебятины.

Бабель уехал в Переделкино. Прощаясь, сказал весело:

— Теперь не скоро вернусь в этот дом.

Он попросил меня привезти к нему режиссера картины «Мои университеты» Марка Донского и его ассистентов. 15 мая они должны были заехать за мной в Метропроект в конце рабочего дня.

Дома в Москве в то время, кроме меня, оставалась Эстер Григорьевна Макотинская, возившаяся с маленькой Лидой, и домашняя работница Шура.

Кроме того, в ночь на 15 мая в комнате Бабеля ночевала наша приятельница Татьяна Осиповна Стах. Засидевшись у кого-то в гостях, она опоздала на последнюю электричку и не могла уехать за город, где Стахи в то время жили. С вокзала Татьяна Осиповна позвонила нам, и Эстер Григорьевна пригласила ее приехать. Я спала в другой комнате, и меня будить они не стали.

15 мая 1939 года в пять часов утра меня разбудил стук в дверь моей комнаты. Когда я ее открыла, вошли двое в военной форме, сказав, что они должны осмотреть чердак, так как разыскивают какого-то человека.

Оказалось, что пришедших было четверо, двое полезли на чердак, а двое остались. Один из них заявил, что им нужен Бабель, который может сказать, где этот человек, и что я должна поехать с ними на дачу в Переделкино. Я оделась, и мы поехали. Поехали со мной двое. Шофер отлично знал дорогу и ни о чем меня не спрашивал.

Приехав на дачу, я разбудила сторожа и вошла через кухню, они за мной. Перед дверью комнаты Бабеля я остановилась в

нерешительности; жестом один из них приказал мне стучать. Я постучала и услышала голос Бабеля:

— Кто?

— Я.

Тогда он оделся и открыл дверь. Оттолкнув меня от двери, двое сразу же подошли к Бабелю.

— Руки вверх! — скомандовали они, потом ощупали его карманы и прошлись руками по всему телу — нет ли оружия.

Бабель молчал. Нас заставили выйти в другую, мою комнату; там мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли.

Когда кончился обыск в комнате Бабеля, они сложили все его рукописи в папки, заставили нас одеться и пойти к машине. Бабель сказал мне:

— Не дали закончить…[38] — И я поняла, что речь идет о книге «Новые рассказы». И потом тихо: — Сообщите Андрею. — Он имел в виду Андре Мальро.

В машине мы разместились так: на заднем сиденье мы с Бабелем, а рядом с ним — один из них. Другой сел вместе с шофером.

— Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем, — проговорил Бабель и надолго замолчал.

Я не могла произнести ни слова. Сопровождающего он спросил по дороге:

— Что, спать приходится мало? — и даже засмеялся.

Уже когда подъезжали к Москве, я сказала Бабелю:

— Буду Вас ждать, буду считать, что Вы уехали в Одессу… Только не будет писем…

Он ответил:

— Я Вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой.

— Но я не знаю, как сложится моя судьба…

И тогда сидевший рядом с Бабелем сказал:

— К Вам у нас никаких претензий нет.

Мы доехали до Лубянки и въехали в ворота. Машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми.

Бабель крепко меня поцеловал, проговорил:

— Когда-то увидимся… — и, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь.

Я окаменела и не могла даже плакать. Почему-то подумала: дадут ли ему там стакан горячего чая, без чего он никогда не мог начать день?

Меня отвезли домой в Николоворобинский, где всё еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к

телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: «Острил?» — «Пытался», — последовал ответ.

Я попросила у них разрешения уехать, чтобы не опоздать на работу. Мне разрешили, я переоделась и ушла. Эстер Григорьевна успела мне шепнуть, что кое-что из одежды Бабеля сумела перенести в мой шкаф, чтобы сохранить для него на случай необходимости. Обыск все еще продолжался. Еще до моего ухода один из сотрудников НКВД куда-то звонил и согласовывал вопрос, сколько комнат мне оставить: одну или две. Потом, обратившись к другому, сказал:

— Есть распоряжение оставить две комнаты.

По тем временам это было даже удивительно: из трех комнат мне с маленькой дочкой оставили две изолированные. Но тогда я даже не обратила на это внимания. Кроме того, мне сообщили номер телефона 1-го отдела НКВД, куда я могла бы обратиться «в случае необходимости».

Опечатали комнату Бабеля, забрали рукописи, дневники, письма, листы с дарственными надписями, выдранные при обыске из подаренных Бабелю книг…

Теперь, вспоминая телефонные переговоры, перебирая в памяти подробности обыска и ареста, я прихожу к убеждению, что Бабель уже тогда заранее был осужден.

Я работала в Метропроекте целый день, собрав все силы, ездила договариваться с проектной организацией Дворца Советов, просила передать нам сталь марки ДС для конструкций станции «Павелецкая»[39].

Марк Донской с товарищами ко мне в Метропроект не заехали, как было условлено: очевидно, уже знали, что Бабель арестован.

Когда рабочий день закончился, я добралась домой и только тогда разрыдалась. Случившееся было ужасно, хотя я не предвидела плохого конца. Я знала, что Бабель ни в чем не может быть виноват, и надеялась, что это ошибка, что там разберутся. Но многоопытная Эстер Григорьевна, у которой к тому времени были арестованы и муж, и дочь, не старалась меня утешить. Позже я узнала: почти одновременно с Бабелем арестовали Мейерхольда и Кольцова.

Чувство беспомощности было всего ужаснее: знать, что самому близкому человеку плохо, и ничем ему не помочь! Мне хотелось немедленно бежать на Лубянку и сказать то, чего они не знают о Бабеле, но знаю я. От этого шага меня уберегла всё та же Эстер Григорьевна. Хорошо, что у меня была работа. Хорошо, что была у меня Лида. Возвращаясь домой, я брала ее на руки, прижимала к себе и шагала с ней часами из угла в угол. Эстер

Григорьевна уходила домой: ей надо было зарабатывать переводами деньги на посылки своим заключенным. А я оставалась одна.

Дверь в комнату Бабеля была опечатана, и я, выходя на лестничную площадку, старалась на нее не смотреть, но все время видела эту печать и страдала ужасно. Домработница Шура на другой день после ареста Бабеля, забрав синие занавески с окна на лестничной площадке и кое-что из ванной комнаты, исчезла, и я ее больше никогда не видела. Я написала о случившемся маме в Томск, и она скоро приехала и взяла на себя заботу о девочке. Лиде было два года, шел третий, и она меня просила: «Мамочка, побудь хоть немного моим папой», что раздирало мне сердце. Я стала работать как одержимая и еще поступила на курсы шоферов-любителей только затем, чтобы не иметь ни минуты свободного времени. Машины у меня не было, да и не могло быть, но иногда кто-нибудь из начальников строительства, если мне приходилось с ними ездить, позволял мне сесть за руль.

Никто из знакомых Бабеля меня не навещал и не звонил; Рыскинда не было в Москве, Эрдман был арестован. Общалась я с тетей Бабеля Катей, которая приходила ко мне вместе с мужем Иосифом Моисеевичем, а иногда я с Лидой бывала у них в Овчинниковском переулке.

В их квартире жили еще брат Иосифа Александр Моисеевич и его горбатая сестра. Маленькая Лида иногда мне говорила: «Пойдем к тете Кате, я соскучилась по горбику», и мы все удивлялись этому — казалось бы, уродство должно было вызывать в ребенке совсем противоположное чувство. Лида же оказалась очень родственной девочкой.

Однажды совсем неожиданно ко мне пришла мать Маки Тыжновой — Елизавета Владимировна. Думаю, она боялась отпускать ко мне дочь, а пришла сама. Мака в то время уже жила в Москве и работала в Бумпроекте. Мы с Елизаветой Владимировной поговорили и поплакали, и она ушла. И я сама просила передать Маке, чтобы она не звонила и не приходила ко мне. Никого из моих знакомых по Метропроекту я не приглашала в дом.

Свиданий с арестованным не разрешалось, только один раз в месяц можно было передавать для него 75 рублей. Во дворе здания на Кузнецком мосту имелось небольшое окошечко, куда по очереди передавали эти деньги, называя фамилию арестованного. Никаких расписок не давалось. Длинные очереди растягивались от этого окошка по всему двору до ворот и даже выходили за ворота. Я всегда была так удручена, что никого не замечала. Публика в очереди стояла интеллигентная, в основном

женщины.

Единственным человеком, который позвонил мне через несколько дней после ареста Бабеля, была Валентина Ароновна Мильман, работавшая тогда секретарем у Эренбурга. Домой ко мне она прийти побоялась, назначила мне встречу у Большого театра и предложила деньги. От денег я отказалась, деньги у меня были, так как я продолжала работать, но этот ее поступок, редкий по тем временам, я никогда не забывала и с тех пор в течение многих лет была с ней в дружеских отношениях.

Не сразу, но позднее я догадалась, что деньги эти предлагал мне Эренбург: у его секретаря, получавшего небольшое жалованье, не могло быть такой суммы.

С Эренбургом меня познакомил Бабель. Было это году в 1934-м, когда однажды вечером Илья Григорьевич пришел к Бабелю, с которым чаще встречался не у нас, а у себя дома или в каком-нибудь кафе.

Ни во время ужина, ни после него Илья Григорьевич не обращал на меня никакого внимания. Он курил сигару — пепел сыпался прямо на пиджак, — разговаривал с Бабелем и даже не смотрел в мою сторону. Я к этому не привыкла — обычно все, с кем меня знакомил Бабель, всегда обращались ко мне, о чем-нибудь расспрашивали, проявляли ко мне особый интерес. Этот интерес в основном объяснялся тем, что я занималась проектированием Московского метрополитена. Женщины-инженеры в те времена были редкостью, а строительство метро интересовало всех.

И только с Эренбургом было иначе, и, как ни старался Бабель возбудить в нем интерес ко мне (рассказал, что после окончания института я работала на строительстве Кузнецкого металлургического завода, о котором Эренбург писал в романе «День второй»), ничего не помогало.

Само собой разумеется, Эренбург мне сразу же не понравился, и в последующем, если он приходил, я после ужина или обеда уходила в свою комнату.

Во время ареста Бабеля в мае 1939 года Эренбурга не было в Москве, он был за границей. Вернулся лишь в 1940 году и, как рассказала мне Валентина Ароновна, распаковывая чемодан, прежде всего вытащил из него книгу Бабеля — она лежала сверху. Узнав об этом, я поняла, как Эренбург любит Бабеля, и это заставило меня изменить к нему прежнее отношение. Книги Бабеля тогда изымались из всех библиотек, хранить их дома было небезопасно.

Месяца через два после ареста Бабеля меня начали одолевать судебные исполнители. У Бабеля были заключены договоры с

некоторыми издательствами и по этим договорам получены авансы. Вот эти-то авансы издательства в судебном порядке решили получить с меня. Ко мне один за другим являлись судебные исполнители и переписывали не только мебель в оставшихся двух комнатах, но и мои платья в шкафу. Я не знала, что делать, и решила обратиться за советом к нашему с Бабелем «очень хорошему приятелю» Льву Романовичу Шейнину, работавшему тогда в прокуратуре.

Когда он меня увидел, то страшно смутился, даже побледнел. А сколько вечеров до самого рассвета провел он в нашем доме, какие расточал комплименты! Придя в себя, Шейнин попросил меня пройти в соседнюю комнату и подождать. Через несколько минут он вошел, но не один, а с другим человеком в форме. Очевидно, решил для безопасности разговаривать со мной при свидетеле. Шейнин выслушал меня, успокоился, как мне казалось, оттого, что мой приход не означал просьбы хлопотать за Бабеля. Совет позвонить в 1-й отдел НКВД дал мне не Шейнин, а человек, пришедший с ним. И, когда я поднялась, чтобы уйти, Шейнин вдруг спросил меня: «А за что арестовали Бабеля?» Я сказала: «Не знаю», — и ушла.

Дома, воспользовавшись в первый раз телефоном, оставленным сотрудником НКВД во время обыска, я позвонила в 1-й отдел и рассказала о судебных исполнителях, переписывающих вещи. Мне ответили:

— Не беспокойтесь, больше они не придут.

И действительно, больше они меня не беспокоили. Но в НКВД пришлось обращаться еще раз. Дело в том, что однажды мне позвонили из Одинцовского отделения милиции и сообщили, что из опечатанной дачи в Переделкине украдены ковры. Один из них лежал на полу в моей комнате, другой, поменьше, — в комнате Бабеля. Украл их приехавший с Украины родной брат нашего сторожа. Его поймали, когда он уже продал эти ковры, и отобрали у него 2 тысячи рублей. Эти деньги сотрудник из милиции Одинцова просил меня получить. Я позвонила в 1-й отдел, и там мне сказали:

— Поезжайте и получите.

Я собралась поехать туда не сразу, прошел, быть может, целый месяц. И когда я приехала в Одинцово, оказалось, что за это время бухгалтер украл эти деньги, был судим и получил пять лет тюрьмы.

Перед праздником 7 Ноября к нам в Николоворобинский пришел молодой сотрудник НКВД и попросил для Бабеля брюки, носки и носовые платки. (Не помню, звонил ли он по телефону, прежде чем зайти.)

Какое счастье, что Эстер Григорьевне во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою! Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала пришедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах…

Раздумывая о визите сотрудника, мы с мамой пришли к выводу, что это — хороший признак, какое-то облегчение, как нам казалось.

Встречать новый, 1940 год меня пригласила на дачу Валентина Ароновна Мильман. Там собралась та самая компания лыжников, с которыми я ходила на лыжах еще при Бабеле. Я не находила себе места, не знала, куда деться от тоски, и согласилась приехать. Но когда пробило 12 часов, я разрыдалась и никак не могла успокоиться — так живо вспомнились все новогодние праздники с Бабелем. Что должен был переживать в это время бедный Бабель?

Деньги для него у меня принимали начиная с июня до ноября, а потом сказали, что он переведен в Бутырскую тюрьму и деньги нужно отнести туда. Там у меня брали деньги в ноябре и декабре 1939 года, а в январе 1940 года сообщили, что Бабель осужден военным трибуналом.

Знакомый адвокат устроил мне встречу с прокурором из военного трибунала, худым, аскетичного вида генералом. Он, посмотрев бумаги, сказал, что Бабель осужден на 10 лет без права переписки с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

От кого-то, еще до свидания с этим генералом, я слышала, что формулировка «10 лет без права переписки» означает расстрел и предназначена для родственников.

Я спросила об этом генерала, сказав ему, что «не упаду тут же в обморок, если он скажет мне правду». И генерал ответил: «К Бабелю это не относится».

После визита к прокурору военного трибунала я ходила в приемную НКВД за официальным ответом. Помнится, это был второй этаж небольшого, быть может, двух- или трехэтажного и весьма невзрачного здания, которое стояло на месте теперешнего «Детского мира» на площади Дзержинского.

Помню мрачную приемную, из которой вела дверь в угловую комнату с картотекой. За столом сидел молодой курносый, очень несимпатичный человек и давал ответ на вопрос, предварительно порывшись в картотеке. После официального ответа, уже известного мне, он сказал:

— Тяжелое наказание… Вам надо устраивать свою жизнь…

Рассердившись, я ответила:

— Я работаю, как еще я должна устраивать свою жизнь?

И даже такой явный намек не убедил меня тогда в том, что Бабель расстрелян.

Все лето 1939 года я с маленькой Лидой оставалась в Москве, вывезти ее за город не могла: я не брала отпуск, ждала изо дня в день каких-нибудь известий о муже. В Москве то и дело возникали слухи: кто-то сидел с Бабелем в одной камере, кто-то передавал, что дело Бабеля не стоит выеденного яйца… Я пыталась встретиться с этими людьми, но каждый раз это не удавалось. Оказывалось, не сами они сидели с Бабелем, а какие-то их знакомые, которые либо уехали из Москвы, либо боятся со мной встречаться. А однажды летом ко мне пришла дочь Есенина и Зинаиды Райх, Татьяна. Она слышала, что Мейерхольд и Бабель находятся где-то вместе, спросила, не знаю ли я чего-нибудь. Я ничего не знала. Как понравилась мне эта милая юная девушка, такая белокурая и с такими чудными голубыми глазами! И не только своей внешностью, но этой готовностью поехать куда угодно, хоть на край света, лишь бы узнать хоть что-нибудь о Всеволоде Эмильевиче, своем отчиме, и как-нибудь ему помочь. Такая же готовность поехать за Бабелем на край света была и у меня. Но, поговорив о том, какие ходят слухи, как мы обе гоняемся за ними, а они рассыпаются в прах, мы расстались. И больше я никогда Татьяну не видела, но знала о ее нелегкой судьбе, о сыне, которого она, кажется, назвала Сережей[40].

У членов семьи осужденных было еще одно право — каждый год один раз подавать заявление в приемную НКВД на Кузнецком мосту, 24, справляясь о судьбе заключенного, а потом в назначенное время приходить за ответом. Такие заявления опускались в ящик, висевший на этом здании, а за ответом приходили к окошку уже внутри помещения. И на мои заявления в 1940-м и весной 1941 года ответ был одинаковый: «Жив, содержится в лагере».

В Метропроекте я продолжала заниматься конструкциями станции «Павелецкая», но теперь уже несущими металлическими, состоявшими из верхних криволинейных прогонов, колонн и нижних прямолинейных прогонов. С этой работой мы справились к весне 1940 года, и изготовление их было передано на тот же завод в Днепропетровске, но только в другой цех.

Мне предстояло поехать в Днепропетровск второй раз, но прежде всего надо было снять на лето дачу. Племянник мужа тети Кати Михаил Львович Порецкий предложил мне снять дачу поблизости от его воинской части, базировавшейся на станции Кубинка Белорусской железной дороги. Дело в том, что с продуктами тогда было не так хорошо, а живя там, мы могли

пользоваться продуктовым магазином воинской части, куда Михаил Львович мог нам устроить пропуск.

Сняли одну комнату в деревенском домике и договорились с хозяйкой, что ее пятнадцатилетний сын Вася на велосипеде будет ездить за продуктами в военный магазин и забирать паек. Все, что нам было много или не нужно, она с удовольствием забирала.

Я перевезла маму и Лиду на дачу и вскоре уехала в Днепропетровск. В поезде познакомилась с пожилым мужчиной, ехавшим на тот же завод. Он сказал мне, что останавливается не в гостинице, а в частном доме очень близко от завода, что гораздо удобнее, чем жить в гостинице. Он посоветовал мне тоже остановиться у этих хозяев, очень милых людей, и привел меня туда.

Хозяин работал заместителем начальника вокзала, и я видела его по вечерам; хозяйка же оставалась дома с дочкой лет пяти. Мы быстро с ней подружились, она старалась сделать всё, чтобы мне было удобно у нее, а по вечерам устраивала общее чаепитие с разговорами. Приехавший со мной инженер утверждал, например, что у каждой женщины есть кусочек Венеры, и надо только уметь его найти. Часто можно слышать, как говорят: почему такой-то женился на такой некрасивой женщине, а ничего удивительного в этом нет — он нашел в ней этот кусочек Венеры…

Возвратившись в Москву, я сразу же поехала на дачу к своим. Увидев меня еще издали, Лида бросилась бежать навстречу с криком: «Брюки! Брюква!»; оказалось, что мама учила ее произносить букву «р», чего она не умела и заменяла буквой «л». Но теперь наступила другая крайность: она стала говорить «яброко», «рампа» вместо «яблоко», «лампа». Это продолжалось несколько дней и прошло.

Когда я приезжала на дачу, особенно по воскресеньям, мы ходили гулять в лес и поле, собирали ягоды — землянику, а потом грибы. В березовой роще в июне было так много ландышей, что аромат их просто одурманивал.

В конце лета 1940 года к нам приехали за конфискованными вещами.

В это время дома были я и гостивший у меня мой брат Олег; мама с Лидой жили всё еще на даче. Приехавший сотрудник НКВД открыл дверь опечатанной комнаты Бабеля, а сам перешел в столовую и начал составлять опись, попросив меня перечислять вещи.

Я удивилась, когда брат вызвался помогать, то есть снимать шторы, свертывать ковер, перетаскивать костюмы и белье.

Сотрудник НКВД остался этим доволен, хотя его явно

поразило, что мы так спокойно относимся к такому событию. Спокойно, а потом и просто весело. Дело в том, что когда я вышла в свою комнату, то увидела, что Олег не только отрезал половину ковра, ту, что была на тахте и частично на стене, оставив им лишь ту, которая лежала на полу, но и подменил шторы. В моей комнате висели шторы из обыкновенной плотной ткани с рисунком, а в комнате Бабеля шторы были из прекрасной материи на подкладке и с фланелью внутри. Увидев эту замену, я рассмеялась.

Сотрудник НКВД удивился нашему веселью. Из столовой взяли очень красивый буфет черного дерева с вырезанными в нем фигурками. Буфет старинный, Бабель сам купил его у кого-то. Кроме того, из столовой были взяты еще какие-то мелкие вещи и картины. Оставили обеденный стол, стулья и диван. Мне было жалко отдавать тахту Бабеля, которую он сам заказывал, и я попросила забрать диван из столовой и оставить тахту, на что сотрудник охотно согласился. Когда опись вещей была закончена, пришли рабочие и погрузили всё в машину.

Комната Бабеля снова была заперта на ключ и долго оставалась пустой. Только весной 1941 года в ней поселился следователь НКВД Константин Аверин с женой.

Обычно те комнаты или квартиры, которые принадлежали арестованным, передавались в распоряжение НКВД. Вот почему известно так много случаев арестов людей только из-за того, что их квартиры понравились кому-то из сотрудников этой организации. Ничего не стоило написать на человека донос, чтобы иметь возможность занять его квартиру.

Для следователя, поселившегося в кабинете Бабеля, мы были не люди, а «враги народа». Иначе он нас и не называл.

В то же лето 1940 года мне неожиданно позвонила Анна Павловна Иванченко, давно уехавшая из Москвы на любимую Украину. Она приехала в Москву, чтобы узнать что-нибудь о брате, так как Якова Павловича Иванченко арестовали еще в 1936 году и осудили на пять лет лагерей. Я спросила ее, где она остановилась, и, когда узнала, что у своих знакомых, живущих в однокомнатной квартире, сразу же предложила ей переехать к нам. Часто думая об Анне Павловне, я всегда мечтала отплатить ей добром за добро. И вот наконец такой случай представился. Анна Павловна приехала к нам не одна, а с Галей и недавно родившейся второй дочкой Надей. Я уступила ей с Галей свою кровать, Надя спала в Лидиной кроватке. Сама я устроилась в этой же комнате на диване и приставленном к нему кресле, а Лида с мамой после возвращения с дачи спали в другой комнате. Так Анна Павловна с девочками прожила у нас до октября и уже

собиралась уезжать к себе на Украину в город Сумы, но я уговорила ее остаться у нас еще на месяц.

В 1939 году я не брала отпуск на работе, и теперь, уже осенью 1940-го, мне предоставили его пока на один месяц. Мама настойчиво уговаривала меня уехать куда-нибудь к морю, мне уезжать не хотелось, но тут как раз возникла возможность получить через местком путевку в Крым, в дом отдыха «Карасан», и я ее купила. Уезжая, я просила Анну Павловну побыть у нас, пока я не вернусь; мне было спокойнее, что мама и Лида остаются не одни.

Мне почти нечего вспоминать о моей жизни в «Карасане», кроме того, что я там жила в отдельной, очень маленькой комнате и что сад был наполнен розами разных сортов. Этим «Карасан» славился еще с дореволюционных времен, так как его хозяин очень любил розы, разводил их множество.

В этом доме отдыха я встретила двух сотрудников Метростроя, из снабженцев, но избегала общения с ними; они очень увлекались там молодым виноградным вином — маджарой. Мне было интереснее гулять по саду одной или с ботаником из Ленинграда, знавшим названия всех деревьев, кустов и трав, растущих в Крыму.

Возвратившись в Москву, я проводила Анну Павловну с девочками и дала ей немного денег и продуктов на дорогу. Я получила от нее только телеграмму о приезде, больше она мне не писала, и след ее затерялся.

Работа моей группы по проектированию станции «Павелецкая» продолжалась, и уже шли работы по сооружению станции, начавшиеся с проходки боковых ее тоннелей. Мне приходилось осуществлять авторский надзор и спускаться под землю. Начальником строительства станции был Николай Дмитриевич Данелия, отец будущего кинорежиссера Георгия Данелии, которому тогда было десять лет. Познакомившись со мной и узнав, что у меня есть дочь четырех лет, Николай Дмитриевич шутя заявил, что берет ее в жены своему сыну, когда они подрастут. Смеясь, я сказала, что согласна.

Чертеж станции «Павелецкая», крупно и красиво начерченный, висел в рабочем кабинете Данелии.

По отношению ко мне обстановка в Метропроекте после ареста Бабеля не изменилась. Большинство из ближайших ко мне сотрудников ничего не знали, а кто и знал, со мной об этом не говорили. Осенью 1939 года меня вызвали в партийный комитет Метропроекта и предложили работать агитатором в домах-общежитиях Метростроя. И, когда я сообщила, что у меня арестован муж, секретарь парткома спокойно сказал: «К вам это

отношения не имеет». Сам ли он так решил или получил какие-нибудь указания на мой счет от органов, так и осталось для меня тайной. Во всяком случае, я не чувствовала к себе какого-нибудь недоверия и, как и все остальные, вела разную общественную работу в Метропроекте. Я оставалась руководителем группы, занимавшейся проектированием станции «Павелецкая-радиальная» со всеми примыкающими к ней сооружениями.

Часть третья
На Кавказе во время войны

Война застала нас в дороге

В мае 1941 года в моей группе было закончено проектирование конструкций станции «Павелецкая», и сотрудники группы освободились. Их распределили по остальным группам, где было еще много проектной работы, а мне предложили поехать на месяц в командировку в Абхазию. Там началось строительство железной дороги от Сочи до Сухуми с восемью тоннелями на ее пути. Эту дорогу начинали строить еще французы, но война 1914 года помешала этому, и работы прекратились. Для постройки некоторых тоннелей успели пройти только небольшие выработки в виде штолен.

Весной 1941 года в Новом Афоне уже имелась проектная группа Метропроекта, но ее требовалось усилить. Я отказывалась ехать в Абхазию — мне надо было снимать дачу на лето и вывозить дочку с мамой за город. Начальство, заинтересованное в моей поездке, посоветовало взять дочку и маму с собой, и я согласилась.

Задание проектной группы заключалось в привязке порталов тоннелей на местности, решении на месте вопросов борьбы с оползнями, отвода воды. Предполагалось, что с этой работой проектная группа справится за один месяц.

В это время в Москве приближалась к концу укладка боковых тоннелей станции «Павелецкая», и срочно нужны были металлические конструкции, которые завод в Днепропетровске задерживал. 10 июня я выехала в командировку в Днепропетровск. Остановилась у той же хозяйки, где и прежде, и узнала, что у них родилась еще одна девочка, которую назвали Антонина, — в мою честь, как сказал хозяин дома. Я поблагодарила его за эти слова.

Обстановка на заводе была сложная, потому что одновременно со мной туда прибыл еще один командированный, требовавший срочного изготовления конструкций для мостов где-то на Севере. Убеждая меня уступить ему право первенства, он говорил: «Если не будут срочно построены мосты, у нас заключенные в лагере останутся без питания». Какой болью в сердце отозвались для меня эти слова! Я ведь тогда не знала, где находится Бабель, быть может, в этих самых лагерях. Молодой человек, заботившийся о заключенных, стал мне сразу симпатичен, и мы мирно договорились с заводом — кому и в какие сроки будут изготовлены конструкции, чередуя эти сроки между собой. Он уступал мне, я — ему.

Весной 1941 года Метрострой получил от завода всего по

шесть колонн и нижних прямолинейных прогонов. Договорившись с заводом о регулярной поставке всех металлических конструкций станции «Павелецкая», 14 июня 1941 года я возвратилась в Москву, а уже 20 июня села в поезд до Сочи вместе с мамой и Лидой.

Когда наш поезд подходил к станции Лазаревская, мы узнали, что началась война. Прямо на платформе состоялся митинг. Возвращаясь с митинга в вагон, четырехлетняя Лида весело сказала: «Ну вот, война кончилась…» Многие пассажиры, доехав до Сочи, возвратились в Москву. Мы же пересели в открытый автобус и поехали до Нового Афона. Была чудная погода, благоухание деревьев и цветов, и никак нельзя было верить, что идет война с немцами, что они бомбят наши города и погибают наши люди. Нет, не хотелось в это верить.

От Сочи до Гагр дорога была мне знакома — я проехала ее с Бабелем в 1933 году, и воспоминания захлестнули меня. Когда наступил вечер, а ехали мы долго, как мне показалось, засверкало множество светлячков, и это было сказочно красиво.

Приехали в Новый Афон в кромешной темноте: света не было нигде, огней зажигать было нельзя. Меня встречали, кто-то взял на руки заснувшую Лиду, кто-то вещи, и все пошли в гостиницу, где жили сотрудники нашей группы Метропроекта. Гостиница была затемнена, окна все занавешены — со свечой мы добрались до нашей комнаты. Нас предупредили, что на постелях могут оказаться скорпионы, которые с потолка часто падают вниз. При помощи свечки мы осмотрели постели и уложили Лиду и с ней маму.

Я поговорила еще с руководителем группы Борисом Владимировичем Грейцем, и мы разошлись по комнатам.

Наутро, после завтрака, я освоилась с гостиницей. Большую комнату занимала наша группа для работы, а в других жили сотрудники. Я привезла из Москвы техника-чертежника Антонину Дмитриевну Дудалеву, взявшую с собой семнадцатилетнего сына Виктора. Таким образом, работающих было человек восемь или девять, и все размещались для работы в одной большой комнате.

Мы с мамой отказались жить в комнате с окнами во двор и в пустующей гостинице выбрали уютную комнату поменьше, окна которой выходили на открытую террасу второго этажа, с нее и просматривался весь садик возле гостиницы, и открывался вид на море. В магазине купили электрическую плитку, большой и маленький чайник и кое-что из посуды, так что всегда могли дома пить чай и даже приготовить что-то на обед. Могли пойти и в ресторан, расположенный на нижнем этаже нашей гостиницы. Брали обычно салат из помидоров, свежих огурцов и сладкого

перца и что-нибудь из мяса на второе. Лиду мама кормила чаще всего дома, покупая свежие продукты на базаре. Продавцов было гораздо больше, чем покупателей. Очень скоро после нашего приезда Новый Афон опустел. Старые курортники разъехались, новые не прибывали. Санатории закрылись, на пляжах — никого.

Управление строительством тоннелей находилось в Гудаутах, управление строительством железной дороги — в Сухуми. В Новом Афоне, кроме нашей группы, была размещена транспортная контора Метростроя с автобазой.

Мы с утра работали, часто выезжали на строительство тоннелей для осуществления авторского надзора и иногда в Гудауты или Сухуми на различные совещания. Я занималась тоннелями № 11 и № 12 на Мюссерском перевале между Гаграми и Гудаутами, иногда приходилось ночевать в Гаграх в пустой гостинице «Гагрипш». Пробирались в номера со свечками в полнейшей темноте.

Заснуть было невозможно: мешали воспоминания о приезде в Гагры с Бабелем, о нашей жизни именно в этой гостинице. Трудно представить себе Гагры с роскошной растительностью в цвету совершенно безлюдными. В Новом Афоне, кроме местного населения, все же были строители тоннелей № 13 и № 14, сотрудники нашей проектной группы и транспортной конторы, шныряли туда и обратно полуторки, изредка появлялись легковые машины начальства.

Проектной работы оказалось гораздо больше, чем первоначально предполагалось, так как из-за плохих карт местности ни один из порталов тоннелей, запроектированных в Москве, в натуре не попадал в нужное место. Все чертежи порталов тоннелей пришлось делать заново. Тоннели № 15 и № 16 в Эшерах частично попали в зону оползней. Припортальные участки этих тоннелей значительно усложнились и потребовали изменения. Тоннель № 14 в Новом Афоне одним концом выходил на территорию дачи Сталина, которой раньше не было. Пришлось изменить его трассу, отказаться от выемки, ввести галереи и траншеи как продолжение самого тоннеля, чтобы как можно меньше нарушать территорию участка, засаженного молодыми лимонными деревьями.

Когда выяснилось, что месячная моя командировка в Новый Афон переходит в необходимость работать там длительное время, а также что Метропроект в будущем может быть эвакуирован в Куйбышев, мы получили распоряжение главного инженера Метростроя Абрама Григорьевича Танкилевича оставаться на месте. Но ни у кого из нас не было теплых вещей. Тот же Танкилевич организовал пересылку нам теплых вещей из Москвы,

это было поручено Метропроекту.

Родственников у меня в Москве не было, и я переслала ключи от квартиры Валентине Ароновне Мильман с просьбой собрать наши теплые вещи и передать их в Метропроект. Так же поступали и другие сотрудники нашей группы.

Валентина Ароновна, получив ключи от нашей квартиры, догадалась забрать и большой ковер на полу в моей комнате и отвезти его Эренбургу, чтобы утеплить пол комнаты, где он работал. Ему она отвезла и кофеварку, привезенную Бабелем в 1935 году из Парижа.

Мне было приятно, что ковер и кофеварка послужили Эренбургу а кроме того, эти вещи, в отличие от украденных соседями, вернулись в дом после нашего приезда.

Первый год войны мы прожили в Новом Афоне почти спокойно. Метропроект раз в месяц пересылал нам по почте зарплату, квартиры наши в Москве были забронированы решением Государственного Комитета Обороны (ГКО). Квартирную плату ежемесячно вносила бухгалтерия Метропроекта. Но военные сводки, которые мы в определенные часы бегали слушать в парк, где был репродуктор, были ужасные: наши войска отступали, и мы теряли много людей. Все мои братья были на войне, и никакой связи с ними не было. Настроение было подавленное, мама постоянно думала о сыновьях. Считая, что Бабель находится где-то в лагерях, за него я была даже более спокойна, потому что знала, что он непременно ушел бы на войну и мог бы погибнуть.

Только сказочной красоты природа Абхазии, воздух с упоительным ароматом цветущей магнолии, роз, теплое море да наша девочка Лида скрашивали нам с мамой жизнь. Лида была здоровой, всегда веселой и очаровательной девочкой. Ее волосы золотистого цвета вились кольцами, глаза — светло-карие с лукавинкой. Она была очень похожа на Бабеля, но хорошенькая, и кое-что взяла у меня. Бабель, смеясь, говорил мне, что я улучшила его породу. У меня волосы тоже были светлые, но совсем другого, пепельного цвета и никогда не вились так, как у Лиды. Глаза Лиды крупнее, чем у Бабеля, их разрез и расположение на лице точно такие же, как у меня. Мне удалось «улучшить» и форму ее носа, и только слегка выпуклая нижняя губа была Бабеля, но это не портило ее облик так же, как не портило лица Бабеля.

Были у Лиды в Новом Афоне две подружки, девочки сотрудников нашей группы, старше нее на год и на полтора, но Лида по сравнению с ними не казалась младшей и не подчинялась им, скорее наоборот — они подчинялись ей. Я

думаю, потому, что она в детстве была большой выдумщицей и игры придумывала именно она. Пока мы работали, девочки играли в саду около гостиницы, а вечером после обеда и дневного сна уходили на пляж загорать и купаться. Воды Лида не боялась, любила и визжала от восторга, когда волны окатывали ее с ног до головы. Ей было четыре года, шел пятый, и плавать она, к счастью, еще не умела.

В выходные дни я читала ей детские книжки. Из Москвы я привезла с собой только сказки Андерсена и «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, и то скорее для себя, чем для Лиды, — мое детство было прочно связано с этими двумя книжками, и без них я не могла бы жить; много кусков «Песни о Гайавате» в переводе Бунина я знала наизусть. Другие детские книжки — Маршака, Барто и кое-что еще — можно было купить в магазине в Сухуми. Любила Лида рисовать, особенно красками, и я купила ей цветные карандаши и акварельные краски. Ее рисунки были похожи на аппликации, но выглядели так красиво, что можно было часами их рассматривать. Однажды она нарисовала моряка в тельняшке и бескозырке, но ей очень хотелось показать ленты на бескозырке, которые находились за спиной, и тогда она нарисовала их сверху, над головой моряка. Мне очень понравилась такая ее выдумка. Я не учила ее читать и писать, так как нам внушали тогда, что дети должны приходить в школу без этого умения, иначе они будут невнимательны на занятиях и будут плохо писать. Моя мама, рассматривая с ней картинки в детских книжках, заставляла ее называть рисунки, якобы читая подписи под ними. Всё было хорошо, пока не дошли до изображения храма, и Лида бойко прочла слово «церковь» вместо «храм» — так, как там было написано.

С местным населением в первый год войны я почти не встречалась — не было случая, и только однажды, когда мы с начальником нашей проектной группы Борисом Владимировичем Грейцем приехали на тоннели № 11 и № 12 в Мюссеры, начальник этого строительства Насидзе пригласил нас в гости к местному жителю-абхазцу, чтобы показать, как живут здесь люди. Довольно хороший дом был расположен на вершине холма, перед домом — большая чисто выметенная площадка с крупным деревом грецкого ореха посредине в окружении виноградных лоз изабеллы, вьющихся по посаженным вокруг деревьям.

Угощение состояло из жареных кур, нарезанных кусками, мамалыги с острым соусом сацебели, кукурузных лепешек и солений из фасоли и перца. В изобилии было домашнее красное вино из винограда «Изабелла». Мне было интересно узнать, как готовится именно сладкое вино, и я задала этот вопрос хозяину.

Он рассказал, что если выжать сок винограда и оставить его бродить в специальных сосудах, то со временем получится кислое вино, а если свежий виноградный сок сначала вскипятить, а потом оставить бродить, то будет сладкое вино. Качество вина зависит и от того, вызревали ли гроздья винограда на солнце или в тени, и хороший хозяин всегда разделит виноград по этому признаку.

Вино, особенно сладкое, было очень вкусное и ароматное, и самое главное для меня было не пить его много, чтобы не опьянеть. Отказываться было трудно: абхазы, как и грузины, умеют угощать, упрашивать и предлагать тосты, от которых невозможно отказаться. Конечно, мы опьянели, но не настолько, чтобы не дойти до конторы, а затем и до своих комнат в общежитии строительства. Знакомство с местным населением ограничилось этим единственным визитом в абхазский дом, и общались мы в основном только между собой в проектной группе, что для меня не было особенно интересным.

Выезжая на тоннели и на совещания, я познакомилась и с другими инженерами и сотрудниками Метростроя, и круг моих знакомств постепенно расширился, но никаких дружеских отношений не завязалось. Из всех я отличала только главного геолога строительства Евгению Петровну Емельянову, жившую в Сухуми с матерью и дочерью Таней. Девочка была старше моей Лиды года на два. Не часто, но все же мы встречались и отправлялись на прогулки по горам в Мюссерах и в Новом Афоне. Мне нравилась эта женщина, так хорошо разбирающаяся в свойствах пород и понимающая тектонические явления в земной коре. Разговаривать с ней было интересно, но ни я, ни она никогда не рассказывали друг другу о прошлой жизни и ни о чем друг друга не расспрашивали.

Для поездок инженеров нашей проектной группы на строительство тоннелей или на совещания нужен был транспорт. Обычно руководитель группы Грейц звонил в транспортную контору и просил машину. И я заметила, как часто в транспортной конторе Грейцу отказывали, ссылаясь на то, что свободной машины нет. И тогда я решила пойти в контору сама и познакомиться с ее начальством, чтобы объяснить им, как необходимы бывают поездки на тоннели для решения срочных вопросов.

Я познакомилась с начальником Александром Ивановичем Кириным, его заместителем по техническим вопросам Израилем Яковлевичем Шахновичем, которого все называли просто Сима, и заместителем по хозяйственной части Эмилем Гурарием. Все трое оказались довольно молодыми людьми и очень симпатичными.

Они рассказали мне, что Грейц, оказывается, жаловался на них начальству Метростроя, что ему не дают машину по первому требованию, что говорит с ними заносчиво, ни разу не пришел к ним, чтобы познакомиться и поговорить по-человечески.

Я им сказала, что надоедать особенно не буду, что, когда должна буду выезжать куда-нибудь одна, то выйду на дорогу, проголосую, и меня подберет любой шофер. Это называлось поехать «королем». И в самом деле, стоило мне выйти на дорогу и поднять руку, и шофер обычно останавливался, и, если у него было свободное место в кабине, я садилась к нему, если нет, то в кузов. Полуторка была для меня старой знакомой, именно на ней меня учил ездить инструктор после ареста Бабеля в 1939 году, на ней я сдавала экзамен для получения водительских прав шофера-любителя, как тогда было принято называть сдавших экзамен. Мои водительские права произвели на руководство транспортной конторы большое впечатление: они, должно быть, почувствовали во мне своего, и с тех пор, если звонила я, машину давали немедленно. С этой троицей у меня установились очень хорошие отношения. С тех пор, как я с ними познакомилась, мы встречались в городе, ресторане или парке, здоровались и останавливались поговорить. Иногда Шахнович или Гурарий подвозили меня в Мюссеры, Гудауты или Сухуми, когда ездили туда по своим делам. Я никогда не просила шоферов, с которыми мне приходилось ездить «королем», дать мне повести машину, но когда ездила с Гурарием или Шахновичем, то просила, и они соглашались. Удовольствие, которое я испытывала, сидя за рулем, было огромное, уверенность в себе росла с каждым разом, и скоро мои друзья перестали испытывать страх за меня.

Весной 1942 года нашу проектную группу постигло страшное несчастье — неожиданно заболел и умер сын Антонины Дмитриевны Дудалевой Виктор. Оказалось, Виктор перенес когда-то тяжелое воспаление уха и какая-то там косточка держалась на волоске. Ему нельзя было простужаться — врачи в Москве предупреждали об этом, но восемнадцатилетнему мальчику хотелось быть таким же, как все в его возрасте, и однажды он, несмотря на протесты матери, вскочил в кузов полуторки, ему захотелось проехаться до Гудаут и обратно. Погода была солнечная, теплая, даже жаркая, но его продуло, и началось воспаление больного уха. Положение ухудшалось, пришлось отвезти его в Сухуми в больницу вместе с матерью. На помощь послали еще одного сотрудника, который должен был звонить нам в Афон каждый день. Потребовалось какое-то импортное лекарство, стоившее очень дорого, но мы все сложились и купили его. Увы, не помогло, и Виктор умер через несколько дней, уже,

как мне помнится, от воспаления мозга. Для всех нас это было большое горе, его все любили. Казалось, мы все даже забыли о том, что идет жестокая война и в опасности вся страна. Гроб с телом Виктора привезли в Новый Афон и поставили на стол в пустом номере нашей гостиницы. Много людей приходило прощаться, много было венков и цветов. Дети наших сотрудников, в том числе и моя Лида, не плакали; они не выходили из комнаты и, очевидно, не понимали ничего, а может быть, им даже нравилось, что Виктору оказывается такое внимание. Хоронили его не на действующем новом кладбище, а почему-то на старом, почти заброшенном, на высоком холме.

Вместе с другими детьми Лида шла впереди похоронной процессии с букетами цветов и была удивительно серьезной и спокойной. И только когда уже на кладбище гроб закрыли крышкой и стали заколачивать, Лида вдруг дико вскрикнула: «Нет, он не вернется, он не вернется!» — и рыдала так, что я испугалась, схватила ее и унесла с кладбища. Успокоить ее никак не удавалось, и я еще раз вспомнила слова Бабеля: «Боюсь, что девочка будет жить сердцем». Как он был прав! В гостинице я дала ей выпить сладкого чая, и она наконец уснула. Ей было всего пять лет.

Вернувшись с кладбища, все разошлись по своим комнатам, никаких поминок не было. Антонина Дмитриевна казалась измученной вконец.

И ночью, и утром я все никак не могла придумать, какие слова я скажу матери, как ее утешить. Мне казалось, что такое горе — потерять единственного сына — ни с чем нельзя соразмерить… И, думая об этом, я не могла уснуть. А утром в комнату постучали, вошла Антонина Дмитриевна и, обращаясь к моей маме, спокойно сказала: «Не дадите ли вы мне тазик — надо постирать вещи Виктора, хочу их продать». Я онемела. Она взяла таз и ушла. Что это было? Загадка.

Наступил второй год войны, самый тяжелый для нас в Новом Афоне. Война затягивалась, и некоторые сотрудники нашей группы стали нервничать, стремиться уехать в Москву. Немцы к тому времени перерезали железную дорогу, соединяющую Сочи с Москвой. Двигаться можно было только через Красноводск, добирались до Москвы за сорок дней. Уехал и руководитель нашей группы Б. В. Грейц с женой. Я осталась во главе проектной группы. Мне с мамой и маленькой Лидой опасно было трогаться в такой далекий путь.

Когда строительство тоннелей прекратилось из-за отсутствия цемента и лесоматериалов, которые мы получали из Новороссийска, взятого теперь немцами, был дан приказ

законсервировать выработки тоннелей. На это тоже требовался лес. Пришлось организовать лесоразработки вблизи Пицунды, но не на побережье, а на склонах ближайших гор.

Немцы подходили к Туапсе. Мы срочно начали строить железную дорогу в обход тоннелей. А пока вооружение из Ирана к Туапсе шло по извилистой, разбитой до предела шоссейной дороге. Во время дождей дорога портилась, колонны машин с вооружением останавливались.

Немцы начали бомбить Тбилиси и Сухуми.

Управление строительством железной дороги переехало в Новый Афон, но немецкие самолеты начали летать и над Новым Афоном. По тревоге мы прятались в канавах, прорытых еще монахами для отвода воды со склона масличной рощи. Наши зенитки стреляли по самолетам, и пустые гильзы падали на нас, сидящих в канаве. Возможно, немцы узнали, что части морской пехоты расположились на отдых в пустых санаториях Нового Афона, а может быть, закрытые от морозов белыми колпаками молодые лимонные деревья принимали за палатки воинских частей. Во всяком случае, оставаться в гостинице мы побоялись, и сняли для работы комнату в частном доме в поселке Псырцха, и сами переехали в дома этого поселка.

Наши хозяева Арут и Оля Янукян

Селение Псырцха состояло из домов, расположенных в несколько рядов вдоль моря, и домов, уходящих вверх по склону горы. В поисках жилья я с мамой и Лидой зашла в понравившийся нам небольшой дом с садом. Он стоял не на самом берегу моря, а на холме по другую сторону шоссейной дороги, и оттуда открывался чудесный вид на море. Хозяевами оказались армянин Арут Маргосович Янукян и его жена Оля. Поначалу Арут не хотел сдавать комнату, ссылаясь на то, что должны приехать родственники из Сухуми, но вмешалась Оля и сказала, что давно любуется этой девочкой в штанишках, когда бывает в Новом Афоне, и что она хотела бы, чтобы мы жили у них. Своих детей у них не было — когда-то была девочка, но умерла от рожистого воспаления. И я сняла у них небольшую комнату для себя и побольше — для мамы с Лидой. Сад был замечательный: много мандариновых деревьев, апельсиновые, лимонные, несколько яблонь и груш, а также мушмула, шелковица. Также было три оливковых деревца и два фейхоа. Виноград «Изабелла» окружал двор и ограждал беседку внутри двора. Большая площадка, обвитая со всех сторон и сверху виноградом, создавала тенистое место со скамьями по периметру и большим деревянным столом в одном из ее углов.

Комнату для работы мы сняли у Андроника Сарьяна в доме прямо на берегу моря, за забором которого был уже пляж. Андроник Сарьян, красивый человек лет сорока, имел жену Арусян и шестерых детей; всем детям он дал имена на букву А, как и он сам. Андроник любил выпить и посмеяться и часто неожиданно входил в нашу комнату, когда мы работали, с большим подносом только что сорванного винограда.

Поселившись в селении Псырцха, я попала в среду местного, но армянского населения. Основное население Абхазии состояло из абхазов, но было много и армян, бежавших от турок из своей страны. Даже селений Псырцха было два, «Псырцха абхазская» и «Псырцха армянская». Были и другие двойные селения. А кроме этого в Абхазии жило много грузин и русских. Никакой вражды или хотя бы неприязни между отдельными национальностями не было.

Наш хозяин Арут пользовался среди местного населения особым авторитетом. Я замечала, что к нему часто приходят и мужчины, и женщины, чтобы с ним посоветоваться, решить какой-то спор и даже лечиться. Бывали и соседи, и люди из отдаленных мест. Меня восхищало их умение говорить, произносить длинные

цветистые речи, а ведь были они простыми крестьянами. Я вспоминала русских мужиков и женщин, всегда молчаливых, особенно в Сибири, где я выросла. А здесь — ну просто Цицероны! Арут не переставал меня удивлять: он мог разрешить любой спор, дать совет, сосватать невесту, организовать похороны и даже иногда освободить от армии. Я — любопытная и всегда спрашивала его, зачем приходили и что он посоветовал или что сделал. И он охотно мне рассказывал. А вот что я наблюдала сама. Приходит молодой парень, у него болит зуб и он хочет, чтобы Арут вырвал ему зуб. Арут идет в кладовую, с полки со всяким ржавым железом достает грубые щипцы, вытирает их о свои грязные штаны и говорит парню: «Открой рот». Тут же вырывает зуб и, сказав, чтобы тот сплюнул и посидел, уходит. Я подсаживаюсь к парню на скамью и спрашиваю, почему он пошел к Аруту а не в больницу. Тот спокойно отвечает: «У них будет заражение крови». — «А у Арута?» — «Никогда!»

Другой пример. Прибегает женщина — обварила руку кипятком. Арут пойдет в сад, нарвет какой-то травы и на металлическом листе сожжет ее. Потом подождет, пока пепел остынет, и посыпает им ожоги. Женщина благодарит и уходит.

Но были у Арута и какие-то таинственные больные, которых он приглашал в одну из комнат дома, и они оставались ночевать там одну, а иногда и две ночи. О них я никогда не спрашивала Арута, считая, что еще рано: я мало его знала. Оля обычно не вмешивалась в дела мужа, и спрашивать ее было бесполезно.

Маме нравилось жить у Арута, она подружилась с Олей, привыкла к морю и принимала участие в хозяйственных делах по дому, завела кур, научилась делать кукурузные лепешки и мамалыгу из кукурузной муки. Учила Олю готовить русские блюда.

Лида в Псырцхе вела жизнь вполне деревенской девочки. По утрам из кукурузника (высокая башня с лестницей) доставала кукурузные початки, ручной мельницей, укрепленной на скамье в беседке, молола в крупу зерна кукурузы, кормила кур и цыплят. Цыплята настолько к ней привыкли, что смирно сидели у нее на голове, плечах и руках, и она в таком виде расхаживала с ними по двору. По вечерам пастух кричал не хозяйке Оле, а Лиде: «Лида, забирай свою корову!» Лида хватала с гвоздя веревку, бежала за ворота, наматывала веревку на рога коровы и вела ее по тропинке через сад в хлев.

Арут научил Лиду плавать и нырять. Попытки Лиды научиться плавать самой или с моей помощью ничем хорошим не кончались, а тут она быстро освоилась с морем, стала нырять и плавать великолепно, чувствовала себя в воде так же уверенно,

как любой местный мальчишка.

К осени 1942 года положение на фронтах войны было крайне тяжелым, шли бои за Сталинград; город, носивший имя Сталина, не должен был быть взят немцами, и Сталин не жалел солдат. Связь с Москвой прервалась, и мы перестали получать зарплату из Метростроя. Пришлось работать по договорам, заключенным с заказчиком или с другими проектными организациями Сухуми. Нашей группе были заказаны проекты бомбоубежищ в Сухуми: маленького во дворе обкома и большого в городе; мужчины из группы выезжали на работу по устройству противотанковых сооружений на Мюссерском перевале.

В связи с постройкой бомбоубежищ мне пришлось познакомиться с абхазскими властями в Сухуми: с первым секретарем обкома, с секретарем по транспорту и другими обкомовскими сотрудниками. Меня забавляли их вопросы о том, где безопаснее всего находиться в бомбоубежище в случае воздушного налета, а приказ первого секретаря — не принимать никого в течение часа, пока я была в кабинете, — меня просто рассмешил. Подумать только, сухумские власти прекращают на час функционировать! Были и предложения не уезжать сразу же в Новый Афон, а пойти в ресторан ужинать или в театр на спектакль. Я неизменно отказывалась, ссылаясь на то, что у меня нет с собой вечернего платья или что у меня больна мама или дочка. Особенно настойчив был секретарь по транспорту и однажды без моего приглашения приехал в Псырцху, я рассердилась, но Арут проявил неслыханное гостеприимство. Как простой человек, он любил начальство и радовался, если к нему приходил начальник милиции или приезжало какое-то начальство из Гудаут. А тут обкомовская машина из Сухуми! Такой почет для Арута! Сейчас же были зарезаны куры, приготовлено сациви и накрыт стол со всеми припасами и вином. Мне пришлось принять участие в этом застолье, но уж в следующие разы, как только Арут издали видел подъезжающую обкомовскую машину и говорил об этом мне, я хватала книгу и убегала в кукурузу, где можно было отсидеться до ухода незваных гостей. А иногда пробиралась к соседке Шушане и отсиживалась у нее.

Обстановка на фронтах становилась всё тревожнее. Немцы подошли к Туапсе на расстояние восьми километров, но, кроме того, нависли над нами в горах. Наши войска отступали. Иногда на полу моей комнаты ночевало по нескольку солдат. Однажды утром Арут показал мне на дом абхазца, расположенный напротив нашего. Деревянная пятиконечная звезда, украшавшая фронтон дома, была ночью снята, на ее месте остался только след

более светлого дерева. Значит, готовились к приходу немцев. Арут тогда сказал: «Ничего не бойся: я уведу всех в лес в горы. Знаю такие места, куда ни один немец не доберется. Там и отсидимся, пока наши снова не придут». Простой, почти неграмотный человек Арут не верил в то, что нашу страну можно завоевать надолго. Не верили в это и мы в нашей группе. И все же я однажды пошла к начальнику управления железной дороги Александру Тиграновичу Цатурову посоветоваться, как нам быть. Кроме мамы и Лиды, на моей ответственности были еще оставшиеся сотрудники проектной группы тоже с семьями. Цатуров мне тогда сказал, показывая на свой стол: «У меня под сукном лежит приказ Кагановича, чтобы в случае опасности эвакуироваться в Иран. Весь транспорт в нашем распоряжении».

Немцев в горах скоро разгромили отряды добровольцев из местного населения под командованием военных. А когда наши строители закончили железную дорогу в обход тоннелей и по ней пошли первые поезда с военным снаряжением, немцев отогнали от Туапсе. Радость военных по поводу постройки этой железной дороги была велика. Митинг закончился объятиями и поцелуями, подбрасыванием строителей в воздух.

Дорога, конечно, была аховая. Овраги пересекались в основном на шпальных клетках[41], оползневые участки требовали ежедневной подсыпки гравия под шпалы, который тут же сползал в море. Этот сизифов труд выполняли рабочие из штрафников, которых не посылали на фронт — не доверяли им.

Обстановка в Новом Афоне и настроение людей улучшились, военные сводки стали обнадеживающими. Живя у Арута, я часто думала, что если Бабеля освободят и не разрешат ему жить в Москве, то будет очень хорошо поселиться ему здесь, в этом саду с увитой виноградом беседкой и роскошным видом на море.

В Абхазии мы не голодали, хотя с продуктами, особенно с хлебом и мясом, было плоховато. Зимой Арут иногда заявлял: «Хочу мяса!» И тогда надевал на ноги специальную обувь, которую я называла мокасинами, — мягкую, без твердой подошвы, сшитую умельцами из прочной кожи, надевал на спину сумку, на плечо охотничье ружье и уходил в горы. Пропадал два-три дня, но без добычи не возвращался. Если ему не удавалось убить козу, что случалось редко, так как Арут считался лучшим охотником среди местного населения, то он покупал у пастухов барашка.

Придя домой, сейчас же подвешивал тушу, снимал шкуру и очищал. Один большой кусок мяса посылал одному соседу, другой такой же большой — другому соседу, а из остального мяса устраивал пир и созывал гостей. Приготовлением блюд всегда

занималась Оля, и ей всегда помогала моя мама. Из вырезки жарился шашлык на металлических шампурах, а из остального мяса готовилось жаркое с ореховой подливой, сациви и гуляш с подливой из помидоров. Виноградное вино было в доме Арута всегда, хотя сам он его не приготовлял, а покупал или брал из родительского дома, где жила его мать, брат Самуэль с семьей и младшая сестра Варсеник.

Арут с гостями пировали всю ночь, и даже на другой день гости расходились не сразу. Мы все тоже принимали участие в застолье, но только в самом начале, потом мама уходила укладывать Лиду, а затем уходила и я, поскольку мне надо было рано вставать на работу. И только Оля обслуживала гостей всю ночь. Ели Арут и гости обычно руками, без вилок и ножей, но делали это с таким изяществом, что можно было залюбоваться.

На другой день Арут говорил нам, что наелся мяса, и мог уже обходиться без него месяц и больше, пока снова не заявлял: «Хочу мяса!» И всё повторялось. И однажды мне пришло в голову, что Арут — настоящий Гайавата из поэмы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», и это сравнение не оставляло меня. Застолье Арут очень любил. Вина было всегда много, но я никогда не видела его пьяным: тоже, наверное, знал какой-нибудь секрет, как не пьянеть. Летом Арут мяса почти не ел, а если бывали гости, то им готовили кур или подавали жареных перепелов. Осенью, когда на поля прилетали перепела, Арут сажал на рукав ястреба и отправлялся в поле. Приносил по сто и больше перепелов, и Оля с моей мамой, а иногда и я, если была дома, общипывали их, потрошили и жарили распластав, как жарят цыплят табака. Хорошо прожаренные перепела укладывались в посуду слоями, заливались собственным жиром и в таком виде могли храниться всю зиму. И если Арут на другой день и на третий снова приносил сотни перепелов, то мы уже все молили его о пощаде.

Было у абхазского отделения Метростроя и свое пригородное хозяйство, где по моей рекомендации Арут стал главным агрономом, а также создана рыболовецкая артель. Но все овощи были у нас на огороде, поэтому из пригородного хозяйства я почти ничего не брала, кроме арбузов. Арут выращивал их невероятно больших размеров, даже крупнее тех, которыми в 1933 году угощал меня в Сочи Енукидзе.

Вместо картофеля в подсобном хозяйстве сажали сладкий картофель — батат: обычного картофеля в Абхазии не было, его иногда привозили поездом откуда-то из России, и стоил он очень дорого. Однажды приехал Арут и сказал, что на батат напали какие-то насекомые и батат погибает. Он забрал у нас и у соседей всех кур и подросших цыплят и увез их с собой в хозяйство. Куры

спасли урожай батата, поклевав всех насекомых, и вернулись домой. Если я просила Арута достать нам сахар, он спрашивал: «Сколько тебе надо?» Я отвечала: «Пять килограммов». Тогда он говорил: «Мешок сахара достать могу, пять килограммов не могу». Но целый мешок сахара я купить не могла, и вместо сахара мы употребляли мед или бекмес — густую сладкую массу, которая получалась из инжира и слив, если их долго варить на огне.

Однажды во двор Аруту свалили огромную бочку белого вина «Рислинг», и он попросил меня и Олю разлить вино по более мелким сосудам. Для этого мы должны были соединить узкий резиновый шланг с краном бочки, а другой его конец взять в рот и высосать струю. Когда вино пойдет, конец шланга надо быстро опустить в подставленный сосуд, наполнить его вином, вытащить шланг и поднять вверх. Таким же образом нужно было наполнить массу других сосудов, пока все вино не было перелито из большой бочки. Конечно, при этом нам с Олей вино попадало в рот, и мы его глотали и пьянели. Арут над нами смеялся, а мы с Олей уже не держались на ногах.

Почти с самого начала нашей жизни у Арута и Оли между нами установились дружеские отношения, и что бы ни готовила на обед моя мама, она угощала хозяев, и так же делала Оля, когда готовила свои блюда. За молоко она с нас денег брать не хотела, говорила: «Хватит на всех». Лиду хозяева обожали: только и слышно было: «Лидичка, Лидичка!» Она полюбила ягоды шелковицы. Арут распорядился их не собирать, а оставлять для «Лидички».

Еще весной 1942 года, когда мы жили в гостинице, для сотрудников нашей проектной группы выделили земельные участки с молодыми лимонными деревьями, между которыми посадили кукурузу и фасоль вместе, как это делают местные жители. Своими силами мы не могли освоить всю площадь, и урожай был не очень большой. Как метростроевцы, мы получали подземный паек хлеба, а так как нам больше нравились кукурузные лепешки, то мы этот хлеб меняли на масло и сыр, а иногда и на фрукты. И весной 1943 года, живя в Псырцхе, моя мама за хлеб наняла рабочего из штрафников вскопать нам весь участок земли под кукурузу и фасоль. Так же, за хлеб, мы нанимали этого рабочего окучивать кукурузу дважды за лето. И урожай был у нас большой — более 20 пудов кукурузы. Знакомый мне шофер Харин продал нашу кукурузу на базаре в Сочи по тысяче рублей за пуд.

Как руководитель проектной группы, я входила в список начальства, которое снабжалось в первую очередь, и бывали дни,

когда вдруг мне привозили целое ведро кефали или другой рыбы, которую поймали ночью. Мы с Арутом решили, что рыбу надо посолить и закоптить, и однажды он, приехав из пригородного хозяйства, где ему приходилось жить по нескольку дней, выложил из кирпича канал, в одном конце которого устроил печь для сжигания веток, не помню теперь, какого дерева. Подсоленная рыба была подвешена над каналом на бечевке. И через какое-то время у нас действительно была рыба холодного копчения. Но как получить рыбу горячего копчения, Арут не знал. Но однажды бечевка оборвалась, и рыба упала на горячие кирпичи. Пока кто-то это заметил, она испеклась, и получилась рыба горячего копчения.

Летом того же 1943 года сотрудники моей группы захотели поехать в дальние селения, чтобы выменять там одежду на продукты. Из Москвы доходили слухи, что там голодают, а нам пора было думать об отъезде. Заказы на проектную работу почти прекратились, хотя деньги, заработанные нами, выделялись и зарплату сотрудникам я все еще платила.

Для поездки в селения я попросила в транспортной конторе полуторку, и друзья мне не отказали. В одно из воскресений я получила машину, и сотрудники мои поехали, а с ними и моя мама, считая, что она лучше меня распорядится вещами и деньгами.

Главная задача была купить или выменять поросенка, чтобы и откормить. Не все из проектной группы задавались такой целью, но сотрудники, жившие семьями, могли это сделать. Вернулись поздно, но с победой: были куплены три молодых кабанчика, правда, совсем не такие, каких я привыкла видеть раньше, а какие-то дикие, пестрые и худые. Наш кабанчик на другой же день от нас сбежал. Но люди в селении узнали, что кабанчик сбежал со двора Арута, и помогли его найти. Он был заперт в маленький сарайчик возле хлева, и мама начала его откармливать кукурузой. Наши хозяева тоже могли бы завести свинку и откармливать ее, но были к этому совершенно равнодушны и только помогали маме. Я не знаю точно, но думаю, что они не любят или даже не едят свинину.

После того как мы прожили у Арута и Оли целый год и стали как ближайшие родственники друг другу, я как-то задала Аруту вопрос, от какой болезни он лечит тех больных, которых оставляет на одну или две ночи в своем доме. И Арут рассказал мне, начав издалека: «Мой отец Маргос Янукян в царское время был крупным скотопромышленником, и мы жили в большом собственном доме под городом Армавиром». Дальше я рассказываю то, что узнала от Арута. В 1914 или в 1915 году

семья Маргоса состояла из жены, двух сыновей, Арута и Самуэля, которым было четырнадцать и двенадцать лет, и только что родившейся девочки Азнеф. Он успешно вел свои дела и был известен в округе как один из богатых людей. Однажды Маргосу сообщили, что его племянницу, красивую молодую девушку, насильно выдают замуж за богатого старика. Узнав, когда назначен день свадьбы и венчание в церкви, Маргос, прискакав на лошади, вбежал в церковь, вырвал священную книгу из рук священника, порвал ее, схватил невесту и умчался с ней в горы. Дело было настолько серьезным и невероятным, что доложили царю, и Маргосу грозило строгое наказание. Тогда он решил бежать в Турцию. Кому-то поручил свой скот, сыновей отвез к своему родному брату, жившему высоко на горе вблизи Гагр, а дочку решил взять с собой. Были оформлены фальшивые паспорта — в то время за деньги это легко было сделать, — и Маргос сел с женой в Сухуми на пароход до Константинополя. Девочка в его паспорте не числилась, и он держал ее на груди под длинной, до полу, черной буркой. Когда подходил контроль проверять документы, Маргос сказал жене, что если девочка заплачет, то он выпустит ее из-под бурки в воду. Жена ему ответила, что, если он это сделает, она донесет на него властям. Но всё прошло благополучно, жена дала контролеру паспорта для проверки, а девочка спала у отца на груди под широкой буркой. И супруги доехали до Константинополя.

В поисках работы Маргос попал в услужение к французскому врачу, лечившему венерические болезни. Работая у врача простым дворником, он своим трудолюбием и своей сообразительностью полюбился хозяину, и тот стал давать ему всякие более сложные поручения. Маргос стал оказывать хозяину помощь в доставании лекарств, которых не было в Турции, — их привозили контрабандой откуда-то из арабских стран. Он помогал врачу и в приготовлении лекарств. Пробыв у врача на службе около двух лет, Маргос узнал об отречении Николая II от престола и решил вернуться на родину. Французский врач так полюбил своего слугу, что дал ему мягкий карандаш синего цвета, при помощи которого можно было вылечиться от экземы и других болячек на коже. Стоит только обвести синим карандашом больное место, и пятно на коже начинает уменьшаться, и человек выздоравливает. Всю процедуру лечения венерических болезней Маргос освоил сам: он видел, как приготовляется лекарство, узнал, сколько нужно давать больному и как и где можно достать нужный препарат. Возможно, он завел знакомство с контрабандистами, чтобы иметь возможность получать лекарства самому.

В 1917 или в 1918 году Маргос вернулся в Абхазию, купил дом и участок земли в селении Псырцха высоко в горах. В Армавир, где его хозяйство было конфисковано еще при царе, он не вернулся. Поселившись в Псырцхе, рассказывал дальше Арут, отец не мог сидеть без дела — он привык быть богатым. В горах он нашел подходящие камни для мельничного постава, перетащил их к какому-то ручью, устроил запруду и поставил небольшую мельницу. Маргос стал молоть людям зерна кукурузы на муку. Желающих оказалось много, им приходилось ждать своей очереди, и новый мельник организовал при мельнице нечто вроде кафе, где можно было выпить вина и поиграть в нарды. По мере надобности в кафе появлялось кое-что, чтобы поесть: кукурузные лепешки, сыр, мамалыга. Попутно отец мог оказать и медицинскую помощь, и он начал богатеть. Были у него и плантации табака — земли вокруг его дома было сколько хочешь, а советской власти пока близко не было.

В 1919 или 1920 году Аруту было лет восемнадцать, но никакая работа не шла ему на ум. Он организовал группу таких же, как он, парней, и они на конях разъезжали по Абхазии и вели себя не очень хорошо. А однажды Арут узнал, что скоро меньшевистское правительство должно было поехать из Гудаут в Сухуми на какое-то совещание, и подговорил своих товарищей ограбить это правительство. Их интересовало только оружие, и они знали, что оно у членов правительства было великолепно разукрашено и даже со вставленными драгоценными камнями. Подкараулив группу меньшевиков в лесу, которые, ничего не опасаясь, ехали на лошадях без охраны, группа Арута с дикими криками напала на них, оружие отобрали, но людей отпустили, позволив ехать дальше в Сухуми. Оружие спрятали, закопав тут же, в лесу. Рассказы Арута были очень красочными, несмотря на то что по-русски он говорил с ошибками, иногда очень смешными. Мог, например, сказать: «Ну как жить с этими людьмями!» Как было жалко, что нет рядом Бабеля, — он так умел слушать и научил этому меня.

Это нападение вызвало неслыханный скандал. Местные власти без труда догадались, кто это сделал, и всех ребят арестовали. Отец заплатил немало денег, чтобы спасти сына, которому угрожала смертная казнь как руководителю разбойничьей банды. Были подкуплены и милицейские, и судебные власти, а адвокат сказал отцу, что такое дело не может остаться без наказания, но надо свалить всю вину на глуповатого русского парнишку лет шестнадцати, который также был в этой банде. Так и сделали: все члены группы единодушно заявили, что именно Алешка подговорил их ограбить членов правительства и

взять их оружие. Был суд, и Алешке вынесли смертный приговор. Украденное оружие выкопали, хорошо почистили и вернули владельцам. И хотя весь местный народ знал правду, Арута никто не выдал, да и было бы это совершенно бесполезным: деньги и тогда всё решали.

После этого случая через какое-то время Маргос решил женить сына. Браками детей в селениях обычно занимались родители, и так как по дому, в саду и в поле работают там в основном женщины, а мужчины в это время играют в нарды, сидят в местных ресторанах и пропадают в бильярдной, то невесту старались выбрать крупную, здоровую, работящую. И для Арута выбрали такую девицу. Ему она совсем не нравилась. Ему нравилась девушка-мингрелка Оля, небольшая, изящная, с очень симпатичным лицом. Но ссориться с отцом и матерью не хотелось, и он уже готов был согласиться на брак, как вдруг однажды, придя в Новый Афон на базар, он увидел свою невесту с кругом колбасы в руках, от которого она откусывала большие куски. Арут испытал к ней отвращение, а через какое-то время выкрал Олю из окна ее комнаты и женился без разрешения отца. Был скандал, но постепенно все смирились, и, как рассказывала мне Оля, она начала наводить порядок в доме. Утюга у них не было, отец, Арут и его брат после стирки и сушки надевали рубашки мятыми, да так и ходили в них. Оля стала всё гладить, и мужчины преобразились. Она также умела стряпать блюда, которые в этой семье не готовили. Под влиянием Оли Арут стал помогать отцу в его работе на мельнице, и длилось это до тех пор, пока советская власть не укрепилась в Абхазии и не начались гонения на частную собственность. Мельницу у Маргоса отобрали не для того, чтобы передать ее властям и заставить работать для людей, а чтобы запретить всякую частную деятельность, и в конце концов она развалилась. На Маргоса это произвело тяжелое впечатление, и он стал болеть. Когда он умер, я не знаю, но в то время, когда мы поселились в Псырцхе, в родительском доме жили мать Арута, его брат Самуэль с семьей и младшая сестра Варсеник, родившаяся уже после возвращения Маргоса с женой из Константинополя. Быть может, перед смертью Маргос передал Аруту лекарства, полученные им от французского врача, и научил его лечить венерические болезни.

«Хорошо живет Такуш…»

Из дальних домов Псырцхи к нам часто приходили женщины с корзинами фруктов, чтобы продать их или обменять на хлеб и одежду. И однажды пришла очень бедно одетая и босая маленькая, худенькая женщина с корзиной слив. У Арута в саду было много разных фруктов, но не было слив, инжира и хурмы. Мы купили у женщины всю корзину слив, дали ей хлеб, который мне выдавали по карточкам, и юбочку Лиды для ее девочки. Я спросила, как ее зовут, и она ответила: «Меня зовут Такуш». От нее мы узнали, что она живет на склоне горы, довольно далеко от нас, но близко к родительскому дому Арута, что она вдова, имеет трех дочерей, младшей столько же лет, сколько моей Лиде. Такуш стала приходить к нам с фруктами, и даже если она приносила мандарины, которых у Арута в саду было очень много, мы с мамой покупали у нее и мандарины. Я каждый раз спрашивала у нее: «Как живешь, Такуш?» И она неизменно весело отвечала: «Хорошо живет Такуш!» Так было всегда, хотя я знала, что живет она плохо. И я попросила Арута рассказать ее историю. Я уже писала о том, как выбирают невест для своих сыновей в селениях: непременно работящих, сильных и здоровых. Такуш же была маленькая, худенькая и не очень красивая девушка, и никто замуж ее не брал. В это же время в селении жил красивый и высокий парень, но совершенно слепой. За слепого никто из девушек не хотел выходить. И старейшины селения решили поженить этих двух молодых людей. Такуш согласилась, была рада, что такой красивый молодой человек захотел к ней посвататься. Жених не видел, кого брал, но был благодарен девушке, захотевшей его, слепого, взять в мужья. И они зажили так счастливо, что все им завидовали. Муж Такуш целыми днями работал в саду, и с ее помощью всё было посажено, обработано и прекрасно росло. Как же он ее любит: целый день работает. Это считалось верным признаком сильной любви к жене. Слепой муж был в восторге от своей жены: она была изящной, нежной, доброй и казалась ему совершенством. Он ее не видел, он ее воображал. Душевная организация слепых много тоньше, чем у зрячих, и чувства его переполняли; он говорил ей ласковые слова, называл красавицей и королевой, Такуш верила ему и была счастлива.

Рождались девочки, все в отца — очень красивые, и Такуш гордилась ими. Муж внушал ей ту высокую оценку, которую сам ей придавал, и Такуш ходила с гордо поднятой головой. Но перед войной муж заболел и умер, и Такуш осталась одна. Она горевала о муже, но никогда никому не жаловалась и на вопрос: «Как

живешь, Такуш?» — отвечала: «Хорошо живет Такуш!»

Однажды я, Арут и Оля пошли в родительский дом Арута навестить его мать и вдруг в тишине услышали, что кто-то поет. Я спросила Арута, кто и о чем поет. Он ответил: «Такуш поет, о любви поет Такуш». Я поразилась этому — молодые девушки в селении, оставшиеся без женихов из-за войны, не поют, а Такуш поет. А через какое-то время Арут принес новость: Такуш вышла замуж за украинского парня Колю. Я уже писала, что рабочие-штрафники, подсыпавшие под шпалы гравий на временной железной дороге, часто ходили по домам селения искать работу за какую-нибудь еду. И вот один из них, украинец Коля, случайно пришел в дом Такуш и увидел невскопанную землю в ее огороде. Такуш не хотела никого нанимать: ей нечем было заплатить за работу; но земля была такая прекрасная, и сердце украинца не выдержало — он согласился обработать землю даром. Он, крестьянин, соскучился по запаху земли, влюбился в эту землю, на которой что ни посади — всё буйно начинает расти. И Коля стал каждый день приходить к Такуш после своей основной работы, а потом и остался. И снова изумились люди в селении: молодые девушки не могли выйти замуж, а Такуш снова вышла замуж, и муж так ее любит, что работает на огороде не покладая рук.

Так счастливо Такуш прожила, наверное, месяцев шесть, был хороший урожай кукурузы, фасоли и всех овощей, но уже, наверное, в январе 1944 года Коля украл в табачном сарае несколько листьев сушившегося там табака, его арестовали и дали восемь лет тюрьмы. Сталинские законы о наказании за воровство в то время были чудовищно жестокими. На пять лет сажали даже за колоски, собранные крестьянами после уборки колхозных полей. И Такуш снова осталась одна.

Последний раз я встретила ее, думаю, тогда же, в январе 1944 года. Иду по шоссе из Нового Афона, падает снег с дождем, но на мне непромокаемые ботинки, теплое пальто и зонт, и встречаю Такуш босиком и в темной шали. Маленькие ножки посинели от холода. Сердце мое сжалось, и от растерянности я машинально задаю вопрос: «Как живешь, Такуш?» «Хорошо живет Такуш», — весело отвечает она, и мы расходимся. Я долго не могла успокоиться после этой встречи, ночью думала о ней и решила, что я — такая же Такуш. Пожаловалась ли я когда-нибудь на свою жизнь без Бабеля? Никогда! И когда бы меня ни спрашивали, как я поживаю, я неизменно отвечала: «Совершенно замечательно». Как и Такуш, я, поставленная Бабелем на пьедестал, не хотела сойти с него. Я не хотела быть жалкой.

Еще летом 1943 года в нашем поселке мне стала встречаться

милая интеллигентная дама в хорошо сшитом светло-сером костюме. Встречаясь, мы улыбались друг другу и раскланивались, но не разговаривали и познакомились, только когда очутились вместе на пляже. Она приехала сюда из Москвы с двумя мальчиками к своим родителям, живущим в собственном доме и совсем недалеко от нас. Ее отец Владимир Иванович Щекин был главным маркшейдером в управлении железных дорог, а мать Анна Степановна растила внуков. В семье было три дочери и один сын, но никто из детей не жил постоянно вместе с родителями, а только приезжали с детьми в летнее отпускное время. Моя новая знакомая Ольга Владимировна работала в Москве машинисткой и стенографисткой в университете. Ее муж Яков Аронович Виленкин был инженером по строительству мостов, а в данное время находился в строительном батальоне на фронте. Я не рассказывала Ольге Владимировне, как и никому другому, о Бабеле; просто мой муж на фронте и известий нет.

В моей группе было сначала четыре, а потом две сотрудницы, но приятельских отношений ни с кем не завязалось, а с Ольгой Владимировной мы как-то само собой подружились, и эта дружба продолжалась много лет, до самой ее смерти в восьмидесятых годах. Я могла бы дружить и с Конкордией Владимировной Цатуровой: она мне нравилась, и я ей тоже, но она работала и жила в Сухуми, и встречались мы редко. Но каждый раз, когда я приезжала в Сухуми, я заходила в проектную организацию с ней повидаться; несколько раз она уговаривала меня прийти к ней домой обедать. У нее были две дочери, Инга и Муся, совсем разные: Инга — будущая красавица, вся в отца, необыкновенно красивого мужчину, а Муся в мать — милая маленькая девочка. Однажды за обедом Муся сказала, что соскучилась по куриному супчику, и я пообещала пригласить их на обед ко мне в ближайшее воскресенье.

Обед мама приготовила отменный, из цыплят, а Арут привез огромный арбуз, и мечта Муси осуществилась. Очевидно, с продуктами в Сухуми было плоховато, если в семье Цатуровых не готовился куриный бульон. А когда мне понадобилось поехать по делам в Тбилиси, Конкордия Владимировна настояла на том, чтобы я остановилась в их тбилисском доме, где тогда жил ее отец. Профессор, он преподавал в тбилисском университете, так же, как до этого много лет в Москве.

В Тбилиси я приехала вечером. Был очень холодный осенний день. Я нашла дом Цатуровых и позвонила. Открыл сам Владимир Яковлевич, очень симпатичный пожилой человек интеллигентного вида, с прекрасными манерами. Дом был большой, но из пяти или шести комнат топилась только одна, в

ней он и жил, работал, сам себя обслуживая. Владимир Яковлевич напоил меня горячим чаем, проводил в одну из нетопленых комнат и принес теплую вязаную шапочку и несколько одеял. Я очень хорошо выспалась, а утром мы снова выпили горячего чаю с бутербродами, и я ушла в проектную организацию. С продуктами в Тбилиси было плохо, всё по карточкам, а я даже не догадалась взять с собой хоть что-то. Днем меня подкармливали сотрудники проектной организации, устраивая общий чай, а вечером — Владимир Яковлевич, который иногда даже варил суп.

В доме было много дорогих книг на армянском и грузинском языках с тиснением фамилии владельца — «Цатурянц». Это была фамилия предков Александра Тиграновича Цатурова, мужа Конкордии. Как везет мне в жизни на хороших людей — просто удивительно! Таким и запомнился мне Владимир Яковлевич, а его фамилию я все же забыла… Через три дня, сделав свои дела и выпросив у тбилисцев два рулона кальки и один рулон ватмана, уехала домой.

В это время к Ольге Владимировне Щекиной приехал с фронта ее муж Яков Аронович, и она пригласила меня в гости. Дом Щекиных показался мне удивительно уютным, а родители — необычайно гостеприимными. Владимир Иванович Щекин, смешливый человек, сам любил над всеми подшучивать, особенно над своей женой. Женщина добрая и приятная, она любила посплетничать, всё про всех в поселке знала, всему верила, да и сама любила присочинить. Над этой ее слабостью и подсмеивался Владимир Иванович.

Садовод-любитель высокого класса, селекционер, он выращивал какие-то необыкновенные сорта инжира, фейхоа, даже кофейное дерево и, конечно, все сорта цитрусовых. Слушать, как он рассказывал о своем саде, было очень интересно.

Было у меня и еще одно интересное знакомство в Сухуми. Я купила на базаре красивые коричневые туфли с узором на подъеме и успела надеть их всего три раза, как все швы лопнули — туфли можно было выбрасывать. Приехав по делам в Сухуми, я зашла в проектную организацию и спросила Конкордию Владимировну, какому сапожнику она отдает чинить обувь. Она сказала, что в Сухуми в драматическом театре есть актер Борис Радов, и он прекрасно чинит обувь; все сотрудницы отдают чинить обувь именно ему. Цатурова дала мне его телефон, и я ему позвонила. Радов назначил мне время, когда можно к нему прийти. Дверь открыл красивый, довольно молодой человек в бархатной домашней блузе с шелковым бантом вокруг шеи вместо галстука. Он взял туфли, назвал цену и назначил время, когда будет готово. В следующий раз я взяла с собой еще одну

пару туфель, где нужно было сделать набойки, и пришла к артисту-сапожнику второй раз. Надо сказать, что я восхитилась этим человеком: вместо того чтобы продавать на базаре свои тряпки, как это делали другие актеры, он освоил сапожное ремесло. Впустив меня в свою комнату, Радов надел на ту же нарядную домашнюю блузу фартук сапожника и предложил мне посидеть и подождать, пока он сделает набойки. Первая пара была починена так, что выглядела как новая. Работая, Радов задавал мне вопросы о том, кто я, откуда, что делаю в Абхазии, у кого живу. Мы разговорились, но рассказывать пришлось больше мне — о себе он поведал только, в каких спектаклях играет и какие советует посмотреть. Я не была в театре в Сухуми ни разу, ночевать мне там было негде, а задерживать служебную машину до окончания спектакля было неудобно.

И вдруг я неожиданно получаю от Радова письмо почти с объяснением в любви и приглашением на спектакль. Для ночевки он предлагал мне свою комнату, а сам, мол, уйдет к друзьям. Я ответила ему шуточным письмом, на что было новое послание, на него я уже не ответила. Через некоторое время мы узнали, что драматический театр Сухуми приезжает со спектаклем в Новый Афон, а Радов снова написал мне, что просит зайти к нему за кулисы во время антракта или после спектакля. Спектакль мы с сотрудниками моей группы посмотрели, но за кулисы я не пошла. А через какое-то время я узнала от Конкордии Владимировны Цатуровой, что Борис Радов арестован. Ну конечно, подозрительный человек! Актер, а сапожничает — тут что-то не так! А как удобно, будучи сапожником, принимать у себя всяких людей и, конечно, шпионов. На всякий случай надо арестовать. Так, я думаю, рассуждали в НКВД в Сухуми. И снова ужаснулась тому, что происходит в нашей стране.

1943 год

Летом 1943 года неожиданно арестовали и Израиля Яковлевича Шахновича. Мне об этом сказал Кирин. А когда я спросила: «За что?» — ответил: «За гвозди». Оказалось, что Шахнович организовал во дворе транспортной конторы маленькую мастерскую по изготовлению гвоздей из старого железа от изношенных машин. Гвозди были крайне необходимы для нужд транспортной конторы, возможно, что они продавались и местным жителям. И я вспомнила, как однажды Израиль Яковлевич говорил мне о гвоздях и что он просил меня, когда я уеду в Москву, познакомиться с его сестрой Этей Яковлевной и ее мужем генералом А. Д. Цирлиным. Он хотел, чтобы я уговорила генерала разрешить ему собирать на полях сражений подбитые танки, из которых он наделает гвоздей на весь Советский Союз. И.Я. любил мыслить глобально. Например, он носился с идеей все пустующие поля Абхазии засадить капустой, и ее, мол, будет столько, что накормить можно будет всю Красную армию. Он напоминал мне Форестье из романа Драйзера «Маленькая хозяйка большого дома» — такой же размах.

Через несколько дней кто-то принес Кирину письмо от Израиля Яковлевича, в котором он писал, что его обвиняют за создание мастерской и продажу гвоздей, но на самом деле ему мстит следователь, которому он когда-то не дал машину — чему свидетелем я была. Израиль Яковлевич писал, что будет настаивать на том, чтобы этого следователя отстранили от расследования и заменили другим.

В следующем послании Кирину говорилось, что он положит письмо ко мне под доску в потолке уборной недалеко от здания сухумской милиции, которой пользовались все заключенные. И что он тщательно вымоет уборную, чтобы я могла туда зайти.

В Сухуми поехали я, Кирин и Гурарий. Машину со своими спутниками я оставила вдалеке, а сама вошла в довольно чистую уборную и легко нашла письмо. И.Я. просил меня выступить свидетелем его разговора со следователем, когда он не дал ему машину, и написать на письме «согласна», если я смогу это сделать. Я написала, и мы уехали, а через некоторое время мне пришла повестка к следователю. Я испытала неприятное ощущение, войдя в мрачное здание и зная, с каким произволом здесь можно столкнуться. За столом сидели трое, в том числе и тот, которому Израиль Яковлевич не дал машину, но вопросы задавал другой. Меня спросили, знаю ли я этого человека. Я сказала, что видела его один раз в Новом Афоне. Попросили

рассказать о его разговоре с Шахновичем. Я сказала, что к Шахновичу этот человек обратился с просьбой дать ему машину доехать до Сухуми и что он явно только что вышел из ресторана, был очень пьян. Шахнович категорически отказался дать ему машину, хотя тот требовал. Я даже возмутилась: если человек настолько пьян, то ему надо как-то доехать домой. Но Шахнович был неумолим: он не может тратить бензин и платить водителю за каждого пьяного, пусть тот доедет на попутной машине и сам платит шоферу. Меня спросили, кто еще слышал этот разговор, и я ответила, что на террасе гостиницы со мной был еще инженер из нашей проектной группы, но он недавно уехал в Москву.

Позже я узнала, что следователя Шахновичу заменили на другого, что он возвратился, но там заразился чесоткой и не мог даже зайти поздороваться, пока не вылечится. Я была горда собой, потому что оказалась настоящим другом.

Осенью 1943 года к нам неожиданно приехал с фронта мой младший брат Борис с товарищем. Он знал только то, что мы в Новом Афоне, но легко узнал наш адрес, зайдя в гостиницу. Борис получил отпуск всего на три дня и на второй день, когда я была на работе, поссорился с мамой. Она имела неосторожность сказать ему: «Когда немцы будут стрелять, ты спрячься в канаву». Борис рассердился, хлопнул дверью и выбежал из дома. Вернувшись с работы, я и его товарищ пошли его искать, но нигде не нашли. Пришел он на другой день утром. Я уговорила его не сердиться на маму: ведь она, не имея известий о старших сыновьях и зная его характер, боялась, что его убьют. Я не пошла на работу, и мы проговорили весь день. Оказалось, что воинская часть, в которой служил Борис, была перебазирована куда-то в Грузию, где он служил дальномерщиком в артиллерии, так как имел отличное зрение. Было много рассказов о том, как он на самоходке загонял отступающих немцев в Балтийское море, как провел ночь зимой в тылу у немцев и отморозил пальцы ног, и о многом другом. Вечером я проводила Бориса с товарищем на автобусную станцию, откуда они доехали до Сухуми, а дальше поездом к себе в часть.

Наступила зима 1943 года, декабрь месяц. События на фронтах резко изменились в нашу пользу: почти каждый день наша армия освобождала от немцев наши города. Тоннели здесь были законсервированы, и не было надежды на скорое возобновление работ по их сооружению. В то же время вся проектная работа до последнего чертежа была закончена. Я объявила сотрудникам, что существование нашей группы прекращается, и предложила им самим выбрать, уехать ли в Москву или устроиться на работу в какое-нибудь учреждение в

Абхазии. Двое мужчин с семьями решили уехать. Одна женщина устроилась на работу в управление железных дорог секретарем к Александру Тиграновичу Цатурову. Еще две женщины собирались уезжать в Москву. А один инженер среднего возраста, работавший не в моей группе, а в группе заказчика, пришел ко мне за советом: «Ведь я никогда в своей жизни не принимал самостоятельных шагов. Сначала меня комсомол послал учиться на рабфак, потом партийная организация направила в институт, потом она же послала на работу. Работу я менял тоже по решению партии. Что Вы посоветуете?» Я ужаснулась: человеку ведь уже около сорока лет — и подумала: «Что же делают с людьми в Советском Союзе?!» Я отшутилась, сказав ему, что я не партийная организация и ничего посоветовать ему не могу. Больше я этого инженера никогда не встречала. По сведениям из Москвы, Метропроект возвратился из Куйбышева, куда выезжал в эвакуацию, и снова обосновался на улице Горького.

Перед самым Новым годом во двор Арута въехала грузовая машина, на которой Кирин привез новогоднюю елку Лиде. Это была вовсе не елка, а деревце кипариса, и он сказал, что ездил в заброшенные с давних времен селения и там срубил несколько деревьев детям. Лида очень обрадовалась, они с мамой стали украшать деревце игрушками, частично купленными в магазине, но в основном самодельными, а также конфетами, мандаринами и грецкими орехами. Лида, украшая елку, вдруг сказала: «Хорошо, когда есть папа… — Потом помолчала, наверное, подумала, что у нее нет папы, а елка есть, и продолжила: — … Или много знакомых мужчин». Это деревце кипариса простояло у нас до дня рождения Лиды 18 января и даже дольше. А день рождения Лиды, ее семилетие, отпраздновали хорошо. Я собрала в горах уже расцветшие цикламены и анемоны и расставила их по всей комнате. Испекли торт, как бывало в Москве, пришли дети и взрослые, и даже с подарками.

Уехали в Москву мы еще не скоро, а собираться стали сразу же после Нового года. Собирались основательно, у нас ведь было хозяйство, откормленный кабанчик и куры. Арут зарубил свинью, пригласили Юлию, жившую напротив нас на берегу моря, и она занялась приготовлением мяса, так как знала в этом толк. Окорока сначала солились в корыте, кажется, недели две, а Арут в помещении, где откармливался кабанчик, соорудил коптильню. Юля из мяса наделала колбасы, и окорочка и колбаса коптились несколько дней. Часть мяса кусочками пережарили и уложили в ведро, покрыв его растопленным свиным салом. Сало мама кусками засолила с чесноком, как это делали в Белоруссии во времена ее молодости. Увезти с собой мы могли только половину,

а остальное оставили хозяевам. Надо было взять с собой еще и кукурузную муку и фасоль. В Москве был голод, и хлеб на базаре стоил чуть ли не семь тысяч за буханку. В управлении Метростроя в Гудаутах тоже шла предотъездная суета, и, приехав туда попрощаться с сотрудниками, которые всё еще оставались, я получила несколько метров полосатой матрацной ткани для упаковки наших вещей.

Поезд в Москву через Сталинград формировался в Сухуми, поэтому до Сухуми мы ехали на машинах. Провожали нас Арут, Оля и трое моих друзей из транспортной конторы. С оставшимися сотрудниками моей группы, со Щекиными и с другими знакомыми в Псырцхе я попрощалась на месте. В Сухуми к провожающим присоединился секретарь обкома по транспорту и с ним еще двое. Поезд отходил поздно вечером; как только он тронулся, мы почти сразу улеглись спать. Ехали через Сталинград, и, пока поезд там стоял, мы с Лидой вышли на площадь. Зрелище полностью разрушенного города было ужасающим. Повсюду высились только отдельные стены бывших больших кирпичных домов с проемами окон, всё вокруг — сплошной битый кирпич. На вокзальной площади — круглая раковина фонтана с полуразбитыми скульптурами детей вокруг. И по всей дороге в Москву видны были следы страшных разрушений. А так как мы в Новом Афоне почти не испытали ужасов войны, эти картины явились для меня самым большим впечатлением от войны, до сих пор они стоят перед глазами.

Встречали нас в Москве Валентина Ароновна Мильман, начальник конструкторского отдела Метропроекта Роберт Августович Шейнфайн и, к моему удивлению, главный инженер Метростроя Абрам Григорьевич Танкилевич. Это уже заслуга Мильман, которая успела с ним подружиться и заставила его поехать меня встречать. У него была большая машина, в которой мы все могли разместиться, было право проходить через правительственный вестибюль, не толкаясь в очереди, и генеральская, хотя и транспортная, форма.

Часть четвертая
Москва — после войны

Возвращение в Москву

Несмотря на то что моя квартира была забронирована ГКО, она была разорена. «Нижние» соседи, военком и заместитель начальника отделения милиции нашего района распространили слух, что я, как жена репрессированного, перешла к немцам и в Москву не вернусь. Поэтому в домоуправлении одну из моих комнат отдали печнику, а в другой селились домоуправы. Их было несколько, сменявших друг друга за время войны, и каждый считал нужным поселиться в одной из моих комнат. Все вещи были разворованы.

Еще в конце 1943 года в Москву с фронта приехал дальний родственник Бабеля Михаил Львович Порецкий. Он зашел в наше домоуправление, объяснил им, что я в командировке и скоро возвращаюсь, добился освобождения одной комнаты. Когда очередной домоуправ выехал, Порецкий повесил замок и ключ передал Роберту Августовичу Шейнфайну, встречавшему нас на вокзале.

Доехав до Большого Николоворобинского переулка, мы поднялись в комнату и перетащили все вещи. В комнате был адский холод, ночевать там было невозможно, и я договорилась с Валентиной Ароновной, что приеду ночевать к ней, как только устрою ночлег мамы и Лиды у соседей из второй половины дома.

У Валентины Ароновны я застала гостей — Перу Моисеевну Аташеву первую жену Эйзенштейна, и писателя Всеволода Вишневского. Все сидели за ужином, и Вишневский был достаточно пьян. Вел себя отвратительно, приставал к Пере Моисеевне, и я испытала такое чувство неприязни к нему, что, подождав еще немного, попросила его уйти. Не знаю, как мне удалось его выдворить, несмотря на его сопротивление, но, должно быть, мой вид и тон были весьма решительными. Больше я этого человека никогда не встречала.

На другой день я должна была поехать к тетке Бабеля Екатерине Ароновне в Овчинниковский переулок за печкой, оставленной для меня Михаилом Львовичем Порецким. Эта железная печка была приспособлена для обогрева немецких солдат и даже называлась «окопная». Я взяла Лидины саночки и отправилась за печкой все с тем же Робертом Августовичем, решившим меня сопровождать. Туда и обратно шли пешком по хрустящему снегу в довольно морозный день. Кое-как сами установили печку в моей комнате, трубу воткнули в отверстие голландской печи и затопили, собрав какие-то остатки в нашем дровяном сарае в подвале дома. Комната быстро нагрелась, на

печке вскипятили чайник, и мама на ней напекла оладьи, и это был наш первый завтрак дома. Нужно было обязательно запастись дровами, и милейший, добрейший Роберт Августович обещал поговорить с кем-нибудь из начальников строительства метрополитена, чтобы мне привезли машину использованных досок. Доски на другой же день привезли, сложили их в сарай, и оставалось только распилить их на дрова. Мы с мамой распилили несколько штук, а в дальнейшем, когда я уже пошла на работу, этим занималась мама вместе с Лидой, быстро освоившей это занятие. В комнате теперь было очень тепло благодаря замечательной печке, и на ней всё можно было приготовить. Не было только электричества: была какая-то неисправность, но не в доме, а на электростанции. Поэтому вечерний чай мы старались выпить во время салютов по поводу освобождения наших городов. Комната была угловая, с большими окнами, а салют из 25–30 залпов давал нам время, чтобы выпить чаю и поужинать при свете.

Кроме мебели, из вещей наших ничего не сохранилось. Ни посуды, ни постельного белья, ни одеял, ни подушек. В шкафу, к великому моему счастью, валялись фотографии, и из них часть фотографий Бабеля.

Но самое печальное — в доме не осталось ни одной книги.

Для того чтобы восстановить наш дом, теперь уж полностью разоренный, требовалось много денег.

По вечерам я старалась заработать дополнительно, берясь за любую проектную работу. Такой работы сразу после войны хватало.

Прежде всего у одной дамы мне удалось купить неплохую библиотеку, где были однотомники основных классиков русской литературы. Если в букинистических магазинах мне попадались те книги, которые были у нас с Бабелем, то я их покупала.

Метропроект после войны

Я снова начала работать в Метропроекте, получив для проектирования станцию «Павелецкая-кольцевая» со всеми относящимися к ней сооружениями и примыкающими перегонами.

Станция «Павелецкая-радиальная» была построена и уже эксплуатировалась, но, боже, в каком ужасном виде! Она состояла из двух боковых тоннелей с узкими пассажирскими платформами и небольшого аванзала у эскалаторов со стороны железнодорожного вокзала. Этот аванзал сообщался с боковыми тоннелями станции двумя проходами с каждой стороны. Замоскворецкий радиус сдавали в эксплуатацию во время войны. И станция «Павелецкая-радиальная», металлические конструкции которой остались в Днепропетровске у немцев, была сдана в эксплуатацию в незаконченном виде. Проемы из аванзала в боковые тоннели были созданы при помощи тех металлических конструкций, которые успели прислать из Днепропетровска в Москву еще до начала войны. Без меня этот аванзал в «военном» виде запроектировал инженер Метропроекта В. И. Дмитриев, архитектурное оформление осуществил А. Н. Душкин.

И я, и строители станции мечтали осуществить ее в задуманном ранее виде. Мы долго хлопотали и наконец с большими трудностями добились разрешения ее достроить. После войны удалось вновь заказать в Днепропетровске металлические конструкции. Достраивалась «Павелецкая-радиальная» медленно, на протяжении нескольких лет. Эта работа была уже не главной, а как бы второстепенной, денег давали мало, для работы была выделена всего одна бригада рабочих, а строить надо было, не прерывая движения поездов, что тоже осложняло дело. Тем не менее станция «Павелецкая-радиальная» получила завершение на всем ее протяжении, но аванзал с одного ее торца так и остался, как напоминание о войне. Жаль только, что архитектурное оформление станции не подчеркнуло достоинств конструктивного решения, а скорее наоборот. На станции плохое освещение, так как лампы архитектор упрятал за картушами, и они дают мало света.

Мне не пришлось работать с архитектором В. А. Весниным, так как к тому времени, когда станция достраивалась, он заболел и в 1950 году умер. Оформление станции осуществлял архитектор С. В. Лященко, работавший в мастерской братьев Весниных. По такому же колонному типу впоследствии была построена станция «Комсомольская-кольцевая» в Москве и две

станции в Ленинграде.

Конструкторский отдел Метропроекта в 1944 году размещался на втором этаже Пассажа, а его окна выходили на улицу Горького и частично в переулок рядом с Центральным телеграфом. Комната, в которой работала моя группа проектировщиков, была угловой и очень светлой, но весной там было ужасно холодно. На полу виднелись лужицы замерзшей воды, и моя сотрудница-техник Раиса Сергеевна Тарасова, чтобы согреться, быстрыми шагами ходила по комнате, под ее ногами потрескивал лед, и она решительным голосом заявляла: «Нет, так жить нельзя! Надо срочно выходить замуж за генерала!» Мы смеялись и снова принимались за работу, не снимая пальто. Зато завтракать мы иногда ходили в кафе «Националь», где по-прежнему было уютно и очень вкусно кормили.

В это же время нам всем присвоили звания от младших лейтенантов до генералов, но не по военной, а по транспортной линии. Мне присвоили звание майора, как и другим руководителям групп. Всем сшили формутемно-синего, почти черного цвета с погонами. На работу все обязаны были являться в форме, снимали ее только дома, и каждый день я вывешивала свою форму на ночь за окно, чтобы проветрить ее от запаха табака. Я обязана была присутствовать на всех совещаниях и была единственной женщиной в обществе курящих мужчин, так как других женщин моего ранга у нас не было. Две женщины-инженеры появились в конструкторском отделе Метропроекта только после войны, году, наверное, в 1947-м. Начальник конструкторского отдела распорядился направить их в мою группу. Мария Валентиновна Цирес — дочь известного в Метрострое инженера и сама способный инженер — хорошо владела математикой. Людмила Васильевна Сачкова отличалась исполнительностью, и ей требовалось только время, чтобы освоить нашу профессию. В моей группе они проработали девять лет (до моего ухода из Метропроекта), а затем заняли должности руководителей проектных групп, что говорит об их хорошей подготовке.

У меня был большой объем проектной работы, потому что, помимо конструкций для метрополитена, я занималась еще семиэтажным зданием для Метропроекта, располагавшимся над объединенным вестибюлем станций «Павелецкая-радиальная» и «Павелецкая-кольцевая».

Архитектором этого здания был назначен Игорь Николаевич Кастель, работавший в мастерской известного архитектора Николая Джемсовича Колли — автора архитектурного оформления станции «Павелецкая-кольцевая».

В новом здании имелись свой зал для праздничных вечеров и собраний, библиотека и прекрасные светлые комнаты для проектировщиков. В конструктивном отношении здание имело много трудностей, так как большая часть его колонн должна была опираться на перекрытие объединенного вестибюля, не имеющего никаких колонн посредине.

Начальником строительства обеих станций «Павелецкая» и здания Метропроекта был всё тот же Н. Д. Данелия, с которым я работала до войны. И хотя уже перед войной конструкции станции «Павелецкая-радиальная» были нами полностью закончены, я, рассматривая как-то раз карту заложения этой станции, решила заменить продольные прогоны ее металлических конструкций на отдельные башмаки под колонны, так как станция опиралась на известняки. Получалась экономия по десять тонн металла на каждую колонну. И вдруг Данелия мне говорит: «Ну что вы сделали! Возни с установкой башмаков будет столько же, как и с прогонами, а я за установку прогонов получил бы оплату за двенадцать тонн металла, а теперь получу только за две тонны. Ну и подвели же вы меня!» Тогда я, рассердившись, спросила его: «Скажите, если бы мне пришло в голову покрыть эти металлические конструкции пленкой из золота, вы за их установку получили бы больше денег?» — «Конечно!» И я подумала: хороша же у нас экономика, если так могут рассуждать начальники строительства. При таком отношении трудно было добиться более экономичных проектов. Так было в нашей стране повсюду, и только огромные ресурсы спасали положение. Но вообще-то мы с Данелией ладили и он, как правило, поддерживал мои предложения, особенно когда они приводили к упрощению строительных работ.

Итак, на работе у меня было всё хорошо: я делала интересную и нужную работу, мои рационализаторские предложения тут же осуществлялись, меня хвалили, звали на все совещания в Метрострой и в министерство наряду с начальством. На работе было даже весело: в перерывах было много шуток, веселых рассказов; бывали праздничные вечера с буфетами, где можно было не так уж богато, но все же выпить чаю и перекусить. Два инженера нашего конструкторского отдела умели сочинять эпиграммы на сотрудников, и это тоже было развлечением.

А вот дома на мою голову сыпались проблемы, как из рога изобилия. Чтобы получить вторую мою комнату, пришлось судиться. Все права были на моей стороне. Квартира была забронирована постановлением ГКО, квартирную плату аккуратно вносил Метропроект. Печник Челноков, занявший мою комнату, также аккуратно платил за свою комнату, из которой

домоуправление сделало красный уголок. Тем не менее народный суд мне в иске отказал. Судья Матросов сказал так: «У меня рука не поднимается отдать вторую комнату такой маленькой семье, когда у нас генералы валяются в коридорах». И был он мне невероятно симпатичен за эти слова. Но в то же время я не могла согласиться с тем, чтобы жить втроем в одной комнате. Городской суд отменил первое решение народного суда, и вторую комнату мне возвратили. Челноков благополучно вернулся в свою старую комнату, и мы с ним остались друзьями.

Когда печник уехал, оказалось, что комната полна клопов, они были не только в тахте, но и в стульях с мягким сидением и даже в занавесках на окнах. Пришлось вызывать санитаров выводить клопов. После дезинфекции комнату пришлось капитально ремонтировать. Найти рабочих в тот год тоже было нелегко — еще шла война, но мне все же удалось привести комнату в порядок, а шторы мы с мамой выстирали и отгладили, заменив рваную подкладку новой. Со всем этим мы провозились до января 1945 года, до самого дня рождения Лиды, ее восьмилетия.

Не успели мы немножко передохнуть от судов и ремонта, как к нам безо всякого предупреждения, свалившись как снег на голову, приехала из Томска моя невестка Лера, жена погибшего на войне брата Олега, с двумя детьми: девочкой Ларисой, которая была старше Лиды на год, и мальчиком Олегом четырех лет. Дети были очаровательные, и на ночь мы уложили их вместе с Лидой на мою широкую кровать поперек. С ними улеглась и мама, под ноги которой пришлось подставить кресло. Я спала в другой комнате на тахте Бабеля, но спать пришлось не больше четырех часов, так как нужно было проектировать разные конструкции для заработка.

Мне было очень важно иметь дополнительный заработок, нужны были деньги! В магазинах почти ничего не продавалось, и, например, одеяла мама сделала из той полосатой материи, в которой мы привезли наши вещи, вату с трудом удалось достать в одном магазине. Пока одеял не было, мы ночью укрывались своими пальто.

Приезд Леры с детьми был настоящей авантюрой. Оказалось, что она, снимавшая в Томске комнату, умудрилась поссориться с хозяйкой, и та отказалась прописывать у себя Леру. Хлебные карточки, по которым все граждане СССР получали хлеб, Лера при отъезде из Томска продала. И явилась в Москву без прописанного паспорта и без хлебных карточек, но зато в мужской телогрейке и с колодой карт в кармане. Что было делать? Я пыталась найти ей работу, ее можно было устроить на

одной из строек Метростроя за городом, где давали комнаты в общежитии. Но без паспорта с пропиской и без хлебных карточек это было невозможно. Были большие строгости с документами в тот еще военный год. Лера прожила у нас несколько месяцев, но пришлось ей снова уезжать в Томск, мириться с хозяйкой и получать прописку паспорта, а также хлебные карточки по месту жительства. Мы с мамой с ума сходили от горя, так жалко было отправлять их обратно, в никуда. Я купила железнодорожные билеты, снабдила ее деньгами и продуктами на дорогу, удалось даже достать несколько апельсинов для детей. Я, проводив их, еле дошла до дома и всё вспоминала, как Олег, когда был ребенком, на вопрос о том, кем он хочет быть, отвечал: «Вожденым!»

После их отъезда я осталась в долгах, так как все наши запасы были съедены, а буханка хлеба на базаре стоила 7 тысяч рублей. К счастью, из Томска пришли более или менее утешительные известия: Лера устроилась работать в детсад воспитательницей, где могла питаться она и дети. Но потом в течение многих лет я должна была посылать Лере деньги в ответ на душераздирающие телеграммы с просьбами о помощи. В это время мой брат Игорь был очень болен из-за ранения в плечо, а Борис еще не вернулся: его оставили в армии, чтобы составить историю полка, как того хотел командир. Так что, кроме меня, помочь Лере и детишкам было некому.

Еще в 1944 году, когда у нас шел ремонт комнаты после выезда печника Челнокова, я через местком Метропроекта достала для Лиды платную путевку на два срока в санаторий в Барвихе, недалеко от дачи Екатерины Павловны Пешковой.

Еще зимой я звонила Екатерине Павловне и сообщила о возвращении в Москву из Нового Афона, была у нее один раз дома, рассказывала о нашей жизни на Кавказе и о том, с чем столкнулась после приезда в Москву. А отправив Лиду в санаторий, я сказала Екатерине Павловне, что буду навещать дочь в Барвихе каждую неделю. Она сразу же предложила мне жить у нее на даче, но я была слишком занята работой в Метропроекте и ремонтом дома, поэтому с благодарностью от предложения отказалась. Я могла приезжать к Лиде только один раз в неделю на два-три часа. Свидания детей с родителями не разрешались, потому что дети нервничали и просились домой. Родители могли лишь поговорить с воспитателями и посмотреть на играющих детей из-за кустов.

А тут еще неприятность свалилась мне на голову: соседи, занимавшие комнаты на нижнем этаже, установили деревянную перегородку в передней и лишили нас кухни и выхода во двор и

сад. Мои жалобы на этот произвол районные власти и районная прокуратура выслушивали очень сочувственно, приходили в дом и убеждались в том, что мы остались без газовой плиты и без выхода во двор, куда надо было выносить мусор. Но потом они шли к нижним соседям, узнавали от них, что наверху живет семья «врага народа», и тихонечко уходили, не выполнив того, что мне обещали. Я поняла, что жаловаться властям совершенно бесполезно. Семь месяцев я добивалась в домоуправлении, чтобы наверху на лестничной площадке установили газовую плиту, но не добилась. Когда в Москве на улице Горького открылся магазин, где продавались газовые плиты, я купила двухконфорочную плиту с духовкой, наняла слесаря, и он установил ее. Но мусор по-прежнему надо было выносить, выходя на улицу, огибая дом и заходя во двор с другого переулка, и таким же обходным путем приносить в дом дрова из подвала. Эту работу часто исполняла Лида, если я не успевала принести дрова вечером сама. Такая жизнь у нас продолжалась весь 1945 год и до лета 1946-го. Летом 1946 года в доме установили центральное отопление от АГВ-80, в комнатах под всеми окнами установили страшные черные батареи и соединили их с аппаратом, работающим при помощи газовой горелки. От него нагретая вода поступала в батареи и в ванную комнату.

А осенью 1946 года, когда все эти работы были сделаны и наладилась более-менее нормальная жизнь, в бывший кабинет Бабеля вернулся из Германии следователь Аверин, и начались новые неприятности. Он привез много вещей и даже два пианино для своих двух сестер. Что он делал на войне, я не знаю, но, наверное, чем-то провинился, так как был уволен из органов и должен был искать себе работу.

По образованию он был горным инженером, но, очевидно, еще в институте был завербован в органы и по специальности не работал. Его мать и сестры решили, что инженером ему работать невыгодно, а нужно устроиться в торговую сеть, как и сестры, разбогатевшие во время войны. Ему нашли место заведующего пивным залом на Курском вокзале. Туда приходили с водкой, угощали бесплатно. А районное начальство надо было угощать уже самому и с ними пить. Так он и стал алкоголиком. Дважды ему угрожала конфискация имущества за растраты, но вещи и мебель срочно увозились из комнаты. Конфисковать было нечего.

Наконец его уволили. Он устраивался на работу еще несколько раз, всё снижаясь в должности: был под конец даже ночным сторожем на каком-то складе, но и оттуда его уволили за пьянство.

Жена от него ушла.

Жить с ним в одной квартире было не просто трудно и противно. Каждый день пьяный, то стучит в двери наших комнат, то оставит дверь на улицу открытой настежь, а газовые конфорки зажженными, то приводит всяких пьяниц с улицы. Заснуть до его прихода домой было опасно. Услышав его храп, я вставала, спускалась вниз, закрывала дверь, тушила газовые горелки и освещение.

И с таким человеком нам пришлось прожить рядом семнадцать лет!

Как добры русские люди к пьяницам, можно было судить на примере нашего соседа. Где бы он ни свалился пьяный, его всегда кто-нибудь притаскивал домой. И ни разу он не простудился и не заболел, пока наконец не умер от паралича сердца. Ночью в соседнем доме на кухонном столе.

Узнав об этом, я обрадовалась — так устала от жизни с этим соседом.

Мне не хотелось писать обо всем этом, но тему эту — повседневной жизни семьи арестованных — я до сих пор не встречала в мемуарной литературе, хотя рассказов о подобных вещах наслушалась достаточно. Ведь это еще одна сторона «культа личности».

В 1945–1946 годах моя группа продолжала заниматься проектированием станции «Павелецкая-кольцевая» и всех сооружений и перегонов, к ней относящихся. Когда строительство этой станции вчерне подошло к концу, возник вопрос об асбоцементном зонте, который подвешивается к чугунной обделке станционного и эскалаторного тоннелей для создания гладких потолков и архитектурного оформления станции и эскалаторного тоннеля. Такая конструкция существовала и ее изготовление было налажено, однако этот зонт был сложен в установке и имел много деталей. Поэтому возник вопрос о проектировании нового зонта для кольцевой линии метрополитена.

В Метропроекте была создана специальная группа под руководством инженера Б. Уманского. Проектирование нового зонта заняло много времени и на него было истрачено около 200 тысяч рублей, но ни один вариант не был принят. Я не присутствовала на совещании у главы Метростроя Самодурова, но начальник конструкторского отдела мне передал его слова: «Ничего не поделаешь, выдавайте на строительство чертежи старого зонта».

Я взяла эти чертежи и все варианты Уманского, чтобы с ними познакомиться внимательно, и, рассматривая их, поняла, в чем была ошибка проектировщиков.

На другой день, придя к Данелии, я бросила ему на стол пакет с макетами нового вида зонтов. Он меня спросил: «Вы что мне принесли? Печенье?» Я пообещала объяснить потом, когда решим все вопросы под землей (мы должны были поехать на строительство станции с целью авторского надзора). Возвратившись в кабинет, Данелия развернул принесенный мною пакет. «Что это?» — «Это зонт». Он мгновенно всё понял и только спросил: «А здесь (на стыках) не будет затекать вода?» Я ответила, что для того, чтобы не затекала вода, в этом месте сделан скос под углом 45 градусов. Данелия воскликнул: «Хитрая!», сразу же позвонил главному инженеру Метростроя А. Г. Танкилевичу и попросил разрешения немедленно к нему приехать. Танкилевич, рассмотрев макет зонта, тут же позвонил начальнику снабжения Гискину, чтобы тот взял у меня чертежи и организовал пробное изготовление на Воскресенском заводе асбоцементных изделий.

Я вернулась от Танкилевича в Метропроект и только тогда рассказала своему начальству о зонте. Замешательство было огромное, начальнику конструкторского отдела было досадно, а кроме того, рухнуло обычное правило Метропроекта присваивать все изобретения и рационализаторские предложения себе, а об авторах не упоминать.

Я поручила своей помощнице Л. В. Сачковой быстро сделать чертежи картин зонта и передала их Гискину. Скоро картины изготовили, всё замечательно, но их надо было сделать много и быстро, а свободных площадей для этого на заводе не было. Ведь шло изготовление зонта старой конструкции для других станций.

Данелия мне жалуется, что на соседних станциях уже идет подвеска зонта, а он должен ждать. На это я по телефону ему говорю: «Да, другие женились на дворянских и купеческих дочерях, а ваша стрела попала в болото, и вы женитесь на лягушке».

Когда все-таки началась установка зонта, строители поняли, как упростилась его подвеска. Появились хвалебные статьи в газете о «зонте Пирожковой». Н. Д. Данелия придумал тележку для установки зонта и предложил мне оформить рационализаторское предложение. В бухгалтерии строительства была подсчитана годовая экономия, выразившаяся в сумме около 600 тысяч рублей. Предложение называлось «Новый тип асбоцементного зонта для станций и наклонных ходов», и его авторами стали Н. Д. Данелия и А. Н. Пирожкова. Это типичный для нашей советской страны способ присоединиться к чужому предложению, и он был распространен повсеместно, а иначе не удалось бы оформить авторство. Зато мы получили премию по

семь с половиной тысяч рублей.

Как раз в это время проходил хозяйственный актив Метростроя, Данелия — в президиуме, я сижу в зале. Все выступающие, начальники и простые рабочие, в каждом выступлении говорят о «зонте Пирожковой», о том, как легко его подвешивать, как он отличается от старого. Мне неудобно это слушать, я думаю, что Данелия, наверное, чувствует себя ужасно, ведь он только вчера предложил мне соавторство.

Но не успела я наутро появиться на работе, как звонит Данелия и просит меня зайти, чтобы подписать заявку на соавторство. Как с гуся вода!

Раньше я никогда не подавала заявок на оформление своих рационализаторских предложений и не получала премий, считая работу своей обязанностью. А предложений было много, так как всё делалось впервые. С зонтом мне просто повезло.

При проектировании первых очередей Московского метрополитена вся нижняя часть эскалаторных тоннелей заполнялась бетоном, служившим опорой для ферм эскалаторов. По этим фермам движутся эскалаторные ленты. Но уже при проектировании кольцевых линий было решено не заполнять нижнюю часть эскалаторных тоннелей монолитным бетоном, а заменить сборным железобетонным фундаментом. В конструкторском отделе был объявлен конкурс на такой фундамент. При рассмотрении предложенных инженерных проектов были признаны лучшими проект мой и инженера Горелика, но победил в соревновании на этот раз инженер Горелик, и по его проекту стали выполняться все фундаменты эскалаторов.

Я же задумалась над тем, что в нижней части эскалаторных тоннелей образовалось пустое пространство, которое жалко было оставлять без использования. Мне пришла мысль использовать этот объем для подачи воздуха на станции. До сих пор воздух подавался по каналам через ствол шахты. Сделав эскиз и подсчитав объем пустого пространства под эскалаторами, я пошла к начальнику сантехнического отдела Андрею Харламповичу Полякову.

Полякову мое предложение понравилось, и он поручил инженеру Чучаеву расчет и разработку вентиляционной части проекта. Я же поручила инженеру моей группы А. П. Пашину оформить конструктивную часть проекта. Когда всё было готово, мы с Поляковым доложили об этом своему начальству, и проект был одобрен. Он нашел применение на всех станциях глубокого заложения Кольцевой линии и последующих очередей Московского метрополитена.

Позднее А. Х. Поляков оформил это предложение, и мы четверо (Поляков, Чучаев, Пирожкова и Пашин) получили авторское свидетельство. Одна я никогда не получила бы авторского свидетельства, так как не знала, как это делается, да и времени на хлопоты у меня не было. Это был второй случай, когда мне пришлось поделиться своим авторством с другими. И больше я никогда не оформляла свои предложения.

На первых очередях строительства Московского метрополитена многие вспомогательные сооружения проектировались с внешними бетонными обделками и внутренними железобетонными «рубашками» с оклеечной гидроизоляцией.

Моя группа разработала проект конструкции станционных проходов с металлической изоляцией.

И с 1952 года на Метрострое началось ее применение на всех станциях; и даже там, где мы, проектировщики, жалея металлический лист, оставляли оклеечную изоляцию на каких-нибудь менее ответственных сооружениях, строители всегда добивались замены проекта. Часто строители сами заменяли изоляцию, зная толщину листа, диаметр анкеров и их расположение.

Я составила технические условия для применения металлической изоляции вместо оклеечной, и эти условия были изданы и разосланы на все строительства станций. Однако, осуществляя авторский надзор, и я, и инженеры моей группы иногда замечали различные нарушения технических условий. Это заставило меня пойти на хитрость.

Когда у главного инженера Метропроекта В. Л. Маковского собрали всех начальников строительства новой линии метрополитена и всех главных инженеров, чтобы рассказать им, какие новшества мы закладываем в проект новой линии, я выступила и сказала совершенно серьезно, что применять металлическую изоляцию не будем, а вернемся к оклеечной. Я неоднократно заставала безобразное отношение строителей к качеству металлической изоляции, что заставляет нас отказаться от нее в дальнейшем.

Что тут началось! В один голос все начальники строительств, как дети, стали обещать мне, что больше этого никогда не будет, что они будут следить за качеством сами. Они очень испугались. Применение металлической изоляции взамен оклеечной было настоящей революцией на Метрострое.

А моя популярность среди строителей выросла еще больше.

Жизнь в Метропроекте не ограничивалась одной только проектной работой, наш партийный комитет должен был

проводить с сотрудниками и политическую, воспитательную работу. Во время выборов в ЦК мы должны были вести агитацию среди населения, агитировать за того единственного кандидата, которого ЦК партии выдвигало на эти так называемые выборы.

Я думаю, что большинство наших сотрудников понимали, что эти «выборы» — фальшь, издевательство над народом, но все молчали. Бывали в Метропроекте и политические занятия раз или два в неделю, где нам рассказывали, а чаще читали в газете «Правда» о делах ЦК партии и о событиях в стране. Эти занятия, как правило, проводили наиболее проверенные, но плохо владеющие русским языком члены партии. На них надо было обязательно присутствовать и даже проявлять активность.

После окончания войны, после победы на всех предприятиях страны, во всех учреждениях проводились митинги. Такой же митинг по случаю победы был назначен в Метропроекте. Партийный комитет, подбирая выступающих, наметил и меня — быть может, хотел проверить мою лояльность. Я была в панике: надо было подготовить речь, выучить ее наизусть, чтобы не читать по бумажке, что мне казалось унизительным для интеллигентного человека.

Вечером я зашла к моей приятельнице Валентине Ароновне Мильман и рассказала ей о моем затруднении, вовсе не надеясь на ее помощь. И вдруг она говорит: «Я как раз печатаю статью Эренбурга о нашей победе над фашизмом, предназначенную для одного зарубежного журнала. Прочитайте ее». Я прочитала и записала из этой статьи несколько очень хлестких и вдохновенных фраз, с помощью которых я уже спокойно составила свое короткое выступление, а потом выучила его наизусть.

Моя речь на митинге произвела на всех сильное впечатление. Таких слов по случаю победы не мог найти никто из выступавших. Благодаря Эренбургу я выслушала массу комплиментов и одобрение партийного комитета.

Была у меня в Метропроекте и одна крупная неприятность. Еще в 1945 году на совещании в Министерстве транспортного строительства Илья Давыдович Гоцеридзе, к тому времени уже заместитель министра, сказал мне: «Хорошо, что во время войны Вас не было в Москве. Вами интересовались органы». А когда, наверное, уже в 1946 году, все сооружения глубокого заложения были засекречены и инженерам для работы над их проектированием «первым отделом» стали выдаваться допуски, по Метропроекту разнесся слух, что некоторым инженерам, в частности мне, допуска не дадут.

«Первый отдел» подчинялся Комитету государственной

безопасности — КГБ. (Возможно, что в те годы он назывался НКВД или МГБ, точно не помню.) Лишиться допуска для меня было бы настоящей трагедией. Надо было или уходить из Метропроекта, где я проработала уже двенадцать лет, или соглашаться на проектирование только мелких наземных или мелкозаложенных сооружений. Оспаривать решение «первого отдела», хлопотать о том, чтобы мне оставили допуск, было бесполезно. И надеяться на то, что кто-нибудь из начальства будет протестовать, тоже было нереально. Поэтому я очень удивилась, когда меня пригласил в свой кабинет главный инженер Александр Иванович Барышников и сказал, что пойдет к начальству, которому подчиняется «первый отдел», и будет за меня просить.

Вряд ли нашелся бы другой человек, который пошел бы в это «логово» с просьбой. На другой день Барышников вызвал меня и сказал, что он ходил к начальству, уговаривал оставить мне допуск, так как я очень хороший специалист и веду серьезные объекты — две станции «Павелецкая». Ему ответили: «У нас нет о ней плохих отзывов, но так как ее муж репрессирован, мы формально не можем это сделать».

И Александр Иванович снова их упрашивал до тех пор, пока ему не пообещали, что дадут ответ через три дня. Через три дня я снова была у Барышникова, и он сообщил мне, что допуск дадут. После этого я решила, что буду проектировать только объекты с грифом «С» — секретно, к которым относятся станции и перегоны метрополитена, но ни за что не возьмусь за объекты с грифом «СС» — совершенно секретно.

Для проектирования таких объектов (СС) была создана специальная группа из партийных инженеров, но случилось так, что, когда эта группа закончила работу, экспертиза из военных не утвердила проект. Начальство попросило меня взяться за эту работу. Я долго отказывалась, но в конце концов пришлось согласиться, отказать Барышникову мне было очень трудно.

Больше у меня не было встреч с Александром Ивановичем, но я сохранила о нем память как об удивительно порядочном, добром и интеллигентном человеке.

В 1947 году я узнала, что при Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) организуется Университет марксизма-ленинизма и туда можно поступить. Занятия проводились по вечерам, а лекции читались по утрам с 12 часов. Идея поступить в этот университет пришла мне в голову сразу. Преимуществ обучения там для меня было несколько: во-первых, я избавлялась от унизительных политических занятий в Метропроекте; во-вторых, лекции читались лучшими профессорами страны; и в-третьих, во

время лекций и занятий я могла находиться в интересной среде актеров и музыкантов.

Я уговорила еще одного руководителя группы, инженера А. И. Семенова, записаться в университет. А когда мы пошли к начальнику конструкторского отдела Р. А. Шейнфайну за разрешением иногда во время работы посещать лекции, он тоже ухватился за эту идею и присоединился к нам. Начальник Метропроекта Гитман последовал нашему примеру, и мы, четверо, подали заявления и были приняты. Но ни Шейнфайн, ни Гитман не смогли посещать лекции аккуратно и скоро бросили занятия. Только я и Семенов смогли закончить университет и получить дипломы через два года, в 1949 году.

Не прошло и двух недель после окончания университета, как нас обоих стали приглашать вступить в партию. Нашему парткому уж очень хотелось иметь среди своих членов людей с высшим политическим образованием. Через какое-то время ко мне пришли два знакомых мне инженера, не из сотрудников Метропроекта, а из Метростроя, и сказали, что они согласны дать мне рекомендации для вступления в партию. Как можно вежливее я сказала им, что очень хорошо к ним отношусь и именно поэтому не хочу их подвести: мой муж репрессирован и из-за меня у них могут быть неприятности. На этом всё и закончилось.

Закончивший со мной вместе Университет марксизма-ленинизма А. И. Семенов был быстро принят в партию, съездил в Англию для знакомства с Лондонским метрополитеном, а через какое-то время получил должность начальника конструкторского отдела вместо гораздо более грамотного и эрудированного Роберта Августовича Шейнфайна. В отделе любили прежнего начальника, говорили, что партийный Семенов «съел» беспартийного Шейнфайна. Кто знает, быть может, Роберт Августович и сам хотел освободиться от обязанностей начальника, во всяком случае, из Метропроекта он уволен не был.

Учиться в Университете марксизма-ленинизма мне было интересно, так как я никогда раньше не изучала философию. Прослушав лекции, которые читал профессор Баскин, я получила представление о различных философских теориях и, главное, о марксизме. Тогда мне показалось, что философия Маркса могла бы быть приемлемой для страны, если бы не попадала, как правило, в руки плохих людей, становясь непригодной.

Особенно мне нравились лекции по истории партии, которые читал профессор Зайончковский. Он был просто влюблен в свой предмет, особенно в ранний период зарождения партии, начиная с декабристов; знал много интересных деталей о декабристах, о Петрашевском, Достоевском и других. Однажды Зайончковский

предложил тем, кто захочет, прийти в нему в дом Пашкова, обещая показать документы из архива. Я, конечно, согласилась. Предлагая мне сесть, Зайончковский пододвинул небольшое деревянное кресло и сказал: «Садитесь, в этом кресле и Пушкин сиживал». Показал альбом, принадлежавший молодому А. И. Куприну, где были записаны разные четверостишия и каламбуры не только его самого, но и его друзей-писателей. Внизу в помещении архива Зайончковский показал нам подлинник Конституции, составленной Никитой Муравьевым, и другие интересные документы декабристов.

Там, в университете, я познакомилась кое с кем из актерской среды, с композитором Вано Мурадели и чтицей стихов Эльгой Моисеевной Каминской. Эльга Моисеевна была красивой женщиной, лет на десять старше меня, с ней я подружилась и дружила до самой ее смерти.

Когда-то Эльга Моисеевна была знакома с Есениным и с Маяковским, стихи которого читала, выступая на сцене, ездила с ним в Берлин на гастроли. Ко времени нашего знакомства она уже не выступала с чтением стихов, ей не давали работу и всячески ее третировали. Такое тогда было время, и пятый пункт в паспорте решал судьбу человека, несмотря на его талант и профессионализм. Эльга Моисеевна очень переживала, продолжала готовить свои программы и готова была читать стихи где угодно и кому угодно. Несколько раз я приглашала ее выступать на встречах с жильцами тех домов, где я должна была проводить агитационную работу перед выборами.

Жила она вместе с сыном, о рождении которого рассказывала так: когда ей захотелось иметь ребенка, она выбрала себе человека из моряков Ленинграда, в мужья не взяла и вырастила сына сама, дав ему отчество Эльгович, которое сын, когда вырос, заменил на Олегович. Мальчик был одаренный, хорошо учился и писал стихи, но как только закончил школу, ушел на фронт, как все выпускники школ 1941 года. В одном из боев, уже под конец войны, он был сильно контужен и вернулся домой полубольным человеком.

Эльга Моисеевна не желала с этим смириться и всё заставляла его учиться дальше, получить высшее образование, а сын этого не мог: от любого умственного напряжения у него начинала болеть голова. Отношения с сыном портились, а уж когда он познакомился с девушкой, Эльга Моисеевна тут же ее забраковала, сказав, что она не способствует его творческому развитию.

Я любила этого юношу и жалела их обоих. Через какое-то время они разъехались, и свои последние годы Эльга Моисеевна

провела в Доме для ветеранов сцены.

Пора снова возвращаться в Метропроект. Мне кажется, что ни у кого из руководителей групп не было столько проектной работы, сколько у меня. Как и остальные руководители групп, я получила станцию и перегон на новой линии метрополитена — «Киевскую-радиальную», за мной оставался еще авторский надзор за достраиваемой станцией «Павелецкая-радиальная» и проектная работа по зданию для Метропроекта. Кроме того, как наследие от бывшей группы Л. В. Воронецкого, за мной оставалось проектирование Киевского пригородного вокзала и примыкание новой линии метро глубокого заложения к эксплуатирующейся линии мелкого заложения.

Пригородный вокзал, совмещенный с вестибюлем двух станций — «Киевская-радиальная» и «Киевская-кольцевая» — и одновременно с городским санузлом, представлял собой сооружение невероятной сложности. Эта сложность объяснялась тем, что вокзал выполнял много разнообразных функций, а его отдельные залы имели разное архитектурное оформление перекрытий и колонн.

Автором-архитектором проекта пригородного вокзала, как и станции «Киевская» мелкого заложения, был Дмитрий Николаевич Чечулин. Из-за сложности работ строители требовали постоянного авторского надзора как конструктора, так и архитектора. Техническим проектом предусматривалось применение для всех глубоко заложенных станций конструкций пилонного типа, ставших к тому времени типовым решением.

Не меняя станции по существу, для «Киевской-радиальной», заложенной в более благоприятных условиях, чем «Киевская-кольцевая», я предложила применить более узкие пилоны, состоящие из трех чугунных колец обделки вместо четырех, и, кроме того, увеличить до восьми или десяти число проходов из боковых тоннелей в средний зал. Это создавало значительное преимущество для архитектурного оформления станции.

На этой же линии по моему проекту была осуществлена станция «Арбатская», что очень обрадовало архитектора станции Алексея Николаевича Душкина. Впоследствии и на многих других линиях метрополитена применялась конструкция станций с узкими пилонами.

<…>

Очень сложным оказался пересадочный узел между станциями «Киевская-радиальная» и «Киевская-кольцевая». Четырехленточный эскалатор соединял верхний вестибюль с промежуточным вестибюлем, от которого на станцию «Киевская-кольцевая» вел трехленточный эскалатор. В промежуточном

вестибюле по обеим сторонам устраивались два прохода, от которых вели коридоры в центр станции «Киевская-радиальная», расположенной выше кольцевой. Эти коридоры служили для входа и выхода со станции и одновременно для пересадки между станциями. Связи с поверхностью земли в торцах станция «Киевская-радиальная» на первых порах не имела. Устройство таких эскалаторов отодвигалось на неопределенное время.

Начальник конструкторского отдела Роберт Августович Шейнфайн захотел показать чертеж промежуточного вестибюля начальнику Метропроекта Н. А. Кабанову. Увидев эту конструкцию, Кабанов сказал, что я когда-нибудь за свои чересчур смелые эксперименты буду сидеть в тюрьме и что он никогда такой чертеж не подпишет. К счастью, это было и не обязательно. Начальник Метропроекта подписывал обычно только технический проект в целом и не был обязан подписывать рабочие чертежи.

Кабанов чуть было не оказался прав по отношению к моим проектам. Однажды вечером, когда свод промежуточного вестибюля был собран, мне домой позвонил маркшейдер строительства и сказал, что в тюбингах обделки появились трещины, и Данелия дал распоряжение поставить металлические стяжки.

Данелии я сказала, что он будет ставить такие стяжки только через мой труп. Мы с ним поспорили и даже поругались, но со стяжками он решил подождать. Прошло два-три дня, цементные маяки, поставленные в местах трещин, не лопнули, новых трещин не появлялось. Значит, деформация свода прекратилась и всё обошлось. Я, конечно, очень испугалась поначалу, но многому и научилась. Научилась не бояться появления трещин в конструкциях и не впадать сразу в панику. И мне это очень потом пригодилось, а этот случай был первым в моей инженерной практике.

Несчастных случаев на Метрострое было мало, но я могла чего-то и не знать. В те времена многое скрывали.

Знаю только несколько случаев осадок поверхности. Происходили они, как правило, вблизи Москвы-реки, которая имеет под землей разветвленное древнее русло, заполненное илом, песком и водой. Не всегда геологи, бурившие разведочные скважины вдоль трассы метрополитена, попадали в такое русло и устанавливали его наличие. При сооружении одного из тоннелей станции «Павелецкая-радиальная» (это было во время войны) дежурный слесарь возвращался с работы и вдруг почувствовал, что под ним заколебалась земля. Недалеко было общежитие, и слесарь побежал туда и разбудил спавших там рабочих. Они

успели убежать из помещения. В это время под землей в тоннель хлынул песок с водой и быстро заполнил его на довольно большом протяжении. При проходе этого тоннеля работы в известняке велись взрывным способом. После очередного взрыва случился провал. Рассказывали, что при очистке тоннеля находили всякие бытовые предметы — железные кровати, поленья дров и другие вещи. Но пострадавших не было.

Похожий случай произошел на другой линии метрополитена, где провалился под землю цех фабрики шелковых тканей «Красная роза». Незадолго до этого в цех привезли несколько новых станков из Германии, заплатив за них 16 миллионов рублей. Так как провал произошел ночью, рабочих в цеху не было и никто не пострадал. Небольшая воронка однажды появилась на площади Революции, но без серьезных последствий.

К празднованию 800-летия города Москвы в 1947 году Метрострой не сдавал в эксплуатацию новой линии метрополитена, а начальству очень хотелось что-нибудь сдать, так как это всегда было связано с награждением орденами и медалями и в чем был заинтересован первый секретарь Московского комитета партии.

Единственное, что можно было закончить к праздничному дню, был второй вестибюль станции «Площадь Революции». Я не занималась этим вестибюлем, но так как его решили во что бы то ни стало закончить к празднику, а на проектирование конструкций почти не оставалось времени, работу поручили мне. Было и еще одно обстоятельство, из-за которого надо было сменить конструктора этого вестибюля.

Архитектором вестибюля был Ю. Зенкевич, и у него были очень плохие отношения с конструктором. Оба в свою очередь не ладили с начальником строительства вестибюля.

Я не была знакома с архитектором Зенкевичем, но по слухам знала, что у него тяжелый характер. Когда мне передали эту работу, в субботу вдруг открывается дверь, входит Зенкевич, подходит к моему столу и стоя произносит такую речь: «Я должен был познакомиться с Вами в понедельник, но так как понедельник тяжелый день и чтобы не могли сказать, что именно поэтому у нас с Вами что-то не складывается, я решил познакомиться с Вами в субботу. А в понедельник я приду с Вами поговорить о делах». Раскланялся и ушел.

В понедельник Зенкевич заявил, что он внук Лобачевского, но у него просто нет времени сейчас рассчитать размеры абсиды у примыкания эскалаторного тоннеля к стене вестибюля. Я поняла, что он не знает, как ее рассчитать, и спокойно сказала, что для меня это сущие пустяки, а он пусть занимается более

ответственными узлами проекта. Он был весьма уязвимый человек, но и очень занятный, мне с ним было интересно работать.

Я составила график выпуска чертежей; копия его лежала на столе секретаря МК Попова, который лично следил за ходом строительства вестибюля и знал мою фамилию. Поэтому при награждении метростроевцев к 800-летию Москвы я получила орден «Знак почета», к чему отнеслась совершенно равнодушно.

В Метропроекте был издан приказ, в котором говорились, что старший инженер Пирожкова А. Н. организовала работу так, что «все основные конструктивные чертежи были выданы строительству № 32 в течение полутора-двух месяцев, что дало возможность развернуть работы по сооружению вестибюля по всему фронту». Приказ, не слишком грамотно составленный, подписал начальник Метропроекта Я. Е. Гитман. <…>

Помимо тех архитекторов, с которыми мне пришлось работать, я была знакома со многими другими. Проходящие по конкурсу проекты архитектурного оформления станций должны были иметь отзывы конструктора. Такие отзывы мне приходилось часто писать и потом их зачитывать при рассмотрении архитектурных проектов, на которых присутствовали и высшие партийные власти Москвы. Как правило, их вкусы были примитивными, грубыми, однако с ними приходилось считаться.

Мне очень нравилось удивительно изящное оформление станций, предложенное архитектором Георгием Павловичем Гольцем, но его проекты так никогда и не получили одобрения партийных властей.

А когда пытались пригласить для участия в таких конкурсах самого известного в то время архитектора Жолтовского, он отказался, заявив, что «не привык обкладывать камнем чужие конструкции».

На одном из таких совещаний, происходившем у главного архитектора города Москвы Власова, после моего выступления архитектор Чечулин вдруг вскочил, подбежал ко мне сзади и, поцеловав в макушку, вскрикнул: «Это бог, а не женщина!» Наступила мертвая тишина, а я от смущения растерялась. Такой экспансивный был архитектор Чечулин, ставший впоследствии на много лет главным архитектором Москвы.

Для москвичей и всех, кто пользуется метро, авторами станций называются оформители-архитекторы, а не конструкторы, на которых лежит вся ответственность за прочность конструкции станции. Такая несправедливость тянулась много лет; впоследствии авторство станций стало обозначаться так: архитектор такой-то, конструктор такой-то.

Помимо проектирования конструкций для метрополитена Москвы мне приходилось заниматься техническими проектами первых очередей метрополитенов в Ленинграде и Тбилиси. Для Ленинграда были использованы две станции колонного типа, аналогичные московской станции «Павелецкая», с некоторыми небольшими отступлениями. Такие конструкции осуществлены на станциях «Технологический институт» и «Политехнический музей».

* * *

Из-за того, что я во время войны почти три года занималась проектированием железнодорожных тоннелей в Абхазии, все чужие заказы Метропроекту на проектирование таких тоннелей передавались в мою группу. Еще несколько послевоенных лет мне пришлось осуществлять авторский надзор за строительством тоннельно-железнодорожной линии Гагры — Сухуми.

Позже поступил заказ на проектирование трех тоннелей Ткварчельской дороги. Эта дорога для перевозки угля существовала с давних пор, но была подвесная на канатах и не справлялась с объемом перевозки. Запроектирована была одноколейная дорога нормальной колеи, и для этого надо было построить три тоннеля в местности невиданной красоты. Строительство должен был осуществлять тот же коллектив Метростроя, который строил тоннели на дороге Гагры — Сухуми.

Управление Метростроя из Гудаут переехало в Сухуми, начальником был назначен совсем незнакомый мне инженер Г. М. Карякин (если мне не изменяет память). Я должна была выехать в контору строительства этих тоннелей, чтобы познакомиться с местностью, геологией и коллективом строителей, начальником которых был назначен инженер Индлин, знакомый мне еще с довоенного времени, со времен сооружения станции «Павелецкая-радиальная».

Из Москвы я доехала поездом до Сухуми, а оттуда вместе с инженером Карякиным и главным инженером управления мы поехали дальше по дороге, по бокам которой попадалось много посадок чая, что я видела в первый раз. На другой день все собрались, чтобы пойти к порталу первого тоннеля. Мне сказали, что туда ведут две дороги: одна длинная, в обход горы, и другая — гораздо более короткая, но через реку, по старому, уже не действующему мосту. Я не представляла себе, что это за мост. Когда мы к нему подошли, оказалось, что это мост с обвисшими канатами и с двумя шатающимися досками для прохода.

Меня испугал его вид, но разве я могла показать моим спутникам, что испугалась? Ни в коем случае!

По мосту надо было идти по одному: первым пошел Карякин, потом начальник строительства тоннелей Индлин, затем я. Двое еще оставались на берегу. Начало досок моста, на которые я должна ступить, было значительно выше поверхности берега. Схватившись за канат, я с трудом поднялась на доски и пошла. Канаты, за которые я держалась, не были никакой опорой, они просто болтались в моих руках. Под мостом внизу, на глубине примерно 10–12 метров, бурлил с грохотом поток воды, катившийся по крупным валунам. Надо было не смотреть вниз, на воду, а только на те две доски, по которым я шла. Я взяла себя в руки и не торопясь шагала по шатающимся доскам, как вдруг почти на середине моста эти две доски закончились, передо мной было отверстие, внизу поток, и надо было перешагнуть пустоту, чтобы наступить на следующую пару досок, расположенных к тому же сантиметров на пятьдесят ниже. Об этом препятствии меня никто не предупредил, и я остановилась, сердце на мгновение замерло, но я собралась с силами и шагнула на концы следующих досок. От радости, что я преодолела это препятствие, я пошла дальше быстрее и дошла до конца. Кто-то протянул мне руку, и я прыгнула на берег. За мной прошли еще двое инженеров. Для моих спутников этот переход не был новостью, они уже пользовались этим мостом.

Дальше мы поднялись в гору, где проходила канатная дорога; переход под ней тоже был нелегкой задачей. Груженые углем вагонетки шли одна за другой в одну сторону, пустые вагонетки по другому канату навстречу. Нужно было выбрать такой небольшой промежуток времени, чтобы, согнувшись, проскочить под канатами. Когда я вышла из-под канатов, тут же за моей спиной прогремела груженая вагонетка.

Осмотрев место портала тоннеля, мы спустились по тропинке с другой стороны горы. А спустившись, все уселись на траве отдыхать, а я легла на спину на широкой скамье — так сильно у меня разболелась голова, должно быть, от пережитого напряжения повысилось давление. Отдохнув минут двадцать, мы вернулись в контору строительства. Этот мой переход по мосту и под канатной дорогой запомнился мне на всю жизнь.

На обделке тоннеля № 2 Ткварчельской линии однажды появилась трещина и произошло смещение припортального участка в сторону реки на два сантиметра. Управление строительством этих тоннелей вызвало меня из Москвы. Я приехала в Сухуми и договорилась с начальством, что сначала разберусь в происшедшем сама, а уж потом вызову их для

совещания. И я выехала на тоннель. Авария произошла оттого, что при разработке выемки не была соблюдена осторожность.

Как ни боролась советская власть против всякого предпринимательства, в Абхазии в те годы существовали отдельные ростки частного бизнеса. Я, например, знала, что в Сухуми есть человек, владеющий большим автобусом, на котором он возил пассажиров от Сухуми до Сочи и обратно. Существовали также частные артели строителей, которые брались делать небольшие мосты на дорогах. После окончания работы прораб получал у заказчика деньги и тут же, у моста, раздавал их рабочим. У него не было никакой ведомости, он не заставлял рабочих расписываться, в общем, никакой бухгалтерии. Было полное доверие друг к другу, и все оставались довольны, так как зарабатывали хорошо, гораздо больше, чем рабочие на государственной службе.

Была артель более крупная и лучше оснащенная, которая бралась разрабатывать выемки и делать насыпи на железной дороге. Такую артель и наняло наше управление в Сухуми для разработки большой и односторонней в основном выемки у портала ткварчельского тоннеля № 2. Частная артель, чтобы побыстрее справиться с работой, взорвала сразу большой массив породы у самого портала уже готового тоннеля. Деформации в массиве пород распространились и сдвинули участок обделки тоннеля на два сантиметра. Появилась целая сеть трещин на этом участке и даже выпали осколки бетона в том месте, где сдвинувшийся участок оторвался от остального тоннеля. Картина поначалу показалась мне устрашающей.

Правда, поставленные на отдельных трещинах цементные маяки уже перестали лопаться и, следовательно, подвижка породы прекратилась, смещение тоннеля ничему не угрожало. Я целый день провела со строителями на этом участке тоннеля, договорилась с ними, что разрушенные места тоннеля будут расчищены и забетонированы.

Вечером я пришла в контору, чтобы посмотреть документы строительства. Рассматривая бумаги, я вдруг напала на документ, который привел меня в ужас. Геолог группы заказчика Эристави должен был определять крепость породы на каждом участке проходки тоннеля. И я вижу документ за подписью Эристави, в котором говорится, что на участке, где произошла авария, породы оказались по крепости выше, чем было заложено в смете, и, следовательно, должна быть повышена расценка за ее разработку.

Авария могла быть объяснена тем, что породы оказались менее крепкими, чем предполагалось, да еще взрывами выемки было нарушено их равновесие, но Эристави написал, что породы

оказались очень крепкими. Я спросила начальника строительства Индлина, как это произошло? А он мне, смущаясь, говорит: «При помощи дарвин». Я недоумеваю: «Что такое «дарвин»»? А он отвечает: «Это даровое вино».

Оказывается, они напоили и угостили Эристави, и он подписал документ о повышенной крепости пород. А это уже уголовное преступление. Что мне было делать? Из Сухуми звонят, спрашивают, когда выезжать на совещание, а я отвечаю: «Подождите, я еще не разобралась». Я понимаю, что совещание закончится протоколом, а он пойдет в прокуратуру, начнется разбирательство, а там и наказание.

И я решила поговорить с заказчиком. Написала подробную записку о причине аварии и какие меры мы уже приняли, чтобы подвижка породы не продолжалась, а тоннели приняли нормальный вид. Поехала в Ткварчели к заказчику, всё ему объяснила, умолчав о документе, подписанном Эристави. Сказала, что ничего страшного не произошло, и уговорилась с ним, что никакого совещания собирать не будем. Он согласился, и я уехала в Сухуми, предварительно как следует отругав Индлина и его заместителей.

Ткварчельские тоннели еще строились, когда Метропроект получил новый заказ — тоннели на Чиатурской ветке в Грузии. Для транспортировки марганца из Чиатур там существовала узкоколейная железнодорожная ветка, но ее пропускная способность была невелика. Нужно было заменить ее на одноколейный путь с широкой колеей и, кроме того, спрямить линию. Потребовалось возвести 24 тоннеля разной длины. Эта работа могла бы длиться годами, но большой коллектив метростроевцев как раз освободился, и его решили перебросить на чиатурскую ветку.

Мне пришлось срочно выехать на чиатурскую линию и организовать группу по проектированию тоннелей на месте. Со мной поехали молодые инженеры Н. Н. Шапошников и В. А. Алихашкин и техник-чертежник Р. С. Тарасова. Кроме того, туда поехал главный геолог Метропроекта В. Мильнер, его помощник и один из главных инженеров В. И. Бутескул.

Моя бригада пробыла там около двух месяцев, и за это время мы выполнили все проектные работы по конструкциям тоннелей и порталов, а также по их сооружению. Был обеспечен работой весь коллектив метростроевцев. Они могли начать работы на нескольких тоннелях сразу.

Жили мы с моей сотрудницей Раисой Сергеевной Тарасовой в отдельной комнате общежития с выходом на улицу. Обедали в рабочей столовой, в которой очень часто вместо обычного

скудного меню висело объявление «Вермишел». Давали отварную вермишель без масла, без мяса, и рабочие строительства, конечно, голодали.

Был маленький частный базарчик, куда выходили торговать местные женщины, но выбор был очень скромный, в основном фрукты: виноград, инжир и шелковица. У женщины на нашей улице, имевшей козу, я покупала поллитровую банку козьего молока в день, и это было мое основное питание.

Я очень хотела гулять по окрестностям, но когда я приглашала с собой молодых инженеров моей группы, они отказывались, предпочитая играть во дворе общежития в футбол. Пыль от этой игры поднималась столбом. Иногда со мной соглашался погулять семидесятилетний В. И. Бутескул, и тут я, зная его много лет и считая «сухарем», убедилась в том, что он очень интересный собеседник.

В это лето 1952 года я взяла с собой мою Лиду и оставила ее в Новом Афоне у Арута и Оли. Проработав всю неделю, в субботу сразу же после работы пешком отправлялась на железнодорожную станцию Зестафани, чтобы сесть на проходящий поезд и доехать до Нового Афона. Приезжала часов в 11 вечера, Арут обычно меня встречал, а Лида уже спала.

Весь день воскресенья я проводила с Лидой, в основном на пляже, купаясь и загорая. Как я ни просила Лиду не уплывать далеко и надолго, она не слушалась. Уплывала так далеко, что я переставала ее видеть. Иногда я просила мальчишек плыть за Лидой и сказать, чтобы она возвращалась на берег, но чаще всего они возвращались и говорили мне, что нигде ее не нашли. Я приходила в отчаяние, да и отдыхающие стали приходить ко мне с жалобами, что и они не могут спокойно проводить время, когда видят, что ее нет и нет на пляже. Но что я могла поделать?

Поздно вечером в воскресенье я снова садилась в поезд, почти не спала ночь и рано утром в понедельник приезжала в Зестафани, а оттуда пешком шла домой, умывалась, переодевалась, завтракала и — за чертежный стол. И так каждую субботу и воскресенье.

В один из таких отъездов из Нового Афона я не смогла достать железнодорожный билет в четырехместное купе, и пришлось купить верхнее место в двухместном купе мягкого вагона. Когда я вошла в свое купе, то увидела, что у столика сидит белокурый грузин среднего возраста. Тревога кольнула мне сердце, но я не показала вида и спокойно поздоровалась. Прежде чем лечь спать, мы поговорили. Он больше расспрашивал меня, куда я еду, что делаю в Зестафани и в Новом Афоне.

Он был предельно вежлив, сказал, что уступает мне нижнее

место, что будет сходить с поезда в четыре часа утра (а был уже двенадцатый час ночи), дал мне возможность переодеться, улечься под одеяло и, войдя, очень тихо поднялся на верхнюю полку.

Я успокоилась и заснула, а утром меня разбудил проводник и сказал, что должен поискать за моей постелью очень дорогой, возможно, серебряный портсигар, который ночью уронил верхний пассажир. Оказалось, что он не хотел меня тревожить и просил проводника поискать его утром, когда я встану. Портсигар нашелся, и проводник сказал мне, что передаст его Ангуладзе, когда будет возвращаться из Москвы в Тбилиси обратно. Такая изысканная вежливость меня изумила, и я на всю жизнь запомнила этого человека и его фамилию.

Гидротехнический тоннель Дон-Сал был предназначен для орошения очень плодородных, но засушливых Сальских степей. Он должен был перевести воду из реки Дон в реку Сал и был запроектирован с обделкой из чугунных тюбингов диаметром 8,5 метров. В это время в Метропроекте разрабатывалась обделка из железобетонных блоков для тех условий, где совсем необязательно было применять чугун. Мое предложение такой обделки было признано лучшим, и поэтому мне предложили применить ее для тоннеля Дон-Сал, располагавшегося в плотных, чуть влажных песках.

Работы по сооружению тоннеля Дон-Сал уже начали вестись, завод для изготовления железобетонных изделий имелся поблизости, и я поехала туда в командировку, чтобы познакомиться с заводом, а также заинтересовать такой обделкой руководство и инженеров метростроевского коллектива, которые там работали. Поездом я доехала до Ростова-на-Дону, а потом на машине — на место строительства.

К ужину были зажарены куропатки, которых мы встречали в степи то тут то там по дороге на строительство. Они здесь были белые, а не серенькие, как в Сибири. После ужина с вином пошли рассказы, говорили о том, что работают здесь бригады из заключенных. Утром охранники приводят их на работу, а после работы отводят в лагерь, расположенный поблизости.

Среди рассказов о заключенных был и такой. Рабочие были недовольны бригадиром, чем-то он им досаждал; тогда однажды в ночную смену они убили его, а может быть, только оглушили, вырыли в песке нишу и положили туда, а потом собрали на этом месте очередное кольцо чугунной обделки. Труп бригадира оказался за обделкой и не был найден.

Другой рассказ был о том, что какой-то пассажир из рабочих железобетонного завода попросил шофера грузовой машины

подбросить его куда-то по дороге. В кабине шофера места не было, а сажать пассажиров в кузов с железобетонными изделиями категорически запрещалось. Пассажир упрашивал, предлагал хорошие деньги, и шофер согласился и разрешил ему сесть в кузов. Во время поездки машину сильно тряхнуло, железобетонные изделия переместились и сильно поранили ехавшего пассажира. Боясь ответственности, шофер с помощником повернули машину в лес, убили пассажира и, торопясь, закопали его, но так мелко, что его вскоре нашли, но кто убил, так и не узнали.

А потом еще мне рассказали, что заключенные по вечерам играют в карты и иногда проигрывают людей. Если при игре в карты кто-то остается в дураках, то ему по предварительной договоренности предлагается убить человека. И проигравший обязан это требование выполнить, иначе убьют его самого.

От этих рассказов я не могла уснуть и представляла себе, что заключенные проиграли в карты меня. Не какого-нибудь простого рабочего из зэков, а инженера, женщину из Москвы. Шикарно было бы убить именно меня, вот много шуму было бы. Эта мысль долго сверлила меня ночью, но наконец я заснула, а утром уже не думала об этом.

Мы съездили на завод железобетонных изделий, я познакомилась с его оборудованием и руководством, и решили, что изготовление блоков для тоннелей на этом заводе вполне возможно. А возвращаясь обратно, я всё вспоминала рассказ об убийстве пассажира и искала глазами то место, где машина углубилась в лес. Затем мы побывали на строящемся тоннеле, я увидела рабочих из заключенных и всё думала, за каким из колец чугунной обделки они закопали своего бригадира.

После обеда инженеры разошлись по своим рабочим местам, а я осталась в кабинете начальника строительства, чтобы подготовиться к докладу, который я должна была прочесть вечером всему коллективу метростроевцев. Сижу за письменным столом, работаю, и вдруг дверь открывается и появляется явно заключенный: землистый цвет лица, одет в поношенную телогрейку и на голове зеленоватая шапка-буденовка времен революции семнадцатого года.

Я сразу же решила, что меня проиграли в карты и зэк пришел меня убивать. Но вида, что боюсь, не подаю, молчу. Молчит и он. Я еще подумала, что оружия у него, конечно, нет, а есть самодельный нож. Или будет душить? Вдруг он робко спрашивает: «Вы инженер Пирожкова из Москвы?» Я говорю «да» и думаю: ему надо было в этом убедиться. В то же время решаю, что буду бегать вокруг письменного стола и кричать.

Зэк снял буденовку и, все еще стоя у двери, сказал, что он хотел бы со мной поговорить; здесь он говорил со многими, но его не хотят слушать. Я сразу же успокоилась и пригласила его сесть напротив. И он рассказал, что был в плену у немцев, за что и попал в лагерь и работал на строительстве. И там он видел машину, которая подает бетон отдельными порциями при помощи сжатого воздуха и в то же время хорошо уплотняет бетонную смесь. Мой гость взял со стола лист чистой бумаги и карандаш и стал чертить устройство этой машины, на которой сам работал и хорошо ее изучил. Он сказал: «Вот бы такую машину нашей стране, но с кем я здесь ни говорил, все от меня отмахиваются. Вот почему я пришел к вам, может, вы расскажете об этом кому следует в Москве?» Я обещала ему поговорить с механиками Метростроя и, прощаясь, подала ему руку, на что он явно не рассчитывал.

Вечером я сделала доклад и, кажется, убедила строителей в том, что тоннель с обделкой из крупных блоков будет сооружаться гораздо быстрее, чем с чугунной, и, конечно, гораздо дешевле. Мои попытки помочь приходившему ко мне заключенному ни к чему не привели: очень трудно было пробить что-нибудь новое в сознание наших руководящих работников, думающих только о сиюминутных выгодах для своей карьеры, а не о будущем нашей страны.

В Москве от гидротехников я узнала, что начали готовить блоки для тоннеля Дон-Сал и уже собрали несколько колец тоннеля, как вдруг эта стройка была законсервирована, и коллектив строителей-метростроевцев, знакомый мне, освободился. Именно этот коллектив был переведен на строительство Чиатурских тоннелей.

Году в 1954-м—1955-м мне неожиданно пришлось заняться еще одним тоннелем, на этот раз в Сибири. От Министерства транспортного строительства пришел заказ Метропроекту дать заключение по проекту тоннеля, запроектированного в проектной организации города Новосибирска. Как и обычно, начальство Метропроекта передало мне все присланные документы и просило как можно скорее дать свое заключение.

Тоннель, длиною чуть более 100 метров, врезался в лоб не горы, а скорее гряды, отрога от основного горного массива и был расположен на расстоянии примерно 150 метров от реки Иртыш. Гряда подходила к самой реке и нависала над ней. Очертания массива, нависшего над рекой, напоминали какую-то птицу, отчего местное население называло это место не то «Индюк», не то «Петух».

Присланный из Новосибирска проект представлял собой

сооружение из толстых железобетонных стен с массивными контрфорсами с одной стороны и такого же свода над стенами.

Я познакомилась с геологическими условиями заложения тоннеля, познакомилась со всеми присланными материалами и поняла, что автор тоннеля, инженер Кампаниец, никогда не имел дела с тоннелями.

Я взяла лист ватмана и начертила этот тоннель по-своему — свод из чугунных тюбингов, составляющих кольца диаметром шесть метров (как для перегонных тоннелей метрополитена), опирающийся на бетонные стены небольшой толщины. Так как ставилось условие, чтобы как можно скорее пропустить через тоннель поезда с оборудованием и материалами для продолжения постройки железной дороги, я предложила чугунный свод опереть на породу, а стены подводить потом отдельными участками, не мешая движению грузовых вагонов. На весь тоннель требовалось всего 17 тонн чугуна.

Мой чертеж начальство Метропроекта показало в Министерстве, и там пришли в восторг от этого проекта.

Теперь была задача уговорить первого автора тоннеля согласиться с моим проектом и осуществлять на месте авторский надзор. Увидев мой проект, инженер Кампаниец категорически с ним не согласился и отказался участвовать в его реализации. Можно было бы взять на себя авторский надзор и отстранить Кампанийца, но послать туда кого-нибудь из инженеров моей группы я не могла, никто из них не занимался тоннелями, следовательно, надо ездить в такую даль самой. У меня же в Москве было чересчур много работы. И я решила, что должна поехать и уговорить Кампанийца. Со мной поехал сотрудник геологического отдела Моспроекта Матвеев, с которым прежде мне встречаться не приходилось.

Поездом мы доехали до Новосибирска и потом пересели в другой поезд до Усть-Каменогорска. Я познакомилась с начальником военной строительной организации генералом Москиным и с инженером Кампанийцем. Генерал Москин мне сказал: «Вряд ли Вам удастся уговорить Кампанийца, он очень упрямый и стоит на своем. Мне, во всяком случае, уговорить его не удалось».

На другой день утром мы на открытых легковых машинах вместе с военными отправились на место строительства тоннеля. Дорога была проселочная, пыль от впереди идущей машины покрывала нас с головы до ног. Когда мы доехали до места, сейчас же побежали к Иртышу отмываться. Вода была теплая, коричневатого цвета и такая мягкая, что мои вымытые волосы рассыпались по плечам: усталости после купанья как не бывало.

Нас покормили обедом, и я пригласила Кампанийца погулять со мной вдоль реки. Прежде всего я задала ему несколько вопросов о его работе и жизни в Сибири. Оказалось, что он коренной ленинградец, эвакуировался с семьей во время блокады и так и остался жить и работать в Новосибирске. Одна нога у него была на протезе, который чуть поскрипывал во время ходьбы. Я рассказала ему о прежней моей жизни в Сибири и кое-что о жизни и работе в Москве. В результате мы прониклись симпатией друг к другу, а о тоннеле вообще не говорили.

Вечером женщина, убирающая наше общежитие, сказала мне, что Кампаниец во время нашей прогулки до крови стер ногу и должен полежать. Поэтому на другой день утром я поехала на лодке с начальником строительства, полковником, и нашим геологом Матвеевым осматривать нависающий над Иртышом массив породы.

На другой день, дав Кампанийцу полежать еще полдня, мы с ним пошли на место стройки, где уже была пройдена штольня по всей длине тоннеля, породы были обнажены и между стойками штольни хорошо было видно напластование пород и их структуру. Когда мы вышли из штольни и сели за рабочий стол маркшейдеров, я сказала Кампанийцу: «Представьте себе книгу, и в ней вырезано овальное отверстие по форме тоннеля. Книга от этого вырезанного отверстия развалится по листам или будет стоять, как ее поставили? Вот так и это отверстие в горной гряде: оно не может вызвать никакого смещения породы. Как только будет собрано третье полукольцо чугунной обделки свода, за первое мы зальем цементно-песчаный раствор и тем самым заполним все образовавшиеся там пустоты между чугуном и породой».

Я взяла чистый лист ватмана и, сидя с Кампанийцем за столом, начала чертить портал, все время спрашивая его, какую взять ширину и высоту портала, его толщину и как украсить его карниз уступами. Конечно, я сама наизусть знала все размеры портала, запроектировав их больше сорока для тоннелей чиатурской железнодорожной ветки, но мне казалось правильным участие в этом Кампанийца. Когда чертеж портала был готов, я попросила его подписать чертеж и подписала сама.

От военного начальства пришло предложение поехать обедать к одному рыбаку в деревню на другом берегу Иртыша. Он обещал угостить нас отменной ухой из хариусов и жареной рыбой. Мы сели в лодку, переехали на другой берег Иртыша и пошли полем к деревне. По дороге я увидела кустики уже поспевшей сибирской клубники, белой, с розовыми бочками. Эта клубника, этот воздух, свежий и пахнущий совсем так же, как в

моем детстве, не позволял мне спешить на уху, хотелось здесь остаться подольше.

У рыбака нас угощали ухой действительно потрясающе вкусной. Мужчины принесли с собой водку; ее поставили сразу же в ледяную воду из колодца. Я водку не люблю, но пришлось выпить, чтобы не испортить настроение хозяевам и моим спутникам. На столе, кроме ухи и жареной рыбы, были малосольные огурчики, капуста, засоленная половинками и четвертинками вилка, а также соленые белые грибы с чесноком и укропом.

Возвращаясь вечером обратно, мы сели в лодку вместе с доярками, которые везли бидоны с только что надоенным молоком. Заплатив им за небольшой бидон, мы выпили по стакану парного молока.

В Усть-Каменогорске на совещании мы с инженером Кампанийцем выступали в полном единогласии.

Встречи и потери: Юрий Олеша и Вениамин Рыскинд

Осенью 1945 года на Кузнецком мосту я встретила Юрия Карловича Олешу: он шел мне навстречу под руку с актрисой Марией Ивановной Бабановой. Я поздоровалась с ними и спросила: «Юрий Карлович, где Рыскинд?» Он помрачнел и ответил: «Он убит на войне. Я приду к вам и расскажу об этом». Я была потрясена известием.

Прошло довольно много времени, и однажды мне на работу позвонила мама и сказала: «Приезжай домой, у нас гости». Я сорвалась как безумная, решив, что вернулся Бабель. Поймала такси и примчалась домой. Вхожу в комнату и вижу: за столом сидят Олеша и… живой Рыскинд! Радость была большая. Они прожили у меня три дня. Спали вместе в столовой на тахте. Утром мы завтракали, я уходила в Метропроект, а они оставались. И разговаривали, разговаривали без конца. Только иногда Рыскинд выбегал из дома в наш ближайший так называемый «серый» магазин, чтобы купить пол-литра водки. Вечером я возвращалась, мы обедали, и тогда я слушала рассказы Рыскинда о войне. Он имел бронь от Союза писателей и был вместе с другими писателями эвакуирован в Среднюю Азию, в Ташкент или, быть может, в Алма-Ату, не помню. Но он не мог усидеть там и ушел на фронт. Попал в отделение связистов и дошел до Чехословакии. Рыскинд был удивительным рассказчиком; желания смешить своими рассказами тогда у него не было, и они часто были очень печальными. В Чехословакии он почему-то жил довольно долго, и у него там была девушка Ярмила, которую он называл своей невестой. Там он написал несколько трогательных рассказов о войне. В армии ему подарили прекрасный аккордеон — он пел и себе аккомпанировал. И слова, и музыку обычно сочинял сам.

При Бабеле я не была знакома с Олешей, только читала его произведения и много слышала о нем от Бабеля. Познакомил меня с ним Рыскинд: еще в 1941 году он привел его к нам на день рождения Лиды. Четырехлетняя Лида явно отдавала предпочтение Рыскинду и только к нему садилась на колени, а Олеша, ревнуя, говорил: «Рыскинд — маленького роста, и поэтому она с ним запанибрата». Еще мне запомнилось, как Олеша назвал председателя Союза писателей СССР Суркова «сурковой массой». Прозвище закрепилось за Сурковым на долгие годы.

В 1946 году Рыскинд снова привел Олешу на день рождения Лиды. Лиде исполнилось девять лет, и она училась во втором классе. Поэтому Олеша с самым серьезным видом сказал ей: «Если будешь учиться на пятерки, выйдешь замуж за меня, если на четверки — за Рыскинда, а если же на тройки, то отдадим тебя за дворника». Олеша не понял, что для такого заявления Лида была уже слишком взрослой, она ответила, что у нее в дневнике есть и пятерки, и четверки, и тройки. И как быть в таком случае?

На дни рождения Лиды Рыскинд иногда приезжал издалека: из Минска, из Одессы, из Киева — он всегда помнил день 18 января.

После войны Олеша и Рыскинд приходили ко мне на работу в Метропроект, чтобы занять денег. Обычно по утрам они встречались в кафе «Националь», и часто оказывалось, что не хватает денег, чтобы расплатиться с официанткой. А я как раз работала тогда очень близко от кафе, в том здании, где расположен Театр имени Ермоловой. Они приходили ко мне, занимали немного, чаще всего 25 рублей, и через несколько дней возвращали. Как-то раз я зашла в «Националь» в свой обеденный перерыв и встретила там Олешу и Рыскинда. Рыскинд первый меня увидел, подошел и поцеловал мне руку. Тогда Олеша громко на весь зал произнес: «Что вы делаете, Рыскинд?

Майору не полагается целовать руку!» На мне была железнодорожная форма с погонами, и Олеша издали сумел различить, какое у меня звание.

Бывали случаи, когда Олеша приходил ко мне в Большой Николоворобинский переулок и занимал рублей по сто. Шел он обычно пешком от своего дома в Лаврушинском переулке (он жил на последнем, надстроенном этаже дома писателей), затем по Пятницкой, по набережной, через Устьинский мост, пересекал Солянку и сворачивал в наш переулок. Как-то раз он мне сказал: «Сижу я у себя на верхотуре и думаю о человеческих судьбах. А внизу во дворе разворачиваются лимузины, выходят солидные мужчины в дорогих костюмах и разодетые дамы с покупками, со свертками — богатые, знатные. Жены говорят мужьям, о чем надо и о чем не надо писать, чтобы преуспеть в жизни. Мужья слушаются и преуспевают. А я, бедный, прихожу вот к вам занимать деньги. Не поверите, но у меня не было даже двадцати копеек на трамвай».

Встречалась я с Олешей не так уж часто, а когда это происходило, наши разговоры касались моих хлопот о судьбе Бабеля, ежегодных визитов в КГБ, а потом — о реабилитации Бабеля и поисках его рукописей. Последний раз я виделась с Юрием Карловичем, наверное, в 1959 году, когда пришла по

делам в управление по охране авторских прав, которое размещалось в доме писателей. Выйдя оттуда, я столкнулась с Олешей. Мы сели там же на скамейку и проговорили около часа. Его внешний вид поразил меня: лицо было загорелое, волосы седые, но густые, а небольшие глаза — ярко-голубого цвета. Я сказала ему, что он похож на моряка, только что вернувшегося из дальнего плавания, и таким здоровым я его никогда раньше не видела. Мы расстались, а через недолгое время я узнала, что Олеша внезапно умер. Говорят, что, стараясь избавиться от пристрастия к водке, он лечился, и врач предупредил: после этого лечения нельзя пить ни капли спиртного. Он держался, не пил, поздоровел и похорошел, и именно в этот период я видела его в последний раз. Потом не выдержал, выпил и тут же умер, как и предупреждал врач. Были ли это слухи или правда, я так и не знаю.

Я не была на его похоронах, так как узнала о его смерти позже. Юрий Карлович был человеком особенным, каким-то не похожим на других, не грустить о нем невозможно. Рыскинд любил Олешу самозабвенно, и, когда приезжал в Москву, они встречались ежедневно, иногда вместе и работали. Так, они вместе сочинили текст песни моряка к какому-то фильму о морской жизни. Кажется, это была «Поэма о море», снятая на студии Довженко, а режиссером была Ю. И. Солнцева.

Рыскинд работать усидчиво не умел — это замечал еще Бабель и беспокоился по этому поводу. Голова его всегда была полна замыслов, и он строил великое множество планов. А какие он мне пересказывал задуманные им сценарии и пьесы! Но вот членом Союза писателей он не был и вряд ли был даже членом профсоюза. Он жил как птичка.

Однажды я вернулась домой с работы и застала мою маму и Рыскинда в слезах — они слушали пластинку, которую напел когда-то Рыскинд. Он сочинил песню о том, как в каком-то местечке жили две подруги, старые еврейки. У одной был сын, а у другой дочь Анюта. Молодые люди были помолвлены, и мать Анюты приготовила для будущего зятя кожаную куртку и сапоги. А жених, не дожидаясь свадьбы, однажды украл эти вещи, предназначенные для него же, и ушел в них на фронт, чтобы воевать против интервентов за власть Советов. Война кончилась, обе старушки сидят на скамеечке возле дома и смотрят на шлях. Много прошло людей по шляху в кожаных куртках и сапогах, а милого вора всё нет. Песня была на еврейском языке, необыкновенно трогательная и печальная. Моя русская мама, выросшая в еврейском местечке Любавичи и понимавшая идиш, плакала, когда ее слушала, и Вениамин Наумович плакал вместе

с ней.

Он принес эту песню в какой-то журнал, но ему сказали: «Этот парень — комсомолец, а комсомолец не должен воровать! Не пойдет!» Так формально и бездушно почти всегда относились в редакциях к необыкновенно лиричным и печальным произведениям Рыскинда, будь то песня или рассказ. Он часто писал песни для Руслановой, для Сиди Таль. Сам хорошо пел песни на стихи Беранже, аккомпанируя себе на пианино. Когда он приходил к нам, я всегда просила его исполнить что-нибудь из этих песен, и он сейчас же садился за пианино. Если оставался без денег, то выезжал в провинциальные города Украины или Белоруссии и там выступал с песнями на сценах местных театров или в клубах. После войны с ним всегда был аккордеон, который ему подарили в армии.

С Чехословакией Рыскинд и после войны поддерживал связь, там напечатали многие его рассказы, которые не хотели издавать в СССР. Помню, однажды ему прислали оттуда очень хорошее темно-синее пальто. Он очень им гордился, но редко носил: уж очень не соответствовали этому пальто все другие его вещи — костюм, ботинки.

А однажды пришел к нам и сказал: «Я был в душе, и у меня украли чистую рубашку, а старую я подстелил под ноги, и она грязная». Пиджак на нем был надет на голое тело. Я выстирала его рубашку, она скоро высохла — было лето, погладила, и Вениамин Наумович надел ее. Я поняла, что рассказ его был выдумкой — у него просто не было другой рубашки.

Когда Рыскинд уже после войны приезжал в Москву, он иногда останавливался у нас. Но если задерживался где-нибудь у друзей позже полуночи, то стеснялся приходить поздно, и шел в синагогу или на Центральный телеграф, и там проводил ночь. Утром рано он первым становился в очередь в молочную и уже в восемь утра появлялся у нас с бутылками молока и кефира для Лиды. Так происходило, когда он ночевал в синагоге, которая была довольно близко от нашего дома. Если же ему удобнее было ночевать в здании телеграфа, он поднимался на его ступени и провожавших его друзей радушно приглашал прийти к нему наутро завтракать.

Как-то Рыскинд рассказал мне, что был в гостях у режиссера Пырьева и, напившись, зашел в спальню к Марине Ладыниной, жене Пырьева, увидел на туалетном столике большой флакон французского одеколона и выпил его. В знак протеста против обеспеченных людей, что ли?

Смерть Олеши сильно подкосила Рыскинда. Казалось, без Олеши он не мог существовать: ходил как потерянный, говорил

только о нем. Пить водку как будто перестал. И вдруг — инсульт! А после болезни врачи признали размягчение левого полушария мозга и сказали, что процесс необратим. Я навещала Вениамина Наумовича в больнице и затем у его дяди, а через некоторое время узнала, что он переселился снова в Ильинское, где раньше снимал комнату. Понять что-нибудь в этой болезни было нельзя: полная апатия — он целыми днями лежал на кровати не раздеваясь. Однако, когда я приезжала его навестить и мы с ним гуляли или когда он изредка приезжал в Москву ко мне или к Ольге Густавовне, вдове Олеши, в нем можно было еще узнать прежнего Рыскинда. Но уже не по тому потоку остроумия, который был свойственен ему раньше, а по отдельным репликам. Я часто говорила с ним о том, чтобы он написал воспоминания о Бабеле и об Олеше. Он со мной соглашался, обещал написать, но ничего не делал. Пробовала я писать ему письма, чтобы побудить его написать ответ, но он ни разу так и не написал, хотя моим письмам очень радовался.

Когда хозяйка в Ильинском отказалась сдавать ему комнату, которую оплачивали все мы, его друзья, его взял к себе многодетный писатель Ржешевский (кажется, так), живший в Ильинском постоянно. И мы были спокойны за Рыскинда, поскольку все же он был в семье и как-то общался с детьми. Все деньги, которые мы продолжали собирать, складываясь по десять рублей, мы передавали Ржешевскому.

Так прошло несколько лет, но болезнь Рыскинда прогрессировала, и надо было выхлопотать для него пенсию и устроить в дом инвалидов. С этим было немало трудностей, так как у Рыскинда, кроме паспорта и свидетельства о рождении, не было никаких документов: ни трудовой книжки, ни справок, ничего. И если бы не настойчивость писателя и сценариста Иосифа Прута, вряд ли бы что-нибудь вышло. Пенсию дали мизерную, дом инвалидов не из лучших, но большего добиться было невозможно.

Перед отъездом в дом инвалидов, находившийся довольно далеко от Москвы, Рыскинда перевезли из Ильинского к его родной тете Анне Абрамовне на Таганскую площадь. Мы в то время уже переехали на новую квартиру, и дом в Большом Николоворобинском переулке снесли, чтобы на его месте построить многоэтажное здание. Последний раз я виделась с Рыскиндом примерно в 1965 году. Тетя проводила его до метро «Таганская», а я оттуда привезла его к нам на Азовскую улицу. Он был очень грустный, но обрадовался встрече со мной, Лидой и ее мужем. Мы провели с ним целый день, а вечером я отвезла его к Анне Абрамовне, и мы попрощались. Через два дня он уехал в

дом инвалидов. От Прута я узнавала о его здоровье, а потом узнала о его смерти от инфаркта, наверное, уже в 1966 году.

Среди друзей Бабеля, продолжавших общаться со мной после его ареста, был и Сергей Михайлович Эйзенштейн. В конце января 1948 года, через несколько дней после своего пятидесятилетия, Эйзенштейн позвонил мне: «Почему Вы меня не поздравили с днем рождения?» — «Сергей Михайлович! Но Вы меня никогда не поздравляете!» Он ответил: «Когда Вам будет пятьдесят, я Вас непременно поздравлю». Через семнадцать дней Эйзенштейн умер.

Судьба Бабеля

Летом 1944 года я с великим страхом подала обычное заявление в НКВД с просьбой сообщить о судьбе Бабеля. Со страхом вот почему. От знакомых я узнала, что обычный ответ на такие заявления гласил: «Умер в 1941 г.», «Умер в 1942 году». Какова же была моя радость, когда я получила ответ: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было и в 1945-м, и в 1946-м. А на запрос в 1947 году мне сообщили: «Жив, здоров, содержится в лагерях. Будет освобожден в 1948 году». Нашей радости не было границ. Мы с мамой решили, что Бабеля освободят раньше, чем истечет срок приговора.

Решили за этот год отремонтировать квартиру, перебить мягкую мебель и летом 1947 года занимались всем этим, готовясь встретить Бабеля. А летом 1948 года мне снова ответили кратко: «Жив, содержится в лагерях», и я подумала, что начался еще больший произвол и срок, наверно, еще увеличили. Повсюду тогда ходили слухи об увеличении сроков и произволе в лагерях.

После 1948 года я заявлений в НКВД не подавала. Так наступил 1952 год, а Бабеля всё не было. Однажды в августе 1952-го мама позвонила мне на работу и сказала, чтобы я немедленно пришла домой. Я схватила такси, надеясь увидеть дома Бабеля. Но оказалось, к нам приходил человек (совершенный зэк, как его описывал впоследствии Солженицын) и рассказал, что вышел из лагеря, расположенного на Колыме, что арестован был во время войны за сотрудничество с немцами, осужден на восемь лет, отбыл этот срок. Рассказал, что сам он из Бреста и фамилия его Завадский. После какого-то очередного перемещения из одного лагеря в другой он, по его словам, оказался вместе с Бабелем. Письмо от Бабеля он не привез, так как Бабель, когда он уходил из лагеря, был якобы в больнице. Завадский в сапоге привез письмо от мужа одной женщине, в котором тот пишет и о Бабеле. Он назвал маме имя женщины, которой передал письмо, — Мария Абрамовна, — и написал ее телефон. Подождать меня Завадский не мог, спешил на вокзал. Вид его, как рассказала мама, был изможденный, цвет лица серый, он был в сапогах и в плаще, старомодном и ветхом.

Я в тот же день позвонила Марии Абрамовне, и она пригласила меня зайти. Шла я к ней с опаской, боялась, что за мной следят. Так мне казалось, и, может быть, поэтому сейчас совершенно не помню, где она жила. Кажется, в одном из переулков между Арбатом и улицей Герцена.

Помню только, что дом был старинный, с массивными

дверями и высокими потолками. Дверь отворила женщина с классически правильными чертами лица, высокая, немного полноватая. Черные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор, с тяжелым узлом сзади. Она рассказала, что ее муж (вроде бы она назвала его Гришей, фамилии не помню) был послом или посланником нашим в Америке. Она и две маленькие дочери находились с ним. Вдруг, году, наверное, в 1937-м или 1938-м, его отозвали в Москву и поселили в роскошном номере в «Метрополе». Так всегда бывало с работниками посольств: пока им не предоставят квартиру, они живут в номерах «Метрополя». Туда-то и пришли ночью за мужем через несколько дней после возвращения из Америки. Ее арестовали тоже, но в одно ли время с мужем или позднее — не помню. Девочек сначала увезли в какой-то детдом, а потом отдали ее родителям. Ей каким-то образом удалось освободиться через год или два. Было удивительно, как ей это удалось, но тогда у меня никакие подозрения не шевельнулись.

Мария Абрамовна рассказала, как пришел Завадский — очень боялся, снял сапог и вытащил письмо. Потом, встав на стул, она достала это письмо из подвешенного высоко в углу комнаты шкафчика и прочла его мне. Я спросила, узнает ли она почерк мужа, она сказала: «И да, и нет. Как будто его почерк, но написано письмо дрожащей рукой». Я запомнила из этого письма: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой» — это дословно, и далее, что он работает счетоводом, сидит в конторке, у них тепло, много пишет. О том, что он в больнице, — как ни о чем особенном, выйдет непременно. Поражало слово «оказия» — это бабелевское слово, в письмах он часто его употреблял. Я расплакалась, и Мария Абрамовна тоже. Так мы поплакали вместе, а сделать все равно ничего не могли.

Больше ни я ей, ни она мне не звонила. Я была уверена, что Бабель жив и находится в лагере на Колыме. Непонятно было только, как человек такого обаяния, как Бабель, не мог из лагеря послать о себе весть. Но объясняла я это, во-первых, строгостью режима лагерей и, во-вторых, нашим отсутствием в Москве в течение почти трех лет.

На всякий случай мы решили послать запрос в Магаданскую область. Кто-то из знакомых узнал адрес, по которому следовало написать. И вот Лида Бабель написала в почтовый ящик № АВ 261, в ведении которого были все лагеря Магадана и Магаданской области, просьбу сообщить, не у них ли содержится И. Э. Бабель.

В ответ получили уведомление: «На ваше заявление сообщаем, что Бабель Исаак Эммануилович, 1894, по адресу:

город Магадан, Магаданской области, п/я 261 не значится».

Однажды мне сказали, что писатель К. рассказывал писателю Евгению Рыссу[42] о том, как умер Бабель — где-то в лагере под городом Канском Красноярской области. Я попыталась разыскать Евгения Рысса, но он жил в Ленинграде, и мне это не удалось. А году в 1955-м, уже после реабилитации Бабеля, мне вдруг позвонил сам К. и спросил, не хотела бы я узнать подробности о смерти Бабеля, и предложил с ним встретиться. Эта встреча произошла на Тверском бульваре напротив дома Герцена. К. рассказал, что его отец был начальником лагеря под Канском. Там была пошивочная мастерская, где работали заключенные. Бабелю сшили там плащ из брезента темно-зеленого цвета, и он в нем ходил. Этот плащ, говорил К., и сейчас хранится у его матери, живущей где-то в Сибири, и, если я хочу, он может этот плащ мне привезти. У Бабеля в этом лагере была своя маленькая комнатка; работать его не заставляли, он много писал.

— А я присылал ему бумагу, — рассказывал К. — Сам я тогда работал в газете во Владивостоке. Отец мой очень хорошо относился к Бабелю. Он написал мне, что ему нужна бумага. Вот я и присылал бумагу. Однажды Бабель пошел погулять во двор лагеря в этом своем плаще и долго не возвращался. Все обеспокоились и вышли его искать. Во дворе стояло одинокое дерево, а возле него скамья. Бабеля нашли сидящим на этой скамье, прислонившимся к дереву. Он был мертв.

Итак, лагерь под городом Канском и пошивочная мастерская.

Я не настояла на том, чтобы К. привез мне плащ, не потому, что я тогда сразу же не поверила ему, а потому, что мне страшно было хранить его в доме.

Наверное, через год или два после свидания с К. я на майские праздники поехала с приятельницей отдохнуть в Дом творчества композиторов под Рузу. Гуляя, мы зашли в Дом творчества писателей и там встретили Евгения Рысса. Когда нас познакомили, я спросила его, рассказывал ли ему К. о смерти Бабеля, и попросила его повторить этот рассказ.

К. рассказал Рыссу, что его отец был начальником тюрьмы в городе Канске, где содержался Бабель. Квартира начальника тюрьмы находилась рядом с камерой Бабеля и имела общий с ней балкон. И Бабель по этому балкону часто приходил к родителям, и мать кормила его пирогами. Именно у них в доме на черном клеенчатом диване Бабель однажды умер от разрыва сердца. Как и мне, К. говорил, что Бабель много писал и К. присылал ему бумагу. Добавил еще, что всё написанное Бабелем после его смерти забрал в Москву какой-то сотрудник центрального аппарата НКВД.

Примерно за год до ареста Бабеля в нашем доме появился литературовед Яков Эльсберг. Когда я застала этого нового знакомого Бабеля, возвратясь с работы, я ничуть не удивилась. Так бывало и прежде, тем более что Эльсберг работал у Каменева в издательстве «Academia». Эльсберг меня удивлял и даже смешил своей готовностью ко всяким услугам. Стоило сказать при нем, что нужно в квартире сделать какой-то ремонт, как моментально он приводил маляров. Стоило заикнуться, что неисправен штепсель, как на другой же день приходил электромонтер. А однажды Бабель сказал мне, что на премьеру оперы «Иван Сусанин» в Большой театр меня будет сопровождать Эльсберг. Билеты были в ложу, и я с удивлением обнаружила, что Эльсберг оперу почти не слушал. Не дожидаясь окончания первого акта, он куда-то исчез, а через некоторое время возвратился с пакетом апельсинов, чтобы меня угощать. В течение второго акта Эльсберг уходил, как оказалось, заказывать машину для отъезда, а не дожидаясь конца третьего акта, ушел из ложи и принес наши пальто. После окончания премьеры нас ждала шикарная машина черного цвета, на которой Эльсберг отвез меня домой. Дома я со смехом рассказала Бабелю, как ухаживал за мной Эльсберг в театре, и Бабель очень смеялся.

Я знаю, что Бабеля предупреждали о том, что Эльсберг к нему приставлен, но не знаю, как он относился к этому. Знаю только, что Эльсберг продолжал к нам приходить до самого ареста Бабеля, а после пошли визиты один раз в месяц. Придет, одетый как жених, принесет Лиде детские книжки, выпьет стакан чаю и уйдет. Он не вел со мной никаких провокационных разговоров, не задавал никаких вопросов. Эти появления Эльсберга я называла «визитами вежливости». Каждый раз после его ухода мне хотелось недоуменно пожать плечами. К концу 1939 года визиты Эльсберга прекратились.

Когда началась реабилитация репрессированных людей, выяснилась роль Эльсберга и был поднят вопрос о привлечении его к ответственности. Чтобы проверить причастность Эльсберга к арестам писателей, создали комиссию, которой разрешили просмотреть дела арестованных. Конечно, с членов этой комиссии была взята подписка о неразглашении, но тем не менее кое-какие сведения просочились.

Эльсберга тогда исключили из Союза писателей и хотели привлечь к уголовной ответственности, но этого не допустили. Какое-то время спустя после разоблачения Эльсберга я встретила его в Институте мировой литературы, случайно с ним столкнулась. У него был такой жалкий вид, что я ответила ему на поклон, но не остановилась. Жалкая у него судьба и страшная

была жизнь!

О возможности реабилитации заключенных я узнала одной из первых.

Главного инженера Мосметростроя Абрама Григорьевича Танкилевича судили по какому-то выдуманному делу вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Его не взяли, он находился только под домашним арестом и должен был являться на заседания народного суда. Суд длился долго, так как обвиняемых было много. И вот как-то раз во время перерыва в судебном заседании Танкилевич случайно услышал разговор адвокатов между собой, из которого узнал, что создана комиссия под председательством Генерального прокурора СССР Руденко по реабилитации людей, осужденных в годы культа личности Сталина. Это было в январе 1954 года. Танкилевич сейчас же позвонил мне и рассказал об услышанном разговоре. Я ничего не знала о такой комиссии и не имела представления о том, как нужно к ней обращаться, но сейчас же написала заявление такого содержания:

«Мой муж, писатель И. Э. Бабель, был арестован 15 мая 1939 года и осужден сроком на 10 лет без права переписки.

По справкам, получаемым мною ежегодно в справочном бюро МВД СССР, он жив и содержится в лагерях.

Учитывая талантливость И. Э. Бабеля как писателя, а также то обстоятельство, что с момента его ареста прошло уже 15 лет, прошу вас пересмотреть дело И. Э. Бабеля для возможности облегчения его дальнейшей участи.

А. Пирожкова 25.1.54 г.».

В дальнейшем в заявлениях, адресованных Руденко, люди прямо просили о реабилитации. Мне же тогда это слово было незнакомо. К нашему удивлению, через десять дней пришел ответ от Генерального прокурора, в котором сообщалось:

«Ваша жалоба от 5 февраля 1954 г., адресованная Генеральному прокурору СССР по делу Бабеля И. Э., поступи ла в Главную военную прокуратуру и проверяется. О результатах вам будет сообщено».

А через две недели, то есть 19 февраля 1954 года, — снова письмо из Прокуратуры СССР:

«Сообщаю, что ваша жалоба Прокуратурой СССР проверяется. Результаты проверки будут сообщены дополнительно».

Первое письмо было подписано военным прокурором Главной военной прокуратуры, а второе — прокурором отдела по спецделам.

Но прошло еще несколько месяцев, когда уже летом, быть может, в июне, мне позвонил незнакомый человек, назвался

следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот.

Это был довольно симпатичный, средних лет человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал вопросы сначала обо мне, где работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в Метрогипротрансе, он сказал:

— Это удивительно при ваших биографических данных.

Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Андре Мальро и с Ежовыми. Я спросила Долженко:

— Вы дело Бабеля видели?

Он ответил:

— Вот оно, передо мной.

— И какое у вас впечатление?

— Дело шито белыми нитками…

И тут я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, и я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан воды. Но я скоро пришла в себя.

Тогда он спросил меня, кто мог бы дать хороший отзыв о Бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Эренбурга и Катаева.

Подумать только — «дело шито белыми нитками», а нужны отзывы трех человек, чтобы реабилитировать невиновного!

Потом Долженко мне сказал, что, так как сейчас лето и люди, с которыми он хочет поговорить, могут быть в отъезде или на даче, он не обещает скоро закончить дело. Я спросила о судьбе Бабеля, и Долженко сказал, что он занимается только реабилитацией, а на этот вопрос мне ответят в другом месте, когда он закончит рассмотрение дела.

От Долженко я пошла сразу же к Екатерине Павловне Пешковой, которая жила на улице Чаплыгина, то есть очень близко от Кировских ворот. Никогда прежде я не приходила к ней без звонка, и Екатерина Павловна очень удивилась моему приходу. Но вид у меня был такой, что она тут же меня обняла, привела в столовую и, посадив на диван, села рядом. Я не сразу сумела заговорить. Потом я рассказала о разговоре с Долженко и предупредила о возможном его визите. В тот же день вечером я позвонила Эренбургу и узнала: он на даче, а машина туда пойдет через день утром. Когда я приехала на дачу, оказалось, что Долженко уже у них был. Любовь Михайловна рассказала, как заставила его гулять в саду более двух часов: Эренбург был занят.

— Если бы знала, что дело касается Бабеля, пустила бы его к

Илье Григорьевичу немедленно.

Эренбург рассказал мне о разговоре с Долженко, которому он сказал, что с Андре Мальро сам познакомил Бабеля в Париже, а знакомство с Ежовым объяснил профессиональным любопытством писателя к людям всякого ранга, в той же мере к Ежову, как, например, к наездникам ипподрома.

Я спросила Эренбурга, какое у него впечатление о судьбе Бабеля. Он ответил:

— О деле — хорошее, о судьбе — плохое.

И я расплакалась, как ни старалась сдержаться. Эренбург тотчас же стал уверять меня, что Долженко ему ничего определенного не сказал, просто у него такое впечатление. Схватил меня за руку и потащил показывать свой цветник, где были цветы необыкновенные, нам незнакомые, семена которых он привозил из-за границы. Потом был обед. Во время обеда разговор шел о том, что Константин Симонов предал Эренбурга, выступив в печати со статьей против «Оттепели», а считался другом, вместе работали во время войны, часто бывал в доме.

Предупреждать Катаева о визите следователя я не стала, но знаю, что разговор между ними состоялся.

С Екатериной Павловной Долженко встретился на другой же день после моего к нему визита. Она рассказала ему, как Горький и она любили Бабеля, считали его умнейшим человеком и талантливым писателем.

Долженко повторил ей, что удивлен моим «высоким служебным положением» при таких неблагоприятных биографических данных.

Уже зимой, в декабре, мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено и я могу получить справку о реабилитации в Военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского. Там мне выдали справку такого содержания:

«Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 18 декабря 1954 года.

Приговор Военной Коллегии от 26января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля.

И человек, который выдал мне справку, взял ручку, на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу свидетельство о смерти.

Я вышла от него почти спокойной. Я не верила этому! Если бы было написано: «Умер в 1952-м или в 1953-м», я бы поверила, но в августе 1952 года приходил из заключения Завадский, привез письмо, в котором было написано: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой». Я верила в то, что до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский. Я решила, что арестованных была такая масса, что в НКВД не могут теперь разобраться, кто где находится, и кинулась хлопотать о поисках Бабеля.

Я написала письмо председателю военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была мне выдана справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову. Я писала:

«23 декабря 1954 года мне вручили в приемной Верховного Суда Союза ССР справку за № 4Н-011441/54 о прекращении производства за отсутствием состава преступления дела моего мужа, писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Одновременно мне сообщили, что 17 марта 1941 года муж мой — Бабель И. Э. — умер от паралича сердца.

Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявления в справочном бюро МГБ — Кузнецкий Мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря с. г. сообщения о смерти Бабеля И. Э. в 1941 году.

Кроме того, летом 1952 года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров.

Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным.

Прошу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним».

Не получив ответа на мои заявления, я написала письмо писателю Фадееву:

«Уважаемый Александр Александрович!

Обращаюсь к Вам по совету Ильи Григорьевича Эренбурга, от которого Вы, вероятно, уже знаете о полной реабилитации моего мужа И. Э. Бабеля.

Одновременно со справкой о реабилитации я получила устное сообщение о смерти Бабеля в 1941 году. Это сообщение является ошибочным, так как я достоверно знаю, что Бабель был жив еще летом 1952 года.

В августе 1952 года меня нашел в Москве освобожденный из лагеря Средней Колымы человек, который три года (с 1950 по 1952) находился вместе с И. Э. Бабелем и сообщил мне о нем факты, не вызывающие никакого сомнения в их достоверности.

Поэтому я чрезвычайно встревожена создавшимся положением, в силу которого военная коллегия Верховного Суда, оправдавшая Бабеля, не разыскивает его, считая погибшим.

Я подала заявление с опровержением факта смерти Бабеля в 1941 году в КГБ, но боюсь, что проверка моего заявления будет затяжной и формальной. Поэтому было бы необходимо добиться распоряжения об индивидуальном и срочном розыске Бабеля от кого-нибудь из членов правительства, например от Ворошилова, который, безусловно, знает и помнит Бабеля.

Мне самой трудно было бы добиться приема у Ворошилова, и поэтому я хочу узнать у Вас, могли ли бы Вы или Союз советских писателей помочь мне в этом.

Прошу Вас сообщить мне о возможности Вашего участия в судьбе Бабеля».

После получения моего письма Фадеев однажды позвонил мне домой; меня дома не было, и он сказал Лиде, что хотел бы поговорить со мной, но сейчас уезжает в санаторий в Барвиху, а когда вернется оттуда, то перезвонит.

Но звонка Фадеева я не дождалась и написала письмо Ворошилову.

Через какое-то время мне позвонили из приемной Ворошилова:

— Климент Ефремович просит передать Вам, чтобы Вы поверили в смерть Бабеля. Если бы он был жив, он давно был бы дома.

И только после этого, все еще сомневаясь, я пошла в районное отделение ЗАГСа за свидетельством о смерти Бабеля.

Более страшный документ трудно себе представить!

«Место смерти — Z, причина смерти — Z».

Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет.

Можно ли было верить этой дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение не могло быть отложено более чем на год.

Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 году

Политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля написано: «Девяностолетие со дня рождения писателя И. Э. Бабеля (1894–1940)». Когда мы позвонили в Политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 1940-й, когда справка ЗАГСа дает год 1941-й, нам спокойно ответили:

— Мы получили этот год из официальных источников…

Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня в заблуждение справками о том, что он «жив и содержится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а потом заставил писателя К. распространять ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или тюрьме?

И только когда в 1960 году в Советский Союз впервые приехала родная сестра Бабеля, жившая постоянно в Брюсселе, и спросила меня: «Как умер мой брат?» — я поняла, как чудовищно, немыслимо сказать ей: «Он расстрелян». И я повторила одну из версий, придуманных К., о смерти в лагере на скамье возле дерева.

Верить в смерть Бабеля не хотелось, но мои хлопоты о розыске его с тех пор прекратились.

Теперь мы знаем, что Бабель испытал пытки на следствии и продержался, всё отрицая, три дня. Мужественные люди могли вынести и пытки, и были такие примеры, но, когда заключенному говорили, что сейчас приведут сюда его жену и маленького ребенка и будут мучить на его глазах, вряд ли кто мог это вынести. И чтобы этого избежать, человек соглашался подписать любые обвинения, а значит и свой смертный приговор.

Бабель был обречен как выдающаяся личность, как писатель, неспособный к сделке с правительством, и не нужны были его муки даже в течение трех дней.

Писать об этом мне очень трудно. Горечь утраты не оставляет меня никогда, и мысль о том, что за восемь месяцев в НКВД он должен был испытать массу унижений и оскорблений, пытки, а свой последний день пережить как день перед смертью после приговора, разрывает мне сердце.

Умирают все, но в другом возрасте или от болезни, часто неожиданной. Бабелю не было и сорока шести лет, он был здоров, любил жизнь, любил свою работу и даже в НКВД просил следователя дать ему рукописи, чтобы их еще поправить, но и этого ему не разрешили.

Я попыталась разыскать рукописи. В ответ на мое заявление в КГБ меня вызвали в какое-то полуподвальное помещение, и сотрудник органов в чине майора сказал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи. Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи…

Год спустя после реабилитации Бабеля я обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила его хлопотать от имени Союза о розыске рукописей Бабеля.

Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серову было направлено письмо:

«В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель тов. Бабель Исаак Эммануилович.

В 1954 году И. Э. Бабель посмертно реабилитирован Верховным Судом СССР.

При аресте у писателя были изъяты рукописи, личный архив, переписка, фотографии и т. п., представляющие значительную литературную ценность.

Среди изъятых рукописей, в частности, находились в пяти папках: сборник «Новыерассказы», повесть «Коля Топуз», переводы рассказов Шолом-Алейхема, дневники и т. п.

Попытка вдовы писателя Пирожковой А. Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной.

Прошу Вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения изъятых материалов писателя И. Э. Бабеля.

Секретарь правления Союза писателей СССР

(А. Сурков)».

На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ — того же содержания, что был дан и мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков не производилось.

Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены, и органам безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятых бумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт о сожжении № такой-то». Так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Михаила Кольцова.

Году уже в 1970-м ко мне пришла молоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила передать кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что рукописи писателей всё же находятся, иногда поступают от частных лиц, а иногда и из архивов КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля.

Я сказала:

— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни.

— И я тоже! — с жаром воскликнула она.

И было так трогательно слышать это от совсем молоденькой девушки!

В 1987 году, надеясь на изменившуюся ситуацию в стране, я снова подала заявление с просьбой о поиске рукописей Бабеля в подвалах КГБ. В ответ на мою просьбу ко мне домой пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены.

— Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу? — спросила я.

— Нет, мы пришли, чтобы выразить вам свое сочувствие, мы же понимаем, как драгоценны рукописи Бабеля[43].

Замечательные женщины (Екатерина Павловна Пешкова)

Мне в жизни повезло, я была знакома и дружна с замечательными женщинами старшего поколения. Первой была Лидия Моисеевна Варковицкая. Муж Лидии Моисеевны Александр Морицович Варковицкий учился с Бабелем вместе в Коммерческом институте. В 1916 году они получили диплом об окончании высшего учебного заведения в городе Саратове, куда во время войны был переведен из Киева Коммерческий институт. Дипломы давали звание инженеров-экономистов.

А. М. Варковицкий умер в 1921 году в Одессе, кажется, от тифа, оставив дочь Любовь 1911 года рождения. Бабель часто вспоминал о нем с большой нежностью и сожалением. Лидия Моисеевна еще раз выходила замуж, и от второго брака у нее было двое детей — сын и дочь.

Приезжая в Ленинград, я часто у нее останавливалась.

Когда я познакомилась с Лидией Моисеевной, она была одна. Ее первая дочь жила в Ленинграде, а двое других детей — в Москве. Много лет она проработала в редакции детского журнала вместе с Самуилом Яковлевичем Маршаком[44]. Когда под старость Лидия Моисеевна стала слепнуть, то, не дожидаясь полной слепоты, купила азбуку Брайля и стала ее учить. Очень скоро она читала по Брайлю так же быстро, как и всегда. Но какую надо иметь силу воли!

Лидия Моисеевна была очень жизнерадостным человеком, несмотря на ухудшающееся зрение, ходила всюду самостоятельно. Всегда приезжала ко мне на день рождения. Летом я чаще всего снимала дачу под Москвой, но это ее не пугало. Доехав поездом из Ленинграда до Москвы, она пересаживалась на электричку и пешком шла от станции до дачи.

Я радовалась ее приезду безмерно. С ней было весело, интересно. Она легко могла написать остроумное четверостишие. Переводила лирику Гейне на русский язык. Она всегда показывала мне свои переводы, зная, что я очень люблю стихи Гейне и знаю немецкий язык. Издать эти переводы не удавалось; официальные переводчики крепко цеплялись за свои места и к своей кормушке никого не подпускали. Между тем Лидия Моисеевна переводила Гейне, на мой взгляд, намного лучше, чем это делали признанные в то время переводчики. Ее перевод был гораздо более точен по смыслу. Папка с ее переводами хранится в Ленинской библиотеке и один экземпляр — у меня[45].

Погибла Лидия Моисеевна оттого, что плохо видела. Поехала к дочери и, переходя дорогу на перекрестке, попала под машину.

Другой моей приятельницей была Нина Александровна, жена художника Михаила Михайловича Черемных. Она любила работать с деревом. В ее комнате стоял верстак; на нем Нина Александровна делала всевозможные предметы мебели для московской квартиры.

В столовой стоял обыкновенный круглый стол, но над его поверхностью вращались одна над другой еще две круглые плоскости. Тарелки и приборы стояли на столе; на нижней вращающейся плоскости ставились закуски, а на верхней — напитки. Получалось удобное расположение всех предметов, которые не могли бы разместиться на обычной поверхности стола. Такую конструкцию я никогда раньше не встречала, и все это было сделано трудом и выдумкой Нины Александровны. Вращая круги, гости придвигали к себе закуски и напитки — это было и весело, и интересно. Сам Михаил Михайлович любил гостей и застолье, и этот стол с вращающимся кругом доставлял ему большое удовольствие.

Когда Михаила Михайловича наградили орденом «Знак Почета», он не пошел в Кремль его получать, сославшись на плохое здоровье. Тогда сам Георгадзе приехал к нему на квартиру и передал орден. Все мы считали, что не так уж Михаил Михайлович был нездоров, чтобы не добраться до Кремля. Просто он не придавал значения правительственным наградам. А может быть, это был его своеобразный протест против того, что происходило в стране.

После смерти Михаила Михайловича я еще больше подружилась с Ниной Александровной. Удивительная женщина! Она написала очень хорошую книгу воспоминаний о муже. Я нахожу, что это одно из лучших воспоминаний, написанных женами о своих мужьях.

Один из кораблей нашего флота был назван «Михаил Черемных», и многие члены экипажа этого корабля посещали Нину Александровну, помогали ей. В подарок от них Нина Александровна получила однажды макет корабля, прекрасно выполненный.

Когда начали разрушать центр Москвы и выселять людей в так называемые спальные районы, Нине Александровне пришлось оставить свою квартиру. В новой квартире ей досталась лишь одна комната, где не мог разместиться ни верстак, ни другие приспособления для работы по дереву.

В этой новой комнате у Нины Александровны я была только один раз, а когда летом 1971 года она поселилась в маленьком

домике на даче у художницы Козминской, я решила навестить ее. Взяла с собой четырехлетнего внука Андрюшу, и мы поехали от Нового Иерусалима, где снимали дачу, до станции Снегири, а оттуда пешком дошли до дачи Козминской.

Мы застали Нину Александровну за прежней работой по дереву; она для своего маленького домика делала столик, стулья, скамеечку для ног.

Пить чай мы перешли в столовую большого дома, и за чаем Нина Александровна рассказала мне, что пишет стихи на французском языке для собственного развлечения. Я просила ее прочитать мне свои стихи и нашла их очень красивыми и звучными — несмотря на то что почти не знала французского.

И наконец, третья замечательная женщина, с которой я была знакома, — Екатерина Павловна Пешкова, первая жена писателя Максима Горького. Я всегда любовалась ее внешностью, необыкновенной женственностью при абсолютно мужском характере. До глубокой старости она хотела жить полноценно, везде бывать, всё видеть. Была сдержанна, немногословна, изящна. Я всегда удивлялась, как много этой женщине пришлось пережить. Она двадцать пять лет заведовала организацией под названием Политический Красный Крест. Но и после ее закрытия в течение многих лет, до самой смерти, получала Екатерина Павловна письма с душераздирающими жалобами обиженных советской властью людей. И как ее сердце выдерживало такое число человеческих страданий!

Начиная с 1934 года Бабель много рассказывал мне о Екатерине Павловне, с которой очень дружил и считал ее замечательной женщиной. Он знал о ее жизни, о работе в Красном Кресте, о том, как она помогает политическим заключенным и ссыльным, но также и о том, что она не любила вторую жену Горького Марию Федоровну Андрееву и дружелюбно относилась к его третьей жене, Марии Игнатьевне Будберг. Как рассказывал мне Бабель, Екатерине Павловне не нравилось вмешательство органов НКВД во все дела в доме, она была уверена, что в этом виновата Мария Федоровна. «С нее всё началось», — говорила Екатерина Павловна, а про Горького часто спрашивала: «Ну зачем Алексей допускает всё это, зачем ему это надо?»

Весной 1934 года Екатерина Павловна очень тяжело переживала болезнь и смерть сына Максима, а два года спустя — болезнь и смерть самого Горького. Бабель и переживал сам, и сочувствовал Екатерине Павловне всей душой.

О моей первой встрече с Екатериной Павловной весной 1938 года я уже писала. Летом того же года, когда мы были в

Переделкине, к нам неожиданно приехала Екатерина Павловна. Возвращаясь в Москву из Барвихи, где она жила летом, Екатерина Павловна попросила шофера заехать в Переделкино: ей хотелось увидеть дом, где поселился Бабель, а главное — нашу девочку Лиду. Так как время было послеобеденное, мы угощали гостей только чаем с печеньем и своей клубникой.

Я уже писала, что зимой 1937–1938 годов мы с Бабелем бывали на даче Горького в Горках. Екатерина Павловна или ее невестка Надежда Алексеевна приглашали нас и Соломона Михайловича Михоэлса с женой провести праздничные дни в мае или ноябре на свежем воздухе. С такими рассказчиками, как Михоэлс и Бабель, можно было интересно и весело провести время.

Возможно, что наш последний визит в Горки состоялся в ноябре 1938 года, а 15 мая 1939 года Бабель был арестован, и я стала женой «врага народа». Сама я никому из знакомых и друзей Бабеля не звонила, они мне не звонили тоже. Боялись не только за себя, но и за своих близких. Имя Бабеля не упоминалось. Его книги были под запретом.

В Москву из Нового Афона мы возвратились в феврале 1944 года, а весной мне позвонила Екатерина Павловна и предложила прийти к ней вечером в тот же день. Эта встреча после большого перерыва была для меня очень тяжелой, потому что Екатерина Павловна попросила меня со всеми подробностями рассказать об аресте Бабеля, об обыске, о конфискации имущества. А также рассказать о тех ответах, которые я получила в справочном бюро НКВД в 1940-м, 1941-м и 1944 годах на мой запрос о судьбе Бабеля. Все они были одинаковыми — «Жив, здоров, содержится в лагере». И я, и Екатерина Павловна верили тогда справкам НКВД, считали их правдивыми. Наши разговоры длились до ночи.

Этим же летом 1944 года я случайно купила путевку для Лиды, которой было тогда семь лет, в детский дом отдыха в Барвихе. Когда я рассказала об этом Екатерине Павловне, она тотчас же предложила мне жить у нее на даче, чтобы видеться с Лидой ежедневно, так как этот дом отдыха находился поблизости.

Летом 1945 года мне на работе не хотели давать отпуск, так как шло строительство станции метро «Киевская». Эта станция уже была готова, но вестибюль только начали строить, и мне, как автору его конструкций, надо было осуществлять авторский надзор. Узнав об этом, Екатерина Павловна сразу же предложила мне жить вместе с Лидой у нее и ездить из Барвихи на Киевский вокзал, оставляя Лиду на даче. Я предложила своему начальству, что во время отпуска два раза в неделю буду вести авторский

надзор, а мой отпуск за счет этих дней будет продлеваться. Это меня очень устраивало и мое начальство тоже.

В это время мое общение с Екатериной Павловной было ежедневным. На даче я тут же принялась сажать редиску, салат и укроп с таким расчетом, что, как только урожай редиски и салата первой посадки будет съеден, поспеет следующая порция редиски и салата. Был на дальнем поле и рано посаженный картофель, и Екатерина Павловна любила варить молодую картошку со стеблями укропа. Часто она прогоняла меня с грядок, чтобы я отдохнула, полежала в гамаке.

Екатерина Павловна очень интересовалась моей работой в Метропроекте, заставляла меня рассказывать ей обо всем, что я делаю как инженер. Моей маме я никогда не рассказывала так подробно о моих делах на работе — ей это было совсем не интересно. Маму интересовало отношение сотрудников ко мне, мое отношение к ним, но не сама работа. Да и все остальные знакомые не связывали своего отношения ко мне с моей работой, и только Екатерина Павловна готова была слушать мои рассказы о делах, о проектной работе, интересовалась моими успехами и тем, что обо мне говорят или пишут в газетах.

Екатерина Павловна сама работала всю жизнь, а в те годы, когда я была с ней знакома, она занималась подготовкой к печати писем Алексея Максимовича к ней и составлением к ним комментария. Эта большая и очень важная работа занимала у Екатерины Павловны много времени, жизнь которой и без того была насыщена событиями. Мою работу Екатерина Павловна считала серьезной, так как и сама была очень серьезным человеком, и, быть может, поэтому относилась ко мне с таким интересом. Иногда, когда в нашей метростроевской газете или в вечерней газете долго не было статей о моей работе, она могла сказать: «Что-то о вас давно в газетах не пишут!» Первый том «Писем к Е. П. Пешковой» вышел в 1955 году, и Екатерина Павловна подарила мне его с надписью «Дорогой Антонине Николаевне, мужественной женщине, на память. Е. Пешкова, 25/5, 1956». Писем было много, в первую книжку вошла только часть их (1895–1906), и работа ее над остальными письмами продолжалась.

Екатерина Павловна захотела, чтобы ее внучки, Марфа и Дарья, живя на даче, изучали иностранный язык. Была приглашена преподавательница французского, которая тоже поселилась на даче. Для изучения языка к Марфе и Дарье присоединился муж Светланы Сталиной, Гриша Мороз, живший поблизости, и, пока он занимался на верхнем этаже, Светлана ждала его внизу на террасе. Светлана производила очень хорошее

впечатление, была скромной, милой и очень женственной молодой женщиной, одевалась просто, косметикой не пользовалась. Разговоры со Светланой никогда не касались политики и ее отца.

На протяжении долгих лет моего знакомства с Екатериной Павловной она дважды устраивала мне испытания. Однажды сказала, что хотела бы иметь на даче в Барвихе центральное отопление и уже купила для этого котел. Меня она попросила сделать проект котельной под кухней. Я котельные никогда не проектировала и сказала Екатерине Павловне, что проектировала мосты, фабрично-заводские конструкции, а теперь — конструкции для метро и тоннели. Екатерина Павловна неумолимо заявила: «Но вы же инженер!» — и я сдалась. Пошла в гараж посмотреть на купленный котел и прикинула его размеры, а потом уехала с дачи в Москву. На другой же день зашла в нашу библиотеку, нашла книги по котельным, но это были крупные котельные для городского отопления или для фабрик и заводов, книг о небольших котельных не оказалось. Однако я поняла, какие фундаменты требуются под котлы и каким должно быть расстояние от котла до стены. Вечером я сделала чертеж, правда, пока без проставления основных размеров — длины, ширины и высоты котельной.

Через несколько дней Екатерина Павловна позвонила мне и сказала, что рабочих она наняла и они в субботу начнут работать — вынимать грунт. Я приехала в субботу с чертежом и пошла к рабочим; меня встретил главный из рабочих, возможно, прораб. Мы сели на кухонное крыльцо, и я, развернув чертеж, сказала ему прямо, что котельных никогда не проектировала. На это он, улыбаясь, ответил: «Зато я всю жизнь занимаюсь такими котельными». Он сказал мне, какими должны быть длина, ширина и высота котельной, и я проставила эти размеры. Кроме того, он предложил сделать дверь в котельную в другой стене и лестницу под кухонным крыльцом, а в той стене, где я наметила дверь, сделать люк для сбрасывания угля и указал размеры этого люка и его расположение по высоте. Я переделала свой чертеж, написала «исправленному верить» и подписалась под чертежом.

Года два или три спустя Екатерина Павловна сказала мне, что хотела бы на даче иметь свой колодец, и попросила меня помочь ей в этом. В тот год я занималась проектом станции «Киевская-радиальная», начальником строительства был инженер Либензон. При очередной нашей встрече я решила с ним посоветоваться об устройстве колодца. И совершенно неожиданно для меня Либензон сказал: «Мы это сделаем, для меня большая честь помочь Екатерине Павловне Пешковой». Договорились, когда

поедем на дачу посмотреть место, я предупредила Екатерину Павловну, и мы приехали.

Либензон был рад познакомиться с Екатериной Павловной и обещал прислать рабочих и оборудование. Рабочие через несколько дней приехали. Проработали несколько часов, а потом их не было ни на второй день, ни на третий. Екатерина Павловна позвонила с претензиями ко мне, и мне пришлось пожаловаться Либензону. В конце концов был сделан колодец из бетонных колец с приямком для запаса воды и включен насос, который еще раньше купила Екатерина Павловна. Других просьб ко мне как к инженеру, кроме этих двух, за все годы нашего знакомства у нее не было.

В это время на даче Екатерины Павловны жил ее друг Михаил Константинович Николаев со своей маленькой дочкой Катей, а также Марфа и Дарья, еще незамужние девушки, но, как мне помнится, уже имевшие женихов. Мне Екатерина Павловна выделила комнату на нижнем этаже и сказала, что я могу приезжать на дачу и в будущем, когда только захочу. Удавалось мне это редко, так как начиная с 1946 года я или снимала под Москвой дачу для Лиды и моей мамы, или позже увозила Лиду с собой в Новый Афон, где все еще требовался мой авторский надзор за строительством тоннелей. Вечерами на даче у Екатерины Павловны, когда дети были уложены спать, мы обычно сидели на террасе и разговаривали. Я рассказывала о нашей жизни на Кавказе во времена войны, Екатерина Павловна — о своей жизни в Средней Азии, куда она эвакуировалась вместе с Надеждой Алексеевной, Марфой и Дарьей.

Когда мы с Екатериной Павловной оставались вдвоем, она неизменно вспоминала Бабеля. Часто говорила о дружбе с ним, о своей любви к нему и о том, что после ареста Бабеля ее жизнь потускнела. Горевала она также о Михаиле Львовиче Винавере, блестящем юристе, ее заместителе по работе в Красном Кресте.

Разговоры касались и других тем, а как-то раз Екатерина Павловна вспомнила о Льве Николаевиче Толстом, о том, как они с ним и Софьей Андреевной жили по соседству в Крыму, в Гаспре, и как обычно после обеда Толстые приходили к ним на дачу. Запомнила, как Екатерина Павловна рассказывала о Толстом, что, когда он сидел за столом, казался человеком высоким, но, как только вставал, оказывался низкорослым. «У него были короткие ноги», — говорила Екатерина Павловна. И еще о том, что он очень хорошо умел делать из бумаги разные фигурки — самолеты, лодки, звездочки и другие вещи, отчего дети Максим и Катя (рано умершая дочь Екатерины Павловны) приходили в восторг и весело смеялись. Когда зажигалась лампа, Толстой

показывал пальцами на стене тени разных зверушек — это были кролики, собаки, кошки. Мог показать даже двугорбого верблюда.

В Москве я бывала у Екатерины Павловны довольно часто. Она жила недалеко от Кировских ворот. Квартира Екатерины Павловны была на четвертом этаже пятиэтажного дома и состояла из пяти комнат. Две комнаты занимала сама Екатерина Павловна — одну большую с двумя окнами и маленькую с одним окном, которая служила спальней. В большой комнате был ее письменный стол, секретер, шкафы с книгами, диван, большой обеденный стол и тот самый рояль, на котором исполнялась когда-то для Ленина «Аппассионата» Бетховена. Две небольшие комнаты занимала Татьяна Александровна, бывший секретарь Екатерины Павловны.

В пятой комнате, как правило, постоянно жили дети репрессированных родителей. Помню, что в этой комнате Екатерина Павловна поселила двух дочек жены эсера Виктора Михайловича Чернова, когда их мать арестовали, а потом сына революционера Ивана Вольного, с которым был тесно связан Алексей Максимович Горький. Во время войны жил подросток, которого звали Дит, один из сыновей тоже репрессированных родителей — знакомых Екатерины Павловны. Его брата забрала какая-то семья из Ленинграда, где тот умер от истощения во время блокады.

Несмотря на то что Ежов закрыл Красный Крест еще в 1937 году, душераздирающие письма, где люди просили защиты от произвола советских властей, шли и шли к Екатерине Павловне. Было письмо от молодого человека, члена Коммунистической партии Италии, который просил разрешить переезд к нему матери, жившей в Советском Союзе с дочерью. Дочь умерла, старая женщина осталась без всякой помощи и хотела бы жить с сыном. Но куда бы ни обращался сын и кого бы ни просила Екатерина Павловна, переехать к сыну в Италию старушке не разрешали. КГБ был той организацией, у которой нельзя было вызвать сочувствия к людям. Когда она изредка читала такие письма мне, слезы навертывались на глаза от жалости, несмотря на то что мое собственное горе было невероятным. Доброта Екатерины Павловны была действенной, она не только сочувствовала людям, но и старалась помочь чем могла.

Узнавая Пешкову ближе, я не переставала и любоваться, и восхищаться ею; она была красива той мягкой красотой, которой часто отличаются женщины высокого интеллекта. Была очень женственна, несмотря на возраст. Черты лица правильные, красивые серые глаза, но самое главное — выражение лица. Оно было чудесным. Екатерина Павловна была сдержанной в

проявлении чувств, казалась строгой, не любила много говорить и любила слушать. Ее движения были неторопливы, походка легкая, жесты скупые, она была полна изящества. Как-то раз говорили про гневных людей, и Екатерина Павловна сказала: «Мне жаль людей, которые могут гневаться». Эту ее фразу я всегда помню.

Екатерина Павловна любила своих внучек Марфу и Дарью, но огорчалась тем, что именно ее и Горького внучки не хотят иметь ничего общего с простыми людьми, общаются только с детьми «элиты», учатся в школе для таких детей, дружат и проводят время только с ними. Идеалы молодости Екатерины Павловны, ее революционные взгляды не ставились теперь ни во что, ее это огорчало, но сделать она ничего не могла.

По роду своей работы летом я часто уезжала из Москвы в командировки на Кавказ, в Ленинград, Киев и поэтому не появлялась на даче в Барвихе целое лето или даже несколько лет подряд.

Зато ранней весной или уже осенью мне на работу могла позвонить Екатерина Павловна и сказать: «Чудная погода, у меня машина, и я еду в Барвиху. Через час я заезжаю за Вами, и Вы поедете со мной». На мои возражения Екатерина Павловна говорила: «Вы и так для своих много делаете, через час я буду ждать Вас у телеграфа».

Я звонила маме, говорила, что еду к Екатерине Павловне в Барвиху и ночевать дома не буду. Просила ее не беспокоиться. И уезжала. Мое волнение по поводу того, что меня будут искать, кто-то придет ко мне в Метропроект из строителей, как-то само по себе исчезало, как только я оказывалась за пределами города. На даче было так хорошо, а в лесу особенно, и я испытывала блаженство не только от чистого воздуха, но и от сознания, что все в Москве работают, а я нахожусь среди такой красоты. Природа никогда не оставляла меня равнодушной.

Такое удовольствие Екатерина Павловна доставляла мне по крайней мере два или три раза в год. А иногда поводом увезти меня днем с работы было и другое. Например, она звонила мне и говорила: «Сегодня в двенадцать часов дня в Малом театре будет генеральная репетиция пьесы «Мещане», и я заеду за Вами».

В спектакле «Мещане» роль молодой девушки играла, к моему удивлению, Таня Семичева — дочь друга Бабеля, наездника Николая Романовича Семичева. Со дня ареста Бабеля Семичевы ни разу не позвонили мне. В тот год все боялись за свою жизнь.

Если у Екатерины Павловны были билеты на вечерний спектакль и она хотела взять с собой именно меня, она звонила днем и предупреждала об этом, и я после работы прямо со

службы или уже из дома приходила к Екатерине Павловне, и мы уезжали в театр. Это тоже было не так уж часто, обычно зимой. По дороге в театр и обратно я расспрашивала Екатерину Павловну о внучках, и она рассказывала мне и о них, и об их поклонниках, а позже и о мужьях. К замужеству Марфы и Дарьи Екатерина Павловна, как мне казалось, отнеслась спокойно. Дарья, работавшая в театре Вахтангова, вышла замуж за Сашу Граве, артиста того же театра, и я знаю, что Екатерине Павловне нравился этот молодой человек и особенно его родители, которые бывали в гостях у Екатерины Павловны.

Марфа вышла замуж за Сергея Берию, сына главного эмгэбэшника Советского Союза Берии, и переехала жить в ту семью. Еще когда Сергей ухаживал за Марфой, Екатерина Павловна иногда морщилась от повадок этого молодого человека, которому можно было иметь машину, моторную лодку, приходить к ней в дом с медвежонком и купаться в Москве-реке в месте, где запрещено это делать всем другим. С другой стороны, он был недурен собой, окончил Институт связи в Москве и был неплохим инженером.

Екатерину Павловну в дом Берии приглашали на каждый воскресный обед, и однажды я спросила, не может ли она узнать у Берия о судьбе Бабеля. Она ответила: «И без вашей просьбы я как-то обратилась к нему, и он мне ответил, что деловых разговоров в доме не ведет, просил для этого приходить к нему на прием в рабочее время. Но сколько бы я ни звонила Берии в МГБ, в его секретариате отвечали, что он занят, что он уехал и прочее. И я поняла, что он не хочет принимать меня вообще». И Марфа предупредила Екатерину Павловну, что Берия самым строгим образом запрещает задавать ему вопросы такого рода. Жена Берии и мать Сергея, Нина Теймуразовна Гогочкори, по словам Екатерины Павловны, была симпатичная и скромная женщина, имела образование агронома.

Шли годы, и у Дарьи был уже славный мальчик Максим и красивая голубоглазая девочка Катя, у Марфы — две дочери, Нина и Надежда, обе очень хорошенькие. По внешнему виду Нина была настоящей грузинкой, тип Бэлы по Лермонтову, а Надя — в мать и обещала стать красавицей, как и Марфа. Девочки весной и летом жили на даче Берии. Осенью и зимой их иногда привозили к Екатерине Павловне, где я видела их раза два.

Настал 1953 год, в марте умер Сталин. Все считали и очень боялись, что его место займет Берия как самый влиятельный и близкий к вождю человек. Но оставшиеся члены ЦК партии, по всей вероятности, особенно боялись Берии и расправились с ним, спасая свои жизни. По этому поводу в Москве ходило много

слухов, кто-то слышал, что Берия был застрелен генералом Жуковым на первом же без Сталина заседании ЦК партии, другие говорили, что он был арестован и в тюрьме расстрелян без всякого суда. Слухов всяких было много как о болезни и смерти Сталина, так и о смерти Берии. Временно главные роли в ЦК заняли Маленков и Хрущев.

Арест и расстрел Берия касался семьи Екатерины Павловны Пешковой, и когда она в первый раз после этого пригласила меня к ней зайти, то рассказала, что сына Берии Сергея арестовали тоже. Жену Берии и Марфу, беременную в третий раз, заключили под домашний арест на его даче. Дача была оцеплена милицией или, скорее, войсками КГБ, и ни выходить оттуда, ни входить туда никому не разрешалось.

Екатерина Павловна сильно переживала за Марфу, но не бездействовала. Каким-то образом она узнала, что Сергея проверяют, и если окажется, что он не знал о делах своего отца, то его могут освободить. Узнала она и о том, что, находясь в тюрьме, Сергей сделал несколько рационализаторских предложений по связи, что было в его пользу. А кроме того, Екатерина Павловна добилась, чтобы фамилии девочек Марфы были изменены на Пешковых. Марфа при замужестве свою фамилию не меняла. Помню, что по поводу замены фамилии она обращалась к Маленкову. Он же разрешил сыну Берии взять фамилию своей матери — Гогочкори.

Через несколько месяцев Сергея освободили и предложили вернуться в свою организацию на ту же должность. Он отказался, потому что не мог забыть, как сотрудники клеймили его позором на собраниях. Тогда ему предложили возглавить такую же проектную организацию по связи в городах Свердловске или Киеве. Сергей Гогочкори выбрал Свердловск и уехал туда работать. Марфа должна была переехать к нему с девочками и новорожденным сыном, которого она назвала тоже Сергеем, переехать после того, как муж там устроится с квартирой и маленький Сережа немного подрастет. Обо всем этом мне рассказала Екатерина Павловна.

Через какое-то время Марфа с детьми и няней уехали в Свердловск, и Нина пошла там в школу. Учреждение Сергея было расположено на окраине Свердловска, там же, в новых домах, были и квартира, и школа. Марфа ужаснулась тому, что в школе нет должной дисциплины. Дети дерутся и ругаются матом, многие учителя полуграмотны. Эта школа была совсем не похожа на ту 125-ю, где училась в Москве Марфа, и, выдержав неделю, она забрала Нину из школы и сказала, что ни учить детей в такой школе, ни жить в таком месте она не может.

Забрав детей, Марфа уехала в Москву. Екатерина Павловна рассказала мне, что на школьной тетрадке, где было написано «Нина Пешкова», девочка рядом с фамилией приписала букву Б с точкой. Что думала бедная Нина? Она знала, что ее фамилия была Берия, а теперь вдруг Пешкова. Рассказав мне это, Екатерина Павловна замолкла и задумалась.

Однажды Екатерина Павловна позвонила мне и сказала: «Приходите, у меня будут дочери эсера Чернова с мужьями. Приехали из Парижа как туристы и хотят с вами познакомиться. По дороге я прошу Вас зайти в магазин и купить свежий хлеб, масло и сыр двух сортов, в доме ничего нет». Я купила кусок масла, большие куски швейцарского и голландского сыра, а вместо хлеба — десять свежих, еще теплых калачей. Мы порезали сыр, разложили всё на столе, чай в чайнике и кофе в кофейнике поставили на подносе возле Екатерины Павловны.

Пришли гости — Ольга Викторовна с мужем Вадимом Леонидовичем Андреевым, сыном писателя Леонида Андреева, и Ариадна Викторовна с мужем Владимиром Брониславовичем Сосинским. Еще до их прихода Екатерина Павловна мне рассказала, что Чернов был женат на Ольге Елисеевне Колбасиной, она происходила из богатой семьи, однако была революционеркой. От первого брака она уже имела двух маленьких дочерей — Наталью и Ольгу; кажется, они были близнецами, похожими друг на друга, но не настолько, чтобы их нельзя была различить. Когда Ленин выслал Чернова из Москвы за границу, Ольгу Елисеевну арестовали и поместили в тюрьму в городе Ярославле. Двух ее дочерей тоже забрали. Екатерина Павловна, узнав об этом, тут же выпросила девочек к себе и принялась хлопотать об освобождении их матери. Хлопоты через какое-то время увенчались успехом, и Ольга Елисеевна с дочерьми смогла уехать в Париж к своему мужу. В Париже у Черновых родилась дочь, которую назвали Ариадной. И вот у Екатерины Павловны я познакомилась с двумя дочерьми Ольги Елисеевны Черновой — Ольгой и Ариадной, а также с их симпатичными мужьями. Не было только еще одной дочери, Натальи, и ее мужа Давида Резникова, с которыми я познакомилась позже. К тому времени у всех дочерей Чернова были взрослые дети: у Андреевых — дочь Ольга и сын Александр, у Сосинских — два сына, Алексей и Сергей. В тот вечер мы очень хорошо и интересно провели несколько часов, все с аппетитом угощались мягкими калачами с маслом и сыром и по желанию — чаем или кофе, которые разливала Екатерина Павловна. Прощаясь, Вадим Леонидович, а за ним и все остальные захотели продолжить наше знакомство, и я пригласила их прийти ко мне в

ближайшее воскресенье вечером.

Раздумывая над тем, чем мне угостить гостей, я решила оправдать свою фамилию и к вину напечь пирожков с мясом, а к чаю приготовить яблочный пирог. К приходу гостей на столе стояло блюдо с маленькими пирожками, которые возвышались большой горкой, так их было много. Пирожки были теплые и такие вкусные, что гости пришли в восторг. Горка пирожков начала уменьшаться, пили вино, разговаривали, несколько раз делали перерыв, но потом руки, то одна то другая, снова тянулись за пирожками. Гости даже стеснялись, смеялись друг над другом, что не могли оторваться от пирожков. А когда их на блюде осталось всего несколько штук, я принесла яблочный пирог и чай.

Много было рассказов о том, как молодые люди познакомились друг с другом и как проходила их жизнь. Когда в России произошла Октябрьская революция, писатель Леонид Андреев со своей семьей жил в собственном доме в Финляндии. Жить там становилось все труднее, нависла угроза голода, и Вадим Леонидович после смерти своего отца в 1919 году решил уехать в Константинополь. Победа Красной армии над Белой, в частях которой служил совсем молодой Владимир Сосинский, заставила его бежать из Крыма на Кавказ, в Сухуми он сел на пароход и отплыл в Константинополь.

Там Сосинский узнал, что в городе создана гимназия, чтобы молодые люди из России, не успевшие закончить свое образование, могли получить аттестаты зрелости. Главное, что привлекало в гимназию, — возможность там кормиться, а может быть, и жить. В этой гимназии Сосинский познакомился и подружился с двумя такими же юношами, каким был и сам. Один был Вадим Андреев, а другой — Давид Резников. Из Константинополя молодые люди вскоре уехали в Париж и там каким-то образом познакомились с семьей Чернова и впоследствии женились на трех его дочерях. Резников — на Наталье, Андреев — на Ольге, а Сосинский взял в жены младшую дочь, Ариадну. В год моего с ними знакомства Сосинские жили в США, где Владимир Брониславович работал в Организации Объединенных Наций, а сыновья их учились в школе. Андреевы жили в Швейцарии. Вадим Леонидович работал в «Комитете восемнадцать».

Когда в Москву из Лондона приехала Мария Игнатьевна Будберг, Екатерина Павловна мне позвонила и сказала: «Хотите познакомиться с последней женой Алексея Максимовича Марией Игнатьевной? Тогда приходите вечером Кстати, писатель Леонид Леонов придет читать свою новую повесть «Evgenia Ivanovna», он

хочет, чтобы Мария Игнатьевна сказала ему свое мнение о герое этой повести — англичанине, правильно ли он его изображает». Я, конечно, пришла, и чтение состоялось; у Марии Игнатьевны не было серьезных замечаний, так, две-три поправки. Когда Леонов ушел, Мария Игнатьевна обратилась ко мне и сказала, что хотела бы со мной встретиться и поговорить. Остановилась она в тот приезд не у Екатерины Павловны, а у Надежды Алексеевны Пешковой. Мне она не позвонила, и разговор не состоялся. А для меня осталось загадкой, о чем она хотела со мною говорить.

Наверное, год спустя после реабилитации Бабеля начали освобождать заключенных из лагерей, и я у Екатерины Павловны познакомилась с Ириной Каллистратовной Гогуа, восемнадцать лет отсидевшей в лагере. Через несколько дней после этого знакомства мы столкнулись с ней у окошечка нотариальной конторы на улице Кирова. И я, и она делали там копии со справок о реабилитации, я — со справки Бабеля, она — со своей. Между нами возникла симпатия, мы сразу подружились и общались до самой ее смерти.

По-прежнему я бывала у Екатерины Павловны, больше в московской квартире, реже на даче в Барвихе. Однажды, когда мы с Екатериной Павловной сидели в столовой, она вдруг встала и молча вышла. А потом принесла две маленькие фотографии, сказав: «Возьмите эти фотографии. Здесь первая жена Бунина, Анна Николаевна Цакни. Вы моложе меня, и у вас эти снимки дольше сохранятся». Фотографические снимки Анны Николаевны Цакни в том ее возрасте, когда она была женой Бунина, у меня хранятся до сих пор. Я когда-нибудь передам их в музей Бунина.

Как-то раз весной Екатерина Павловна пригласила меня провести выходной день в Барвихе и взять с собой Лиду. На даче вместе с ней жил Михаил Константинович с Катей. Происхождение Кати было связано с романтической историей. Об этом мне рассказала много позднее Ирина Каллистратовна Гогуа. Михаил Константинович, будучи другом Екатерины Павловны, влюбился в ее секретаршу Татьяну Александровну, и в результате этого романа родилась девочка; в честь Екатерины Павловны ее назвали Екатериной. Пешкова поселила Татьяну Александровну в своей квартире и всячески опекала и мать, и дочь. Сам Михаил Константинович остался, как казалось всем, равнодушным к этому событию, во всяком случае, жениться он не захотел. Но когда Кате было уже лет девять-десять, у него возникли отцовские чувства, и он стал брать девочку с собой на дачу к Екатерине Павловне, гулял с ней и всячески баловал. В тот день, когда я была там с Лидой, Михаил Константинович захотел сняться с девочками, со мной и с Екатериной Павловной. Я сняла Михаила

Константиновича с Екатериной Павловной и Катей, потом его с двумя девочками, а Екатерина Павловна щелкнула аппаратом, когда на скамейку перед дачей он усадил меня, Лиду, Катю и сел сам. А потом сказал: «Ну вот, меня не будет, а у вас останутся эти фотографии». Я удивилась, но не придала значения его словам. За обедом он был, как всегда, веселым, выпил свои обычные две рюмки водки и заставил меня выпить с ним рюмку, к неудовольствию Екатерины Павловны, не пьющей водки совсем.

К осени я узнала от Пешковой, что Михаил Константинович болен, и когда приехала на дачу, то убедилась в этом. Екатерина Павловна была очень к нему внимательна, и если в саду он со мной разговаривал, она вмешивалась и просила меня не поддерживать разговора, потому что ему трудно много говорить — он начинает задыхаться.

Вскоре дача Екатерины Павловны сгорела. Говорили, что пожар произошел от неисправной электропроводки в буфетной, маленьком помещении, из которого вела лестница на второй этаж. В буфетной в низком шкафу хранились крупы, сахар, чай, кофе, печенье, а на шкафу стояли самовар, чайник, кофейник и электрическая плитка. Пожар в буфетной сразу же перекинулся на низ лестницы. Наверху никого не было, а в угловой комнате нижнего этажа, дверь которой выходила в буфетную, спали Михаил Константинович и Катя. Им, как мне помнится, пришлось выбираться через окно. В своих комнатах на нижнем этаже ночевали Екатерина Павловна и домашняя работница Лина.

Позже Екатерина Павловна мне говорила, что жалеет не столько о даче, сколько о фотографиях любимых друзей, о подаренных картинах, о книгах с автографами писателей, о всех тех не очень, может быть, ценных, но милых для нее вещах, которые наполняли дом с давних пор.

И в этот же год из ее московской квартиры украли все золотые вещи. Позвонили в дверь, и, когда Лина открыла, ворвалась группа цыганок с новорожденным ребенком. Они попросили воды и стали перепеленывать ребенка в передней на столике. Пока Лина ходила на кухню за водой, кто-то из цыганок пробрался в столовую и, открыв дверцу секретера, вытащил все золотые вещи. Это был уже известный в Москве прием, об этом много говорилось в то время. Екатерина Павловна сказала мне, что среди золотых вещей были и часы, и брошка, и кольца, но особенно ей было жаль обручальных колец ее и Алексея Максимовича. С Алексеем Максимовичем, которого она называла просто Алеша, часто были связаны ее рассказы. Во всех снах, которые она мне пересказывала, всегда появлялся Алексей. Видела она его очень ясно — в чем был одет, как выглядел, о чем

спрашивал ее, что ей говорил. Было очевидно, что Екатерина Павловна в своей жизни любила только этого человека.

Михаил Константинович Николаев умер от рака легких вскоре после пожара дачи. Во время похорон на Новодевичьем кладбище Екатерина Павловна сказала только одну фразу: «Он был мне настоящим другом».

Однажды она мне сказала, что в Одессе будет проходить конференция, посвященная М. Горькому, и ее туда приглашают, и обратилась ко мне со словами: «Мне помнится, что вы собирались в Одессу по поводу памятника отцу Бабеля. Если вы со мной поедете, то я скажу одесситам, что приеду не одна, а с вами, чтобы они оформили железнодорожные билеты и гостиницу на двоих». Я ей сказала, что хочу поехать. После этого разговора прошла, наверное, неделя, и вдруг Екатерина Павловна мне звонит и спрашивает: «Вы раздумали ехать в Одессу?» Я ответила, что нет, не раздумала и ждала от нее звонка, когда надо выезжать. Тогда она мне говорит: «Нет, вы удивительная женщина. Другая на вашем месте десять раз позвонила, чтобы посоветоваться, что надеть, что взять с собой туда и что в дорогу, а вы неделю молчите».

В Одессу мы поехали поездом. Когда подъезжали к одесскому вокзалу, к нам в купе вошел пожилой проводник, как-то узнавший, что едет вдова писателя Горького, и рассказал Екатерине Павловне, что виделся с Горьким в Одессе еще в двадцать восьмом году. Екатерина Павловна была тронута вниманием этого человека.

В Одессе нас поселили в лучшей гостинице «Лондонская», в большом номере на первом этаже. Кровати стояли рядом, разделенные тумбочкой. На другой день после приезда, когда мы обедали в ресторане гостиницы, к нам неожиданно подошел рыжий молодой человек и сказал: «Врываться во время обеда — не блеск»; затем объяснил, что со мной хотел бы поговорить директор книжного издательства. Мы закончили обед, и я отправилась с молодым человеком в издательство. Разговор касался издания в Одессе произведений Бабеля — «Конармии», «Одесских рассказов» и других, которые мне удалось собрать за время после реабилитации Бабеля и которые при его жизни печатались в разных журналах. Договорились, что я из Москвы пришлю им рукописи.

Вернувшись в гостиницу, я застала Екатерину Павловну стоявшей на подоконнике большого окна, она пыталась открыть форточку. Я испугалась за нее, помогла ей слезть и сама не без труда открыла ее. Екатерине Павловне все еще хотелось делать все самой. Вечером за нами заехала машина, и мы поехали на

конференцию, организованную Одесским университетом. Екатерину Павловну посадили в президиум. Меня попросили тоже быть в президиуме, и я села сбоку. На сцене стоял большой фотографический портрет Максима Горького. С докладами о творчестве Горького выступили несколько сотрудников университета. А когда выступила Екатерина Павловна, то сразу же начала говорить о том, как Горький любил Бабеля, какой он был обаятельный человек. Горький отличал Бабеля от всех других писателей, считал его самым талантливым; говорила Екатерина Павловна и о том, как она сама его любила и дружила с ним. Я просто удивилась, что она говорит не о Горьком, а о Бабеле — и так долго. Мне было даже как-то неудобно от этого.

Вечер закончился. Меня окружили студенты университета. Я им сказала, что завтра собираюсь на кладбище, чтобы на памятнике отцу Бабеля заказать надпись: «Писатель И. Э. Бабель, 1894 — …». Я хотела оставить незаполненной дату его смерти, так как не верила той дате, которую мне сообщили тогда в прокуратуре и в районном загсе.

Группа студентов захотела сопровождать меня на кладбище, и мы условились, что утром они за мной придут в гостиницу. А когда мы с Екатериной Павловной собрались уходить с конференции, то оказалось, что у нее пропал чудный пушистый и длинный шарф черного цвета, который ей недавно привезла из Лондона Мария Игнатьевна Будберг. О потере шарфа Екатерина Павловна очень горевала, так как шарф ей нравился и был действительно нужен, а кроме того, это был подарок Марии Игнатьевны.

Когда на следующее утро я пришла на кладбище, меня ждала неожиданная встреча. Известный персонаж Бабеля, Арье Лейб, все еще жил в Одессе. Он похудел, но на нем была та же ермолка и узкое до пят пальто, застегнутое на все пуговицы. Он встретил меня у кладбищенских ворот и спросил: «Вы к Бабелю, мадам?» Арье Лейб показал мне памятник отцу Бабеля и сказал: «Это был хороший еврей, мадам».

Перед самым отъездом из Одессы Екатерина Павловна сказала мне, что хотела бы повидать Анну Николаевну Цакни. Я позвонила Анне Николаевне и договорилась с ней о встрече.

Мы застали ее сидящей на постели, и я поразилась тому, как изменилась она с тех пор, как я видела ее в последний раз. Она уже почти не могла ходить и сказала нам, что вынуждена переехать в дом престарелых. Екатерина Павловна заговорила о письмах Бунина к ней, что их надо бы передать в литературный музей. Анна Николаевна ничего не ответила на это. Скоро мы попрощались с ней и ушли, а затем и уехали из Одессы. Много

позже от кого-то из одесситов я узнала, что после визита Екатерины Павловны Анна Николаевна сожгла все письма Бунина.

Новая дача в Барвихе долго не строилась после пожара — Союз писателей обещал это сделать, но все откладывал. Мне кажется, дача была построена только спустя три или четыре года. Я была на этой новой даче всего один раз. Екатерина Павловна, как обычно, заехала за мной днем на работу и увезла меня, сказав, что вечером мы вернемся. Новая дача была уже не тем уютным домом Екатерины Павловны, принадлежала она Марфе и Дарье с их мужьями и детьми. Марфа занимала нижний этаж дачи, Дарья — верхний. Где была комната Екатерины Павловны, я так и не узнала.

После поездки мы пообедали на маленькой террасе при кухне и пошли с Екатериной Павловной в сад. Погуляв по саду, вышли в ту часть, где раньше сажали картофель и овощи, и сели там на солнышке на какие-то доски. Екатерина Павловна сказала: «Как здесь хорошо! Почему я никогда не приходила сюда раньше?» Мы помолчали, наслаждаясь воздухом, свежим и ароматным, какой бывает уже осенью. Екатерина Павловна вдруг сказала, что не любит этой дачи. Внучки вместе со своими уже другими мужьями и детьми живут раздельной жизнью и не очень дружат между собой, каждая ведет свое хозяйство. Сторож не знает, кому должен подчиняться, и дерзит. Все здесь совсем не так, как было раньше. Мы сидели на этих досках довольно долго, нам не хотелось уходить. Потом вернулись на ту же кухонную террасу, где мы обедали, выпили по чашке чая и уехали в Москву. Бывала ли еще на этой даче Екатерина Павловна, не знаю.

В 1964 году отмечалось семидесятилетие Бабеля. Екатерина Павловна захотела пойти со мной на вечер в Дом литераторов на улице Герцена. Мои друзья Казарновские на своей машине заехали за мной и Лидой, а потом за Екатериной Павловной. Подъезжая к Дому литераторов, мы увидели, что улица Герцена заполнена народом, стремящимся попасть на вечер памяти Бабеля. Машину пришлось остановить в некотором отдалении от входа, и, оберегая Екатерину Павловну от толпы, мы с большим трудом добрались до места. В зале мы сели на оставленные для близких и друзей Бабеля места во втором ряду, так как ни она, ни я не любили сидеть в первом.

После вечера мы отвезли Екатерину Павловну домой, и я поднялась с ней на четвертый этаж, так как лифт не работал, что часто бывало в ее доме. Я попрощалась с Екатериной Павловной, не зная того, что это была моя последняя встреча с ней.

В этом же 1964 году я уехала в Одессу на конференцию,

посвященную литературе двадцатых годов, а когда вернулась, Екатерина Павловна в очень тяжелом состоянии была в Кремлевской больнице. Тем не менее она еще раз возвращалась домой, но скоро снова оказалась в больнице. О ее состоянии я узнавала от Ирины Каллистратовны Гогуа. Я не пыталась пойти в больницу, так как ходили родные, и врачи настаивали на том, что не надо утомлять Екатерину Павловну визитами. Я написала ей письмо о конференции в Одессе, о некоторых докладах, особенно интересных, и от Надежды Алексеевны узнала, что она прочла мое письмо и даже сказала, что получила от меня очень интересное письмо. А через несколько дней Екатерина Павловна умерла.

Я была на панихиде, но не помню, где это было. Наверное, в Институте мировой литературы. Там много было сказано хороших слов о Екатерине Павловне, Козловский спел «Сейте разумное, доброе, вечное…».

В первый раз я увидела сына Марфы Сергея, Серго, и залюбовалась им. Мальчик был очень красив, очаровательная головка на длинной шее. Я смотрела на него, и вдруг он пошатнулся и стал падать. Его подхватили на руки и унесли из зала, он потерял сознание. Кругом говорили, что мальчик нервный, больной, и немудрено: Марфа носила его, когда арестовали ее мужа, посадили ее под домашний арест — в один миг разрушилась ее благополучная жизнь.

Смерть Екатерины Павловны была для меня невосполнимой утратой. Вспоминаю о ней часто и с большой любовью.

О детстве Лиды

Теперь я снова должна вернуться назад, чтобы рассказать о моей жизни дома, о дочери Лиде, о тех событиях, которые сопровождали мою жизнь в годы начиная с 1945-го по 1956-й включительно.

В 1945 году Лида пошла учиться. Школа ее была построена во время войны на месте бывшей церкви Николы на Воробьях и находилась почти напротив нашего дома. Стоило перейти дорогу нашего тихого Большого Николоворобинского переулка и повернуть направо за угол на улицу Обуха, как вы оказывались в школе. Из окна нашей квартиры можно было проследить, как Лида уходит в школу и как возвращается, а также видеть весь школьный двор. За Лидой следила моя мама, меня обычно в эти часы не было дома.

Школьная жизнь Лиды проходила неплохо, были какие-то неполадки с арифметикой, когда началось решение задач. Мне пришлось с ней немного позаниматься, после чего все наладилось, и больше она не нуждалась в моей помощи. Учение давалось ей легко, особенно хорошо она читала вслух, и учительница по литературе как-то мне сказала, что когда Лида читает, она испытывает большое удовольствие.

Основные отметки — четверки, иногда пятерки, изредка — тройки. Бывало, что она хитрила, и если преподаватель спрашивал ее по какому-то предмету сегодня, на другой день она урок по этому предмету не учила. Чаще всего преподаватель и не спрашивал ее, но если вдруг спросит, то Лида получает двойку.

Было у нее чувство языка. Несмотря на то что большую часть времени она проводила с бабушкой-белорусской, часто употреблявшей белорусские словечки, Лида почему-то не училась у бабушки, а наоборот, ее поправляла и над ней посмеивалась.

По поведению во время занятий Лиде делались замечания, так как в первый же школьный день она уселась за парту, поджав под себя ноги, точно так же, как это любил делать Бабель. И несмотря на замечания, Лида часто снова садилась по-турецки. В ее дневнике появлялись обращенные ко мне записи о плохом поведении на уроках. Бывало, что и обижала девочек: то ущипнет кого-то, то дернет за косичку.

Когда зимой в выходной день я брала с собой Лиду погулять по городу, а весной и осенью — за городом, она брала с собой подружку, но оставлять их рядом было невозможно. Лида то насыплет подружке за воротник снегу или песку, то подставит ножку, чтобы подружка споткнулась. Мне это не нравилось, и

приходилось держать девочек по обе стороны от себя.

Что это было, я не знаю, вообще-то Лида была доброй девочкой, все подружки ее любили и ее проделки ей прощали. Очевидно, делала она это для веселья. Очень любила общество и всегда собирала группу девочек для игр в нашем дворе или в переулке.

Во дворе школы для упражнений было положено бревно на высоте примерно полутора-двух метров, и мама часто со страхом видела, как Лида взбирается на бревно и разгуливает по нему. Страха от высоты и неустойчивости своего положения как будто не испытывала никакого, это бревно было ее излюбленным видом физических упражнений. Еще живя в Новом Афоне, я удивлялась смелости Лиды: мигом залезть на чердак или на дерево — труда ей не доставляло.

Школа, в которой училась Лида, была школой для девочек. В СССР тогда было введено раздельное обучение, и школа для мальчиков тоже была поблизости от нашего дома.

Летом 1946 года я сняла дачу в дачном поселке недалеко от станции Болшево Октябрьской железной дороги. Это было очаровательное место с большим лесом и лугом. Дача состояла из двух проходных комнат и террасы, открытой со всех сторон. Хозяйка дачи была одинокая, недавно овдовевшая женщина, очень милая и доброжелательная.

Когда в день приезда мы с Лидой пошли на соседний участок за водой, у меня закружилась голова от упоительного аромата луговых цветов и весеннего воздуха.

На другом конце дачного поселка, ближе к лесу, была собственная дача моей ближайшей приятельницы Ирины Владимировны Воробьевой, дочери того Воробьева, который бальзамировал тело Ленина. У нее был муж армянин Арен и двое прелестных мальчиков — Володя и Саша. Домашняя работница Наташа была членом этой семьи. В то лето мы часто общались, гуляли в лесу, собирали на лугу землянику, устраивали чаепития. Я с большим удовольствием вспоминаю это лето под Москвой. Четыре последующих лета мы с Лидой уезжали в Новый Афон к Аруту с Олей.

В марте 1946 года я получила телеграмму от Арута, что он приезжает в Москву 8 марта. Я пошла его встречать на Курский вокзал и обнаружила, что он приехал как один из сопровождающих целого вагона с пальмами в кадках, привезенными для украшения учреждений Москвы из питомника Моссовета, находящегося в Новом Афоне.

Я хорошо знала этот питомник, знала его директора Габуния и часто покупала там роскошные розы для дома и подарков. Арут

привез пальму и для меня, а также несколько ящиков с лимонами и мандаринами для продажи их в Москве. Курортников ни в 1945-м, ни в последующие после войны годы еще в Абхазии не было, и Аруту приходилось туго.

Когда мы с Арутом приехали домой и вносили пальму и ящики с фруктами, к большому счастью, никто из соседей, живущих внизу, не вышел. В день 8 Марта они пьянствовали у начальника милиции нашего района.

Фрукты поместили в одной из комнат и перестали топить там печь. Арут спал в этой же комнате, а по утрам, рано, забирал ящик с фруктами, сколько мог унести, и шел на базар торговать. Возвращаясь домой, отогревался в нашей теплой комнате, мама кормила его горячим обедом и отпаивала чаем с лимоном. Утром он снова шел на базар.

Так Арут продержался дней пять или шесть, все распродал, что намечал, но сильно простудился. Мы сразу же затопили печь в его комнате и уложили его в постель. Он чувствовал себя все хуже, температура поднималась все выше, кашель был ужасающий. Мама вызвала нашего районного врача Сусанну Григорьевну Зильберман, с которой очень дружила. Она прописала ему лекарства, банки на спину и горчичники два раза в день, но не могла еще сказать, воспаление ли у него легких или тяжелейший бронхит.

Пролежал Арут у нас больше месяца и только к середине апреля мог встать с постели. Был так слаб, что не мог ходить. На улице все еще было холодно, как всегда бывает в апреле в Москве. И только в конце апреля мы купили ему билет в Новый Афон. Врач Сусанна Григорьевна говорила, что мы своим уходом спасли ему жизнь.

Уезжая, Арут сказал нам: «Приеду домой и сразу уйду в горы, где есть целебный теплый источник, буду там пить козье молоко, есть свежую баранину и обязательно поправлюсь».

Оле я часто писала, и она рвалась приехать, но Арут не разрешал: нельзя было оставлять дом, сад, корову. В середине июля Арут написал мне, что совсем поправился, и приглашал приехать к ним в гости вместе с Лидой. Но я уже сняла дачу, и мы с Лидой поехали в Афон только летом 1947 года.

Так как в это время уже развернулись работы по сооружению тоннелей на Ткварчельской железной дороге, у меня на Кавказе появились дела, надо было осуществлять авторский надзор. Я оформила туда командировку, а после командировки — сразу же свой очередной отпуск и таким образом могла пробыть у Арута и Оли около двух месяцев.

Управление кавказского филиала Метростроя к тому времени

переехало из Гудауты в Сухуми, и мне приходилось ездить и в Сухуми, и на строительство Ткварчельских тоннелей. Арут по-прежнему работал агрономом на пригородном хозяйстве Метростроя. Уезжая, я спокойно оставляла Лиду с Олей, зная, как Оля и Арут любят ее и даже балуют.

Когда закончился срок моей командировки и начался отпуск, к нам приехала моя приятельница Валентина Ароновна Мильман. С ней вместе мы вели жизнь отдыхающих людей: много купались, загорали и гуляли по горам. Горы, которые издали кажутся такими привлекательными и уютными, оказывались совершенно непригодными для того, чтобы там посидеть или полежать, — сплошные колючки.

В один из вечеров мы с Валентиной Ароновной, разговаривая, долго не ложились спать и вдруг уже во втором часу ночи услышали шум машины, подъехавшей и остановившейся у ворот в наш сад. Ночь была лунная, и мы через окно комнаты увидели каких-то мужчин, вносящих на плечах мешки. Через какое-то время машина уехала, но послышался шум и тихий разговор с другой стороны дома, со стороны гор. В мягкой обуви, почти неслышно, другие мужчины уносили эти мешки в горы. Я догадалась, что это были мешки с цементом, которыми торговали наши метростроевцы. Мы прозвали эти ночи «ночами Кабирии». Арут участвовал в этой сделке…

В это же время мы решили побывать на озере Рица в горах под Гаграми, где я во время войны не была, хотя место это славилось красотой. Машину-полуторку я попросила у главного инженера филиала Метростроя Георгия Михайловича Корякина, и он не только охотно дал мне машину, но захотел поехать с нами. Поехали Арут, его сестра Варсеник, я, Лида, Валентина Ароновна и Корякин. Всю еду и большой арбуз, который Арут привез из пригородного хозяйства, взяли с собой.

Озеро открылось перед нами в обрамлении гор, покрытых растительностью, оно было совершенно голубым и сказочно красивым. Пока Арут и Варсеник устраивали наш привал, остальные отправились гулять по тропинке вокруг озера. Как мне помнится, из этого озера вытекает река Бзыбь; в озеро с гор стекают многочисленные ручейки. Возвратившись с прогулки, все уселись на землю вокруг разостланной скатерти с едой и питьем. Все нам показалось очень вкусным, и мы долго отдыхали за едой и разговорами.

Когда под вечер собрались уезжать домой, вдруг перед нами появилась Ирина Эренбург и попросила довезти ее до Гагры, где она отдыхала. Вместе с ней мы сфотографировались, и у меня хранится пленка с этим маленьким снимком. С этой встречи

началась моя дружба с Ириной, продолжавшаяся до самой ее смерти 17 июня 1998 года.

Валентина Ароновна предложила мне возвращаться в Москву самолетом из Сухуми. Оказалось, что она уже договорилась с Георгием Михайловичем Корякиным и что он в этом нам поможет. Я до тех пор никогда не летала, и хотя не имела даже представления, что нас ждет, согласилась. Любопытство взяло вверх, а некоторое чувство страха надо было преодолеть.

Самолет оказался грузовым, с двумя деревянными скамьями вдоль стен. Рядом с собой с одной стороны я посадила Лиду, с другой — села молодая женщина — не то дочь, не то невестка скульптора Мухиной. Как только самолет поднялся в воздух, Лида улеглась головой на мои колени и тут же заснула, несмотря на то что самолет то и дело проваливался в ямы. Родственнице Мухиной стало так плохо, что она полуулеглась на мою вторую ногу и всю дорогу стонала.

Вдруг самолет стал снижаться, и мы сели на посадочную полосу какого-то небольшого аэродрома. Оказалось, что у нас был неисправен мотор, и летчик посадил самолет, не долетев до Москвы. Нас высадили, и мы часа два сидели на траве под крылом нашего самолета, пока нам не подали другой, такой же грузовой, и мы в него пересели. Из-за этой аварии мы опоздали в Москву на два часа и, кроме того, нас посадили совсем на другой аэродром. Встречающие нас мои братья Игорь и Борис здорово переволновались, пока выяснили, что с нами случилось. Мы же взяли такси и приехали домой даже раньше моих братьев. Такой был мой первый полет! Надо же было попасть в неисправный самолет?! А Лида всю дорогу спала и ничего не помнила.

В 1948 году мы с Лидой снова приехали к Аруту и Оле. Так как строительство Ткварчельских тоннелей железной дороги еще продолжалось, я могла оформить командировку для авторского надзора и вслед за этим свой очередной отпуск так же, как и в прошлом году.

На этот раз я застала Олю тяжело больной. Она лежала в комнате с закрытыми окнами и дверью, и я ужаснулась воздуху, которым она дышала. Сейчас же я приказала Варсеник нагреть воду, а Аруту — вынести постель Оли в виноградную беседку. Он протянул проволоку от постели Оли до туалета и умывальника.

Вместе с Варсеник мы раздели Олю и посадили в корыто с теплой водой, я ее вымыла, переодела в чистую рубашку и Арут на руках отнес ее в постель. Она была худая, легкая как перышко и едва-едва ходила, вернее, передвигала ноги, держась руками за проволоку. Ее надо было не только лечить, но и хорошо кормить. По моей просьбе Варсеник сварила курицу, и мы все пообедали.

Олю пришлось упрашивать поесть, но так как она отвыкла от еды, ей не хотелось, по всей вероятности, никто ее и не упрашивал.

Странный народ, эти сельские жители Абхазии: они не лечат больных, не зовут врачей, а когда больной умрет, устраивают ему пышные похороны. Зарежут корову и созовут всю родню и знакомых, и семь дней продолжаются поминки.

На другой же день я пошла к местному русскому врачу и попросила его осмотреть Олю, установить диагноз. Врач пришел, послушал и осмотрел Олю, а потом мне говорит, что ее диагноз — застарелый сифилис и вряд ли ее можно вылечить. Не показав вида врачу, я просто задохнулась от негодования: Арут умеет лечить сифилис, а у его жены — застарелый сифилис… просто ерунда какая-то, у Оли никогда не было этой болезни.

Вечером я поговорила с Олей по душам, и она мне рассказала, что Арут, работая на пригородном хозяйстве Метростроя, завел там любовницу, молодую девушку из хорошей абхазской семьи, и она от него беременна. Оле, конечно, об этом рассказали, и я думаю, что у нее был нервный стресс. Через какое-то время мне удалось поговорить о болезни Оли с Арутом. И он мне сказал: «Я не человек, когда у меня нет сына, кому все это достанется? Я — ничтожный человек, если не имею наследника. Ты знаешь, что Оля рожать не может, а мне нужен сын, и если у Зои родится сын и подрастет немного, я отберу его, и Оля вырастит его». Этот довод Арута мне показался справедливым. Что было делать?!

Прежде всего надо было поставить на ноги Олю. Я поехала в Сухуми и у моих знакомых еще со времен войны узнала, кто в городе считается лучшим врачом по нервным заболеваниям. Мне назвали две-три фамилии, но особенно хвалили одного врача — грузина.

Я решительно сказала Аруту, что мы везем Олю в Сухуми к доктору. Не помню почему, но мы ехали туда на лошади, а не на машине. Уложили Олю на телегу, а мы с Арутом сели по ее краям, свесив ноги. Медленно, но доехали до больницы, где принимал врач. То, что я из Москвы и обратилась к нему за помощью, сыграло роль, и он принял нас. Я ему все рассказала, он понял, взял Олю за руку и сильно нажал на какое-то место руки. Оля вскрикнула от боли. Врач мне сказал, что ему все ясно и мы можем оставить ее у него в больнице.

Уже через три дня Оля начала поправляться, стала лучше ходить и даже помогала сестрам ухаживать за другими больными. Через неделю Арут привез Олю домой, оставив врачу большой ящик с апельсинами и лимонами в знак благодарности.

Наша жизнь восстановилась по-прежнему: Варсеник ушла к

матери, Оля могла сама все делать по дому и на огороде. Я и Лида старались ей помочь.

На следующее лето или, может быть, в 1950 году у Арута с Зоей шла торговля за сына. Зоя соглашалась, но требовала корову и 30 тысяч денег; Арут соглашался дать корову и 10 тысяч денег. Поэтому как только я приехала, Арут попросил меня поговорить с Зоей. Все это казалось мне диким, но я все же пошла к Зое.

Я говорила ей, что мальчику в доме Арута будет хорошо, что Оля очень добрый человек и скорее избалует его, чем будет наказывать, что Зоя всегда может видеться с мальчиком и что у Арута нет таких денег, какие она просит. Зоя долго сопротивлялась, но все же согласилась на 20 тысяч, и я ушла. Арут сначала огорчился, но потом решил, что займет деньги у родни. Торговля состоялась, и мальчик (тоже Арут, Арутик), настоящий маленький Тарзан, стал жить в доме с Арутом и Олей. Мечта Арута осуществилась, у него был сын и наследник.

Сходство Лиды с отцом было не только внешним. Больше всего оно проявлялось в ее характере и привычках. О ее доброте и любви к веселью я уже писала, но приведу еще один пример. В дни, когда я получала зарплату в Метропроекте, я обычно покупала целый килограмм дорогих конфет, которые нравились всем в доме.

Однажды, оставив пакет с конфетами на столе, я ушла в другую комнату переодеться, а когда вернулась, то застала семилетнюю Лиду у открытого окна с пакетом в руках. Она бросала конфеты в окно ребятам, собравшимся под окном нашего второго этажа. Кидала и весело смеялась… Оглянувшись на стук двери, Лида увидела меня и, наверное, испугалась. Но я схватила ее на руки и стала целовать, приговаривая: «Ах, мой бабеленочек, дорогой мой бабеле-ночек!» Так этот поступок напомнил мне Бабеля, что хотелось и смеяться и плакать.

Однажды знакомый пригласил меня в кино посмотреть какой-то новый фильм. Он зашел за мной, я оделась, и мы начали спускаться вниз по лестнице. Лида (ей было лет тринадцать) в это время сидела верхом на перилах и вдруг говорит мне: «Мать, ну хоть сегодня-то приходи домой ночевать, ведь четвертую ночь дома не ночуешь». Услышав это, я просто задохнулась от смеха. Всю дорогу смеялась, не могла успокоиться. Что мог подумать обо мне мой знакомый?! Он не знал Бабеля, а это Лидино высказывание было чистейшей воды бабелевским.

А однажды я услышала собачий лай по телефону; это были проделки Лиды, которая утверждала, что собачьим лаем можно выразить все. Пришлось мне предупреждать моих знакомых, что если они услышат собачий лай по телефону, чтобы знали, что это

Лида, и отвечали ей на ее игру. А собачьим лаем и правда можно выразить многое. Сама в этом убедилась.

Многие привычки Лиды было абсолютно сходны с привычками Бабеля, несмотря на то что она его не знала. Я не переставала этому сходству удивляться.

В 1951 году, когда Лиде было уже четырнадцать лет, мама увезла ее с собой в Любавичи, на свою родину. Она захотела повидаться со своими двумя сестрами, с племянницами и племянником, все еще жившими там. Об этом лете в Любавичах и о жизни Лиды там я мало что знала, потому что в Москве в это время умерла родная тетка Бабеля, тетя Катя. Она серьезно заболела, пришлось отвезти ее в больницу и там срочно сделали операцию. В Москве в это время были живший с ней в одной квартире Александр Моисеевич Ляхецкий и я. Мы по очереди навещали тетю Катю в больнице. На третий день после операции я была у нее вечером, а ночью она умерла. Организацию похорон и всего, что с этим связано, взял на себя Александр Моисеевич (родной брат мужа тети Кати, Иосифа Моисеевича Ляхецкого, умершего в 1941 году после первой бомбежки Москвы).

Я старалась помочь ему во всем, но после похорон у меня был какой-то нервный шок, я все время плакала, не могла спать, на ночь пригласила девушку-соседку переночевать со мной. Утром пошла на работу и там успокоилась немного.

Такую страшную новость мне пришлось преподнести маме и Лиде, когда они в конце августа вернулись из Любавичей. Лида любила семью Ляхецких и еще маленькая говорила: «Пойдем в Овчинниковский переулок, я соскучилась по «горбику»». Там жила еще одна сестра — Женя Ляхецкая, у которой был горб. Тетя Катя всегда удивлялась: «Дети обычно не любят уродливых людей, а Лида говорит «соскучилась по горбику»».

А в 1952 году мы с Лидой снова поехали к Аруту и Оле. У меня на Кавказе появилась новая работа — проектирование Чиатурских тоннелей, и я снова могла оформить командировку и свой очередной отпуск, как делала в прошлые годы. Можно сказать, что большая часть детства Лиды в летнее время проходила на Черном море.

Дома Лида занималась музыкой, игрой на пианино два раза в неделю. Больших успехов у нее не было, но я считала это занятие полезным — меньше оставалось свободного времени для гулянья. Когда в школе начали преподавать английский язык, Лида сказала мне, что преподавательница английского дает частные уроки, и спросила, хотела бы я, чтобы она занималась еще и с нею. Я, конечно, хотела. И она начала заниматься, делая это как бы для меня.

То же самое было и с выбором института. Ее подружки и соседка по дому Ася Гутман выбрали Полиграфический институт, я же хотела для Лиды институт архитектурный, что ближе к искусству. А когда я спросила у Лиды, хочет ли она пойти в архитектурный, ответ был: «Если ты хочешь». И так было довольно часто, как будто у нее не было собственного мнения. Наверное, не сложился еще характер, хотя в некоторых пустяшных делах она бывала очень настойчивой и даже капризной.

Итак, институт был выбран. Но надо было еще проверить, как она будет рисовать, и я попросила начальника архитектурного отдела Метропроекта проверить Лиду и сказать свое мнение. Самуил Миронович Кравец пригласил ее к себе. Она взяла с собой ближайшую подругу по школе Аллу Афанасьеву, к нему пришли еще две девочки, дочери сотрудниц архитектурного отдела, и Самуил Миронович стал с ними заниматься. Он посадил их за большой стол, на котором стояла гипсовая скульптура, и дал по пол-листа ватманской бумаги.

На другой день Самуил Викторович мне говорит: «Ваша девочка понравилась мне, она единственная заняла рисунком всю бумагу, остальные нарисовали рисунки, занявшие только самую серединку ватмана. Кроме того, когда во время урока у нас вдруг отключилась лампа, одна только Лида вскочила, подлезла под стол и на его противоположном конце включила штепсель в розетку. Все другие сидели на своих местах».

Пока никак не оценив ее рисунки, Самуил Миронович сказал мне, что будет с девочками заниматься. Это было в начале 1953 года, а уже осенью этого года в институте объявлено было предварительное занятие по рисунку для отсеивания совсем неспособных. И тут выяснилось, что рисовать надо было на мольбертах с почти вертикальным расположением листа, а не горизонтальным, как они привыкли, рисуя у Самуила Мироновича. И девочки поначалу растерялись. Но ни моя Лида, ни ее подружка Алла, получившие за рисунок только «три», отсеяны все же не были. Их зачислили на подготовительные занятия по рисунку для подготовки к экзаменам.

Я узнала, что в институте придается большое значение знаниям по математике, и решила взять для Лиды преподавателя, готовящего в институт. Лида хорошо училась по математике, но я видела, что их преподаватель не дает им тех знаний, которые нужны для сдачи экзаменов в институт.

Такого преподавателя мне порекомендовала моя приятельница Раиса Григорьевна Волынская; ее внучка занималась с ним перед поступлением в университет и очень его

хвалила. Это был Исаак Абрамович Дымшиц (или Лившиц). Он научил Лиду решать трудные задачи по тому учебнику математики, из которого берутся задачи для поступающих в серьезные вузы. Этот же преподаватель занимался попутно и физикой, что тоже было важно. Лида стала удивлять своего школьного преподавателя, когда вдруг заявляла: «А эту задачу можно решить и другим способом».

Предстоящие экзамены в институт были настолько важным делом, что пришлось освободить Лиду от занятий и по английскому языку, и по музыке. Успехов по музыке особенных не было, да и желания большого играть тоже. Когда к нам приходили гости, бывшие в основном друзьями Бабеля, и просили Лиду поиграть, она покорно садилась за пианино и объявляла: «Полонез Огинского», а моя мама при этом заявляла: «Этот полонез нам стоил 300 рублей». А если Лида играла какой-нибудь вальс, мама сообщала, что вальс обошелся в 400 рублей. За урок музыки я платила по 25 рублей, и мама подсчитывала, сколько денег пришлось заплатить преподавательнице, пока Лида осваивала ту или другую вещь.

Эту трату денег пришлось прекратить, но почти столько же, даже больше, я платила частному преподавателю математики и физики. Он стоил таких денег, занятия с ним были не только полезными, но и очень интересными, и Лида охотно ходила на них, пропуская школьные вечера с танцами.

Осенью 1954 года Лида подала заявление о приеме ее в Архитектурный институт. В анкете, которую надо было заполнить, была графа «об отце». Надо было написать — И. Э. Бабель, но это было опасно, и я решила, что пусть будет написано «отца нет», пусть думают обо мне что хотят. Женщина, принимавшая анкеты и заявления, прочитала «отца нет», посмотрела на Лиду, но ничего не сказала и заявление приняла.

Когда начались экзамены, по рисунку Лида получила снова только «три», и я очень переволновалась, но оказалось, что к сдаче других экзаменов она была допущена. Надо было очень хорошо сдать все остальные экзамены, и Лида выполнила это: по английскому — «пять», сочинение — «пять», за это я не беспокоилась, затем математика — тоже «пять». Экзаменатор, когда она подала ему работу, даже спросил: «Вы и вторую задачу решили?» Наверно, задача была «на засыпку».

А студенты спрашивали ее после каждой пятерки: «Вам синее платьице помогает так сдавать?»

Была еще физика и что-то из общественных наук, возможно, что история партии, — не помню. В результате Лида была принята в Архитектурный институт.

Этот 1954 год я занималась реабилитацией Бабеля. Казалось бы, год 1955-й мог бы оказаться спокойным для меня: Бабель реабилитирован, Лида учится в институте. Домашняя жизнь со всеми ее неприятностями остается прежней, привычной, но в этой жизни нельзя успокаиваться.

Еще в начале 1955 года у мамы заболела нога, тромб закрыл доступ крови, никакие мази не помогали, боль была ужасная, не давала ей спать. Я созвала консилиум врачей, и они пришли к выводу, что ногу надо отнимать. Но ни я, ни мама не соглашались. Маме было 78 лет, у нее было больное сердце, и она не вынесла бы такой операции.

Тогда молодой врач, районный хирург Мина Исааковна Казарновская, решила продолжать лечить ногу. Я не помню, что именно она делала с ногой, тут участвовали и мази, и электрический ток. Через некоторое время маме стало легче, она могла уже немного ходить, и мы радовались этому. Однако к осени тромб, который все это время бродил по сосудам, в сентябре закрыл доступ крови к сердцу.

Всю ночь мама стонала, говорила только «Хочу спать». Я сидела около нее, ложилась головой на ее подушку, гладила ее лицо, успокаивала, но ничего не помогало. «Хочу спать», — были ее постоянные слова в ту ночь, а рано утром я вызвала «скорую помощь». Мама захотела встать, подошла к раскрытому окну, стала перед ним, первые лучи солнца озарили ее, она глубоко вздохнула и стала падать. В это время вошла врач «скорой помощи» и помогла мне положить маму на постель. Она умерла. И лицо было такое спокойное и красивое.

Лида проходила рабочую практику, она вместе со студентами своего факультета убирала лен в каком-то колхозе. Все студенты должны были работать в колхозах какую-то часть своего летнего отдыха. Со мной была только Шурочка Соломко, жена Яши Охотникова, арестованного одним из первых, еще в 1933 году. Она ждала получения или возвращения комнаты после реабилитации, так как тоже была арестована и пробыла в лагерях около двадцати лет. Она спала на моей постели в большой комнате. Я ее разбудила и сказала о смерти мамы, которую она полюбила, пока несколько месяцев прожила с нами.

За Лидой поехала Ася Гутман, которая знала, где она работает, и привезла ее домой.

Накануне из Любавичей приехала к своей дочери в Красногорск младшая сестра мамы Анюта и после моего звонка скоро была у нас в Москве. Как она жалела, что не приехала к нам еще вчера, застала бы маму живой.

Организацию похорон взял на себя Михаил Львович

Порецкий, ему помогал мой знакомый Михаил Евсеевич Фрумкин, с которым я познакомилась, отдыхая в Кисловодске. Я была полностью освобождена от всего, не спала ночь и сидела в комнате, обнявшись с Лидой. Мы остались одни на свете.

Пришли соседи, кто-то вымыл и переодел маму, всю одежду она приготовила на случай смерти сама; кто-то вымыл пол в комнате, как это полагалось.

Днем привезли гроб, маму уложили в него и положили на большой стол. В похоронном бюро Порецкому предложили хоронить маму уже на другой день. Он согласился, чтобы не травмировать меня и Лиду длительным ожиданием похорон. И в два часа дня приехала похоронная машина. Поехали Порецкий и Фрумкин, я, Лида и кто-то из соседей, ближайших маминых друзей.

В последнюю ночь с мамой ночевали только Анюта, мы с Лидой спали вместе на моей кровати, Шурочка с нами в комнате на диване и подвинутом к нему кресле. Анюта и Шурочка в крематорий не поехали, надо было организовывать поминки.

В крематории, когда гроб начали опускать, Лида громко зарыдала, а я молчала и только успокаивала дочь. Я так много плакала после смерти мамы, что потом, когда приехала Лида, и в крематории не плакала совсем, только сердце было сжато. Мужчины после похорон сразу же разъехались по своим рабочим местам, домой вернулись только мы с Лидой.

Стол был накрыт, помню, что были блины, кутья и закуски, а также водка. За столом собрались и соседи из нашего и из ближайшего дома, нашей дворницкой.

Первые две ночи после похорон мы с Лидой спали вместе на моей постели; на тахте мамы спала тетя Анюта, а когда она уехала в Красногорск, Лида решительно переселилась на бабушкину тахту. Я этому очень удивилась; я долго еще не могла присесть или прилечь на эту тахту, помня, что на ней умерла мама. С одной стороны, Лида гораздо эмоциональней, чем я, и вдруг — решительно устроилась ночевать на ней.

И началась наша жизнь с Лидой вдвоем, ей было девятнадцать лет, она училась в институте. К ней стали приходить студенты, ее подружки и друзья. У меня были свои друзья.

Московский институт инженеров транспорта

В мае 1956 года я получила предложение от Института инженеров транспорта (МИИТ) перейти к ним на преподавательскую работу. Приглашавшему меня заведующему кафедрой «Тоннели и метрополитены» я сказала, что я вряд ли пройду по конкурсу, так как не имею степеней — ни докторской, ни кандидатской. На что он мне ответил: «Я очень боюсь, как бы по конкурсу не прошло какое-нибудь ничтожество со степенью. Поэтому мы приглашаем Вас; должность доцента мы Вам обеспечим за ваши практические работы, а докторскую, не сомневаюсь, Вы напишете, находясь в МИИТе». Подумав, я согласилась и легко прошла по конкурсу.

Приглашение в МИИТ не было для меня неожиданностью, так как еще в 1953–1955 годах меня приглашали туда, чтобы рассказать студентам нашей специальности о моей работе в Метропроекте. Кроме того, все эти годы я вела там дипломное проектирование, и студенты, делавшие станции метрополитенов под моим руководством, отлично защищали свои дипломные работы. Зимой 1954 года с преподавателем С. Н. Наумовым, читавшим лекции по метрополитенам, случилось несчастье: он поскользнулся, упал навзничь на покрытый льдом тротуар и получил сильное сотрясение мозга. Его положили в больницу и запретили работать в течение целого месяца. Был уже декабрь, он не успел дочитать лекции по курсу метрополитенов, и профессор Волков обратился ко мне с просьбой дочитать вместо Наумова курс до конца и принять экзамены. Экзамены у студентов вместе с Волковым мы принимали 31 декабря и закончили почти в 11 часов вечера.

Наверное, еще в 1955 году китайское руководство задумало строить метро в Пекине и обратилось за помощью к Советскому Союзу. Прежде всего нужен был преподаватель, так как необходимо было иметь свои кадры инженеров. В то время несколько китайских студентов уже учились в МИИТе, но этого было недостаточно. Правительство Советского Союза не могло отказать в помощи «младшему брату» и обратилось в МИИТ с приказом отправить в Китай преподавателя. Таким преподавателем в МИИТе был С. Н. Наумов, член партии с безукоризненными биографическими данными, что было совершенно необходимо при поездке за границу.

Никакие возражения со стороны МИИТа, что некому читать

лекции о метрополитенах, не принимались. Партийные органы считали: как это — некому читать лекции, когда рядом находится крупная проектная организация Метрогипротранс, в прошлом Метропроект, переименованный в 1950 году. Кроме меня, никто в нашем проектном институте читать лекции по курсу метрополитенов не мог, да и я к этому тогда не была готова.

Моей последней работой в Метрогипротрансе было типовое проектирование по заказу Главного управления проектно-изыскательских работ Главтранспроект Метростроя. Эту работу я начала в 1955 году и закончила весной или летом 1956 года. Были составлены типовые проекты станций пилонного и колонного типов, перегонные тоннели диаметром 6,0 и 5,5 метров, камеры съездов, тяговопонизительных подстанций, вентиляционных сооружений для станций и перегонов и много других сооружений, ставших типовыми для всех линий метрополитенов. В результате этой работы выяснилось, что уже 72 % всех сооружений являются типовыми.

По приказу Главтранспроекта мне была объявлена благодарность за проявленную инициативу при разработке типовых проектов и достигнутое при этом улучшение технико-экономических показателей. Типичный казенный приказ № 60 тех лет.

Я проработала в Метропроекте-Метрогипротрансе 22 года, с 1934 по 1956-й, и занимала должности от инженера, старшего инженера, автора проекта, руководителя группы и главного конструктора. Вряд ли можно творческий рост называть должностью. Никаких начальствующих должностей я не занимала. Только однажды замещала начальника конструкторского отдела, ушедшего в отпуск.

В августе 1956 года я была откомандирована в распоряжение МИИТа в связи с избранием меня по конкурсу на должность доцента кафедры «Мосты и тоннели» на основании постановления Совета Министров СССР.

Сам институт мне не нравился, он был какой-то грязноватый, с плохо вымытыми окнами и полами. Аудитории большие и неуютные; кафедра размещалась в двух маленьких комнатках с окнами во двор.

Заведующим отделением мостов этой кафедры был профессор Евграфов, его помощник профессор Волков занимался тоннелями и метрополитенами. В работу друг друга они не вмешивались, однако общее руководство кафедрой возглавлял мостовик Евграфов. Позже эту кафедру разделили на две: на кафедру «Мосты» и кафедру «Тоннели и метрополитены». В этих двух маленьких и продолговатых комнатках с одним небольшим

окном по временам собиралось так много народу, что сосредоточиться было трудно.

Через девять дней после смерти мамы я должна была читать свою первую лекцию по метрополитенам в МИИТе. Я убедилась в том, что как бы хорошо вы ни знали свой предмет, прочесть лекцию стоит большого труда. Я боялась, что не уложусь по времени или, наоборот, что время останется, а сказать мне будет нечего. Поэтому решила написать весь текст лекции на бумаге, прочитать его вслух и узнать, сколько это займет времени. Трудность заключалась еще и в том, что рисунки к лекции надо было чертить мелом на доске. Благодаря моему умению делать эти рисунки на бумаге, я довольно быстро освоилась с доской и мелом, даже рисунки с круговыми очертаниями давались мне легко. Так в первый год моего преподавания все лекции по метрополитенам были мною записаны и перепечатаны. В последующие годы я только их улучшала.

Помимо лекций по метрополитенам для студентов-метрополитенщиков, я должна была читать лекции по железнодорожным тоннелям для мостовиков. По этому курсу я не стала составлять своих записок, так как была хорошая книга доцента С. Н. Наумова (уехавшего в Китай), основанная на классической литературе и поэтому казавшаяся немного архаичной, но я добавляла практический опыт по проектированию и постройке тоннелей на Кавказских железных дорогах, которыми мне пришлось заниматься.

Приведу один пример. Классическим тоннелестроением предписывалось оставлять над сводом тоннеля не менее шести метров породы и затем переходить к выемке. Эти выемки получались очень глубокие, требовали большого объема земляных работ, а кроме того, сильно разрушали склоны горы, снимая всю растительность. В дождливую погоду откосы выемки осыпались и засыпали железнодорожный путь. При проектировании железнодорожных тоннелей на Кавказе я старалась как можно меньше разрушать растительность склонов горы и поэтому нарушала основное правило классического тоннелестроения — оставлять шесть метров породы над сводом тоннеля. Сокращение этой величины значительно уменьшало глубину выемки, а при односторонней выемке с этой же целью я вводила косые порталы, расположенные под углом к пути.

Помимо чтения лекций и практических занятий со студентами по проектированию ими курсовых проектов, всем доцентам кафедры полагалось вести научно-исследовательскую работу. Надо было выбрать тему, и я занялась классификацией видов метрополитенов и станций. Для этого я должна была

внимательно и подробно ознакомиться с метрополитенами других стран — Германии, Франции, Италии, Англии, Венгрии и США. Никогда не бывав в этих странах, я познакомилась с их метрополитенами: с расположением в городе, формой конструктивных решений, с материалами, из которых они строились, — и составила очерк метрополитенов мира и их классификацию. Это очень обогатило мои лекции.

Один раз в месяц в МИИТе проходили заседания кафедры «Тоннели и метрополитены». Все сидели за круглым столом, после доклада заведующего кафедрой обсуждали текущие дела кафедры, а потом требовали отчета у доцентов о проделанной научной работе. Те не говорили, как правило, по существу работ, а просто заявляли, какой процент работы выполнен. Все это была сплошная «липа»: большинство доцентов ничего не делали.

На заседаниях кафедры часто можно было услышать жалобы отдельных преподавателей на то, что студенты плохо посещают их лекции. Однажды после лекции я сказала своим слушателям, что на них жалуются: плохо посещают лекции такого-то преподавателя, на что кто-то из студентов ответил: «Как читают, так и ходим». Мне жаловаться не приходилось, мои лекции посещали все студенты-метростроевцы, потому что не было учебника по этой специальности. Кафедра существовала более двадцати двух лет, а учебник написан не был. Это было просто невероятно. И я решила, что вместо того, чтобы писать отдельные научные работы, надо всем вместе написать учебник. Это предложение было принято уже на следующий год, когда из Пекина возвратился С. Н. Наумов, и мы втроем: В. П. Волков, доцент С. Н. Наумов и я — принялись за полезную и важную работу.

В летнее время студенты посылались на производственную практику, главным образом на строительство метрополитенов в Москве, Ленинграде, Киеве, а позднее в Тбилиси. Я, как руководитель студенческой практикой, должна была инспектировать работу студентов на производстве. Помимо метрополитенов на Кавказе строились и железнодорожные тоннели; в Северной Осетии строился один автодорожный тоннель. Туда на практику тоже посылались наши студенты.

Приезжать в Ленинград было для меня большим удовольствием. Там существовал филиал Московского Метропроекта, где работали несколько сотрудников, с которыми я была дружна, особенно супруги Грейц — Борис Владимирович и Ольга Владимировна. В Ленинграде жили и две приятельницы Бабеля, одесситки Ольга Ильинична Бродская и Лидия Моисеевна Варковицкая. Ольга Ильинична была в Одессе ближайшей

подругой сестры Бабеля Марии Эммануиловны. Муж Лидии Моисеевны, Александр Морицович Варковицкий, учился с Бабелем вместе в Коммерческом институте.

В Ленинграде жила и Татьяна Викторовна Смирнова, бывшая актриса ленинградского кукольного театра, с которой я познакомилась на даче у Дмитрия Николаевича Журавлева. Когда я туда пришла и Журавлев представил ей меня, она упала передо мной на колени и стала целовать мне руки. Я была очень смущена. Свою любовь к Бабелю она выразила так эмоционально, как еще никто этого не делал. Татьяна Викторовна жила в Доме ветеранов сцены имени Савиной вместе со своей подругой, такой же пенсионеркой. Ее родной брат Юрий Викторович Смирнов был сотрудником Русского музея.

В один из моих приездов в Ленинград Юрий Викторович пригласил меня в музей, чтобы показать его запасник, помещавшийся на чердаке и состоящий из нескольких комнат. В первой комнате сотрудники музея устроили вкусный чай с пирожными, а затем Юрий Викторович повел меня в запасники. Там было вывешено, а больше сложено множество картин, особенно портретов царской семьи многих поколений. В советские времена эти картины никогда не вывешивались в залах. Там же хранилась та часть картин, которые время от времени вывешивались для обозрения, а потом заменялись другими.

Картин было очень много, я уже устала их смотреть, но Юрий Викторович был неумолим; он повел меня в другие комнаты, где на столах было разложено большое количество миниатюр. Миниатюрные портреты были великолепного исполнения, от них нельзя было оторваться. Юрий Викторович, влюбленный в свое богатство, тащил меня в новые и новые помещения, картины в которых ну просто грех было не посмотреть. Я почти не держалась на ногах, но все еще оставались картины, которые я не досмотрела. После более чем трехчасового осмотра впечатление от всего увиденного было огромным, и я запомнила этот день на всю жизнь. Когда мы вернулись в комнату, где пили чай, и я могла наконец сесть, сотрудники музея были заняты — готовилась выставка картин художника Кипренского.

В другой свой приезд в Ленинград мне захотелось съездить в Михайловское, в Дом-музей А. С. Пушкина. Когда, еще в Москве, я рассказала о своем желании В. А. Мильман, она тоже захотела поехать. Позже к нам присоединился писатель Семен Григорьевич Гехт. Условились, что когда я выберу время для поездки в Псков, а оттуда в Михайловское, я дам им знать, и они приедут в Ленинград.

Семен Григорьевич Гехт

При моей жизни с Бабелем я была только знакома с Гехтом, слышала рассказы Бабеля об их встречах в Одессе, но никогда с ним не разговаривала. Уже после войны ко мне неожиданно и без предварительного звонка по телефону пришел Гехт. Истощенный, бедно одетый человек, которого я не сразу узнала. Он назвался и рассказал, что был арестован, работал в лагере, сейчас освобожден, живет в Рязани (кажется), работает уборщиком в городском саду.

В Москве ему жить не разрешили, и даже приезжать было опасно: за квартирой, где живет его жена, возможно, следят сотрудники НКВД, да и соседи могли донести. Но ему так хотелось узнать хоть что-нибудь о судьбе Бабеля, что он решился приехать. Я его накормила, напоила чаем; он рассказывал о своей работе в лагере на лесоповале. С тех пор время от времени он с опаской приезжал к нам, чтобы поговорить о Бабеле. В то время о его судьбе я ничего ему сообщить не могла, кроме того, что каждый год отвечали в НКВД на мой запрос: «Жив, содержится в лагере».

После смерти Сталина и реабилитации Гехт мог жить в Москве. Один раз я была у него в гостях. Он с Верой Михайловной жил на Кировской улице, почти рядом со знаменитым чайным китайским магазином, во дворе. У них была комната в коммунальной квартире, очень бедно обставленная. Вера Михайловна была очень скромной женщиной, без больших запросов. Она была сестрой жены поэта Николая Асеева.

Семен Григорьевич любил пешком гулять по Москве, придумывая интересные маршруты, но мне тогда гулять было некогда. Он говорил, что во время прогулок обдумывает свои рассказы. Однажды он сказал, что решил пройти по берегу Москвы-реки в пределах всего города. Так как мы жили недалеко от Москвы-реки, я просила его, когда он окажется недалеко от нашего дома, зайти к нам отдохнуть и пообедать. Вера Михайловна летом часто уезжала на дачу к своей сестре, помогала ей ухаживать за огородом и садом. Без жены Семен Григорьевич готовил еду сам, но эти его обеды были обычно очень примитивные.

Мы много разговаривали с ним о Бабеле, и я попросила его написать воспоминания о нем. Через какое-то время Гехт пришел к нам и сказал: «Как хорошо, что Вы меня заставили писать воспоминания, у меня благодаря Вам получается целая серия рассказов-воспоминаний, и я придумал им название —

«Советская старина»». Мне понравилось такое название. Вскоре Гехт принес мне два рассказа: «У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года» и «В доме-коммуне на Хавской улице». Но когда Гехт издавал всю книжку воспоминаний, назвать ее «Советская старина» ему не разрешили. Она вышла под названием «В гостях у молодежи». Кроме этой, я знаю еще три книги Гехта: «Будка соловья», «Три плова» и «Долги сердца». Семен Григорьевич всегда был беден, довольствовался малым, и когда получил гонорары, считал себя богачом. А денег-то было немного, книжки были небольшие, не то что у других писателей.

Когда, находясь в Ленинграде, я выбрала время для поездки в Псков, туда приехала сначала Валентина Ароновна, а на другой день Гехт. Поезд в Псков уходил поздно вечером и прибывал в семь утра. От Пскова до Святогорского монастыря надо было ехать на автобусе, и мы попросили Гехта купить билеты. Когда мы пришли на автобусную станцию, то застали Гехта в конце длинной очереди за билетами, без всякой надежды купить их. Тогда Валентина Ароновна взяла у Гехта его билет члена Союза советских писателей, пошла к диспетчеру и вернулась с билетами. Такой был Гехт…

При Святогорском монастыре была примитивная гостиница, и мы в ней остановились. Остаток дня провели в Святогорске, были в церкви, на могиле Пушкина, обедали в каком-то кафе. Памятник на могиле Александра Сергеевича произвел на меня большое впечатление: он был прост, но от него исходило что-то приковывающее. От него не хотелось уходить, хотелось навсегда остаться.

На другой день с утра, позавтракав в кафе оладьями со сметаной, мы по проселочной дороге отправились пешком в Михайловское. День был солнечный, наполненный ароматами лета, воздух такой, что в нем хотелось раствориться. Сначала зашли в дом Пушкина. Мне хотелось задержаться только в кабинете, где он работал, остальные комнаты меня не заинтересовали, в них я почувствовала что-то чужое. Я представила себе кабинет Пушкина в зимний день — с замороженными окнами и с видом на заснеженные деревья.

Мы побывали в домике няни Арины Родионовны, только недавно отстроенном и почти не обставленном. Та липовая аллея, по которой Пушкин гулял с Анной Керн, выглядела удручающе. Когда-то стройные деревья так постарели, что стволы их искривились, обросли мхом, и новые ветви выглядели жалкими. Было грустно видеть все это.

В поисках одинокого дуба («У лукоморья дуб зеленый…») зашли в лес, полный кустов малины, спелой и сладкой. Вернулись

к дому, вышли за калитку, посидели на опушке леса с видом на реку Сороть и пошли по той самой дороге, по которой в Тригорское, в дом Осиповых, ездил верхом на лошади Пушкин. Дом стоял на возвышении, и к нему был довольно крутой подъем. Осмотрели дом, еще не совсем восстановленный, посидели в парке на скамье Онегина. Скамья белая, со спинкой, очень удобная, с таким видом на озеро, реку и даль, что, пожалуй, более совершенной красоты русской природы мне встречать не приходилось. Из Тригорского зашли в село Воронец, купили крынку холодного молока и буханку ржаного хлеба и великолепно пообедали… О Пушкинских местах так много написано в литературе, что я описывать все виденное там подробно не стала, но посещение этого места останется в памяти на всю жизнь.

Гехт первый сообщил мне, что Бабель был приговорен к расстрелу. Кто-то из его друзей входил в комиссию по расследованию деятельности Эльсберга как доносчика. Этой комиссии разрешили посмотреть дела тех писателей, на которых доносил Эльсберг, и в деле Бабеля комиссия увидела приговор о расстреле. Но я не поверила Гехту, мне казалось это невероятным; тогда слухов ходило много, но официально в НКВД мне сообщали, что он жив, а позже пытались уверить, что Бабель умер естественной смертью.

Скончался Семен Григорьевич Гехт в результате заражения крови после операции. Я ехала на похороны в автобусе вместе с Верой Михайловной, и она все пыталась открыть крышку гроба. В крематории выступали с прощальными речами Шкловский и Паустовский.

После похорон Паустовский сказал, что отвезет меня домой. Его жена, которую все называли Таней Арбузовой (ее предыдущим мужем был драматург Арбузов), села рядом с шофером, мы с Паустовским — на заднем сиденье. По дороге Константин Георгиевич меня о чем-то расспрашивал, а когда подъехали к моему дому, сказал, что хотел бы со мной встретиться. Зная, что его жена очень ревнивая женщина, я ответила, что занята и не знаю, когда смогу выбрать время. Тане Арбузовой, видимо, мой отказ понравился, она обернулась ко мне с улыбкой, мы попрощались, и я ушла домой. Это была моя единственная встреча с Паустовским.

Киевские друзья

В те годы, когда мои студенты проходили практику на строительстве метрополитена в Киеве, я приезжала туда так же охотно, как и в Ленинград. В Киевском филиале московского Метропроекта было много знакомых сотрудников, прежде работавших в Москве. Встречали меня с радостью, приглашали домой — некоторые писали свои кандидатские диссертации, и им было важно со мной посоветоваться. Останавливалась я чаще всего у Татьяны Осиповны Стах, но иногда удавалось достать путевку в дом отдыха «Ирпень», и тогда распорядок дня у меня был такой: после завтрака я уезжала в Киев к своим студентам, разговаривала с начальниками тех шахт, на которых они под землей работали, и к обеду с небольшим опозданием возвращалась в дом отдыха. Все вечера будних дней и все выходные и праздничные дни были в моем распоряжении.

В Ирпень ко мне приезжали Татьяна Осиповна, супруги Волынские — Леонид Наумович и Раиса Григорьевна, Нина Александровна Аль и однажды вдова расстрелянного Мити Шмидта, Шурочка, та самая, с которой я познакомилась в 1935 году, когда мы с Бабелем были в гостях у Шмидта в его лагере под Киевом. Она рассказала мне о своем аресте, о жизни в лагере, о дочери, выросшей без матери и отца.

В лагере ей очень помогло то, что муж научил ее водить машину и даже танк, поэтому в лагере она стала шофером грузовика, возившего продукты для заключенных. И хотя судьба Шурочки Шмидт сложилась благополучнее, чем у многих других, слушать ее рассказ было очень горестно. Нет прощения режиму, в котором мы жили так много лет.

С писателем Волынским я была уже знакома. Вместе с Татьяной Осиповной он в один из моих приездов в Киев провожал меня в Москву и тащил тяжеленную корзину с вишнями. Теперь Татьяна Осиповна привезла его с женой в Ирпень ко мне в гости. Мне очень нравились его произведения о художниках, и сам он был очаровательным, располагавшим к себе человеком, которому можно было все рассказать, который все поймет.

От Татьяны Осиповны я знала, что антисемитизм в Киеве глубоко ранит его. И ему хотелось бы переехать в Москву. Когда через некоторое время Волынские нашли квартиру вблизи от Таганской площади и переехали, Леонид Наумович заболел: у него обнаружилась опухоль мозга, делали операцию, но ничего не помогло. Однажды я навестила его, больного, лежачего, такого красивого и совсем еще молодого. Я рассказывала ему о Лиде, о

моих занятиях по подготовке двухтомника Бабеля, старалась его развеселить, но когда осталась наедине с Раисой Григорьевной, расплакалась.

С Ниной Александровной Аль я познакомилась во время моей отпускной поездки на теплоходе по пяти рекам — от Москвы до города Уфы. Это было замечательное путешествие с остановками во всех встречающихся нам городах, в местах отдыха, где можно было погулять и искупаться. Иногда мы останавливались для того, чтобы купить у рыбаков свежей рыбы или мяса для столовой теплохода.

Для чтения я взяла с собой книгу на немецком языке с интригующим названием «Женщина одной ночи». Читалась она как детективный роман. Узнав об этом, Нина Александровна попросила меня пересказать содержание книги на русском языке. Все, что я успевала прочитать в течение дня, я вечером ей рассказывала, и она с нетерпением ждала следующего вечера.

Нина Александровна оказалась искусствоведом и хорошо знала памятники русской старины, попадавшиеся нам по берегам рек, по которым мы проплывали. Работала она в Киеве в организации по охране памятников старины. Я сказала, что бываю в Киеве, и она дала мне свой адрес: Крещатик, дом 10 и номер квартиры.

На следующий год летом я приехала в Киев со своими студентами, написала Нине Александровне и получила приглашение прийти к ней домой. Я очень удивилась, когда увидела на дверях ее квартиры табличку с надписью: «В. П. Некрасов». Некрасов, книгу которого «В окопах Сталинграда» все читали и находили самой лучшей книгой о войне. Я позвонила, и Нина Александровна открыла дверь. Она была одна в доме. Виктор Платонович был в Москве или под Москвой, в Малеевке; его мать — в гостях у кого-то из друзей, на даче. Оказалось, что Нина Александровна живет в этой квартире в комнате вместе с матерью Некрасова. Живет с тех пор, как переехала из Ленинграда.

Я не расспрашивала ее, как это произошло, боясь задеть какую-нибудь недозволенную тему. В следующие мои приезды в Киев, когда я жила в Доме творчества писателей «Ирпень», Нина Александровна неизменно приезжала туда ко мне в гости, и мы много гуляли в лесу и разговаривали.

Чтобы попасть в лес, нужно было спуститься с пригорка, на котором стоял Дом творчества, пройти по протоптанной тропинке через поле, засеянное кукурузой, и по мостику пройти через речку. Еще год или два тому назад на этом поле прекрасно росла капуста, была ухожена и давала хорошие урожаи. Теперь же за

кукурузой никто не ухаживал, и ее маленькие ростки заросли лебедой. Смотреть на это было жалко, и я, когда приходила в лес одна, начинала ее выдергивать.

Однажды ко мне подошла старушка с корзиной, в которую она складывала лебеду для поросят, и сказала: «Видать, нервы у вас не в порядке. Другие из этого дома проходят спокойно и на кукурузу не глядят». Я помогла старой женщине наполнить корзину лебедой, и мы расстались.

Не было ли это заросшее лебедой поле протестом местных жителей приказу Хрущева повсеместно на Украине разводить кукурузу?

В «Ирпене» я познакомилась с украинской писательницей Паолой Владимировной Утевской. Она писала популярные книжки для детей и взрослых — об угле, о фарфоре, об исторических памятниках города Киева. Мне особенно понравилась ее книга под названием «Слов драгоценные клады» — она была написана много позже времени нашего знакомства, которое продолжается до сих пор, но ограничивается теперь только перепиской.

Благодаря знакомству с П. В. Утевской, Н. А. Аль, Л. Н. Волынским и давней, еще с 1934 года, дружбой с Т. О. Стах, приезжать в Киев мне всегда было приятно. Чаще всего я останавливалась у Т. О. Стах на Обсерваторной улице. Обычно летом ее дочь с внуком уезжали или в Одессу, к морю, или в пионерский лагерь, и Татьяна Осиповна оставалась одна в квартире. К ней тогда приходил Леонид Наумович Волынский, и мы проводили вечера за чаем или ужином в разговорах, веселых и очень остроумных.

Я могла пригласить к Татьяне Осиповне мою приятельницу Аль, но только не П. В. Утевскую. Между ними была какая-то давняя неприязнь, мне думается, из-за принадлежности Утевской к коммунистической партии.

Северная Осетия и Крым

За время моей работы в МИИТе у меня были еще две интересные поездки на тоннели, где проходили практику студенты. Первая — в Северную Осетию на строительство двухпутного автодорожного тоннеля и вторая — в Крым на строительство тоннеля для хранения шампанских вин.

Поездка в Северную Осетию запомнилась мне красотой гор, по которым проходил железнодорожный путь, поднимаясь на перевал по крутым спиралям. В отдельных местах из вагона в середине поезда можно было одновременно увидеть и его хвост, и тепловоз.

Город Орджоникидзе, теперь Владикавказ, в котором я остановилась на сутки, большого впечатления на меня не произвел, почти не запомнился. Но из этого города можно было на такси проехать в Нальчик и посмотреть на памятник Беталу Калмыкову, не так давно установленный на площади. И я уже начала сговариваться с водителем такси, который для такой поездки подбирал четырех желающих, чтобы побольше заработать. Мне вспомнился Нальчик и живой Бетал Калмыков, а главное Бабель и все, что с ним связано, и я вдруг поняла, что не могу туда ехать. Слишком тяжело было для меня вспоминать те счастливые времена.

Тоннель в Крыму был расположен поблизости от писательского Дома творчества «Коктебель», поэтому в Союзе писателей я взяла туда путевку. Моя комната находилась в пристройке к дому поэта Максимилиана Волошина и выстроена была на его средства специально для приема приезжавших к нему гостей.

После завтрака я отправилась на тоннель пешком, поднимаясь по пологой тропинке в гору, ту самую гору, на вершине которой, ближе к морю, была могила Волошина. Он сам выбрал это место для своего захоронения. Однажды я поднялась к его могиле. Ветер там был такой сильный, что вывернул у меня зонт, и мне стало страшно: казалось, что ветер снесет меня с горы.

Надгробие Волошина было очень простым: на выровненной площадке был уложен из дерна прямоугольник высотой не более пяти-семи сантиметров и на нем выложен крест из светлого мелкого гравия. Никаких надписей об имени, дате рождения и смерти не было. Зато вид с этой горы на море и побережье с обеих сторон был запоминающийся.

Когда я приходила на тоннель к студентам, они встречали

меня и угощали виноградом — виноградники белого крупного винограда были вокруг тоннеля в изобилии. Побывав на тоннеле, где велись буровзрывные работы, и поговорив со студентами, я возвращалась в дом, купалась и шла обедать.

За столом со мной сидел, как оказалось, известный исследователь творчества Лермонтова, работавший помимо этого в архивах Эрмитажа. Он представился — Виктор Андронникович Мануйлов. Узнав, что я первый раз в Коктебеле, он решил познакомить меня с его окрестностями и Домом-музеем Волошина.

Прежде всего мы пошли в дом поэта, где Виктор Андронникович был своим человеком; он познакомил меня с вдовой поэта Марией Степановной, сохранившей музей в том виде, в каком он был при жизни ее мужа.

Особенно трудно было уберечь дом от немцев во время оккупации. Им хотелось поселиться именно в этом доме. Однажды, рассказывала Мария Степановна, она схватила отрезок водосточной трубы и ударила немца этой трубой по голове. Как такой поступок сошел ей с рук — неизвестно. Очевидно, немцев развеселило героическое поведение женщины; от удара боли не было, зато — большой грохот.

В доме хранилось много акварелей поэта — пейзажи окрестностей Коктебеля.

Мои студенты тоже побывали в Доме-музее, и Мария Степановна договорилась с ними, что они привезут к могиле Волошина гравий, чтобы обновить крест.

Однажды Мануйлов сказал мне, что в ближайшее воскресенье собирается поехать в город Старый Крым в дом-музей Александра Грина и приглашает меня. Конечно, от такого приглашения я отказаться не могла; с юношеских лет я любила этого писателя и зачитывалась его романами и повестями. Сказочность сюжетов, непохожесть персонажей на «обыкновенных» людей меня всегда волнует, и хочется перечитывать еще и еще раз и «Алые паруса», и «Бегущую по волнам», и «Блистающий мир».

Еще по дороге в Старый Крым Виктор Андронникович рассказал мне, что Грин купил в этом городке небольшой дом и поселился в нем со своей женой Ниной Николаевной. Старый Крым, расположенный вдали от моря, всегда считался местом, полезным для больных туберкулезом. Александр Грин прожил в Старом Крыму несколько лет и умер в 1932 году. С тех пор Нина Николаевна сохраняет этот дом как литературный памятник.

Живется ей, как рассказывал Виктор Андронникович, нелегко. Местный начальник рядом с домом Грина построил свой добротный дом и развел хозяйство. Пользуясь отсутствием Нины

Николаевны, этот начальник завладел ее домом. Днем его куры разгуливали по ее участку, а ночью спали в доме Грина, как в курятнике. Когда Нина Николаевна вернулась, она стала жаловаться, но никакие ее жалобы не помогали. Сосед не хотел расставаться с курятником и стал распространять слухи о том, что Нина Николаевна во время войны работала у немцев, а значит, сотрудничала с ними. Возможно, что она у немцев работала, чтобы выжить, но ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи. Борьба тянулась долго. Не помог и Союз писателей, но когда в это дело вмешались художники и писатели Москвы и Ленинграда, в том числе и Мануйлов, дом возвратили хозяйке. И теперь местные власти относятся к Нине Николаевне враждебно и всячески стараются ей чем-нибудь досадить.

Когда мы с Мануйловым приехали в Старый Крым и подошли к дому Грина, нас встретила высокая красивая женщина, которой можно было дать лет шестьдесят. Виктор Андронникович представил меня как вдову Бабеля, и Нина Николаевна поцеловала меня — значит, все знала.

Какая чудовищно бедная была обстановка двухкомнатного дома Александра Грина! Узкая железная кровать с тощим матрацем, покрытым домотканым серым покрывалом, стояла у окна. На ней Грин умер. Остальная мебель тоже была простая и старая, и только какие-то рисунки и фотографии украшали стены. Как хорошо, что Грин всего этого не замечал — он жил в мире фантазии.

Мы много разговаривали с Ниной Николаевной. Я узнала, что есть целый круг поклонников Александра Грина, который не оставлял ее без внимания, навещал ее, помогал советами, а иногда и деньгами. Я заметила, что и Виктор Андронникович передал ей какие-то деньги. Потом мы сходили на могилу Александра Грина. Кладбище маленькое, у проезжей дороги, и могила Грина с крестом в самом углу кладбища. Она ухожена, много цветов.

Когда Нина Николаевна умерла, местное начальство не дало разрешения похоронить ее рядом с мужем. Могилу для нее вырыли где-то вдали, но друзья не смирились с этим, и однажды дождливой ночью гроб с телом Нины Николаевны перенесли в другую могилу, вырытую рядом с Александром Грином.

Закарпатье

Чуть не забыла еще об одной моей поездке к студентам — в Закарпатье. Железная дорога с паровой тягой переделывалась там на тягу электрическую, и существующий тоннель не удовлетворял ее по высоте. Работа заключалась в том, что старый свод тоннеля разрушался и вместо него, выше, строился новый свод. Работы велись без прекращения эксплуатации тоннеля.

Закарпатье только после войны было присоединено к Украине, там еще сопротивлялись банды Бендеры.

По дороге я удивлялась изобилию гусей и уток в этих местах. Естественные и искусственные водоемы, маленькие и большие, попадались повсюду, и везде много этих птиц. Город, где я должна была с поезда пересесть в легковую машину, назывался, как мне помнится, Станислав. В городе было много церквей с различными, часто враждующими между собой религиозными особенностями — то православные, то униатские, то католические. На городском базаре много продуктов: и пуховых подушек, и пуха в мешках, а также невероятное количество земляники — в банках, кастрюлях и ведрах. По всей дороге через перевал дети подбегали к машине и предлагали землянику в стаканах и пол-литровых банках, которую они собирали тут же, возле дороги.

Машина остановилась в каком-то небольшом поселке, где мне сняли комнату на втором этаже. Уклад жизни напоминал мне нашу жизнь в сибирских селах. Хозяйки занимались заготовками на зиму: варили варенье, пекли печенье, консервировали, солили и мариновали. Мужчины, в отличие от сибирских работящих мужиков, здесь обычно сидели в кабачках и пили вино.

Как только я вышла погулять и осмотреть окрестности, встречавшиеся мужчины со мной раскланивались и приглашали в местный кабак выпить с ними вина. Я отказывалась и благодарила за приглашение.

Оказалось, что на тоннеле проходили практику и студенты московского военного института, с которыми был их преподаватель — доцент Ленин Владимир Ильич. Меня очень удивило такое совпадение имени, отчества и фамилии, а так он был симпатичный полноватый человек, дружелюбно ко мне относившийся. Вместе с ним мы направились на рабочее место наших студентов.

Владимир Ильич приехал дней на пять раньше меня, и поэтому он знакомил меня с местным начальником строительных работ и с прорабами. По деревянной лестнице мы поднялись в

калотту[46], подготовленную для укладки бетона нового свода. В других калоттах в это время проводились работы по выемке породы или установке опалубки.

Когда мы расположились в калотте, вдруг прошел поезд и выпустил столько черного дыма, что мы все задохнулись и закашлялись. Поезд прошел, дым рассеялся, и можно было дышать. Когда мы спускались из калотты, чтобы перейти в другую, я ударилась головой о бревно и чуть не потеряла сознание, но удалось скрыть от других, как мне было плохо. Именно на этом тоннеле я несколько раз ударялась о бревна и доски — уж очень было тесно: я ходила вся в синяках, к счастью, их не было видно.

Владимир Ильич как-то сказал, что на склонах гор много белых грибов, и мы решили в выходной день пойти за грибами и устроить ужин из жареных грибов с картошкой. Собрали так много, что их хватило не только на ужин, но и на обед на другой день.

Учебник «Тоннели и метрополитены»

Возможность поездить по стране, увидать новые места и новых людей была первым преимуществом преподавательской работы в институте. Вторым преимуществом была возможность не вставать рано. Я могла спать лишние два часа, потом одеваться и завтракать и как на прогулку отправляться в институт. Каждый семестр, когда составлялось расписание лекций, я с коробкой конфет шла к девушке, которая этим занималась, и просила ее назначать мои лекции только с одиннадцати часов и позже. Таким образом, исчезло чувство рабского труда, что для меня всегда имело значение.

Свою часть учебника и всякие методические пособия, которые были необходимы студентам, я писала всегда дома, но принимать студентов с зачетами и вопросами приходилось в тесном помещении нашей кафедры. Иногда мне поручали прочесть лекции и заочникам, приезжавшим из разных городов страны. Обычно это были люди среднего возраста.

В МИИТе в то время, когда я там преподавала, было много студентов-иностранцев: из Польши, Венгрии, Болгарии, Китая, один из Вьетнама и один из Северной Кореи. Приезжая в Советский Союз, они прежде всего изучали русский язык, а потом поступали в университеты или в институты.

Большую группу составляли студенты из Китая, среди которых была одна женщина. Занимаясь с ними, я убедилась в невероятной их работоспособности по сравнению с нашими студентами, но и в том, что они работают без собственной инициативы. Они готовы задать сотни вопросов и выведать все у преподавателя, но сами не делают никаких предложений. Когда приносят хорошо вычерченный проект, я узнаю свою работу над ним, но студент-китаец не внес в него ничего своего.

Ко дню 7 Ноября китайские студенты обычно присылают преподавателям телеграммы с поздравлениями. Телеграммы подписывались — Сяо, Ляо, Мао, Сан, Дун — их короткие фамилии занимали две строчки телеграммы, и было очень смешно читать их быстро подряд.

К концу последнего года обучения некоторые студенты-иностранцы женились на русских девушках, это были студенты из Польши, из Болгарии, только не из Китая. Был один серьезный роман между студенткой из Польши и студентом из Северной Кореи. Все годы учения они ходили взявшись за руки. Однажды я спросила у девушки, не собираются ли они пожениться, и она мне ответила, что они хотели бы, но ее родители ни за что не хотят

отпустить ее в Северную Корею, а ему не разрешает правительство уезжать в Польшу. Он является героем своей страны, звание Героя получил после войны с американцами, и особенно поэтому ему не разрешают уехать из Кореи.

Ни с кем из доцентов кафедры я не подружилась, отношения были только служебные. И мне как-то это не было нужно. У меня был свой круг знакомых и друзей, не имеющих отношения ни к Метрогипротрансу, ни к МИИТу. Отношения доцентов между собой не отличались дружелюбием. Многие завидовали друг другу и рады были чем-нибудь досадить.

И еще мне не нравилось, как в институте учатся студенты. В каждом выпуске было, как правило, три или четыре студента, занимавшихся серьезно. И было несколько человек, почти не занимавшихся. Непонятно, как эти молодые люди были приняты в институт, как они сдали экзамены. Потом выяснялось, что иногда это были хорошие спортсмены, которых охотно принимали во все институты для престижа, а иногда это были чьи-то сыновья, которым отказать было невозможно и их принимали «по блату». Ходили слухи, что таким студентам можно было попасть в наш институт и за взятку, но я в это не верила.

Все остальные студенты учились посредственно, а некоторые даже хорошо, причем студентки всегда были добросовестнее студентов. Обычно окончившие институт с оценкой «хорошо» и «отлично» поступали на работу в проектные организации Метрогипротранса, все остальные шли в Метрострой. Там они на практике постигали все этапы производства работ по сооружению тоннелей и через несколько лет становились руководящими работниками.

Однажды, когда я зашла в Метрогипротранс, меня встретил начальник отдела кадров Горохов и сказал: «В Метрогипротранс приняли бы несколько человек из ваших хороших студентов…» И добавил: «Только жидков не надо». Вот я и встретилась с неприкрытым антисемитизмом. Я так рассердилась, что, сказав: «Но других хороших у меня нет», ушла от него.

Весной наступала пора дипломного проектирования. Студентов тоннельщиков каждый год выпускалось сорок пять человек, преподавателей доцентов на нашей кафедре было всего четыре. Для нескольких человек удавалось найти руководителей дипломов в Метрогипротрансе или в Научно-исследовательском транспортном институте, но основной массой студентов должны были руководить мы. Надо было придумать для всех гидрогеологические условия, в которых сооружается станция метрополитена, задать пассажиропотоки, придумать место

расположения станции в городе. Работы было много, если учесть, что каждый доцент должен был руководить примерно десятью студентами-выпускниками.

Защиту проектов принимала комиссия, состоящая из заведующего кафедрой, кого-нибудь из главных инженеров Метрогипротранса, начальников строительных управлений Метростроя и руководителя Научно-исследовательского транспортного института. Они задавали студентам вопросы и выставляли оценки. Все в комиссии знали, что выпустить надо всех, поэтому оценки ниже тройки не ставились.

Я знала, что плохие студенты каким-то образом доставали из архива старые дипломные работы и беззастенчиво перечерчивали их. Меня это возмущало, но раз нельзя выгнать студента в процессе его обучения, то тем более нельзя его не выпустить из института инженером.

И еще было одно обстоятельство, с которым мне трудно было примириться. Всех преподавателей собрал партийный комитет института, и нам сказали, что преподаватели должны взять опеку над студентами, следить за их дисциплиной, ходить к ним в общежитие и досконально знать, чем они живут. Даже рекомендовалось пойти в отдел кадров и просмотреть их дела, чтобы знать, кто их родители, и все, о чем написано в деле. Меня это возмутило до такой степени, что я заявила, что ни ходить в общежитие, ни смотреть в архиве их дела я не буду.

В последние годы моей преподавательской деятельности у меня после лекций, особенно если приходилось читать две лекции подряд, сильно разбаливалась голова. Обычно я шла домой пешком до Трубной площади, а там, если болела голова, брала такси, если не болела — ехала на трамвае. Я тогда не знала, что существует такая болезнь, как высокое давление, принимала головную боль за простую мигрень.

К врачам в те годы я не обращалась вообще, кровяное давление никогда не измеряла.

В 1965 году наш учебник был издан, и я решила, что мне надо уходить на пенсию. Обычно в СССР женщины уходили на пенсию в 55 лет, я же проработала один лишний год — не могла уйти, пока не будет издан учебник. И вдруг поняла, что смертельно устала от инженерных дел, которым отдала почти сорок лет своей жизни. Институт устроил мне прощальные проводы. Заведующий кафедрой и коллеги выступали с похвальными речами и подарили дурацкую хрустальную вазочку для конфет.

Я твердо решила, что прощаюсь с МИИТом навсегда и вообще больше не буду заниматься техникой. Но не тут-то было! Через

десять лет понадобилось второе издание нашего учебника, а еще через десять — третье. Отказаться участвовать в этой работе я не могла. Нашлись бы люди, которые с удовольствием поставили свою фамилию вместо моей, не изменив текста ни по существу, ни по форме. Бывая в Метрогипротрансе, я видела технические условия, когда-то написанные мною, с другой фамилией автора.

Для второго издания я снова ходила в библиотеки, узнавала, не появилось ли что-то новое о метрополитенах в технических журналах, знакомилась с новинками в Метрогипротрансе и в тексте учебника заменяла устаревшие конструкции на новые.

Такая же работа была проведена мной и для третьего издания учебника, для которого уже в 1984 году я собственноручно вычертила 100 иллюстраций. В это время мне было уже 75 лет.

Но с каждым переизданием учебник становился все хуже. Во-первых, издательство «Транспорт» каждый раз сокращало его объем. Во-вторых, профессор В. П. Волков, который был нашим главным редактором, к тому времени уже умер, и главным редактором стал новый заведующий кафедрой Храпов, человек малоопытный, не имевший практики работы в Метрогипротрансе.

Он был единственным членом коммунистической партии из доцентов нашей кафедры, поэтому должен был занять место заведующего. Его кандидатской диссертацией в МИИТе была тема «Расчет наклонных эскалаторных тоннелей» — этот расчет вообще не имел никакого практического применения.

Я была счастлива, освободившись от дел, от ответственности, от необходимости подчиняться дисциплине. И это несмотря на то, что очень любила свою работу и считала свою инженерную судьбу счастливой.

Уйдя на пенсию, я почувствовала себя наконец свободной, и это чувство свободы было великолепным чувством. Работы у меня было много, я знала, что буду делать, но это была совсем другая работа.

Студенческая жизнь и замужество Лиды

Студенческая жизнь Лиды проходила спокойно. Она сдавала экзамены, выполняла курсовые проекты, переходила с курса на курс. Но отношение к учебе не было таким серьезным, как в мое студенческое время. Как и студенты в МИИТе, некоторые студенты в Архитектурном институте старались где можно схалтурить. Лида, зная английский язык лучше других, бралась переводить «тысячи» английских слов кому-нибудь из студентов. За это ей выполняли какое-нибудь задание по второстепенным курсовым работам.

Лида никогда не рисовала сверх того, что требовалось на уроках рисования. У нее не было желания выйти с мольбертом на улицу и нарисовать что-то с натуры. Как мне рассказывали ее институтские друзья, на уроках рисования Лида отставала от других по рисунку карандашом, но умела работать с красками, было у нее чувство цвета. Повлиять на Лиду, чтобы она училась серьезнее, я уже не могла.

Поступив по моему желанию в Архитектурный институт, она получила свободу и самостоятельность. Я перестала снимать для нее дачу под Москвой, так как она хотела отдыхать только у моря. За время студенческой жизни, да и позже, Лида уезжала в Крым (Ялта, Гурзуф, Коктебель, Судак) или на Кавказ (Сухуми, Тбилиси, Гагры и Новый Афон). Уезжала обычно с подругами, три из которых были ее подругами начиная с первого класса школы и одна, с которой познакомилась уже в институте.

Когда я однажды спросила Лиду, с кем она познакомилась в институте, она ответила, что ей понравилась студентка Ирина Попова. Фамилия эта была мне знакома, я подумала, не дочь ли она Александра Рафаиловича Попова, с которым я дружила еще в студенческое время, в 1930–1931 годах. Лида возразила, что отца Ирины зовут Исаак Абрамович. На другой же день выяснилось, что ее настоящий отец действительно Александр Рафаилович, а Исаак Абрамович — второй отец, который ее вырастил.

Как странно устроена жизнь: мне когда-то понравился отец Ирочки Поповой, а его дочь понравилась больше всех других моей Лиде. Со дня знакомства на первом курсе дружба с ней продолжается до сих пор.

Когда уже на третьем курсе надо было выбирать профессию, Лида и Ирочка выбрали своей будущей специальностью планировку городов. Дипломным заданием Лиды была планировка города-спутника Москвы со всеми необходимыми тогда учреждениями. Главным зданием в центре города было

здание партийного комитета. Рельеф местности был задан и для дипломного проекта выполнялся на большой доске при помощи листов толстого картона. Отдельные здания города в виде прямоугольников и квадратов из папье-маше белого цвета наклеивались на картон рельефа местности. Были распланированы дороги, парки, сады и спортивные площадки. К дипломному проекту должна быть написана пояснительная записка.

Я присутствовала на защите дипломного проекта Лиды, в первый раз слышала, как она говорит, и была довольна.

Работать Лида начала в Комбинате декоративного и оформительского искусства (КДОИ) в мастерской Е. А. Розенблюма, сначала по проектированию наших выставок за рубежом, а затем в созданном тем же Розенблюмом дизайнерском бюро СХКБ, в котором проработала около тридцати лет.

В одну из своих поездок в Хосту Лида познакомилась с молодым человеком — Александром Малаевым, приехавшим в Хосту из Тбилиси в составе студенческой музыкальной группы. В музыкальной группе он был пианистом. После знакомства выяснилось, что Шурик, как его называли, учится в Тбилисском медицинском институте и через год его заканчивает по специальности офтальмолога. Его отец, дед и дядя были глазными врачами, и Шурик продолжил семейную традицию.

Еще будучи студентом, он дважды приезжал в Москву, приходил к нам домой и мне понравился. Приезжал к нам и отец Шурика Андрей Иванович, а Лида ездила к ним в Тбилиси. Знакомство, или, вернее, роман, у Лиды с Шуриком продолжался около двух лет, а в 1964 году они поженились.

При регистрации брака в ЗАГСе я не была, надо было готовить обед, накрывать стол. Делали мы это вдвоем с моей приходящей домашней работницей Александрой Матвеевной. Гости могли приходить весь вечер — когда кому удобно и уходить также, кто когда хотел. Пришли несколько человек из моих знакомых, в том числе и Николай Робертович Эрдман, который еще днем прислал телеграмму: «Лида, лиха беда начало», а потом вечером пришел и сам. Когда Лида на другой день показала телеграмму Шурику, он рассердился на Эрдмана и не захотел больше с ним встречаться. Каждый раз, когда к нам приходил Николай Робертович, Шурик уходил из дома.

Я могла бы еще много написать о жизни Лиды, но решила этого не делать, потому что: во-первых, Лида не любит, когда о ней говорят или пишут; во-вторых, я многого не знаю о ее жизни, так как не всем она со мной делилась; и в-третьих, эти воспоминания пишутся в основном о моей собственной жизни.

Малеевка

После реабилитации Бабеля я в первый раз купила путевку в Дом творчества писателей в Малеевку. Поехала туда зимой, прихватив с собой лыжи. Осматривавший меня врач сказал, что я должна быть на лыжах не более часа из-за моего повышенного давления. После завтрака я надела лыжи и пошла по имеющейся лыжне в лес. Ходьба на лыжах с детских лет была моим излюбленным видом спорта. Впрочем, я не относилась к лыжам как к спорту, для меня это было удовольствие. Пройдя по лыжне поле, я вошла в лес, сказочно красивый под снегом; шла медленно, наслаждаясь тишиной и любуясь елками под шапками снега на ветвях.

А когда вышла из леса, увидела, что поземка замела лыжню через поле, которое я собиралась пересечь. Я долго блуждала по лесу, надеясь, что имеется круговая лыжня, ведущая к дому. Начинало темнеть, к обеду я опоздала и уже начала уставать, но страха не было.

Решив сократить путь, я, увидев просеку в лесу и вдали более светлое небо, пошла по этой просеке. Через какое-то время я увидела новую проезжую дорогу и пошла по ней. Эта дорога привела меня к наполовину разобранному стогу сена, огибала этот стог — и дальше никуда не шла. Я так устала, что, сняв лыжи, улеглась на сено, закрылась сеном и решила здесь ночевать. Погода ухудшалась, началась настоящая метель… Вдруг я услышала отдаленный шум работающего мотора, а потом стрельбу из многих стволов. Я вскочила, надела лыжи и пошла по целине по направлению услышанного шума. Не шла, а просто тащилась, преодолевая сопротивление метели. Мотор все еще работал и несколько раз стреляли, но потом все прекратилось. Идти дальше я не могла, и, увидев почти совсем разобранный новый стог, я направилась к нему, сняла лыжи, укрылась сеном и улеглась. И вдруг услышала собачий лай. Снова встала, надела лыжи и пошла по пологому склону в гору на звук лаявшей собаки. Поднявшись в гору, я увидела освещенное окно крайнего дома, единственное в поселке, — все остальные окна были темные. Повернула к дому, прошла мимо лающей собаки на цепи, поднялась на крыльцо, сняв лыжи, и постучалась в дверь.

Вышел хозяин дома. Я сказала, что заблудилась, и он пригласил меня войти. Помню, что я аккуратно поставила лыжи в углу сеней, вошла в кухню и села на предложенную мне табуретку. Больше всего мне хотелось растянуться на полу этой кухни и уснуть. И еще так хотелось кусочек черной редьки,

лежавшей на столе, что я попросила хозяина отрезать мне ломтик. Он отрезал, но сказал, что пойдет разбудит жену и что у них сегодня есть вкусная лапша. Он вышел, разбудил жену, и она, не заходя на кухню, куда-то ушла, наверное, звонить в Дом творчества.

Хозяин рассказал мне, что он прораб на каком-то строительстве и что заполнял наряды рабочим на заработную плату, поэтому не спал, а жена его работает уборщицей в Доме творчества. Их деревня на расстоянии всего пяти километров от него. Спросил меня, не боялась ли я волков, сказал, что были случаи, когда волки нападали на цепных собак в поселке.

Скоро приехал небольшой автобус с врачом, он там же, на кухне, сделал мне укол камфары в руку, меня посадили в автобус и привезли к дому. Целая толпа отдыхающих толпилась на крыльце и в вестибюле. Беспокойство всех было огромное. Когда я не вернулась ни к обеду, ни к ужину, отдыхавший там писатель Александр Альфредович Бек позвонил в воинскую часть и попросил помощи. Это они заводили мотор, стреляли и прочесывали ближайший лес. И хотя их поиски не имели успеха, они все же мне помогли тем, что стреляли и заставили меня повернуть в нужном направлении.

Врач прежде всего решил узнать, какое у меня давление, и когда оказалось, что оно нормальное, я ему сказала: «Теперь Вы знаете, как надо лечить высокое давление?» И все же врач не отпустил меня ночевать в мою комнату, а поместил рядом с врачебным кабинетом. Я сняла лыжный костюм и легла в постель. Мне принесли что-то поесть, после чего я заснула.

Утром я перебралась в свою комнату, переоделась, пришла завтракать и поневоле стала знаменитостью. Все хотели со мной поговорить, узнать подробности моего приключения и спрашивали, не собираюсь ли я о них писать. Но тогда я и не думала писать воспоминания.

У Арута и Оли

Часто я ездила одна в Новый Афон к Аруту и Оле; мы встречались уже не только как друзья, но скорей как родственники. Всегда приятно приезжать туда, где вас любят и ждут. В один из приездов я была такой замученной, что сразу улеглась в постель и решила не вставать, пока не пройдет эта усталость. В тот же день всадник с гор привез корзину роскошных мандаринов, и ее поставили возле моей кровати. В обед Арут принес мне шашлык и стакан красного вина и сказал: «Сталин так не жил, как мы живем».

Пролежав три дня, я встала и сказала Оле, что хочу работать. Фрукты и овощи были собраны, на деревьях оставались только оливки. Я собрала их большую кастрюлю, но ни я, ни Оля не знали, как их надо солить. Оливки простояли дня три, а потом Оля засыпала их крупной солью и поставила в кладовую на полку.

Работать мне все еще хотелось, и я, гуляя, увидела, что колхозники убирают кукурузное поле. Я тут же присоединилась к ним и стала ломать початки кукурузы, пока всех не позвали обедать. В пустом табачном сарае были поставлены деревянные скамьи; на их чисто вымытую поверхность деревянной лопаткой накладывались кучки сваренной мамалыги, в середину которой ложкой наливался соус из фасоли с аджикой. Вымыв руки, все садились на деревянный пол сарая и руками ели мамалыгу, отламывая ее куски от краев и обмакивая в кислый и острый соус.

Обедая вместе со всеми, я вспомнила, что когда-то угощала Андре Жида форелью под белым соусом за отлично сервированным столом, а теперь сижу на полу и ем руками. После обеда каждому поливали из чайника, и, вымыв руки, все шли снова ломать початки и только закончив работу отправлялись по домам.

Когда я собралась уезжать в Москву, Оля вспомнила про кастрюлю с оливками. Они оказались черными и вкусными, как те королевские маслины, которые мы с Бабелем покупали в Одессе.

Мои поездки к Аруту и Оле иногда приходились на позднюю осень. Купаться в море было уже холодно, и я один раз попросила Арута съездить навестить его сестру Варсеник.

Она к тому времени вышла замуж за вдовца с сыном, которому было лет тринадцать-четырнадцать. Их дом, расположенный недалеко от Пицунды, состоял из одной большой комнаты с очагом в виде плиты с духовкой, маленькой спальни и

кладовой. К дому примыкала пристройка на деревянных столбах, где было несколько спальных комнат с постелями, ватными одеялами и подушками. Пока Варсеник жарила индейку и готовила другую еду к ужину, мы разговаривали с ее мужем Евгеном о жизни у них и в Москве. Мальчик, сын Евгена, залез на дерево, собрал мелкой сладкой хурмы и поставил ее передо мной. Поужинав и еще поговорив немного, Варсеник проводила меня в одну из спальных комнат пристройки и дала два ватных одеяла — в комнате пристройки было адски холодно. Согреваясь под одеялами, я подумала: сколько же гостей спало на этих простынях, под этими одеялами без пододеяльников. Но мысли эти я скоро отбросила и, согревшись, заснула.

Утром после завтрака мы с Арутом пошли к морю, погуляли по берегу у поселка Пицунда, известного в России курорта. Затем вернулись в дом Варсеник, попрощались с хозяевами и электричкой уехали домой, снова проехав через мои тоннели.

В другой свои приезд к Аруту и Оле, также поздней осенью, я настояла на том, чтобы мы поехали к дяде, тому самому у которого Арут и его младший брат Самуэль жили в детстве, когда их отец Маргос должен был уехать в Константинополь, скрываясь от преследования властей.

Мы решили плыть до Гагр на небольшом теплоходе. На море начался шторм, не такой большой, но Олю укачало, ей было очень плохо. Мы с Арутом морской болезнью не страдали. Из Гагр мы пешком отправились к дому дяди, расположенному высоко на горе. Шли по узкой каменистой серпантинной дорожке, поднимаясь все выше. Казалось, что ей не будет конца, так долго мы по ней шли.

Дом был недавно построен, в его нижней части располагалась кухня и кладовые, на верхнем этаже — большая комната типа гостиной и спальни. Нас принимали в гостиной и угощали жареной индейкой и всякими домашними солениями. Заставили меня выпить рюмку водки, и дядя Арута благодарил меня словами: «Если бы не ты, не знаю, когда бы я увидел у себя Арута и Олю».

После обеда все пошли осматривать сад. Живя в одиночестве на этой горе, можно было распоряжаться прилегающими к дому участками земли, и на ней были посажены деревья слив, инжира, хурмы, яблонь и груш, а также отдельные плантации цитрусовых. Была целая аллея, образованная виноградом различных сортов. Сад великолепный и очень ухоженный, в таком саду мне еще не приходилось бывать в Абхазии.

Воду брали из горной речки, протекавшей под горой; ее привозил осел. Наверху ему навешивали два бочонка по бокам

спины, шлепали рукой, и осел сам отправлялся за водой. Внизу всегда дежурил кто-то, кто наливал эти бочонки, и осел сам отправлялся по тропинке наверх к дому.

Домой мы возвращались электричкой. Вечерами мы с Олей очищали с веток лавровые листья, которые Арут продавал на базаре в Москве и однажды с ними доехал до Новосибирска. И в Москве, и в Сибири лавровый лист стоил очень дорого, поэтому Арут засадил все свободные места своего сада кустами лавра. В то время как мы очищали лавровые листья, Арут варил самогон из слив. Увидев это, я спросила Арута, разрешается ли это занятие члену партии, каким он был. Я знала, что в стране идет борьба против самогоноварения. На мой вопрос Арут ответил, что было даже заседание партийного комитета, на котором разрешили всем членам партии варить самогон, так как иначе пропадают сливы и другие фрукты, которые все имеют, и даже секретарь партийной организации.

В это время к нам приходил Самуэль и очень смешно рассказывал, как он ловит женщин, крадущих мандарины во время их сбора. Он обнимал женщин, уходящих с работы, как бы ухаживая за ними, и наощупь обнаруживал у них на теле мешочки с мандаринами. Его рассказы были до того смешными, что мы все просто умирали от смеха.

Когда мне удавалось приехать в Новый Афон летом, основное время я проводила на пляже, встречалась с Ольгой Щекиной и ее мужем Яковом Виленкиным, и мы вместе купались, гуляли и много разговаривали.

Здесь же, в Новом Афоне, 28 октября 1966 года я начала записывать мои воспоминания о Бабеле. Пустынный берег моря. Курортников почти нет, а солнце и море, как летом. Запись вела не в хронологическом порядке, а по отдельным воспоминаниям, приходящим в голову. Начала с моего первого приезда с Бабелем в Молодёново.

Стоя как-то на крутом берегу оврага и глядя на пасущееся стадо, Бабель сказал, задумавшись: «Уполовиненное поголовье».

Архив Бабеля

Архив Бабеля, изъятый при его аресте и содержащий двадцать четыре папки с рукописями, записные книжки, фотографии, письма, не найден до сих пор. Но кроме широко публиковавшихся произведений, у Бабеля были и ранние рассказы, печатавшиеся при его жизни всего один раз. Сохранилось много писем, адресованных редакторам журналов и газет, друзьям и знакомым, матери и сестре.

Я собрала эти письма, а также все публикации Бабеля, киносценарии, воспоминания и многое другое.

Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля, мне стали передавать и присылать кое-что из ранних рукописных произведений Бабеля, а также первые издания его книг.

Фотографические и машинописные копии публикаций из журналов и газет я получила из Ленинской и Исторической библиотек. Часть из них я нашла сама, большее же число их мне передали те молодые люди, которые сейчас же после реабилитации Бабеля начали работать над диссертациями по его произведениям. Первым таким молодым человеком был Израиль Абрамович Смирин, затем Сергей Николаевич Поварцов, Янина Салайчик из Польши и другие.

Рукописные автографы рассказов «Мой первый гонорар» и «Колывушка» до сих пор находятся в Ленинграде, теперь у сына Ольги Ильиничны Бродской, которой Бабель их подарил. Военный дневник Бабеля 1920 года, наброски планов рассказов, записную книжку, автографы начатых рассказов «У бабушки», «Три часа дня», «Их было девять» мне переслала из Киева Татьяна Осиповна Стах, получив их у М. Я. Овруцкой, у которой Бабель останавливался иногда, бывая в Киеве.

С конармейским дневником у меня было много работы и трудностей, так как Бабель писал его в походных условиях, то сидя верхом на коне, то на постое, где останавливались воинские части, то в саду, сидя на траве, или в кладовнях.

Расшифровать его стоило большого труда не только из-за неразборчивого почерка, но еще и потому, что многие слова писались сокращенно, многие на французском языке, на немецком, идиш, иврите. Я перепечатывала дневник три раза, расшифровывая все больше непонятых слов. Дневник велся как черновик для использования его в будущем при написании рассказов. И многие рассказы Бабеля из «Конармии» действительно писались по этому дневнику. Он вовсе не

предназначался для издания, но материал, содержащийся в нем, был настолько интересен, что пришлось напечатать его сначала в журнале «Дружба народов», а затем в двухтомнике сочинений Бабеля, составленном мной в 1990 году для издательства «Художественная литература».

Весь гонорар за первое после реабилитации издание «Избранное» Бабеля 1957 года я потратила на переводы многочисленных зарубежных статей, появившихся после издания однотомника «The Collected Stories» с предисловием Лайанелла Триллинга в 1955 году в Нью-Йорке. Он вышел на два года раньше нашего и получил много откликов как в Америке, так и в Европе.

Переводчиком этого сборника был Вальтер Моррисон, лучший из переводчиков Бабеля на английский язык, о чем свидетельствует, например, статья Августа Вильсона в английской газете «Обсервер» от 27 января 1957 года. В ней Вильсон пишет: «Господин Вальтер Моррисон сделал блестящий перевод этого замечательного сборника рассказов. О его качестве говорит хотя бы тот факт, что те фразы, которые в 1929 году были непонятной чепухой, теперь обрели ясный и понятный смысл».

Некоторые фотографии Бабеля уцелели в моем альбоме, многие другие нашлись у друзей и знакомых, некоторые я перепечатала из журналов и книг. Собралось довольно много снимков, из которых мог бы быть составлен альбом или альманах с пояснениями.

Так мало-помалу образовался небольшой архив Бабеля, над которым все годы работало много людей из разных стран мира.

В феврале 1978 года член комиссии по литературному наследию И. Э. Бабеля Георгий Николаевич Мунблит передал мне от редакции журнала «Молодая гвардия» неизвестный рассказ Бабеля «Кольцо Эсфири» и письмо от человека, приславшего его из города Наманган Узбекской ССР. Письмо в редакцию журнала «Молодая Гвардия» привожу здесь полностью и так, как оно было написано.

«27. II.78

Уважаемые товарищи!

Лет тридцать назад моя тетка Ольга Григорьевна Земскова подарила мне рукопись рассказа русского писателя Исака Бабеля. В то время, то есть в 1947–1948 году еще не печатались его сочинения.

Рукопись была на 8 или 9 страницах, написанная чернилами на желтоватой бумаге. Ольга Григорьевна хорошо знала Исака Бабеля. Она долгое время работала машинисткой и корректором в Одесской газете «Моряк», до самого 1939 или 1940 года.

Сочинение подаренное Ольге Григорьевне называлось «Кольцо Эсфири», а сверху было написано:

«Лёке — вместо букета роз» и подпись

«И. Бабель».

Ольга Григорьевна мне рассказывала, что то ли в 23 или в 25 году Бабель несколько раз был в редакции «Моряка», встречался с ней, а рассказ сдал редакции, но он почему-то не был напечатан, и писатель отдал его Ольге Григорьевне. Он сказал, чтобы даром твой труд не пропал, Оленька.

Все листки с рассказом долго лежали вместе с письмами, лет 15 назад я их попросил одного работника газеты почитать и перепечатать. Там много слов было неразборчиво, вода пропитала бумагу и чернила расплылись. Что было непонятно, то сам работник газеты добавил, а добавленные буквы и слова взял в скобки. Он говорил, чтобы я послал рукопись в какой-нибудь журнал. С разными переездами забылось. Недавно в старых вещах нашел рукопись. От нее остались 3 стр. и перепечатанный (экземпляр). Может, вас заинтересует.

А О. Г. Земскова живет в Подмосковье, ей 75 лет.

С приветом!

Комлев В. К. — бухгалтер».

Я в то время собирала архив Бабеля, и редакция журнала «Молодая гвардия» решила, что рассказ «Кольцо Эсфири» должен храниться у меня. Никаких разговоров о том, чтобы опубликовать его в каком-нибудь журнале, тогда не возникало. Все мои попытки издать сочинения Бабеля хотя бы к восьмидесяти- и девяностолетию со дня его рождения не увенчались успехом. В Союзе писателей мне отвечали: «Нет бумаги» или «План на будущую пятилетку уже сверстан». Так проходили годы, и только в начале девяностых годов удалось заключить договор с издательством «Художественная литература» на издание двухтомника сочинений Бабеля.

Объяснение В. К. Комлева в письме в редакцию журнала «Молодая гвардия» мне кажется вполне правдоподобным. От Бабеля я не раз слышала об одесской газете «Моряк» и о машинистке Лёке Земсковой, а фраза «вместо букета роз» — бабелевская фраза.

Представляю себе, как Бабель, нуждаясь в деньгах, принес в редакцию газеты «Моряк» свой, быть может, долго пролежавший у него рассказ и попросил машинистку перепечатать его; машинописную копию отдал в редакцию, а автограф подарил машинистке. Рассказ «Кольцо Эсфири» напечатан в газете «Моряк» не был — иначе он был бы известен.

Прочитав письмо Комлева, я тотчас же написала ему о том, что напечатать рассказ Бабеля невозможно без тех трех листов автографа, которые у него имеются. Я предложила Комлеву прислать мне эти листы с последующим их возвращением либо сделать с них фотографический снимок. Также я попросила его сообщить мне адрес Ольги Григорьевны Земсковой, с ней мне хотелось повидаться и поговорить. Кроме того, я просила В. К. Комлева назвать его имя и отчество, чтобы не обращаться к нему так официально, зная только его фамилию.

В ответ уже в апреле 1978 года я получила первое письмо от Комлева, адресованное мне.

Привожу его здесь полностью:

«17. IV. 78

Уважаемая Антонина Николаевна!

Мне было радостно получить письмо, которое принесли мне в больницу.

Конечно же те листочки рукописи И. Бабеля, которые остались целы, я Вам вышлю. Сейчас прикован к постели по причине камней в желчном пузыре. Возможно будут делать операцию. Вернусь ли живым из операционной неизвестно. Хроническая коронарная недостаточность плюс небольшая гипертония — это не помощь. Я передам, чтобы сделали снимки и выслали Вам. Если выйду — перешлю оригиналы, а нет — отправят мои душеприказчики.

К большому сожалению Ваше общение с Ольгой Григорьевной видно не состоится по причине ее болезни. Ей 77 лет и давно она мучилась жестокой гипертонической болезнью, которая отнюдь не улучшила ни ее памяти, ни силы.

Недели три тому назад ее взяла к себе младшая сестра, а моя тетка, в Ярославль.

Если что изменится через два-три месяца, сообщу Вам. Однако все это весьма сомнительно.

Ускорить присылку рукописи Вашего мужа я не хочу, ибо дом мой пуст, ничего в нем нет, заняться некому. Поручу насчет ксерокопии, а остальным займусь, если будет возможность.

Низкий Вам поклон Комлев

P.S. Получил уведомление от журнала «Молодая гвардия». Кстати зовут меня Вольга Константинович».

Узнав имя Комлева — Вольга, я очень удивилась; повеяло чем-то древнерусским, былинным. В письме Комлев обещает прислать мне листы автографа Бабеля, упоминает даже о своих душеприказчиках, которым он дает поручение. Его обещание казалось твердым, но проходило время, месяц за месяцем, а бандероль не приходила, и я написала ему снова, повторив все ту

же просьбу. В январе 1979 года получила от Комлева второе письмо, и снова из больницы. Не буду приводить это письмо, так как оно в основном об его операции и разных других болезнях. В нем снова обещание прислать мне автограф Бабеля или дать распоряжение своим душеприказчикам. Это письмо было последним, полученным от В. К. Комлева. На другие мои письма он не ответил и листы автографа так и не прислал.

Рассказ «Кольцо Эсфири», безусловно, написан И. Э. Бабелем, хотя я и не отношу его к лучшим рассказам. В нем присутствует тема базара, барахолки — излюбленная тема устных рассказов Бабеля в кругу друзей. Авторство Бабеля подтверждается еще и тем, что рассказ написан от первого лица, отличается краткостью изложения, а также одесской особенностью разговора, так хорошо знакомой Бабелю.

Включить этот рассказ в состав двухтомника, которым я в те годы занималась, было совершенно невозможно. Издательства требовали, чтобы все, входящее в двухтомник, было прежде опубликовано в журналах, но ни один журнал не согласился бы взять рассказ без автографа.

Так и остался рассказ «Кольцо Эсфири» лежать в архиве Бабеля и пролежал там более двадцати лет, пока его не согласился, причем охотно, напечатать Нью-Йоркский журнал «Слово-Word», в издательстве которого была опубликована книга моих воспоминаний о Бабеле.

Самым главным своим делом я считала составление двухтомника сочинений Бабеля, в который вошли бы все его произведения, оставшиеся после ареста рукописей, все то, что было опубликовано при его жизни хотя бы один раз, а также найденные случайно старые рукописи. В состав двухтомника должны были войти все рассказы начиная с 1913 года, пьесы, киносценарии, вся публицистика, письма, воспоминания, выступления и конармейский дневник 1920 года.

За все время, что председателями Союза писателей были сначала К. А. Федин, а затем Г. М. Марков, произведения Бабеля были изданы в Москве два раза: один однотомник в 1957 году, другой в 1966-м. Оба сборника вышли тиражом по 75 000 экземпляров, что в нашей стране, при огромном интересе читателей к запрещенному ранее творчеству Бабеля, буквально ушло в песок.

Комиссия по литературному наследию Бабеля обращалась в издательства и в Союз писателей не раз; сначала — с просьбой об издании двухтомника, затем — с просьбой оказать содействие. Нам много лет отвечали, что нет бумаги, что план выпуска изданий уже сверстан, и переносили нашу заявку из одной

пятилетки в другую. Наконец в 1986 году, двадцать лет спустя после издания последнего однотомника Бабеля в 1966 году, двухтомник был включен в план издательства «Художественная литература» и вышел тиражом в 100 тысяч экземпляров только в январе 1900 года. Этот двухтомник сейчас является эталоном бабелевских изданий, так как произведения в нем многократно выверены, восстановлены все тексты, когда-то изъятые цензурой.

Почти одновременно с двухтомником в Москве вышли два составленных мною однотомника большими тиражами: один как приложение к журналу «Знамя», включавший и конармейский дневник Бабеля[47], и другой, объединивший наиболее известные произведения писателя и часть воспоминаний о нем[48]. Кроме того, однотомники небольшими тиражами, уже без моего участия, выходили во многих городах нашей страны.

Таким образом, спустя полвека после гибели автора, писателя И. Э. Бабеля, его творчество, известное всему миру, пришло к широкому читателю на его родине.

Илья Григорьевич Эренбург

В Комиссию по литературному наследию Бабеля входили: К. А. Федин, Л. М. Леонов, И. Г. Эренбург, Л. И. Славин, Г. Н. Мунблит, С. Г. Гехт и я.

С первых же дней после создания этой Комиссии выяснилось, что ни Федин, ни Леонов участвовать в работе не хотят. Все письма с вопросами о Бабеле, приходившие к Федину, как к председателю Комиссии, он, не читая, переадресовывал мне. Обязанности председателя комиссии исполнял Илья Григорьевич Эренбург.

После ареста Бабеля я с ним не виделась, так как, будучи женой «врага народа», старалась не встречаться с писателями, прежде бывавшими в нашем доме. Но через Валентину Ароновну я знала о его жизни, о его поездках и возвращениях, а также о том, что уже в конце войны Эренбург узнал о еврейской двенадцатилетней девочке Фейге Фишман, единственной уцелевшей после расстрела евреев в одном из украинских городков. Девочка бежала в лес из колонны, когда их вели на расстрел, бежала со своим отцом и еще несколькими людьми. Ее мать и сестры были расстреляны в тот же день, а позже был убит и отец, прятавшийся в лесу. Отец успел оставить Фейгу у знакомого крестьянина на уединенном хуторе, откуда позже ее забрали в одну из воинских частей Красной армии и сообщили о ее судьбе Эренбургу.

Илья Григорьевич написал девочке письмо и попросил военных привезти ее к нему в Москву, чтобы она смогла учиться в школе.

Когда девочку привезли в Москву, Эренбург предложил желающим евреям ее удочерить. На этот призыв сразу же откликнулся главный инженер Метростроя Абрам Григорьевич Танкилевич. Его я хорошо знала, это был добрейший человек, знала и его жену Галину Михайловну, и двух дочерей.

И однажды, когда девочка Фаня была уже в этой новой семье, Эренбург узнал, что дочери Танкилевича ходят в школу, а Фаня сидит дома и не учится. Он потребовал, чтобы девочку привезли к нему обратно. И тогда ее удочерила дочь Ильи Григорьевича, Ирина Ильинична.

После большого перерыва моя первая встреча с Эренбургом произошла летом 1954 года во время моих хлопот по реабилитации Бабеля.

К нему я обращалась и за советами, связанными с работой Комиссии по литературному наследию Бабеля, особенно когда

возник вопрос об издании его произведений, не печатавшихся с 1936 года. Обычно Илья Григорьевич звонил мне по телефону, а когда мы переехали на другую квартиру, где одиннадцать месяцев не было телефона, он посылал мне телеграммы со словами: «Надо поговорить. Эренбург». Встречались мы довольно часто, пока велись переговоры об издании однотомника Бабеля «Избранное», для которого Илья Григорьевич написал предисловие. Когда нас пригласили в издательство «Художественная литература» для встречи с редактором сборника, мы должны были собраться у заместителя главного редактора. Мы — это И. Г. Эренбург, Г. Н. Мунблит, С. Г. Гехт, Л. И. Славин и я, то есть почти полный состав комиссии по литературному наследию Бабеля. Ожидая, пока все соберутся, Эренбург, Мунблит и я сидели перед лестницей, ведущей на второй этаж издательства. Пришел Гехт и вслед за ним Славин. И Славин сообщил нам о самоубийстве Фадеева. Я посмотрела на Эренбурга, он даже не взволновался, а потом говорит: «У Фадеева было безвыходное положение, его осаждали возвращающиеся заключенные и их жены. Они спрашивали: как могло случиться, что письма, которые я писал Вам лично, оказались на столе у следователя при моем допросе? Действительно, как? Ведь Фадеев арестован не был, обысков и изъятий бумаг у него не производили. Значит, передал сам?» Меня страшно поразило то спокойствие и даже равнодушие, с которым это известие было встречено членами нашей комиссии, как будто оно никого не удивило и уж вовсе не огорчило.

Когда настало назначенное нам время, мы поднялись наверх, в кабинет заместителя главного редактора. Последний, рассадив нас, пригласил зайти в кабинет редактора книги Бабеля. Через некоторое время дверь отворилась, и вошла женщина, высокая, полноватая, с высокой грудью и хорошим русским лицом. Длинные серьги в ушах побрякивали, рукава белой блузки были засучены. Я взглянула на Эренбурга. Он застыл с таким изумленным выражением лица, что мы переглянулись с Мунблитом и еле сдержались, чтобы не рассмеяться. Не над женщиной, конечно, а над Эренбургом. После того как нас познакомили и мы поговорили о составе сборника и договорились о ближайшей встрече, Эренбург уже на улице сказал: «Если бы такая женщина внесла в комнату кипящий самовар, я бы ничуть не удивился, но… редактор Бабеля?!»

Позже Мунблит говорил мне: «У меня становится горько во рту, когда я с ней разговариваю». А однажды вообще с редактором разругался и заявил: «Или я, или она». Я попросила Эренбурга уговорить Мунблита больше с редактором не

встречаться. У меня с ней сложились вполне нормальные отношения, и только однажды, когда она мне сказала: «Давайте выбросим из сборника «Кладбище в Козине» — маленькая вещь, ничего не дает», я чуть не сорвалась, но сдержалась и как-то уговорила редактора оставить в сборнике этот удивительный маленький шедевр. В сборник отказались взять многие рассказы Бабеля, в том числе и такие, как «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва» и «Колывушка». Эренбург, злясь на это, говорил: «Будет время — напечатают все, а сейчас хорошо, что выйдет хоть такой сборник».

Когда Илья Григорьевич написал воспоминания о Бабеле для книги «Люди, годы, жизнь», он пригласил меня к себе, посадил за свой письменный стол, сам сел в кресло напротив, положил предо мной отпечатанный на машинке экземпляр рукописи и сказал: «Читайте и сделайте свои замечания».

Я прочла рукопись и нашла несколько незначительных ошибок. Так, например, Бабель дружил не с жокеями, а с наездниками, писатель Гехт не был близким другом Бабеля, он был его почитателем, у Бабеля не было мебели красного дерева и не было письменного стола, он любил простые столы. Все это совсем не обязательно было исправлять, но Эренбург хотел быть точным и поэтому почти все поправил, а кое-что из воспоминаний выбросил.

Однажды, году в 1957-м, мне позвонила жена Эренбурга Любовь Михайловна и сказала, что он хотел бы познакомиться с моей дочерью Лидой, и попросила нас к ним прийти. Лиде было тогда двадцать лет, и она была студенткой Архитектурного института. Познакомившись с ней, Эренбург сказал: «Когда мне говорили, что Лида похожа на Бабеля, я ужасался. У Бабеля было хорошее лицо для писателя средних лет, но чтобы девушка была похожа на Бабеля… А тут и похожа на отца, и очень хорошенькая…» Эренбург усадил нас, сел напротив в большое кресло рядом с Любовью Михайловной и тут же, обращаясь к Лиде, стал ей рассказывать о ее отце, об их встречах в Париже. Иногда его перебивала Любовь Михайловна, и тогда Эренбург на нее сердился. Если же Эренбург, вспомнив что-то, перебивал Любовь Михайловну, то сердилась она. И Лида, отличаясь бабелевской проницательностью, очень хорошо это подметила. А также после визита подробно мне рассказала, какой на Эренбурге был пиджак, какой галстук и какие носки с искоркой. Когда Илья Григорьевич праздновал в 1961 году свое семидесятилетие, он захотел, чтобы я пришла с Лидой: «Хочу, чтобы среди моих гостей было хоть одно молодое лицо». С гордостью знакомил ее с гостями, среди которых были Козловский, Сарра Лебедева,

Каверин, Слуцкий и многие другие.

Эренбург помогал мне советами и при составлении еще одного сборника произведений Бабеля, вышедшего в 1966 году. В него удалось включить несколько рассказов, не вошедших в сборник 1957 года, но снова купюры и снова без рассказов «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва», «Колывушка». Включили статьи Бабеля, его выступления и воспоминания, а также небольшое число писем. Эренбург говорил, что ему нравится рассказ «Нефть», и очень досадовал, что снова не был помещен рассказ «Мой первый гонорар».

Однажды мне позвонили из журнала «Кругозор» и попросили дать что-нибудь из публикаций Бабеля. Илья Григорьевич посоветовал дать одну или две публикации 1922 года из газеты «Заря Востока». Выбрали «Без родины» и «В доме отдыха». Тогда редакция журнала попросила меня уговорить Эренбурга написать маленькое предисловие. Он сказал: «Хорошо, я напишу им, что с этих публикаций начинался писатель Бабель, а как он получил свой первый гонорар, читатели узнают из рассказа «Мой первый гонорар»».

И только в 1967 году этот рассказ был напечатан в журнале «Звезда Востока». Произошло это так. Я пришла в издательство «Художественная литература» к редактору сборника Бабеля «Избранное», чтобы забрать из представленной туда рукописи все то, что редакция не взяла в сборник. И когда я уже собиралась уходить, ко мне подошел молодой человек волевой наружности и робко спросил, не соглашусь ли я дать что-нибудь в безгонорарный номер «Звезды Востока», издаваемый в пользу пострадавших от землетрясения в Ташкенте. Я сказала: «Берите все что хотите из того, что не взяли в сборник». И он с живостью схватил все. Мне было смешно, потому что я решила: прочтет и ничего не возьмет. И вдруг оказалось, что опубликовали все, что он взял. Этот номер журнала прогремел по всей стране, столько интересного в нем было — и Бабель, и Платонов, и Булгаков, и Цветаева, и прелестное стихотворение Ахмадулиной «Озноб», которое в Москве никто не хотел печатать. Ходили слухи, что за этот номер журнала редактору в Ташкенте попало, но зато, когда он приезжал в Москву, его носили на руках и угощали в ресторанах.

В 1964 году отмечалось семидесятилетие И. Э. Бабеля. Комиссия по литературному наследию по инициативе Ильи Григорьевича решила обратиться в ЦК к Д. А. Поликарпову с письмом такого содержания:

«Секретариат Союза писателей принял решение отметить семидесятилетие Бабеля, и одним из пунктов этого решения

является организация вечера памяти Бабеля в Доме литераторов. Зал клуба способен вместить даже не всех московских писателей. Между тем интерес читателей к творчеству Бабеля столь велик, что, по нашему мнению, не следует ограничиваться этой аудиторией. Мы просим Вас помочь нам получить разрешение на устройство, помимо вечера в Доме литераторов, открытого вечера в Политехническом музее, где будут читаться произведения Бабеля и где люди, знавшие Бабеля, расскажут о нем. Мы уверены, что в этом деле Вы пойдете нам навстречу».

Это письмо подписали Эренбург, Славин, Мунблит и я. Илья Григорьевич предложил, чтобы письмо подписал также Федин, числившийся председателем комиссии по литературному наследию Бабеля. Для этого Эренбург отправил Федину письмо:

«Дорогой Константин Александрович! Я посылаю Вам текст письма, с которым комиссия по литературному наследству И. Э. Бабеля решила обратиться к Д. А. Поликарпову. Обращаюсь к Вам как к председателю комиссии и как к Константину Александровичу Федину с просьбой поставить впереди наших подписей Вашу. Я убежден, что Вы это сделаете. Эренбург».

Федин письма не подписал и ответил, что не считает нужным устраивать вечер в Политехническом музее. Ответ Федина привел Эренбурга в такой гнев, которого я за ним не знала. А наше предположение, что зал Дома литераторов не вместит всех желающих, оправдалось.

Улица Герцена, где расположен ЦДЛ, перед началом вечера была запружена народом. Мне пришлось сопровождать на вечер Екатерину Павловну Пешкову, и, несмотря на то что мы приехали заранее, мы еле-еле пробились к дверям. Зал был битком набит, фойе заполнено тоже. Все двери из зала в фойе были открыты настежь, чтобы те, кто не попал в зал, смогли хоть что-то услышать. Позже Николай Робертович Эрдман рассказывал мне, что весь вечер он простоял в фойе.

Готовясь к этому вечеру, Илья Григорьевич задумал зачитать на нем отзывы зарубежных писателей о произведениях Бабеля. Он написал письма некоторым из них и получил ответы.

Ярослав Ивашкевич пишет: «Я должен отметить чрезвычайную популярность Бабеля в Польше. Об этом свидетельствует вечер в Студенческом театре, который повторялся много раз. Артист Семион наизусть читал на этом вечере восемь рассказов Бабеля, четыре из «Конармии» и четыре одесских. Я лично считаю Бабеля замечательным писателем. У него все так метко и так сжато, точно нарисовано карандашом с четким контуром. Конечно, я предпочитаю его трагические и драматические рассказы, они глубже и вернее. Это очень хороший

образец писательского ограничения…»

Письмо чешской писательницы Марии Майеровой привожу здесь полностью: «Исаак Бабель был одним из первых литературных гостей, книги которых показали чешскому читателю советскую действительность. Его небольшое произведение «Конармия» оказало глубокое влияние своей темой и формой. Это было начало эмоциональной связи между рождающейся Красной армией и чешскими коммунистами, предчувствовавшими в ней прочную опору коммунистической идеи, которая позднее, в 45-м году, столь богато претворилась в любовь всего чехословацкого народа, когда Советская армия вырвала нашу родину из оков фашизма.

Однако одновременно это было восхищение новизной и сочностью слога, который захватил читателя и прочно вошел в мысль писателя. «Конармия» Бабеля, ее энергичный способ выражения прочно укоренились в сознании литературных собратьев Бабеля, несмотря на то что его книги в течение многих лет не переводились и не издавались. Бабель до настоящего времени не переставал жить с нами как неподражаемый художник, рисующий советского человека, и вновь ослепляет нас кристаллами своих зарисовок, которые как раз теперь вышли под названием «Рассказы» и которые указывают даже самым молодым читателям на творческую силу автора, а молодым прозаикам — что с Бабелем к нам уже с первыми литературными посетителями после мировой войны пришел писатель, изображающий мир не избитым образом, но способом, современным и по сей день. Из-за этого способа видения мира он может быть учителем и для самых младших, для тех, кто пытается искать слова и конструкцию произведения».

Из Лондона пришло два ответа на письма Эренбурга. Грэм Грин пишет: «В Англии у нас очень мало возможностей оценить в полной мере произведения Исаака Бабеля, и я могу только сказать, что то немногое, что существует в переводе, вызывает восхищение и желание увидеть более полные переводы его сочинений».

Чарльз Сноу в телеграмме написал: «Чрезвычайно высокого мнения о произведениях Бабеля. В здешних литературных кругах это мнение почти единодушно».

Отзыв Джека Линдсея у нас уже имелся. Вот что писал он о произведениях Бабеля: «Рассказы Исаака Бабеля периода Гражданской войны в России обладают светлым, ярко выраженным своеобразием. Напряженность чувств сочетается в них с богатством и точностью живописных красок, и как результат этого сочетания, как взрыв рождается поэтический

образ, в котором ясно и сильно обнаруживается знание жизненных ситуаций. На первый взгляд рассказы Бабеля могут показаться грубыми, но в основном это происходит потому, что нельзя было избежать грубости самого материала. Сам писатель всегда напряженно присутствует и в душе своего образа, и в том, что его окружает.

Восприимчивый одесский еврей, он провел войну среди казаков. Столкновение между его человеческой грустью и ярой, взорвавшейся энергией казаков было самым крайним и привело к переменам в нем после войны и к принятию им революции.

Какими бы сложными ни были взаимоотношения Бабеля с внешним миром, он всегда оставался искренним и правдивым по отношению к человеческой сущности — отсюда и его искусство яркой, невиданной чистоты. Бабель оказался жертвой чисток конца тридцатых годов. Теперь в Советском Союзе переизданы его произведения, и этим признан его замечательный вклад в советскую и мировую литературу».

Из Стокгольма пришло письмо от Артура Лундквиста. «Я познакомился с творчеством Исаака Бабеля довольно давно. Уже в 1929 году в великолепном шведском переводе вышла его «Конармия». Книга тотчас же захватила меня своим искрящимся темпераментом и своеобразным художественным мастерством. Я был так увлечен, что долгое время, казалось, смотрел на мир глазами Бабеля. Моя фантазия превращала меня в участника его военных испытаний и переживаний с их порывистой лихостью, с их переходом от бесшабашности к меланхолии. Некоторые мои стихотворные опыты того периода несомненно несут следы увлечения Бабелем. Книга исчезла из моего поля зрения, и я часто думал о ней с тоской и ощущением большой потери. Спустя два года она опять попала ко мне в руки, и я вновь перечитал ее с радостью и волнением. Тем временем шведский читатель получает возможность более тесно познакомиться с творчеством Бабеля — выходит перевод избранного из «Одесских рассказов», чарующее мастерство которых оказывает влияние на молодое поколение. Молодой поэт и критик Фольке Исаксон пишет большое эссе о Бабеле, полное восхищения его талантом.

Лично на меня, на многих других писателей, да и вообще на любителей литературы моего поколения творчество Бабеля произвело неизгладимое впечатление. Мы ждали его новых книг, искали их. Мы печалились над его судьбой, судьбой отвергнутого и непризнанного, а в последние годы радовались его реабилитации, новой жизни его творчества, ставшей возможной в Советском Союзе.

Когда несколько лет назад я имел случай встретиться с

большим и тонким писателем К. Паустовским, то мы с ним тотчас же сошлись на обоюдном восхищении Бабелем.

Сейчас в Советском Союзе высоко ценится творчество Хемингуэя. В связи с этим я хотел бы указать на качественную противоположность прозаического искусства Бабеля искусству Хемингуэя. Бабель, будучи также убежденным реалистом, пользуется, однако, более субъективным и свободным методом. Он проявляет больше простора для лирических чувств и личных переживаний. Там, где у него пылает жар, у Хемингуэя спокойная холодность. По крайней мере для меня, с моим тяготением к поэзии, Бабель — художник непосредственный и захватывающий. Его таланту присуще то богатство разнообразия, которое часто позволяет создавать незабываемые страницы».

Первоначально предполагалось, что председателем на вечере памяти Бабеля будет Илья Григорьевич Эренбург. Но Союз писателей распорядился иначе — председателем был назначен Федин. Все члены Комиссии по литнаследию Бабеля были расстроены и возмущены, так как Федин явно не хотел принимать участия в работе Комиссии и не захотел подписать письмо Поликарпову. Кроме того, было неясно, как к этому отнесется Эренбург. А вдруг совсем не придет на вечер? Эренбург пришел, но сел не в президиум на сцену, а в первый ряд в зале. Отказалась сесть в президиум и я.

Вечер открыл Федин, потом выступили писатели Никулин, Бондарин, Славин, Лидин, Мунблит и критик Панков — сотрудник журнала «Знамя». Эренбург выступил последним. Привожу его речь почти полностью, как она была застенографирована:

«Я не мог не выступить, хотя здесь многие хорошо рассказывали об Исааке Эммануиловиче и хотя я писал о нем. Это самый большой друг, которого я имел в жизни. Он был моложе меня на три с половиной года, но я шутя называл его «мудрый ребе», потому что он был мудрым человеком. Он удивительно глубоко смотрел в жизнь.

Он понимал, что взгляд человека не может охватить бесконечность, и он относился с некоторой брезгливостью к авторам (даже очень почтенным и к которым он лично относился хорошо), которые пытались увидеть все. Он говорил часто: «а лучше поглубже». Он хотел увидеть то, что он мог увидеть глубоко.

Он любил окружать себя неизвестностью, что-то скрывать, не говорить, куда пошел. В Париже он как-то пошел ко мне и не пришел, а я ждал. Оказывается, его дочь спросила: «Куда ты идешь?» А у него не хватило силы соврать, и он сказал: «К

Эренбургу». И когда он это сказал, он уже не смог прийти ко мне и направился в противоположную сторону.

Он не был романтиком в искусстве. К нему абсолютно применимо слово «реализм», но это реализм человеческий, это единственное прилагательное, которое в данном случае можно применить к этому слову. Ту жестокость, которую можно найти во всех рассказах Бабеля, чем он ее смягчал? Любовью, соучастием в заговоре с героями и с читателями, огромной душевной добротой. Он был очень добрым и хорошим человеком не в том обывательском смысле, как говорят, а по-настоящему, и то, что говорили, что он не верил в удачу писателей душевно небрежных, это очень выражает всю природу Исаака Эммануиловича. Когда он как-то раз ждал меня в Париже, он перечел маленький рассказ Чехова, и, когда я пришел (а я запоздал), он мне сказал: «Знаете, что удивительно? Чехов был очень добрым человеком». Он ругался с французами, которые смели критиковать то или другое в Мопассане, говорил, что Мопассан безупречен. Но в одном из последних разговоров со мной сказал: «Все у Мопассана хорошо, но сердца не хватает». Он вдруг почувствовал эту стихию страшного одиночества и отъединенности Мопассана.

Бабель был очень любознательным. Я не могу сказать, что я знал веселого Бабеля, он не был ни весельчаком, ни бодрячком — ничем, что требовалось для того, чтобы быть одобренным. Он был печальным человеком, который умел смеяться и у которого была очень интересная жизнь. В жизни его особенно интересовало то двоякое и загадочное, что вообще интересует людей во всех возрастах, — смерть и любовь… Сколько он наслушался исповедей, которые он умел вызывать!

В Париже, когда у него не было денег, он мог заплатить сколько угодно девушке, чтобы она с ним поговорила в кафе, а самому не пойти обедать. Он не мог видеть женскую сумку без просьбы, часто безуспешной: «Можно посмотреть, а что внутри?»

Я помню хорошо это время. Бабель умел быть очень осторожным. Его никак нельзя назвать человеком, который лез напролом. Он знал, что не должен ходить в дом Ежова, но ему было интересно понять разгадку нашей жизни и смерти. В одну из последних встреч, когда меня в конце концов выпустили в Испанию, мы сидели с ним в ресторане «Метрополь». Там танцевали, играла музыка, и он, наклонившись ко мне, шепотом сказал: «Ежов — только исполнитель». Это было после длительных посещений дома, бесед с женой Ежова, которую он знал давно. Это была единственная мудрая фраза, которую я вспоминаю из всего, что я слышал в то время. Бабель больше нас видел и разбирался в людях. Вот уж кто никогда не мыслил

категориями и абстракциями, а всегда живым человеком.

Он был сформирован революцией, и трагична была судьба человека, который сейчас перед вами (показывает на портрет). Он был одним из самых преданных революции писателей, и он верил в прогресс. Он верил, что все пойдет к лучшему.

И вот его убили… Я помню, как-то раз он пришел мрачный в начале 1938 года ко мне в Лаврушинский. Сел, осмотрелся и сказал: «Пойдем в другую комнату». Он боялся разговаривать, в комнате был телефон. Мы перешли в другую комнату, и он шепотом сказал: «Я расскажу вам сейчас самое страшное». Он рассказал, что его повели на фабрику, где книги превращались снова в бумагу, и рассказал с необычайной силой и выразительностью, как сидят здоровые девки и вырывают бумагу из переплетов. А каждый день шло огромное уничтожение книг. И он сказал: «Страшно!»; я был подавлен разговором, а он сказал: «Может быть, это только начало?» Это была одна из его тем об очкастых, о тех, кто читает книги, о тех, кто думает, о тех, у кого есть мнение об этой стихии. И он рассказал о тех девушках, как их увидел Довженко в «Земле», — как о стихии, поднявшейся с земли. Это была одна из наших последних встреч.

Я не знаю, что он писал дальше. Он говорил, правда, что он ищет простоту. Его простота была не той, которая требовалась, она была простотой после сложности. Но я хочу сказать одно — ведь это большой писатель. Я говорю это не потому, что я люблю его до сих пор. Если говорить языком литературоведов, объективно, — это гордость советской литературы.

Мы в Доме писателей. Мы все писатели или писательские болельщики, мы все имеем отношение к советской литературе.

Что значит реабилитация? Это не те, скажем, глупости, что были написаны в папке его дела, которым удивлялся прокурор и которые были действительно глупостями. Это было известно и раньше. Те, которые живы, перед Бабелем и читателем обязаны. Разве не удивительно, что страна языка, на котором он писал, эта страна его издает в десять раз меньше, чем в социалистических странах и на Западе. Ведь это страшно.

Я вчера получил письмо от Ивашкевича. Зная, что будет этот вечер, он написал много хорошего о Бабеле и сообщил, что в Польше в 1961 году дважды выходил перевод его книги, изданной в Москве в 1957 году, а вышедший недавно маленький двадцатитысячный тираж разошелся в течение одного дня. У нас в 1957 году издали — и крышка, ничего нельзя поделать. Разве не страшно, что мы просили устроить вечер в Политехническом, а нам ответили: «Нет, только в Доме литераторов». И стояли люди на улице, не могли попасть сюда. Это писатель революции,

писатель, которого любил наш народ.

Если бы он был жив, если бы он был бездарен, то уже десять раз его собрание сочинений переиздали бы. (Продолжительные аплодисменты.) Не думайте, что я кричу впустую. Я хочу, чтобы наконец мы, писатели, вмешались в это дело, чтобы мы заявили издательству, что нужно переиздать Бабеля, чтобы мы добились устройства вечеров. Почему поляки, чехи устраивают вечера, а у нас, не будь Журавлева, которому я признателен глубоко за Бабеля, и имени бы его не знали.

Ведь целое поколение за это время выросло, которое его не знает, неужели нельзя сделать, чтобы его рассказы, которые так нравились Горькому, были доступны читателю? Ведь мы, уважая читателя, думаем не только о том, что должны намного лучше писать, но мы хотим, чтобы хороших писателей читал народ, это наш долг. Если не мы, писатели, то кто же это сделает?

Я хотел раньше привести отзывы многих зарубежных писателей о Бабеле: и то, что есть написанного, и то, что прислали сейчас, и то, что я помню по памяти. Я помню, как в мадридской гостинице Хемингуэй, который впервые тогда прочитал Бабеля, сказал: «Я никогда не думал, что арифметика важна для понимания литературы. Меня ругали за то, что я слишком кратко пишу, а я нашел рассказ Бабеля еще более сжатый, чем у меня, в котором сказано больше. Значит, и это признак возможности. Можно еще крепче сжать творог, чтобы вся вода ушла».

Когда на трибуну на парижском Конгрессе защиты мира поднялся Исаак Эммануилович и без листочка бумаги рассказал о том, как читают в колхозах, он показал душевную свежесть нашего народа. Когда он вышел, с места вскочил немолодой длинноволосый Генрих Манн и попросил: «Вы можете меня представить Бабелю?»

Я не знаю страны и больших писателей, которые бы не почувствовали силу бабелевской искренности, человечности и которые бы его не любили. Такими могут быть только злые враги.

И вот семьдесят лет. Мы как бы на празднике его. Я согласен встать и служить как пес перед всеми организациями, сколько скажут, для того, чтобы вымолить наконец переиздание книг, которые стали редкостью теперь, когда препятствий нет. Бумаги нет? Пусть я выключу один том свой. Нельзя проходить через терпение людей, которые хотят послушать о давно погибшем писателе. Нельзя понять, чтобы закрывали двери, и ждать, когда будут отмечать восьмидесятилетие, может быть, тогда кто-нибудь попадет.

Я хотел бы, чтобы все писатели помогли в осуществлении

одного — чтобы Бабеля смог прочитать наш народ. Мало бумаги одну книжку издать? Это не будет собрание сочинений, да еще длиннейшее. Должна найтись на это бумага. (Аплодисменты.)

Набор друзей у него был разный даже в Париже, где он не так долго был. Это торговцы вином, жокеи, шоферы, но, конечно, и мосье Триоле, первый муж Эльзы Триоле, — конник. Как он говорил о лошадях, о жеребцах! Его судьи были с улыбкой, его жестокость была с юмором. Он смягчал все страшные места.

Я сравнивал дневник Первой Конной с рассказами. Он почти не менял фамилий, эпизоды те же, он освещал все какой-то мудростью. Он сказал: «Вот так это было. Вот люди, эти люди бесчинствовали и страдали, глумились и умирали, и была у каждого своя жизнь и своя правда». Из тех же самых фактов и тех же фраз, которые он впопыхах записывал в тетрадь, он потом и писал.

Но хватит. Я тронут был и речами всех знавших Исаака Эммануиловича, и тем, как слушали, и, видимо, не только этот зал, но и его окрестности, коридоры и на улице. Я рад за Исаака Эммануиловича. Я рад, что здесь Антонина Николаевна и дочка Бабеля Лида услышали и увидели, как любят Бабеля».

Речь Эренбурга, произнесенная без всяких записок, много раз прерывалась и закончилась бурными аплодисментами. После его выступления артист Художественного театра Николай Пеньков великолепно прочел рассказ Бабеля «Мой первый гусь», а затем Дмитрий Николаевич Журавлев, как всегда блестяще, выступил с двумя рассказами — «Начало» и «Ди Грассо».

На сцене стоял портрет улыбающегося Бабеля, очень хорошо выполненный фотографом Дома литераторов в натуральную величину или даже чуть больше.

После вечера в Доме литераторов, в том же 1964 году, был устроен вечер памяти Бабеля в городе Жуковском, на чем настояли инженеры авиационной промышленности. Выступление Эренбурга на этом вечере было таким же блистательным. Поэт Андрей Вознесенский мог сказать только, что совсем недавно познакомился с творчеством Бабеля и был ошеломлен. На вечере после выступлений был показан кинофильм «Беня Крик», который устроителям вечера удалось получить в киноархиве в Белых Столбах.

С тех пор ни восьмидесятилетие, ни девяностолетие Бабеля Союзом писателей не отмечалось, уж слишком он был напуган стечением такой массы народа на семидесятилетии.

В 1967 году, после рождения моего внука Андрюши, возник вопрос о даче на лето. Любовь Михайловна хотела, чтобы мы поселились рядом с ними в Новом Иерусалиме. Говорила с

хозяином соседней дачи, но он собрался ее продавать и вызвался найти мне другую. И нашел. Мы поселились на даче профессора Скрамтаева, у его вдовы, не близко от Эренбургов, но все же в одном с ними дачном поселке. Эренбурги были не из числа гуляющих дачников, в их семье обычно гулять ходили только две сестры Эренбурга — уже пожилые одинокие женщины. Мы же, наоборот, были дачниками, много гуляющими по окрестностям. Поэтому обычно мы сами приходили к Эренбургам. Как-то раз прихожу: Любови Михайловны нигде нет, а Илья Григорьевич в своей комнате стучит на пишущей машинке. Я села в холле на диван и жду, когда кто-нибудь из хозяев появится. И вдруг дверь кабинета открывается и Эренбург удивленно говорит: «Что же Вы не зашли ко мне?» — «Я не хотела Вам мешать». — «А я так рад был бы, чтобы мне помешали, работать ведь не хочется».

Когда Илья Григорьевич узнал, что я хочу на даче завести небольшой огород, он очень воодушевился и тотчас же повел меня в свой кабинет, где у него в камине в коробках от сигарет хранились разные семена. Он отсыпал мне семян редиса, моркови, репы, а когда я спросила, нет ли семян лука-порея, нашел какую-то коробочку и дал мне. Я никогда раньше не сажала лук-порей, поэтому вида семян не знала. Но мне показалось подозрительным, что семена, которые мне дал Илья Григорьевич, похожи на семена свеклы. Однако авторитет Эренбурга как огородника был так высок, что я засеяла целую грядку этими семенами. Когда появились два первых листочка, я сорвала одно растение и пошла к Эренбургу, и показала: вот, что снова взошло у меня вместо лука-порея. Он стал гадать, что бы это могло быть. Пошли вместе на его обширный огород, осмотрели все грядки, но такого растения нигде не нашли. Тогда решили: пусть растет, посмотрим, что будет дальше. Когда прошел еще месяц, вся грядка заполнилась густой зеленью. Это были большие листья на толстых стеблях. Я сорвала один и показала Эренбургу. Удивлению его не было границ. Срочно был вызван агроном Николай Григорьевич. Он тоже такого растения не знал. Тогда открыли все каталоги овощей и наконец в английском каталоге нашли. Это было растение, родственное свекле. Европейцы эти толстые стебли отваривают в соленой воде, добавляют масло или соус и едят, как спаржу. Я отварила несколько штук, но никто из семейства, кроме меня, не решился их даже попробовать. Женщина из поселка, у которой мы покупали молоко, выдернула эти растения и увезла целую тачку для своей коровы со словами: «Это моей корове все равно что торт».

Огород для Ильи Григорьевича очень много значил и занимал

довольно большую площадь. Туда была подведена вода, поливка велась шлангами, стояли бочки для жидкого навоза, были парники, где выращивали рассаду. Но основную рассаду привозил агроном, с которым Илья Григорьевич поддерживал постоянную связь. На огороде было очень много сортов редиски, поспевала она рано. Еще до обеда Эренбург меня спрашивает: «Вы любите редиску?» — «Очень». А когда сели за стол, всех заставлял есть ее со словами: «Вы же ее любите, почему же так мало едите?»

Выращивались разные сорта салата, кабачки и патиссоны. При этом кабачки были не обычные, а какие-то особенные, усложненной грушевидной формы, молодые, но огромные, с темно-зеленой кожурой, на вкус гораздо нежнее обычных. Сажалось много сортов разной фасоли, со стручками тонкими и длинными, маленькими и большими. Она поспевала в разные сроки. Ее отваривали молодую, в стручках, на гарнир к мясным блюдам. На этом огороде выращивалось и много сортов капусты: и обычная, и цветная, и брюссельская, и еще какая-то, у которой едят соцветия, и красная. Огород был расположен ниже дачи и цветника, и к нему по склону вела серпантинная дорожка.

Цветник располагался на уровне дачи и занимал порядочную площадку возле открытой террасы. Так как Илья Григорьевич привозил семена и черенки из-за границы, там можно было увидеть разные диковинные цветы. Ранней весной появлялись крокусы и какие-то цветы невероятно яркой и разнообразной раскраски. Создавалось впечатление, что повсюду разбросаны разноцветные пасхальные яйца. Весь цветник был окаймлен примулами, нисколько не похожими на наши. Они были крупные и очень разные как по форме лепестков, так и по расцветке. Нарциссы высаживали целой грядкой вдоль цветника у самого забора. Множество всевозможных роз — особенно поражали почти оранжевые, множество колокольчиков и лилий.

Однажды Эренбург привез из Англии луковицы королевской лилии. Долго ждал, когда она зацветет, и наконец появился единственный цветок, совершенно золотой. Илья Григорьевич всем его показывал. В 1964 году откуда-то из Европы привез семена вьюнка и посадил их в ящик с таким расчетом, чтобы растение обвилось вокруг передней колонны, оформлявшей террасу. И вот растение действительно обвилось вокруг колонны, поднимаясь все выше, до самой крыши; зелень была густая, но никаких цветов на нем не было. Так было и в первый год после посадки семян, и во второй, и в третий, и лишь после смерти Ильи Григорьевича, когда на даче жила одна Любовь Михайловна, этот вьюнок вдруг расцвел. Я пришла однажды к ней и остановилась пораженная. Все растение, обвившееся вокруг

колонны, было покрыто огромными, с блюдце величиной, синими цветами. Подумать только, Илья Григорьевич так ждал этого цветения, и при нем растение не цвело, а теперь, когда его нет, такое чудо…

Разводил Илья Григорьевич и комнатные цветы. Большая терраса была превращена в зимний сад. Цветы в больших кадках на полу, в горшках и ящиках на подоконниках. Масса вьющихся растений, которые покрывали стены террасы и потолок. К дому примыкала оранжерея. Там все было заполнено цветами, много земли в ящиках на специальном столе. Здесь Эренбург колдовал зимой и летом, что-то сеял и сажал, что-то пересаживал. Если в горшке появлялся красивый цветок, Илья Григорьевич приносил его в комнату или на террасу, а отцветший возвращал назад в оранжерею.

Дважды за время знакомства с Эренбургом мне удалось удивить и обрадовать его. Первый раз году в 1963-м или 1964-м моя приятельница, ездившая в командировку куда-то на Север, привезла и подарила мне большой букет багульника. Эти ветки, казавшиеся совсем безжизненными, надо было поставить в воду. Через несколько дней они покрылись фиолетовыми цветочками, а зеленые листочки должны были появиться позже. Так как букет был очень красивый и для Москвы незнакомый, я решила подарить его Эренбургу — великому любителю цветов.

Закутав букет в бумагу и целлофан, я приехала на улицу Горького, 8. Мы с Любовью Михайловной поставили его в воду и позвали Эренбурга. Оказалось, что ни он, ни Любовь Михайловна никогда не видели багульника. Букет стоял у Эренбургов долго, покрылся зелеными листьями и был необыкновенно красив. Этот мой подарок очень нравился Эренбургу.

Второй раз, уже в 1967 году, когда мы жили на даче, мне удалось купить на московском Центральном рынке роскошные помидоры, огромные и грушевидные. Продавец этих помидоров, увидев мою заинтересованность, рассказал, что этот сорт называется «Бычье сердце» и он сам его вывел. Просил он за них вдвое дороже, чем за обычные помидоры, но я купила целых три килограмма и привезла их на дачу к Эренбургу. Мы со сторожихой дачи перемыли их на кухне, вытерли, уложили на блюдо, и я отнесла это блюдо на террасу. У Эренбурга были гости, которых я и раньше встречала в его доме, — Каверин с женой, Борис Слуцкий и Маргарита Алигер. Увидев помидоры, Эренбург спросил, что это такое. И снова я угадала, он никогда раньше не видал помидоров такого сорта, удивлялся их размерам и форме. Все взяли по помидору и нашли их очень вкусными. Подарить что-нибудь Эренбургу было очень непростой задачей, и

я радовалась, что мне это удалось дважды.

Когда в июне 1967 года во французской газете «Монд» появился целый разворот о Бабеле, Эренбург позвал меня и больше часа переводил содержание публикаций. Там была и его статья под заголовком «Революционер, но гуманист», что мне очень понравилось. Эта статья заканчивалась так: «Исаак Бабель погиб преждевременно, но успел сделать многое для молодой советской литературы. Будучи революционером, он оставался гуманистом, а это было нелегко».

Разворот о Бабеле в газете «Монд» содержал еще целый ряд публикаций. Пьер Доммерг написал о влиянии творчества Бабеля на американских писателей. По его словам, американские писатели, прежде возводившие в культ Флобера и Мопассана, своих учителей стиля, вот уже десять лет как повернулись лицом к Селину, Арто и главным образом к Бабелю. Автор называет таких американских писателей, как Сол Беллоу, Норман Мейлер и Бернард Маламуд, герои произведений которых удивительно напоминают Лютова из «Конармии»: та же невозможность приспособиться к насилию и, как защита от неотвратимого, та же ирония. «Нежность, жестокость, лиризм, выраженные одновременно сдержанно и с чувством юмора, — таковы точки соприкосновения американской литературы и творчества Бабеля», — писал Пьер Доммерг.

Другой автор статьи о Бабеле, Петр Равич, пишет: «Пытаться разложить бриллиант на его первичные элементы — абсурдная попытка, самое большее, что можно сделать, это исследовать его спектр. Так же и с громадным талантом Исаака Бабеля». Одессу автор называет черноморским Марселем. И дальше пишет: «Убив в 47 лет наибольшего еврея из евреев среди русских писателей, человека, который умел как никто, может быть, со времени Гоголя заставить своих читателей смеяться, уничтожив интеллигента, склонного к глубоким размышлениям, но обожавшего лошадей и казачью силу, власти его страны совершили непоправимое преступление против русской литературы».

Я была очень благодарна Эренбургу за подробный перевод всех статей, посвященных Бабелю, и кое-что записала.

Однажды за обедом Эренбург говорит: «Представьте себе, Борис Полевой уверял иностранцев, которые у меня сегодня были, что Бабель в нашей стране издается миллионными тиражами». Любовь Михайловна возмутилась: «Когда они, наконец, перестанут врать?» А Эренбург отвечает: «Они только начинают».

Как-то заговорили о том, какие невежественные люди

работают в Литфонде. Я рассказала, что пришла получать путевку в Дом творчества, а меня спрашивают: «Он сам поедет?» Ирина Ильинична говорит: «Я пришла получать путевки для себя и для Иришки (внучки поэта Щипачева), а сотрудница Литфонда спрашивает, как правильно написать: Щапочева или Щепачева». Эренбург тут же отозвался: «Сказала бы — Щупачева!»

Лето 1967 года было для меня единственным, но, к сожалению, последним, когда я общалась с Эренбургом постоянно.

В конце лета Илья Григорьевич упал на даче на серпантинной дорожке, ведущей на огород. Его подняли и перенеслив кабинет. Врач Коневский установил диагноз — инфаркт. Любовь Михайловна жаловалась мне, что Эренбург, едва придя в себя, стал требовать газеты, поднимал руки и сам зажигал люминесцентную лампу над изголовьем постели. Уже через двадцать дней кардиограмма стала лучше, но Коневский считал необходимым перевезти больного в Москву. Телефон на даче работал с перебоями, и могло случиться, что связь с Москвой может прерваться в самый опасный для здоровья Эренбурга момент. Был созван консилиум из нескольких врачей, и они пришли к выводу, что перевозить Эренбурга можно.

Везли его в машине «скорой помощи». Любови Михайловне сесть в эту машину почему-то не разрешили, и она ехала следом в легковой машине. В машине «скорой помощи» Эренбурга привязали к носилкам, — чтобы он не совершал лишних движений. Ему было неудобно, и он попросил сопровождавших санитаров его развязать, но они отказались. Всю дорогу они беседовали о способах засолки огурцов, не обращая на больного ни малейшего внимания. Как он сам потом рассказал жене, он сильно переволновался, а когда его наконец привезли и уложили в кабинете в московской квартире, успокоился и почувствовал себя лучше. Так продолжалось несколько дней, и все думали, что Илья Григорьевич выздоравливает. У него постоянно дежурила медицинская сестра. Однажды вечером, когда вся семья собралась возле него, домашняя работница позвала всех в соседнюю комнату ужинать. Все ушли, осталась лишь медсестра, которая перед уходом решила еще раз проверить его пульс, начала считать — раз, два, три… двенадцать… тринадцатого удара не последовало. Эренбург умер. А еще вчера он сказал своей дочери Ирине: «Кажется, я выкарабкался». Все были потрясены, настолько неожиданной оказалась его смерть.

Гроб с телом Эренбурга был поставлен на сцене Большого зала Дома литераторов. Возле гроба на простой скамье сидели родственники и близкие друзья. Зал был заполнен пришедшими

попрощаться, а мимо сцены по проходу двигались люди, отстоявшие очередь на улице. Многие кидали на сцену цветы, некоторые выкрикивали слова, обращенные к Эренбургу как защитнику от антисемитизма и человеку, сыгравшему такую большую роль в победе над фашизмом. Приехало много иностранных друзей, со сцены произносились речи. Сменялся почетный караул.

Художник Натан Альтман, сидевший на сцене рядом со мной, пытался запечатлеть лицо Эренбурга. Он сделал несколько попыток, отрывая из блокнота лист за листом, но все их скомкал и спрятал в сумку. Так ему и не удалось сделать ни одного наброска.

Когда гроб выносили из зала, вся улица была запружена народом. Я вышла из дверей и сразу была зажата толпой, пробраться к машине оказалось невозможным. К счастью, меня увидел уже сидевший в машине Борис Слуцкий, он выскочил из машины, протолкался ко мне и втащил внутрь. Иначе я бы не попала на Новодевичье кладбище. Машина с гробом Эренбурга была где-то впереди. На кладбище снова произносили речи, гроб опустили в могилу. Я стояла рядом с Любовью Михайловной, которая сказала: «И я смогла это пережить!» Дело в том, что у нее было уже два инфаркта, и мы все боялись, что Илье Григорьевичу придется пережить ее смерть. Оказалось, наоборот.

Таких похорон, поистине народных, я никогда раньше не видела. И на кладбище, и вокруг него были несметные толпы народа. Москвичи показали свое отношение к писателю Эренбургу свою любовь и признательность за все, что он сделал за свою жизнь.

Культ Бабеля

Все, что связано с Бабелем, всегда было дорого для меня. В доме все годы после ареста царил его культ. Я собирала вокруг себя людей, которые были близки Бабелю, встречалась с его одесскими приятельницами — Лидией Моисеевной Варковицкой и Ольгой Ильиничной Бродской. Ближайшими моими друзьями стали Исаак Леопольдович Лившиц, друг Бабеля со школьных лет, его жена Людмила Николаевна и их дочь Таня.

Встречались нечасто, но переписывались постоянно с Татьяной Осиповной Стах, жившей в Киеве; она и ее муж Борис были друзьями Бабеля с давних, еще одесских времен. Их дочь Софья знала Бабеля с детства.

После ареста Бабеля мы постоянно общались с семьей родной сестры его матери, тети Кати. Она была замужем за Иосифом Моисеевичем Ляхецким, и они жили вместе с братом и сестрой Ляхецкими в одной квартире в Овчинниковом переулке. После войны в этой квартире поселился и приехавший с фронта племянник тети Кати по мужу, Михаил Львович Порецкий с женой Асей. И я, и Лида всегда считали эту семью родными нам людьми и испытывали постоянное с их стороны дружеское расположение.

Я уже писала о том, что неизменными моими друзьями были Юрий Карлович Олеша, Николай Робертович Эрдман, Вениамин Наумович Рыскинд и Семен Григорьевич Гехт. Из писательской среды эти четверо были единственными, приходившими в мой «зачумленный дом» задолго до реабилитации Бабеля. Со многими людьми я никогда не встречалась при его жизни, а после со всеми познакомилась: мне захотелось их видеть, чтобы о нем говорить. С сыном Бабеля Мишей увиделась сначала Лида. Поэт Евтушенко встретился с Мишей на юге и сказал ему, что знаком с его сестрой Лидией Бабель. Миша взял у Евтушенко наш телефон, позвонил Лиде и условился с ней о встрече. Лида мне рассказала, что Миша — художник-пейзажист, известный в Москве, и главной темой его картин является город. Ему удалось зарисовать множество уголков Москвы, часть из которых уже не существует. Однажды зимой я увидела из окна нашей квартиры, выходившей на Яузский бульвар, какого-то художника с мольбертом и попросила Лиду посмотреть в окно — не Миша ли рисует напротив нашего дома? Оказалось, это был он. Тогда Лида вышла к нему и сказала, что он может у нас погреться, пообедать с нами и оставлять свои мольберт и краски. Так я познакомилась с Мишей. Он принес мне показать свое свидетельство о рождении,

принес напечатанный впервые в «Литературной газете» рассказ Бабеля «Закат» и несколько его фотографий, хранившихся в их доме. Миша мне очень понравился, и хотя у него нет прямого сходства с отцом, но я вижу много черточек и во внешности, и в манере держаться, напоминающих мне Бабеля. Мы редко встречаемся, но нежность к нему всегда со мной.

С дочерью Бабеля Наташей я познакомилась в 1960 году. Тогда в Москве проходила французская выставка картин, и Наташа со своей подругой Таней Парен приехали из Парижа как гиды этой выставки. Обе знали русский язык и специально учились на курсах гидов по живописи. Наташе было около тридцати лет, она училась в Сорбонне и преподавала курс французской литературы. Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала в душе своей дочерью. Сестры же подружились так, что готовы были все сделать друг для друга.

Сестра Бабеля Мери, приехавшая в это же время в Москву, чтобы повидаться с нами, очень удивилась такой дружбе Лиды и Наташи и говорила, что сказалось кровное родство.

Поездка в Сибирь

Уйдя на пенсию, я решила съездить в Сибирь посмотреть, как там живут мои братья Игорь и Борис, а также семья погибшего на войне брата Олега. Игорь был директором сельской школы, где его жена Вера преподавала русский язык и литературу; их дети — Николай и Татьяна тогда еще учились в школе. Борис работал в газете в поселке полугородского типа, его семья состояла из жены Марии, их дочери Нины, принятой в первый класс школы; его приемная дочь Лена училась в Томске в университете. Вдова Олега Валерия с дочерью Ларисой и сыном Олегом жила в Томске, где дети учились и работали.

Ехала я до Томска на поезде, поездка была очень приятной, во-первых, потому, что я вообще очень люблю ездить, а во-вторых, вагон был полупустой, и в купе я оказалась одна. В дорогу я взяла с собой молотый кофе, сгущенное молоко, коробку хороших конфет и всякую еду. По утрам могла угостить проводницу, с которой договорилась, что она не будет сажать новых пассажиров в мое купе.

Поездка продолжалась почти трое суток, я читала интересную книгу на немецком языке, раскладывала пасьянс и была как-то удивительно спокойна за Лиду. Она осталась в Москве не одна, а со своим мужем.

На вокзале в Томске меня встречал Борис, которого я не видела с 1946 года, то есть двадцать лет.

С поезда мы с Борисом пересели в легковую машину и поехали к Игорю. Был разгар лета, воздух насыщен ароматами цветов, трав и деревьев, и я с наслаждением вдыхала этот знакомый с детства запах. Игорь, как оказалось, был в больнице после инфаркта, но уже должен был вернуться домой.

Он жил в деревянном доме из трех комнат; из кладовой Игорь устроил себе мастерскую-кабинет, где любил работать и что-нибудь мастерить. Двор и огород были невероятно запущены; все, что было посажено, заросло травой. Рядом с двором находилось картофельное поле, и оно было в порядке; его недавно кто-то окучивал, многие кусты картофеля уже цвели. По двору неприкаянно бродили куры и несли яйца где попало, я находила их просто среди травы.

Я принялась полоть грядки в огороде, и воскресли редиска, зеленый лук, огурцы, свекла, репа, морковь, укроп и петрушка. Земля замечательная, черноземная, рыхлая и совершенно такая же, как у нас была в Боготоле, где мне приходилось полоть грядки.

Заставить помогать дочь Игоря Таню мне не удалось; выпив с утра молока, она убегала из дому и пропадала до обеда. В это время в селе работали студенты из Томска, отбывая рабочую практику, что-то строили для колхоза. И Татьяна наша проводила время с ними. Сына Игоря Николая дома не было, он уехал к кому-то в Томск. Семейная жизнь Игоря сложилась неудачно из-за того, что ему с Верой пришлось пережить смерть двоих сыновей. Аркашу я не видела, а Алешу Игорь с Верой привозили в Москву в один из своих летних приездов. Мальчик был очаровательный и очень умненький. Диагноз его болезни так и не был установлен, он слабел с каждым днем, а перед смертью сказал: «Мама, я ухожу от вас». Так рассказывала мне Вера, и я и теперь не могу вспоминать это без слез. В живых остались только Николай и Татьяна.

Через три дня после моего приезда вернулся из больницы Игорь, но был так слаб, что должен был лежать, вставая только к столу. Я готовила для него, да и для всех, еду из того, что было в наличии. Было молоко, творог и сметана, масло, овощи, яйца. В сенях стоял мешок с мукой. Простой хлеб надо было брать в колхозной пекарне, но до семи утра. Мы часто оставались без хлеба, так как Вера то проспит, то забудет его купить. Иногда варился борщ без мяса, которого в селе достать было нельзя: летом никто не убивал животных. Игорь очень любил творожники с зеленым луком, и я часто их делала. Позже появилась молодая картошка и огурцы; при желании можно было зарезать курицу, но никто из нас не мог этого сделать, а просить было некого.

Игорь любил пить чай, поэтому я привезла из Москвы хорошего чая и лимоны. Он собирал косточки от лимонов и высаживал их в горшочки с подготовленной землей с песком и мелким гравием для дренажа. Когда в горшочках появлялись ростки лимонного дерева, Игорь раздаривал их своим ученикам. При хорошем уходе лимоны вырастали в комнатных условиях и даже давали плоды — по одному, а часто и по два лимона на деревце.

Когда Игорь немножко окреп и стал выходить на улицу, он прежде всего повел меня в свою школу. Она была расположена на окраине села в березовом лесу. Дом деревянный, одноэтажный, был построен еще в царское время. Помещение для мастерских было выстроено позже, уже в советское время, в виде небольшого отдельного здания. В нем проходили уроки труда и всякого мастерства. Эти уроки преподавал сам Игорь, он же и директор школы. Осмотрев классы, Игорь повел меня в сад, где он выращивал низкорослые яблони, не боящиеся морозов, так как снег полностью их покрывал и таким образом спасал.

Второй нашей прогулкой был поход в осиновую рощу, где росли подосиновики. Там было такое их множество, что, не уходя далеко, я набрала полную корзину. Игорь грибов не собирал, он развел небольшой, но очень дымный костер и сидел возле него. Комаров было множество, и я время от времени прибегала к костру, чтобы избавиться от комаров и передохнуть. Это было самое комариное время, позже они исчезли, как всегда бывало в Сибири.

Третьей нашей с Игорем прогулкой была поездка на кордон, так называлось место, где рос сосновый лес, оберегаемый от порубок. Этот лес состоял из стройных, высоких сосен, считавшихся драгоценными для различных важных построек. Подножие леса покрыто зарослями брусники, к тому времени уже поспевшей. Игорь взял с собой самодельный деревянный гребень, при помощи которого можно было быстро набрать ведро брусники, но с листочками. Я собирала ягоды без гребня, но зато и без брусничных листьев.

Ехали мы на кордон на телеге с запряженной в нее лошадью, и так как Игорь был еще не совсем здоров, запрягать и распрягать лошадь должна была я. Игорь подсказывал мне, что и как надо делать, и я в первый раз в жизни справилась с этой работой. До этого, еще в юности, я могла надеть на лошадь только уздечку для верховой езды.

Накосить траву для нас и лошади тоже должна была я сама, и не без труда справилась и с этой задачей. Полянка, на которой надо было косить траву, была окружена редким лесом, в котором в изобилии росли дикие сибирские пионы — темно-красные и душистые. Мы подъехали к домику лесника, у него отдохнули, выпили чаю, перекусили. Игорь был знаком с лесником с давних пор и любил с ним разговаривать. Воздух в этом сосновом лесу был удивительно целебным, казалось, что здоровье вливается вам в легкие; комаров уже не было.

Вечером, когда мы собрались уезжать, я пошла за нашей лошадью. Она паслась у речки, довольно далеко от домика лесника. Привела лошадь, запрягла ее, и мы уехали домой. Проезжая через какую-то деревню, мы встретили директора местной школы, женщину, которую трудно было отличить от рядовой колхозницы, такой у нее был затрапезный вид. Она спросила Игоря, отработали ли его учителя свою норму по сбору льна, и похвасталась, что у нее все учителя уже отработали. Игорь сказал ей, что был болен, а учителя разъехались.

Я была возмущена тем, что учителей в их отпускное время заставляют работать в колхозе. Всю зиму они преподают, а колхозники в это время отдыхают.

На другое утро я, научившись немного обращаться с косой, скосила весь бурьян во дворе, а потом Игорь позвал меня, чтобы посмотреть, как освобождают бруснику от брусничных листочков. Он, подложив под две ножки стола газеты, сделал плоскость стола наклонной, обложил края стола скрученными полотенцами, подставил таз на стул возле нижнего края стола и стал сыпать бруснику с листочками на другой, высокий край стола. Ягоды скатывались вниз и попадали в таз, а листочки оставались на столе. Затем брусника промывалась и из нее варилось варенье, готовилась начинка для пирога и моченая брусника как гарнир к мясным блюдам.

По вечерам я много гуляла по окрестностям села. Иногда заходила в ближайший лес, собирала грибы сыроежки, из которых получается удивительно вкусный суп. А иногда с Таней ходила в местный клуб посмотреть какой-нибудь фильм. Дома у Игоря телевизора не было.

Один раз в неделю Вера, жена Игоря, топила баню, в другие дни недели там можно было утром облиться прохладной водой. Настало время поехать к Борису. Он жил в поселке городского типа поблизости от Оби. На редакторской машине Борис приехал за нами — Игорь и Вера поехали тоже.

У Бориса с Марией была очень маленькая квартира — половина небольшого одноэтажного дома, состоявшая из двух комнат: одна была скорее кухней, с плитой, другая комната была спальней. В ней стояли две кровати и большой стол со стульями. Обстановка комнат очень бедная, стены украшал только портрет моей Лиды, нарисованный Борисом по фотографии, которую я ему прислала. Была между ними взаимная симпатия.

Жизнь Бориса с Марией выглядела какой-то временной, без всякой перспективы когда-нибудь улучшиться. Так жила вся интеллигенция в нашей провинции.

После застолья с водкой по случаю моего приезда стали укладываться на ночь. Я должна была спать с семилетней дочерью Бориса Ниной, Мария и Вера вместе на другой кровати, а мужчины (Игорь, Борис и шофер редакторской машины) на полу. Заснуть я не могла.

Промучившись полночи, я встала, открыла дверь в сени и на табуретке просидела возле открытой двери остаток ночи. Утром пошла в местную гостиницу и сняла номер люкс, предназначенный для приездов партийного начальства. Стоил он совсем недорого для меня, но для местного населения считался очень дорогим. Я объяснила Борису, что не могла заснуть всю ночь, и он меня понял и не обиделся. Маленькая Нина любила приходить ко мне в гостиницу и шлепать по мягкой мебели, сняв

башмаки. По утрам я приходила в дом Бориса завтракать, потом уходила одна или с Ниной гулять по поселку. Самым примечательным местом была кедровая роща. Не очень большая по площади, она отличалась красотой деревьев и воздухом, особенным воздухом с запахом кедровой хвои. Роща была излюбленным местом для отдыха — никакого другого парка или сада в поселке не было.

Один раз, гуляя по поселку, я забрела на местное кладбище и бродила там среди могил. Было очень грустно от мысли, что когда-нибудь и мой любимый брат Борис будет похоронен на этом кладбище, но я отогнала эту мысль…

Как-то под вечер Борис повел меня на реку Обь. Берег ее зарос кустами черемухи, которая уже поспела. Я захотела попробовать ягод, и Борис, не жалея дерева, вдруг отломил огромный сук, чтобы я могла собирать ягоды с удобством. Я сердилась на Бориса за такое безжалостное отношение к природе, но он только смеялся надо мной. Ягоды черемухи были сладкими, в России — редкость.

Чтобы посмотреть на Обь, мы уселись на берегу, выбрав удобное место, и Борис попросил меня рассказать подробно о смерти мамы, а потом спросил о Наташе, той девушке, с которой он переписывался во время войны, а потом и встречался, когда жил у нас в Москве. В то время Наташа часто приходила к нам, а когда Борис уехал из Москвы в Сибирь, приходить перестала, и мы ничего не знали о ее беременности и о рождении мальчика Юрия. Она пришла к нам, когда мальчику было уже полтора года. Моя мама сразу же узнала в нем сына Бориса — «по затылочку», как она говорила. С тех пор Наташа с Юрой стала часто приходить к нам и даже оставлять его у нас.

Наташа просила и меня, и маму не говорить Борису о рождении мальчика, и мы выполнили ее просьбу. В первый раз на берегу Оби я рассказала Борису о рождении мальчика, о смерти Наташи, когда Юре было десять лет, о том, что жил он все это время у ближайшей подруги Наташи Любови Ивановны. Наташа не хотела, чтоб он жил у нас, боялась, как бы мальчик не попал в семью Бориса к мачехе.

Болезнь и смерть Наташи, а также полное сиротство Юры я переживала очень тяжело и похудела тогда так, что юбку пришлось ушивать на семь сантиметров.

Любовь Ивановна была одинокой женщиной, и когда я сказала Юре, что он мог бы жить у нас, он ответил: «Но Любовь Ивановна совсем одна, у нее только кошка Клеопатра». Она была директором школы, членом партии коммунистов, очень преданной. С ней мне было трудно найти общий язык. К нам Юру

она не отпускала. А когда я приходила повидать Юру, она могла сказать: «Что, визит инспекции?» И я перестала к ней приходить и почти не знала, как Юре у нее живется. Так прошло несколько лет. Когда Юра уже заканчивал школу, он вдруг пришел к нам и сказал, что уходит от Любови Ивановны и будет жить один в своей комнате, в которой жил с мамой. Я спросила: «Почему?» И он ответил: «Когда я ее даже не уважаю…» — и больше не захотел ничего рассказывать.

Вечером Любовь Ивановна пришла ко мне и говорила со мной до двух часов ночи. Она считала, что если он уйдет от нее, то не сдаст экзаменов в школе, не поступит в институт, и что я должна отговорить его от этого поступка. Но Юра сдал экзамены в школе, получил диплом об ее окончании и поступил в педагогический институт.

Дня через два я уехала в Томск, где думала пробыть еще два дня и навестить семью моего погибшего на войне брата Олега. Борис провожал меня до Томска. Я остановилась у наших бывших соседей в нашей бывшей комнате. Хозяин этой квартиры из двух комнат, друживший с моими братьями, когда приезжал в Москву по делам, останавливался у нас.

Я плохо спала у них первую ночь, грустные впечатления от встречи с братьями меня не оставляли. Игорь был тяжело болен, сказались война, ранение и смерть двух сыновей. Борис пил, бывали и запои, это была уже болезнь, от которой трудно было вылечиться. Жена Бориса тоже любила выпить, так что надежды вылечиться у брата не было никакой.

На следующий день я пошла искать, где живут жена Олега Валерия (Лера) с дочерью Ларисой и сыном Олегом. Нашла их в маленьком домике, состоявшим из одной комнаты и застекленной террасы. Он стоял во дворе большого дома, у хозяйки которого они и снимали домик. Как он отапливался зимой, я не запомнила, но еда готовилась на электрической плитке.

У них дома я застала Леру, Ларису и ее маленькую дочку Ирину, спящую в кроватке. Девочка росла без отца, обманувшего молоденькую Ларису обещанием жениться, как это часто бывает в жизни. Лариса, не закончив высшего образования, работала воспитательницей в детском саду.

Олега дома не было, он уехал на лето в пионерский лагерь, где работал пионервожатым. Так что в этой семье дети работали, а Лера ухаживала за маленькой Ириной. Я провела с ними два дня, оставила им немного денег, платья, кофточки и попрощалась.

Переезд на новую квартиру

Еще до моей поездки в Сибирь мы переехали на новую квартиру. Наш дом по Большому Николоворобинскому, так же, как и другой такой же по Малому Николоворобинскому переулку, должны были сломать и вместо них построить четырнадцатиэтажный дом для студентов-иностранцев, обучавшихся в Военном инженерном институте имени Куйбышева на улице Обуха.

Военное начальство облюбовало место, где стояли эти дома, потому что жильцов, которым надо было давать новое жилье, было не так много и сломать эти дома, состоящие из деревянных каркасов с фибролитовым заполнением, было очень просто. Нам была предложена трехкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома так называемой хрущевской застройки.

Но, боже мой, как далеко от центра Москвы был расположен этот дом! Мы же привыкли жить почти в самом центре Москвы. Метро, чтобы доехать туда, не было; прямых автобусов тоже не было — ходили только трамваи. Мы всячески сопротивлялись этому переезду, но все другие варианты квартир в старых домах были гораздо хуже, а здесь была отдельная трехкомнатная квартира. Этому переезду особенно сопротивлялся муж Лиды Шурик, он к этому времени уже работал в Глазном институте имени Гельмгольца, который был сравнительно недалеко от нашей старой квартиры.

Все наши соседи тоже переехали в разные квартиры этого нового дома по адресу: Азовская улица, дом 15. Те жильцы, которые переехали в наш дом раньше, успели посадить вокруг дома деревья, кусты и даже цветы, и все зеленело. Правда рядом громоздились останки бывшей на этом месте деревни Волхонки, полуразрушенная церковь, в которой помещался какой-то склад.

Постепенно все приводилось в порядок: деревенские постройки и церковь сломали и вывезли, поверхность выровняли, засадили деревьями, поставили скамейки, для детей сделали площадку с песочницей. Школа была напротив нашего дома с одной стороны, с другой стороны строился детский сад. На противоположной стороне Азовской улицы засыпалась бывшая городская свалка и сажались деревья будущего парка.

А в это время в маленьком, наспех сколоченном деревянном домике, где сидели молодые солдаты, очевидно, отвечающие за стройматериалы и оборудование для детского сада, шла бойкая торговля. Продавались листы фанеры, цемент, доски, унитазы, раковины и многое другое. Купить всё это было невозможно, не

было таких магазинов. Солдатики не стеснялись даже приходить в наши квартиры и предлагать свой товар, то есть не свой, а государственный. Как они умудрялись отчитываться перед своим начальством, мы не понимали. Думаю, что в сговоре с ним составляли фиктивные акты о кражах, и недостающие материалы и оборудование снова выдавались стройке.

Я часто смотрела на все это из окна своей кухни и думала: до чего же дошла наша страна, что воруют все.

Возвратившись из Сибири в Москву, я застала квартиру нашу в полном порядке, все было прибрано и чисто; очень светлый паркет наших комнат покрыт светлым лаком. Комнаты были изолированы друг от друга, и в двух из них были балконы на разные стороны дома; кухня была маловата, но и нас было всего трое, а раздельный санузел считался большим преимуществом.

В те времена трехкомнатные квартиры давались только семьям с большим числом жильцов — пять и больше человек. Нам же дали такую квартиру на троих, считаясь с тем, что дома хранился архив Бабеля.

Все было бы хорошо, только отношения между Лидой и Шуриком не были такими идеальными, как раньше. Он никак не мог смириться с тем, что мы согласились жить так далеко от центра. Лида была беременна, и предстоящее рождение ребенка тоже беспокоило Шурика; он боялся, что не сможет сделать карьеру, то есть защитить диссертацию и получить более высокие должности.

Часть пятая
Новый мир

Венгрия, 1966 год

Единственными моими путешествиями за рубеж во времена Советского Союза были две поездки в Венгрию, в Будапешт в 1966 и 1968 годах. Прежде всего я должна рассказать о знакомстве с переводчиком Бабеля на венгерский язык Ласло Вессели. Он позвонил мне в Москве и просил разрешения зайти к нам домой, чтобы познакомиться. Нам с Лидой не приходилось до сих пор принимать у себя дома иностранцев, и мы не знали, чем его угощать. Подали яблочный пирог, красное вино и чай. Но Вессели осмотрел стол, сказал, что очень голоден, и спросил, нет ли у нас бутербродов с колбасой. Мы быстро сделали бутерброды. Он был доволен.

Вессели рассказал нам о том, что прожил в Советском Союзе несколько лет, был арестован. Он рассказывал о своем пребывании в лагерях и о том, как выдавал себя перед другими заключенными за вора, укравшего картину «Иван Грозный убивает своего сына»…

В 1966 году будапештский театр «Талиа» принял к постановке одну за другой две пьесы Бабеля — «Закат» и «Мария» в переводе Ласло Вессели. И он выхлопотал для меня приглашение от театра приехать в Будапешт на спектакли.

Впервые я приехала в Будапешт вечером 11 февраля 1966 года. На вокзале встречал меня Вессели, он отвез меня на такси в гостиницу «Красная Звезда». Она находилась на вершине небольшой горы вдали от города. Окрестности гостиницы были очень живописны: кругом лес, к гостинице примыкал большой парк — место для гулянья летом и катания с гор на лыжах зимой. С городом связь — фуникулёр: поезда из двух вагончиков с деревянными скамейками идут через каждые пять минут.

Вечером следующего дня во время прогулки по Будапешту мы с Вессели зашли в кафе «Вёрёшмарт» на улице Ваци. Старинное кафе; некоторые официанты работали в нем по пятьдесят лет. В этом кафе бывали многое знаменитости. Оно наполнено народом. Сидят две дамы, пьют кофе, потом подсаживаются еще две, потом еще одна, и так пять пожилых дам сидят часа два-три. Приходят парочки, женщины с детьми. Многие друг друга знают, раскланиваются. У некоторых дома плохо топят, и они сидят в кафе часами; другие экономят на этом топливо. Невероятное разнообразие сластей, глаза разбегаются.

Вечером следующего дня мы с Вессели навестили Анну Цобель, подругу Галины Ефимовны Дрейцер[49]. Анна жила с матерью и дочкой Лидой. Анна говорит по-русски без акцента:

кончила в Москве ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии). Мать Анны — Шарлотта Лани — выдающаяся венгерская поэтесса и переводчик поэзии. Ее муж, автор многих литературоведческих книг, был в России арестован, сидел много лет в лагере. Когда его наконец выпустили, он уехал в Венгрию, где умер от рака легких.

Вспоминаю, что в один из визитов в это семейство я долго сидела с Шарлоттой Лани на залитом солнцем просторном балконе их квартиры. Мы разговаривали, читали ее стихи. Шарлотту в Венгрии называли «прекрасная душа» и сравнивали с Анной Ахматовой. Она — очень тихая, милая, добрая и грустная женщина. В первый мой вечер в Будапеште я взяла у Анны русские книжки и выпуски журнала «Юность» с рассказами брата Галины Ефимовны Дрейцер — Анатолия Гладилина. Читала перед сном; было что-то интересное, но кое-что и раздражало.

14 февраля в полдень Вессели повез меня знакомиться с дирекцией театра «Талиа». Я встретилась с директором театра и режиссером спектакля «Закат». Был еще и какой-то журналист, довольно настырный. Вессели перевел мне, что присутствующие потрясены моим внешним видом: ожидали встретить старушку лет под семьдесят.

Режиссер Кароль, довольно молодой, живой, очень симпатичный человек, прежде всего сказал, что все они большие почитатели Бабеля, которого они считают одним из величайших мировых писателей. Кароль добавил, что чем больше пройдет времени, тем больше будет Бабель признан и возвеличен. Пьесу «Закат» они считают замечательной, но им было очень трудно, так как она несценична. Они боялись антрактов и при постановке смогли их избежать. Для этого нужно было придумать связки между отдельными действиями. Сначала они пробовали привнести что-то от себя, но оказалось, что Бабель этого «не терпит»: в пьесе ничего нельзя изменять, ничего чужеродного нельзя к ней добавить. Только при помощи бабелевского текста из других рассказов удалось сделать связки между действиями. В постановке нет ни одного слова, которое не принадлежало бы автору.

Режиссер Кароль рассказал, как он вышел встречать первого секретаря венгерской компартии Яноша Кадора, который приехал на спектакль. Кароль взялся было за шляпу, чтобы приветствовать Кадора, а тот ему сказал: «Не снимайте шляпу». Режиссер удивился: «Почему?» — «Чтобы снять ее перед Бабелем после спектакля», — ответил Кадор. Спектакль «Закат» Яношу Кадору очень понравился. Кароль рассказал также, что он был в Москве, где его спросили: «Почему Вы ставите «Закат» Бабеля? Есть же

другие пьесы советских писателей». Кароль ответил: «Дайте мне такого же качества пьесу, и я ее с удовольствием поставлю». Больше вопросов не было.

После театра мы с Вессели поехали в издательство, где была издана последняя маленькая книжка Бабеля. Нас принимал директор Иожеф Язверени, веселый, смеющийся человек. Он сказал, что скоро собирается в Москву, и просил разрешения побыть у нас дома, хотя бы одну минуту. Вессели рассказал, что директор из рабочих, большой лодырь, по вечерам играет в карты со своим другом пастором. У него очень дельный заместитель, и поэтому дела в издательстве идут хорошо. Из этого издательства мы спустились на несколько этажей вниз, где помещалось издательство «Европа», в котором Вессели когда-то работал. Собрались многие сотрудники, большинство из которых говорили по-русски. Они показали мне роскошные книги по искусству, факсимиле старинных рукописей с тончайшими рисунками в цвете и золоте; эти издания были выполнены на великолепной бумаге. Из этого визита мне запомнилась одна из сотрудниц издательства, которая долго сидела в Советском Союзе в лагерях. Запомнились и необычайные по смелости слова главного редактора издательства о Венгрии: «Мы — машина, которая попала в яму, но так как моторы у нас сильные, то как-нибудь выберемся на дорогу».

На следующий день, перед походом в театр, мы с Вессели зашли в цветочный магазин, где я купила большую корзину цветов для артистов и написала им поздравления. В театре нас посадили в главной ложе. Спектакль шел два с половиной часа без антракта и держал зал в большом напряжении.

В спектакле было много режиссерских находок: использовались проекции картин Шагала. Особенно удачно этот прием работал в придуманной театром сцене перед трактиром, где сменяющие друг друга проекции создавали впечатление бреда пьяного Менделя. Сцена, которая у Бабеля проходит в синагоге, была дана перед синагогой. Эпизод в синагоге с убийством крысы опротестовала Венгерская еврейская община. На сцене — декорация входа в синагогу: две двери, одна для мужчин, другая для женщин. Слышны пение и молитвы. Перед входом разыгрывали диалог о ценах на товары; там же Беня узнавал о предполагаемой продаже отцом заведения. Актеры играли очень хорошо: не совсем по-одесски, но я нашла, что это даже лучше, так как Бабель становился более интернационален. Я нахожу, что между венгерским спектаклем по пьесе «Закат» и спектаклем, поставленным позднее в Москве режиссером Гончаровым, было много общего. Конечно же, они отличались в деталях. Фигура

Менделя Крика в венгерском спектакле была гораздо импозантней, чем персонаж, которого у Гончарова играл Армен Джигарханян. Заканчивался спектакль на сильной драматической ноте: среди притихшего застолья долго плакал старый Мендель Крик.

После окончания спектакля мы собрались в кабинете директора. Пришли актеры, игравшие в спектакле: Ковач (Мендель), Шамодвари (Беня), актриса Дейка (Потаповна). Директор театра Эмиль Кёрёш, очень хороший актер играл роль Бен Захарьи. Разговорам не было конца. На нашей встрече присутствовали и журналисты.

На следующий день утром я встречалась с корреспондентом еврейского еженедельника «Новая жизнь». Увидев меня, корреспондент, мужчина лет под семьдесят, был явно разочарован. Спросил с удивлением: «Вы не еврейка?» А потом спрашивал, был ли Бабель верующим человеком. Расспрашивал о спектакле, интересовался, знаком ли мне еврейский быт. Ему хотелось, чтобы я сказала, что у евреев дети не бьют отцов.

Вечером того же дня мы с Вессели были приглашены в гости к заместителю председателя Академии наук, члену ЦК компартии Венгрии Дьюле Хевеши. Он оказался очаровательным человеком необычайной скромности — один из честных коммунистов. Он долго сидел в Советском Союзе в тюрьмах и лагерях, его били. Стал больным и глухим человеком. Жена Хевеши Ольга, тоже не совсем здоровая женщина, бывшая актриса, долго жила в Советском Союзе. Ее высылали в Киргизию. Теперь она светская дама, бывает на приемах в парламенте.

Во время визита к Хевеши я узнала, что Дьюла и был тем «фальшивым женихом», с которым, по рассказу Бабеля, уехала в свадебное путешествие Ирма Яковлевна, будущая жена Шинко. В тот же день я написала письмо Ирме Яковлевне в Югославию, в котором передала привет Эрвину. Здесь, в Венгрии, все ругали его книгу «Роман одного романа», в которой он много писал о Бабеле и обо мне.

20 сентября мы с Вессели на машине поехали в сторону озера Балатон. На обратном пути заехали в дом творчества писателей. Расположен он был на горе, в полутора километрах от Балатона, в парке большого графского имения. Сейчас же вокруг нас собрались писатели, чтобы послушать рассказы о Москве, о России. Вессели смешил меня тем, что каждый раз, когда входил новый писатель, он говорил: «А это наш Булгаков», «наш Есенин», «наша Ахматова».

Из пребывавших в доме творчества писателей мне особенно запомнился Лангьель, работавший когда-то в Москве на

кинофабрике «Межрабпом Русь». Представляя его мне, Вессели сказал: «А это наш Солженицын». Одет он был необычно, в вельветовый комбинезон и мягкую рубашку. Лангьель сам сварил нам кофе. Оказалось, что он долго сидел в Советском Союзе в тюрьме, был женат на русской, очень красивой и умной женщине, которая сошла с ума, и теперь жил один. Лучшие его произведения оставались ненапечатанными. В Союзе на то время опубликован был только один его роман в очень плохом переводе. «Если бы встретил переводчицу, то побил бы», — сказал Лангьель.

У Лангьеля в то время гостила «бабушка Венгерской революции» Елена Душинская — старая, слегка согнувшаяся женщина с очень серьезным и умным лицом. Она напомнила мне русскую революционерку Стасову, которую я встречала в гостях у В. А. Мильман, секретаря Эренбурга. Душинская была полькой, в то время жила в Канаде и в Венгрии была в гостях. Оказалось, что Вессели в свое время освобождал Душинскую из тюрьмы.

Прощание с Лангьелем было трогательным. Выяснилось, что он знал Бабеля, про которого говорил, что тот умел перекроить любую кинокартину. Когда в картине что-то «не проходило», то звали Бабеля, и он помогал. Это был его заработок, но делал он все легко, весело и талантливо.

На обратном пути из Дома творчества писателей мы свернули на боковую дорогу, чтобы посмотреть старинный дом. Бывший хозяин дома был крупным виноделом, имел триста гектаров земли, сам выращивал виноград, сам делал из него вино для причастия. Все ближайшие церкви покупали это вино. Такого вкусного вина не делал никто, и хозяин преуспевал. Сын бывшего хозяина, меценат, сохранил за собой два гектара земли. Вино, что он делает, пьют гости — писатели и художники, и по-прежнему ближайшие церкви берут вино для причастия.

Хозяин отсутствовал; дверь нам открыла женщина, тетка хозяев, очень доброжелательная и симпатичная. Такого дома, который она нам показала, я не видела никогда. Огромные комнаты до предела наполнены старинной мебелью и вещами. В столовой очаг, все стены увешаны медной и бронзовой посудой, тростями, трубками, на полках — фарфоровая посуда с рисунками, невероятно красочными. Чисто вычищенная утварь сверкала, искрилась. Чистоту в кухне поддерживала та женщина, которая открыла нам дверь. Везде масса книг, в кабинете все стены из книг. Этот дом, который никогда не разорялся, можно было целиком отдавать под музей старинного венгерского быта. Мне почему-то стало немного грустно, быть может, от мысли о безвозвратно ушедшем прошлом…

Во время первой моей поездки в Венгрию навестила я и редакцию журнала «Нагивилаг». За круглым столом собралось довольно много народу. Пришел даже старый, очень любопытный профессор, который удивился моему виду, наговорил комплиментов. Расспрашивал, как обеспечивает Советское государство вдову Бабеля, какое впечатление на меня как на женщину произвели будапештские магазины. Среди присутствующих был человек по фамилии Эльберт, пишущий докторскую диссертацию о Бабеле. Разговор был очень интересный и оживленный: о литературе, о Бабеле, о Синявском, о Тарсисе[50].

Из редакции журнала «Нагивилаг» мы перешли в кабинет молодого редактора журнала «Элеш еш продалом» («Жизнь и литература»). Мы попросили отругать одну корреспондентку, допустившую много ошибок в заметке о моей беседе с артистами театра «Талиа» после спектакля «Закат». Затем мы с Вессели пошли в редакцию женского журнала «Мёк Лаюе» на встречу с главным редактором Ириной Немети. Вессели, которому понравилась редакторша, был в ударе, и я с удовольствием молчала и отдыхала от разговоров.

Была я приглашена и на прием к заместителю министра просвещения и культуры Ацелю Дьёрдь. Он оказался очень красивым и приветливым человеком, отличавшимся изысканной манерой обращения. Секретарь замминистра, молодая женщина, говорила по-русски, и вместе с Вессели у нас оказалось два переводчика.

Во время беседы зашел сам министр — Поль Ильку. Ильку сказал, что был болен и официально не выходил еще на работу, но пришел познакомиться. Разговор начался с книги Шинко «Роман одного романа», где автор плохо, как-то двусмысленно отозвался о Бабеле, назвал его японским шпионом (поверив Константину Симонову, который за рубежом повторял вымыслы НКВД), обвинял в стукачестве из-за знакомства с Ежовым. Ацель Дьёрдь сказал мне, что из-за этого отказал Шинко в приеме и запретил переиздание его книги в Венгрии. Он рассказал, как высоко чтут Бабеля в Венгрии, расспрашивал о постановке пьесы «Закат», о моем впечатлении о стране. В заключение спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен.

Вессели попросил предоставить нам машину для поездки по стране.

Получив приглашение от Дьёрдя побывать в Венгрии летом с дочерью, я распрощалась, и мы с Вессели поехали в гости к знаменитому поэту Дьюле Ийешу. Супругу Ийеша звали Флора, она славилась как муза многих поэтов, которой посвящено

немало стихов. Сам Ийеш — некрасивый, грубоватый, с загорелым лицом и седыми волосами — рассказал мне, что только что вернулся из Франции, где у него был разговор о Бабеле с Андре Мальро. Мальро говорил Ийешу, что Бабель продолжил классическую литературу, и не только русскую, но и французскую, и что дальнейшее развитие литературы должно вести свою точку отсчета от Бабеля, так как все то, что было после него («включая нас, французов»), ничего не стоит.

Министерство культуры сдержало свое обещание и прислало нам с Вессели машину для поездки по стране, вдоль Дуная по так называемой Дунайской дуге. Еще в пределах Будапешта мы проезжали древнюю римскую столицу Аквинкум провинции Таннония. Там в то время велись раскопки огромной полукруглой арены. Через тоннель в горе мы въехали в Вышеград. На вершине горы — руины великолепной старинной крепости, окруженной крепостной стеной. У подножия горы велись раскопки дворца короля Матиаса. Прижатый к горе дворец фасадом выходил на Дунай. Археологи открыли там великолепный фонтан розового мрамора; чудные плиты полов отлично сохранились.

Посетили мы и Эстаргон, колыбель католичества. На высоком месте стоял громадный храм, подавляющий своим великолепием и высотой (122 метра). Интерьер храма хорошо сохранился; в храме служба. Холод в храме стоял ужасный — он не отапливался. Зашли мы и во дворец кардинала, где в то время расположен был один из лучших по собранию картин на религиозные темы и икон музей христианства. На стенах — католические иконы и гравюры Дюрера, в витринах — церковная утварь, посуда из фарфора и чаши из серебра.

По городу ходят священники в длинных одеяниях. Крепостные стены XII века укрепляют со стороны Дуная гору, на которой стоит храм. У входа в храм — много исторических памятников, статуи кардиналов. В каждом дворике — мраморные или гранитные останки древности.

Вессели рассказал мне, что последний венгерский кардинал живет при американском посольстве, ему выделены две комнаты, обслуживает там четырех католиков-американцев. Кардинал настаивает на возвращении ему всех былых привилегий.

На противоположном берегу Дуная уже Чехословакия. Хорошо видно розовое здание погранохраны. Дорога, по которой мы ехали, ведет до самой Вены, до нее отсюда всего полтора часа езды. С противоположного берега послышался бой башенных часов, и у меня возникло странное ощущение от необычной близости западного мира.

В городке Тата, на родине Вессели, стоит старинный замок

Эстергази. Княжеский замок XVI века отлично сохранился; он расположен над озером и окружен крепостной стеной и рвом, который наполнялся водой из озера. Оказалось, что отец Вессели из кожевников, предки его работали на князя. Кожи дубились неподалеку от замка в воде из этого же озера.

Обратный путь в Будапешт мы совершили по другой дороге, ведущей через угольный бассейн страны. Видели город, построенный для шахтеров. Бросались в глаза большие новые многоквартирные дома, благоустроенные детские учреждения, клубы, больницы и магазины. Кое-где сохранились и отдельные домики. Так мы проехали по всему угольному бассейну. Время от времени высоко в горах виднелся бронзовый орел с распростертыми крыльями — эмблема Венгрии.

На следующий день, заглянув в издательство, где печатался неопубликованный ранее рассказ Бабеля «Фроим Грач», мы с Вессели отправились в гости в семейство Гидашей. Антал Гидаш — разжиревший и немного важный сановник, его жена — дочь революционера Бела Куна, Агнеш. По словам Вессели, в Венгрии Гидаш как писатель совсем не ценится. В России его переводили талантливее, чем он сам писал. Но вместе с Агнеш Гидаш составил антологию венгерской поэзии, за что им благодарна венгерская интеллигенция. Агнеш — переводчица. Мать ее, живущая этажом ниже с братом Агнеш, опубликовала книгу о Бела Куне.

Незадолго до отъезда из Венгрии я целый день посвятила будапештскому метрострою. Начался этот день с приема у директора метрополитена товарища Хидвеги. На прием были приглашены и метростроевцы. Вессели представил меня присутствующим и ушел, передав меня на попечение нового переводчика, моего бывшего студента Тибора Хонвера. Метропроектовцы показали мне проект строящейся линии будапештского метро. Докладывали несколько человек: фамилия моя им была известна, очевидно, по моей книге, а может быть, и по рассказам студентов и аспирантов, учившихся в МИИТе.

После ознакомления с проектами я поблагодарила всех присутствовавших и отправилась с Тибором посмотреть строительство на месте. Сначала мы побывали на строительной площадке перед магазином «Корвин», где строился подземный переход и наклонный эскалаторный тоннель. Площадка и конструкции очень были похожи на московские. Переодевшись в рабочие костюмы, мы спустились под землю уже в другом месте. Подземные выработки оказались точной копией наших, потому что строилась станция из наших чугунных тюбингов диаметром 8,5 метров. Станции строящейся ветки, кроме двух, оказались

колонными, трехстворчатыми с проемами, как и у нас в московском метро.

В предпоследний день моего пребывания в Венгрии Анна Цобель проводила меня до клуба работников искусств под названием «Гнездо», где меня уже ждали. Более уютного места я никогда не встречала. Все полы в клубе покрыты толстым сукном. Круглый зал для танцев: его по краям опоясывает сиденье-скамья с приставленными к нему столиками. На потолке плоские барельефы из меди и бронзы с изображениями античных фигур. Необыкновенно удобные читальный зал и библиотека. Заведующая библиотекой потеряла дар речи, когда ей сказали, что я — вдова Бабеля. Ей очень хотелось получить мой автограф на книге Бабеля, но ни одного экземпляра не было на месте.

Мы обедали в ресторане клуба, где директор театра «Талиа» Эмиль Кёрёш подарил мне от театра альбом с фотографиями из спектакля «Закат», а также программку и афишу к спектаклю. Из ресторана мы перешли в очень уютное кафе с глубокими удобными креслами и живописью лаком на стенах. В зрительном зале клуба все стены были увешаны карикатурами и шаржами, сделанными художниками — завсегдатаями клуба. В них необычайно смело просмеивались различные театры, писатели, абстрактное искусство и даже правительство.

В кафе появился директор клуба. Он принес мне книгу отзывов и попросил что-нибудь написать. Оказалось, что книга новая, еще никем не заполненная. Пришлось мне первой похвалить работников клуба за заботу о людях. Мы распрощались с присутствующими, а Эмиль Кёрёш захотел покатать меня по городу на своем новом «москвиче». Он недавно получил премию первой степени за актерское мастерство и на эти деньги купил машину. Высоко над Будапештом мы зашли в ресторан, чтобы посмотреть оттуда на город. Из ресторана открывался замечательный вид на Дунай, и весь город был виден как на ладони. В ресторане меня поразили печи из белого металла и огнеупорного стекла, через которое виден был огонь.

А на сведущий день вечером Вессели и супруги Хевеши проводили меня на вокзал. Мы попрощались и поцеловались по-русски. Утром следующего дня я пошла позавтракать в наш вагон-ресторан. Какая перемена: ничего нет, все невкусно. Но домой все-таки хотелось.

Рождение внука

Мой внук Андрюша родился 19 февраля 1967 года около девяти часов утра. Его рост был 51 сантиметр, вес 3,2 килограмма. Имя Андрей получил в честь дедушки, Андрея Ивановича Малаева. Я бы никогда не дала ему этого имени, так как изо всех окон нашего дома по вечерам раздавались крики «Андрей!» или «Андрюша!» — мамы и бабушки звали своих детей и внуков домой. Это имя было, пожалуй, самое распространенное в то время в Москве. Но для сохранения покоя в семье надо было дать мальчику именно это имя. Шурик прыгал до потолка от радости, когда узнал, что родился мальчик, и послал в Тбилиси чуть ли не двенадцать телеграмм. Однако после этого его интерес к ребенку как будто пропал, он им не занимался.

Когда Лида была еще в родильном доме с мальчиком, к нам приехали мать Шурика Кнарик Азарьевна и его дядя.

Я была уже на пенсии, но всегда очень занята. Надо было обеспечить семью продуктами, приготовить еду на весь день, убрать квартиру и сделать много всяких других дел.

Еще до рождения внука я сшила для него мягкое стеганое одеяльце из светло-синего шелка на голубой подкладке; оно служило ему много лет. Надо было купить и такие вещи, как коляску, кроватку и ванночку для купанья. В то время в наших магазинах на всё был дефицит. Объехав полгорода, я смогла купить коляску и ванночку, но никак не могла достать детскую кроватку. В конце концов я достала ее в ближайшем мебельном магазине, дав продавцу взятку.

Он пригласил меня в подвал, где стояли несколько прекрасных детских кроваток белого цвета, я заплатила в кассе, принесла продавцу чек и дала ему дополнительно сто рублей. Так в нашей стране можно было купить все что угодно, но давать взятку было лично для меня очень трудно и противно.

Большое участие в новорожденном приняла сестра Бабеля Мария Эммануиловна, жившая в Брюсселе. С ней мы познакомились еще летом 1961 года, когда она приехала в Москву вслед за старшей дочерью Бабеля Наташей. После знакомства мы с Мери начали переписываться, что продолжалось до самой ее смерти в 1989 году. Узнав от меня о скором рождении ребенка у Лиды, она написала мне, что начала вязать для него теплые вещи из голубой и розовой мягкой шерсти. Получив впоследствии от Меры посылку с детскими вещами, мы с Лидой очень развеселились, так как связанные ею кофточки могли пригодиться только для куклы, так они были малы.

В апреле возник вопрос о даче на лето. Любовь Михайловна Эренбург хотела, чтобы мы снова поселились рядом с ними в дачном поселке в Новом Иерусалиме.

Мы, как я уже писала, сняли дачу у вдовы профессора Бориса Скрамтаева, книги которого о строительных материалах я читала в студенческое время в Томске.

Должно быть, в самом начале мая или середине июня мы переехали на дачу. Михаил Львович Порецкий[51] помог мне с переездом; в своей военной организации он достал небольшой автобус и поехал с нами сам. Маленький Андрюша, которому было три с половиной месяца, лежал на руках Александры Матвеевны, моей бывшей домашней работницы; она согласилась пожить с нами на даче и помогать нам с Лидой. С нами поехал и мой племянник Юра, и наш хороший друг Георгий Петрович Шторм[52].

Все приехавшие с нами поразились красоте окружающей природы, и всем понравилась снятая дача. Кто-то даже сказал мне: «Только Вы могли выбрать такое место». А на самом деле я ничего не выбирала, сняла первую дачу, которую посоветовал художник, сосед Эренбургов.

Оставшись одни, мы с Лидой часто ходили в лес, забирая с собой Андрюшу в коляске.

Это были очень приятные и полезные прогулки. Из леса мы выходили на поле, засеянное пшеницей, по краям которого росло много цветов — васильков и ромашек. Возвращались домой с букетами и грибами.

Так как я еще со времен моего сибирского детства любила собирать грибы, то часто уходила одна в лес и бродила. Лес был очень разнообразный, то кусок с осинами, то с березами, то с хвойными деревьями, то смешанный. Попадались маленькие полянки и участки с малинником, где можно было позже собрать поспевшие ягоды. Иногда я, взяв Андрюшу в коляске, приходила к Эренбургам или к Журавлевым[53], жившим на другой стороне поселка.

Я думаю, что благодаря Эренбургу дачный поселок НИЛ снабжался продуктами из гастронома ГУМа. Один раз в неделю к нам приезжала машина ГУМа и привозила их, можно было сделать заказ на то, что вы хотели бы получить, и на следующей неделе всё это доставлялось.

Учитывая плохое положение с продовольствием в то время в Москве, возможность купить продукты из такого хорошего магазина была большим преимуществом. Накануне дня моего рожденья, 1 июля, я сделала большой заказ, так как ожидала гостей из Москвы. Заказанные продукты — курица, вырезка,

ветчина, черная икра, сыр, масло — хранились в холодильнике в нашей большой комнате. Но случилось так, что вечером 30 июня у нас на даче погас свет. Все содержимое домашнего холодильника пришлось сложить в корзину и перенести на ледник, расположенный во дворе дачи. А утром мы обнаружили, что все продукты вместе с корзиной украли.

Я позвонила в Москву моей приятельнице Валентине Ароновне Мильман и попросила ее привезти какие достанет продукты, ограничившись самым необходимым. Не знаю, каким образом о краже узнал Илья Григорьевич Эренбург, но среди дня к нам пришла его дочь Ирина Ильинична и принесла ветчину, сыр, масло, сказав, что Эренбург очень разволновался, боялся, что мы умрем с голоду. Я пыталась сказать, что друзья купят и привезут мне всё что нужно, но Ирина Ильинична отказалась нести продукты обратно — Эренбург может обидеться. Пришлось все оставить, и это была единственная материальная помощь, которую я приняла от Эренбурга. Я никогда в такой помощи не нуждалась, так как всегда твердо стояла на собственных ногах. Зато я нуждалась в хорошем отношении и с лихвой получала это от Эренбурга и всей его семьи.

Кусты сирени, белой и фиолетовой, посаженной вокруг нашей террасы, в июне расцвели и наполнили ее своим запахом. Незабудки в траве на всех ничем не засаженных участках цвели в изобилии, и мне казалось, что мы живем в «сиренево-незабудочном раю». И у меня, и у Лиды осталось очень приятное воспоминание о нашей жизни в летние дни на даче вместе с маленьким Андрюшей.

В сентябре Лида вернулась к работе, а ко мне на дачу приехала Александра Матвеевна. Погода весь сентябрь стояла очень хорошая, было «бабье лето», как принято говорить в России про теплые и солнечные дни сентября. Когда Александра Матвеевна занималась стиркой или приготовлением обеда, я гуляла с Андрюшей в коляске по лесу, по берегам речки и часто встречалась там с Дмитрием Николаевичем Журавлевым. Он, гуляя, любил разучивать наизусть рассказы и стихи для очередного своего выступления на сцене. Поговорив немного, мы расходились в разные стороны; я не хотела ему мешать.

Недалеко от нашей дачи была дача архитектора Георгия Павловича Гольца, где в тот год жили его вдова Галина Николаевна, дочь — художница Ника Гольц и ее подруга, тоже художница, Таня Лившиц — дочь Исаака Леопольдовича Лившица, друга Бабеля еще с гимназических лет. Таня Лившиц познакомила меня и Лиду с Галиной Николаевной и Никой, и мы стали общаться друг с другом.

В конце сентября мы вернулись в Москву, договорившись с хозяйкой, что на будущее лето снова приедем к ней.

В Москве нас ждало много проблем. Еще до отъезда загород, отношения Лиды с Шуриком разладились, на дачу он ни разу не приехал, и Лида подала заявление в суд для развода с ним. Шурик подал свое заявление, чтобы отнять у нас комнату и разделить имущество пополам, хотя никогда ничего не покупал в дом на свои деньги. После большого числа судебных процессов наконец Лида была разведена, а я отстояла нашу квартиру, договорившись с Шуриком о выплате ему тысячи рублей за то, чтобы он оставил нас в покое. Через какое-то время он уехал в кооперативную квартиру.

Никаких свободных денег у нас с Лидой не было; мы заняли их в долг у нашей приятельницы художницы Татьяны Исааковны Лившиц. За восемь месяцев мы расплатились с долгом.

Венгрия, 1968 год

Моя виза на вторую поездку в Венгрию в 1968 году оформлялась долго так, что я опоздала на постановку пьесы Бабеля «Мария» в театре «Талиа». Ласло Вессели сказал мне, что театр оплатит мое пребывание в гостинице столько дней, сколько я захочу. И 21 сентября я во второй раз приехала в Будапешт. Гостиница моя на этот раз была расположена в самом центре города.

Эта моя поездка была не так наполнена впечатлениями, как первая. Тем ни менее я побывала на Будапештской телестудии, где мне показали телефильм, снятый по «Конармии» Бабеля. Режиссер телефильма, молодой человек, только что перенес операцию и пришел на просмотр с трудом, прихрамывая. А сценарий был написан женщиной, которая в это время находилась в родильном доме.

Фильм начинался с изображения бабелевских очков. Затем в кадре появлялась рука, которая их подбирала, и вот уже молодой человек, показанный со спины, надевал эти очки. Он поворачивался лицом к зрителю: это был рассказчик, от лица которого ведется повествование в «Конармии», Кирилл Лютов, одетый в костюм, с бабочкой (!). За этим вступлением следовал рассказ «Мой первый гусь», и вот уже этого Лютова, в фетровой шляпе на голове, с сундучком в руках, сопровождал к начдиву 6, Савицкому, здоровенный казак. После сцены с Савицким тот же казак вел Лютова на квартиру. Следовала сцена разгрома костела, и в нем же диктовал Лютову свое письмо к матери Курдюков. Почему-то это был не мальчик, как у Бабеля, а мужчина лет тридцати. Типы казаков даны было недостоверно, да и костюмы их часто были смехотворными, по недоработке консультантов. Беременная еврейка, дочь зарезанного поляками старика из рассказа «Путь в Броды», была очень хороша. Гедали походил на раввина, уж слишком актер был породист и крупноват для него. Весь диалог о сладкой революции проходил в синагоге. Показаны были похороны, но не Трунова, а Долгушова. Несмотря на большие несоответствия первоисточнику, фильм производил сильное впечатление.

Вечером 28 сентября я посмотрела в театре «Талиа» спектакль по финскому эпосу «Калевала». Вессели попросил свою знакомую, молодую девушку по имени Юдит, сопроводить меня на этот спектакль. Спектакль был совершенно упоительный: не зная языка, я тем не менее забыла обо всем на свете. Несколько актеров были приглашены из других театров, в том числе и актер,

игравший Вейнемейнина. Главные исполнители играли бесподобно. Декорации и костюмы за время спектакля почти не менялись, а режиссерской выдумки было очень много. Посередине сцены — деревянный круглый помост; окруженный на некотором расстоянии кольцом, тоже деревянным. Между ними — вода. Вдали виднелись березы, а по бокам — высокий деревянный забор. Все звуки — плеск воды, удар бича, скрип калитки, треск ломаных веток — необычайно естественно имитировались находившимся тут же на сцене ансамблем актеров, в то время как исполнители главных ролей производили движения с воображаемыми предметами.

Перевод «Калевалы», используемый театром, был сделан очень давно, и говорят, что венгерский язык в нем старомоден и очень красив. Музыка тоже давнишняя, написанная для хорового исполнения эпоса. Говорят, что в самой Финляндии «Калевалу» никто не ставил.

Ах, какой спектакль! Я до сих пор вспоминаю его. Когда по окончании действа мы с Юдит вышли из театра, я удивилась количеству автобусов. Оказалось, в Венгрии принят указ снимать автобусы с маршрутных линий и посылать их к тому театру, где разъезжалась публика по домам. Можно было сесть в автобус и назвать свой адрес. Кому было по пути с нами, подсаживались и говорили, где нужно остановиться. Мне очень понравился такой способ разъезда публики по домам.

Обстоятельства сложились так, что до самого 1991 года я за рубеж не выезжала. А ведь меня приглашали приехать и в Бельгию, повидаться с сестрой Бабеля Мери, и в Израиль на спектакль по пьесе Бабеля «Закат», поставленный в Национальном театре Израиля «Габима» Юрием Любимовым. Однако по разным причинам мне этого сделать не удалось.

Последнее лето у Эренбургов

Летом 1969 и 1970 годов мы с Андрюшей жили на даче у Эренбургов, как хотелось Любови Михайловне. В середине мая мы должны были переехать туда вместе с нею, но буквально накануне у нее ночью случился сердечный приступ, и она попала в Кремлевскую больницу. Мне Любовь Михайловна просила передать, чтобы я переезжала на дачу, а она присоединится к нам, как только поправится. Я переехала, здоровье Любови Михайловны начало улучшаться, и мы надеялись скоро встретиться. Но жизнь, как всегда, оказалась непредсказуемой, и уже когда до выписки из больницы оставались считаные дни, у нее случился второй сердечный приступ, после которого ее не удалось спасти. Я не смогла поехать на похороны; на них была только Лида. Дочь Эренбурга Ирина Ильинична просила меня остаться на даче за хозяйку, что было крайне необходимо. Сама она была занята ликвидацией квартиры отца на улице Горького, 8, разборкой его архива и всякими другими делами. Как я видела, Ирина Ильинична совершенно не могла находиться на даче из-за воспоминаний, не спала всю ночь и только ходила в холле из угла в угол и курила.

Моя жизнь на даче Эренбургов резко отличалась от дачной жизни с Андрюшей в первые два года. Тогда я была свободной дачницей; мы много гуляли, ходили в гости; теперь же я была кругом занята заботами об этом доме.

Просыпаюсь утром и узнаю, что забор из штакетника со стороны речки частично разобран. Надо немедленно его восстановить, чтобы не было соблазна продолжать его разборку, а для этого заказывать недостающие штакетины и нанимать кого-то для работы. На другой день оказались сломанными металлические ворота для въезда на дачу. Выяснилось, что бульдозер, исправлявший дорогу, задел ворота, и они упали. Сломанные ворота нужно было отвезти в мастерскую для починки и установить на место.

На даче было четыре раковины, два унитаза и ванна, и все это постоянно и поочередно портилось. А то портился и сам подвод воды. Приходилось идти в дачное управление и приглашать слесаря. Со слесарем надо было непременно иметь хорошие отношения, и мне этого удалось добиться.

При жизни Эренбурга слесарь приходил за деньгами, ему давали сумму, которую он называл, и никогда с ним не разговаривали. Я же приглашала в дом, угощала чаем или кофе, а главное, разговаривала: узнала, что жена его работает поваром в

Доме отдыха имени Чехова, что у него есть дети, какие они и что делают. Как учил меня Бабель, я относилась к нему по-человечески, да мне и на самом деле было все это интересно. Однажды я сказала слесарю, что теперь, когда хозяев нет, у дочери Эренбурга больших денег не осталось, и он понял, что запрашивать, как раньше, не стоит. Слесарь до того проникся ко мне симпатией, что стал даже иногда приносить мне кусок мяса или вырезку, говоря, что жена его просила передать для меня. Я благодарила, посылала конфеты его детям; он же стал моим главным советчиком при разных поломках на даче — объяснял, где достать машину, где делают штакетник, где находится мастерская.

И это были еще не все мои дела. Много отдыхающих приходили посмотреть, как жил Эренбург; в дом я их не пускала. Они обходили дачу кругом и заглядывали во все окна, удивляясь количеству цветов в комнатах и на террасе.

Для ежедневной поливки всех цветов требовалось часа три времени, и когда я совершенно изнемогла от этой работы, то попросила Ирину Ильиничну нанять деревенскую девушку, что она и сделала.

Второй сезон нашей дачной жизни у Эренбургов осложнился тем, что Ирина Ильинична окончательно решила продавать дачу, и я должна была показывать ее возможным покупателям. Было много сторонников сохранить дачу как музей Эренбурга, но Союз писателей не согласился. Отношения с Эренбургом у Союза во главе с Фединым всегда были натянутыми, и я об этом хорошо знала. Поэтому Союз не захотел оставить ни квартиру Эренбурга в Москве, ни дачу в Новом Иерусалиме как музей.

Упаковка книг для вывоза их на квартиру Ирины Ильиничны была тоже на мне. Поэтому я постоянно находилась на даче, ни в лес, ни в гости мы не ходили. Андрюша днем часто был со мной на огороде, где в это лето особенно хорошо росли всякие овощи и зелень. Целые букеты из свеклы, морковки, петрушки, сельдерея и укропа я каждое утро приносила на дачу Журавлевых. В ответ они часто приносили мне торт с надписью «Укроп» или «Сельдерей», и мы устраивали вечером чай на нашей террасе. Приходили Дмитрий Николаевич Журавлев, его жена Валентина Павловна, дочь Маша и ее сын Алеша, а иногда и гости из Ленинграда — Татьяна Викторовна Смирнова и ее брат Юрий Викторович. В такие вечера мы засиживались с разговорами до поздней ночи, уложив детей спать.

В это лето случилось страшное несчастье с поэтом Сергеем Дрофенко, мужем Маши Журавлевой. Кажется, он работал в журнале «Юность» и в обеденный перерыв со своими

сотрудниками пошел пообедать в ресторан Союза писателей и подавился куском мяса. Никто не понял, что с ним случилось, думали, что-то с сердцем, а он задыхался и наконец умер. Это было ужасное несчастье для Журавлевых, и я очень переживала случившееся.

Я уже писала, что Ирина Ильинична редко бывала на даче, но когда закончились школьные занятия и начались летние каникулы, она присылала на дачу ко мне свою внучку Иришку с подружкой Надей Баталовой. Девочки набрасывались на огород — поесть огурчиков и морковки, качались в гамаке, а вечерами уходили в Дом отдыха имени Чехова смотреть кинофильмы. Возвращались домой часов в десять-одиннадцать, но однажды девочки не вернулись ни в одиннадцать, ни в двенадцать часов, и я разволновалась. Так как на соседней даче у Журавлевых все еще горел свет, я побежала к ним — что делать, девочки не вернулись после кино: в доме отдыха отдыхали разные люди, могли пойти их провожать, и мало ли что могло случиться. Вдруг девочки появляются. Оказалось, что пришли они вовремя, но ушли в дальний угол сада, там сидели и разговаривали, пока не захотели спать. Это было мое самое сильное переживание на даче Эренбургов.

Уже осенью я пошла с Андрюшей в Дом отдыха, познакомилась с заведующей и предложила ей забрать все цветы с дачи Эренбурга. Она согласилась, даже обрадовалась, и сказала, что украсит ими зал и комнаты отдыхающих. Так с болью в сердце мне пришлось распорядиться любимыми цветами Ильи Григорьевича. Нас с Андрюшей угостили оладьями со сметаной и сладким чаем. Мы дружелюбно поговорили с заведующей; она, как и другие, пожалела о том, что дачу Эренбурга не сделали музеем, так как считала, что отдыхающие с удовольствием посещали бы его.

Постепенно за лето я упаковала все книги, бывшие в шкафах и на полках второго этажа, и сложила их пачками в углу комнаты.

Летом 1971 года мы снимали дачу снова в Новом Иерусалиме у вдовы режиссера Алексея Денисовича Дикого, Александры Александровны. Дача Дикой была расположена в лесном массиве поселка, очень близко от нашей первой, Скрамтаевых. Я радовалась тому, что вернулась снова в место, где можно было совершать хорошие прогулки по лесу и полям.

Дикая жила со своей матерью Надеждой Петровной; в отдельном домике жил сторож Алексей с женой Надеждой. У сторожа была злая собака, бегавшая на цепи, подвешенной к натянутой проволоке. Друзей-однолеток и мальчиков у Андрюши там не было, и он дружил с тремя девочками-подружками в

возрасте семи-восьми лет. Они все время играли в принцесс, и Андрюша должен был играть роль или принца, или слуги принцесс. Когда девочки задумали ставить спектакль «Белоснежка и семь гномов», они дали Андрюше роль гнома. Сделали колпачок, бороду, надели на него длинные брюки и жилет с украшением, и был он уморительно смешным. Его появление на сцене вызвало восторг. Сценой служила открытая терраса дачи Гольц, а публикой были все живущие на дачах поблизости.

Книга воспоминаний о Бабеле

Идея сделать книгу воспоминаний современников о Бабеле принадлежит Льву Яковлевичу Лившицу, литературному критику из Харькова. Это был очень симпатичный молодой человек, до самозабвения влюбленный в творчество Бабеля. Впервые он пришел ко мне в 1963 году. В ноябре 1964-го Лившиц принял участие в конференции «Литературная Одесса 20-х годов», выступил на ней с докладом о Бабеле, написал несколько хороших статей о нем и собирался заняться темой «Бабель и кино». Нравился без исключения всем, с кем я его знакомила, и совершенно неожиданно умер от разрыва сердца совсем молодым. Это была большая потеря не только для всех его родных и знакомых, но и для литературы. Вместе с ним мы успели составить только предварительный список тех, кто мог бы написать воспоминания о Бабеле, и мне пришлось продолжить эту работу. Я обращалась с просьбой к его друзьям и знакомым, часть воспоминаний уже была опубликована в журналах, многое мне помогли собрать Г. Н. Мунблит и его жена, Н. Н. Юргенева. Она и стала вместе со мной составителем сборника.

Собирать воспоминания современников о Бабеле я начала сразу после его реабилитации, но мне даже в голову не приходило включать себя в число авторов. Кроме пояснительных записок к моим, а иногда и чужим инженерным проектам да писем к родным и знакомым, я ничего в своей жизни не писала. Членам Комиссии по литературному наследию Бабеля тоже не приходило в голову предложить мне написать воспоминания. Что может написать инженер, не имеющий никакого литературного образования?

Но когда я перечитала все, что удалось собрать о Бабеле, я увидела, что о нем как о человеке сказано очень мало. Многие встречались с Бабелем всего по нескольку раз, другие обращали внимание больше на его творчество. И только тогда я решила, что должна написать, как он работал, как собирал материал, с кем дружил и каким был человеком.

Времени у меня оставалось мало, был уже подписан договор с издательством «Советский писатель» на издание книги «Воспоминания современников». Тогда я снова купила путевку в Малеевку и начала писать. Я пробовала работать целый день, но тогда переставала спать вообще. Я изменила режим и садилась за письменный стол только по утрам и днем. Была осень, перед моим окном стоял дуб с красно-коричневой, еще не опавшей листвой. Вечерами я читала какую-нибудь легкую книгу и иногда

смотрела кинофильм, тогда хорошо спала.

Я так боялась чистого листа бумаги, а оказалось, что как только напишется первая фраза, остальные текут как бы сами собой. Писала, о чем помнилось, не соблюдая никакой хронологии и последовательности. Закончила воспоминания уже в Москве, и передо мной встал вопрос, как их скомпоновать. Когда все напечатала и перечитала, начала работать с ножницами и клеем. Хронологической записи не получалось, и я решила располагать написанное по людям, начиная с их знакомства с Бабелем до их уничтожения Сталиным.

Закончила воспоминания сценой ареста Бабеля, свидетельницей которого была. Предполагалось, что издательство только мне разрешит написать об аресте, остальные авторы не должны были об этом упоминать. Иногда я думаю о том, почему так хорошо запомнила многое из рассказанного мне Бабелем, его выражения и словечки. Помимо хорошей памяти, есть и еще одна причина. Я много думала о Бабеле, вспоминала наши поездки, разговоры, особенно, когда не была занята работой. В течение многих лет, в его отсутствие, я вспоминала и переживала все связанное с ним, как бы повторяя в уме эти события. И сейчас, когда прошло уже семьдесят лет без него, у меня перед глазами явно встает его образ и все, что к нему относится. И так будет до конца моих дней.

Окончив и смонтировав воспоминания, я попросила членов Комиссии, Георгия Николаевича Мунблита и Льва Исаевича Славина, меня выслушать. Мунблит, должно быть абсолютно не веря в мои способности, сказал, что согласен слушать двадцать минут и не более. Я с этим согласилась и начала читать. Когда прошло двадцать минут, я остановилась, но мне сказали: «Читайте дальше». Я пробовала остановиться еще через двадцать минут, и снова услышала: «Читайте дальше». Дочитав до ареста Бабеля, я остановилась и сказала, что об этом читать не могу. Тогда Славин сказал, что возьмет рукопись домой, а наутро позвонил мне со слезами в голосе и сказал: «Вы написали очень хорошие воспоминания, и они будут включены в книгу».

Больше всех меня хвалил Мунблит, который выполнял роль первого редактора и исправлял многих авторов книги, но в моих воспоминаниях он не исправил ни одного слова. Первое издание книги появилось в 1972 году. Мои мемуары вошли в сборник с большими сокращениями. В издательстве «Советский писатель» редакторы выбрасывали из них все крамольные по тем временам места, не разрешали даже упомянуть об аресте Бабеля. Воспоминания заканчивались фразой: ««Теперь не скоро вернусь в этот дом». Так сказал Бабель, уезжая в Переделкино 10 мая, а 15-

го он был арестован».

Воспоминания остальных авторов тоже подвергались цензурным изъятиям, но если я для второго издания смогла в 1989 году все восстановить, другие авторы, умершие к тому времени, ничего исправить уже не могли. Для всех последующих изданий моих воспоминаний я дополняла их некоторыми штрихами к образу Бабеля, к его судьбе, а также сведениями о моей работе по изданию его произведений.

Когда я начинала писать о Бабеле, в семидесятые годы, я старалась изложить как можно больше фактов из его жизни, проходившей на моих глазах. О моем впечатлении о Бабеле как о человеке я писать не смела, считая, что это никого интересовать не может. Никаких оценок его творчества я не делала, считая, что не имею на это права.

И все же теперь, когда прошло так много лет после его чудовищного, ничем не оправданного убийства, за годы, в которые я так много думала о нем, хочу кое-что добавить к тому, что я уже написала.

Многие исследователи его творчества пытаются догадаться, у кого из писателей он что-то заимствовал, кто на него влиял, кто был его учителем. При этом доходят, по-моему, до абсурда. Один пишет, что Бабель взял все у Н. В. Гоголя, что Гоголь был его главным учителем, другие считают, что большое влияние на творчество Бабеля оказали Мопассан и Флобер. Отмечали воздействие на него Хемингуэя.

В небольшой статье Сергея Довлатова, которую я недавно прочла, говорится, что у Бабеля есть фразы, о которых можно сказать — это типичный Зощенко, о других — это же типичный Платонов, есть фразы, взятые у Булгакова. Один польский исследователь считает, что «Конармия» Бабеля написана под влиянием Данте Алигьери, особенно той части «Божественной комедии», где описан спуск в ад.

На мой взгляд, Бабель родился писателем, а не учился быть им. Его чрезвычайно обостренное чувственное восприятие было врожденным.

О проницательности Бабеля, о его способности видеть больше, чем другие, писали многие. И я была этому свидетельницей и могу привести примеры. Вот я слышу, что Бабель вышел из своей комнаты. Если у меня творится какой-то беспорядок, я хватаю брошенную на кровать или кресло вещь и прячу в первый попавшийся ящик шкафа. Бабель войдет, походит по комнате, а потом подойдет к шкафу и откроет именно тот ящик, в который я эту вещь спрятала. Он ничего не скажет, только улыбнется и уйдет.

Однажды в Кабардино-Балкарии мы сидели у Бетала за большим праздничным столом на разных его концах далеко друг от друга. Бабель был окружен журналистами и поклонниками и о чем-то оживленно с ними разговаривал. А меня в это время мой сосед схватил под столом за руку. Я попыталась освободить руку и подумала: «Хорошо, что Бабель так далеко и занят разговором и не видит этого». А после ужина он мне говорит: «Я видел, как Дятлов, журналист из газеты «Правда», схватил Вас за руку и какое сердитое у Вас было лицо».

Необычайная зоркость Бабеля проявлялась, по-моему, и в красочности его рассказов, где в многоцветной палитре создаваемого им изображения особенное место занимал красный цвет со всем разнообразием его оттенков. При этом не возникает ощущения пестроты, и все выдержано в рамках строгого художественного вкуса. Ему не нужно было специально выдумывать живописные конструкции, просто он видел мир именно таким.

Такой же обостренный был у Бабеля слух, он мог услышать тихий шепот, различить тишайшие звуки.

Обоняние его было также обостренным — он не нюхал, как все люди, а как бы впитывал в себя запахи, и не только приятные, но и отвратительные. И осязание у него было необычным. Он трогал предметы как-то особенно долго и с сосредоточенным выражением на лице и отводил руки только тогда, когда поймет про них что-то, одному ему известное. Я несколько раз наблюдала за ним, когда он трогал материю или тельце ребенка.

Видимо, от этой остроты чувств и рождались его метафоры.

С такой совершенно особой способностью к многогранному чувственному восприятию в сочетании с могучим воображением и талантом Бабель не мог быть писателем, кому-то подражающим, у кого-то обучающимся. Он был самобытен. Таких, как он, больше не было. Да и вряд ли будет!

Бабель был очень целомудренным человеком. Несмотря на то что его «Конармия» полна вольных словечек и что в молодости он писал, как говорили, эротические рассказы (хотя я их эротическими не считаю), он никогда ни в гостях, ни дома не произносил нескромных слов или ругательств. Хотя в то время, как, впрочем, и сейчас, в писательской и актерской среде в выражениях не стеснялись. Это было принято и даже модно. Бабель же никогда этого не одобрял. И если кто-нибудь из наших гостей позволял себе рассказать фривольный анекдот, Бабель морщился и мог сказать ему: «Ваши анекдоты не поднимаются выше бельэтажа человеческого тела».

И когда такую фразу скажет Бабель, человек запомнит ее

надолго. Поэтому фразы Бабеля быстро распространялись среди его окружения и даже вне его.

С утра он был ежедневно побрит, одет в домашнюю куртку и брюки, не любил ходить дома в халате или пижаме, а тем более работать не вполне одетым.

Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим, перед ним нельзя было устоять. В его поведении, походке, жестикуляции была какая-то элегантность. На него приятно было смотреть, его интересно было слушать, словами он меня просто завораживал, и не только меня, а всех, кто с ним общался. К Бабелю тянулись разнообразные люди, и не потому только, что он был человеком высокой культуры, великолепным рассказчиком, но и благодаря свойствам его характера. Женщины были в него влюблены и говорили: «С Бабелем хоть на край света». Бабель познакомил меня со многими мужчинами: писателями, поэтами, кинорежиссерами, актерами, наездниками, но никто из них не мог сравниться с Бабелем.

Подкупало его отношение к женщине, желание ее возвысить, как бы поставить на пьедестал. И я не думаю, что это относилось только ко мне. Его первая жена Евгения Борисовна, жившая во Франции начиная с 1926 года, так и не вышла замуж второй раз, хотя была очень красивой женщиной[54].

Мы с Бабелем жили каждый своей жизнью; в нашей квартире не было общей спальни, у каждого была своя комната. Так как я работала, режим моего дня отличался от его режима, у каждого были свои друзья, свой круг знакомых. Я могла пригласить в дом кого захочу, и Бабель никогда не делал мне замечаний, а иногда мог сказать: «Пригласите вечером такого-то, пока Вы будете поить его чаем, я на его машине съезжу по делам в издательство». Так как я очень дорожила общением с Бабелем, своих друзей и знакомых я старалась приглашать тогда, когда его не было дома.

Очень любил спрашивать: «Ну, кто Вас сегодня провожал домой?» И мог попросить: «Доведите его до объяснения в любви, мне очень интересно знать, как инженеры в любви объясняются». Он спрашивал меня о моих поклонниках, знал всех и в шутку выдавал меня за них замуж, говоря: «За этого я Вас замуж не отдам, он оближет Вас всю и обслюнявит», а про другого мог сказать: «За него я Вас, пожалуй, могу выдать замуж, Вы ему нарожаете детишек, мы их посадим на кроватку, такие хорошенькие, чистенькие».

Я могла рассказывать ему и о моих успехах или неудачах в работе, а также о том, что мне кто-то сказал комплимент или объяснился в любви, на что Бабель начинал мне объяснять,

почему я нравлюсь, перечисляя все мои достоинства.

Никаких серьезных сцен ревности никогда не было, и только однажды, когда он зимой очень простуженным вернулся из Киева или Успенского и сказал мне, что я виновата в его простуде, я удивилась. «Ночью представил себе Вас в чьих-то объятиях, и это было так ужасно, что я вскочил с постели и выбежал в тамбур вагона, где стоял, пока не остыл».

Разыграть сцену ревности с массой невероятных упреков он иногда себе позволял, но при этом было много смеха и сам он в конце концов хохотал.

Но если ему казалось, что мне понравился кто-то из его знакомых, он мог войти ко мне в комнату и сказать: «Ох, Нинуша, как мне надоел этот болван». И для меня этого было достаточно. В другой раз Бабель говорит: «Зашел вчера утром к такому-то домой, он встретил меня заспанный, в голубых подштанниках». И я уже этого человека не видела иначе, как в этих подштанниках.

Наверное, пытаясь вызвать у меня ревность, Бабель однажды мне рассказал, что гулял по парку с молодой девицей, разговаривал с ней о разных московских новостях. Потом надолго замолчал, после чего добавил: «Не Вы». Это мог быть и комплимент в стиле Бабеля. Однажды Бабель мне сказал: «Я люблю Ваше лицо, потому что оно изменчиво, иногда Вы — просто красавица, а иногда уродка».

А когда кто-то из гостей в разговоре спросил Бабеля: «Вы влюблены в Антонину Николаевну?» — Бабель ответил: «Я давно уже прошел это мелководье». Так сказать мог только Бабель.

Часто он просил меня петь ему песни и городские романсы, которые пели в Сибири. Теперь я уже все их забыла, потому что без Бабеля их вообще больше не пела, но одна песня начиналась:

Когда будешь большая, отдадут тебя замуж,
Да в деревню большую, да в деревню чужую,
В той деревне дерутся, топорами секутся.
А как с вечера дождь идет,
А как с утра все дождь и дождь…

Вспоминаю слова одного романса, который я очень любила, но почему-то никогда его нигде не слышала.

Ни небо лазурное,
Ни солнышко красное,
Что ярко блестит по весне,
Не радуют молодца,
Тоскою убитого.

Ах, можно ль о ней не грустить…
Хоть слезы все выплакал
А плакать все хочется,
И хочется больше любить…

Этот романс Бабелю тоже очень нравился.

Я считаю, что была плохой женой писателя. Я не бросила своей работы, была всегда очень занята и не могла помогать Бабелю в его делах, не могла вместе с ним путешествовать по стране, часто не имела времени принимать его гостей так, как это обычно делали жены других писателей.

Наши совместные поездки в Киев или Одессу происходили только во время моих отпусков. Лишь в выходные дни я могла присутствовать на обедах или ужинах, когда Бабель приглашал друзей или знакомых. Но я и не вмешивалась в его дела, никогда не спрашивала, куда он идет; он сам мог сказать мне или не сказать. Бабель спасал меня от писательских жен, которые хотели привлечь меня для участия в каких-либо мероприятиях. При Союзе писателей функционировал женский комитет, где жены писателей вели общественную работу. Если в Доме литераторов при Бабеле ко мне обращались с подобными предложениями, а я не знала, как отказаться, то он сейчас же вмешивался: «Она — инженер, работает с утра до вечера и не может приходить на ваши заседания» — и поспешно уводил меня. И вообще не хотел, чтобы я общалась с женами писателей. Он говорил: «Вы окружены гораздо более чистой моральной атмосферой, чем наша писательская среда. Жены писателей чаще всего фальшивы, перед зеркалом делают лицо, с которым надо выходить из дома. Знают, когда надо ругать Есенина и хвалить Маяковского, а когда — наоборот. Ужасно обращаются со своими мужьями, вмешиваются в их творчество и изменяют им».

Бабель любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому любил и вкусно поесть. Ел очень мало, но всегда наслаждался едой. Очень любил картофельный салат с зеленым луком, постным маслом и уксусом; от салата из помидор выпивал даже сок. Любил сам поджаривать репчатый лук ломтями и ел хлеб с таким луком, как бутерброд. Мог зажарить и бифштекс, но это бывало редко, обычно в те дни, когда домашняя работница была выходная и когда уже не было Штайнера. При Штайнере у нас была венская кухня, отличавшаяся обилием теста. К жаркому из мяса подавались не овощи, а кнели — крупные клецки в подливе. Часто делался мясной пирог, но не печеный, а сваренный на пару; пирог был сделан как рулет, разрезался ломтями и поливался

растопленным сливочным маслом. На десерт готовились макароны, которые посыпали молотыми грецкими орехами с сахарным песком и поливали маслом.

Когда кто-то из друзей Бабеля приглашал нас на еврейский пасхальный обед, где обычно бывали фаршированная рыба и куриный бульон с кнейдлах (клецками из мацы), Бабель говорил: «От такого обеда ожидоветь можно».

Курил Бабель немного; работая, не курил вообще, а когда приходили гости, он угощал мужчин гаванскими сигарами и закуривал сам. Сигары в деревянной коробочке с надписью «Havana» были у Бабеля всегда и лежали на отдельном столике. У кого-нибудь в гостях он закуривал и папиросу.

Пить вино и особенно водку Бабель почти не мог, но когда уж очень угощали и заставляли, то Бабель, выпив, как-то сразу становился бледным, и я понимала, что больше пить ему нельзя, и вмешивалась.

А был однажды случай, когда Бабель был по-настоящему пьяным. Как-то раз он зашел за мной на работу и повел в грузинский ресторан «Алазани» пообедать. Ресторан находился почти напротив Метропроекта, на другой стороне улицы Горького. Когда мы туда вошли, то увидели, что все столы сдвинуты и идет бурное застолье. Оказалось, что в Москву приехал Буду Мдивани, находившийся в какой-то оппозиции к Сталину, и это он устраивал пир для своих московских друзей. Бабеля тотчас узнали и утащили от меня к центру стола, где сидел Мдивани, а меня посадили в другом месте.

За столом сидели долго, а потом стали расходиться. Меня кто-то хотел куда-то увезти, но я сказала, что без Бабеля никуда не поеду. А его нигде не было. Я спросила гардеробщика, где Бабель, и просила его привести. Он появился, смертельно бледный, мы оделись и вышли. Но идти он не хотел, прислонился к стене соседнего дома и стоял. С трудом мне удалось заставить его идти, но через несколько шагов он снова прислонился к стене дома — и ни с места. И так несколько раз.

С большим трудом я довела его до гостиницы «Балчуг», где он на несколько дней снял номер, спасаясь от назойливых друзей и графоманов. Я привела его в номер, сняла пальто, и он ушел в ванную комнату и пропал; ни шума воды, вообще никаких звуков. Я начала беспокоиться, и в это время в номер постучал дежурный и сказал, что посторонним нельзя находиться в номере после двенадцати. Тогда я попросила его посмотреть, что делает Бабель в ванной комнате. Он открыл дверь, и мы увидели, что Бабель лежит на полу и обеими руками обнимает унитаз. Дежурный помог мне перенести Бабеля на кровать, я сняла с него ботинки, и

он, видно ничего не соображая, заснул. Я взяла одну из подушек с кровати и, не раздеваясь, легла на узкий диванчик. Дежурному я дала какую-то сумму денег, и тогда он понял, что нельзя оставлять человека одного в таком состоянии. Утром Бабель был ужасно смущен, просил прощения и благодарил меня, что я его не оставила одного. С тех пор он никогда не пил так много, как бы его ни упрашивали.

Бабель очень увлекался людьми, но частенько быстро в них разочаровывался. Однажды он мне говорит: «Здесь гостит один мой знакомый француз. Он влюбился в нашу балерину. И чтобы они могли встретиться и поговорить, я пригласил их к обеду». Когда пришли гости, мы с Бабелем сразу же влюбились в балерину. Она была очень мила и в то же время скромна. Особенно хороши были ее синие глаза. Француз не говорил по-русски, а балерина — по-французски, и Бабель выступал в роли переводчика. И тем не менее после обеда мы удалились, чтобы дать им возможность посидеть за столом и как-то объясниться.

Но Бабеля охватило волнение: «Такая девушка! Ни за что нельзя отдавать ее французам! Самим пригодится. Я скажу ей, чтобы не выходила замуж за этого болвана». Он никак не мог успокоиться. Они приходили к нам еще несколько раз. И вдруг после их очередного визита Бабель, совершенно забыв, что говорил мне раньше, произносит: «Нет, скажу Жоржу, чтобы он на этой дуре не женился». Так произошло очередное скорое разочарование.

Бывали случаи, что Бабель знакомился с кем-нибудь и приходил в восторг от этого человека — актера, наездника, певца или еще кого-нибудь. Дружба порой заходила так далеко, что целыми днями они не расставались. Все домашние получали распоряжение: для такого-то я всегда дома. Но проходило немного времени, и отдавалось новое распоряжение: для такого-то меня никогда нет дома. Наступало отрезвление, человек ему надоедал или он в нем разочаровывался. Но это непостоянство проявлялось не ко всем без исключения. У Бабеля были привязанности и на всю жизнь.

Известно, что Бабель был великолепный рассказчик. Интересно и то, что он был рассказчиком совершенно иного типа, чем, например, Михоэлс, Утесов или Ардов. Все они были остроумны и блестяще имитировали любой говор, любую интонацию. Бабель восхищался этим их умением, но сам рассказывал иначе: ровным голосом, без нарочитого акцента, не подражая чьей-либо манере речи. Даже пересказывая слова Горького, он никогда не позволял себе окать. Только скажет, что Горький сказал это с ударением на «о», но сам произносил слова

Горького без оканья. Мне кажется, Бабель боялся, что у него это выйдет смешно.

Устные рассказы Бабеля были интересны и часто очень смешны, порой за счет смешных ситуаций, которые он придумывал, порой — за счет совершенно невероятных оборотов речи. Особенностью Бабеля-рассказчика было и то, что иногда перед смешными местами рассказа он сам начинал смеяться, да так заразительно, что невозможно было не смеяться тем, кто его слушал.

В некоторых воспоминаниях пишут, что он говорил с южным акцентом, или пришепетывая, или с одесским акцентом. Все это совершенно неверно. Голос Бабеля был ясным, без малейшего изъяна, речь без всякого акцента.

Бабель потратил на меня много душевных сил. Я была провинциальной девушкой из Сибири, образованной, но не очень внимательной к людям. И с большим чувством собственного достоинства.

Во время наших поездок Бабель учил меня вести себя гостем в любом чужом городе или селении, уважать чужие привычки и традиции и не кичиться тем, что я москвичка, как это делали многие другие.

Я могла не поздороваться с человеком, который мне почему-то не нравился, могла вдруг закапризничать, обидевшись на какой-нибудь пустяк.

И Бабель внушал мне — не быть такой прямолинейной и отвечать на приветствия. Говорил, что мое настроение не должно касаться других людей и не надо портить им настроение своими капризами.

…Когда я впервые прочла список НКВД о том, что у Бабеля взяли из вещей во время ареста, я удивилась скрупулезности людей, составляющих его. В нем были перечислены обрывки пленок, какой-то ремешок, старые сандалии и т. д. И тогда я абсолютно не обратила внимания на то, что в списке нет часов, хотя у Бабеля их было двое: одни, доставшиеся ему от отца, другие, которые он постоянно носил на руке. И те и другие были швейцарские. Отсутствовали в списке его сберегательные книжки, одна с небольшой суммой денег, другая на две тысячи рублей; на эту книжку Бабель положил деньги Рыскинда. Когда Рыскинд получил гонорар за свою пьесу, Бабель ему сказал: «Я положу Ваши деньги на свою книжку и буду выдавать по частям, иначе Вы их сразу же растранжирите. Вы должны спокойно работать, я поручился за Вас перед издательством, что пьеса будет закончена в срок». И кроме того, у Бабеля были наличные деньги, не так много, но, уехав в Переделкино, он должен был платить

писательскому дому творчества за обеды, платить жалованье сторожам. Никаких упоминаний о часах, сберегательных книжках, деньгах в списке не было. Что это значит? Просто украли во время обыска? И это было узаконенное воровство? Как они могли получить деньги Бабеля по сберкнижке? Или органы все могли?

В папках, изъятых НКВД при аресте Бабеля, находились следующие произведения:

1. Подготовленная к печати книга «Новые рассказы».
2. Дневник и записные книжки.
3. Переводы рассказов Шолом-Алейхема.
4. «Адриан Маринец» — рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год.
5. «Демидовка» — рассказ к циклу «Конармия».
6. «Весна» — рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год.
7. «День Начдива» — замысел к «Конармии».
8. «Коля Топуз» — повесть о налетчике, приспосабливающемся к советской действительности.
9. «Лепин» — замысел к «Конармии».
10. «Лошадиный роман» — наброски.
11. «Медь» — рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год.
12. «Повесть о двух китайцах в публичном доме» — по свидетельству В. Шкловского, Бабель работал над ней в 1919 году.
13. «Приезд жены» — замысел к «Конармии».
14. Роман о чекистах — Бабель работал над ним, кажется, в 1925 году. Во время нашей совместной жизни Бабель над этим романом не работал.
15. «Сын Апанасенки» — замысел к «Конармии».
16. «Три военкома» — замысел к «Конармии».
17. «У Троицы» — рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год.
18. Рассказ об одесских рыбаках в советское время (1930 годы).
19. Письма к А. Н. Пирожковой из Парижа и Италии.

И многое другое…

Известные нам сегодня произведения Бабеля составляют небольшую часть написанного им. Немало уже готовых рассказов при жизни автора не издавалось.

На Западе многие, начиная с Лайонела Триллинга, утверждали, что Бабель в последние годы перестал писать. Это неверно. Он очень много писал, ему хотелось работать, но он не торопился издавать свои произведения в силу требовательности к

себе. Бабель считал, что «не имеет права писать плохо». Именно об этом он говорил на съезде писателей. Слова Бабеля на съезде: «У нас отняли единственное право — право плохо писать» на Западе расценили как мужественный поступок — как заявление, что отняли право писать как хочется, о том, о чем думаешь. Они расценили эти слова так, что Исаак Бабель, не желая писать иначе, замолчал, не пишет совсем.

Он любил, чтобы написанные вещи вылеживались, чтобы затем к ним возвращаться по нескольку раз. Об этом он писал, об этом говорил с друзьями, например с Эренбургом. С публикацией Бабель никогда не торопился, он как будто боялся выпустить написанное из своих рук, считая, что над ним можно еще поработать, можно его улучшить.

Редактор журнала «Новый мир» Вячеслав Павлович Полонский в 1931 году записал в своем дневнике: «Он — замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют и он не пострадает, если напечатает их позже».

А. М. Горький о Бабеле: «Это — человек очень крупного и красочного таланта и человек строгих требований к себе самому… Бабель — большая надежда русской литературы». Горький говорил еще, что Бабель «туго и надолго заряжен». Уже одно это подтверждает то, что Бабель не писать не мог.

Многое из того, что было написано, в то время нельзя было опубликовать из-за цензуры. Бабель не мог быть неправдивым, когда писал о нашей жизни, а это не пропускалось. С каждым годом цензура становилась всё строже, а возможно, даже то, что Бабель издал в двадцатых годах, не прошло бы в тридцатых.

Таким образом, большинство его рассказов хранилось дома в папках, а для заработка он брал работы для кино. Занимался и переводами с идиш Шолом-Алейхема, Давида Бергельсона и других. И вот, когда он задумал, по его собственным словам, нанести свой второй удар (первым он считал появление в печати «Конармии») — осенью 1939 года должна была выйти книга «Новые рассказы», — в мае его арестовали, не дав закончить уже почти готовый труд.

Рукописи исчезли, а Бабеля расстреляли. Такому варварству и такой жестокости нет прощения, и сколько бы времени ни прошло, этого невозможно забыть.

Бабель погиб в самом расцвете своих творческих сил. Сколько прекрасных произведений он мог бы еще создать! Для этого все было подготовлено, собран необходимый материал. Мне нестерпимо больно сознавать, что расстрелян был не только мой муж, но и выдающийся писатель и очаровательный человек.

Франция, 1991 год

Среди работавших у меня исследователей творчества Бабеля была француженка Доменик Ватье. В 1990 году Доменик, вернувшись в Париж, подала идею об издании дневника Бабеля на французском языке сотруднице парижского издательства «Балло» Катрин Терье. Обсудив эту идею со своим начальством, Катрин тотчас решилась ехать в Москву для переговоров со мной. Эта отчаянная женщина появилась у меня дома на девятом месяце беременности — с большим животом и в протертых на коленях джинсах, в Париже такие джинсы были в моде. И я дала согласие на издание дневника Бабеля в издательстве «Балло». К осени 1991 года книжка вышла, и издательство пригласило меня с дочерью приехать в Париж.

В Париж мы прилетели 17 сентября 1991 года вечером. В аэропорту встречали нас Катрин Терье, Доменик Ватье и главный редактор издательства «Балло» месье Партуш — симпатичный, с добрым лицом, всегда улыбающийся мужчина с длинными седыми волосами.

Поселились мы в гостинице XV века в центре Парижа в небольшом номере с окнами, выходящими на узкую улицу Грегуар де Груа. Напротив наших окон располагался жилой дом с мансардами под самой крышей. Утром следующего дня мы с Лидой направились в издательство «Балло», где познакомились со всем штатом сотрудников, главным образом с девушками, работавшими над изданием «Дневника Бабеля 1920 года». Внутренний дворик издательства был очарователен. По стенам расставлены цветы в квадратных и продолговатых ящиках, а пол выложен крупным камнем. Правда, ходить по этим камням на высоких каблуках было очень трудно, и Лида на следующий день купила мне удобные черные замшевые туфли. Утром у нас были назначены встречи с двумя журналистами. Первый, Эжен Маннони, уже опубликовал статью о дневнике в журнале «Экспресс» и теперь хотел взять у меня интервью. Вопросы касались гибели Бабеля, того, как был найден его дневник и как я работала над ними. Сразу же после этого интервью появился журналист Мэтьон Линдон из газеты «Либерасьон», который задал примерно такие же вопросы. И уже на следующее утро в газете появились интервью со мной.

На следующий день — снова интервью. Первым был симпатичный парень из очень влиятельного в Париже католического журнала. Я боялась вопросов о религии, но их и не было. После католика пришла молодая девушка из еврейского

журнала. А поздно вечером предстояла еще дальняя поездка в другой еврейский журнал.

Назавтра была телевизионная запись. Сначала вопросы-ответы, потом нас с Лидой попросили пройтись по мосту, постоять у перил и посидеть на скамье, разговаривая друг с другом. Я не очень люблю телевидение и в Москве отвергала все просьбы. Но тут делать было нечего, надо отрабатывать бесплатную гостиницу, чудные завтраки и вообще хорошее отношение к нам всех сотрудников издательства.

Следующий день, 21 сентября, по расписанию должен был быть свободным, но газета «Монд» захотела тоже сделать материал, и в четыре часа дня в гостиницу пришла журналистка Николь Занд и месье Партуш с сотрудницей из издательства. Николь Занд вела литературный раздел в «Монд». И когда-то была женой главного редактора этой газеты.

Итак, в печати появилось несколько интервью со мной, и книги Бабеля — и русский двухтомник, который здесь стоил 300 франков, и французские переводы, и недавно вышедший «Дневник» — стали продаваться более активно. Так нам говорили в книжных магазинах, куда мы заходили с Катрин. По словам издательства «Балло», «Дневник» продавался хорошо — они были довольны.

Конечно, не все время моего пребывания в Париже было посвящено встречам с журналистами и издателями. Мне удалось довольно подробно посмотреть город. Поразила невиданной красоты часовня Сент-Шапель — построенная в XIII веке жемчужина европейской готики. Рассматривая скульптуры и витражи в часовне, я думала о том, что здесь бывал и Людовик Святой, да и все Людовики, Мария-Антуанетта. И мне становилось грустно, что нет ничего вечного, что все проходит.

Нам позвонил Пьер, давнишний друг Наташи Бабель; оказалось, что Наташа попросила его нас опекать. Пьер заехал за нами на машине и спросил, куда мы хотели бы поехать. Я назвала Булонский лес. Лес оказался довольно большим, но он был весь изрезан асфальтовыми дорожками. Вдоль дорожек стояло множество машин, а их владельцы либо гуляли по лесу, либо тут же на траве отдыхали, пили оранжад и другие напитки. После прогулки мы заехали к Пьеру в его рабочее ателье. Он — режиссер, делает научные фильмы на медицинские темы. Три марша крутой и витой лестницы вели в ателье, где на стенах висели увеличенные в пять тысяч раз фотографии тромбов и на столах расставлена масса приборов.

Между тем наша рабочая жизнь продолжалась, и 24 сентября сотрудники издательства «Балло» повезли нас в Дом радио —

большое здание с красивым круглым двором. Я волновалась, потому что как раз в это время внук Андрей находился в воздухе — летел в Америку, где он должен был остановиться у Наташи Бабель. Несмотря на мое волнение, интервью прошло благополучно — журналисты остались довольны. Забавно, что на радио меня поначалу приняли за Людмилу Петрушевскую.

На обратном пути на втором этаже Дома радио мы напали на музей Моцарта. В музее все было устроено так, как было при жизни Моцарта начиная с его детства в Зальцбурге: его инструмент, восковые фигуры отца, матери и сестры, его жены Констанции, Сальери, других людей из его окружения. Была восстановлена и обстановка дома Моцарта.

Вечером 25 сентября месье Партуш и Катрин организовали нам с Лидой встречу с Симоном Маркишем и Владимиром Береловичем[55] в кафе «Прокоп». Кафе это было основано еще в 1686 году; здесь бывали Вольтер и Руссо, Бомарше, Бальзак, Верлен, Гюго. Бывали здесь и энциклопедисты — от Дидро до Бенджамина Франклина, революционеры Робеспьер, Дантон и Марат, а затем и лейтенант Наполеон Бонапарт. Мы заказали самые экзотические блюда: устрицы, улитки, мидии, семгу в различных видах, даже какую-то поджелудочную железу. Официант прямо у нашего стола готовил блинчики; он посыпал их сахарной пудрой и полил ромом; на раскаленной сковороде вспыхнуло пламя. Так, за беседой, мы просидели в знаменитом этом кафе до полуночи, после чего щедрые хозяева проводили нас с Лидой до отеля.

27 сентября вечером за нами заехала сотрудница издательства «Балло» Женевьева и отвезла на такси в книжный магазин «Эпиграмм». Перед витриной стояли стенды с книгами Бабеля, его портретами и вырезками из газет. В магазине меня усадили за столик в шикарное кресло, я должна была подписывать книги тем, кто захочет их купить, и общаться с читателями. Из-за сильного дождя посетителей было немного, но первым, кому я подписала книгу, оказался бразильский писатель, лауреат Нобелевской премии Жоржи Амаду — седой человек в дождевике с капюшоном. Подходили читатели, пришел Симон Маркиш, посидел со мною рядом. Журналистка с фотоаппаратом весь вечер делала снимки.

Моя, как теперь говорят, автограф-сессия продолжалась два часа, от шести до восьми вечера. За это время я познакомилась со всеми сотрудниками магазина, директор сказал, что за один день они продали 300 экземпляров книг Бабеля, и это потрясающе, сотрудники магазина жали мне руки и улыбались, а мне-то показалось, что из-за дождя книг продали немного.

На следующий день мы были приглашены на литературно-политическую встречу в Сенате под названием «День политической книги в Сенате». Все основные новости в то время приходили с Востока, поэтому и в президиуме, и в зале было много русских. Я сидела рядом с Лидой и Катрин, которая присутствовала как переводчица; на столе передо мной стояла табличка с моим именем и книга «Дневник Бабеля 1920 года». На других столах я заметила таблички с именами «Владимир Буковский», «Елена Боннэр». Кстати, оказалось, что Боннэр, которая должна была представлять книги Сахарова, из Москвы не приехала. Буковский рассказал нам позже, что ей удалось в архиве КГБ получить дело ее отца, и то, что она из него узнала, так подействовало на Елену Сергеевну, что она слегла с сердечным приступом. Из русских, помимо Буковского, мы встретились с Леонидом Плющом, Олегом Волковым, Юрием Афанасьевым и Олегом Калугиным. Люди подходили к нашим столам, брали книги, смотрели в основном на заглавия и на цены и отходили. Нам это надоело, и мы при помощи месье Партуша пробрались внутрь Сената, где в это время шло заседание. А в два часа дня объявили перерыв на обед. Нас усадили за шикарно накрытый стол, где перед каждой тарелкой стояло по четыре бокала: с водой, с белым и красным винами и шампанским с клубничным сиропом. Во время обеда Катрин заявила, что кормят нас не очень богато: у Миттерана, дескать, кормили лучше. (Оказывается, она сопровождала Синявского на обед с Миттераном.) Рядом со мной сидел человек из Иерусалима, который заседал когда-то в кнессете. Он рассказывал, что в Израиле на улицах слышится главным образом русская речь, что русские евреи хорошо адаптируются в Израиле и что Бабеля там любят повсеместно. Напротив меня сидел председатель Нобелевского комитета, симпатичный швед, немного говорящий по-русски. После обеда мы вернулись в зал, где начались выступления и ответы на вопросы собравшихся. Буковский, который только что провел месяц в Москве, был настроен явно пессимистически, а Афанасьев заявил, что он не такой пессимист. Но у нас уже не было времени слушать выступления Афанасьева и Калугина, и мы покинули здание Сената.

На следующий день после встречи в Сенате мы с Лидой отправились подыскивать для нас новую гостиницу: официальный наш визит, оплачиваемый издательством «Балло», подходил к концу, а нам хотелось задержаться в Париже. В поисках гостиницы мы в сопровождении Катрин и двух ее детей погуляли по городу. Пройдясь пешком вдоль Сены, мы пересекли мост Неф и оказались в месте гулянья парижан. Запомнились обсаженные

цветами аллеи, фонтаны, детские площадки. Современная скульптура соседствовала со старинной церковью Сент-Эсташ, самой красивой после Нотр-Дам. Парижане отдыхали прямо на газонах; кто лежал не спине, кто сидел, поодиночке и группами. Место это — бывшее «Чрево Парижа». В тот день в Париж со всей страны съехались фермеры; они устроили манифестацию, требуя повышения цен на сельскохозяйственные продукты.

Прошлись мы и по улочкам еврейского квартала. Тех запахов, о которых писал когда-то Бабель[56], уже не было, но магазинчик с продуктами и готовыми блюдами был чисто еврейским. В нем продавались селедка с луком, фаршированная рыба, рубленые селедка и яйца, паштет из печенки и многое другое. Все прохожие на этой улочке что-то ели прямо на ходу, и я пожалела, что не купила штрудель с маком. Но Катрин была с детьми, и они устали, хотя Пабло, чудесный рыженький мальчик семи месяцев, был спокоен и ел протертые фрукты из баночки. Воспитание детей Катрин было самое простецкое. Пятилетней девочке Марине — к моему ужасу — разрешалось зачерпывать все той же баночкой воду из фонтанов, пить ее, и даже поить Пабло.

На следующий день возобновилась рабочая жизнь. На одиннадцать часов утра у меня была назначена запись на телевидении. В холле нашей гостиницы установили оборудование, меня и моего собеседника журналиста загримировали. (Он всё уверял меня, что не каждый день ходит в гриме.) Разговор вращался вокруг тех же тем: о дневнике Бабеля, о том, как я над ним работала, об аресте и реабилитации Бабеля, о том, как нас вводило в заблуждение НКВД… После окончания съемки мне вдруг объявили, что будет еще одно интервью. Собеседник мой поменялся — на этот раз это был русский писатель, живущий во Франции, Дмитрий Петрович Савицкий. Он подарил мне свою книжку «Ниоткуда с любовью. Вальс для К. Рассказы и стихи». Так как беседа наша целиком проходила по-русски и не надо было ждать перевода, то разговор тек свободнее и длился, по-моему, очень долго. Освободились мы только часам к двум.

Встречались мы в Париже и с кинорежиссером Крисом Маркером[57]. Он когда-то был у меня в гостях в Москве, проникся ко мне симпатией и захотел повидаться. Крис предложил нам с Лидой посидеть с ним, двумя его сотрудницами и Доменик Ватье в литературном кафе, во дворике, окруженном домами, в которых жили знаменитые писатели, в том числе и Андре Мальро. Разговор у нас шел о недавних событиях в Советском Союзе, о путче. Некоторые мои собеседники подозревали Горбачева в сговоре, а мы с Лидой это опровергали. Говорили и о Бабеле, и о

дневнике, который собеседники мои высоко ставили. Вдруг Крис куда-то ушел и, вернувшись, принес мне сувенир — упакованную коробочку. Внутри оказалась музыкальная шкатулка. На этой площади, в этом дворе раньше часто играли шарманщики, писатели спускались из своих квартир и играли в шахматы под звуки шарманки.

Потом мы с Лидой и Доменик Ватье отправились в квартал художников. Гуляя по кварталу, заглядывали на выставки, прошлись через Академию художников. Заглянув в одну из студий академии, увидели студента — молодого скульптора, делавшего интересные скульптуры для интерьеров зданий и площадей. В основе их лежала математическая идея. Студент искал своим скульптурам математическое обоснование: он попытался нам объяснить свои идеи, основанные на переходе от евклидовой математики к теории… Тут юноша забыл фамилию математика, и я подсказала ему имя Лобачевского. Тот даже записал это имя. Очень одухотворенный молодой человек сказал, что хочет по окончании академии жить не в Париже, а в деревне, в глубинке, что настоящие художники выходят именно оттуда.

7 октября мы были приглашены в гости к Синявским. Встреча была радостной, с объятиями и поцелуями. Синявских я знала по Москве. В свое время я пригласила Андрея Донатовича написать предисловие к публикации произведений Бабеля в томе «Литературного наследства», выпущенном издательством «Наука» в 1965 году. Синявский предисловие написал. Но за то время, как том готовился к печати, Синявский был арестован и отправлен в лагерь. Статью напечатали за подписью И. А. Смирин. Узнав об этом, я пошла к жене Синявского Марии Васильевне и сказала ей, что гонорар полагается Андрею Донатовичу. После чего я поговорила с самим Смириным о том, что деньги, полученные им за статью, должны быть отданы Марии Васильевне. Смирин так и поступил.

Во время нашей встречи в Париже я долго сидела с Андреем Донатовичем у него в кабинете на втором этаже их дома. После беседы мы спустились вниз пить чай. За чаем Андрей Донатович расспрашивал меня про издания Бабеля в Москве. Он захотел приобрести в Париже русский двухтомник Бабеля. Говорили мы и о путче и много смеялись. Синявский, с большой седой бородой, еще и сутулился и этим старил себя лет на десять. Мария Васильевна, женщина полная, сама покупала материю и шила себе длинные широкие платья с вышивкой на груди, ею же и исполненной. Меня предупредили, что Мария Васильевна любит употреблять в разговоре крепкие словечки, особенно когда сердится, но при нас ею не было произнесено почти ни одного

нецензурного выражения за исключением одной рассказанной ею истории, где оно оказалось к месту.

Дом у Синявских был большой и весь завален книгами. Здесь же устроена была типография, где печатались книги как самого Андрея Донатовича, так и других авторов. У Синявских постоянно кто-то жил. Во время нашего визита четверо: писатель, художник и молодая пара, кажется, все из России. Мы распрощались с хозяевами далеко за полночь.

Из Брюсселя повидаться с нами приехали Мишель и Лина. Мишель был сыном ближайших друзей сестры Бабеля Мери и ее мужа Гриши Шапошниковых. Отца и матери Мишеля давно уже не было в живых, но Мишель и после смерти родителей продолжал ходить в их дом. А когда Мери осталась одна, он помогал ей в делах. Бедному Мишелю пришлось хоронить Мери. Это ему далось нелегко; никаких доверенностей и документов у него не было — все находилось у живущей в Америке Наташи Бабель. В момент смерти Мери Наташа была в Калифорнии и не сразу узнала о смерти тети.

В Лувр визит мой был коротким. Я хотела посмотреть в основном Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и Гойю. У Моны Лизы стоят люди — долго, как на молитве. Картин Рафаэля в Лувре оказалось мало; Рембрандт был представлен восемью-десятью картинами. (У нас в Пушкинском музее и в Эрмитаже его работ больше.) Но Рубенсу посвящен целый зал — огромные полотна, сделанные на заказ. Зал Гойи меня тоже разочаровал — картин немного. Но женские портреты потрясающие — уродство не приукрашено, подчеркнута индивидуальность модели.

Незадолго до нашего отъезда из Парижа, 11 октября, из Вашингтона прилетела Наташа Бабель. Остановилась она у своей близкой подруги Тани Парен в ее деревенском доме. На следующий день мы с Лидой поехали повидаться с ней. Дом в два этажа — старинный, деревянный, с садом и цветником — приобрел еще Танин дед. В доме — запах старины, запах дерева — мебель простая, но тоже старинная: вдоль стола скамьи, по стенам медная, начищенная до блеска посуда. В комнатах повсюду подносы с яблоками, грушами и помидорами из собственного сада. Наташа помогла Тане почистить картошку. К жареным бараньим ребрышкам ее приготовили «по-солдатски». Картофель нарезали ломтями, залили подсоленным молоком, сверху полили сметаной и поставили в духовой шкаф. Моя мама готовила картошку точно так же, но, как я помню, с репчатым луком. Ужин удался на славу. После ужина Таня затопила камин, и мы долго сидели около него за разговорами: вспомнили, как

Таня с Наташей приехали в первый раз в Москву, как мы познакомились…

А за день до нашего возвращения в Москву в парижском метро у меня произошло приключение. Спустившись по бесконечным лестницам и увидев стоящий на платформе поезд, мы с Лидой поторопились в последний вагон. Лида вошла в двери вагона, а я сделала привычный для меня шаг, каким я обычно входила в вагон московского метро, и провалилась в щель между платформой и поездом обеими ногами, сев при этом на платформу. В том месте, где я входила в поезд, край платформы загибался, в то время как вагоны стояли по прямой. Какой-то молодой человек вместе с Лидой выскочил из вагона, нажав предварительно кнопку остановки поезда. Для того чтобы вытащить из отверстия ноги, мне пришлось переместиться ближе к краю платформы, а потом лечь на спину. Только таким образом мне удалось вытащить сначала одну, а потом и другую ногу. Лида с молодым человеком поставили меня на ноги, и мы с дочерью сели на скамью. Я поняла, что кости мои целы, — стоять и ходить я могла, ничего не болело, но кожа на правой ноге выше щиколотки была содрана сантиметра на четыре. Мы с Лидой сели на следующий поезд, доехали до нашей станции и пешком дошли до гостиницы. Шла я спокойно, только побаливала ссадина на ноге. На всякий случай в последний наш день в Париже я решила не выходить из гостиницы, тем более что наши парижские знакомые должны были прийти с нами прощаться.

Германия и Италия, 1992 год

В мае 1990 года, по рекомендации немецкого издателя Бабеля Кати Вагенбах, ко мне обратились из Германии устроители выставки «Образ жизни евреев» с приглашением приехать на выставку и предоставить в качестве экспонатов подлинные рукописи И. Э. Бабеля. Немецкая фирма, специализирующаяся по доставке ценных материалов «от дверей до дверей», осуществила перевозку в Берлин дневника Бабеля 1920 года. А в январе 1992 года я с Лидой поехала на выставку в Берлин. Ехали поездом, на вокзале в Берлине нас встретил директор выставки, с которым я встречалась в Москве.

Прибытие наше в Берлин началось с того, что у нас пропали чемоданы. Оказалось, что директор выставки договорился, чтобы чемоданы нам привезли со следующей станции прямо в гостиницу, где для нас были заказаны два отдельных номера. Так оно и произошло. Приехав в гостиницу, мы разошлись по комнатам, и я обнаружила у себя накрытый салфеткой круглый, как калач, фруктовый рождественский кекс. Очевидно, это был дар Кати Вагенбах. Мы заварили собственный чай и вкусно поужинали.

На следующее утро директор зашел за нами и проводил на выставку. Я захотела прежде всего посмотреть, где находится бабелевский дневник. Нас подвели к двум витринам, в которых были расположены наши документы. Вокруг нас собрались люди, так что сопровождающих во время осмотра у нас было много. Мы договорились с директором, что он снова зайдет за нами после обеда, чтобы мы могли досмотреть экспозицию.

Вечером Катя Вагенбах захотела, чтобы мы ужинали у нее. На ужин пришел и переводчик произведений Бабеля на немецкий язык Питер Урбан. А на следующий день устроители выставки Катя и Питер отвезли нас на вокзал, где нас уже ждал поезд Берлин — Москва.

В сентябре того же года я побывала в Италии по приглашению переводчика произведений Бабеля на итальянский язык Джанлоренцо Пачини. Он встретил нас с Лидой в аэропорту в Риме. В римской его квартире в это время шел ремонт, и нам предстояла поездка в городок Итри, где у Джанлоренцо был дом неподалеку от побережья. Но перед этим Джанлоренцо повозил нас на машине по Риму.

Городок Итри находится за 125–130 километров от Рима. Туда ведет великолепная дорога. По одной стороне — пинии, по другой — виноградники. Большая часть этой дороги пролегала

здесь с древних времен. По пути нам все время попадались захоронения знатных людей Рима — надгробия в виде арки или стенки с надписями и даже с изображениями. Встречались нам и скульптурные надгробия: запомнилась мраморная женская статуя без головы. Статуи и сосуды разворовывали сами итальянцы, чтобы продать их иностранцам. О древнем римском обычае хоронить знатных людей вдоль дороги я до тех пор не знала.

Дом Джанлоренцо находился немного вдалеке от Итри, на горе в восьми километрах от моря. Местность кругом была гористая; мы находились на высоте семисот метров над уровнем моря. Вокруг дома — сад и дикие деревья, но за фруктовым садом никто не ухаживал, и он не плодоносил за исключением инжира. Сам дом был двухэтажным, под домом — гараж. Мы с Лидой поселились на первом этаже в комнате с круглым окном, выходившим в сад.

Через несколько дней мне удалось осмотреть сам городок Итри. Джанлоренцо прокатил нас по всему городку, в котором было множество древних построек. Во время войны Итри подвергся большим разрушениям от американских бомбежек. В гористой местности Итри скрывались фашистские воинские части и боеприпасы, и их жестоко бомбили.

Городок жил полнокровной жизнью: на тротуарах масса народа. Люди гуляли, сидели за столиками кафе, пили, играли в карты. На улицах — множество для такого небольшого городка машин.

Неподалеку от Итри, по пути в другой приморский город, Гаэта, у самой дороги стоит гробница Цицерона. Поставлена она на том самом месте, где убили великого оратора. В Италии имя это произносится «Чичероне», хотя никто не знает точно, как его произносили в древности. По словам Джанлоренцо, могло оно звучать и так: «Кикероне». Возле дороги за изгородью высится круглая сужающаяся кверху башня с несколькими небольшими окнами. Очевидно, в древности у нее был или купол, или другие какие-то перекрытия, но со временем они разрушились, и из самих стен теперь растут маленькие деревья. После осмотра памятника мы поехали в Гаэту. К ней вдоль берега моря вела длинная набережная, широкая, с чередой фонарей, разделяющих двухполосную дорогу. Вдоль нее — огромный детский парк с аттракционами, весь освещенный разноцветными огнями. А на набережной продавалась свежая рыба.

Совершили мы и поездку в сторону Неаполя. По дороге посмотрели пещеру Сивиллы. По преданиям, в ней она жила и предсказывала будущее. Предсказания свои она записывала на листьях деревьев — по слову на каждом листке. Отворив дверь

пещеры, Сивилла клала эти листья за дверь в порядке написанного. Но ветер часто перемешивал листки, и справляющийся о своем будущем долго ломал голову, пытаясь разгадать предсказание.

От пещеры мы доехали до кратера вулкана Сольфатара. Слышался звук, как от кипящего котла, сильно пахло серой. Кратер вулкана окружен был железной решеткой, он слегка дымился, но через решетку лавы видно не было. От вулкана поехали в Неаполь. По дороге Джанлоренцо заявил, что город неинтересен, что смотреть там нечего и что он покажет нам что-нибудь получше. Но по Неаполю мы все же проехали, сначала по набережной, потом по главной улице и площади, а потом мимо острова Капри, где в ресторане в 1933 году во время встречи с Бабелем плакал Горький. (Упоминание об этом сохранилось в одном из писем Бабеля.)[58] На острове Капри видна огромная крепость, которая пребывает в гораздо лучшем состоянии, чем другие древнеримские крепости. Быть может, ее отреставрировали. Осмотрев снаружи королевский дворец, мы отправились в Помпеи.

В первом доме, который мы осмотрели в Помпеях, во многих комнатах для гостей на стенах сохранились фрески в желто-бежевых и коричневых тонах и пол из смальты. Я подумала о том, что пол этот был адской работой для рабов. Дом богатого патриция — очень обширный, с богато украшенными залами для пиров и маленькими спальнями. Выйдя из этого дома, мы отправились по огромным булыжникам, которыми вымощена главная дорога Помпей, в раскопанную часть города. Помпеи к тому времени были раскопаны на две трети. Дорога вела вверх, потом слегка спускалась вниз, а от нее отходили поперечные улицы. Мы видели таверны, мельницу, баню и несколько домов, поменьше, чем первый. Чуть пониже древних Помпей, ближе к морю, процветают Новые Помпеи, раз в десять больше прежних. Не боятся люди, хотя Везувий слегка дымится. В тот день он был виден нечетко, в дымке. Стояла страшная жара, да к тому же в Италии все лето повсюду горела трава. Уже по дороге из Рима в Итри то и дело виднелись выгоревшие склоны гор. Трава кругом сухая; она быстро воспламеняется, и кроме того, ее жгут пастухи. Вероятно, после пожара из земли вырастает молодая трава, и пастухи заинтересованы в свежих пастбищах для овец.

Из Новых Помпей, расположенных на низкой части побережья Неаполитанского залива, мы поехали в Сорренто. По дороге всё шутили: мол, необходимо узнать, где Ленин встречался с Горьким, а иначе нет смысла туда ехать. Сорренто — очень милый городок над морем. Было воскресенье, улицы и площади

многолюдны. Люди сидели за столиками или гуляли, и жизнь казалась беспечной. Из Сорренто отправились в Ларавеллу. Вся дорога от Новых Помпей шла по крутому берегу над заливом Салерно. Скалы там очень высокие и опускаются прямо в море. Только в некоторых местах есть небольшие песчаные отмели, оборудованные под пляжи. В этих скалистых горах вырублены ступени для дороги, отгороженной от моря иногда стеной, иногда столбиками или решеткой. Время от времени попадаются огороженные решеткой площадки с видом на залив. В таких местах машины останавливаются, и люди выходят любоваться на море. С другой стороны дороги высится белая стена; над ней растут оливковые деревья, виноград. Видны лестницы, ведущие к виллам, которые расположены иногда неподалеку от дороги, а иногда высоко в горах, хотя скалы в этих местах почти отвесные. Дорога эта так сказочно красива, что ни с чем в сравнение не идет. Мы только ахали от изумления.

Наконец уже в сумерках мы приехали в любимую Джанлоренцо ла Равеллу, остановили машину, поднялись по лестнице, довольно высокой, и попали в город прямо на площадь, где было много народу. Перед нами предстал красивый костел. Службы не было. В углу стояла женская фигура — та самая мадонна, перед которой молился пастух — персонаж актера Ди Грассо из рассказа Бабеля.

Была и другая фигура — мужчина с ребенком на руках, но я не знала, что это был за святой. Фигуры в костеле были из раскрашенного дерева или в натуральную величину, или больше человеческого роста.

Мы уговорили Джанлоренцо возвратиться домой другой дорогой, менее опасной. Он был очень утомлен, и по дороге то и дело засыпал за рулем. Когда мы подъехали к дому Джанлоренцо, было уже два часа ночи.

Через день после нашего возвращения из окрестностей Неаполя Джанлоренцо решил свозить нас в Сперлонгу, старинный римский город, расположенный неподалеку от нас. Но в Сперлонгу мы поехали не сразу: сначала заехали в какой-то городок, где осмотрели костел: старинные двери, картины на стенах, богатая обстановка, вся мебель покрыта белым полотном, обшитым кружевами ручной работы. На фронтоне изображение скелета и надпись: «Сегодня ты, а завтра я».

Из этого городка мы поехали посмотреть храм Зевса, расположенный на вершине горы. Сначала мы поднимались к нему на машине, потом машину оставили и пошли пешком. Храм находится на высоте 300–350 метров над уровнем моря. Верхний его этаж почти полностью разрушен, кроме задней стены, а

аркада фасада и частично боковых стен хорошо сохранилась. Храм Зевса произвел на меня сильное впечатление своими размерами и расположением; вероятно, в старину он весь был украшен скульптурами. Перед фасадом храма — площадка, огороженная металлической решеткой. С этой площадки мы любовались видом на Тирренское море. Уже смеркалось, горизонт был в дымке, и мы, пройдя всю галерею с арками, возвратились к машине. После этого наконец отправились в Сперлонгу.

В Сперлонге мы поднялись по узким улочкам и попали на главную площадь города, окруженную кафе и магазинчиками. Погуляли и по главной улице шириной не более пяти метров, углублялись в перекрытые арками боковые улочки. Одетые в камень дворы, переулки и улицы служили как бы продолжением квартир. Жители высыпали на улицу. Растения здесь в основном в кадках, ящиках и горшках. Мы захотели мороженого, и нам его подали в пластмассовых чашечках, политым сверху взбитыми сливками. Мороженое невероятно вкусное, особенно зеленое, фисташковое.

По возвращении из Сперлонги Джанлоренцо взял бумагу и ручку и записал наши планы на будущее. В понедельник 21 сентября мы уедем из Итри в Ареццо. Пробыв там до 23 сентября, поедем во Флоренцию, всего за 90 километров от Ареццо. Во Флоренции мы с Лидой возьмем номер в гостинице и пробудем там до 25 сентября. А 25-го поедем в Венецию. Пробыв в Венеции до 28 сентября, вернемся в Ареццо, откуда 30-го поедем в Рим, в аэропорт.

Предстояла и поездка в Рим еще из Итри, 18 сентября. Этот день выдался хоть и солнечный, но не жаркий. Джанлоренцо довез нас до площади Святого Петра. Площадь великолепная, между фонтанами возвышается египетский обелиск, на его вершине — крест, символизирующий торжество христианства над язычеством. Посетили мы и музей Ватикана, хотя для детального его осмотра понадобилось бы несколько дней. Успели увидеть Сикстинскую капеллу. Мы долго сидели на скамье и рассматривали сводчатый потолок капеллы с росписями Микеланджело 1508–1512 годов. С 1534 по 1541 год он снова работал в Капелле — расписывал стены. Росписи эти лучше рассматривать на цветных репродукциях: разглядеть подробно каждую фреску, да еще издали, немыслимо.

В музее Ватикана мы прошли через палаты, расписанные Рафаэлем, и через Ватиканскую библиотеку с папирусами на стенах и красивыми шкафами, с росписями. Библиотека занимает несколько залов. Видели мы и залы с собраниями древнегреческой и римской скульптуры, галереи подсвечников,

гобеленов, географических карт. В Ватикане собраны произведения знаменитых художников — Леонардо да Винчи, Караваджо, Тициана, Рубенса, Мурильо и других.

Мы вышли из Музея с распухшими головами и вдоль стен его пробрались на площадь Святого Петра. Собор построен на том месте, где погиб за веру апостол Петр. Он был распят на кресте вниз головой и погребен у подножия холма среди языческих могил.

Джанлоренцо, оставивший нас на время осматривать Ватикан, вернулся за нами, и мы поехали к римскому мосту, украшенному двенадцатью скульптурами ангелов. Все ангелы отличаются друг от друга — они изображены кто с крестом, кто с кувшином. Мы запарковали машину и прошлись по мосту пешком. Река Тибр, прославленная историками и писателями, теперь грязная, мелкая, во многих местах заросшая зеленым кустарником. Было очень жалко, но это уже из области экологии. Такое сейчас во всем мире.

21 сентября, по заранее намеченному плану, Джанлоренцо повез нас в Ареццо. Оказалось, что в Ареццо Джанлоренцо прожил много лет с бывшей женой Машей и детьми. Там у него осталась комната в квартире, которую он делил с другом. На время нашего приезда друг Джанлоренцо в квартире не жил, а жили две китаянки и один молодой китаец: все, кажется, родственники, родом из Тайваня. По-итальянски они говорили плохо, больше никаких языков, кроме родного, не знали. Две девушки занимали одну комнату, а мальчик другую. Были в квартире и маленькая столовая и кухня, а третья, запертая комната принадлежала Джанлоренцо. Он уступил ее нам, а сам уехал ночевать за пятнадцать километров к другу. Мы с Лидой поужинали тем, что предложили нам китайские девушки.

На следующий день вместе с Джанлоренцо поехали осматривать город. Ареццо — очень приятный городок с красивыми зданиями, площадями, костелами. В тот же день мы отправились в гости к бывшей жене Джанлоренцо Маше — чешке, с которой он развелся лет восемь назад. Я была с ней знакома в Москве, и она захотела меня видеть. Мы навестили Машу в ее мастерской, она занимается художественной керамикой, которую, к сожалению, плохо покупают. У нее двое молодых помощников. Меня заинтересовала ее технология: две круглые электрические печи для обжига керамики сделаны в Америке из материала, из которого делают детали космических кораблей. Материал этот не пропускает тепла. Маша подарила мне белую фарфоровую коробочку собственного изготовления. Хотела подарить чайник с чашками или вазу, но я не взяла. Встретились и распрощались мы

с Машей очень тепло, расцеловавшись по-славянски. У Маши за 55 км от Ареццо вилла: кругом природа, держит собственных лошадей. Она там счастлива, но на жизнь в Италии жаловалась: жить трудно, много бюрократических придирок, хотя итальянцы в большинстве своем доброжелательные люди. Ей хочется домой, в Прагу.

Утром следующего дня мы выехали во Флоренцию. Дорога пролегала через леса и поля, было необыкновенно красиво, хотя погода выдалась немного пасмурная и даже в первый раз за все время нашего пребывания в Италии шел дождь. От Ареццо до Флоренции девяносто километров, доехали мы туда за полтора часа. Новая часть Флоренции очень красива: широкие улицы, обсаженные деревьями — в основном пиниями, но есть и кипарисы, платаны, тополя, сосны или кедры, пальмы. Флоренция расположена как бы в котловине, окруженной почти со всех сторон холмами. Мы проехали потрясающими аллеями по склонам холма и поднялись на вершину, где стоит статуя Давида. Это, конечно, копия скульптуры Микеланджело. С вершины холма открывается головокружительный вид на город. Оттуда мы снова спустились в город и поехали на другой холм, под названием Фьезоло. Оказалось, что у Джанлоренцо был дядя (кажется, двоюродный брат его отца) Джованни Микелацци[59], знаменитый во Флоренции архитектор. Была и какая-то романтическая история: мать Джанлоренцо была влюблена в Микелацци, и Джанлоренцо — плод этого романа. Из-за этого законный отец Джанлоренцо покончил жизнь самоубийством. Все свое детство Джанлоренцо прожил с дядей во Флоренции. У дяди была прекрасная вилла и мастерская на холме Фьезоло. Умер Микелацци года три тому назад, не дожив, кажется, тридцати шести дней до своего столетия. С ним жила экономка, была и прислуга, ставшая его подругой и ухаживавшая за ним до последнего дня. Она и сейчас живет на вилле. Дом, мастерская дяди завещаны какому-то фонду.

Мы в старой части Флоренции. Побывать в этом городе — мечта моей жизни. Оставив машину у вокзала, мы с Джанлоренцо и Лидой пешком прошлись через весь перрон, перешли по мосту через реку Арно мимо собора, где во Флоренции крестят младенцев, до площади кафедрального собора. Грандиознее сооружения нельзя себе представить. Говорят, что французский архитектор Корбюзье, обойдя Кафедральный собор, сказал: «Я бы так не смог». Купол собора построен без всякой арматуры по проекту архитектора Брунеллески. Мы дошли до дворца Медичи. Фасад его не понравился Лиде, но двор и сад за ним великолепны. Всё это таких размеров, что, как говорит Лида, «не

для людей; хотели утвердить этими размерами свое величие».

На следующий день, 24 сентября, мы с Лидой двинулись в галерею Уффици. Осмотрели почти все сорок пять залов, только некоторые пропускали или осматривали мельком — увидеть все невозможно.

27 сентября мы уже были в Венеции. Из окон гостиницы виден канал с гондолами. По городу можно ходить только пешком — ни машин, ни мотоциклов, ни велосипедистов; только лодки, гондолы и речные такси шныряют по каналам. Вода в мелких каналах немного пахнет, а от главных каналов, которые проходят петлями через весь город, запаха не идет. От домов (палаццо) спускаются в воду ступеньки или помосты. Уложенные плитами или булыжником улочки и переулочки так узки, что вмещают только пешеходов. Пользуясь картой и петляя по улицам и переулкам, шагая по ступенькам и мостикам через каналы, добрались мы наконец до площади Святого Марка. Главная площадь Венеции квадратная, огромная, окружена с трех сторон постройками — колоннадой зданий Старых и Новых Прокураций, Палаццо дожей, и собором Святого Марка. С четвертой стороны широкий просвет — выход к морю, вернее, к его лагуне со множеством мелких суденышек.

Вслед за собором Святого Марка мы обошли все колоннады трехэтажного здания Старых Прокураций, построенного в XV веке. Нижние этажи здания заняты многочисленными лавочками. На противоположной стороне уже в XVI веке для прокураторов собора Святого Марка выстроено такое же здание Новых Прокураций.

Рядом с собором Святого Марка, ближе к морю, находится Дворец дожей удивительной красоты. Незадолго до отъезда из Венеции мы с Лидой попали на площадь, на которой располагались сразу три собора. Один из них назывался, кажется, Фрари — Санта-Мария Глориоза деи Фрари — в честь ордена францисканцев. Он построен в XIV–XV веках. В церкви этой хоронили дожей и других знатных и богатых людей. Она связана с именем Тициана: здесь он похоронен и здесь находится его знаменитая картина «Вознесение Девы Марии» высотой 7 метров, написанная для этого храма в 1616–1618 годах.

На следующий день утром за нами заехал Джанлоренцо и мы поехали в Рим. Погода была чудесная. По дороге, уже под вечер, мы оказались в Ассизи. Ну как было не заехать в этот город, расположенный высоко на горе! Когда мы поднялись наверх, солнце уже заходило; вид с вершины был великолепен, и сам город освещен был особым светом. По лестнице, наверное, в сто ступеней мы поднялись в храм, где внутри находятся фрески

Джотто и могила Франциска Ассизского. Осмотрев храм изнутри, мы спустились по той же лестнице, которой, казалось, нет конца, и уже в сумерках, поужинав, поехали в Рим, до него оставалось несколько часов езды. Через какое-то время Джанлоренцо начал засыпать за рулем. Мы его тормошили, смешили, рассказывали забавные истории; в каждом кафе, встречавшимся нам по дороге, он выпивал кофе капучино, но все равно хотел спать. Наконец он остановил машину и сказал, что должен заснуть на полчаса. Но какой уж тут сон: мимо нас с шумом проносились автомобили, освещая нас своими фарами. Быть может, наш водитель все же немного подремал, но заснуть ему, конечно, не удалось, и мы поехали дальше. Магистраль кончилась, и мы попали на петляющую по горам дорогу к Итри. Когда мы доехали в третьем часу ночи до места, то посчитали, что чудом спаслись. Ночевали в квартире сына Джанлоренцо — Паоло. Она ремонтировалась, но спальные места без простыней были.

На следующий день в аэропорту мы распрощались с Джанлоренцо. Я не знала, какими словами его благодарить. Мы были смущены его щедрым гостеприимством, а он, наверное, почувствовал это и сказал: «Благодаря вам я великолепно провел каникулы; я так люблю путешествовать».

Германия, 1993 год

В ноябре 1993 года по приглашению издательства «Фолк унд вельт» я выступила с чтением моих воспоминаний в нескольких городах Германии. Приглашение было связано с выходом в этом издательстве книги моих воспоминаний о Бабеле. Поездка была очень напряженная: я поочередно выступала в Берлине, Кёльне, Дюссельдорфе и Гамбурге. Интерес к моим вечерам в Германии был большой, залы были переполнены. Чтения первоначально намечались на русском языке, но, узнав, что я говорю по-немецки, аудитория повсеместно настаивала, чтобы я читала именно на немецком. Я так и делала, к полному восторгу слушателей.

Во время одного из выступлений по мне подошел немецкий писатель К., который встречался с Бабелем в двадцатых годах, когда тот останавливался в Германии во время поездки за границу. Поезда эта была связана с сопровождением матери Евгении Борисовны Гронфайн, первой жены Бабеля, за границу. После смерти ее мужа и разорения их дома (конфискации имущества) Бабель отвез ее на жительство к своей сестре Мери в Брюссель. Так вот, во время этой поездки Бабель и навестил Германию и встречался с писателем К., в обществе которого, по рассказу самого К., в какой-то столовой по типу общепита лакомился гороховым супом.

Большая часть нашего времени уходила на переезды из города в город, на устройство в гостиницах, и на подготовку к выступлениям. Основная работа по организации выступлений легла на сотрудницу издательства «Фолк унд вельт» Кристину Линкс. Она договаривалась по поводу залов для выступлений, организовывала переезды и гостиницы. Утомительнее всего была езда на машине, которая продолжалась иногда по шесть часов в день. Поэтому в этот мой приезд в Германию мне не удалось ни посмотреть те города, в которых мы побывали, ни побывать в музеях, ни даже постоять в Дюссельдорфе у могилы любимого мной поэта Генриха Гейне.

Отъезд в Америку

Мой внук Андрей в 1993 году женился и теперь жил в Америке. Там он продолжал работать по специальности театрального режиссера, осваивался в новой жизни. Никаких разговоров о нашем с Лидой переезде в США у нас с Андрюшей пока не было. Однако криминальная обстановка в Москве становилась все хуже, в ближайший Тимирязевский парк стало опасно ходить — то и дело в нем находили убитых, хулиганство царило повсюду.

Андрюша звонил нам каждую субботу и говорил: «В субботу поговорю с вами, а в воскресенье уже начинаю волноваться». Примерно в это время в 1994 году убили нашу милую соседку Таю, которую я так любила. Пошла к подруге, шла по тропинке вдоль железной дороги, проходящей мимо нашего дома, и кто-то сзади ударил ее ножом в спину. Попал в самое сердце, снял часы, забрал всего десять рублей денег и скрылся. Это убийство произвело на меня сильное впечатление, от которого я не могу отделаться до сих пор.

Милиция бездействовала.

Лида не хотела поддаваться страху, ничего не боялась и уходила часто по вечерам то к подругам, то в кино или театр. Возвращалась поздно и одна, а я не находила себе места, страшно волновалась и часами проводила время на балконе в ожидании ее возвращения.

Чувствовала я себя очень плохо, не хватало свежего воздуха; такой был смог, что иногда я часов в пять утра открывала дверь на балкон и сейчас же ее закрывала. И тем не менее еще в 1994 году я не думала о том, чтобы уехать из Москвы. Оказалось, Андрюша об этом думал и, наверно, говорил с Лидой.

В начале 1995 года я узнала из его письма, что он уже зарегистрировал нас в Вашингтонском процессуальном центре, получил номера наших дел. Одним словом, мы должны пройти интервью в американском посольстве в Москве, назначенное на 26 июня 1995 года. Он не сомневался, что разрешение въехать в США нам дадут, важно было добиться статуса беженцев, что имело большое значение.

Началась наша с Лидой подготовка к переезду в США на постоянную жизнь там. Нужно было прежде всего продать нашу квартиру, мебель, а все вещи раздарить друзьям и знакомым. Андрей, который в это время был в Москве, ухаживал за больным отцом, уехал в Вашингтон, захватив с собой восемь больших ящиков с книгами и архивом Бабеля.

Мы с Лидой прилетели в Вашингтон 1 апреля 1996 года. По приезде мы все поселились в только что снятой Андреем и его женой Лисой трехкомнатной квартире в пригороде Вашингтона — Бёртонсвилле. Уезжая из России, я была абсолютно уверена, что с переездом в Америку журналисты, исследователи творчества Бабеля и издатели меня потеряют и вскоре забудут о моем существовании. Нет. Войдя в свою новую комнату, я обнаружила на письменном столе договор от американского издательства «Стирфорс» об издании моей книги воспоминаний о Бабеле в английском переводе. Книга эта вышла осенью того же года. В американской прессе появилось около тридцати рецензий. Такой интерес издательства и прессы меня удивил, так как в России мои воспоминания отдельной книгой не издавались, а на публикацию их в журналах и в сборниках не было никаких откликов. Помимо английского, моя книга о Бабеле была переведена на немецкий и итальянский языки, а также и на иврит.

За выходом американского издания книги последовали презентации ее в Нью-Йорке и Вашингтоне, интервью, участие в нескольких документальных фильмах о Бабеле. Благодаря американским врачам и чистому загородному воздуху здоровье мое поправилось. Но эту новую, американскую главу моей жизни я решила оставить за пределами этой книги…

28 октября 1966 — 15 мая 2007

Фото

«Моя мать, Зинаида Никитична Куневич, была деловой и энергичной женщиной. Отец, Николай Иванович Пирожков, занимался адвокатской практикой. Способности его проявлялись во всем: он писал маслом, составлял замечательные букеты, умел делать игрушки для елки…»

Младшие сестры матери — Харитина и Анна

«Старший брат матери, Иван Никитич Куневич, был человеком легкомысленным…»

Детство в селе Красный Яр. Николай Иванович (в окне), Антонина, Игорь и Зинаида Никитична с Олегом

А.Н. с братом Игорем. 1915

«Наш любимый доктор Сироткин» — домашний врач семьи Пирожковых

Софья Константиновна Макшеева, Надя, подруга А.Н., и внучка Галя

Антонина Пирожкова — студентка Томского технологического института. «Я остановилась у Макшеевых — наших старых знакомых по Красному Яру…»

Борис, самый младший в семье Пирожковых. «По отношению ко мне он вел себя как рыцарь»

«Люба Макшеева училась в Москве и вскоре вышла замуж за А. И. Валединского, в будущем известного авиаконструктора…»

Однокашники томичи через 30 лет. На обороте снимка: «А где Никитин? Макнём его!» Сидят слева направо: А.Н., А. Полянский и

Ольга Тыжнова. Москва, 23 марта 1962

А.Н. с педагогами и студентами института после своего доклада. Сидят в центре: декан Георгий Васильевич Ульянинский и доцент Дмитрий Елизарович Романов

А.Н. с друзьями: Николаем Никитиным, впоследствии главным конструктором Останкинской телебашни, и Аркадием Полянским (справа)

Александр Рафаилович Попов, АРэ — как называла его А.Н. «Нравился ли он мне? Да, как никто другой. Была ли в него влюблена? Если и была, то совсем немножко…»

Антонина Пирожкова — выпускница Томского технологического института. На Кузнецкстрое ее сразу прозвали «Принцесса Турандот из конструкторского отдела»

Такими были улицы Кузнецка осенью и ранней весной. А.Н. и А. Р. Попов

С архитектором Львом Александровичем Александри (?). У него дома «велись разговоры о литературе и политике, читались стихи и обсуждались новые книги». В «кружке Александри» А.Н. впервые познакомилась с рассказами И. Бабеля

На Кузнецкстрое работали американские специалисты, среди них мистер Халловей.1931. Фото А. Попова

«Лето в Сибири короткое, но очень жаркое, и уйма цветов, которые цвели вблизи наших домов, сменяя друг друга…»

«Мы с компанией уезжали на велосипедах на реку Томь…»

Исаак Бабель в возрасте шести лет

С отцом и сестрой Мериам (Мери). 1910

Одесса, 1903

Исаак Бабель, бабушка Миндл и Мери. Ок. 1912

Студенты Одесского коммерческого училища (слева направо): А. Вайнтрауб, А. Крахмальников, И. Бабель, И. Лившиц. 1912

Бабель с сыном Эммануилом — Мишей. Его мать — Тамара Каширина, актриса, в будущем жена Всеволода Иванова.1927

Дочь Бабеля Наташа родилась во Франции в браке с Евгенией Гронфайн. 1932

С сестрой М. Э. Шапошниковой (Мери). Бельгия, 1928

«Большую часть времени в 1920–30-е годы Бабель предпочитал жить не в Москве, где трудно уединиться для работы, а в Молодёнове, поблизости от дома Горького в Горках». Хозяин дома Иван Карпович Крупнов с семьей и Бабель. 1930

На Первом конном заводе рядом с Молодёновом Бабеля все знали. 1930

«Бабель даже работал одно время в правлении колхоза в Молодёнове с единственной целью — досконально узнать колхозную жизнь. Крестьяне называли его Мануйлычем». 1931

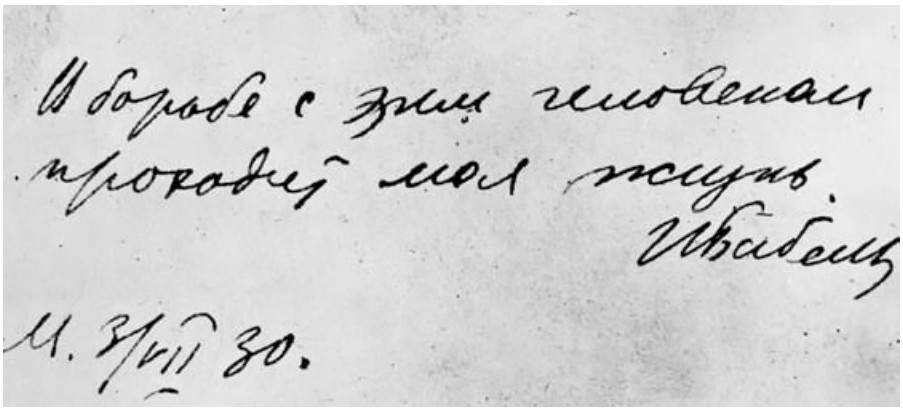
Исаак Бабель. Сер. 20-х. Уже вышло первое издание «Конармии»

И. БАБЕЛЬ

КОНАРМИЯ

1926

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Надпись на обороте фото (автограф): «В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь». Москва, 3 июля 1930

Шуточное фото, опубликованное в журнале «Чудак» в декабре 1928 года по нешуточному поводу: снова возобновилась дискуссия между С. Буденным и М. Горьким о «Конармии»

Исаак Бабель. Портрет Ю. Анненкова

Москва, 1930. Фото Татьяны Тэсс

Исаак Бабель. Нач. 1930-х

Дом в Большом Николоворобинском переулке, где располагалась квартира Бабеля. А.Н. жила там до 1966 года

Начало жизни в Москве. 1933

А.Н. и Роза Александровна Дрейцер (на переднем плане) в Сочи

«Мы с Бабелем условились, что он приедет к окончанию моего пребывания в доме отдыха, чтобы показать мне побережье и Кабардино-Балкарию…». Сухуми, сентябрь 1933. Оба фото И. Бабеля

Нестор Лакоба — председатель ЦИК республики, фактический ее правитель в 1930-е годы, «самый примечательный человек в Абхазии», — по словам Бабеля

«Сначала решили поехать в Гагры — там велись съемки фильма «Веселые ребята» по сценарию Н. Эрдмана и В. Масса». Исполнитель главной роли — Леонид Утесов

Николай Эрдман. Его арестовали прямо на съемках, в день приезда А.Н. и Бабеля

«Много лет спустя Эрдман рассказал мне, что везли его из Гагр в обыкновенном автобусе и что он видел нас в открытой легковой машине…»

Бетал Калмыков — первый секретарь обкома партии Кабардино-Балкарии, человек-легенда. Погиб в годы сталинских репрессий

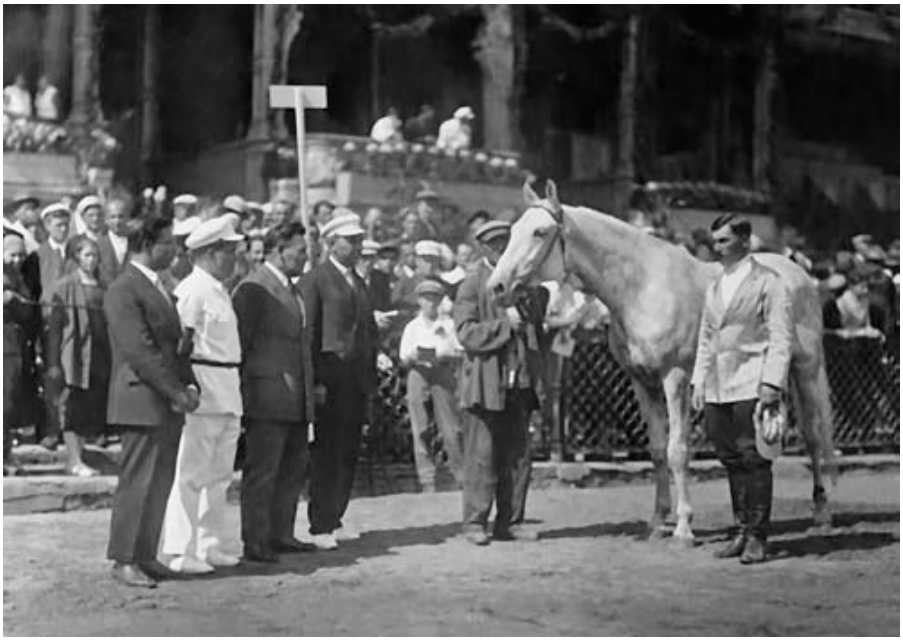
А.Н. на Терском конном заводе рядом с арабским скакуном Цилиндром. «В жизни не видела лошади красивее…»

Автор «Конармии» любил лошадей. «По приезде в Молодёново мы тотчас отправились пешком на конный завод. Там нам показали жеребят, один из них был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому»

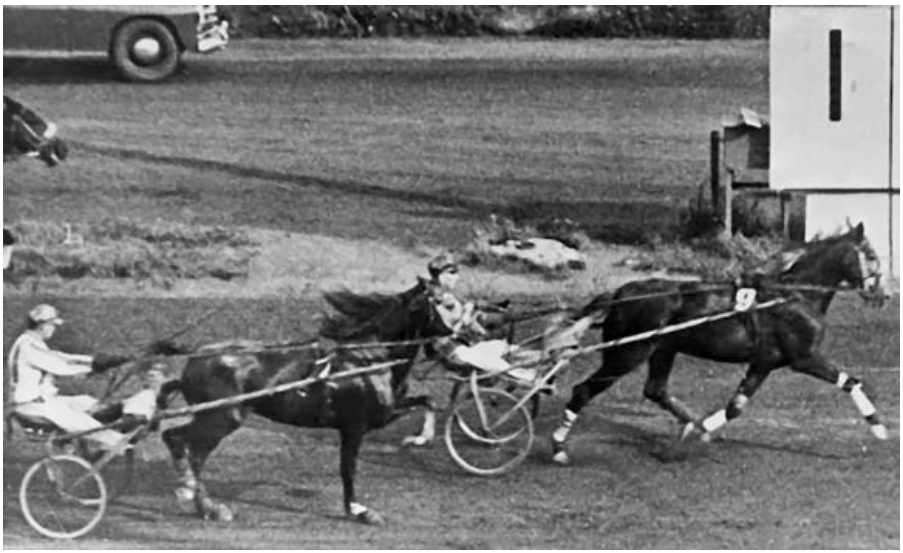
«У Бабеля никогда не было пишущей машинки… Писал он перьевой ручкой и чернилами, а позднее ручкой, которая называлась «вечное перо»»

А.Н. и Бабель в поездке по Киевщине. 1935

«Ко времени нашей совместной жизни с Бабелем я уже поступила на работу в Метропроект». Сер. 1930-х



Николай Романович Семичев (рядом с лошадью), наездник, друг Бабеля



«Мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтоб он играл… Он бывал на тренировках и в конюшнях чаще, чем на самих бегах…»

А.Н. на трибуне ипподрома. Фото И. Бабеля

С Юрием Олешей на Первом съезде Союза писателей. 1934

И. Бабель и С. Эйзенштейн на съемках фильма «Бежин луг». Ялта, 1936

«Китайский поэт Эми Сяо бежал в Советский Союз от чанкайшистского режима. Он стал к нам приходить…» С женой Евой. 1936

«Весной 1935 года Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Ланьфаня» (на снимке)

Бабель читает пьесу «Мария» в Литературном музее. 24 февраля 1934

На параде в Тушино с французским писателем и политическим деятелем Андре Мальро. 1936. Спустя несколько дней после ареста в 1939 году Бабель под пытками сделал ложное признание, подтвердил, что «установил шпионские связи с Андре Мальро…»

«В апреле 1936 года Бабель съездил к Алексею Максимовичу в Тессели (Крым) вместе с Андре Мальро и Михаилом Кольцовым…»

В Горках за самоваром: И. Бабель, М. Литвинов, Л. Никулин, А. Щербаков (?), М. Горький, Герберт Уэллс, Мария Будберг,

К. Федин и другие. 1934

В Горках, 1937. «Обоняние его было обостренным — он не нюхал, как все люди, а как бы впитывал в себя все запахи»

С Надеждой Алексеевной Пешковой, невесткой Горького, и художником И. Н. Ракитским. Горки, 1937

«В январе 1937 наша девочка родилась… В роддом Бабель принес мне «Сентиментальное путешествие» Стерна, там я встретила имя Лидия и решила, что назовем этим именем…»

Зинаида Никитична Пирожкова с Лидой. Николоворобинский, 1937

Бабель с дочерью Лидой. 1937. «Подрастет, одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при отце осталась…»

Дом в Переделкине. Бабеля арестовали здесь 15 мая 1939

На даче в Переделкине. 1938

Бабель на похоронах И. Ильфа. 1937

Мать Бабеля и его сестра Мери. Остенде, 1937. Сохранилось множество писем Бабеля к матери и сестре. «Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем, — проговорил Бабель во время ареста и надолго замолчал»

Фотографии из дела НКВД. 1939

«После смерти Горького Бабель как-то сказал: «Теперь мне жить не дадут», а уже позже часто повторял: «Я не боюсь ареста, только дали бы возможность работать»». Не дали

«Осенью 1943-го к нам неожиданно приехал с фронта мой младший брат Борис…»

«Лида очень любила общество и всегда собирала ребят для игр…». Новый Афон

20 июня 1941-го А.Н. вместе с Лидой и мамой отправилась в командировку на строительство железной дороги Сочи-Сухуми. В доме Арута и Оли Янукян (на снимке) в Новом Афоне они жили до лета 1944 года и подружились на всю жизнь

Валентина Ароновна Мильман, секретарь И. Эренбурга, с Лидой в апреле 1941. Она была «единственным человеком, кто позвонил мне через несколько дней после ареста Бабеля»

Открытка И. Бабеля из Кабардино-Балкарии В. А. Мильман. 1933

Михаил Львович Порецкий, родственник Бабеля, помог А.Н. вернуться в 1944 году в Москву

Дома с Лидой в Николоворобинском. Кон. 1940-х. Фото М. Порецкого

«В мою группу поступил заказ на проектирование трех тоннелей Ткварчельской дороги…» Грузия, 1947

На строительстве Чиатурских тоннелей. 1952

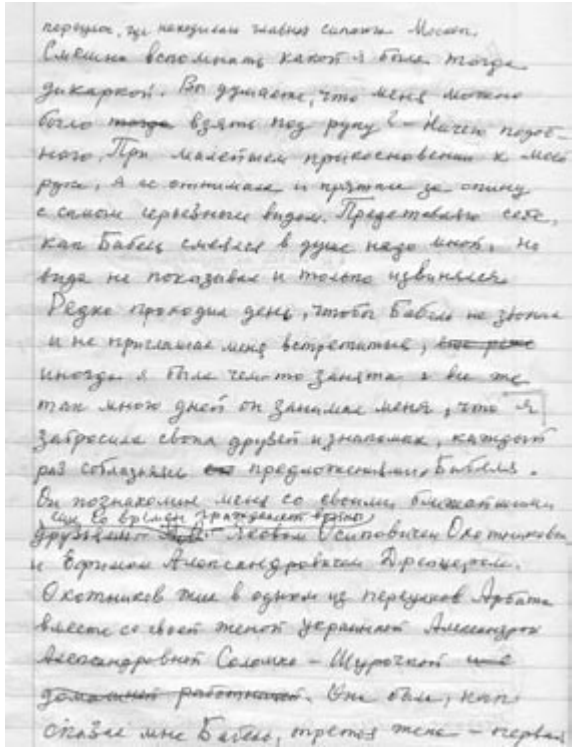
Лето 1947 года на озере Рица. Слева направо: инженер Метростроя Г. Н. Корякин, А.Н., Лида, Оля, Арут и его сестра Варсеник. «Когда под вечер собрались уезжать, вдруг перед нами появилась Ирина Эренбург и попросила довезти ее до Гагры… С этой встречи началась моя дружба с Ириной»

В 1960 году в Москву из Парижа первый раз приехала дочь Бабеля — Наталья. «Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала в душе своей дочерью». Лида и Наталья у стен Кремля

Выпускница Архитектурного института Лидия Бабель. Начало 1960-х. «Сходство Лиды с отцом было не только внешним. Больше всего оно проявлялось в ее характере и привычках»

С Ириной Поповой, дочерью АРэ

А.Н. за письменным столом. 1970-е. «Я пытаюсь восстановить черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения…»



Автограф рукописи воспоминаний А.Н. о Бабеле

Писатель Семен Григорьевич Гехт, поклонник Бабеля, после войны и собственного ареста «время от времени с опаской приезжал к нам, чтобы поговорить о Бабеле. О его судьбе я тогда ничего сообщить не могла, кроме того, что каждый год отвечали в НКВД: «Жив, содержится в лагере…»»

РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

II-А № 911029

Гр. Бабель Исаак Эммануилович

умер (ла) 17 марта 1941 г. заключенного и ссыл

тюрьмы девятого отдел первого год

возраст 47

Причина смерти Z

о чём в книге записей актов гражданского состояния о смерти

1955 года февраля месяца 19 числа

произведена соответствующая запись за № 126

Место смерти: город, селение

район Z область, край,

республика

Место жительства

Z сапожье отде

Бутовского отд г/о Москв

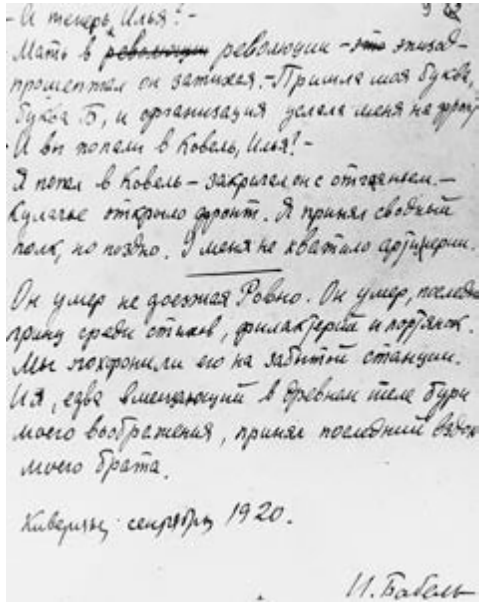
Дата выдачи 3 мая 1956

Городской бюро записей актов гражданского состояния

Свидетельство о смерти Бабеля. «Более страшный документ трудно себе представить! «Место смерти — Z, причина смерти — Z». Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет… Я не верила этой дате и оказалась права»

С Сергеем Поварцовым, одним из первых молодых

исследователей творчества Бабеля



- И теперь, Илья? -
Мать в ~~революции~~ революции - это значит -
промечтал он затихая. - Приняв имя буквы,
буква Б, и организация делала меня не урод
А вы попали в ковель, Илья! -
Я попал в ковель - закрепился с отделением -
Кругом открыто фронт. Я принял свой
полк, но поздно. У меня не хватало дезертиров.

Он умер не доезжая Ровно. Он умер, полный
гроза среди отцов, фанфарона и дезертиров.
Мы похоронили его на забытой станции.
Я, едва вмещающий в бренных тиле бури
моего воображения, принял последний вздох
моего брата.

Киверцы · сентябрь 1920.

И. Бабель

«Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля, мне стали передавать кое-что из ранних рукописных произведений Бабеля»

Юрий Олеша и Вениамин Рыскинд, «веселый рассказчик и любимец Бабеля». «Встречалась я с Олешей не так уж часто, разговоры касались моих хлопот о судьбе Бабеля, визитов в КГБ, а потом — о реабилитации Бабеля и поисках его рукописей»

Екатерина Павловна Пешкова, первая жена А. М. Горького. «Она неизменно вспоминала Бабеля. Часто говорила о дружбе с ним и о том, что после ареста Бабеля ее жизнь потускнела»

А.Н. и Е. П. Пешкова на горьковской конференции в Одессе. 1962

Могила отца Бабеля в Одессе на Втором еврейском кладбище. А.Н. заказала надпись: «Памяти писателя Исаака Бабеля. 1894–…». Кладбище не существует с середины 1970-х годов, на его месте разбит парк

Анна Николаевна Цакни-Бунина (позднее Дерибас), давняя знакомая Бабеля по Одессе. Фото подарено А. Н. Екатериной Павловной

А.Н. в гостях у Сосинских в Москве. Слева — писатель Георгий Петрович Шторм, «наш хороший друг». 1960

Е. П. Пешкова познакомила Антонину Николаевну с дочерьми эсера Чернова. Ариадна Чернова (справа), Сергей Эфрон, Аля Эфрон. Прага, 1925

Владимир Брониславович Сосинский, муж Ариадны Черновой. 1940

«Накосить траву для нас и лошади должна была я сама…»

В Сибири через 32 года. «Был разгар лета, воздух насыщен ароматами цветов, трав, я с наслаждением вдыхала этот знакомый с детства запах»

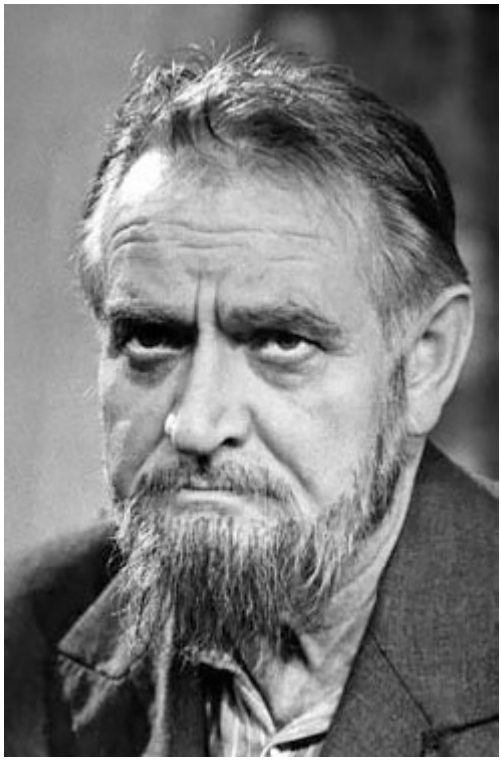
С братом Игорем

Несколько лет А.Н. снимала дачу под Новым Иерусалимом рядом с семьями Эренбурга и Дмитрия Николаевича Журавлева (на снимке) в дачном поселке НИЛ. «Мы устраивали вечером чай на нашей террасе, засиживались с разговорами до поздней ночи»

Дочь Эренбурга Ирина и жена Любовь Михайловна Козинцева. Париж, 1930

Одна из «замечательных женщин старшего поколения» Лидия Моисеевна Варковицкая. «Она всегда приезжала ко мне на день рождения на дачу… Я радовалась ее приезду безмерно. С ней было весело, интересно»

Будапешт, театр «Талиа», 1966. Сцена у синагоги в спектакле по пьесе И. Бабеля «Закат». Режиссер Казимир Кароль



Актер Ковач в роли Менделя Крика

После спектакля с труппой театра «Талиа»

Первое издание «Дневника» Бабеля на французском языке. С Катрин Терье, сотрудницей издательства «Балло» в магазине «Эпиграмм». Париж, 27 сентября 1991

«В сентябре 1992 я побывала в Италии по приглашению переводчика произведений Бабеля Джанлоренцо Пачини (на снимке с внуками)

«В ноябре 1993 по приглашению издательства «Фольк унд вельт» я выступила с чтением моих воспоминаний в нескольких городах Германии»

«Мой внук Андрюша родился 19 февраля 1967 года около девяти часов утра…»

Андрей Малаев-Бабель тринадцати лет

1991 год. «Ее любовь ко мне была продолжением безграничной любви к Исааку Эммануиловичу…» (А. Малаев-Бабель)

Свадьба Андрея и Лисы Ивлэнд. Мэрилэнд, 1993

Лиса Ивлэнд-Малаев, Лидия Бабель с внуком Николаем, Андрей Малаев-Бабель и А. Н. США, Мэриленд, 2001

«Началась наша с Лидой подготовка к переезду в США…» Москва, 1995

«Почему я так хорошо запомнила многое из рассказанного мне Бабелем, его выражения и словечки… В течение многих лет, в его отсутствии, я вспоминала и переживала всё, связанное с ним, как бы повторяя в уме эти события. И сейчас, когда прошло уже семьдесят лет без него, у меня перед глазами ясно встает его образ. И так будет до конца моих дней». Презентация книги воспоминаний о Бабеле в Вашингтоне 28 октября 2001

notes

Примечания

1

К сожалению, она пыталась настроить против Антонины Николаевны биографов Бабеля. Никто из них, кроме немецкого исследователя Райнхарда Крумма, автора книги «Исаак Бабель. Биография», не поддался на эту удочку.

2

Цибульский Клавдий Викентьевич — рабочий-большевик, политссыльный. Активный участник борьбы за власть советов в Мариинском уезде в 1917 — первой половине 1918 гг. и партизанского движения в Кузбассе. В 1920 г. работал начальником Мариинской горной милиции. *(Примеч. сост.)*

3

Валединский Анатолий Иванович — в будущем крупный специалист по созданию авиационных двигателей, работавший с известными конструкторами А. А. Микулиным, Н. Н. Поликарповым, С. А. Лавочкиным, А. Н. Туполевым, заместитель генерального конструктора ракетно-космического отдела 08–08 (КБ-8) академика В. Н. Челомея. *(Примеч. сост.)*

4

Никитин Николай Васильевич (1907–1973) — архитектор и ученый в области строительных конструкций; главный конструктор Останкинской телебашни. *(Примеч. сост.)*

5

Александри Лев Николаевич (1889—?), сын бессарабского помещика, прошедший через революционную эмиграцию. Окончил архитектурный факультет в Цюрихском университете. С 1915 г. работал в России в военной организации ЦК РСДРП(б). В 1918–1919 гг. — политический комиссар Южного участка отрядов завесы и член РВС 8-й армии Южного фронта. В 1921 г. — советник Полномочного представительства РСФСР в Латвии. В 1935 г. назначен начальником научно-исследовательского института архитектуры при Всесоюзной академии художеств, а в 1937-м — заместителем директора Всесоюзной академии художеств. В августе 1937 г. приказом Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК РСФСР освобожден от должности и исключен из списков служащих ВАХ. *(Примеч. сост.)*

6

Шахтинский процесс и процесс Промпартии (Промышленной партии) — первые сталинские процессы, на которых обвинялись во вредительстве инженеры, якобы срывающие выполнение планов по добыче угля и производству промышленных товаров. Руководили производством, как правило, члены коммунистической партии, полуграмотные люди, и свои ошибки — результат плохого руководства — перекладывали на инженеров. Инженеров и ссылали в Сибирь, иногда расстреливали, а народ убеждали, что они вредители. *(Примеч. авт.)*

7

Донуголь — объединение угольных предприятий Донбасса. Сотрудники Донугля часто ездили в Москву решать свои вопросы, гостиниц было мало, и эта богатая организация построила дом в Москве (а может, и не один), где останавливались командировочные и имели квартиры перекочевавшие в столицу сотрудники. *(Примеч. авт.)*

8

Востокосталь — управление всеми металлургическими заводами Сибири и Дальнего Востока. Тогда строились крупные заводы в Новокузнецке, в Челябинске и несколько более мелких. *(Примеч. авт.)*

9

Церковь Николая Чудотворца была построена в 1680–1693 гг. в Стрелецкой слободе Воробине. *(Примеч. сост.)*

10

Церковь Троицы в Москве упоминается в 1625 г. и значится «на Капле», то есть на речке Капле или Капельке. *(Примеч. сост.)*

11

Дрейцер Ефим Александрович (1894–1936) — советский военный и политический деятель. Погиб в годы сталинских репрессий. *(Примеч. сост.)*

12

Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) была расформирована постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. *(Примеч. сост.)*

13

Книга Василий Иванович (1882–1961) — командир 1-й бригады 6-й Кавдивизии. *(Примеч. сост.)*

14

Так называется группа мест, где есть минеральные воды, то есть Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды. *(Примеч. авт.)*

15

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880–1956) — прозаик, мемуарист, издатель. Друг М. Горького. *(Примеч. сост.)*

16

Так Бетал назвал вооружение: сабли, ножи, пистолеты — всё, чем любили украшать себя и запугивать людей инструкторы-кавказцы. *(Примеч. авт.)*

17

Род примитивного жилья у скотоводов Балкарии. *(Примеч. авт.)*

18

В предварительных записках к воспоминаниям приводится фраза Бабеля: «Уход Толстого связан с тем, что жена читала». *(Примеч. сост.)*

19

Регинин (Раппопорт) Василий Александрович (1883–1952) — писатель, журналист, уроженец Одессы. *(Примеч. сост.)*

20

Так издавна в России назывался сапожник, который работает не на фабрике, а дома, в одиночку зарабатывает себе на жизнь и водку. *(Примеч. авт.)*

21

Эта публикация о Париже появилась в журнале «Пионер» (1937, № 3) под названием «Город-светоч». *(Примеч. сост.)*

22

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель. *(Примеч. сост.)*

23

Значительно позже я узнала, что брат Скуглера работал инженером и не был богат. *(Примеч. авт.)*

24

Рыскинд Вениамин Наумович — советский прозаик, поэт-песенник, сценарист, автор произведений на идише и русском языке. *(Примеч. сост.)*

25

Район в Москве, где расположена киностудия «Мосфильм». *(Примеч. сост.)*

26

В Одессе был такой частный бизнес — хозяйки готовили обеды из трех блюд и кормили у себя на дому. Еда была домашняя по вкусу, и не так дорого, как в ресторанах. *(Примеч. авт.)*

27

Сторицын Петр Ильич (наст. фам. Коган; 1894–1941) — театральный критик, поэт, журналист. *(Примеч. сост.)*

28

По новейшим архивным изысканиям, произведенным исследователем жизни и творчества Бабеля Еленой Погорельской, на момент смерти отца Бабель находился в Одессе. *(Примеч. сост.)*

29

Маркиш Перец Давидович (1895–1952) — советский поэт и прозаик, писавший на идише. В 1939 году получил орден Ленина. Расстрелян в годы сталинских репрессий. *(Примеч. сост.)*

30

Муссинак Леон (1890–1964) — французский писатель-коммунист. *(Примеч. сост.)*

31

Граф Оскар Мария (1894–1967) — немецкий баварский писатель. *(Примеч. сост.)*

32

Эррио Эдуар (1872–1957) — французский писатель, историк, государственный и политический деятель. *(Примеч. сост.)*

33

Так назывались ковры из Средней Азии, сотканные ручным способом. Бабель делал какую-то работу для Средней Азии, и ему по дешевой цене продали два ковра. Они были с небольшим и незаметным браком, и поэтому стоили дешевле. Бабель вообще любил ковры, а я была к ним равнодушна. *(Примеч. авт.)*

34

И только один из осужденных, большой друг Бабеля Ефим Александрович Дрейцер, в своем последнем слове гордо сказал: «Я не из тех, кто будет просить пощады». *(Примеч. авт.)*

35

По всей вероятности, Бабель работал с Барнетом над кинолентой «У самого синего моря», вышедшей на экраны в 1936 г. *(Примеч. сост.)*

36

В предварительных записках к воспоминаниям Антонина Николаевна приводит следующую фразу Бабеля: «Хочу миру показать настоящего Шолом-Алейхема». *(Примеч. сост.)*

37

Груздев Илья Александрович (1892–1960) — литературовед, драматург, прозаик. Биограф и исследователь творчества М. Горького. *(Примеч. сост.)*

38

В предварительных записках к воспоминаниям эта фраза звучит жестче: «Черти, не дали кончить работу…» *(Примеч. сост.)*

39

Сталь марки ДС (Дворец Советов) была создана для грандиозного проекта Дворца Советов, который начали строить в Москве на месте Храма Христа Спасителя. Занимался этим проектом бывший сокурсник Антонины Николаевны — Николай Никитин. Проект закрыли в 1939 году, и А.Н., как автор проекта «двухколонных станций» «Павелецкая» (радиальной и кольцевой), хотела делать колонны из этой стали. В просьбе ей было отказано. *(Примеч. сост)*.

У Т. С. Есениной два сына: Кутузов Владимир и Кутузов-Есенин Сергей. (*Примеч. сост.)*

41

Временная конструкция, заменяющая мосты. *(Примеч. авт.)*

42

Рысс Евгений Самойлович (1908–1973) — советский писатель, публицист, автор сценариев к многим популярным в 30-е годы фильмам. *(Примеч. сост.)*

43

В последний раз Антонина Николаевна обращалась с просьбой о проведении поисков архива Бабеля уже к российским властям в 1995 году. Во время московской конференции, посвященной столетию со дня рождения писателя, обнаружилась новая информация о возможном местонахождении конфискованного архива, и Антонина Николаевна немедленно возобновила поиски. Но запрос вдовы Бабеля в канцелярию президента остался без ответа, а в 1996 году А. Н. Пирожкова покинула Россию для воссоединения со своим внуком, живущим в Америке. *(Примеч. сост.)*

44

Вероятно, речь идет о журнале «Новый Робинзон». С 1925 по 1930 годы Л. М. Варковицкая также работала редактором в отделе современной художественной литературы Леногиза (Ленинградского отделения государственного издательства) вместе с Ю. Н. Тыняновым и К. И. Чуковским. *(Примеч. сост.)*

45

Архив Л. М. Варковицкой хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд № 729. *(Примеч. сост.)*

46

Калотта — верхняя часть тоннельной выработки, предназначенная для возведения сводовой обделки. *(Примеч. авт.)*

Тиражом 700 тысяч экземпляров. *(Примеч. авт.)*

Тиражом 3 миллиона экземпляров. *(Примеч. авт.)*

49

С Галиной Ефимовной Дрейцер я дружила в Москве долгие годы и продолжаю переписываться из США. *(Примеч. авт.)*

50

Тарсис Валерий Яковлевич (1906–1983) — писатель и переводчик, диссидент. Лишен советского гражданства в 1966 году. *(Примеч. сост.)*

51

Племянник мужа тетки Бабеля по материнской линии. *(Примеч. сост.)*

52

Шторм Георгий Петрович — известный писатель, историк (1898–1978). *(Примеч. сост.)*

53

Имеется в виду семья Дмитрия Николаевича Журавлева (1900–1991), мастера художественного слова, народного артиста СССР *(Примеч. сост.)*

54

Во время нашей совместной жизни Бабель относился к Евгении Борисовне всегда внимательно и переписывался с ней до самого ареста. К сожалению, и эти письма его не сохранились, их забрали немцы в Париже во время обыска в ее квартире. *(Примеч. авт.)*

55

Маркиш Симон (1931–2003) — переводчик, сын писателя Переца Маркиша. Берелович Владимир (р. 1946) — историк-славист, профессор Парижской высшей школы. *(Примеч. авт.)*

56

Еврейский квартал в Париже Бабель описывает в письме к А.Г Слоним от 7 сентября 1928 г. (Бабель. 1990. Т. 1. С. 284–285), хотя собственно о запахах этого квартала в письме ничего не сказано. Вероятно, автор вспоминает строки Бабеля из парижского рассказа «Улица Данте», относящиеся, правда, к Латинскому кварталу: «Горячее чесночное дыхание шло из дворов» (Бабель. 1990. Т 2. С. 234). *(Примеч. сост.)*

57

Марке Крис (Кристиан-Франсуа Буш-Вильнёв; (1921–2012) — французский кинорежиссер-документалист, фотограф и писатель, признанный во всем мире мастер и реформатор документального кино, создатель жанра фильм-эссе. *(Примеч. сост.)*

См.: Бабель. И. Собрание сочинений. Т. 1. 1990. С. 328.

59

Джанлоренцо произносил имя дяди так: Микелаччи. *(Примеч. сост.)*